ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В двадцати томах

*

Редакционная коллегия:
А. С. БУШМИН, В. Я. КИРПОТИН,
С. А. МАКАШИН *(главный редактор)*, Е. И. **ПОКУСАЕВ,**
К. И. ТЮНЬКИН

Издание осуществляется
совместно с Институтом русской литературы
(Пушкинский дом) Академии наук СССР

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1971

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том одиннадцатый

*

БЛАГОНАМЕРЕННЫЕ РЕЧИ

1872—1876

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1971

Р1
С16

Подготовка текста
В. Н. Баскакова и *Д. М. Климовой*

Примечания
Т. Г. Динесман, Ф. Ф. Кузнецова,
С. А. Макашина

Оформление художника
И. ЖИХАРЕВА

7—3—1
Подп. изд.

БЛАГОНАМЕРЕННЫЕ РЕЧИ

К ЧИТАТЕЛЮ

Положение мое, как русского фрондёра, имеет ту выгоду, что оно оставляет мне много досужего времени. Никто от меня ничего не ждет, никто на меня не возлагает ни надежд, ни упований. Я не состою членом ни единого благотворительно-просветительного общества, ни одной издающей сто один том трудов комиссии. Я не обязан распространять ни грамотность, ни малограмотность, ни даже безграмотность; ни полезных сведений, ни бесполезных. Никто не требует от меня ни проектов, ни рефератов, ни даже присутствия при праздновании годовщин, пятилетий, десятилетий и т. д. Я просто скромный обыватель, пользующийся своим свободным временем, чтобы посещать знакомых и беседовать с ними, и совершенно довольный тем, что начальство не видит в этом занятии ничего предосудительного.

Знакомых у меня тьма-тьмущая, и притом самых разношерстных. Не забудьте, что я ничего не ищу, кроме «благих начинаний», а так как едва ли сыщется в мире человек, в котором не притаилась бы хотя маленькая соринка этого добра, то понятно, какой перепутанный калейдоскоп должен представлять круг людей, в котором я обращаюсь. Я жму руки пустоплясам всех партий и лагерей, и не только не чувствую при этом никакой неловкости, но даже вполне убежден, что русский фрондёр, у которого нет ничего на уме, кроме «благих начинаний» (вроде, например, земских учреждений), иначе не может и поступать. В свою очередь, и знакомые мои, зная, что у всякого из них есть хоть какой-нибудь пунктик, которому я сочувствую, тоже не оставляют меня своими рукожатиями. И таким образом мы живем. Приятели сходятся у меня и диспутируют. Один (аристократ) говорит, что хорошо бы обуз-

дать мужика, другой (демократ) возражает, что мужика обуздывать нечего, ибо он «предан», а что следует ли, нет ли обуздать дворянское вольномыслие; третий (педагог), не соглашаясь ни с первым, ни со вторым, выражает такое мнение, что ни дворян, ни мужиков обуздывать нет надобности, потому что дворяне — опора, а мужики — почва, а следует обуздать «науку». Я слушаю эти диспуты и благодушествую. Выслушаю одного — кажется, что у него есть кусочек «благих начинаний», выслушаю другого — кажется, и у него есть кусочек «благих начинаний». Ибо, повторяю: нет в мире выжатого лимона, из которого нельзя было бы выжать хоть капельку «благих начинаний». А что, думаю я себе, подберу-ка я эти кусочки: может быть, что-нибудь из них да и выйдет!

Я знаю, впрочем, что не выйдет ничего. Я знаю даже, что привычка подбирать дрянные кусочки — привычка негодная, изнурительная. Она держит человека между двух стульев и отнимает у него всякую возможность действовать в каком бы то ни было смысле. Когда кусочков наберется много, то из них образуется не картина и даже не собрание полезных материалов, а простая куча хламу, в которой едва ли можно разобрать, что куда принадлежит. Рыться в этой куче, вытаскивать наудачу то один, то другой осколок — работа унизительная и совершенно бесплодная. Я знаю все это, но и за всем тем — не только остаюсь при этой дурной привычке, но и виновным в преднамеренном бездельничестве признать себя не могу.

Во-первых, скажите, на какой такой «образ действия» я, русский фрондёр, могу претендовать? Агитировать — запрещено; революции затевать — тем паче. Везде, куда бы я ни сунул свой нос, я слышу: что вы! куда вы! да имейте же терпение! разве вы не видите... благие начинания! И это говорят мне без смеха, без озорства, без малейшего желания мистифировать меня. Напротив того, я чувствую, что субъект, произносящий эти предостережения, сам ходит на цыпочках, словно боится кого разбудить; что он серьезно чего-то ждет, и в ожидании, пока придет это «нечто», боится не только за будущее ожидаемого, но и за меня, фрондёра, за меня, который непрошеным участием может скомпрометировать и «дело обновления», и *самого себя*. Что должен я ощутить при виде этой благоговейной оторопи, если б даже в голове моей и вполне созрела потрясательная решимость агитировать страну по вопросу о необходимости ясного закона о потравах? Очевидно, что прежде всего я должен ощутить ту же благоговейную оторопь, которую ощущает и предостерегающий меня субъект. Он ходит на цыпочках — стало быть, и впрямь что-нибудь да готовится. Он так благожелательно предостерегает

меня от опасных увлечений — стало быть, и впрямь я рискую услышать: «фюить!», если не буду держать руки по швам. Оторопелый, пораженный пророческим тоном предостережений, я впадаю в недоумение и инстинктивно останавливаю свой бег. За минуту я горел агитационною горячкою и готов был сложить голову, лишь бы добиться «ясного» закона о потравах; теперь — я значительно хладнокровнее смотрю на это дело и рассуждаю о нем несколько иначе. «А что, в самом деле,— говорю я себе,— ежели потравы могут быть устранены без агитации, то зачем же агитировать? Ежели нужно только «подождать», то отчего же не «подождать»?» Все это до того резонно, что так и кажется, будто кто-то стоит и подталкивает сзади: подожди да подожди! И вот я начинаю ждать, не зная, чего собственно я жду и когда должно произойти то, что я жду. А так как, в ожидании, надобно же мне как-нибудь провести время, то я располагаюсь у себя в кабинете и выслушиваю, как один приятель говорит: надо обуздать мужика, а другой: надо обуздать науку. Скажите, могу ли я поступить иначе?

Во-вторых, как это ни парадоксально на первый взгляд, но я могу сказать утвердительно, что все эти люди, в кругу которых я обращаюсь и которые взаимно видят друг в друге «политических врагов»,— в сущности, совсем не враги, а просто бестолковые люди, которые не могут или не хотят понять, что они болтают совершенно одно и то же. Как ни стараются они провести между собою разграничительную черту, как ни уверяют друг друга, что такие-то мнения может иметь лишь несомненный жулик, а такие-то — бесспорнейший идиот, мне все-таки сдается, что мотив у них один и тот же, что вся разница в том, что один делает руладу вверх, другой же обращает ее вниз, и что нет даже повода задумываться над тем, кого целесообразнее обуздать: мужика или науку. Все это одинаково целесообразно в том смысле, что про всю эту «целесообразность» одинаково целесообразно можно сказать: «наплевать»... Следовательно, если я и могу быть в чем-нибудь обвинен, то единственно только в том, что вступаю в сношение с людьми, разговаривающими об обуздании вообще, и выслушиваю их. Но ведь не бежать же мне, в самом деле, на необитаемый остров, чтобы скрыться от них!

Я родился в атмосфере обуздания, я таинственною пуповиной прикреплен к людям обуздания. От ранних лет детства я не слышу иных разговоров, кроме разговоров об обуздании (хотя самое слово «обуздание» и не всегда в них упоминается), и полагаю, что эти же разговоры проводят меня и в могилу. Все относящееся до обуздания вошло, так сказать,

в интимную обстановку моей жизни, примелькалось, как плоский русский пейзаж, прислушалось, как сказка старой няньки, и этого, мне кажется, совершенно достаточно, чтоб объяснить то равнодушие, с которым я отношусь к обуздывательной среде и к вопросам, ее волнующим. Я до такой степени *привык* к ним, что, право, не приходит даже на мысль вдумываться, в чем собственно заключаются те тонкости, которыми один обуздательный проект отличается от другого такового ж. Спросите меня, что̀ либеральнее: обуздывать ли человечество при помощи земских управ или при помощи особых о земских провинностях присутствий,— клянусь, я не найдусь даже ответить на этот вопрос. Я не понимаю, в чем состоит сущность его, не могу себе объяснить, зачем тут привлечен либерализм? Мне кажется, что оба решения, на которые указывает вопрос, одинаково стоят на почве обуздания и различаются между собою лишь совершенно недоступною для меня диалектическою тонкостью. Поэтому я с одинаковым равнодушием протягиваю руку как сторонникам земских управ, так и защитникам особых о земских повинностях присутствий. Ведь и те и другие одинаково говорят мне об «обуздании» — зачем же я буду целоваться с одним и отворачиваться от другого из-за того только, что первый дает мне на копейку менее обуздания, нежели второй? Лучше я дам каждому по копейке своих — и пускай себе они сотрясают воздух рассказами о преимуществах земских управ над особыми о земских повинностях присутствиями и наоборот...

Очень возможно, что я ошибаюсь, но мне кажется, что все эти частные попытки, направленные или к тому, чтобы на вершок укоротить принцип обуздания, или к тому, чтобы на вершок удлинить его, не имеют никакого существенного значения. Сегодня на вершок короче, завтра — на вершок длиннее: все это еще больше удерживает дело на почве внезапностей и колебаний, нимало не разъясняя самого принципа обуздания. Невольно приходит на мысль: если так много спорят об укорачиваниях и удлинениях принципа, то почему же не перенести спор прямо на самый принцип?

Миросозерцание громадного большинства людей всё сплошь зиждется на принципе «обуздания». Я знаю, что многие удивятся, услышав, что к ним применяют эпитет «обуздывателей», но удивятся единственно потому, что слишком уж буквально понимают слово «обуздание». Вдумайтесь в смысл этого выражения, и вы увидите, что «обуздание» совсем не равносильно тому, что на местном жаргоне известно под именем «подтягивания», и что действительное значение этого выражения гораздо обширнее и универсальнее. Стоит только

припомнить сказки о «почве» со всею свитою условных форм общежития, союзов и проч., чтобы понять, что вся наша бедная жизнь замкнута тут, в бесчисленных и перепутанных разветвлениях принципа обуздания, из которых мы тщетно усиливаемся выбраться то с помощью устного и гласного судопроизводства, то с помощью переложения земских повинностей из натуральных в денежные... Увы! мы стараемся устроиться как лучше, мы враждуем друг с другом по вопросу о переименовании земских судов в полицейские управления, а в конце концов все-таки убеждаемся, что даже передача следственной части от становых приставов к судебным следователям (мера сама по себе очень полезная) не избавляет нас от тупого чувства недовольства, которое и после учреждения судебных следователей, по-прежнему, продолжает окрашивать все наши поступки, все житейские отношения наши.

Ясно, что тут скрывается крупное недоразумение, довольно близкое ко лжи, разрешение которого совершенно не зависит от того, чью руку, помещичью или крестьянскую, держат мировые посредники. Как же поступить в данном случае? Что̀ предпринять, чтобы освободиться от чувства недовольства, отравляющего жизнь? Уж не начать ли с того, на что большинство современных «дельцов» смотрит именно как на ненужное и непрактичное? Не начать ли с ревизии самого принципа обуздания, с разоблачения той массы лганья, которая непроницаемым облаком окружает этот принцип и мешает как следует рассмотреть его?

Говоря по совести, это именно самое подходящее средство. Я совсем не отрицатель. Я не отвергаю той пользы, которая может произойти для человечества от улучшения быта становых приставов или от того, что все земские управы будут относиться к своему делу с рачительностью. Но я стою на одном: что частные вопросы не имеют права загромождать до такой степени человеческие умы, чтобы исключать вопросы общие. Я думаю даже, что ежели в обществе существует вкус к общим вопросам, то это не только не вредит частностям, но даже помогает им. При освещении общих вопросов и вопрос о всеобщей воинской повинности будет разрешен сознательнее, и вопрос об устройстве земских больниц получит более рациональное осуществление. Иногда кажется: вот вопрос не от мира сего, вот вопрос, который ни с какой стороны не может прикасаться к насущным потребностям общества,— для чего же, дескать, говорить о таких вещах? Но ведь это вздор, любезный читатель! Это только жалкая уловка лгунов-дельцов! Сообразите только, возможное ли это дело! чтобы вопрос глубоко человеческий, вопрос, затрогивающий основные отно-

шения человека к жизни и ее явлениям, мог хотя на одну минуту оставаться для человека безынтересным, а тем более мог бы помешать ему устроиваться на практике возможно выгодным для себя образом,— и вы сами, наверное, скажете, что это вздор! Это до такой степени вздор, что даже мы, современные практики и дельцы, отмаливающиеся от общих вопросов, как от проказы,— даже мы, сами того не понимая, действуем не иначе, как во имя тех общечеловеческих определений, которые продолжают теплиться в нас, несмотря на компактный слой наносного практического хлама, стремящегося заглушить их! Если б это было иначе, откуда же явились бы земские управы! И откуда получила бы тверская земская управа решимость ассигновать необходимые суммы для поддержания артельных сыроварен?

Как бы то ни было, но принцип обуздания продолжает стоять незыблемый, неисследованный. Он написан во всех азбуках, на всех фронтисписах, на всех лбах. Он до того незыблем, что даже говорить о нем не всегда удобно. Не потому ли, спрашивается, он так живуч, не потому ли о нем неудобно говорить, что около него ютятся и кормятся целые армии лгунов?

Итак, побеседуем о лгунах.

Лгуны, о которых идет речь и для которых «обуздание» представляет отправную точку всей деятельности, бывают двух сортов: лицемерные, сознательно лгущие, и искренние, фанатические.

Лицемерные лгуны суть истинные дельцы современности. Они лгут, как говорилось когда-то, при крепостном праве, «пур ле жанс», нимало не отрицая ненужности принципа обуздания в отношении к себе и людям своего круга. Они забрасывают вас всевозможными «краеугольными камнями», загромождают вашу мысль всякими «основами» и тут же, на ваших глазах, на камни паскудят и на основы плюют. В обществе эти люди носят название «дельцов», потому что они не прочь от компромиссов, и «добрых малых», потому что они всегда готовы на всякое двоедушие. И богу помолиться, и покощунствовать. Это ревнители тихого разврата, рыцари безделицы, показывающие свои патенты лишь таким же рыцарям, как и они, посетители «отдельных кабинетов», устроиватели всевозможных комбинаций на основании правила: «И волки сыты, и овцы целы», антреметтёры высшей школы, политические и нравственные кукушки, потихоньку кладущие свои яйца в чужие гнезда, при случае — разбойники, при случае — карманные воришки.

Лгуны искренние суть те утописты «обуздания», перед которыми содрогается даже современная, освоившаяся с лга-

нием действительность. Это чудища, которые лгут не потому, чтобы имели умысел вводить в заблуждение, а потому, что не хотят знать ни свидетельства истории, ни свидетельства современности, которые ежели и видят факт, то признают в нем не факт, а каприз человеческого своеволия. Они бросают в вас краеугольными камнями вполне добросовестно, нимало не помышляя о том, что камень может убить. Это угрюмые люди, никогда не покидающие марева, созданного их воображением, и с неумолимою последовательностью проводящие это марево в действительность. Всегда вооруженные, недоступные и неподкупные, они не останавливаются не только перед насилием, но и перед пустотою. «Если в результате наших усилий оказывается только пустота,— говорят они,— то, следовательно, оно не может иначе быть». И вновь начинают безумную работу данаид, совершая мимоходом злодеяния, вырывая крики ужаса и нимало не наполняя бездны. Лично каждый из этих господ может вызвать лишь изумление перед безграничностью человеческого тупоумия, изумление, впрочем, значительно умеряемое опасением: вот-вот сейчас налетит! вот сейчас убьет, сотрет с лица земли этот ураган бессознательного и тупоумного лга́ния, отстаивающий свое право убивать во имя какой-то личной «искренности», до которой никому нет дела и перед которой, тем не менее, сотни глупцов останавливаются с разинутыми ртами: это, дескать, «искренность»! — а искренность надобно уважать!

Вот теоретики «обуздания», вот те, которые с неслыханною наглостью держат в осаде человеческое общество. Если хотите знать, которая из указанных выше двух категорий лгунов кажется на мой взгляд более терпимою, я, не обинуясь, отвечу: лгуны сознательные, лицемерные. Лично, быть может, каждый из них во сто крат омерзительнее, нежели лгун-фанатик, но личный характер людей играет далеко не первостепенную роль в делах мира сего. Я от души уважаю искренность, но не люблю костров и пыток, которыми она сопровождается, в товариществе с тупоумием. Нет ничего ужаснее, как искренность, примененная к насилию, и общество, руководимое фанатиками лжи, может наверное рассчитывать на предстоящее превращение его в пустыню. Я предпочитаю лгуна-лицемера уже по тому одному, что он никогда не лжет до конца, но лжет и оглядывается. Хотя он тоже не прочь от пытки, но у него нет того устоя, который окружает пытку ореолом величия. У мелкого плута и сердце, и руки всегда короче, нежели у подлинного, искреннего душегуба. Вора закон посылает в смирительный дом, душегуба — на каторгу. Не потому он делает это различие, чтобы вор был более достоин уважения, а потому,

что он менее вреден. Наконец, лицемера-лгуна я могу презирать, тогда как в виду лгуна-фанатика мне ничего другого не остается, как трепетать. Как хотите, а право презирать все-таки хоть сколько-нибудь да облегчает меня...

Освободиться от «лгунов» — вот насущная потребность современного общества, потребность, во всяком случае, не менее настоятельная, как и потребность в правильном разрешении вопроса о дешевейших способах околки льда на волжских пристанях.

Убеждать теоретиков обуздания в необходимости ревизии этого принципа было бы, однако ж, совершенно напрасною тратой времени. Большинство из них (лгуны-лицемеры) не только не страдает от того, что общество изнемогает под игом насильно навязанных ему и не имеющих ни малейшего отношения к жизни принципов, но даже извлекает из общественной забитости известные личные удобства. Меньшинство же (лгуны-фанатики) хотя и подвергает себя обузданию, наравне с массою простецов, но неизвестно еще, почему люди этого меньшинства так сильно верят в творческие свойства излюбленного ими принципа, потому ли, что он влечет их к себе своими внутренними свойствами, или потому, что им известны только легчайшие формы его. Есть много постников, которые охотно держат пост, сопровождающийся постною стерляжьей ухою, но которые, наверное, совсем не так ретиво пропагандировали бы теорию умерщвления плоти, если б она осуществлялась для них в форме ржаного хлеба, приправленного лебедой.

На деле героем обуздания оказывается совсем не теоретик, а тот бедный простец, который несет на своих плечах все практические применения этого принципа. Он несет их без услад, которые могли бы обмануть его насчет свойств лежащего на нем бремени, без надежды на возможность хоть временных экскурсий в область запретного; несет потому, что вся жизнь его так сложилась, чтоб сделать из него живулю, способную выдерживать всевозможные обуздательные опыты. Он чтит все союзы, но чтит не постольку, поскольку они защищают его самого, а поскольку они ограждают других. Для него лично нет в мире угла, который не считался бы заповедным, хотя он сам открыт со всех сторон, открыт для всех воздействий, на изобретение которых так тороват досужий человеческий ум.

Вот для него-то именно и необходимы те разъяснения, о которых идет речь.

Нельзя себе представить положения более запутанного, как положение добродушного простеца, который изо всех сил сгибает себя под игом обуздания и в то же время чувствует, что жизнь на каждом шагу так и подмывает его выскользнуть из-под этого ига. Строго обдуманной теории у него нет; он никогда не пробовал доказать себе необходимость и пользу обуздания; он не знает, откуда оно пришло и как сложилось; для него это просто modus vivendi [1], который он всосал себе вместе с молоком матери. С другой стороны, он никогда не рассуждал и о том, почему жизнь так настойчиво подстрекает его на бунт против обуздания; ему сказали, что это происходит оттого, что «плоть немощна» и что «враг силен»,— и он на́ слово поверил этому объяснению. Ни в том, ни в другом случае опереться ему все-таки не на что. Он не имеет надежной крепости, из которой мог бы делать набеги на бунтующую плоть; не имеет и укромной лазейки, из которой мог бы послать «бодрому духу» справедливый укор, что вот как ни дрянна и ни немощна плоть, а все-таки почему-нибудь да берет же *она над тобою*, «*бодрым духом*», верх. Словом сказать, он открыт и беззащитен со всех сторон...

Но как ни жалка эта всесторонняя беззащитность, а для него, простеца, неизвестно зачем живущего, неизвестно к чему стремящегося, даже и она служит чем-то вроде спасительной пристани. Устраните из жизни простеца элемент бессознательности, и вы увидите перед собою человека, отданного в жертву непрерывному ужасу. Ужас — ввиду безрадостности существования, со всех сторон опутанного обузданием, и ужас же — ввиду угрызений, которые необходимо должны отравить торжество немощной плоти над бодрым духом. Куда ни оглянись — везде огненная геенна. Ясно, что при такой обстановке совсем невозможно было бы существовать, если б не имелось в виду облегчительного элемента, позволяющего взглянуть на все эти ужасы глазами пьяного человека, который готов и море переплыть, и с колокольни соскочить без всякой мысли о том, что из этого может произойти. Ясно, что только одна бессознательность может выручить простеца в его затруднительном положении. Если человек беззащитен, если у него нет средств бороться ни за, ни против немощной плоти, то ему остается только безусловно отдаться на волю гнетущей необходимости, в какой бы форме она ни представлялась. Исполнивши это, он, по крайней мере, освобождает себя от вменяемости перед судом собственной совести, от ужасов, которыми она грозит ему на каждом шагу. Подобно лунатику, он идет

---

[1] образ жизни.

навстречу препятствию, столь же чуждый сознательному намерению преодолеть его, как и сознательному опасению разбить себе лоб. Случись первое — он совершает подвиг без всякой мысли о его совершении; случись второе — он встречает смерть, как одну из внезапностей, сцеплением которых была вся его жизнь.

Но, скажут, быть может, многие, что же нам до того, сознательно или бессознательно примиряется человек с жизнью? Ведь дело не в том, в какой форме совершается это примирение, а в том, что оно, несмотря на форму, совершается до такой степени полно, что сам примиряющийся не замечает никакой фальши в своем положении! Ведь примирившийся счастлив — оставьте же его быть счастливым в его бессознательности! не будите в нем напрасного недовольства самим собою, недовольства, которое только производит в нем внутренний разлад, но в конце концов все-таки не сделает его ни более способным к правильной оценке явлений, из которых слагается ни для кого не интересная жизнь простеца, ни менее беззащитным против вторжения в эту жизнь всевозможных внезапностей.

Возражение это, прежде всего, не весьма нравственно, хотя по преимуществу слышится со стороны людей, считающих себя охранителями добрых нравов в обществе. В основании его лежат темные виды на человеческую эксплуатацию, которая, как известно, ничем так не облегчается, как нахождением масс в состоянии бессознательности. Во-вторых, если и есть основание допустить возможность сочетания счастия с бессознательностью, то счастье такого рода имеет столь же мало шансов на прочность, сколь мало имеет их и сама бессознательность. Последняя хотя и может служить примирителем между человеком и жизнью, но лишь до тех пор, покамест тому благоприятствует спокойно сложившаяся внешняя обстановка. С изменением обстановки, с вторжением в нее нового элемента, смягчающие свойства бессознательности истираются с поразительною быстротой, и услуги, доставляемые ею, делаются не только ничтожными, но и прямо назойливыми, почти омерзительными. Такого рода метаморфозы вовсе не редкость даже для нас; мы на каждом шагу встречаем мечущихся из стороны в сторону простецов, и если проходим мимо них в недоумении, то потому только, что ни мы, ни сами мечущиеся не даем себе труда формулировать не только источник их отчаяния, но и свойство претерпеваемой ими боли. А источник этот всегда один и тот же: это — непроизвольное прекращение состояния бессознательности.

Простец выносли́в — это правда. Покуда жизнь его идет

обычною прозябательною колеей, гнет обуздания остается для него почти нечувствительным. Но едва ли в целом мире найдется такое неосмысленное существование, которое можно было бы навсегда удержать на исключительно прозябательной колее. У самого простейшего из простецов найдется в жизни такая минута, которая разом выведет его из инерции, разобьет в прах его бессознательное благополучие и заставит безнадежно метаться на прокрустовом ложе обуздания. Вспомните, сколько в этом бедном существовании больных мест, которые так и напрашиваются на уязвление! Вспомните, что оно обставлено целою свитой азбучных афоризмов, из которых ни один не защищает, а, напротив того, представляет легко отворяющуюся дверь для всевозможных наездов! А между тем простец сжился с этими афоризмами, он чувствует себя сросшимся с ними, он по ним устроил всю свою жизнь! И вдруг является что-то нежданное, непредвиденное, вследствие чего он чувствует, что с него, не имеющего никакого понятия о самозащите, живьем сдирают наносную кожу, которую он искони считал своею собственною! Как поступит он в таком случае?

Нет сомнения, случись что-нибудь подобное с теоретиком-дельцом, он скажет себе: «Наплевать», и пойдет туда, куда укажет ему его личная выгода. Случись то же самое с теоретиком-фанатиком, он скажет себе: это дьявольское наваждение,— и постарается отбиться от него с помощью пытки, костров и т. д. Но простец в подобных случаях видит себя как в лесу. Он не может сказать себе: «Устрою свою жизнь по-новому», потому что он весь опутан афоризмами, и нет для него другого выхода, кроме изнурительного маячения от одного афоризма к другому. Он никогда ничего не ждал, ни к чему не готовился. Он самый процесс собственного существования выносил только потому, что не понимал ни причин, ни последствий своих и чужих поступков. И вдруг для него наступает момент какой-то загадочной ликвидации, в которой он ровно ничего не понимает. Жена сбежала с юнкером, сосед завладел полем, друг оказался предателем. «Что случилось? — в смущении спрашивает он себя,— не обрушился ли мир? не прекратила ли действие завещанная преданием общественная мудрость?» Но и мир, и общественная мудрость стоят неприкосновенные и нимало не тронутые тем, что в их глазах гибнет простец, которого бросила жена, которому изменил друг, у которого сосед отнял поле. Ничто не изменилось кругом, ничто не прекратило обычного ликования, и только он, злосчастный простец, тщетно вопиет к небу по делу о побеге его жены с юнкером, с тем самым юнкером, который при нем

столько раз и с таким искренним чувством говорил о святости семейных уз!

Понятно, как должен он быть изумлен. В том общем равнодушии, которое встречает его горе, он видит какой-то странный внутренний разлад, какую-то двойную, саму себя побивающую мораль. Мало того: самые поступки его жены, соседа, друга кажутся ему загадочными. Эти люди совсем не отрицатели и протестанты; напротив того, они сами не раз утверждали его в правилах общежития, сами являлись пламенными защитниками тех афоризмов, которыми он, с их же слов, окружил себя. Что̀ побудило их уклониться от прямой дороги, не стесняясь даже тем, что это уклонение разбивает чье-то существование? Нет ли в их поступке двойной морали, притворства, порочного действия, за которые их должны были бы преследовать угрызения совести?

Увы! тут вовсе нет никакой двойной морали, а что касается до угрызений совести, то самая надежда на них оказывается пустым ребячеством. Тут была простая мораль «пур ле жанс», которую ни один делец обуздания никогда не считает для себя обязательною и в которой всегда имеется достаточно широкая дверь, чтобы выйти из области азбучных афоризмов самому и вывести из нее своих присных. Если простец не видит этой двери, тем хуже для него, но для дельца-теоретика эта слепота представляет даже выгоду, ибо устраняет толкотню. Он свободно делает через эту дверь свои экскурсии и свободно же возвращается через нее в область афоризмов, когда это нужно для подкрепления морали «пур ле жанс». Как истинно развитой человек, он гуляет и тут, и там, никогда не налагая на себя никаких уз, но в то же время отнюдь не воспрещая, чтобы другие считали для себя наложение уз полезным. Напротив того, он охотно даже поддерживает вкус к узам, ибо вкус этот развязывает ему руки, расчищает перед ним больше места...

Но как ни просто такое объяснение обстоятельства, смутившего жизнь бедного простеца, для него оно все-таки представляет тарабарскую грамоту. Он не понимает, что причину поразившей его смуты составляет особенная, не имеющая ничего общего с жизнью теория, которую сочинители ее, нимало не скрываясь, называют моралью «пур ле жанс» и которую он, простец, принял за нечто вполне серьезное. Видя, что исконные регуляторы его жизни поломаны, он не задается мыслью: что ж это за регуляторы, которые ломаются при первом прикосновении к ним? не они ли именно и измяли, и скомкали всю его жизнь? — но прямо и искренно чувствует себя несчастливым. Несчастие вызывает в нем протест, но протест настолько

смутный, насколько смутен и источник, породивший его. От изумления он переходит к унынию и отчаянию. Он мечется как в предсмертной агонии; он предпринимает тысячу действий, одно нелепее и бессильнее другого, и попеременно клянется то отомстить своим обидчикам, то самому себе разбить голову...

Вот вероятный практический результат, к которому в конце концов должен прийти самый выносливый из простецов при первом жизненном уколе. Ясно, что бессознательность, которая дотоле примиряла его с жизнью, уже не дает ему в настоящем случае никаких разрешений, а только вносит элемент раздражения в непроницаемый хаос понятий, составляющий основу всего его существования. Она не примиряет, а приводит к отчаянию.

Ужели зрелища этого бессильного отчаяния не достаточно, чтоб всмотреться несколько пристальнее в эту спутанную жизнь? чтоб спросить себя: «Что же, наконец, скомкало и спутало ее? что сделало этого человека так глубоко неспособным к какому-либо противодействию? что поставило его в тупик перед самым простым явлением, потому только, что это простое явление вышло из размеров рутинной колеи?»

Допустим, однако ж, что жизнь какого-нибудь простеца не настолько интересна, чтоб вникать в нее и сожалеть о ней. Ведь простец — это незаметная тля, которую высший организм ежемгновенно давит ногой, даже не сознавая, что он что-нибудь давит! Пусть так! Пусть гибнет простец жертвою недоумений! Пусть осуществляется на нем великий закон борьбы за существование, в силу которого крепкий приобретает еще бо́льшую крепость, а слабый без разговоров отметается за пределы жизни!

Но не забудьте, что имя простеца — легион и что никакой закон, как бы он ни был бесповоротен в своей последовательности, не в силах окончательно стереть этого легиона с лица земли. Простец нарождается беспрерывно, как та тля, которой он служит представителем в человеческом обществе и которую не передавить и не истребить целому сонмищу хищников. Не простецов, не тли, а «крепких» мало, да притом же на современном общественном языке, по какому-то горькому извращению понятий, «крепким» называется совсем не тот, кто действительно борется за существование, а тот, кто, подобно кукушке, кладет свои яйца в чужие гнезда. Ужели же, хотя и виду того, что простец съедобен, что он представляет собою лучшую anima vilis [1], на которой может осуществляться закон

[1] «гнусную душу», то есть подопытное животное.

борьбы за существование,— ужели в виду хоть этих удобств найдется себялюбец из «крепких», настолько ограниченный, чтобы желать истребления «простеца» или его окончательного обессиления?

Надо сказать правду: нельзя указать ни одной книжки в литературе «крепких», где бы фантазии подобного рода нашли для себя сознательное выражение. Напротив того, все книжки свидетельствуют единогласно, что простец имеет столь же неотъемлемое право на существование, как и «крепкий», исключая, разумеется, тех случаев, когда закон борьбы, независимо от указаний филантропии, безжалостно посекает первого и щадит второго. Но, к сожалению, эта похвальная осмотрительность в значительной степени подрывается тем обстоятельством, что общее миросозерцание «крепких» столь же мало отличается цельностью, как и миросозерцание «простецов». Говоря по совести, оно не только лишено какой бы то ни было согласованности, но все сплошь как бы склеено из кусочков и изолированных теорий, из которых каждая питает саму себя, организуя таким образом как бы непрекращающееся вавилонское столпотворение.

От этого происходит, что едва, например, социологическая или позитивная теория успеют найти место для простеца, как теория теологическая или экономическая уже спешат отнять у него это место и указывают на другое. И, таким образом, за спорами, простец остается непристроенным. А тут, как бы на помощь смуте, является еще практика «крепких», которая уже окончательно смешивает шашки и истребляет даже последние крохи теоретической стыдливости. Теория говорит свое: нужно пристроить простеца, нужно освободить его от колебаний, которые тяготеют над его жизнью! — а практика *делает* свое, то есть служит самым обнаженным выражением людской ограниченности, не видящей впереди ничего, кроме непосредственных результатов, приобретаемых самолюбивою хищностью...

А между тем никто так не нуждается в свободе от призраков, как простец, и ничье освобождение не может так благотворно отозваться на целом обществе, как освобождение простеца.

Подумайте! Покуда «крепкий», благодушествуя, придумывает теории союзов — простец несет на себе все бремя действительного производительного труда. Покуда «крепкий» кладет свои яйца в чужое гнездо (увы! в гнездо того же простеца!) — простец обязывается устроить это гнездо, сделать его удобным для высиживанья чужих яиц. Но какая же может пойти на ум работа, если этот ум подавлен призраками, если

он вращается в какой-то нескончаемой пустоте, из которой нет другого выхода, кроме отчаяния? Подумайте, сколько тут теряется нравственных сил? а если нравственные силы нипочем на современном базаре житейской суеты, то переложите их на гроши и сообразите, как велик окажется недочет последних, вследствие одного того только, что простец, пораженный унынием, не видит ясной цели ни для труда, ни даже для самого существования?

О, теоретики пенкоснимательства! о, вы, которые с пытливостью, заслуживающей лучшей участи, допытываетесь, сколько грошей могло бы быть сбережено, если б суммы, отпускаемые на околку льда на волжских пристанях, были расходуемы более осмотрительным образом! Подумайте, не целесообразнее ли поступили бы вы, обратив вашу всепожирающую пенкоснимательную деятельность на исследование тех нравственных и материальных ущербов, которые несет человеческое общество, благодаря господствующим над ним призракам!

В ДОРОГЕ

Я ехал недовольный, измученный, расстроенный. В М***, где были у меня дела по имению, ничто мне не удалось. Дела оказались запущенными; мои требования встречали или прямой отпор, или такую уклончивость, которая не предвещала ничего доброго. Предвиделось судебное разбирательство, разъезды, расходы. Обладание правом представлялось чем-то сомнительным, почти тягостным.

— Очень уж вы, сударь, просты! — утешали меня мои м — ские приятели. Но и это утешение действовало плохо. В первый раз в жизни мне показалось, что едва ли было бы не лучше, если б про меня говорили: «Вот молодец! налетел, ухватил за горло — и делу конец!»

Дорога от М. до Р. идет семьдесят верст проселком. Дорога тряска и мучительна; лошади сморены, еле живы; тарантас сколочен на живую нитку; на половине дороги надо часа три кормить. Но на этот раз дорога была для меня поучительна. Сколько раз проезжал я по ней, и никогда ничто не поражало меня: дорога как дорога, и лесом идет, и перелесками, и полями, и болотами. Но вот лет десять, как я не был на родине, не был с тех пор, как помещики взяли в руки гитары и запели:

На реках вавилонских — тамо седохом и плакахом...—

и до какой степени всё изменилось кругом!

С тех пор и народ «стал слаб», и все мы оказались «просты... эх, как мы просты!», и «немец нас одолел!» Да, немец. «Долúт немец, да и шабаш!» — вопиют в один голос все кабатчики, все лабазники, все содержатели постоялых дворов. И вам ничего не остается делать, как согласиться с этим воплем, потому что вы видите собственными глазами и чуете сердцем, как всюду, и на земле и под землею, и на воде и под водою — всюду ползет немец. В этих коренных русских местах, где некогда попирали ногами землю русские угодники и благочестивые русские цари и царицы,— в настоящую минуту почти всевластно господствует немец. Он снимает рощи, корчует пни, разводит плантации, овладевает всеми промыслами, от которых, при менее черной сравнительно работе, можно ожидать более прибылей, и даже угрожает забрать в свои руки исконный здешний промысел «откармливания пеунов». И чем ближе вы подъезжаете к Троицкому посаду и к Москве, этому средоточию русской святыни, тем более убеждаетесь, что немец совсем не перелетная птица в этих местах, что он не на шутку задумал здесь утвердиться, что он устроивается прочно и надолго и верною рукой раскидывает мрежи, в которых суждено барахтаться всевозможным Трифонычам, Сидорычам и прочей неуклюжей белужине и сомовине, заспавшейся, опухшей, спившейся с круга.

— Чей это домик? — спрашиваю я, указывая на стоящий в стороне новенький, с иголочки, домик, кругом которого уже затеян молодой сад.

— Это Крестьян Иваныча! — отвечает ямщик,— он тут рощу у помещика купил. Вон он, лес-то! Ишь сколько повалил! Словно город, костров-то наставил!

Я смотрю по указываемому направлению и вижу, что вдали действительно раскинулось словно большое село. Это сложенные стопы бревен, тесу, досок, сажени всякого рода дров: швырковых, угольных, хворосту и т. д.

— Кто же этот Крестьян Иваныч?

— Немец. Он уж лет пять здесь орудует. Тощòй пришел, а теперь, смотри, какую усадьбу взбодрил!

— Хороший человек?

— Душа-человек. Как есть русский. И не скажешь, что немец. И вино пьет, и сморкается по-нашему; в церковь только не ходит. А на работе — дошлый-предошлый! все сам! И хозяйка у него — все сама!

— А дорого за рощу дал?

— Пустое дело. Почесть что задаром купил. Иван Матвеич, помещик тут был, господин Сибиряков прозывался. Крестьян-то он в казну отдал. Остался у него лесок — сам-то он в

него не заглядывал, а лесок ничего, хоть на какую угодно стройку гож! — да болотце десятин с сорок. Ну, он и говорит, Матвей-то Иваныч: «Где мне, говорит, с этим дерьмом возжаться!» Взял да и продал Крестьян Иванычу за бесценок. Владай!

— Отчего же свои крестьяне не купили, коли дешево?

— А крестьяне покудова проклажались, покудова что... Да и засилья настоящего у мужиков нет: всё в рассрочку да в годы — жди тут! А Крестьян Иваныч — настоящий человек! вероятный! Он тебе вынул бумажник, отсчитал денежки — поезжай на все на четыре стороны! Хошь — в Москве, хошь — в Питере, хошь — на теплых водах живи! Болотце-то вот, которое просто в придачу, задаром пошло, Крестьян Иваныч нынче высушил да засеял — такая ли трава расчудесная пошла, что теперича этому болотцу и цены по нашему месту нет!

— Однако этот Крестьян Иваныч, если в засилье взойдет, он у вас скоро с лесами-то порешит!

— Это ты насчет того, что ли, что лесов-то не будет? Нет, за им без опаски насчет этого жить можно. Потому, он умный. Наш русский — купец или помещик — это так. Этому дай в руки топор, он все безо времени сделает. Или с весны рощу валить станет, или скотину по вырубке пустит, или под покос отдавать зачнет,— ну, и останутся на том месте одни пеньки. А Крестьян Иваныч — тот с умом. У него, смотри, какой лес на этом самом месте лет через сорок вырастет!

Едем еще верст пять-шесть; проезжаем мимо усадьбы. Большой каменный двухэтажный дом, с башнями по бокам и вышкой посередине; штукатурка местами обвалилась; направо и налево каменные флигеля, службы, скотные и конные дворы, оранжереи, теплицы; во все стороны тянутся проспекты, засаженные столетними березами и липами; сзади — темный, густой сад; сквозь листву дерев и кустов местами мелькает стальной блеск прудов. И дом, и сад, и проспекты, и пруды — все запущено, все заглохло; на всем печать забвения и сиротливости.

— Чья усадьба?

— Величкина Павла Павлыча была, а нынче Федор Карлыч купил.

— Какой Федор Карлыч?

— Немец. Сибирян (Зильберман) прозывается. Хороший барин. Умный.

— Отчего же у него так запущено? — удивляетесь вы, уже безотчетно подчиняясь какому-то странному внушению, вследствие которого выражения «немец» и «запущенность» вам самим начинают казаться несовместимыми, тогда как та же за-

пущенность показалась бы совершенно естественною, если б рядом с нею стояло имя Павла Павловича господина Величкина.

— Только по весне купил. Он верхний-то этаж снести хочет. Ранжереи тоже нарушил. Некому, говорит, здесь этого добра есть. А в ранжереях-то кирпича одного тысяч на пять будет.

— А много денег отдал?

— Сибирян-то? Задаром взял. Десятин с тысячу места здесь будет, только все лоскутками: в одном месте клочок, в другом клочок. Ну, Павел Павлыч и видит, что возжаться тут не из чего. Взял да на круг по двадцать рублей десятину и продал. Ан одна усадьба кирпичом того стоит. Леску тоже немало, покосы!

— Да что же, наконец, за крайность была отдавать за бесценок?

— А та и крайность, что ничего не поделаешь. Павел-то Павлыч, покудова у него крепостные были, тоже с умом был, а как отошли, значит, крестьяне в казну — он и узнал себя. Остались у него от надела клочочки — сам оставил: всё получше, с леском, местечки себе выбирал — ну, и не соберет их. Помаялся, помаялся — и бросил. А Сибирян эти клочочки все к месту пристроит.

Еще десять верст — впереди речка. На речке плотина, слышен шум падающей воды, двигающихся колес; на берегу, в лощинке, ютится красивая, вновь выстроенная мельница.

— Чья мельница?

— Была мельница — теперь фабричка. Адам Абрамыч купил. Увидал, что по здешнему месту молоть нечего, и поворотил на фабричку. Бумагу делает.

Я уже не спрашиваю, кто этот Адам Абрамович и за сколько он приобрел мельницу. Я знаю. Но мною всецело овладевает вопрос: и это земля, которую некогда прославили чудеса русских угодников! Земля, которую некогда попирали стопы благочестивых царей и благоверных цариц русских, притекавших сюда, под тихую сень святых обителей, отдохнуть от царственных забот и трудов и излить воздыхания сокрушенных сердец своих! Это ужасно! Ведь он, наконец, жид, этот Адам Абрамович! Непременно он жид! Жид — и где? в каком месте?!

А вот кстати, в стороне от дороги, за сосновым бором, значительно, впрочем, поредевшим, блеснули и золоченые главы одной из тихих обителей. Вдали, из-за леса, выдвинулось на простор темное плёсо монастырского озера. Я знал и этот монастырь, и это прекрасное, глубокое рыбное озеро! Какие

водились в нем лещи! и как я объедался ими в годы моей юности! Вяленые, сушеные, копченые, жареные в сметане, вареные и обсыпанные яйцами — во всех видах они были превосходны!

— Озеро-то у монастыря нынче Иван Карлыч снял! — оборачивается ко мне ямщик.

— Что ты?

— Истинно. Прежде всё русским сдавали, да, слышь, безо времени рыбу стали ловить,— ну, и выловили всё. Прежде какие лещи водились, а нынче только щурята да голавль. Ну, и отдали Иван Карлычу.

Еще удар чувствительному сердцу! Еще язва для оскорбленного национального самолюбия! Иван Парамонов! Сидор Терентьев! Антип Егоров! Столпы, на которых утверждалось благополучие отечества! Вы, в три дня созидавшие и в три минуты разрушавшие созданное! Где вы? Где мрежи, которыми вы уловляли вселенную? Ужели и они лежат заложенные в кабаке и ждут покупателя в лице Ивана Карлыча? Ужели и ваши таланты, и ваша «удача», и ваше «авось», и ваше «небось» — все, все погибло в волнах очищенной?

— Нынче русские только кабаками занимаются,— как бы отвечает ямщик на мою тайную мысль,— а прочее все к немцам отошло.

— Но ведь не все же кабаками занимаются! Прочие-то чем же нибудь да живут?

— А прочие — кто невинно падшим объявился, а кто в приказчики к немцу нанялся. Ничего — немцы нашими не гнушаются покудова. Прохора-то Петрова, чай, знаете?

— Это Голубчикова-то?

— Ну вот, его самого. Теперь он у Адама Абрамыча первый человек состоит. И у него своя фабричка была подле Адам Абрамычевой; и тоже пофордыбачил он поначалу, как Адам-то Абрамыч здесь поселился. Я-ста да мы-ста, да куда-ста кургузому против нас устоять! Ан через год вылетел. Однако Адам Абрамыч простил. Нынче Прохор-то Петров у него всем делом заправляет — оба друг дружкой не нахвалятся.

Мы едем с версту молча. Наконец ямщик снова оборачивается ко мне.

— Я вот что̀ думаю,— говорит он,— теперича я ямщик, а задумай немец свою тройку завести — ни в жизнь мне против его не устоять. Потому, сбруйка у него аккуратненькая, животы не мученые, тарантасец покойный — едет да посвистывает. Ни он лошадь не задергает, ни он лишний раз кнутом ее не хлестнет — право-ну! Намеднись я с Крестьян Ивановичем в Высоково на базар ездил, так он мне: «Как это вы,

русские, лошадей своих так калечите? говорит,— неужто ж, говорит, ты не понимаешь, что лошадь твоя тебе хлеб дает?» Ну, а нам как этого не понимать? Понимаем!

— Ну, и что ж?

— Известно, понимаем. Я вот тоже Крестьяну-то Иванычу и говорю: «А тебя, Крестьян Иваныч, по зубам-то, верно, не чищивали?» — «Нет, говорит, не чищивали».— «Ну, а нас, говорю, чистили. Только и всего». Эй, вы, колелые!

Мы с версту мчимся во весь дух. Ямщик то и дело оглядывается назад, очевидно с желанием уловить впечатление, которое произведет на меня эта безумная скачка. Наконец лошади мало-помалу начинают сами убавлять шагу и кончают обыкновенною ленивою рысью.

— Уж так нынче народ слаб стал! так слаб! — произносит наконец ямщик, как бы вдруг открывая предо мной свою заветную мысль.

— А что?

— Это чтобы обмануть, обвесить, утащить — на все первый сорт. И не то чтоб себе на пользу — всё в кабак! У нас в М. девятнадцать кабаков числится — какие тут прибытки на ум пойдут! Он тебя утром на базаре обманул, ан к полудню, смотришь, его самого кабатчик до нитки обобрал, а там, по истечении времени, гляди, и у кабатчика либо выручку украли, либо безменом по темю — и дух вон. Так оно колесом и идет. И за дело! потому, дураков учить надо. Только вот что диво: куда деньги деваются, ни у кого их нет!

— А немцы на что?

— И то правда. Денежка свое место знает. Ползком-ползком, а доползет-таки до хозяина!

Опять восклицание «эй, вы, колелые!» и опять скачка.

— А вон и Пчельники! вон на горе-то!

В Пчельниках кормежка.

Восклицание «уж так нынче народ слаб стал!» составляет в настоящее время модный припев градов и весей российских. Везде, где бы вы ни были,— вы можете быть уверены, что услышите эту фразу через девять слов на десятое. Вельможа в раззолоченных палатах, кабатчик за стойкой, земледелец за сохою — все в одно слово вопиют: «Слаб стал народ!» То же самое услышали мы и на постоялом дворе.

Жена содержателя двора, почтенная и деятельнейшая женщина, была в избе одна, когда мы приехали; прочие члены семейства разошлись: кто на жнитво, кто на сенокос. Изба была

чистая, светлая, и все в ней глядело запасливо, полною чашей. Меня накормили отличным ситным хлебом и совершенно свежими яйцами. За чаем зашел разговор о хозяйстве вообще и в частности об огородничестве, которое в здешнем месте считается главным и почти общим крестьянским промыслом.

— Нет нынче прежней обòщи! — говорила хозяйка, вынимая из печи лопатой небольшие румяные хлебцы,— горохи — и те против прежнего наполовину родиться стали!

— Отчего же? земля, что ли, отощала?

— Нет, и не земля, а народ стал слаб. Ах, как слаб нынче народ!

Через час пришел с покоса хозяин, а за ним собрались и остальные члены семейства. Началось бесконечное чаепитие, под конец которого из чайника лилась только чуть-чуть желтоватая вода.

— Я прежде пар триста пеунов в Питер отправлял,— говорил хозяин,— а прошлой зимой и ста пар не выходил!

— Невыгодно, что ли?

— Нет, выгода должна быть, только птицы совсем ноне не стало. А ежели и есть птица, так некормна, проестлива. Как ты ее со двора-то у мужичка кости да кожа возьмешь — начника ее кормить, она самоё себя съест.

— Отчего ж это?

— Да оттого, что народ стал слаб. Слаб нынче народ, ни нà что не похоже!

Хозяева отобедали и ушли опять на работы. Пришел пастух, который в деревнях обыкновенно кормится по ряду то в одной крестьянской избе, то в другой. Ямщик мой признал в пастухе знакомого, который несколько лет сряду пас стадо в М.

— Ты что же от нас ушел, Мартын?

— У вас в М. дверей у кабаков больно много.

— А ты бы не во всякую попадал!

— Да, убережешься у вас! разве я один! Нынче и весь народ вообще слаб стал.

— Уж так слаб! так слаб! — вторили пастух, ямщик и хозяйка.

Частое повторение этой фразы подействовало на меня раздражительно. Ужели же, думалось мне, достаточно поставить перед глазами русского человека штоф водки, достаточно отворить дверь кабака, чтоб он тотчас же растерялся, позабыл и о горохе, и о пеунах, и даже о священной обязанности бодро и неуклонно пасти вверенное ему стадо коров! Нет, тут что-нибудь да не так. Это выдумали клеветники русского народа или, по малой мере, противники ныне действующей акцизной

системы. Допустим, что водка имеет притягивающую силу, но ведь не сама же по себе, а разве в качестве отуманивающего, одуряющего средства. Некуда деваться, не об чем думать, нечего жалеть, не для чего жить — в таком положении водка, конечно, есть единственное средство избавиться от тоски и гнетущего однообразия жизни. Зачем откармливать пеунов? зачем растить горохи? Вот хозяин постоялого двора, который скупает пеунов и горохи, тот, конечно, может дать ясный ответ на эти вопросы, потому что пеуны и горохи дают ему известный барыш. Но ведь он и не «слаб». А мужик, то есть первый производитель товара,— он ничего перед собой не видит, никакой политико-экономической игры в спрос и предложение не понимает, барышей не получает, и потому может сказать только: «наплевать» — и ничего больше. Чтобы предаться откармливанию пеунов абсолютно, трансцендентально и бескорыстно, надо, по малой мере, хоть азбуку политической экономии знать; но этого-то знания именно у нас и нет. Оттого пеуны выходят некормные, а горохи плохие. Прежде, когда русская политическая экономия была в заведовании помещиков, каких индеек выкармливали — подумать страшно! Теперь, когда политическая экономия перешла в руки мужиков, самое название индейки грозит сделаться достоянием истории. «Индейка,— объявляет мужик прямо,— птица проестливая, дворянская, мужику кормить ее не из чего». Но ради самого бога! Кто же будет откармливать индеек?

Нет, хозяин постоялого двора был неправ, объясняя некормность нынешних пеунов так называемою «слабостью» русского народа. И прежде крестьянская птица была тоща и хила, и нынче она тоща и хила; разведением же настоящей, сильной и здоровой птицы занимался исключительно помещик, у которого были и надлежащие приспособления, чтоб сделать индейку жирною, пухлою, белою. «Уехал на теплые воды» помещик — исчезла и птица; но погодите, имейте терпение — птица будет! Придет Крестьян Иваныч — и таких представит индеек, что сам Иван Федорович Шпонька — и тот залюбуется ими!

То же самое должно сказать и о горохах. И прежние мужицкие горохи были плохие, и нынешние мужицкие горохи плохие. Идеал гороха представлял собою крупный и полный помещичий горох, которого нынче нет, потому что помещик уехал на теплые воды. Но идеал этот жив еще в народной памяти, и вот, под обаянием его, скупщик восклицает: «Нет нынче горохов! слаб стал народ!» Но погодите! имейте терпение! Придет Карл Иваныч и таких горохов представит, каких и во сне не снилось помещикам!

Остается, стало быть, единственное доказательство «слабости» народа — это недостаток неуклонности и непреоборимой верности в пастьбе сельских стад. Признаюсь, это доказательство мне самому, на первый взгляд, показалось довольно веским, но, по некотором размышлении, я и его не то чтобы опровергнул, но нашел возможным обойти. Смешно, в самом деле, из-за какого-нибудь десятка тысяч пастухов обвинить весь русский народ чуть не в безумии! Ну, запил пастух,— ну, и смените его, ежели не можете простить!

Но вот и опять дорога. И опять по обеим сторонам мелькают всё немцы, всё немцы. Чуть только клочок поуютнее, непременно там немец копошится, рубит, колет, пилит, корчует пни. И всё это только еще пионеры, разведчики, за которыми уже виднеется целая армия.

— А позволь, твое благородие, сказать, что̀ я еще думаю! — вновь заводит речь ямщик,— я думаю, что мы против этих немцев очень уж просты — оттого и задачи нам нет.

— То есть, что же ты хочешь этим сказать?

— Немец — он умный. Он из пятиалтынного норовит целковых наделать. Ну, и знает тоже. Землю-то он сперва пальцем поковыряет да на языке попробует, каков у ней скус. А мы до этого не дошли... Просты.

Час от часу не легче. То слабы, то есть пьяны, то просты, то есть... Мы просты! Мы, у которых сложилась даже пословица: «простота хуже воровства». Не верю!

И я невольно припомнил, как м — ские приятели говорили мне:

— Уж очень вы, сударь, просты! ах, как вы просты!

И не одно это припомнил, но и то, как я краснел, выслушивая эти восклицания. Не потому краснел, чтоб я сознавал себя дураком, или чтоб считал себя вправе поступать иначе, нежели поступал, а потому, что эти восклицания напоминали мне, что я *мог поступать иначе,* то есть с выгодою для себя и в ущерб другим, и что самый факт непользования этою возможностью у нас считается уже глупостью.

Стыдно сказать, но делается как-то обидно и больно, когда разом целый кагал смотрит на вас, как на дурака. Не самое название смущает, а то указывание пальцами, которое вас преследует на каждом шагу. Вы имели, например, случай обыграть в карты и не обыграли:

— Очень уж вы просты! ах, как вы просты!

Вас надули при покупке, вы дались в обман, не потому, чтоб были глупы, а потому, что вам на ум не приходило, чтобы в стране, снабженной полицией, мошенничество было одною из форм общежития:

— Очень уж вы просты! ах, как вы просты!

Вы управляли чужим имением и ничем не воспользовались в ущерб своему доверителю, хотя имели так называемые «случаи», «дела» и т. п.:

— Очень вы уж просты! ах, просты!

Нет, мы не просты. Ямщик соврал. Не прост тот народ, который к простоте относится с такою язвительностью, который так решительно бичует ее!

Но, может быть, мы недальновидны и невежественны? Может быть, мы самонадеянны и чересчур уж способны? Может быть, даровой прибыток нас соблазняет больше, нежели прибыток, сопряженный с трудом?

Таковы были мысли, с которыми я въехал в Р.

Между уездными городами Р. занимает одно из видных мест. В нем есть свой кремль, в котором когда-то ютилась митрополия; через него пролегает шоссе, которое, впрочем, в настоящее время не играет в жизни города никакой роли; наконец, по весне тут бывает значительная ярмарка. В двух верстах от города пролегает железная дорога и имеется станция.

Когда я приехал в Р., было около девяти часов вечера, но городская жизнь уже затихала. Всенощные кончались; последние трезвоны замирали на колокольнях церквей; через четверть часа улицы оживились богомольцами, возвращающимися домой; еще четверть часа — и город словно застыл.

Есть что-то удручающее в физиономии уездного города, оканчивающего свой день. Сумерки еще прозрачны, дневной зной только что улегся; из садов несутся благоухания; воздух мало-помалу наполняется свежестью, а движение уже покончено. Покончено резко, разом, словно оборвалось. Отовсюду несутся звуки запираемых железных засовов и болтов. В продолжение нескольких минут еще мелькают в окнах каменных купеческих домов огоньки, свидетельствующие о вечерней трапезе, а сквозь запертые ставни маленьких деревянных домиков слышится смутный говор. Но вот словно вздох пронесся над городом; все разом погасло и притихло. Мрак погустел; вы на улице одни; из-под ног что-то вдруг шмыгнуло...

До прихода поезда оставалось еще около четырех часов. В «почтовой гостинице», когда-то бойкой и оживленной, с проведением железной дороги все напоминало о запустении. В нумерах пахло прокислым и затхлым; загаженные мухами окна растворялись с трудом; на кровати, вместо тюфяка, лежал за-

масленный и притоптанный блин. Нельзя ни спать, ни бодрствовать. Я вышел на улицу и, не встретив там ни души, направился к озеру. Озеро в Р. неопрятное, низменное; вода в нем тухлая, никуда не пригодная; даже рыба имеет затхлый, болотный вкус; но вдали, по берегу, разбросано довольное количество сел, которые, в яркий солнечный день, представляют приятную панораму для глаз. Со стороны горожан набережная озера не в чести. Богатый люд удалился от нее поближе к кремлю и предоставил берег озера люду бедному: мелким чиновникам и мещанам. Маленькие деревянные домики вразброс лепятся по береговой покатости, давая на ночь убежище людям, трудно сколачивающим, в течение дня, медные гроши на базарных столах и рундуках и в душных камерах присутственных мест.

Я спустился к самой воде. В этом месте дневное движение еще не кончилось. Чиновники только что воротились с вечерних занятий и перед ужином расселись по крылечкам, в виду завтрашнего праздничного дня, обещающего им отдых. Тут же бегали и заканчивали свои игры и чиновничьи дети.

Сзади меня, на крыльце одинокого домика, не защищенного даже двором, сидело двое мужчин в халатах, которые курили папиросы и вели на сон грядущий беседу.

— А Харин-то ведь проиграл дело! — говорил один.

— Что ты!

— Проиграл — это верно. Дурак — ну, и проиграл.

— Да ведь у всех на знати́, что покойник рукой не владел перед смертью! Весь город знает, что Маргарита Ивановна уж на другой день духовную подделала! И писал-то отец протопоп!

— И подделала, и все это знают, и даже сам отец протопоп под веселую руку не раз проговаривался, и все же у Маргариты Ивановны теперь миллион чистоганом, а у Харина — кошель через плечо. Потому, дурак!

— Дурак-то дурак! однако, все-таки...

— Дурак — и больше ничего. Маргарита Ивановна предлагала ему мириться: «Бери, говорит, двадцать тысяч и ступай с богом»,— зачем он не мирился! Зачем не мирился, коли знает, что он дурак! «Нет, говорит, подавай всё!» Это дураку-то! Где эти моды писаны! Опять, и отец протопоп, и Иван Ферапонтыч — предлагали они ему! Предлагали они ему: «Дай нам по десяти тысяч — всё по чистой совести покажем!» Скажем: «Подписались по неосмотрительности — и дело с концом». Зачем он не соглашался! Зачем не соглашался, коли сам знает, что он дурак! Маргарита Ивановна — та слова не сказала: сейчас вынула и отдала! А он кочевряжился! И хочь бы

деньги с него просили, а то векселя. Ну, дал бы, а потом еще бабушка надвое сказала, какова бы по векселям-то получка была! Может быть, они совсем не его рукой подписаны? А может быть, они безденежные? Дурак!!

— Так неужто ж Маргарита Ивановна так-таки ничего и не даст?

— И не даст. Потому, дурак, а дураков учить надо. Ежели дураков да не учить, так это что ж такое будет! Пущай-ко теперь попробует, каково с сумой-то щеголять!

Собеседники смолкают. Слышится позевывание; папироски еще раз-другой вспыхнули и погасли. Через минуту я уже вижу в окно, как оба халата сидят у ненакрытого стола и крошат в чашку хлеб.

— Дуррак! — раздается в темноте.

А у соседнего домика смех и визг. На самой улице девочки играют в горелки, несутся взапуски, ловят друг друга. На крыльце сидят мужчина и женщина, должно быть, отец и мать семейства.

— Этакой случай был — и упустил. Дурак! — укоряет женщина.

— Да ты знаешь ли, дура, чем Сибирь пахнет! — возражает мужчина.

— Для дурака, куда ни оглянись — везде Сибирь. Этакой случай упустил!

Женщина вздыхает и умолкает, но не надолго.

— Дурак! — повторяет она.

— Не мути ты меня, ради Христа! Дурак да дурак! Нешто я не вижу! И словно ведь дьявол меня осетил!

— И чего ты глядел! Счастье само в руки лезет, а он, смотри. нос от него воротит! Дуррак!

Мужчина, уличенный и подавленный, не возражает. Раздаются вздохи и позевота; изредка, сквозь сон, произносится слово «дурак» — и опять тихо. Но на улице, между играющими девочками, происходит смятение.

— Не в десятый раз мне гореть! Я первая ударила! — протестует жалобный голос одной из девочек.

— Ан я ударила! Я первая ударила! ты дура! ты и гори! — возражает другой голос, более мужественный и крепкий.

— Я первая ударила! не мне гореть! Маньке гореть!

Спор оживляется, но протестующая сторона видимо слабеет. Слышатся возгласы: «Дура! криворотая! ишь что выдумала!» и т. д. Возгласы готовы перейти в побоище.

— Цыц, паскуда! — раздается с крыльца.

Протесты мгновенно смолкают; горелки продолжаются уж

без шума, и только изредка безмолвие нарушается криком: «Дура! что, взяла?»

На третьем крыльце беседуют две сибирки.

— Наш хозяин нынче такую афёру сделал! такую афёру, что страсть! — отзывается одна сибирка.

— Уж что об вашем хозяине говорить! Хозяин — первый сорт! — отзывается другая сибирка.

— Нет, да ты вообрази! Продал он Семену Архипычу партию семени, а Семен-то Архипыч сдуру и деньги ему отдал. Стали потом сортировать, ан семя-то только сверху чистое, а внизу-то все с песком, все с песком!

— Дурак!

— Нет, ты вообрази! Все ведь с песком! Семен-то Архипыч даже глаза вытаращил: так, говорит, хорошие торговцы не делают!

— Дурак!

— А хозяин наш стоит да покатывается. «А у тебя где глаза были? говорит. Должен ли ты иметь глаза, когда товар покупаешь? говорит.— Нет, говорит, вас, дураков, учить надо!»

— Дурак!

Дурак! дурак и дурак! — вот единственные выражения, которые раздаются в моих ушах. Мне становится наконец страшно. Куда деваться от этого паскудного, поганого слова? Десять дней сряду, прямо или косвенно, оно преследует меня; десять дней сряду я слышу наглый панегирик мошенничеству, присвоивающему себе наименование ума. Даже тут, в виду этой примиряющей ночи, только одно это слово и имеет какой-нибудь определенный смысл. Прислушайтесь к остальному говору — и вы наверное ничего из него не вынесете. Это сброд каких-то обрывков, ряд бродячих, ничем не связанных восклицаний, не имеющих даже характера проявления мысли. Детский, неосмысленный лепет, полусонное бормотание, в котором не за что ухватиться и нечего понимать,— вот что прежде всего поражает ваш слух. И вдруг прорывается слово «дурак» — и речь оживляется, начинает течь плавно и получает смысл. Все, что до сих пор бормоталось, все бессмысленные обрывки, которыми бесплодно сотрясался воздух,— все это бормоталось, копилось, нанизывалось и собиралось в виду одного всеразрешающего слова: «дурак!»

Я скорее побежал в гостиницу и, благо часы показывали одиннадцать, поехал на станцию железной дороги.

Нет! мы не просты!

Станция была тускло освещена. В зале первого класса господствовала еще пустота; за стойкой, при мерцании одинокой свечи, буфетчик дышал в стаканы и перетирал их грязным полотенцем. Даже мой приход не смутил его в этом наивном занятии. Казалось, он говорил: вот я в стакан дышу, а коли захочется, так и плюну, а ты будешь чай из него пить... дуррак!

Чтоб не сидеть одному, я направился в залу третьего класса. Тут, вследствие обширности залы, освещенной единственною лампой, темнота казалась еще гуще. На полу и на скамьях сидели и лежали мужики. Большинство спало, но в некоторых группах слышался говор.

— И как же он его нагрел! — восклицает некто в одной группе,— да это еще что — нагрел! Греет, братец ты мой, да приговаривает: помни, говорит! в другой раз умнее будешь! Сколько у нас смеху тут было!

— Дурак!

— Дурак и есть! Потому, ежели ты знаешь, что ты дурак, зачем же не в свое дело лезешь? Ну, и терпи, значит!

Я иду далее и слышу:

— Нет, ты слушай, ка́к он немца объегорил. Вот так уж объегорил! Купил, братец, он у немца в роще четыреста сажен дров для фабрики, по три рубля за сажень. Ну, перевозил, значит, склал: милости просим, мол, Богдан Богданыч, ко мне в дом расчетец получить. Пришел Богдан Богданыч — он его честь честью: заедочков, шипучки и все такое. «Ну, говорит, пиши, Богдан Богданыч, расписку, пока я долг готовить буду». Стал это, как и путный, деньги считать, а немец ему тем временем живо расписку обработал. Только взял он у немца расписку посмотреть, видит — верно: тысячу двести рублей сполна получил. Да вместо того чтоб деньги-то отдать, он расписку-то вместе с деньгами — в карман. «Сам ты, говорит, передо мной, Богдан Богданыч, сейчас сознался, что деньги с меня сполна получил, следственно, и дожидаться тебе больше здесь нечего».

— Ха-ха! вот, брат, так штука!

— Сколько смеху у нас тут было — и не приведи господи! Слушай, что еще дальше будет. Вот только немец сначала будто не понял, да вдруг как рявкнет: «Вор ты!» — говорит. А наш ему: «Ладно, говорит; ты, немец, обезьяну, говорят, выдумал, а я, русский, в одну минуту всю твою выдумку опроверг!»

— Молодец!

— Нет, ты бы на немца-то посмотрел, какая у него в ту пору рожа была! И испугался-то, и не верит-то, и за карман-то хватается — смехота, да и только!

— Просты еще насчет этих делов немцы! не выучены!

— Чего проще! просто дураки! совсем как оглашенные!

Далее; в третьей группе идет еще разговор.

— Нет, нынче как можно, нынче не в пример нашему брату лучше! А в четвертом году я чуть было даже ума не решился, так он меня истиранил!

— Что так?

— А вот как. Порядился я у него с артелью за тысячу рублей в деревне дом оштукатурить. Только он и говорит: «Нет, брат, Максим Потапыч, этак нельзя; надо, говорит, письменное условие нам промежду себя написать».— «Что же, говорю, Василий Порфирыч, условие так условие, мы от условиев не прочь: писывали!» Вот он и сочинил, братец, условие, прочитал, растолковал; одно слово, все как следует. «Подпишись теперь»,— говорит! Ну, мне чего! взял в руки перо, обмакнул, подписал — на беду грамотный! Только что бы ты думал, какую он, шельма, штуку со мной выкинул! Что я-то исполнить должен, то есть работу-то мою, всю расписал, как должно, а об себе вот что сказал: «А я, говорит, Василий Порфиров, обязуюсь заплатить за таковую работу тысячу рублей, *буде мне то заблагорассудится!*»

— Вот те и капуста с маслом!

— И без масла хороша будет. Слушай, что дальше. Кончили мы работу — я за расчетом к нему. «Ну, говорит, спасибо, Потапыч, нечего сказать, работа — первый сорт! Ты, говорит, в разное время двести рублей уж получил, так вот тебе еще двести рублей — ступай с богом!» — «Как, говорю, двести! мне восемьсот приходится». Слово за слово — контракт! Тут, братец, и объяснил он мне, какую он, значит, пружину под меня подвел! По-нынешнему, сейчас бы его к мировому — и шабаш! а в ту пору — ступай за сорок верст в полицейское управление. Гонял я, гонял — одна мне резолюция: сам подписывал, сам на себя и надейся! Два месяца мучился я таким манером — так ничего и не получил.

— Ловко он тебя объехал! Однако прост ведь и ты!

— Чего прост! совсем дурак!

— А дураков, брат, учить надо! Это и в законе так сказано! Вот он тебя и поучил!

Меня берет зло. Я возвращаюсь в зало первого класса, где застаю уже в полном разгаре приготовления к ожидаемому поезду. Первые слова, которые поражают мой слух, суть следующие:

— Так он меня измучил! так надо мной насмеялся! Верите ли: даже во сне его увижу — так вся и задрожу.

— Очень уж вы, сударыня, просты!

Не ожидая дальнейших объяснений, я быстро перехожу через зало и достигаю платформы.

— Дурак! разиня! — объясняет жандарм стоящему перед ним растерявшемуся малому,— из-под ног мешок вытащили — не чует! Так вас и надо! Долго еще вас, дураков, учить следует!

Нет, мы не просты!

Бьет час; слышится сигнальный свист; поезд близко. Станция приходит в движение: поднимается шум, беготня, суета. В моих ушах, словно перекрестный огонь, раздаются всевозможные приветствия и поощрения. Дурак! разиня! простофиля! фалалей! Наконец, я добираюсь до вагона 2-го класса и бросаюсь на первую порожнюю скамью, в надежде уснуть.

Но, увы! летние ночи недолги. Не успеваем мы проехать трех станций, как в вагоне уже совсем светло. Сквозь беспокойную дорожную дремоту я слышу говор проснувшихся соседей, который, постепенно оживляясь и оживляясь, усиливается наконец до того, что нечего и думать о сне. Било четыре часа утра, когда я окончательно открыл глаза. Весь вагон бодрствовал; во всех углах шла оживленная беседа. Мой визави, чистенький старичок, как после оказалось, старого покроя стряпчий по делам, переговаривался с сидевшим наискосок от меня мужчиной средних лет в цилиндре и щегольском пальто. По-видимому, знакомство началось не далее как вчера вечером, но в речах обоих собеседников уже царствовала та интимность, которою вообще отличаются излияния людей, вполне чистых сердцем и не имеющих на душе ничего заветного.

— Да вы знаете ли, как Балясины состояние приобрели? — спрашивал старичок-стряпчий.

— Слыхал... да уж давно как-то...

— Так извольте, я вам расскажу. Жил-был в Москве некто Скачков...

— Позвольте! это тот Скачков, который...

— Ну, ну, ну — он самый! Еще в Новой Слободе свой дом был... Капитолина Егоровна потом купила...

— Это как от Каретного-то ряда пойдешь?..

— Ну, вот! вот он самый и есть! Так жил-был этот самый Скачков, и остался он после родителя лет двадцати двух, а состояние получил — счету нет! В гостином дворе пятнадцать лавок, в Зарядье два дома, на Варварке дом, за Москвой-рекой дом, в Новой Слободе... Чистоганом миллион... в товаре...

— Сс!!

— Словом сказать, туз! Только вот почувствовал молодой человек, что родительской воли над ним нет,— и устремился! Прохожего на улице увидит — хватай! лей ему на голову шампанского! — вот тебе двадцать пять рублей! Женщину увидит — волоки! Мажь дегтем! — вот тебе пятьдесят! Туз, да и только! Раз даже княгиню какую-то из бедных вымазали, так насилу потом за четыре тысячи помирились! Я и мировую писал. Ну, само собой, окружили его друзья-приятели, пьют, едят, на рысаках по Москве гоняют, народ давят — словом сказать, все удовольствия, что только можно вообразить! Примазался тут и Балясин Петрушка. Видит наш Петр Федорыч, что парень-то очень хорош, коли, тоись, в обделку его пустить. И умом прост, и сердце мягкое, и рука машистая. Одно нехорошо: приятелев очень уж много. Ежели между всеми в разделку его пустить — по скольку достанется? Пустяки какие-нибудь! Так ли-с?

— Да, коли женский пол дегтем часто мазать... не надолго — это так!

— Ну, вот изволите видеть. А Петру Федорычу надо, чтоб и недолго возжаться, и чтоб все было в сохранности. Хорошо-с. И стал он теперича подумывать, как бы господина Скачкова от приятелев уберечь. Сейчас, это, составил свой плант, и к Анне Ивановне — он уж и тогда на Анне-то Ивановне женат был. Да вы, чай, изволили Анну-то Ивановну знавать?

— Как же! как же! Красавица была! всей Москве известна.

— Вот-вот-вот. Вот и говорит он ей: «Ты бы, Аннушка...» понимаете? — «Что ж, говорит, я с моим удовольствием!» И начали они вдвоем Скачкова усовещивать: «И что это ты все шампанское да шампанское — ты водку пей! И капитал целее будет, и пьян все одно будешь!» Словом сказать, такое омерзение к иностранным винам внушили, что под конец он даже никакой другой посуды видеть не мог — непременно чтоб был полштоф! Поселился он в ту пору у Балясиных, как в своем доме, и встал, и лег там. Проснется утром — полштоф! пиши вексель в тысячу рублей. Проснется к обеду — полштоф! пиши вексель в две тысячи рублей! Ужинать встанет — полштоф! опять вексель в тысячу рублей. Вытянули они у него таким родом векселей на полмиллиона — он и душу богу отдал! Вот с тех пор и пошло у Балясиных состояние. И пошло им, и пошло! Теперь одних домов по Москве семь штук считают! На Ильинке-то дом чего стоит!

— Гм... прост был этот Скачков, сказывают!

— Чего прост! одно слово: дурак! Дурак! как есть скотина!

— Ну, а Балясин-то умненько живет... этот не рассорит!

— Помилуйте! прекраснейшие люди! С тех самых пор, как умер Скачков... словно рукой сняло! Пить совсем даже перестал, в подряды вступил, откупа держал... Дальше — больше. Теперь церковь строит... в Елохове-то, изволите знать? — он-с! А благодеяниев сколько! И как, сударь, благодеяния-то делает! Одна рука дает, другая не ведает!

— А Анна-то Ивановна... говорят, с приказчиком?

— Женщина-с! Слабость их женская!

— Ну, конечно. А впрочем, коли по правде говорить: что же такое Скачков? Ну, стоит ли он того, чтоб его жалеть!

— Помилуйте! дурак! как есть скотина! Ду-у-р-рак! Ну, а Петр Федорыч, смотрите, какой дом на Солянке по весне застроил! Всей Москве украшение будет!

— Так-с, а скажите, Капитолину-то Егоровну вы хорошо знаете?

— Капитолину-то Егоровну! Помилуйте! Еще в девицах, сударь, знал! Как она еще у отца, у Егора Прохорыча, в дому у Калужских ворот жила! вот когда знал! В переулке-то большой дом, еще булочная рядом!

— Что у них за история с мужем была?

— С дураком-то! Помилуйте! скотина! Да все как нельзя проще произошло! Изволите видеть: задумал он в ту пору невинно падшим себя объявить — ну, она, как христианка и женщина умная, разумеется, на всякий случай меры приняла. Дома и лавки на свое имя переписала, капитал тоже к рукам прибрала. Ну, разумеется, покуда что̀, покуда в коммерческом суде дело вели, покуда конкурс, покуда объявили невинно падшим — его, голубчика, в яму! А как выпустили из ямы-то, она уж его и не приняла! «Нет, говорит, ты, голубчик, по всем острогам сидеть будешь, а мне с тобой жить после того! Не приходится!» Только всего и дела было.

— Сс... чем же он, однако, теперь живет?

— Так кое-когда Капитолина Егоровна из своих средств кое-что дает. Да зачем и давать! Сейчас получил — сейчас в кабак снес!

— Да, прост-таки Иван Гаврилыч! на порядках прост!

— Помилуйте! дурак! Коли этаких дураков не учить, кого ж после того учить надо?

Несколько секунд молчания.

— Так вы говорите, что это можно? — вновь заводит речь цилиндр, по-видимому, возвращаясь к прежде прерванному разговору.

— Помилуйте! как же не можно! в субботу торги назначены! Как мне не знать: я сам со стороны купца Толстопятова в конкурсе состою!

— Можно, стало быть?

— Да уж будьте покойны! Вот как: теперича в Москву приедем — и не беспокойтесь! Я все сам... я сам все сделаю! Вы только в субботу придите пораньше. Не пробьет двенадцати, а уж дом...

— Право, мне совестно! для первого знакомства, и, можно сказать, такое одолжение!

— Помилуйте! за что же-с! Вот если б Иван Гаврилыч просил или господин Скачков — ну, тогда дело другое! А то просит человек основательный, можно сказать, солидный... да я за честь...

Цилиндр протягивает стряпчему руку и крепко пожимает руку последнего.

— Одного я боюсь,— говорит он,— чтоб Тихон Никанорыч сам не явился на торги!

— Он-то! помилуйте! статочное ли дело! Он уж с утра муху ловит! А ежели явится — так что ж? Милости просим! Сейчас ему в руки бутыль, и дело с концом! Что угодно — всё подпишет!

Цилиндр сладко вздыхает и несколько секунд молча улыбается.

— Да, простенек-таки почтеннейший Тихон Никанорыч! — наконец произносит он с новым вздохом.

— Помилуйте! Скотина! На днях, это, вообразил себе, что он свинья: не ест никакого корма, кроме как из корыта,— да и шабаш! Да ежели этаких дураков не учить, так кого же после того и учить!

Между тем поезд замедляет ход; мы приближаемся к станции.

— Станция Александровская! поезд стоит десять минут! — провозглашает кондуктор.

Мы высыпаем на платформы и спешим проглотить по стакану скверного чая. При последнем глотке я вспоминаю, что пью из того самого стакана, в который, за пять минут до прихода поезда, дышал заспанный мужчина, стоящий теперь за прилавком, дышал и думал: «Пьете и так... дураки!» Возвратившись в вагон, я пересаживаюсь на другое место, против двух купцов, с бородами и в сибирках.

— Да,— говорит один из них,— нынче надо держать ухо востро! Нынче чуть ты отвернулся, ан у тебя тысяча, а пожалуй, и целый десяток из кармана вылетел. Вы Маркова-то Александра знавали? Вот что у Бакулина в магазине в приказчиках служил? Бывало, все Сашка да Сашка! Сашка, сбегай туда! Сашка, рыло вымой! А теперь, смотри, какой дом на Волхонке взбодрил! Вот ты и думай с ними!

— Да... народ нынче! Да ведь и Бакулин-то прост! ну, как-таки так? — замечает другая сибирка.

— Чего прост! Дурак как есть! Дураком родился, дураком и умрет! Потому и учат. Кабы на дураков да не плеть, от них житья бы на свете не было!

Я опять пересаживаюсь на другое порожнее место, против двоих молодых людей, которые оказываются приказчиками.

— Наш хозяин генеальный! — говорит один из них,— не то что просто умный, а поднимай выше! Знаешь ли ты, какую он на днях штуку с братом с родным сыграл?

— А что?

— Да такую, братец, штуку... вот так уж штука! Приезжает он к брату на именинный пирог, а стряпчий — братнин, тоись, стряпчий — и говорит ему: «Поздравьте, говорит, братца! Какую они вчерась покупку сделали!» — «Какая такая покупка?» — спрашивает наш-то. «А вот, говорит, за двадцать верст отселе у господина помещика лес за сорок тысяч купили, а лесу-то там по дешевой цене тысяч на двести будет».— «Верно ты говоришь?» — «Вот как перед истинным!» — «Задаток дан?» — «Нет, сегодня вечером отдавать будет».— «Айда! пять тысяч тебе в зубы — молчок!» И притворился он, будто как у него живот болит — ей-богу! — да от именинника-то прямо к помещику. Сорок пять тысяч посулили, задаток отдали, да не глядя лес и купили!

— Молодец! Брат-то что ж?

— Ничего; даже похвалил. «Ты, говорит, дураком меня сделал — так меня и надо. Потому ежели мы дураков учить не будем, так нам самим на полку зубы класть придется».

Наконец я решаюсь, так сказать, замереть, чтобы не слышать этот разговор; но едва я намереваюсь привести это решение в исполнение, как за спиной у меня слышу два старушечьих голоса, разговаривающих между собою.

— Ему, сударыня, только понравиться нужно,— рассказывает один голос,— пошутить, что ли, мимику там какую-нибудь сделать, словом, рассмешить... Сейчас он тебе четвертную, а под веселую руку и две. Ну, а мой-то и не понравился!

— Прост, что ли, он у вас, сударыня?

— Какой уж прост! Прямо надо сказать: дурак! Ни он пошутить, ни представить что-нибудь... ну, и выгнали! И за дело, сударыня! Потому ежели дураков да не учить...

Я окончательно замираю, но и сквозь дремоту слышу:

— Дурак! Скотина — и больше ничего!

Нет! мы не просты!

В Пушкине в наш вагон врывается целая толпа немцев и французов. Все это местные воротилы: фабриканты, заводчики, лесопромышленники и проч. Между ними есть несколько и русских. На сцену выдвигаются местные вопросы: во-первых, вопрос сенной, причем предсказывается, что сено будет зимой продаваться в Москве по рублю за пуд; во-вторых, вопрос дровяной, причем предугадывается, что в непродолжительном времени дрова в Москве повысятся до двадцати рублей за сажень швырка. Русские воротилы над всеми этими «вопросами» посмеиваются; немецкие смотрят солидно.

— Вы всё смеетесь, господа! — говорит один из немцев русскому воротиле,— но подумайте, куда вы идете!

— Ничего, Федор Иваныч! — отвечает воротила-русак,— покуда на свете дураки есть — жить можно!

А между тем какой-то француз патетически выкрикивает панегирик Москве, сравнивает ее с Петербургом и восклицает:

— Pétersbourg est beau! Moscou est grand! Moscou est sublime! Jamais, au grand jamais, même à Paris, mon co eur n'a battu avec autant de force, comme au moment lorsque la sainte cité de Moscou («святая Москва!» перевел он по-русски) s'est découverte pour la première fois à mes yeux! C'était quelque chose d'ineffable! Parole d'honneur! [1]

— Барышки хорошие получаете, Анатолий Филипыч! вот и понравилось! — сшутил кто-то из русских.

Нет! мы не просты!

— Что ж дальше? — спросит меня читатель.— Зачем написан рассказ? Будет ли нравоучение?

Далее мы пролетели мимо Сокольничьей рощи и приехали в Москву. Вагоны, в которых мы ехали, не разбились вдребезги, и земля, на которую мы ступили, не разверзлась под нами. Мы разъехались каждый по своему делу и на всех перекрестках слышали один неизменный припев: дурррак!

Будет ли нравоучение? Нет, его не будет, потому что нравоучения вообще скучны и бесполезны. Вспомните пословицу: ученого учить — только портить,— и раз навсегда откажитесь

[1] Петербург прекрасен! Москва велика! Москва величественна! Никогда, никогда, даже в Париже, мое сердце не билось с такой силой, как в тот момент, когда святая Москва впервые открылась моим глазам. Это что-то невыразимое! Честное слово!

от роли моралиста и проповедника. Иначе вы рискуете на первом же перекрестке услышать: «Дурак!»

Зачем писан рассказ? А хоть бы затем, милостивые государи, чтоб констатировать, какие бывают на свете *благонамеренные речи*.

ОХРАНИТЕЛИ

В сем омуте, где с вами я
Купаюсь, милые друзья...

Пушкин

Троекратный пронзительный свист возвещает пассажирам о приближении парохода к пристани. Публика первого и второго классов высыпает из кают на палубу; мужики крестятся и наваливают на плечи мешки. Жаркий июньский полдень; на небе ни облака; река сверкает. Из-за изгиба виднеется большое торговое село Л., все залитое в лучах стоящего на зените солнца.

Но вот и пристань. Пароход постепенно убавляет ходу; рокочущие колеса его поворачиваются медленнее и медленнее; лоцмана стоят наготове, с причалами в руках. Еще два-три взмаха — пароход дрогнул и остановился. В числе прочих пассажиров ссаживаюсь в Л. и я, в ожидании лошадей для дальнейшего путешествия.

Прежде, когда все было просто, и здесь была пристань простая. Устройство ее как будто говорило пассажиру: «Беги сих мест! лезь на кручу, нанимай лошадей и поезжай на все четыре стороны». И лезет, бывало, пассажир, меся ногами глину, по отвесной почти крутизне, лезет изо всех сил, спотыкаясь и тяжело дыша. Теперь прежней простоты не осталось и следа. От баржи, на которой устроена пароходная пристань, ведет в гору деревянная лестница, довольно отлогая; в двух местах ее в горе вырыты площадки, на которых устроены тесовые навесы и поставлены столы и скамьи; на самом верху береговой кручи стоит трактир. Все эти удобства обязаны своим существованием местному трактирщику, человеку предприимчивому и ловкому, которого старожилы здешние еще помнят, как он мальчиком бегал на босу ногу по улицам, и который вдруг как-то совсем неожиданно из простого полового сделался «хозяином».

Молва не любит этого человека и называет его вором и кровопивцем. Говорят, что он соблазнил жену своего хозяина и вместе с нею обокрал последнего, что он судился за это и даже был оставлен в подозрении; но это не мешает ему быть одним из местных воротил и водить компанию с становым и тузами-капиталистами, которых в Л. довольно много. Трактир

свой он устроил на городскую ногу: с половыми в белых рубашках и с поваром, одним из вымирающих обломков крепостного права, который может готовить не только селянку, но и настоящее кушанье. Сюда стекается не только контингент, ежедневно привозимый пароходами, но и весь деловой люд, снующий с утра до вечера по базарной площади и за парой чая кончающий значительные сделки. Здесь гремит недавно выписанная из Москвы машина (а иногда и странствующий жидовский оркестр), и под ее гудение, среди духоты и кухонных испарений, обделывают свои дела «новые люди» (они же и краеугольные камни) нашего времени: маклаки, кулаки, сводчики, кабатчики, закладчики, лесники и пр.

Вместе со мной сошел в Л. молодой человек, которого я заметил еще на пароходе. Он сел за один переход до Л. и в течение этого переезда вел себя совершенно молчаливо. Вошел в каюту и улегся на диван, не спросив даже рюмки водки,— поступок, которым, как известно, ознаменовывает свое прибытие всякий сколько-нибудь сознающий свое достоинство русский пассажир. Наружность он имел совершенно приличную, даже джентльменскую, одет был в легкую визитку и вещей имел очень мало: небольшой ручной сак, сумку через плечо и плед. С первого взгляда я принял его за одного из ближних помещиков, отправляющегося в гости к соседу.

Поднимаясь в гору, мы разговорились.

— Вы, кажется, здешний? — спросил он меня.

— Верст двадцать отсюда мое имение.

— И автор «Благонамеренных речей»?

— Да.

— Читал-с.

Несколько ступенек мы прошли молча.

— Не совсем одобряю я вашу манеру,— продолжал он.— Неясно. Умаление семейных добродетелей, неуважение чужой собственности, запутанность понятий о любви к отечеству... Конечно, это программа очень благодарная, но ведь тут самое важное — отношение автора к этим вопросам дня. Читая вас, кажется, что вы на все эти «признаки времени» не шутя прогневаны. Вам хотелось бы, чтоб мужья жили с женами в согласии, чтобы дети повиновались родителям, а родители заботились о нравственном воспитании детей, чтобы не было ни воровства, ни мошенничества, чтобы всякий считал себя вправе стоять в толпе разиня рот, не опасаясь ни за свои часы, ни за свой портмоне, чтобы, наконец, представление об отечестве было чисто, как кристалл... так, кажется?

— Предоставляю вам, как читателю, выводить те заключения, какие вы сочтете нужным...

— Или, говоря другими словами, вы находите меня, для первой и случайной встречи, слишком нескромным... Умолкаю-с. Но так как, во всяком случае, для вас должно быть совершенно индифферентно, одному ли коротать время в трактирном заведении, в ожидании лошадей, или в компании, то надеюсь, что вы не откажетесь напиться со мною чаю. У меня есть здесь дельце одно, и ручаюсь, что вы проведете время не без пользы.

— Согласен, но прежде позвольте...

— Сергей Иванов Колотов, к вашим услугам. Здешний исправник.

Я взглянул на него с некоторым недоумением.

— Я понимаю: вам кажется странным, что такой, можно сказать, юнец, как я, несет столь непосильное бремя, как бремя, сопряженное с званием исправника. Но не забудьте, что в настоящее время мы все живем очень быстро и что вообще чиновничья мудрость измеряется нынче не годами, а плотностью и даже, так сказать, врожденностью консервативных убеждений, сопровождаемых готовностью, по первому трубному звуку, устремляться куда глаза глядят. Мы все здесь, то есть вся воинствующая бюрократическая армия, мы все — молодые люди и все урожденные консерваторы. Есть старшие молодые люди, и есть младшие молодые люди. Исправником я лишь с недавнего времени, а прежде состоял при старшем молодом человеке в качестве младшего молодого человека и, должно сознаться, блаженствовал, потому что обязанности мои были самые легкие. Я возлежал на лоне моего принципала (он мой товарищ по школе, но более счастливый карьерист, нежели я), сказывал ему консервативные сказки, вместе с ним мечтал об английских лордах и правящих сословиях и вообще кормил его печатными пряниками. Но в скором времени все это изменилось. Пошли в ход «превратные толкования»; явилось на сцену «настроение умов», а там недалеко уж и до «doctrines les plus détestables» [1]... Словом сказать, понадобился «глаз». Et, ma foi!.. me voilà ispravnik! [2]

Высказавши эту рацею, он бойко взглянул мне в лицо, как будто хотел внушить: а что, брат, не ожидал ты, что в этом захолустье встретишь столь интересного и либерального собеседника?

Я догадался, что имею дело с бюрократом самого новейшего закала. Но — странное дело! — чем больше я вслушивался в его рекомендацию самого себя, тем больше мне каза-

[1] мерзейших доктрин.
[2] И вот я — исправник!

лось, что, несмотря на внешний закал, передо мною стоит все тот же достолюбезный Держиморда, с которым я когда-то был так приятельски знаком. Да, именно Держиморда! Почищенный, приглаженный, выправленный, но все такой же балагур, готовый во всякое время и отца родного с кашей съесть, и самому себе в глаза наплевать...

Я всегда чувствовал слабость к русской бюрократии, и именно за то, что она всегда представляла собой, в моих глазах, какую-то неразрешимую психологическую загадку. Несмотря на все усилия выработать из нее бюрократию, она ни под каким видом не хочет сделаться ею. Еще на глазах у начальства она и туда и сюда, но как только начальство за дверь — она сейчас же язык высунет и сама над собою хохочет. Представить себе русского бюрократа, который относился бы к себе самому, яко к бюрократу, без некоторого глумления, не только трудно, но даже почти невозможно. А между тем бюрократствуют тысячи, сотни тысяч, почти миллионы людей. Миллион ходячих психологических загадок! Миллион людей, которые сами на себя без смеха смотреть не могут,— разве это не интересно?

Я думаю, что наше бывшее взяточничество (с удовольствием употребляю слово «бывшее» и даже могу удостоверить, что двугривенных ныне воистину никто не берет) очень значительное содействие оказало в этом смысле. Взяточничество располагало к излияниям дружества и к простоте отношений; оно уничтожало преграды и сокращало расстояния; оно прекращало бюрократический индифферентизм и делало сердце чиновника доступным для обывательских невзгод. Какая, спрашивается, была возможность выработать бюрократа из Держиморды, когда он за двугривенный в одну минуту готов был сделаться из блюстителя и сократителя другом дома? Предположите, например, хоть такой случай: Держиморда имеет поручение превратить ваше бытие в небытие. Что он очень хорошо знает, какую механику следует подвести, чтоб вы в одну минуту перестали существовать,— в этом, конечно, сомневаться нельзя; но, к счастью, он еще лучше знает, что от прекращения чьего-либо бытия не только для него, но и вообще ни для кого ни малейшей пользы последовать не должно. И вот он начинает маневрировать. Прежде всего он старается поразить ваше воображение и с этою целью является в сопровождении целого арсенала прекратительных орудий. Потом он напускает на себя юпитеровскую важность, потрясает плечами, жестикулирует и сквернословит басом. Словом сказать, приступает к делу словно и путный. Но не падайте духом перед этими военными хитростями, не оправды-

вайтесь, но прямо вынимайте двугривенный. Как только двугривенный блеснул ему в глаза — вся его напускная, ненатуральная важность мгновенно исчезла. Прекратительных орудий словно как не бывало; дело о небытии погружается в один карман, двугривенный — в другой; в комнате делается светло и радостно; на столе появляется закуска и водка... И вот перед вами Держиморда — друг дома, Держиморда — муж совета. Двугривенный прояснил его мысли и вызвал в нем те лучшие инстинкты, которые склоняют человека понимать, что бытие лучше небытия, а препровождение времени за закуской лучше, нежели препровождение времени в писании бесплодных протоколов, на которые еще бог весть каким оком взглянет Сквозник-Дмухановский (за полтинник ведь и он во всякое время готов сделаться другом дома). Сообразив все это, он выпивает рюмку за рюмкой, и не только предает забвению вопрос о небытии, но вас же уму-разуму учит, как вам это бытие продолжить, упрочить и вообще привести в цветущее состояние. Через полчаса его уже нет; он все выпил и съел, что видел его глаз, и ушел за другим двугривенным, который уже давно запримстил в кармане у вашего соседа. Вы расквитались, и хотя в вашей мошне сделалось одним двугривенным меньше, но не ропщите на это, ибо, благодаря этой монете, при вас остался драгоценнейший дар творца: ваше бытие.

Как хотите, а это своего рода habeas corpus [1].

Это до такой степени справедливо, что когда Держиморда умер и преемники его начали относиться к двугривенным с презрением, то жить сделалось многим тяжельше. Точно вот в знойное, бездождное лето, когда и без того некуда деваться от духоты и зноя, а тут еще чуются в воздухе признаки какой-то неслыханной повальной болезни.

— Тяжело, милый друг, народушке! ничем ты от этой болести не откупишься! — жаловались в то время друг другу обыватели и, по неопытности, один за другим прекращали свое существование.

Но, к счастью, такое суровое время проскочило довольно скоро. Благодаря Держиморде и долговременной его практике, убеждение, что дело о небытии не имеет в себе ничего серьезного, установилось настолько прочно, что обыватели скоро одумались. Не помогли ни неуклонность, ни неумытность, ни вразумления, ни мероприятия: жертвою их сделались лишь первые, застигнутые врасплох обыватели. Затем все постепенно вошло в колею. Напрасно старались явившиеся на смену Держимордам безукоризненные молодые люди уверять

[1] закон о неприкосновенности личности.

и доказывать, что бюрократия не праздное слово,— никто не поверил им. У всех еще на памяти замасленный Держиморди халат, у всех еще в ушах звенит раскатистый Держиморди смех — о чем же тут, следовательно, толковать! И вот молодые бюрократы корчатся, хмурят брови, надсаживают свои груди, принимают юпитеровские позы, а им говорят:

— Ты не пугай — не слишком-то испугались! У самого Антона Антоныча (Сквозник-Дмухановский) в переделе бывали — и то живы остались! Ты дело говори: сколько тебе следует?

— Ничего мне не надо! мне надо, чтоб вы прекратили свое существование! — усовещивали молодые бюрократы неверующих.

— Да ты подумай, что ты сказал! Ты на бога-то посмотри!

Рассудите сами, какой олимпиец не отступит перед этою беззаветною наивностью? «Посмотри на бога!» — шутка сказать! А ну, как посмотришь, да тут же сквозь землю провалишься! Как не смутиться перед этим напоминанием, как не воскликнуть: «Бог с вами! живите, множитесь и наполняйте землю!»

Так именно и поступили молодые преемники Держиморды. Некоторое время они упорствовали, но, повсюду встречаясь с невозмутимым «посмотри на бога!»,— поняли, что им ничего другого не остается, как отступить. Впрочем, они отступили в порядке. Отступили не ради двугривенного, но гордые сознанием, что независимо от двугривенного нашли в себе силу простить обывателей. И чтобы маскировать неудачу предпринятого ими похода, сами поспешили сделать из этого похода юмористическую эпопею.

С тех пор отличительным характером русской бюрократии сделалось ироническое отношение к самой себе. Прежние Держиморды халатничали; нынешние Держиморды увеселяют и амикошонствуют.

Словом сказать, настоящих, «отпетых» бюрократов, которые не прощают, очень мало, да и те вынуждены вести уединенную жизнь. Даже таких немного, которые прощают без подмигиваний. Большая же часть прощает с пением и танцами, прощает и во все колокола звонит: вот, дескать, какой мы маскарад устроиваем!

Я знаю многих строгих моралистов, которые находят это явление отвратительным. Я же хотя и не имею ничего против этого мнения, но не могу, с своей стороны, не присовокупить: живем помаленьку!

Только в одном случае и доныне русский бюрократ всегда является истинным бюрократом. Это — на почтовой станции, когда смотритель не дает ему лошадей для продолжения его

административного бега. Тут он вытягивается во весь рост, надевает фуражку с кокардой (хотя бы это было в комнате), скрежещет зубами, сует в самый нос подорожную и возглашает:

— Да ты знаешь ли, курицын сын, с кем дело имеешь? ты это видишь? уткнись рылом-то в подорожную! уткнись! прочитай!

Но, богу споспешествующу, надо надеяться, что, с развитием железных путей, и на почтовых станциях число случаев проявления бюрократизма в значительной степени сократится.

Кстати: говоря о безуспешности усилий по части насаждения русской бюрократии, я не могу не сказать несколько слов и о другом, хотя не особенно дорогом моему сердцу явлении, но которое тоже играет не последнюю роль в экономии народной жизни и тоже прививается с трудом. Я разумею соглядатайство.

Соглядатай-француз — вот истинный мастер своего дела. Это соглядатай — бритва. Во-первых, он убежден, что делает дело; во-вторых, он знает, что ему надобно, и, в-третьих, он никогда сам не втюрится. Вот три капитальные качества, которые делают из него мастера. Он подслушивает со смыслом и в массе подслушанного умеет на лету различить существенное от ненужных околичностей. Это сберегает ему пропасть времени. Он не остановит своего внимания на пустяках, не пожалуется, например, на то, что такой-то тогда-то говорил, что человек происходит от обезьяны, или что такой-то, будучи в пьяном виде, выразился: хорошо бы, мол, Верхоянск вольным городом сделать и порто-франко в нем учредить. Ему нет дела ни до верхоянской автономии, ни до происхождения человека. Он подслушивает только то, что в данный момент и при известных условиях представляет действительный подслушивательный интерес. Подслушает, устроит всю нужную обстановку и тогда уже и пожалуется. И при этом непременно самого себя убережет. Он не станет, в видах поощрения, воровать вместе с вором и не полезет в заговор вместе с заговорщиком. Одним словом, никогда не поступит так, что потом и не разберешь, соглядатай ли он или действительный вор и заговорщик. Он облюбует и натравит свою жертву издалека, почти не прикасаясь к ней и строго стараясь держаться в стороне, в качестве благородного свидетеля.

Итак, настоящий, серьезный соглядатай — это француз. Он быстр, сообразителен, неутомим; сверх того, сухощав, непотлив и обладает так называемыми jarrets d'acier [1]. Немец, с точки зрения усердия, тоже хорош, но он уже робок, и по-

[1] стальными мышцами.

тому усердие в нем очень часто извращается опасением быть побитым. Жид мог бы быть отличным соглядатаем, но слишком торопится. О голландцах, датчанах, шведах и проч. ничего не знаю. Но русский соглядатай — положительно никуда не годен.

Прежде всего он рохля; он — тот человек, про которого сказано, что он в воде онучи сушит. Он никогда не знает, что̀ ему надобно, и потому подслушивает зря и, подслушавши, все кладет в одну кучу. Во-вторых, он невежествен и потому всегда поражается пустяками и пугается самых обыкновенных вещей. Прокалив их в горниле своего разнузданного воображения, он с необыкновенною любовью размазывает их и этим очень легко вводит в заблуждение. Он лжет искренно, без всякой для себя пользы и притом почти всегда со слезами на глазах, и вот это-то именно и составляет главную опасность его лжей,— опасность, к сожалению, весьма немногими замечаемую и вследствие этого служащую источником бесчисленных промахов. В-третьих, русский соглядатай или повадлив, или тщеславен. Ежели он повадлив, то всегда начинает с выпивки и потом, постепенно сдружаясь с предметом своих наблюдениї, незаметно принимает его нравы и обычаи. Следя за вором, украдет сам, следя за заговорщиком, сам напишет прокламацию. И за это, к собственному удивлению, попадет на каторгу. Ежели он тщеславен, то любит, чтоб его разумели благородным человеком, называли масоном и относились к нему с ласкою и доверием. Он обожает слезы и без ума от раскаяния. Выплачьте у него на груди ваше заблуждение, скажите ему при этом, что он масон,— он простит. Он даже предупредит вас в случае надобности, разумеется, оговорившись: «Пожалуйста, между нами». И впрочем, тут же и другому, и третьему скажет: «Это я! я предупредил! нужно спасти благородного молодого человека!»

Но попробуйте сказать ему, что он совсем не масон...

И таким образом проходят годы, десятки лет, а настоящих, серьезных соглядатаев не нарождается, как не нарождается и серьезных бюрократов. Я не говорю, хорошо это или дурно, созрели мы или не созрели, но знаю многих, которые и в этом готовы видеть своего рода habeas corpus.

Такого рода мысли невольно представились мне, покуда Колотов зарекомендовывал себя.

— А знаете ли,— сказал я,— прежде, право, лучше было. Ни о каких настроениях никто не думал, исправники внутреннею политикой не занимались... отлично!

— Да-с, но вы забываете, что у нас нынче смутное время стоит. Суды оправдывают лиц, нагрубивших квартальным над-

зирателям, земства разговаривают об учительских семинариях, об артелях, о сыроварении. Да и представителей нравственного порядка до пропасти развелось: что ни шаг, то доброхотный ревнитель. И всякий считает долгом предупредить, предостеречь, предуведомить, указать на предстоящую опасность... Как тут не встревожиться?

— Следовательно, в настоящую минуту вы находитесь в экскурсии по предмету «настроения умов»?

— Да, я еду из З., где, по «достоверным сведениям», засело целое гнездо неблагонамеренных, и намерен пробыть до сегодняшнего вечернего парохода в Л., где, по тем же «достоверным сведениям», засело другое целое гнездо неблагонамеренных. Вы понимаете, два гнезда на расстоянии каких-нибудь тридцати — сорока верст!

— Однако, какая пропасть гнезд! А мы-то, простаки, ездим, ходим, едим, пьем, посягаем — и даже не подозреваем, что все эти отправления совершаются нами в самом, так сказать, круговороте неблагонамеренностей!

— Да-с; вот вы теперь, предположим, в трактире чай пьете, а против вас за одним столом другой господин чай пьет. Ну, вы и смотрите на него, и разговариваете с ним просто, как с человеком, который чай пьет. Бац — ан он неблагонадежный!

— Сколько опасностей!

— Опасностей нынче очень много, а главную опасность представляет дурная привычка употреблять в разговоре мудреные слова. Надобно непременно оставить эту привычку и стараться говорить как можно проще, особливо в трактирах и в домах терпимости. Возьмем, для примера, хоть слово «ассоциация». В сущности, оно до того вошло в литературный обиход, что никого уже не пугает. Но трактиры и дома терпимости придерживаются еще академического словаря, в который это слово не попало. Поэтому, ежели вы там произнесете слова вроде «ассоциация, ирригация, аберрация» — все равно: половые и погибшие создания все-таки поймут, что вы распространяете революцию.

— Приму ваше наставление к сведению. Но скажите на милость, чем же собственно занимаются лица, принадлежащие к сословию неблагонамеренных?

— Занимаются они, по большей части, неблагонамеренностями, откуда происходит и самое название: «неблагонамеренный». В частности же, не по-дворянски себя ведут. Так, например, помещик Анпетов пригласил нескольких крестьян, поселил их вместе с собою, принял их образ жизни (только он Лаферма папиросы курит, а они тютюн), и сам наравне с ними обработывает землю.

— Сам пашет?

— Сам в первой сохе и в первой косе. Барыши, однако, они делят совершенно сообразно с указаниями экономической науки: сначала высчитывают проценты на основной и оборотный капиталы (эти проценты неблагонамеренный берет в свою пользу); потом откладывают известный процент на вознаграждение за труд по ведению предприятия (этот процент тоже берет неблагонамеренный, в качестве руководителя работ); затем остальное складывают в общую массу.

— Гм!.. капитал-то, стало быть, уважает?

— Даже очень уважает.

— Что же тут... ах, да! понимаю! «Остальное складывают в общую массу»... стало быть, и ленивый, и ретивый... да! это так! ведь это почти что «droit au travail» [1].

— Ну, до этого-то еще далеко! Они объясняют это гораздо проще; во-первых, дробностью расчетов, а во-вторых, тем, что из-за какого-нибудь гривенника не стоит хлопотать. Ведь при этой системе всякий старается сделать все, что может, для увеличения чистой прибыли, следовательно, стоит ли усчитывать человека в том, что он одним-двумя фунтами травы накосил меньше, нежели другой.

— Так что же тут... впрочем, конечно, оно странновато: помещик — и сам пашет! Однако, ведь с другой стороны, он, может быть, ни к чему другому и не способен применить свой труд, кроме обделки земли! Может быть, все его самолюбие в том именно и заключается, чтоб быть в первой сохе и в первой косе? Ведь вы знаете, что Людовик Шестнадцатый, например, даже хвастался тем, что был отличным токарем? Я даже думаю, что самая система вознаграждения рабочих, в форме участия в чистой прибыли, есть штука очень хитрая, потому что она заставляет рабочего тщательнее относиться к своей работе и тем косвенно содействует возвышению ценности земли. То есть опять же в карман собственнику капитала.

— Все это возможно, а все-таки «странно некако». Помните, у Островского две свахи есть: сваха по дворянству и сваха по купечеству. Вообразите себе, что сваха по дворянству вдруг начинает действовать, как сваха по купечеству,— ведь зазорно? Так-то и тут. Мы привыкли представлять себе землевладельца или отдыхающим, или пьющим на лугу чай, или ловящим в пруде карасей, или проводящим время в кругу любезных гостей — и вдруг: первая соха! Неприлично-с! Не принято-с! Возмутительно-с!

— Но ведь нынче значительное число «дворянских гнезд»

[1] право на труд.

попало в руки купцов, кабатчиков, лесников; стало быть, и самые способы распоряжения земельною собственностью, силою вещей, изменили характер?

— Это так; но ведь и кабатчики нынче стараются действовать «по-благородному». Сидят в тени, чай пьют, варенье варят, да тут же между отдыхом и мужичков обсчитывают.

— Через кого же вы эти сведения о настроении умов получаете?

— А мало ли отставных поручиков, штабс-капитанов, губернских и коллежских секретарей без дела шатается! Все они нынче возмнили себя представителями нравственного порядка и борьбы. Живется этим ревнителям, правду сказать, довольно-таки холодно и голодно, а к делу они никаким манером пристроиться не могут. Так-таки со времени упразднения крепостного права и «висят на воздусях». Ни в управу, ни в мировые судьи — никуда их не пускают. Вот как забаллотируют их, они и начинают полегоньку перебирать то того, то другого из той партии, которая восторжествовала на выборах. И сейчас — предостереженьице!

— Однако какая гадость у вас здесь развелась!

— Всё больше от бедности и от огорчения. Какие у этих ревнителей нравственного порядка усадьбы, чем они в этих усадьбах кормятся, в каких рубищах ходят! — это даже представить себе трудно. Дрянной народ, сплетник народ. Да вот я сейчас познакомлю вас с одним капитаном из этой породы. Когда-то он служил здесь по выборам, потом судился за скрытие убийства и был изгнан со службы; потом засек свою дворовую девку, опять судился и оставлен в подозрении... словом, целый формуляр. А теперь вот «добрые начала» поддерживает! Да еще какой ехидный — что ни неделя, то извещение!

— И вы верите этим сплетням?

— Ну, я-то, собственно, с юмористической точки зрения...

— Позвольте! Но ведь вы должны же дать отчет... ну, хоть в том, что̀ имеет произойти сегодня?

— Отчет? А помнится, у вас же довелось мне вычитать выражение: «ожидать поступков». Так вот в этом самом выражении резюмируется программа всех моих отчетов, прошедших, настоящих и будущих. Скажу даже больше: отчет свой я мог бы совершенно удобно написать в моей к — ской резиденции, не ездивши сюда. И ежели вы видите меня здесь, то единственно только для того, чтобы констатировать мое присутствие.

Он снова бойко взглянул мне в лицо, и я постарался воспользоваться этим случаем, чтобы уловить в его физиономии хоть тень замешательства. Но, к сожалению, ничего подобного

поймать не мог. Бывают люди, которые накидывают на себя бойкость именно для того, чтоб маскировать известную неловкость положения, но в Колотове, по-видимому, даже не было ни малейшего сознания какой-либо неловкости. Он вполне искренно пользовался наилучшим настроением духа и остроумничал на свой собственный счет совершенно непринужденно и весело.

Мы вели разговор на площадке перед трактиром. Из «заведения» до нас доносился бестолковый говор угощающегося люда, смешанный с звоном чайной посуды и с звуками «mise-rere»[1], наигрываемого машиною. Обоняние наше было тоже не совсем приятно поражаемо запахом прели, помоев, табачного дыма и кухонного чада, вылетавшим из открытых настежь окон трактира. Ввиду свежести, несшейся с реки, среди царствующего окрест безмолвия, трактир казался какою-то безобразною клоакой, населенной неугомонными, поедающими друг друга гадами. Все это делало перспективу предстоявшего чаепития до того несоблазнительною, что я уж подумывал, не улепетнуть ли мне в более скромное убежище от либерально-полицейских разговоров моего случайного собеседника!

— А вот и мой капитан! — воскликнул Колотов,— эге! да с ним еще кто-то: поп, кажется! Они тоже нонче ударились во все тяжкие по части охранительных начал!

Я взглянул на вышку трактира. Там, в открытом окне, стояла длинная фигура и махала платком в нашу сторону. Из-за нее выглядывало действительно нечто похожее на попа. Длинная фигура показалась мне как будто знакомою.

Через минуту мы уже были на вышке, в маленькой комнате, которой стены были разрисованы деревьями на манер сада. Солнце в упор палило сюда своими лучами, но капитан и его товарищ, по-видимому, не замечали нестерпимого жара и порядком-таки урезали, о чем красноречиво свидетельствовал графин с водкой, опорожненный почти до самого дна.

Да, это был он, свидетель дней моей юности, отставной капитан Никифор Петрович Терпибедов. Но как он постарел, полинял и износился! как мало он походил на того деятельного куроцапа, каким я его знал в дни моего счастливого, резвого детства! Боже! как все это было давно, давно!

Наружность Терпибедова очень оригинальная. Это человек лет шестидесяти с лишком, необыкновенно длинный и весьма узкий в кости. На этом длинном туловище посажена непропорционально маленькая головка, почти лишенная под-

[1] помилуй мя, господи.

бородка, с крошечным остатком волос на висках и затылке, с заостренным носом, как у кобчика, с воспаленными глазами навыкате и с совершенно покатым лбом. Из внутренностей его, словно из пустого пространства, без всяких с его стороны усилий, вылетает громкий, словно лающий голос,— особенность, которая, я помню, еще в детстве поражала меня, потому что при первом взгляде на его сухопарую, словно колеблющуюся фигуру скорее можно было ожидать ноющего свиста иволги, нежели собачьего лая.

Одет он тоже не совсем обыкновенно. На нем светло-коричневый фрак с узенькими фалдочками старинного покроя, серые клетчатые штаны со штрипками и темно-малиновый кашемировый двубортный жилет. На шее волосяной галстух, местами сильно обившийся, из-под которого высовываются туго накрахмаленные заостренные воротнички, словно стрелы врезывающиеся в его обрюзглые щеки. По всему видно, что он постепенно донашивает гардероб, накопленный в лучшие времена.

— Ба! сочинитель! — залаял он, увидав меня.

На меня вдруг пахнуло словно сыростью. Как будто распахнулись двери давно не отпиравшегося подвала, в котором без толку навален был старый, заплесневевший от времени хлам. Я вспомнил былое, когда Терпибедов был еще, как говорится, в самой поре и служил дворянским заседателем в земском суде. Как видите, это было еще до появления становых приставов на арене внутреннополитической деятельности (сосчитайте, сколько мне лет-то!). Он довольно часто наезжал к нам и по службе, и в качестве соседа по имению и всегда обращал на себя мое внимание в особенности тем, что домашние наши как-то уж чересчур бесцеремонно обращались с ним.

— Ну, что, куроцап, каково курчат полавливаешь? — неизменно приветствовал покойный отец мой появление капитана.

— Какие нонче курчата! — неизменно же ответствовал на это приветствие капитан,— нынешние, сударь, курчата некормленые, а ежели и есть которые покормнее, так на тех уж давно капитан-исправник петлю закинул.

Вслед за тем подавалась закуска, и начинались «шутки», на которые был так неистощим помещичий строй доброго старого времени. Похлопывали Терпибедова по животу, как бы нащупывая спрятанных там курчат, пугали его, убирали со стола его тарелку с недоеденным кушаньем, словом, проделывали на нем весь скудный репертуар домашних театральных представлений. Я даже помню, как он судился по делу о сокрытии убийства, как его дразнили за это фофаном и как он оправдывался, говоря, что «одну минуточку только не опоздай

он к секретарю губернского правления — и ничего бы этого не было».

Впоследствии Терпибедов исчез в той общей пучине, в которую кануло крепостное право. Даже фамилии его как-то никто не упоминал, хотя связь моя с родными местами не прерывалась. И вдруг оказывается, что он жив-живехонек, что каким-то образом он ухитрился ухватиться за какое-то бревнышко в то время, когда прорвало и смыло плотину крепостного права, что он притаился, претерпел либеральных мировых посредников и все-таки не погиб. Да и не только не погиб, но даже встал на страже, встал бескорыстно, памятуя и зная, что ремесло стража общественной безопасности вознаграждается у нас больше пинками, нежели кредитными рублями.

— А голос-то у вас, Никифор Петрович, прежний остался! Помните, как вы однажды тетеньку Прасковью Ивановну испугали? — сказал я, здороваясь с ним.

— Помните, сударь! не забыли! — воскликнул он, слегка дрогнув,— прежнее-то, хорошее-то время... не забыли?

— Помню.

— Да-с, примерли! все примерли! Один я да вот Григорий Александрович в здешних местах из стариков остались. Стары, сударь! ветхи! Морковкина Петра Александровича, предводителя-то нашего бывшего, помните?

— А где он теперь?

— В Москве, сударь! в яме за долги года с два высидел, а теперь у нотариуса в писцах, в самых, знаете, маленьких... десять рублей в месяц жалованья получает. Да и какое уж его писанье! и перо-то он не в чернильницу, а больше в рот себе сует. Из-за того только и держат, что предводителем был, так купцы на него смотреть ходят. Ну, иной смотрит-смотрит, а между прочим — и актец совершит.

— Скажите пожалуйста! ведь в тысячах душах был! а какой хлебосол! свой оркестр держал! певчих! три трехлетия предводителем выслужил!

— Не три, а целых пять-с!

— И теперь... писцом!

— Да-с, в конторе у нотариуса сидит... духота-то какая! да еще прочие служащие в трактир за кипятком заставляют бегать!

— Ну, а имение его?

— Имение его Пантелей Егоров, здешний хозяин, с аукциона купил. Так, за ничто подлецу досталось. Дом снес, парк вырубил, леса свел, скот выпродал... После музыкантов какой инструмент остался — и тот в здешний полк спустил. Не узнаете вы Грешищева! Пантелей Егоров по нем словно фран-

пуз прошел! Помните, какие караси в прудах были — и тех всех до одного выловил да здесь в трактире мужикам на порции скормил! Сколько деньжищ выручил — страсть!

Он свистнул, поник головой и задумался.

— Ну, а вы ка́к, Никифор Петрович?

— Нехорошо-с. То есть так плохо, так плохо, что если начать рассказывать, так в своем роде «Тысяча и одна ночь» выйдет. Ну, а все-таки еще ратуем.

— Служите?

— Нет, так, по своей охоте ратуем. А впрочем, и то сказать, горевые мы ратники! Вот кабы тузы-то наши козырные живы были — ну, и нам бы поповаднее было заодно с ними помериться. Да от них, вишь, только могилки остались, а нам-то, мелкоте, не очень и доверяют нынешние правители-то!

— А вам бы еще послужить, Никифор Петрович.

— Слуга покорный-с. Нынче, сударь, все молодежь пошла. Химии да физики в ходу, а мы ведь без химий век прожили, а наипаче на божью милость надеялись. Не годимся-с. Такое уж нонче время настало, что в церкву не ходят, а больше, с позволения сказать, в удобрение веруют.

— Не через край ли вы хватили, Никифор Петрович?

— Нет-с, до краев еще далеко будет. Везде нынче этот разврат пошел, даже духовные — и те неверующие какие-то сделались. Этта, доложу вам, затесался у нас в земские гласные поп один, так и тот намеднись при всей публике так и ляпнул: цифру мне подайте! цифру! ни во что, кроме цифры, не поверю! Это духовное-то лицо!

— Это действительно-с. Отец Спиридоний Благосклонов, села Бекетова иерей. Верст десять отсюдова будет.

Слова эти произнес приехавший с Терпибедовым священник. Это был человек уже пожилой, небольшого роста, тучный, с большою и почти совсем лысою головой, которую он держал несколько закинув назад. Характеристическим отличием его плоского лица представлялись широкие, пещеристые ноздри, которые, так сказать, и определяли всю его физиономию. Все прочее утопало в каком-то рыжевато-белесоватом колорите. Маленькие, полупотухшие глаза неподвижно смотрели сквозь очки и казались невидящими; тонкие, выцветшие губы едва раскрывались даже в то время, когда он говорил. Редкие светло-рыжие волосы на голове висели в беспорядке; на бороде и усах почти совсем волос не было. Говорил он солидно и приятным басом, но в голосе звучала резкая подыскивающая нотка, от которой становилось неловко. Вообще это было какое-то загадочное существо, которого вид вселял опасение. Даже Терпибедов, при всем сознании своей несомнен-

ной благонамеренности, побаивался его и, по-видимому, находился под сильным его влиянием, что не мешало ему, однако ж, шутить над своим ментором довольно смелые шутки. Несмотря на жаркое июньское время, на священнике была черная суконная ряса, сильно порыжевшая и запыленная.

— Рекомендую! — представил его нам Терпибедов,— отец Арсений, бывший священник нашего прихода, а ныне запрещенный поп-с. По наветам, а больше за кляузы-с. До двадцати приходов в свою жизнь переменил, нигде не ужился, а теперь и вовсе скапутился!

При этой неожиданной аттестации отец Арсений молча вскинул своими незрящими глазами в сторону Терпибедова. Под влиянием этого взора расходившийся капитан вдруг съежился и засуетился. Он схватил со стола дорожный чубук, вынул из кармана засаленный кисет и начал торопливо набивать трубку.

— Извольте же продолжать, Никифор Петрович! — солидно протянул отец Арсений.— Вы сказали «за кляузы»... извольте же объяснить, какого рода и по какому случаю эта называемая вами кляуза начало свое получила?

— Нет уж, слуга покорный! ты и на меня еще кляузу напишешь! — попробовал отшутиться Терпибедов.— Вот, сударь! — переменяя разговор, обратился он ко мне,— нынче и трубку уж сам закуриваю! а *прежде* стал ли бы я! Прошка! венѐ-зиси! — и трубка в зубах!

— Действительно, прежде не малое было поощрение лености и тунеядству! — уязвил отец Арсений.

— Да, сударь, было-с, было наше времечко! — продолжал Терпибедов, словно не слыша поповского замечания.— Так вот и вы родное гнездо посетить собрались? Дельно-с. Леску малую толику спустить-с, насчет пустошей распорядиться-с... пользительно-с!

— Скажите, капитан, ведь и у вас тут, кажется, неподалеку усадьба была?

— Как же-с, как же-с! И посейчас есть-с. Только прежде я ее Монрепо́ прозывал, а нынче Монсуфрансом зову. Нельзя, сударь. Потому, во всех комнатах течь! В прошлую весну все дожди на своих боках принял, а вот он, иерей-то, называет это благорастворением воздухов!

— Это действительно,— пояснял отец Арсений.— Весна у нас нынче для произрастания злаков весьма благоприятная была. Капуста, огурцы — даже сейчас во всем блеске. Но у кого крыша в неисправности, тот, конечно, не мало огорчений претерпел.

— Да-с, претерпел-таки. Уж давно думаю я это самое Мон-

репо̀ побоку — да никому, вишь, не требуется. Пантелею Егорову предлагал: «Купи, говорю! тебе, говорю, все одно, чью кровь ни сосать!» Так нет, и ему не нужно! «В твоем, говорит, Монрепо не людям, а лягушкам жить!» Вот, сударь, как нынче бывшие холопы-то с господами со своими поговаривают!

Он усиленно потянул дым, и мне показалось, что внутри у него словно что зарычало.

— Так-то вот мы и живем,— продолжал он.— Это бывшие слуги-то! Главная причина: никак забыть не можем. Кабы-ежели бог нам забвение послал, все бы, кажется, лучше было. Сломал бы хоромы-то, выстроил бы избу рублей в двести, надел бы зипун, трубку бы тютюном набил... царствуй! Так нет, все хочется, как получше. И зальце чтоб было, кабинетец там, что ли, «мадам! перметте бонжур!», «человек! рюмку водки и закусить!» Вот чтò конфузит-то нас! А то как бы не жить! Житье — первый сорт!

— И то еще ладно, капитан, что вы хорошее расположение духа не утратили! — усмехнулся я.

— Помилуйте! с ними театров не надобно-с! никогда не соскучитесь! — прибавил отец Арсений.— Только вот на язык невоздержны маленько.

— Да-с, будешь и театры представлять, как в зной-то палит, а в дождь поливает! Смиряемся-с. Терпим и молчим. В терпении хотим стяжать души наши... так, что ли, батя?

— При ветхости крыши и это утешением послужить может!

— Одним словом, прежде лучше жилось — так, что ли, капитан? — поддразнил Колотов.

— Прежде! прежде-то! прежде-с!

Терпибедов словно прогремел эту фразу и даже поперхнулся от волнения.

— Прежде, я вам доложу, настоящих-то слуг ценили-с! — продолжал он, захлебываясь на каждом слове,— а нынче настоящих-то слуг...

Он вдруг оборвал, словно чуя, что незрящий взор отца Арсения покоится на нем. И действительно, взор этот как бы говорил: «Продолжай! добалтывайся! твои будут речи, мои — перо и бумага». Поэтому очень кстати появился в эту минуту чайный прибор.

— А какую я вам, Сергей Иваныч, рыбку припас,— обратился Терпибедов к Колотову,— уж если эта рыбка невкусна покажется, так хоть всю речную муть перешарьте — пустое дело будет.

— Осётрик во всех статьях-с,— мягко, даже почти благосклонно пояснил отец Арсений, дуя в блюдечко и прищелкивая зубами сахар.

— Знаю; вы писали, капитан. Господин Парначев, кажется?

— То есть писал собственно я-с, а они токмо подписом своим утвердить пожелали,— заметил отец Арсений.

— Парначев! не Павла ли Николаича сын? да ведь он тут в земстве, кажется? — вспомнил я.

— Он самый-с. В земстве-с, да-с. Шайку себе подобрал... разночинцев разных... все места им роздал,— ну, и держит уезд в осаде. Скоро дождемся, что по большим дорогам разбойничать будут. Артели, банки, каммуны... Это дворянин-с! Дворянин, сударь, а какими делами занимается! Да вот батюшка лучше меня распишет!

— Действительно, могу свидетельствовать. Много неповинных душ Валериан Павлыч совратил, даже всю округу, можно сказать, своим тлетворным дыханием заразил,— сентенциозно подтвердил отец Арсений.

— И добро бы из долгогривых — все бы не так обидно! А то ведь дворянин-с!

— Однако, вы довольно-таки несносно об нашем сословии выражаетесь, Никифор Петрович! — обиделся отец Арсений.— Прошу, оставьте!

— Ну, батя, не взыщи! Долгогривые — они ведь... примеры-то эти были!

— Чувствительнейше вас прошу! оставьте-с!

— Позвольте, господа! не в том совсем вопрос! Что же собственно делает господин Парначев, что могло в такой степени возбудить ваше негодование? Объясните сначала вы, капитан!

— Всё делает. Каммуны делает, протолериат проповедует, прокламацию распущает... всё, словом сказать, весь яд!

— Главнейше же — путям провидения не покоряется,— пояснил отец Арсений,— дождь, например, не от бога, а от облаков... да облака-то откуда?

— А вы, батюшка, имели разговор с господином Парначевым об этом предмете?

— Прямого разговору, собственно, с ними не было, а от крестьян довольно-таки наслышан. У здешних крестьян, позвольте вам доложить, издавна такой обычай: ненастье ли продолжительное, засуха ли — лекарство у них на этот счет одно: молебствие. И завсегда они соглашались на это с готовностью, нынче же строптивость выказали. Прошлую весну совсем было здесь нас залило, ну, я, признаться, сам даже предложил: «Не помолебствовать ли, друзья?» А они в ответ: «Дождь-то ведь от облаков; облака, что ли, ты заговаривать станешь?» От кого, смею спросить, они столь неистовыми мыслями заимствоваться могли?

Я слушал этот обвинительный акт, и, признаюсь откровенно, слушал не без страха. Я спрашивал себя не о том, какие последствия для Парначева может иметь эта галиматья,— для меня было вполне ясно, что о последствиях тут не может быть и речи,— но в том, можно ли жить в подобной обстановке, среди столь необыкновенных разговоров? Ведь пошлость не всегда ограничивается одним тем, что оскорбляет здравый человеческий смысл; в большинстве случаев она вызывает, кроме того, и очень резкие поползновения к прозелитизму. Не она покоряется убеждениям разума, но требует, чтоб разум покорился ее убеждениям. Столкновение приходит не вдруг, но что оно несомненно придет — в этом служит ручательством тот громадный запас досужества, который всегда находится в распоряжении пошлости. Подумайте, сколько варварского трагизма скрыто в этой предстоящей коллизии!

На стороне пошлости — привычка, боязнь неизвестности, отсутствие знания, недостаток отваги. Все, что отдает человека в жертву темным силам, все это предлагает ей союз свой. Заручившись этими пособниками и имея наготове свой собственный жизненный кодекс, она до такой степени насыщает атмосферу его миазмами, что вдыхание этих последних становится обязательным. Всякое явление она обозначает своими приметами, всякому факту находится готовое, полуэмпирическое, полумистическое толкование. Как сложились эти приметы и толкования — этого она, конечно, не объяснит, да ей и не нужно объяснений, ибо необъяснимость не только не подрывает ее кодекса, но даже еще больше удостоверяет в его непреложности. И ежели она встречает отказ или сомнение, то это нимало не заставляет ее вдуматься в свои требования, но только возбуждает удивление. От удивления она переходит к назойливости, от назойливости к застращиванию. Досуг дает ей чудовищные средства в смысле прозелитизма; всегда праздная, всегда суетящаяся, она неутомимо кружит около сомневающегося и постепенно стягивает, суживает свои круги. И вот наступает момент, когда она приступает уже настоятельно и, не стесняясь формальностями, прямо объявляет свою сентенцию. Вы не верите приметам — вы безбожник, вы не раболепствуете — вы насадитель революционных идей, возмутитель, ниспровергатель авторитетов; вы относитесь критически к известным общественным явлениям — вы развратник, ищущий разрушить общественные основы...

Спрашиваю вновь: как жить и не погибнуть в подобной обстановке, среди вечного жужжания глупых речей, не имея ничего перед глазами, кроме зрелища глупых дел?

— И вы можете доказать, что господин Парначев все то

дслал, что вы о нем сейчас рассказали? — обратился, между тем, Колотов к Терпибедову.

— Каких доказательств! всей округе известно!

— Знаете ли, однако ж, что это до того любопытно, что мне хотелось бы, чтобы вы кой-что разъяснили. Что́ значит, например, выражение «распространять протолериат»? или другое: «распущать прокламацию»?

— Извините, Сергей Иваныч, я вредным идеям не обучался-с. В университетах не бывал-с. Знаю, что вредные, и больше мне ничего не требуется! да-с!

— Все-таки не мешает хоть понимать, в чем заключается вред.

— Говорю вам, вся округа подтвердит. Первый — здешний хозяин. И опять еще — батюшка: какого еще лучше свидетеля! Духовное лицо!

— Могу свидетельствовать, и не токмо сам, но и других достоверных свидетелей представить могу. Хоша бы из тех же совращенных господином Парначевым крестьян. Потому, мужик хотя и охотно склоняет свой слух к зловредным учениям и превратным толкованиям, однако он и не без раскаяния. Особливо ежели видит, что начальство требует от него чистосердечного сознания.

— Прекрасно; расскажите же сначала, что́ вы лично имеете свидетельствовать о господине Парначеве?

Отец Арсений задумался и с минуту пощипывал редкие, чуть заметные волоски своей бороды.

— Не бесполезно ли будет? — наконец выговорил он, смотря через очки на Колотова.

— Отчего?

— Да видится мне, что слова-то наши как будто не внушают вам большого доверия...

— Гм... значит, и я уж сделался в ваших глазах подозрительным... Скоренько! Нет, коли так, то рассказывайте. Поймите, что ведь до сих пор вы ничего еще не сказали, кроме того, что дождь — от облаков.

— А этого мало-с?

— Не много-с. Рассказывайте, прошу вас.

— Даже с превеликим моим удовольствием-с. Был и со мною лично случай; был-с. Прихожу я, например, прошлою осенью, к господину Парначеву, как к духовному моему сыну, в дом...

— Так господин Парначев и на духу у вас бывает?

— Бывал-с. Только, по замечанию моему, с их стороны это больше одно притворство было...

— Вы это верно знаете?

— Перстов своих в душевные раны господина Парначева не вкладывал, но, судя по прочим поступкам...

— А о прочих поступках судя по этому... впрочем, продолжайте.

— Следственно, прихожу я к ним вроде как бы для беседы, а сам, между прочим, в голове свой особый предмет держу. И вижу я, значит, что в прихожей у них никого нет, а между тем из кабинета, рядом с прихожей, слышится говор. Встал я этак около двери, будто ноги вытираю, а сам, между прочим, прислушиваюсь. И слышу я эти самые слова: пролетариат, эмансипация, бюрократия, плутократия... А затем и насчет сыроварения. Один голос говорит: «Вы, говорит, в недоимки по уши влезли; устроивайте артели, варите сыры — и недоимкам вашим конец». Другой голос отвечает: «Хорошо бы это, только как же тут быть! теперича у нас молоко-то робята хлебают, а тогда оно, значит, на недоимки пойдет?..» И опять первый голос говорит: «Варите сыры, потому что вам, как ни вертитесь, двух зайцев не поймать: либо детей молоком кормить, либо недоимки очищать». А другой голос отвечает: «По-моему, пусть лучше дети хлебают».— «А по-моему,— это опять первый голос,— лучше недоимки очищать, потому что своевременная уплата повинностей есть первый признак человека, созревшего для свободы». Хорошо-с. Только что, значит, он это слово «свобода» выговорил, ан, как на грех, подо мной половица и скрипнула. Сейчас это Валериан Павлыч потихоньку-потихоньку, на цыпочках, на цыпочках — и прямо к двери. И так это у них скоро сделалось, что я даже потрафить не успел. Словом сказать, так меня пристигли, что я даже совсем без слов сделался. Стою, это, в дверях и вижу только одно: что у них сидит наш крестьянин Лука Прохоров, по замечанию моему, самый то есть злейший бунтовщик. «Вы,— говорит мне господин Парначев,— коли к кому в гости приходите, так прямо идите, а не подслушивайте!» А Лука Прохоров сейчас же за шапку и так-таки прямо и говорит: «Мы, говорит, Валериан Павлыч, об этом предмете в другое время побеседуем, а теперь между нами лишнее бревнышко есть». Однако я сделал вид, как будто не обратил внимания, и взошел. Сели мы с Валерианом Павлычем друг против друга, и вижу я, что он сидит у письменного стола, на кресле покачивается, смотрит на меня и молчит. Довольно долго он эту комедию продолжал, однако и я помаленьку с своей стороны оправился: сначала легонько, потом побольше, а наконец, и прямо ему в лицо взглянул. И пришло мне в эту минуту откровение: «Дай, думаю, я ему нравоучение сделаю! может быть, он и раскается!» И стал я ему говорить: «Не для заба-

вы, Валериан Павлыч, и не для празднословия пришел я к вам, а по душевному делу!» — «Слушаю-с», говорит.— «Грех, говорю, великий грех вы соделываете!» — «Любопытно», говорит.— «Любопытного, говорю, в грехе мало, а слез достойного много!» — «Забавно!» — «Нынче забавно, говорю, а завтра и горько показаться может! Спрошу вас: зачем вы малых сих в соблазн вводите?!» Тут уж он, знаете, и смеяться перестал.— «А вы, говорит, уверены в этом?» — «Не только, говорю, уверен, но даже достоверных свидетелей представить могу».— «Так извольте, говорит, сейчас из моего дома вон! Я, говорит, к вам не хожу и вас к себе подслушивать не прошу!»

— Каков гусь! это с духовным-то лицом так поговаривает! — прервал Терпибедов,— а вы еще доказательств требуете!

— Как выгнали, это, они меня, иду я к себе домой и думаю: за что̀ он меня обидел! Я к нему с утешением, а он мне на это: «Пошел вон!» Иду, это, и вижу: на улице мальчишки играют. И только, значит, завидели меня, как все разом закричали: «Поп! поп! выпусти собаку!»[1] Подошел я к одному: «Друг мой! кто тебя этому научил?» — «Новый учитель», говорит. К другому: «Тебя кто научил?» — «Новый учитель», говорит.— «Нехорошо, говорю, дети! Когда я у вас в школе учителем был, то вы подобных неистовых слов не говаривали!..» А нового-то учителя, только за две недели перед тем, господин Парначев из губернии вывез. В столь короткое время — и уж столь быстрые успехи ученики сделали!

— Так вы прежде учителем в школе были?

— Был-с, и прошедшею осенью, по проискам господина Парначева, сменен-с.

— За что̀ ж вас сменили?

— А за то, собственно, и сменили, что, по словам господина Парначева, я крестьянских мальчиков естеству вещей не обучал, а обучал якобы пустякам. У меня и засвидетельствованная копия с их доношения земскому собранию, на всякий случай, взята. Коли угодно...

— Гм!.. да! возвратимся прежде к вашему случаю. Из рассказа вашего я понял, что вы не совсем осторожно слушали у дверей, и господину Парначеву это не понравилось. В чем же тут, собственно, злоумышление?

— Позволю себе спросить вас: ежели бы теперича они не злоумышляли, зачем же им было бы опасаться, что их под-

[1] Детская крестьянская игра. Берут полевой цветок и ждут, пока из чашечки его выползет букашка; в ожидании кричат: «Поп! поп! выпусти собаку!» *(Прим М Е. Салтыкова-Щедрина.)*

слушают? Теперича, к примеру, если вы, или я, или господин капитан... сидим мы, значит, разговариваем... И как у нас злых помышлений нет, то неужели мы станем опасаться, что нас подслушают! Да милости просим! Сердце у нас чистое, помыслов нет — хоть до завтрева слушайте!

— Да, но, с точки зрения общественной безопасности, этого факта все-таки недостаточно. Повторяю: из рассказа вашего я вижу только одно, что вы подслушивали...

— Не подслушивал, а как бы сказать — хотел достойные примечания вещи усмотреть.

— Ну, да, подслушивали. Вот это самое подслушиванием и называется. Ведь вы же сами сейчас сказали, что даже не успели «потрафить», как господин Парначев отворил дверь? Стало быть...

— А по моему мнению, это не только не к оправданию, но даже к отягчению их участи должно послужить. Потому, позвольте вас спросить: зачем с их стороны поспешность такая вдруг потребовалась? И зачем, кабы они ничего не опасались, им было на цыпочках идти? Не явствует ли...

— А я полагаю, что это затем было сделано, чтоб вы вперед подслушивали умеючи. А вы вот подслушиваете, да ничего не слышите!

— Извините меня! Довольно неистовых слов слышал: свобода, эмансипация, протолериат!.. И, опять-таки, случай с ребятишками... не достаточно ли из оного явствует...

— Слушайте-ка! ведь вы сами отлично знаете, что это детская игра?

— Но почему же они предприняли именно ее, а не другую какую игру, и предприняли именно в такой момент, когда меня завидели? Позвольте спросить-с?

— Об этом вы бы у них спросили!

— Стало быть, по мнению вашему, все это — дело возможное и ненаказуемое? Стало быть, и аттестация, что я детей естеству вещей не обучал,— и это дело допустимое?

— Ежели вы находили эту аттестацию для себя обидною, то вам следовало ее той инстанции обжаловать, от которой зависит определение сельских учителей.

— Позвольте мне сказать! Имею ли же я, наконец, основание законные свои права отыскивать или должен молчать? Я вашему высокородию объясняю, а вы мне изволите на какую-то инстанцию указывать! Я вам объясняю, а не инстанции-с! Ведь они всего меня лишили: сперва учительского звания, а теперь, можно сказать, и собственного моего звания...

— Ну, это что-то уж мудрено!

— Напротив того, даже очень легко-с. Позвольте мне объ-

яснить. После того случа́я, о котором я имел честь вам сообщить, поселилась между нами заметная холодность, а с их-ней стороны, можно сказать, даже нена́висть. Я доношение — и они доношение; я в губернию — и они в губернию. Что́ они там говорили, какие оправдания против моих доношений принесли — этого я не знаю. Знаю только, что наряжено было надо мною следствие, якобы над беспокойным и ябедником, а две недели тому назад пришло и запрещение. И выходит теперь, что я запрещенный поп-с! Ужели и этого в глазах начальства еще недостаточно?

Сказав последние слова, отец Арсений даже изменил своей сдержанности. Он встал со стула и обе руки простер вперед, как бы взывая к отмщению. Мы все смолкли. Колотов пощипывал бородку и барабанил по столу; Терпибедов угрюмо сосал чубук; я тоже чувствовал, что любопытство мое удовлетворено вполне и что не мешало бы куда-нибудь улизнуть. Наконец капитан первый нарушил тишину.

— Стало быть, теперича нужно дневного разбоя... тогда только начальство внимание обратит? — сказал он, не обращаясь ни к кому в особенности.

— Да, чего-нибудь в этом роде,— пошутил Колотов.

— Чтобы нас, значит, грабить начали?

— Да, вообще... протолериат бы какой-нибудь произвели.

Я невольно усмехнулся.

— Смеется... писатель! Смейтесь, батюшка, смейтесь! И так нам никуда носу показать нельзя! Намеднись выхожу я в свой палисадник — смотрю, а на клумбах целое стадо Васюткиных гусей пасется. Ну, я его честь честью: позвал-с, показал-с. «Смотри, говорю, мерзавец! любуйся! ведь по-настоящему в остроге сгноить за это тебя мало!» И что ж бы, вы думали, он мне на это ответил? «От мерзавца слышу-с!» Это Васютка-то так поговаривает! ась? от кого, позвольте узнать, идеи-то эти к ним попали?

— Вы бы у Васютки и спросили, кто, мол, тебя выучил на «мерзавца» «мерзавцем» отвечать?

— Стало быть, господину Парначеву так-таки ничего и не будет?

— Не знаю; до сих пор ничего замечательного не вижу... Понял я из ваших слов одно: что господин Парначев пропагандирует своевременную уплату недоимок — так ведь это не возбраняется!

— Не понравился, батя! не понравился наш осётрик господину молодому исправнику! Что ж, и прекрасно! Очень даже это хорошо-с! Пускай Васютки мерзавцами нас зовут! пускай своих гусей в наших палисадниках пасут! Теперь я

знаю-с. Ужо как домой приеду — сейчас двери настежь и всех хамов созову. Пасите, скажу, подлецы! хоть в зале у меня гусей пасите! Жгите, рубите, рвите! Исправник, скажу, разрешил!

— Гм!.. Это недурно! только ведь вы, пожалуй, не скажете, капитан?

— Ну, вот вам крест! провалиться мне на сем месте, ежели не скажу!

— Скажите, скажите! я не обижусь. Ну-с, конференция, стало быть, кончена; о господине Парначеве вы никаких больше сведений сообщить не имеете?

— По замечанию моему, хозяин здешний словно бы изъявлял готовность свидетельствовать! — отозвался отец Арсений,— впрочем, думаю, что вряд ли и его свидетельство во внимание примется.

— Нет, отчего ж! пускай свидетельствует! Только я должен вас предупредить, что мне известны некоторые эпизоды из жизни здешнего хозяина...

— Эпизодов, ваше высокоблагородие, в жизни каждого человека довольно бывает-с! а у другого, может быть, и больше их... Говорить только не хочется, а ежели бы, значит, биографию каждого из здешних помещиков начертать — не многим бы по вкусу пришлось!

— Какие же это эпизоды про здешнего хозяина? — полюбопытствовал я у отца Арсения.

— Пустое дело-с. Молва одна. Сказывают, это, будто он у здешнего купца Мосягина жену соблазнил и вместе будто бы они в ту пору дурманом его опоили и капиталом его завладели... Судбище у них тут большое по этому случаю было, с полгода места продолжалось.

— Мосягин? Это не яичник ли? — вспомнилось мне.

— Он самый-с. Яйца по окрестности скупал и в Петербург отправлял.

— Жив он?

— И посейчас здесь живет. И прелюбодейственная жена с ним. Только не при капиталах находятся, а кое-чем пропитываются. А Пантелей Егорыч, между прочего, свое собственное заведение открыл.

— И какое еще заведение-то! В Москве не стыдно! за одну машину восемьсот заплатил! — вставил Терпибедов.

— Мужик умный. А в настоящее время даже и христианин-с.

— Ну, батя! что христианин-то он — это еще бабушка надвое сказала! Умница — это так! Из шельмов шельма — это я и при нем скажу! — отрекомендовал Терпибедов.

— Позвольте, батюшка! — вновь начал я,— вот вы сейчас сказали, что Мосягин и теперь здесь живет? Что ж он, так-таки просто и живет?

— А что же ему больше делать, сударь?

— Да ведь вы говорите, что Пантелей Егоров жену у него соблазнил, капитал отнял...

— То есть, как бы вам сказать! Кто говорит: отнял, а кто говорит: Мосягин сам оплошал. Прогорел, значит. А главная причина, Пантелей Егоров теперича очень большое засилие взял — ну, Мосягину против его веры и нету.

— Тем, стало быть, и кончено?

— По здешнему месту эти концы очень часто, сударь, бывают. Смотришь, это, на человека: растет, кажется... ну, так растет! так растет! Шире да выше, краше да лучше, и конца-краю, по видимостям, деньгам у него нет. И вдруг, это,— прогорит. Словно даже свечка, в одну минуту истает. Либо сам запьет, либо жена сбесится... разумеется, больше от собственной глупости. И пойдет, это, книзу да книзу, уже да хуже...

— И дельно! потому — дурак! Учить дураков надо! — выпалил Терпибедов.

— По здешнему месту насчет дураков даже очень строго. Вроде как даже имением своим владеть недостойными почитаются... Сейчас, это, или сам от своей глупости прогорит, или унесет у него кто-нибудь...

— Дурак — это по-здешнему значит: выморочный человек,— пояснил Колотов.

— Так прикажете позвать Пантелея Егорыча?

— Позовите! позовите! пускай свидетельствует!

На оклик Терпибедова вошел человек, составлявший совершенную противоположность с запрещенным попом. Насколько отец Арсений был солиден и сдержан в своих движениях, настолько же Пантелей Егоров был юрок и быстр. Несмотря на несколько лет благополучного хозяйничанья, он все еще резко напоминал собой бойкого полового, хотя, впрочем, уже свысока относился в этой незавидной должности и изо всех сил старался подражать «настоящим хозяевам». Это был малый лет тридцати, с круглым, чистым и румяным лицом, курчавою головою, небольшою светло-русою бородкой и маленькими, беспокойно высматривающими глазками. Одет он был в полурусский-полунемецкий костюм, состоявший из двубортного застегнутого сюртука, жилета и брюк, запущенных в длинные, до колен, сапоги. Вся фигура его была в непрестан-

ном движении: голова поминутно встряхивалась, глаза бегали, ноздри раздувались, плечи вздрагивали, руки то закидывались за спину, то закладывались за борты сюртука. Да и сам он беспрестанно то садился на стул, то опрометью вскакивал с него, как бы вследствие давления какой-то скрытой пружины. Вообще, с первого же взгляда можно было заключить, что это человек, устроивающий свою карьеру и считающий себя еще далеко не в конце ее, хотя, с другой стороны, заметное развитие брюшной полости уже свидетельствовало о рождающейся наклонности к сибаритству. Как видно, он ожидал, что его позовут на вышку, потому что, следом за ним, в нашу комнату вошло двое половых с подносами, из которых на одном стояли графины с водкой, а на другом — тарелки с закуской.

— Для первого знакомства, позвольте просить! Ваше высокородие! — обратился он к Колотову, указывая рукой на подносы.

— Благодарю вас, я потом обедать спрошу. Вот капитан, вероятно, не откажется. Садитесь, пожалуйста.

— Постоим-с.

Он действительно минуты две постоял, потом как-то боком придвинул стул и боком же сел на него. Но вслед за тем опять вскочил, словно его обожгло. Терпибедов и отец Арсений тыкали между тем вилками в кусочки колбасы и икры и проглатывали рюмку за рюмкой.

— Вы знаете господина Парначева? — спросил Колотов хозяина.

Пантелей Егоров вдруг встрепенулся.

— Позвольте вам доложить! — зачастил он, становясь навытяжку, словно у допроса, и складывая назади руки.— Не токмà что знаем, а даже оченно хорошо, можно сказать, понимаем их!

— Чтò же вы понимаете?

— А так мы их понимаем, как есть они по всей здешней округе самый вредный господин-с. Теперича, ежели взять их да еще господина Анпетова, так это именно можно сказать: два сапога — пара-с!

— Это тот Анпетов, который сам пашет?

— Они самые-с. Позвольте вам доложить! скажем теперича хошь про себя-с. Довольно я низкого звания человек, однако при всем том так себя понимаю, что, кажется, тыщ бы не взял, чтобы, значит, на одной линии с мужиком идти! Помилуйте! одной, с позволения сказать, вони... И боже ты мой! Ну, а они — они ничего-с! для них это, значит, заместо как у благородных господ амбре.

— Ну-с, господин Анпетов пашет, а господин Парначев что делает?

— Они не пашут — это действительно-с. Только, осмелюсь вам доложить, большая от них смута промежду черняди идет-с! Такая смута! такая смута! И ежели теперича, примерно, хоть между крестьян... или даже между господ помещиков, которые из молодых-с... маленечко, значит, позамялось,— так это именно их, господина Парначева, дело-с.

— Что же собственно позамялось-то?

— Всё-с, ваше высокородие! Словом сказать, всё-с. Хоша бы, например, артели, кассы... когда ж это видано? Прежде, всякий, ваше высокородие, при своем деле состоял-с: господин на службе был, купец торговал, крестьянин, значит, на господина работал-с... А нынче, можно сказать, с этими кассами да с училищами, да с артелями вся чернядь в гору пошла!

— Но почему же вы думаете, что это от Парначева идет?

— Помилуйте! позвольте вам доложить! как же нам-то не знать! Всей округе довольно известно. Конечно, они себя берегут и даже, как бы сказать, не всякому об себе высказывают; однако и из прочих их поступков очень достаточно это видно.

— Вот это прекрасно, что вы об поступках упомянули. Можете назвать хоть один?

— Помилуйте! даже очень могу-с. Теперича, возьмем к примеру хошь такой случай. Приезжают они на днях в наше селение... насчет школы, значит. Собрали, это, сход, сами к нему вышли и зачали с стариками говорить: «Селение, говорят, у вас обширное, кабаков несть числа, а школы нет. И как вы люди темные, то от этого самого, значит, все вас обижают. Купцы обсчитывают и обмеривают, чиновники — притесняют. И нигде вы себе прав не можете найти, потому, ежели даже в суд вы жаловаться пойдете, так и там своего дела порядком рассказать не можете. И все будто бы потому, что школы нет. А будет школа, и пойдет, это, значит, везде свет. Не вы, мол, так дети у вас ученые будут и всякое себе удовлетворение сделать будут в состоянии. И никто их не обидит, потому что у ученого человека против всякой обиды средствие есть!» Хорошо-с. Говорят, это, они, а я между народом стою и слушаю-с. И все мне думается: что-то как будто они неловко говорят! Чиновники, мол, обижают, а ведь чиновники-то — слуги царские, как же, мол, это так! Опять и это: «Всякий будто человек может сам себе удовлетворение сделать» — где же это видано! в каких бессудных землях-с! «Ах! думаю, далеконько вы, Валериан Павлыч, камешок-то забрасываете, да как бы самим потом вытаскивать его не пришлось!» И сейчас же мне, сударь, после того мысль вошла. Покуда он с ними разгова-

ривал, а я бегом-бегом, да в трактир: «Постой, думаю, устрою я тебе суприз!» Пришел в трактир-с, встал за стойку и жду, как они, наговорившись, придут чай пить. И действительно-с, через полчаса времени, как только они на крыльцо, а я сейчас, значит, к машине: *Коль славен...* это, значит, в Сионе-с! И что ж бы вы думали! хошь бы он бровью пошевельнул! Посетители сидят, чай пьют, все, можно сказать, в умилении, а он как вошел в фуражке, так и шмыгнул наверх-с! Ну, и точно-с. Посмотрел я тогда на них, да только вслед головой строгонько покачал. Даже многие посетители в то время это заметили. И так это мне обидно сделалось, глядя на ихнее невежество, что, кажется, деньги эти самые, которые они мне за чай потом заплатили... кажется, скорее за окно бы их вышвырнул, нечем таких посетителев у себя принимать!

— Ну, брат, деньги-то ты за окно не бросишь, хоть бы они от самого антихриста были! — по своему обыкновению, сюрпризом вставил Терпибедов.

Отца Арсения передернуло; Пантелей Егоров побледнел.

— Мелко вы, сударь, плаваете,— сказал он, блистая глазами на Терпибедова,— вот что̀ скажу вам, Никифор Петрович!

— Позвольте! оставим, капитан, эпизоды! — вступился Колотов,— и будем заниматься предметом нашей конференции. Итак, вы говорите, что господин Парначев этим поступком сильно вас оскорбил?

— Так оскорбил! так оскорбил-с, даже душа во мне вся перевернулась! как перед истинным-с! Помилуйте! тут публика... чай кушают... в умилении-с... а они в фуражке! Все, можно сказать, так и ахнули!

— И вы полагаете, что со стороны господина Парначева тут был умысел?

— Позвольте вам доложить! как же возможно, чтобы без умысла! Тут, значит, публика... чай кушают... в умилении... а они в фуражке!

— Поймите меня, тут все дело в том, был ли умысел или нет? Беретесь ли вы доказать, что умысел был?

— Помилуйте! зачем же-с? И как же возможно это доказать? Это дело душевное-с! Я, значит, что̀ видел, то и докладываю! Видел, к примеру, что тут публика... в умилении-с... а они в фуражке!

— Зачем же вы тогда прямо не заметили господину Парначеву, что он поступает оскорбительно для вас и ваших гостей! Может быть, дело-то и разъяснилось бы.

— Кажется, таких правилов нет, чтобы мужикам господ учить! Они здесь всех учат, а не то чтобы что-с!

— Однако, ежели теперь господину Парначеву сообщить выше показание, так ведь он, пожалуй, и в амбицию вломить-ся может!

— Сделайте ваше одолжение! зачем же им сообщать! И без того они ко мне ненàвисть питают! Такую, можно сказать, мораль на меня пущают: и закладчик-то я, и монетчик-то я! Даже на каторге словно мне места нет! Два раза дело мое с господином Мосягиным поднимали! Прошлой зимой, в самое, то есть, бойкое время, рекрутский набор был, а у меня, по их проискам, два питейных заведения прикрыли! Бунтуют против меня — и кончено дело! Стало быть, ежели теперича им еще сказать — чтò же такое будет!

— Вот видите! вы дела завязываете, а на очную ставку стать не хотите!

— Зачем же-с! я, ваше высокородие, по простоте-с! Думал это, значит, что их только на замечание возьмут — тем, мол, дело и кончится!

— А вы полагаете, что взять человека на замечание — это ничего?

Пантелей Егоров вдруг смолк. Он нервно семенил ногами на одном месте и бросал тревожные взгляды на отца Арсения. Но запрещенный поп стоял в стороне и тыкал вилкой в пустую тарелку. На минуту в комнате воцарилось глубокое молчание.

— Стало быть, господину Парначеву так-таки ничего и не будет!! — вдруг, словно громом, раскатился Терпибедов.

ПЕРЕПИСКА

«Любезная маменька.

Месяц тому назад я уведомлял вас, что получил место товарища прокурора при здешнем окружном суде. С тех пор я произнес уже восемь обвинительных речей, и вот результат моей деятельности: два приговора *без смягчающих вину обстоятельств;* шесть приговоров, по которым содеянное преступление признано подлежащим наказанию, но с допущением смягчающих обстоятельств; оправданий — ни одного. Можете себе представить, в каком я восторге!!

Начальство заметило меня; между обвиняемыми мое имя начинает вселять спасительный страх. Я не смею еще утверждать решительно, что последствием моей деятельности будет непосредственное и быстрое уменьшение проявлений преступной воли (а как бы это было хорошо, милая маменька!), но, кажется, не ошибусь, если скажу, что года через два-три я буду призван к более высокому жребию.

Двадцати шести, двадцати семи лет я буду прокурором — это почти верно. Я имею полное основание рассчитывать на такое повышение, потому что если уже теперь начальство без содрогания поручает мне защиту государственного союза от угрожающих ему опасностей, то ясно, что в будущем меня ожидают очень и очень серьезные служебные перспективы.

Приняв во внимание все вышеизложенное, а равным образом имея в виду, что казенное содержание, сопряженное с званием сенатора кассационных департаментов, есть один из прекраснейших уделов, на которые может претендовать смертный в сей земной юдоли,— я бодро гляжу в глаза будущему! Я не ропщу даже на то, что некоторые из моих товарищей по школе, сделавшись адвокатами, держат своих собственных лошадей, а некоторые, сверх того, имеют и клеперов!

Всем этим я обязан вам, милая маменька, или, лучше сказать, той безграничной проницательности материнской любви, которая сразу умела угадать мое настоящее назначение. Вы удержали меня на краю пропасти в ту минуту, когда душа моя, по неопытности и легкомыслию, уже готова была устремиться в зияющие бездны адвокатуры!

«— Друг мой! — сказали вы мне,— в России без казенной службы прожить нельзя: непременно что-нибудь такое сделаешь, что вдруг очутишься сосланным в Сибирь, в места не столь отдаленные!» — Святая истина!

Теперь, покуда пора увлечения еще не прошла, адвокаты спешат пользоваться дарами жизни. Они имеют лучшие экипажи, пользуются лучшими кокотками, пьют лучшие вина! Но тем печальнее будет час пробуждения... особливо для тех, которых он настигнет в не столь отдаленных местах Сибири!

Я рожден прокурором, милая маменька! Обвинение, так сказать, гнездится в крови моей!

Однажды содеянное преступление находит во мне мстителя беспощадного, неумолимого и неутомимого! Ибо что̀ такое преступление, милая маменька?

С одной стороны, преступление есть осуществление или, лучше сказать, проявление злой человеческой воли. С другой стороны, злая воля есть тот всемогущий рычаг, который до тех пор двигает человеком, покуда не заставит его совершить что-либо в ущерб высшей идее правды и справедливости, положенной в основание пятнадцати томов Свода законов Российской империи.

Таково, милая маменька, преступление!

Но ежели правда и справедливость нарушены, то может ли закон равнодушно взглянуть на факт этого нарушения? Не вправе ли он потребовать, чтобы нарушенное было восстанов-

лено быстро, немедленно, по горячим следам? чтобы преступление, пристигнутое, разоблаченное от всех покровов, явилось перед лицом юстиции в приличной ему наготе и притом снабженное неизгладимым клеймом позора на мрачном челе?

Отсюда: необходимость наказания.

Наказание, милая маменька, не есть что-либо самостоятельное. Это не что иное, как естественное и неизбежное последствие самого преступления — и ничего более.

Кто мыслит «преступление», тот, в то же время, неизбежно, так сказать фаталистически, мыслит и «наказание»!

Таков неумолимый закон логики!

Не потому должен быть наказан преступник, что этого требует безопасность общества или величие закона, но потому, что об этом вопиет сама злая воля, служащая источником содеянного преступления. Она сама настаивает на необходимости наказания, ибо в противном случае она не совершила бы *всего* естественного круга, который обязывается совершить!

Преступление, оставленное без наказания,— это недоговоренное слово, это недоконченная мысль, это недоносок, который осужден умереть при самом рождении!

Предположение это так нелепо и, можно сказать, даже чудовищно, что ни один адвокат никогда не осмелится остановиться на идее ненаказуемости, и все так называемые оправдательные речи суть не что иное, как более или менее унизительные варьяции на тему: «не пойман — не вор!»

На ком же, спросите вы, лежит обязанность восстановлять нарушенную правду?

Священная эта обязанность лежит, во-первых, на самом законе, а во-вторых, на суде, который, однако ж, бессилен если не подвигнут к тому инициативой прокурора.

Прокурор — это излюбленный человек закона, это око его, это преданнейший и, так сказать, всегда стоящий на страже исполнитель его велений!

Прокурор!!

Он ни на минуту не покидает величественного храма правосудия, он неустанно бодрствует и неустанно же совершает возлияния! Это его долг, милая маменька, это провиденциальное его назначение. Без этого — прокурор немыслим!!

Он закалает законопреступную волю человеческую и, очистив ее при посредстве наказания, приносит в жертву вечной идее правды и справедливости!

И рядом с этим поразительным зрелищем вы видите жалкую, бессильную стряпню адвоката, который надеется, что под

действием его тлетворного дыхания самое солнце правды утратит свою лучезарность!

Не безумная ли это надежда, милая маменька?

Засим, испрашивая вашего благословления и целуя ваши ручки, остаюсь неизменно любящий вас сын

Николай Батищев.

P. S. Помните ли вы Ерофеева, милая маменька? того самого Ерофеева, который к нам по праздникам из школы хаживал? Теперь он адвокат, и представьте себе, какую штуку удрал! — взял да и объявил себя специалистом по части скопцов! До тех пор у него совсем дел не было, а теперь от скопцов отбою нет! На днях выиграл одно дело и получил сорок тысяч. Сорок тысяч, милая маменька!! А ведь он даже не очень умный!»

«Милый дружок Николенька.

Живя несколько лет безвыездно в деревне, я так от нынешних порядков отстала, что, признаюсь, не совсем даже поняла, какая такая это должность, в которой все обвинять нужно. Да, спасибо, братец Григорий Николаич растолковал. «В нынешнее время,— сказал он,— во всех образованных государствах судопроизводство устроено на манер известных pièces à tiroir [1] (помню я эти пьесы, мой друг; еще будучи в институте, в «La fille de Dominique» [2] игрывала). Выдвинь один ящик — обвинение; выдвинь другой ящик — оправдание». А потом: du choc des opinions jaillit la vérité [3] — точь-в-точь как в «La fille de Dominique», где, сколько я ни переодевалась, а в конце пьесы все-таки объяснилось, что я — дочь Доминика, и больше ничего. Не знаю, так ли объяснил братец (он у нас привык обо всем в ироническом смысле говорить, за что и по службе успеха не имел), но ежели так, то, по-моему, это очень хорошо.

Зная твое доброе сердце, я очень понимаю, как тягостно для тебя должно быть всех обвинять; но если начальство твое желает этого, то что же делать, мой друг! — обвиняй! Неси сей крест с смирением и утешай себя тем, что в мире не одни радости, но и горести! И кто же из нас может сказать наверное, что̀ для души нашей полезнее: первые или последние! Я, по крайней мере, еще в институте была на сей счет в недоумении, да и теперь в оном же нахожусь.

[1] пьес с нарочито запутанной интригой.
[2] «Дочь Доминика».
[3] в споре рождается истина.

Благородные твои чувства, в письме выраженные, очень меня утешили, а сестрица Анюта даже прослезилась, читая философические твои размышления насчет человеческой закоренелости. Сохрани этот пламень, мой друг! сохрани его навсегда. Это единственная наша отрада в жизни, где, как тебе известно, все мы странники, и ни один волос с головы нашей не упадет без воли того, который заранее все знает и определяет!

Я никогда не была озабочена насчет твоего будущего: я знаю, что ты у меня умница. Поэтому меня не только не удивило, но даже обрадовало, что ты такою твердою и верною рукой сумел начертить себе цель для предстоящих стремлений. Сохрани эту твердость, мой друг! сохрани ее навсегда! Ибо жизнь без сего светоча — все равно что утлая ладья без кормила и весла, несомая в бурную ночь по волнам океана au gré des vents [1].

Ты пишешь, что стараешься *любить* своих начальников и делать им угодное. Судя по воспитанию, тобою полученному, я иного и не ожидала от тебя. Но знаешь ли, друг мой, почему начальники так дороги твоему сердцу, и почему *мы все,* tous tant que nous sommes [2], обязаны любить данное нам от бога начальство? Прошу тебя, выслушай меня.

Мы должны любить его, во-первых, потому, что начальство есть, прежде всего, друг человечества, или, как у нас в институте, в одном водевиле, пели:

Il voit tout,
Il sait tout
Et il fourre son nez partout! [3]

А во-вторых, потому, что оно награждает любящих его и наказует противящихся ему.

Подумай об этом, друг мой, и сообразно с сим располагай своим поведением!

Поэтому, ежели начальство приказывает тебе обвинять, то значит, что это так следует. Когда же наступит время оправдывать, то, конечно, оно же без труда прикажет тебе и оправдывать.

При старости лет моих, я ко многому в жизни сделалась равнодушна, но по временам и я не могу не содрогнуться! Много, ах! слишком много злодеяний скрывается в недрах мира сего, особливо же с тех пор, как всем сказана воля. Ни-

[1] по воле ветров.
[2] все, сколько нас ни на есть.
[3] Оно все видит, оно все знает, оно повсюду свой нос сует.

где уж нет ни почтения, ни преданности, а о потравах и о прочем — и говорить нечего. Посему теперь именно такое время настало, когда не оправдывать, а обвинять надлежит, дабы хотя этим постигшую нас волю несколько остепенить. Даже братец Григорий Николаич, который, как ты знаешь, сам этой воли желал, доколе она не пришла,— и тот теперь смирился и говорит: «je crois que le knout ferait bien mieux leurs affaires!»[1] Я же, с своей стороны, прибавляю: et les nôtres![2] Вот как бог-то ведет человека неисповедимым путем своим! Был наш Григорий Николаич волтерьянец, и Лафайет с языка у него не сходил, а теперь лежит разбитый параличом да «все упование мое на тя возлагаю» шепчет!

Да, друг мой, неисповедимы пути божии! Сколько прежде нас с сестрицей Анютой огорчал братец, столько же теперь утешает и радует. Ты знаешь, какой у него необузданный ум был, а теперь, как мужиков отняли, таким христианином сделался, что дай бог всякому. Намедни даже удивил нас. Читаем мы вечером «житие», только он вдруг на одном месте остановил нас: «Сестрицы! говорит, если я, по старой привычке, скощунствую, так вы меня, Христа ради, простите!» И скощунствовал-таки, не удержался. Ну, да уж бог с ним! Хорошо и то, что хоть какие-нибудь признаки смирения в нем показались!

Знаешь ли что, друг мой! Я думаю, что это у него такая болезнь! Представь себе, сидит он намеднись в своем большом кресле и четки перебирает... ну, совсем в полном виде христианин! И вдруг — что ж слышим! «А что, говорит, не объясните ли вы мне, сестрицы, чего во мне больше: малодушия или малоумия?» Мы смотрим на него во все глаза, думаем, не пароксизм ли с ним. «Да поймите же вы меня, говорит: ведь я доподлинно знаю, что ничего этого нет, а между тем вот сижу с вами и четки перебираю!» Так это нас с сестрицей офраппировало, что мы сейчас же за отцом Федором гонца послали. И что ж! — все как рукой сняло! Такой опять христианин сделался! такой христианин! Ни рукой, ни ногой не шевельнет, только головой качает!

Какой это урок для всех нас, друг мой!

Затем, благословляя тебя на новом поприще, сердечный друг мой, и желая тебе блестящих успехов на оном, остаюсь любящая тебя мать

Надежда Батищева.

---

[1] думаю, им куда лучше бы кнут!
[2] и нам также!

P. S. А что ты насчет адвоката Ерофеева пишешь, будто бы со скопца сорок тысяч получил, то не завидуй ему. Сорок тысяч тогда полезны, если на оные хороший процент получать; Ерофеев же наверное сего направления своим деньгам не даст, а либо по портным да на галстуки оные рассорит, либо в кондитерской на пирожках проест. Еще смолоду он эту склонность имел и никогда утешением для своих родителей не был».

«Любезная маменька.

Спешу сообщить вам об одном весьма важном успехе, полученном мною,— успехе, который, вероятно, послужит к окончательному обеспечению моего будущего.

Третьего дня меня призвал мой генерал и сказал мне:

— На днях здесь напали на след целого скопища злоумышленников...

Я поклонился.

— Следствие по этому делу уже начато. Производят его люди, известные своею деятельностью и ловкостью, но я должен сознаться, что до сих пор никакого существенного результата не достигнуто.

Я поклонился вновь.

— Я пришел к тому убеждению, что недостаточность результатов происходит оттого, что тут употребляются совсем не те приемы. Я не знаю, что̀ именно нужно, но бессилие старых, традиционных уловок для меня очевидно. Они без пользы ожесточают злоумышленников, между тем как нужно, чтобы дело самой собой, так сказать, скользя по своей естественной покатости, пришло к неминуемому концу. Вот мой взгляд. Вы, мой друг, человек новый и современный — вы должны понять меня. Поэтому я решился поручить это дело вам.

С начальниками нужно быть очень сдержанным, милая маменька. Никогда не следует забегать им вперед, потому что это может показаться навязчивостью. Только в крайнем случае, когда уже вполне несомненно, что начальник находится в затруднении насчет предмета предстоящей беседы, можно помочь ему, бросив вскользь какую-нибудь мысль. Но и тут следует устроить так, чтобы генерал ни на минуту не усумнился, что это мысль его собственная. Вот почему я ни слова не отвечал на обращенную ко мне речь генерала и только новым безмолвным поклоном засвидетельствовал о моей твердой готовности следовать начальственным предписаниям.

— Дело в том,— продолжал генерал,— что несколько злоумышленников образовали из себя «Общество для предвкушения гармоний будущего». По «уставу» общества — он находится в наших руках — цель его заключается «в непрерывном созерцании гармоний будущего и в терпеливом перенесении бедствий настоящего». Вы понимаете, однако, что это только хазовая, так сказать, официальная цель общества, и несомненно, что у него должны быть другие, более опасные цели, которые оно, разумеется, сочло нужным скрыть. Но этих-то целей мы именно и не знаем.

Высказав это, генерал остановился, как бы приглашая меня к дальнейшим развитиям.

— Осмелюсь повергнуть на усмотрение вашего превосходительства только один почтительнейший вопрос,— начал я,— если найден «устав» общества, то, может быть, имеется в виду и список членов его?

— Да, список есть: найдена бумажка, на которой карандашом написано пятнадцать фамилий, и, что всего прискорбнее, в числе участников общества значится один уланский офицер.

— Напротив того, смею думать, что это признак очень хороший, ваше превосходительство. Участие уланского офицера, если позволено так выразиться, открывает перед нами целый мир интриг. Чтобы настичь этого человека, превратные толкования должны были слишком самоуверенно и слишком далеко распространять свои корни и нити. Не будь уланского офицера, мы могли бы еще колебаться насчет важности злоумышления: теперь — мы имеем право провидеть уже целую организацию! Уланский офицер — это ключ; уланский офицер — это всё! Я спрашиваю себя: «Зачем нужен уланский офицер?» — и смело отвечаю: «Он нужен в качестве эксперта по военной части!» Я не смею утверждать, но мне кажется... и если вашему превосходительству угодно будет выслушать меня...

— Говорите, мой друг!

— Я положительно убежден, что найденный список с пятнадцатью фамилиями представляет собой силы далеко не всего общества, а лишь одного из отделов его!

Голос, которым я высказал это убеждение, звучал такою искренностью, что генерал был видимо поражен.

— Такова была и моя первоначальная мысль,— сказал он,— но что прикажете делать! Эти старые рутинеры... они никогда не видят дальше своего носа!

— И, сверх того, я убежден, что с помощью этого ничтожного клочка бумаги, которому, по-видимому, придается такое

узкое значение, можно, при некоторой ловкости, дойти до поразительнейших разветвлений и заключений! — продолжал я, увлекаясь больше и больше и даже незаметно для самого себя переходя в запальчивость.

Но запальчивость эта не только не оскорбила генерала, но, напротив того, понравилась ему. На губах его скользнула ангельская улыбка. Это до такой степени тронуло меня, что и на моих глазах показались слезы. Клянусь, однако ж, что тут не было лицемерия с моей стороны, а лишь только счастливое стечение обстоятельств!

— Итак, молодой человек, в поход?! — весело сказал он, голосом и взором ободряя меня.

— Все силы... вся кровь... ваше превосходительство...— говорил я прерывающимся голосом.

— Верю!

— Я не имею слов, ваше превосходительство, но если позволено так выразиться...

— Успокойтесь, великодушный молодой человек! Увы! Мы не имеем права даже быть чувствительными! Итак, в поход! Но, прежде чем приступить к делу, скажите, не имеете ли вы сообщить мне что-нибудь насчет плана ваших действий?

— На первый раз позвольте мне просить вас об одной милости, ваше превосходительство!

— Говорите, мой друг!

— Позвольте мне называть этих людей не злоумышленниками, а заблуждающимися!

Генерал взглянул на меня изумленными глазами, но через минуту я убедился, что он понял мою мысль.

— Благородный молодой человек! — сказал он, протягивая мне руку.

— Осмелюсь высказать мою мысль вполне,— продолжал я с чувством,— не нужно обескураживать, ваше превосходительство! нужно, чтоб они всегда с полным доверием, с возможною, так сказать, искренностью... Быть может, я слишком смел, ваше превосходительство! быть может, мои скромные представления...

— Напротив! всегда будьте искренни! Что же касается до вашего великодушного желания, то я тем более ничего не имею против удовлетворения его, что в свое время, без вреда для дела, наименование «заблуждающихся» вновь можно будет заменить наименованием злоумышленников... Не правда ли?

— Точно так, ваше превосходительство!

Затем он позвонил и приказал передать мне дело о злоумышленниках, которые отныне, милая маменька, благодаря

моей инициативе, будут уже называться «заблуждающимися». На прощанье генерал опять протянул мне руку.

Не знаю, как я дошел до своей квартиры. Нервы мои были так возбуждены, что я буквально целые полчаса рыдал. О, если б все подчиненные умели понимать и ценить сердца своих начальников!

И вчера, и третьего дня, обе ночи я употребил на ознакомление с делом. Генерал сказал правду: все эти «предвкушения» представляют только внешний предлог, за которым скрываются очень важные преступные цели. Нет, господа, шалите! уж меня вы не проведете своими «предвкушениями»! Я сам человек современный и кой-что понимаю в ваших так называемых «предвкушениях»! Я с первого же абцуга почувствовал, в чем тут штука! И представьте себе, милая маменька, до сих пор *ровно* ничего не сделано для раскрытия настоящих целей «Общества»! Ничего! И за всем тем, благодаря неутомимой деятельности моих предшественников, дело уже развилось до четырех томов при пятнадцати обвиняемых. Пятнадцать обвиняемых, милая маменька, которые томятся в заключении — за что? — за то, что совместно занимались «предвкушениями»! Где же справедливость!

Теперь моя черновая работа кончена, и план будущих действий составлен. Этот план ясен и может быть выражен в двух словах: строгость и снисхождение! Прежде всего — душа преступника! Произвести в ней спасительное движение и посредством него прийти к раскрытию истины — вот цель! Затем — в поход! но не против злоумышленников, милая маменька, а против бедных, неопытных заблуждающихся! Мне кажется, что это именно тот настоящий тон, на котором можно разыграть какую угодно пьесу...

Пользуюсь минутой свободы, чтоб сообщить вам, милая маменька, об этом новом знаке доверия, которым я почтен. Затем, целуя ваши ручки и испрашивая вашего благословения, в настоящую минуту более, нежели когда-либо, для меня драгоценного, остаюсь любящий и глубоко преданный сын ваш

Николай Батищев.

P. S. А Ерофеев еще штуку удрал. Заманил к себе другого скопца и опять сорвал с него сорок тысяч. По-видимому, цифра сорок тысяч делается для него вроде прецедента, на который он решился ссылаться в будущем, подобно тому как другие ссылаются на решения кассационных департаментов сената. Устроился он отлично: за монтировку одного кабинета заплатил пятнадцать тысяч, в приемной поставил золо-

ченую мебель, а на полках разместил полное собрание законов. На душу клиента это производит впечатление почти неотразимое. Нет, как хотите, а Ерофеев, право, не так глуп, как до сих пор о нем думали!»

«По получении твоего письма, голубчик Николенька, сейчас же послала за отцом Федором, и все вместе соединились в теплой мольбе всевышнему о ниспослании тебе духа бодрости, а начальникам твоим долголетия и нетленных наград. И когда все это исполнилось, такое в душе моей сделалось спокойствие, как будто тихий ангел в ней пролетел!

Не ропщи, друг мой! Я знаю, что тебе не легко, но бог и начальники не оставят тебя. Немногим на долю такое счастье выпадает, какое тебе выпало. Другой весь век на одном месте сидит, и никто его не замечает: все равно, что он есть, что его нет. А тебя среди отличных отличили — вот какое важное дело доверили! Другие хлопочут, и им не дают, ты же и не просил, а тебе дали. Неси же сей крест с смирением и верою! Помни, что все в сем мире от бога, и что мы в его руках не что иное, как орудие, которое само не знает, куда устремляется и что̀ в сей жизни достигнуть ему предстоит.

Читала твое письмо и содрогалась: ах, какие могут быть ужасные люди, мой друг! Помню, когда нам в институте из истории уроки задавали, то там тоже злодеи описывались. Стало быть, это так свыше определено, чтоб им быть, и определено для того, чтобы, от сравнения с ними, добродетель еще больше возвышалась и заслуживала наград. А мы живем среди этих людей и даже не знаем! Ничего мы не знаем, мой друг, и если бы начальство за нас не бодрствовало — что̀ бы мы были! И признаюсь откровенно: когда то место в письме твоем прочитала, где ты своему благодетелю предложил ужасных этих злодеев называть не злоумышленниками, а заблуждающимися, то весьма была сим офраппирована. Тем более, зная благородство твоих чувств. Но когда увидела, что все это есть не что иное, как обдуманный с твоей стороны подход и что впоследствии вновь эти люди в злоумышленников переименованы будут, опять утешилась. Знай, друг мой, что горших злоумышленников не было, нет и не будет! Отец Федор говорит, что они паче душегубцев и воров, что сии немногим зло причиняют, а они по всему миру распространяют его. Помни это, душа моя! помни и блюди юношеский пламень твой!

Братец Григорий Николаич такой нынче истинный христианин сделался, что мы смотреть на него без слез не можем.

Ни рукой, ни ногой пошевелить не может, и что говорит — не разберем. И ему мы твое письмо прочитали, думая, что, при недугах, оное его утешит, однако он, выслушав, только глаза шире обыкновенного раскрыл.

Пишу к тебе кратко, зная, что теперь тебе не до писем. Будь добр, мой друг, и впредь утешай меня, как всегда утешал. Благословляя тебя на новый труд, остаюсь любящая тебя

Надежда Батищева.

P. S. А что ты об адвокате Ерофееве пишешь, то мне даже очень прискорбно, что ты так на сем настаиваешь. Неужто же ты завидуешь сему врагу религии, который по меняльным рядам ходит и от изуродованных людей поживы ищет! Прошу тебя, друг мой, оставь сию мысль!»

«Милая маменька!

Дело, о котором я писал вам в прошлом письме, развивается так быстро, что теперь у меня, вместо пятнадцати, уже восемьдесят три человека обвиняемых. Восемьдесят три человека! Восемьдесят три жертвы пагубных заблуждений! Это ужасно!

Но какие это люди, милая маменька! сколько бы они могли принести пользы отечеству, если б не заблуждались! Какие величественные замыслы! Какие грандиозные задачи! Люди, которые, по всей справедливости, могли бы претендовать на титул благодетелей человечества,— эти люди не имеют теперь впереди ничего, кроме справедливой кары закона! И они подвергнутся ей, этой каре (в этом *я* могу служить вам порукою)... подвергнутся, потому что заблуждались!

Не вдруг, однако ж, удалось мне проникнуть в святилище душ их. Много пришлось выслушать дерзких выходок и очень непрозрачных намеков, но терпение и особого рода выдержка и в этих трудных обстоятельствах не оставили меня. Я восторжествовал. Мой взгляд был верен: это именно неопытные заблуждающиеся, которых молодые души прежде всего доступны чувствительности. Не чувствительность ли ввергла их и в бездну заблуждения? Не она ли причиной, что молодые их силы, не успев развернуться в пышный цвет, уже являются преждевременно обреченными на гибель? Да, это еще вопрос! и даже очень важный вопрос, милая маменька, ибо та же чувствительность, которая служит источником омерзительнейших преступлений, может подвигать человека и к деяниям высочайшей благонамеренности и преданности. Стало быть, нужно только с уменьем пользоваться этим двигателем, нужно только уметь направить его, одним словом, нужно внимательно

пересмотреть устав пресечения и предупреждения преступлений — и тогда все будет благополучно! Я, по крайней мере, сильно склоняюсь в пользу этого предположения, хотя, увы! и понимаю, что мое личное убеждение и бессильно ввиду предписаний закона! А закон ясен... и неумолим!

Повторяю: много стоило мне усилий, чтобы найти ключ к сердцам этих людей. Людей чувствительных, но, к несчастию, уже испорченных недоверием к лицам, которые, в сущности, искренно желают им добра. В особенности заботил меня некто Феофан Филаретов, с отличием кончивший курс в Московской духовной академии и, в качестве многообещающего юноши, названный Филаретовым в честь покойного московского митрополита. Вы знаете, как прозорлив был покойный преосвященный; но на этот раз неисповедимые пути провидения и его прозорливости готовили важное и прискорбное испытание. Преосвященный готовил Феофана для высших ступеней духовной иерархии, а вместо того, он ныне томится в заключении, из которого должен будет перейти непосредственно на скамью обвиненных! Как не подивиться столь неожиданному перевороту судеб, милая маменька!

Знакомство мое с Феофаном было очень оригинально. Это человек невысокого роста, плотный, даже коренастый, на первый взгляд угрюмый, но с необыкновенно кроткими глазами Несомненно, он ожидал, что я относительно его буду поступать, как обыкновенно в этих случаях делается, то есть сниму формальный допрос и затем отпущу в тюрьму, сказав в заключение несколько укорительных фраз. Ничуть не бывало: я встретил его, как равный равного, или, лучше сказать, как счастливец встречает несчастливца, которому от всей души сочувствует, хотя, к сожалению, и не в силах преподать всех утешений, как бы желал. Я сам придвинул ему стул, предложил стакан чаю, папирос и проч. Это видимо его поразило, хотя некоторое время он все-таки еще не оставлял своего недоверия ко мне. Но и тут он был прекрасен! Он высказал мне так много истин и притом с таким пламенным убеждением, что, несмотря на горечь формы, я внутренно не мог не согласиться с ним!

Он говорил мне: «Вы фарисеи и лицемеры! Вы, как Исав, готовы за горшок чечевицы продать все так называемые основы ваши! вы говорите о святости вашего суда, а сами между тем на каждом шагу делаете из него или львиный ров, или сиренскую прелесть! вы указываете на брак, как на основу вашего гнилого общества, а сами прелюбодействуете! вы распинаетесь за собственность, а сами крадете! вы со слезами на глазах разглагольствуете о любви к отечеству, а сами сапоги

с бумажными подметками ратникам ставите! И крадете, и убиваете, и клянетесь лживо, и жрете Ваалу!» И так далее, все в духе пророка Илии.

Милая маменька! как хотите, а тут есть доля правды! Особенно насчет ратников — ведь это даже факт, что наш бывший предводитель такими сапогами их снабдил, что они, пройдя тридцать верст, очутились босы! Быть может, слова: «жрете Ваалу» слишком уже смелы, но не знаю, как вам, а мне эта смелость нравится! В ней есть что-то рыцарское...

Но когда я, со слезами на глазах, просил его успокоиться; когда я доказал ему, что в видах его же собственной пользы лучше, ежели дело его будет в руках человека, ему сочувствующего (я могу признавать его обличения несвоевременными, но не сочувствовать им — не могу!), когда я, наконец, подал ему стакан чаю и предложил папиросу, он мало-помалу смягчился. И теперь, милая маменька, из этого чувствительного, но не питающего к начальству доверия человека я вью веревки!

Постепенно он открыл мне всё, все свои замыслы, и указал на всех единомышленников своих. Поверите ли, что в числе последних находятся даже многие высокопоставленные лица! Когда-нибудь я покажу вам чувствительные письма, в которых он изливает передо мной свою душу: я снял с них копии, приложив подлинные к делу. Ах, какие это письма, милая маменька!

О замыслах его я тоже когда-нибудь лично сообщу вам, потому что боюсь поверить письму то, что покуда составляет еще тайну между небом, моим генералом и мной. Теперь же могу сказать только одно: они хотели переформировать всю Россию и, между прочим, требовали, чтобы каждый, находясь у себя дома, имел право считать себя в безопасности. Какая плодотворная мысль, если бы в ней не скрывался червь заблуждения! Но именно этот-то червь и испортил все, ибо под «безопасностью» они разумели не ограждение обывателей от разбойников и воров (что было бы вполне плодотворно), но воспрещение полиции входить в обывательские квартиры!

Сверх того, под величайшим секретом могу сообщить вам и еще одну очень характеристичную подробность. Они предполагали уничтожить все нынешние министерства и заменить их только двумя: министерством оплодотворения и министерством отчаяния. В состав первого должны были войти нынешние министерства: финансов, народного просвещения и путей сообщения; в состав второго — министерства: внутренних дел и юстиции, а также государственный контроль. По плану преступного замысла, активную роль должно было играть только

министерство оплодотворения, ибо лишь через развитие промышленности, народного богатства, просвещения и чрез устройство путей сообщения может быть достигнуто благоденствие страны. Министерство же отчаяния должно постоянно бездействовать и играть роль чисто коммеморативного свойства, то есть унылым видом своим напоминать гражданам о тех бедствиях, которым они подвергались в то время, когда это министерство было, так сказать, переполнено жизнию. Но что еще оригинальнее: чиновникам министерства отчаяния присвояются двойные оклады жалованья против чиновников министерства оплодотворения на том основании, что первые хотя и бездействуют, но самое это бездействие имеет настолько укоризненный характер, что требует усиленного вознаграждения.

Когда я докладывал об этом моему генералу, то даже он не мог воздержаться от благосклонной улыбки. «А ведь это похоже на дело, мой друг!» — сказал он, обращаясь ко мне. На что я весело ответил: «Всякое заблуждение, ваше превосходительство, имеет крупицу правды, но правды преждевременной, которая по этой причине и именуется заблуждением». Ответ этот так понравился генералу, что он эту же мысль не раз после того в Английском клубе от себя повторял.

Много помог мне и уланский офицер, особливо когда я открыл ему раскаяние Филаретова. Вот истинно добрейший малый, который даже сам едва ли знает, за что под арестом сидит! И сколько у него смешных анекдотов! Многие из них я генералу передал, и так они ему пришли по сердцу, что он всякий день, как я вхожу с докладом, встречает меня словами: «Ну, что, как наш улан! поберегите его, мой друг! тем больше, что нам с военным ведомством ссориться не приходится!»

Тороплюсь закончить письмо мое, ибо положительно не имею минуты свободной. Верите ли, милая маменька: днем допросы снимаю, ночью записки составляю и пишу рапорты, отношения и предписания. Товарищи по службе уверяют, что я похудел, но в глубине души, я уверен, завидуют мне. Успех придал мне бодрость, так сказать, окрилил меня. Несмотря на бессонные ночи, я положительно не чувствую усталости. Весел, неутомим, готов поболтать, а при случае даже и посмеяться. Вчера вечером урвал минуту, чтобы взглянуть «La fille de m-me Angot»[1], но не успел и одного акта досидеть, как потребовали к генералу...

Прощайте, милая маменька, и проч.

Николай Батищев.

[1] «Дочь мадам Анго».

P. S. Адвокат Ерофеев третьего скопца заманил и сорвал с него какую-то совсем уж баснословную сумму. Слышно, что он пятипроцентные бумаги на бирже скупает. Как хотите, а он не только не дурак, каким его многие почитают, но, по-моему, даже очень умен».

«Милый сын Николенька.

Никогда, даже когда была молода, ни одного романа с таким интересом не читывала, с каким прочла последнее твое письмо. Да, мой друг! мрачны, ах, как мрачны те ущелия, в которых, лишенная христианской поддержки, душа человеческая преступные свои ковы строит!

Сестрица Анюта в полном от твоего Филаретова восхищении. «Представляю себе, говорит, как хорош бы он был в саккосе!» Но я, с своей стороны, его не одобряю и думаю, что озлобление этого человека оттого происходит, что он не дворянин. Если бы он был дворянином, то, как образованный, без труда понял бы, что все сие неизбежно и при слабости нашей даже не без пользы. Хорошо по воскресеньям в церкви проповеди на этот счет слушать (да и то не каждое воскресенье, мой друг!), но ежели каждый день всячески будут тебя костить, то под конец оно и многонько покажется. Отец Федор тоже со мной соглашается, что хотя вразумлять и необходимо, однако же без потери чувств. Все мы люди, все в мире живем и все богу и царю виноваты, и как без сего обойтись — не знаем. Вот о чем надлежало бы твоему Филаретову помнить. Однако так как и генералу твоему предики этого изувера понравились, то оставляю это на его усмотрение, тем больше что, судя по письму твоему, как там ни разглагольствуй в духе пророка Илии, а все-таки разглагольствиям этим один неизбежный конец предстоит.

Гораздо больше понравился мне уланский офицер, фамилию которого ты, однако же, не пишешь. Пожалуйста, анекдотов его побольше собери и тетрадку нам пришли. В деревенском нашем уединении большое утешение нам составишь.

Пишешь ты также, что в деле твоем много высокопоставленных лиц замешано, то, признаюсь, известие это до крайности меня встревожило. Знаю, что ты у меня умница и пустого дела не затеешь, однако не могу воздержаться, чтобы не сказать: побереги себя, друг мой! не поставляй сим лицам в тяжкую вину того, что, быть может, они лишь по легкомыслию своему допустили! Ограничь свои действия Филаретовым и ему подобными!

На этот счет, от опытности моей, могу сказать тебе следующее. Очень часто мы видим, что высшие лица опыты раз-

ные производят, а низшие этим соблазняются и за настоящее принимают. А так как без опытов прожить нельзя, то и в грех этим лицам ставить не следует, а следует ставить в грех лишь тем, которые не те опыты производят, какие от бога им предназначены. Есть люди высшие, средние и низшие — и сообразно с сим опыты. Высший человек может и высшие опыты производить, потому что он же во всякое время и отменить их может. Низший же человек, как, например, твой Филаретов, коль скоро начинает не принадлежащие ему опыты производить, то сейчас же ими воспламеняется — и оттого происходит злоумышленность!

Поэтому, друг мой, ежели ты и видишь, что высший человек проштрафился, то имей в виду, что у него всегда есть ответ: я, по должности своей, опыты производил! И все ему простится, потому что он и сам себя давно во всем простил. Но тебе он никогда того не простит, что ты его перед начальством в сомнение или в погрешность ввел.

Вот почему я, как друг, прошу и, как мать, внушаю: берегись этих людей! От них всякое покровительство на нас нисходит, а между прочим, и напасть. Ежели же ты несомненно предвидишь, что такому лицу в расставленную перед ним сеть попасть надлежит, то лучше об этом потихоньку его предварить и совета его спросить, как в этом случае поступить прикажет. Эти люди всегда таковые поступки помнят и ценят.

Братец Григорий Николаич, по всем видимостям, к концу жизни своей приближается. Даже глаз почти не открывает, а все больше в усыплении находится. Истинно многомятежная жизнь его была! сколько он за гнусные свои идеи пострадал — так это даже вчуже вспомнить больно! А под конец, однако, смирился и даже рабов иметь за необходимое полагал! И все-таки, несмотря на суровые уроки, в нем эта старая дрянная искорка осталась! Намеднись прочли мы ему письмо твое, думали мнение его узнать, а он, вместо того, двусмысленность сделал. Но мы уж и тому рады, что он продолжает христианином быть. Боюсь только, как бы под конец какого баламуту не наделал!

Прощай, мой друг, и проч.

Надежда Батищева.

P. S. А что ты насчет Ерофеева пишешь, то удивляюсь: неужто у вас, в Петербурге, скопцы, как грибы, растут! Не лжет ли он? Еще смолоду он к хвастовству непомерную склонность имел! Или, может быть, из зависти тебя соблазняет! Но ты соблазнам его не поддавайся и бодро шествуй вперед, как начальство тебе приказывает!»

«Любезная маменька.

Планы мои разрушились вдруг, в одну минуту...

Вы знаете мои правила! Вам известно, что я не могу быть предан не всецело! Ежели я кому-нибудь предаюсь, то делаю это безгранично... беззаветно! Я весь тут. Я люблю, чтоб начальник ласкал меня, и ежели он ласкает, то отдаюсь ему совсем! Если сегодня я отдаюсь душой судебному генералу, то его одного и люблю, и всех его соперников ненавижу! Но ежели завтра меня полюбит контрольный генерал, то я и его буду любить одного, и всех его соперников буду ненавидеть!

Дело, о котором я говорил вам в последнем письме моем, продолжало развиваться с ужасающею быстротой. Каждый день приносил новую животрепещущую подробность. Новые замыслы, новые планы, новые разветвления! Отдел «Общества» в Весьегонске, отдел в Тетюшах, отдел в Елабуге... одним словом, что-то ужасное! Вся Россия, пропитанная ядом «предвкушений»! Вся Россия, ничем другим не занимающаяся, кроме «терпеливого перенесения бедствий настоящего»! Какое потрясающее душу зрелище! И какие ужасные люди! Укоры, которые некогда высказал мне Феофан, уже представлялись мне чем-то вроде детского лепета! Передо мной предстали люди совершенно особенные, почти необыкновенные, которые даже не укоряли, а просто-напросто ругательски ругали меня! В их глазах Феофан слыл уже консерватором и даже ретроградом! Он еще допускал существование министерств (вы помните, милая маменька, его остроумную ипотезу двух министерств: оплодотворения и отчаяния), а следовательно, и возможность административного воздействия; они же ровно ничего не допускали, а только, по выражению моего товарища, Коли Персиянова, требовали миллион четыреста тысяч голов.

Обо всем я, разумеется, каждодневно докладывал моему генералу, и, по-видимому, он выслушивал меня охотно. Не раз мы содрогались вместе, но и не раз удавалось мне возбуждать на его устах улыбку...

Милая маменька! Помнится, что в одном из предыдущих писем я разъяснял вам мою теорию отношений подчиненного к начальнику. Я говорил, что с начальниками нужно быть сдержанным и всячески избегать назойливости. Никогда не следует утомлять их... даже заявлениями преданности. Всё в меру, милая маменька! все настолько, чтобы физиономия преданного подчиненного не примелькалась, не опротивела!

Но, начертав себе эту ligne de conduite[1], я, к сожалению,

[1] линию поведения.

сам не удержался на ней. Я был усерден и предан *более, нежели требовалось...*

Я не знаю, как это случилось, но после целого месяца неслыханных с моей стороны усилий и бессонных ночей я почувствовал в голосе генерала ноту усталости. Горько прозвучала в душе моей эта нота, но на первых порах, по неопытности моей, я приписал это обстоятельство или подпольной интриге, или простой случайности. Я не понял, как много скрывается здесь для меня рокового, и, вместо того чтобы обуздать свое усердие, еще больше усилил его. Каждое утро я приходил к генералу с новым, более и более обильным запасом подробностей, но, увы! уже не возбуждал ими ни содрогания, ни улыбки. Генерал устал, охладел — это было ясно. Тогда, чтобы сразу поднять мой упадавший кредит, я придумал такой coup de théâtre[1], который, по мнению моему, должен был *непременно* разбудить в нем гаснущий интерес к делу.

Надо вам сказать, что перед этим я только что открыл нечто новое и в высшей степени замечательное. Оказалось, что злоумышленники на общие деньги выписывали «Труды Вольно-экономического общества» и собирались в разных местах для совместного их чтения. Для чего они это делали? Разве они не могли читать «Труды» каждый в своей квартире? Разве стоят того «Труды», чтоб по поводу их затевать недозволенные сборища и тратиться на извозчиков? — вот вопросы, которыми я задался, милая маменька, и на которые сам себе дал ответ: нет, это неспроста!

Я не буду описывать вам, с каким восторгом я стремился утром к генералу, чтоб доложить ему о своем новом открытии, но едва начал свой рассказ, как уже меня поразило какое-то зловещее выражение, светившееся в его глазах.

— Я должен вам сказать,— произнес он холодно,— что еще вчера мною сделано распоряжение о совершенном прекращении этого дела.

Я ничего не понял. Я стоял против него, затаив дыхание, и ждал.

— Я ничего не могу сказать,— продолжал он,— насколько важно или не важно производимое вами дело, потому что действия ваши не только не объяснили, но даже запутали и то, что было сделано вашими предместниками. Но я могу сказать положительно, что вот уже целый месяц, как вы подвергаете меня самым непростительным истязаниям. Я думал, что вы сами наконец поймете все неприличие вашей настойчивости,

[1] трюк.

но, к сожалению, даже эта скромная надежда моя не оправдалась. Вчера вы хотели уверить меня, что в Конотопе свила гнездо измена, а сегодня вы уже хотите заставить меня даже в таком факте, как совместное чтение «Трудов Вольно-экономического общества», видеть преступный умысел.

Я раскрыл рот, чтобы заявить о моем раскаянии и заверить, что его превосходительству стоит только указать мне путь...

— Я знаю, что̀ вы хотите сказать,— остановил он меня,— вы усердны, молодой человек! — в этом отказать вам нельзя! Но вы *слишком* усердны, а это такой недостаток, перед которым даже совершенная бездеятельность представляется качеством далеко не бесполезным. Я более ничего не имею прибавить вам.

Да; он сказал мне все это, и голос его ни разу не дрогнул... И я должен был оставить его кабинет, не выразив ни оправдания, ни даже раскаяния...

Я не могу передать вам в настоящем письме всех подробностей этой печальной истории: до такой степени она подавляет меня! Но, во всяком случае, вероятный ее результат вполне уже для меня выяснился: карьера, о которой я так недавно и так восторженно писал вам,— разрушена навсегда! Конечно, еще может подвернуться какой-нибудь особенный, сверхъестественный случай, который даст мне возможность вынырнуть, но до тех пор — я должен сознаться в этом — шансы мои очень и очень слабы!

Усердие, на которое я так надеялся,— это самое усердие погубило меня. Не будь я так усерден, я не очутился бы в той беспримерной тоске, в которую меня повергла неудача моего предприятия. Но я превзошел самого себя — и пал жертвою своих собственных усилий! Какой поразительный урок, милая маменька! И как поучителен он должен быть для тех, которые проводят жизнь, по всем министерствам влача беззаветную свою преданность!

К довершению всего, неудача моя с быстротою молнии облетела все наше ведомство. Товарищи смотрят на меня с двусмысленными улыбками и при моем появлении шепчутся между собою. Вчера — зависть, сегодня — недоброжелательство и насмешки. Вот круг, в котором осуждена вращаться преданность...

И все эти люди, которые завтра же с полною готовностью проделают всё то, что я проделал вчера, без всякого стыда говорят вам о каких-то основах и краеугольных камнях, посягательство на которые равносильно посягательству на безопасность целого общества!

О, Феофан Филаретов! как часто и с какою отрадой я вспоминаю о тебе в моем уединении! Ты сказал святую истину: в нашем обществе (зачеркнуто: «ведомстве») человек, ищущий справедливости, находит одно из двух: или ров львиный, или прелесть сиренскую!..

Прощайте, милая маменька! благословите и пожалейте несчастного, целующего ваши ручки, сына

Николая Батищева.

P. S. Вы положительно несправедливы к Ерофееву, милая маменька. Это человек ума очень обширного, и ежели умеет сыскать полезного для себя скопца, то не потому, что они, как грибы, в Петербурге растут, а потому, что у него есть особенная к этому предмету склонность. В несчастии моем он один не усумнился отнестись ко мне симпатически и приехал пожать мою руку. Он помнит гостеприимство, которое вы оказывали ему, когда он к нам из школы по праздникам хаживал, и еще недавно с большим участием об вас расспрашивал. Он даже предлагал мне вступить с ним в компанию по ведению дел, и хотя я ни на что еще покуда не решился, однако будущность эта довольно-таки мне улыбается. Как хотите, а нигде, кроме частной деятельности, нельзя найти настоящей самостоятельности! Это единственная арена, на которой дорожат знающими и усердными людьми».

«Милый дружок Николенька.

Получив твое письмо, так была им поражена, что даже о братце Григории Николаиче забыла, который, за несколько часов перед тем, тихо, на руках у сестрицы Анюты, скончался. Христос с ним! слава богу, он умер утешенный! Не только никакой шутки над отцом Федором не позволил себе, но даже с истинно христианским благоговением напутствие его выслушал. Теперь он взирает на нас с высот небесных, а может быть, и доднесь душа его между нами витает и видит как горесть нашу, так и приготовления, которые мы к погребению его делаем.

Как ни прискорбна превратность, тебя постигшая, но и теперь могу повторить лишь то, что неоднократно тебе говорила: не одни радости в сем мире, мой друг, но и горести. А потому не ропщи. Ты все сделал, что доброму и усердному подчиненному сделать надлежало,— стало быть, совесть твоя чиста. По усердию твоему, ты хотел до конца твоего генерала прельстить; если же ты в том не успел, то, стало быть, богу не угодно было. Смирись же, друг мой! ибо на все его святая

воля, мы же все странники, а бездыханный труп братца Григория Николаича даже сильнее, нежели прежде, меня в этой мысли утверживает!

Я не только на тебя не сержусь, но думаю, что все это со временем еще к лучшему поправиться может. Так, например: отчего бы тебе немного погодя вновь перед генералом не открыться и не заверить его, что все это от неопытности твоей и незнания произошло? Генералы это любят, мой друг, и раскаивающимся еще больше протежируют!

Впрочем, предоставляю это твоему усмотрению, потому что хотя бы и хотела что-нибудь еще в поучение тебе сказать, но не могу: хлопот по горло. Теперь приготовляемся последний долг усопшему другу отдать, а после того и об утверждении в правах наследства подумать надо. Братец после себя прекраснейшее имение в Курской губернии оставил, а теперь, по божьему соизволению, оно должно перейти к нам. Сказывал старый камердинер его, Платон, что у покойного старая пассия в Москве жила и от оной, будто бы, дети, но она, по закону, никакого притязания к имению покойного иметь не может, мы же, по христианскому обычаю, от всего сердца грех ей прощаем и даже не желаем знать, какой от этого греха плод был! Жаль, конечно, детей, но ежели закон им прав не дает, то что же мы против закона сделать можем!

Прощай, друг мой; пиши, не удастся ли тебе постигшую грозу от себя отклонить и по-прежнему в любви твоего генерала утвердиться. А как бы это хорошо было! Любящая тебя мать

Надежда Батищева.

P. S. Прости, Христа ради, что об Ерофееве так низко заключила. Теперь и сама вижу, что дела о скопцах не без выгоды. Быть может, провидение нарочно послало его, чтобы тебя утешить. Недаром же ты в каждом письме об нем писал: должно быть, предчувствие было, что понадобится».

«Любезная маменька.

Я подал в отставку.

Такое решение может вам показаться внезапным, но я сейчас докажу, что оно далеко не было с моей стороны внезапностью.

Я рассудил так: после моей катастрофы надеяться на скорое восстановление в мнении моего генерала было бы глупостью. Меня будут заставлять каждодневно обвинять, я каждый

день буду одерживать победы над присяжными заседателями — и генерал будет говорить, что я только исполняю свою обязанность. Состав моих товарищей будет меняться, вследствие повышений, и я один останусь незыблем, покуда не сдадут меня наконец в виде милости, в архив, членом белозерского окружного суда, где я и буду до конца жизни судить белозерских снетков. Ясно, что такое будущее не имеет в себе ничего блестящего.

Поэтому, в видах моей же собственной пользы, необходимо, чтобы меня забыли или, лучше сказать, чтобы я напомнил о себе на другом поприще. Доселе — я обвинял; отныне — буду оправдывать. Я хочу доказать и докажу, что в области правосудия нет ничего для меня недоступного. Убедившись в этом, генерал, без сомнения, сам поймет, чего он лишился, пренебрегши моими заслугами, и тогда мне останется только дать знать стороной, что и мое сердце не недоступно для раскаяния. И я вновь верну себе благосклонность моего начальника и вновь, еще с большею пламенностью, возьму в свои руки бразды обвинения. Но уже не иначе, милая маменька, как в качестве настоящего прокурора, а не товарища.

Весь этот план отлично объяснил мне Ерофеев, а покуда дал мне отличнейший и очень выгодный способ проявить свои способности на поприще оправдания.

На днях предстоит Петербургу небывалое и величественное зрелище: будут судиться восемьдесят скопцов. Собственно, Ерофеев взял на себя лишь декоративную часть этого дела, на суде же у каждого из обвиненных будет по два защитника и по два подручных. Но так как в Петербурге нет такого количества способных на защиту скопцов адвокатов, то некоторым из защитников предоставлено будет участвовать в нескольких парах и, таким образом, кюмюлировать несколько гонораров. Каждой паре назначается гонорара сорок тысяч, из которых должно уделить некоторую часть подручным, в вознаграждение за некоторые занятия, требующие более телесных упражнений, нежели умственного труда.

Ерофеев обещал мне участие в нескольких парах, причем, на первый раз, на меня возложена будет защита самых легких скопцов, дабы на них я мог, так сказать, переломить первое мое копье на арене защиты. Успех кажется мне до такой степени несомненным, что я уже заранее дал назначение своему гонорару. С вашего позволения, милая маменька, я приобрету ту пустошь, о покупке которой так часто мечтал покойный дяденька. Тогда имение наше будет вполне округлено и навсегда обеспечено лугами, в которых оно так сильно до сих пор нуждалось.

Итак, я бодр по-прежнему. Я сделался даже бодрее, ибо теперь уже не боюсь, что кто-нибудь меня внезапно обругает или оборвет.

Благословите же меня, добрый друг мой, потому что в настоящую минуту ваше благословление, более нежели когда-нибудь, для меня дорого. Остаюсь и проч.

Николай Батищев».

СТОЛП

В прежние времена, когда еще «свои мужички» были, родовое наше имение, Чемезово, недаром слыло золотым дном. Всего было у нас довольно: от хлеба ломились сусеки; тальками, полотнами, бараньими шкурами, сушеными грибами и другим деревенским продуктом полны были кладовые. Все это скупалось местными т — скими прасолами, которые зимою и глухою осенью усердно разъезжали по барским усадьбам.

Между этими скупщиками в особенности памятен мне т— ский мещанин, Осип Иванов Дерунов. Я как сейчас вижу его перед собою. Человек он был средних лет (лет тридцати пяти или с небольшим) и чрезвычайно приятной наружности. Из лица бел, румян и чист; глаза голубые; на губах улыбка; зубы белые, ровные; волоса белокурые, слегка вьющиеся; походка мягкая; голос — ясный и звучный тенор. В доме у нас его решительно все как-то особенно жаловали. Папенька любил за то, что он был словоохотлив, повадлив и прекрасно читал в церкви «Апостола»; маменька — за то, что он без разговоров накидывал на четверть ржи лишний гривенник и лишнюю копейку на фунт сушеных грибов; горничные девушки — за то, что у него для каждой был или подарочек, или ласковое слово. Поэтому, когда наезжал Дерунов, то все лица просветлялись. Господа видели в нем, так сказать, выразителя их годового дохода; дворовые люди радовались из инстинктивного сочувствия к человеку оборотливому и чивому. Позовут, бывало, Дерунова в столовую и посадят вместе с господами чай пить. Сидит он скромно, пьет не то́ропко, блюдечко с чаем всей пятерней держит. Рассказывает, где был, что́ у кого купил, ка̀к преосвященный, объезжая епархию, в К — не обедню служил, какой у протодьякона голос и в каких отношениях находится новый становой к исправнику и секретарю земского суда. Рассказывает, что нынче на все дороговизна пошла, и пошла оттого, что «прежние деньги на сигнации были, а теперьче на серебро счет пошел»; рассказывает, что дело торговое тоже трудное, что «рынок на рынок не потрафишь: иной раз дорого думаешь продать, ан ни за что спустишь, а

другой раз и совсем, кажется, делов нет, ан вдруг бог подходящего человека послал»; рассказывает, что в скором времени «объявления набору ждать надо» и что хотя набор — «оно конечно»... «одначе и без набору быть нельзя». Слушает папенька все эти рассказы и тоже не вытерпит — молвит:

— Башка, брат, у тебя, Осип Иваныч! Не здесь бы, не в захолустье бы тебе сидеть! Министром бы тебе быть надо!

Так за Деруновым и утвердилась навсегда кличка «министр». И не только у нас в доме, но и по всей округе, между помещиками, которых дела он, конечно, знал лучше, нежели они сами. Везде его любили, все советовались с ним и удивлялись его уму, а многие даже вверяли ему более или менее значительные куши под оборот, в полной уверенности, что Дерунов не только полностью отдаст деньги в срок, но и с благодарностью.

В то время Дерунов только что начинал набираться силы. В Т*** у него был постоялый двор и при нем небольшой хлебный лабаз. Памятен мне и этот постоялый двор, и вся обстановка его. Длинное одноэтажное строение выходило фасадом на неоглядную базарную площадь, по которой кружились столбы пыли в сухое летнее время и на которой тонули в грязи мужицкие возы осенью и весною. Крыт был дом соломой под щетку и издали казался громадным ощетинившимся наметом; некрашеные стены от времени и непогод сильно почернели; маленькие, с незапамятных времен не мытые оконца подслеповато глядели на площадь и, вследствие осевшей на них грязи, отливали снаружи всевозможными цветами; тесовые почерневшие ворота вели в громадный темный двор, в котором непривычный глаз с трудом мог что-нибудь различать, кроме бесчисленных полос света, которые врывались сквозь дыры соломенного навеса и яркими пятнами пестрили навоз и улитый скотскою мочою деревянный помост. Приезжий въезжал в ворота и поглощался двором, словно пропастью. Слышались: фырканье лошадей, позвякиванье колокольцев и бубенчиков, гулкий лет голубей, хлопанье крыльями домашней птицы; где-то, в самом темном углу, забранном старыми досками, хрюкал поросенок, откармливаемый на убой к одному из многочисленных храмовых праздников. Обдавало запахом дегтя, навоза, самоварного чада и вареной убоины, пар от которой валил во двор через отворенную дверь черной избы. Направо от ворот спускалось во двор крыльцо с колеблющимися ступеньками и с небольшими сенцами вверху, в которых постоянно пыхтел самовар с вечно наставленною трубою. Выйдя из сеней, вы встречали нечто вроде холодного коридора с чуланчиками и кладовушками на каждом шагу, в котором

царствовала такая кромешная тьма, что надо было идти ощупью, чтоб не стукнуться лбом об какую-нибудь перекладину или не споткнуться. Из этого коридора шли двери, прежде всего в черную избу, в которой останавливались подводчики и прочий серый люд, и затем в «чистые покои», где останавливались проезжие помещики. Черная изба была довольно обширная о трех окнах комната, в которой, за перегородкой, с молодою женой (женился он довольно поздно, когда ему было уже около тридцати лет) ютился сам хозяин. «Чистые покои» были маленькие, узенькие комнатки; в них пахло затхлостью, мышами и тараканами; половицы шатались и изобиловали щелями и дырами, прогрызенными крысами; газетная бумага, которою обклеены были стены, местами висела клочьями, местами совсем была отодрана. Оконные рамы чуть держались на петлях и при всяком порыве ветра с шумом отворялись или захлопывались. И сколько тут было мух, тараканов, клопов!

Несмотря на эту незавидную обстановку, проезжий люд так и валил к Осипу Иванову. Для черного люда у него были такие щи, «что не продуешь», для помещиков — приветливое слово и умное рассуждение вроде того, что «прежде счет на сигнации был, а нынче на серебро пошел». Мне, юноше лет тринадцати — четырнадцати, было столько раз говорено об уме Осипа Иваныча, что я даже побаивался его. Когда я останавливался на его постоялом дворе, проездом, во время каникул, в родное гнездо, он обращался со мною ласково и в то же время учительно. Войдет, бывало, в занятую мною комнату, сядет, покуда я закусываю, у стола против меня и начнет экзаменовать.

— В побывку, паренек, собрался?

— На каникулы, Осип Иваныч.

— Гм!.. каникулы... это когда песьи мухи одолевают? Ну, надо экзамент тебе сделать. Учителям потрафлял ли?

— Потрафлял, Осип Иваныч.

— Это хорошо, что учителям потрафляешь. В науку пошел — надо потрафлять. Иной раз и занапрасно учитель побьет, а ты ему: «Покорно, мол, благодарю, Август Карлыч!» Ведь немцы поди у вас?

— Немцы, Осип Иваныч; только у нас учителям бить не позволяется.

— И не позволяется, а всё же, чай, потихоньку исправляются. И нас царь побивать не велел, а кто только нас не побивает!

— Ей-богу, Осип Иваныч, у нас не бьют!

Но Осип Иваныч только покачивает в ответ головой, что

меня всегда очень обижало, потому что я воспитывался в одном из тех редких в то время заведений, где действительно телесное наказание допускалось лишь в самых исключительных случаях.

— А заповедям учился? — продолжает между тем экзаменовать Осип Иваныч.

— Знаю.

— А коли знаешь, так, значит, прежде всего бога люби да родителев чти. Почитаешь ли родителей-то?

— Почитаю, Осип Иваныч.

— Чти родителей, потому что без них вашему брату деваться некуда, даром что ты востер. Вот из ученья выйдешь — кто тебе на прожиток даст? Жениться захочешь — кто невесту припасет? — всё родители! — Так ты и утром и вечером за них бога моли: спаси, мол, господи, папыньку, мамыньку, сродственников! Всех, сударь, чти!

— И то чту!

— То-то, говорю: чти! Вот мы, чернядь, как в совершенные лета придем, так сами домой несем! Родитель-то тебе медную копеечку даст, а ты ему рубль принеси! А и мы родителей почитаем! А вы, дворяна, ровно малолетные, да старости все из дому тащите — как же вам родителей не любить!

— Выйду из ученья, на службу поступлю, сам буду жалованье получать.

— Велико твое жалованье — в баню на него сходить! Жалованья-то дадут тебе алтын, а прихотей у тебя на сто рублев. Тут только тебе подавай!

Я не возражал; наступало несколько минут затишья, в продолжение которых Осип Иваныч громко зевал и крестил свой рот. Но не такой он был человек, чтобы скоро отстать.

— Я тоже родителей чтил,— продолжал он прерванную беседу,— за это меня и бог благословил. Бывало, родитель-то гневается, а я ему в ножки! Зато теперь я с домком; своим хозяйством живу. Всё у меня как следует; пороков за мной не состоит. Не пьяница, не тать, не прелюбодей. А вот братец у меня, так тот перед родителями-то фордыбаченьем думал взять — ан и до сих пор в кабале у купцов состоит. Курицы у него своей нет!

— Может быть, его обделили?

— Не кто обделил, сам себя обделил. Сама себя раба бьет, коли плохо жнет. На все, сударь, воля родительская!

Проэкзаменовавши меня таким родом и оставшись испытанием доволен, Осип Иваныч предлагал мне отдохнуть с дороги и уводил в баньку, где расстилалось душистое одворичное сено и куда ни одна муха, ни один клоп не смели проник-

нуть. Там я засыпал тем глубоким и освежительным сном, которым может засыпать только юноша, испытавший сряду несколько дней тряской и бессонной дороги. Часа через три меня, полусонного, поднимали с мягкого ложа, укладывали в тарантас и увозили из Т*** в Чемезово, где ждали меня новые экзамены в том же роде и духе, как и сейчас выдержанный экзамен Осипа Иваныча.

Но тогда было время тугое, и, несмотря на оборотливость Дерунова, дела его развивались не особенно быстро. Он выписался из мещан в купцы, слыл за человека зажиточного, но долго и крепко держался постоялого двора и лабаза. Может быть, и скопился у него капиталец, да по тогдашнему времени пристроить его было некуда.

Рисковать было не в обычае; жили осторожно, прижимисто, как будто боялись, что увидят — отнимут. Конечно, и тогда встречались аферисты и пройдохи, но чтобы идти по их следам, нужно было иметь большую решимость и несомненную готовность претерпеть. Человек робкий, или, как тогда говорилось, «основательный», неохотно ввязывался в операции, которые были сопряжены с риском и хлопотами. Богатства приобретались терпением и неустанным присовокуплением гроша к грошу, для чего не требовалось ни особливой развязности ума, ни той канальской изворотливости, без которой не может ступить шагу человек, изъявляющий твердое намерение выбрать из карманов своих ближних все, что в них обретается.

С тех пор прошло около двадцати лет. В продолжение этого времени я вынес много всякого рода жизненных толчков, странствуя по морю житейскому. Исколесовал от конца в конец всю Россию, перебывал во всевозможных градах и весях: и соломенных, и голодных, и холодных, но не видал ни Т***, ни родного гнезда. И вот, однако ж, судьба бросила меня и туда...

Приезжаю в Т*** и с первого же взгляда убеждаюсь, что умы развязались. Во-первых, к самым, так сказать, воротам города проведена железная дорога. Двадцать лет тому назад никто бы не догадался, что из Т*** можно что-нибудь возить; теперь не только возят, но даже прямо говорят, что и конца этой возке не будет. Двадцать лет тому назад почти весь местного производства хлеб потребляли на месте; теперь — запрос на хлеб стал так велик, что съедать его весь сделалось как бы щекотливым. Свистнет паровоз, загрохочет поезд — и увозит бунты за бунтами куда-то в синюю даль. И даже не знает бессмысленная чернь, куда исчезает ее трудовой хлеб и кого он будет питать...

Во-вторых, кабаков было не больше пяти-шести на весь город; теперь на каждый переулок не менее пяти-шести кабаков.

В-третьих, город осенью и весной утопал в грязи, а летом задыхался от пыли; теперь — соборную площадь уж вымостили, да, того гляди, вымостят и Московскую улицу.

В-четвертых, прежде был городничий, который всем ведал, всех карал и миловал; теперь — до того доведено самоуправление, что даже в городские головы выбран отставной корнет.

В-пятых, прежде правосудие предоставлялось уездным судам, и я как сейчас вижу толпу голодных подьячих, которые за рубль серебра готовы были вам всякое удовлетворение сделать. Теперь настоящего суда нет, а судит и рядит какой-то совершенно безрассудный отставной поручик из местных помещиков, который, не ожидая даже рубля серебром, в силу одного лишь собственного легкомыслия, готов во всякую минуту вконец обездолить вас.

В-шестых, наконец, прежде совсем не было адвокатов, а были люди, носившие название «ябедников», «приказных строк», «крапивного семени» и т. д., которые ловили клиентов по кабакам и писали неосновательные просьбы за косушку. Ныне и в Т*** завелось до десяти «аблакатов», которые и за самую неосновательную просьбу меньше красненькой не возьмут.

Вместе с общим обновлением изменилось и положение Дерунова. Еще ехавши по железной дороге в Т***, я уже слышал, что имя его упоминалось, как имя главного местного воротилы. Разбогател он страшно и уже не сколачивал по копеечке, а прямо орудовал. Арендовал у помещиков винокуренные заводы, в большинстве городов губернии имел винные склады, содержал громадное количество кабаков, скупал и откармливал скот и всю местную хлебную торговлю прибрал к своим рукам. Одним словом, это был монополист, который всякую чужую копейку считал гулящею и не успокоивался до тех пор, пока не залучит всё в свой карман.

Ранним утром поезд примчал нас в Т***. Я надеялся, что найду тут своих лошадей, но за мной еще не приехали. В ожидании я кое-как приютился в довольно грязной местной гостинице и, имея сердце чувствительное, разумеется, не утерпел, чтобы не повидаться с дорогими свидетелями моего детства: с постоялым двором и его бывшим владельцем.

Старого постоялого двора уже не было и следа. На месте его возвышались двухэтажные каменные палаты с простран-

ными флигелями и амбарами, в которых помещались контора и склады. Ужасно это меня огорчило. Вот тут, на самом этом месте, была любезнейшая сердцу грязь; вот здесь я лакомился сдобными лепешками со сливками; вот там я дразнил индюка... И вдруг — ничего этого нет! Какие-то каменные палаты, от которых не веет ничем, отзывающимся сердечною теплотою! До такой степени это поразило меня, что, взойдя на парадное крыльцо, я даже предложил себе вопрос, не дать ли тягу. Кто знает, не окаменел ли и сам Дерунов, подобно своим палатам! Вспоминает ли о прежних серенькых днях, или же он и прошлое свое, вместе с другою ненужною ветошью, сбыл куда-нибудь в такое место, где его никакими способами даже отыскать нельзя! Я несчастлив, и потому очень понятно, что для меня всякая подробность прошлого имеет цену светлого воспоминания. Напротив того, Дерунов счастлив — зачем же, спрашивается, ему прошлое, в котором все-таки было не без плутней, а следовательно, и не без потасовок за оные?

Теперь Дерунов — опора и столп. Авторитеты уважает, собственность чтит, насчет семейного союза нимало не сомневается. Он много и беспрекословно жертвует и получает за это медали; на нем почиет множество благословений Синода; у него в доме останавливается, во время ревизии, губернатор; его чуть не боготворит исправник и тщетно старается подкузьмить мировой судья. В довершение всего, у него дочь выдана за полковника. Какое значение могу я иметь в его глазах, кроме значения ненужного напоминания прошлого? Я не могу ничего ни продать, ни купить, ни даже предложить какие-нибудь услуги. Я — ветошь прошлого, очевидец замасленной сибирки, загаженных мухами счетов, на которых он когда-то щелкал, приговаривая: «За самовар пять копеечек, овсеца меру брали — двадцать копеечек, за тепло — сколько пожалуете» и т. д. Зачем я пришел?

Но покуда я раздумывал, в воротах дома показался сам старик Дерунов, который только что окончил свои распоряжения во дворе.

Несмотря на свои с лишком шестьдесят лет, он был совершенно бодр и свеж. Он представлял собою совершеннейший тип той породы крепких, сильных и румяных стариков, которых называют благолепными. Голубые глаза его слегка потускнели, вследствие старческой слезы, но смотрели по-прежнему благодушно, как будто говорили: зачем тебе в душу мою забираться? я и без того весь тут! Волоса побелели, но еще кудрявились, обрамливая обнаженный череп и образуя вокруг головы род облака. Та же приятная улыбка на губах, тот же

мягкий, лишь слегка надтреснутый тенор. Словом сказать, передо мной стоял прежний Осип Иванов, но только посановитее и в то же время поумытее и пощеголеватее.

— Вам до меня? — обратился он ко мне с вопросом. Я назвал себя.

Старик постоял с минуту, как бы ища в своей памяти, но наконец вспомнил. И, сказать по правде, вспомнил с видимым удовольствием.

— Господи! — засуетился он около меня,— легко ли дело, сколько годов не видались! Поди, уж лет сорок прошло с тех пор, как ты у меня махонькой на постоялом лошадей кармливал!

— Сорок не сорок, а много-таки воды утекло!

— Что и говорить! Вот и у вас, сударь, головка-то беленька стала, а об стариках и говорить нечего. Впрочем, я на себя не пожалуюсь: ни единой во мне хворости до сей поры нет! Да что же мы здесь стоим! Милости просим наверх!

Пошли в дом; лестница отличная, светлая; в комнатах — благолепие. Сначала мне любопытно было взглянуть, каков-то покажется Осип Иванович среди всей этой роскоши, но я тотчас же убедился, что для моего любопытства нет ни малейшего повода: до такой степени он освоился со своею новою обстановкой.

— Вот какую хижу я себе выстроил! — приветствовал он меня, когда мы вошли в кабинет,— теперь у меня простора вдоволь, хоть в дрожках по горницам разъезжай. А прежде-то что̀ на этом месте было... чай, помните?

— Да не забыл-таки. И знаете ли, Осип Иваныч, как подходил к вашему дому да увидел, что прежнего постоялого двора нет — как будто жаль стало!

— Что жалеть-то! Вони да грязи мало, что ли, было? После постоялого-то у меня тут другой домок, чистый, был, да и в том тесно стало. Скоро пять лет будет, как вот эти палаты выстроил. Жить надо так, чтоб и светло, и тепло, и во всем чтоб приволье было. При деньгах да не пожить? за это и люди осудят! Ну, а теперь побеседуемте, сударь, закусимте; я уж вас от себя не пущу! Сказывай, сударь, зачем приехал? нужды нет ли какой?

Старик, очевидно, не знал, какой тон установить в отношении ко мне, и потому беспрерывно переходил от «вы» на «ты».

— Да у вас, чай, дела; еще задержишь...

— Какие дела! всех дел не переделаешь! Для делов дельцы есть — ну, и пускай их, с богом, бегают! Господи! сколько годов, сколько годов-то прошло! Голова-то у тебя ведь

ночесть белая! Чай, в город-то в родной въехали, так диву дались!

— Да, порядочно-таки изменился!

— Постой, что еще вперед будет! Площадь-то какая прежде была? экипажи из грязи народом вытаскивали! А теперь посмотри — как есть красавица! Собор-то, собор-то! на кумпол-то взгляни! За пятнадцать верст, как по остреченскому тракту едешь, видно! Как с последней станции выедешь — всё перед глазами, словно вот рукой до города-то подать! Каменных домов сколько понастроили! А ужо, как Московскую улицу вымостим да гостиный двор выстроим — чем не Москва будет!

— Хорошо-то хорошо... да ведь и прежде...

— Нечего, сударь, прежнего жалеть! Надо дело говорить: ничего в «прежнем» хорошего не было! Я и старик, а не жалею. Только вонь и грязь была. А этого добра, коли кому приятно, и нынче вдоволь достать можно. Поезжай в «Пешую слободу» да и живи там в навозе!

Осип Иваныч на минуту остановился и не то восторженно, не то иронически воскликнул:

— Одних питейных заведений у нас нынче числом шестьдесят пять штук!

— Да? ну, это, конечно, усовершенствование немаловажное...

— Не нравится? А мне так любо смотреть! ровно часовые по улице-то стоят! впустить впустят, а выпустить — и думать не моги!

— Что ж тут хорошего!

— А то и хорошо, что вольному воля! Прежде насчет всего запрет был, а нынче — воля! А впрочем, доложу вам, умному человеку на этот счет все едино: что запрет, что воля. Когда запрет был — у умного человека на предмет запрета выдумка была; воля пришла — у него на предмет этой самой воли выдумка готова! Умный человек никогда без хлеба не оставался. А что касается до прочих, так ведь и для них все равно. Только навыворот... ха-ха!

Осип Иваныч звонко и добродушно засмеялся и даже несколько, кажется, удивился, что и я вместе с ним не смеюсь.

— Да что ж ты унылой какой сделался! — сказал он,— а ты побравее, поповоротливее взглядывай! потрафляй! На меня смотри: чем был и чем стал!

— Да, вам таки посчастливилось, кажется!

— Благословил господь! А все-таки скажу, в нашем деле как кому потрафится! Сумел потрафить — с рублем будешь; не сумел — в трубу вылетел! Одно верно: руки склавши сидеть

будешь — много не наживешь! Не мало тоже я думы передумал, покуда решился колесо-то это завести. Прежде и я по зернышку клевал, ну, а потом вижу, люди горстями хватают,— подумал: «Не все же людям, и нам, может, частица перепадет!» Да об этом после! Что мы так-то сидим! Эй, чаю сюда! да закусочки! Господи! сколько лет, сколько зим! Еще от родителей ваших, сударь, ласку видел, вот оно когда знакомство-то наше началось! Недавно еще мимо Чемезова-то проезжал — вспоминал! как же! Дом-то барский, сказывают, уж обвалился; ни замков, ни заслонок, даже кирпичи из печей — и те повытасканы. Пожалел я: стоит махина без окон, словно инвалид без глаз!

Осип Иваныч неодобрительно покачал головой. Между тем подали чай, а на другом столе приготовляли закуску.

— Туда, что ли, сударь, едете? — обратился ко мне Дерунов.

— Туда.

— Что делать предполагаете?

— Да посмотрю...

— По правде сказать, невелико вам нынче веселье, дворянам. Очень уж оплошали вы. Начнем хоть с тебя: шутка сказать, двадцать лет в своем родном гнезде не бывал! «Где был? зачем странствовал?» — спросил бы я тебя — так сам, чай, ответа не дашь! Служил семь лет, а выслужил семь реп!

— Всякому свое, Осип Иваныч. Может быть, и на нашей улице будет праздник!

— Знаю я, сударь, что начальство пристроить вас куда-нибудь желает. Да вряд ли. Не туда вы глядите, чтоб к какому ни на есть делу приспособиться!

— Уж будто и дела для нас никакого не найдется!

— Какое же дело! Вино вам предоставлено было одним курить — кажется, на что статья подходящая! — а много ли барыша нажили! Побились, побились, да к тому же Дерунову на поклон пришли — выручай! Нечего делать — выручил! Теперь все заводы в округе у меня в аренде состоят. Плачу аренду исправно, до ответственности не допущаю — загребай помещик денежки да живи на теплых водах!

— Воспитание, Осип Иваныч, не такое мы получили, чтоб об материальных интересах заботиться. Я вот по-латыни прежде хорошо знал, да, жаль, и ее позабыл. А кабы не позабыл, тоже утешался бы теперь!

— На пустые поля да на белоус глядючи. Так, сударь! А надолго ли, смею спросить, в Чемезово-то собрались?

— Нет, зачем надолго! Посмотреть да кой-чем распорядиться — и опять в Петербург!

— То-то. В деревне ведь тоже пить-есть надо. Земля есть, да ее не укусишь. А в Петербурге все-таки что-нибудь добудешь. А ты не обидься, что я тебя спрошу: кончать, что ли, с вотчиной-то хочешь?

— Хотелось бы. Крестьяне на выкупе, земля — обрезки кое-какие остались; не к рукам мне, Осип Иваныч!

— А не к рукам, так продать нужно. Дерунова за бока! Что ж, я и теперь послужить готов, как в старину служивал. Даром денег не дам, а настоящую цену отчего не заплатить? Заплачу!

— Да ведь настоящая-то цена... кто ее знает, какая она?!

— Настоящая цена — христианская цена. Чтоб ни мне, ни тебе — никому не обидно; вот какая это цена! У тебя какая земля! И тебе она не нужна, и мне не нужна! Вот по этому самому мачтабу и прикладывай, чего она стоит!

— Однако ведь вы охотитесь же купить!

— Так, балую. У меня теперь почесть четверть уезда земли-то в руках. Скупаю по малости, ежели кто от нужды продает. Да и услужить хочется — как хорошему человеку не услужить! Все мы боговы слуги, все друг дружке тяготы нести должны. И с твоей землей у меня купленная земля по смежности есть. Твои-то клочки к прочим ежели присовокупить — ан дача выйдет. А у тебя разве дача?

— Ну, кроме вас, и крестьяне, может быть, пожелают приобрести.

— Крестьяне? крестьянину, сударь, дани платить надо, а не о приобретении думать. Это не нами заведено, не нами и кончится. Всем он дань несет; не только казне-матушке, а и мне, и тебе, хоть мы и не замечаем того. Так ему свыше прописано. И по моему слабому разуму, ежели человек бедный, так чем меньше у него, тем даже лучше. Лишней обузы нет.

Суждение это было так неожиданно, что я невольно взглянул на моего собеседника, не рассердился ли он на что-нибудь. Но он по-прежнему был румян; по-прежнему невозмутимо-благодушно смотрели его глаза; по-прежнему на губах играла приятная улыбка.

— Да уж не рассердили ли вас чем-нибудь крестьяне, что вы от лишней обузы облегчить их хотите? — спросил я.

— Я-то сержусь! Я уж который год и не знаю, что за «сердце» такое на свете есть! На мужичка сердиться! И-и! да от кого же я и пользу имею, как не от мужичка! Я вот только тебе по-христианскому говорю: не вяжись ты с мужиком! не твое это дело! Предоставь мне с мужика получать! уж я своего не упущу, всё до копейки выберу!

— Послушайте, однако ж: почему же вы полагаете, что я не получу? Ведь это странно: вы получите, а я не получу!

— Ничего тут странного нет. Вы только подумайте, сударь, мое ли дело или ваше! Я вот аблаката нанимаю, полторы тысячи ему плачу, так он у меня и в пир, и в мир. Ездит себе да покатывается. У меня в год-то, может, больше сотни дел во всех местах перебывает. Тут и в грош есть, и в тысячу. Так разложите эти полторы тысячи на сто дел — что выйдет! Плевое дело? А тебе из-за каждой срубленной елки, из-за каждой гривенной потравы аблаката нанимать нужно! Резон ли это? Где ты столько денег найдешь, чтобы эту прорву насытить? Да и аблаката-то где еще найдешь? за ним тоже в город ехать нужно, харчиться, убытчиться! Во что это тебе вскочит? А земля-то, сударь, хоть и нет у нее души, а чувствует она, матушка, что у ней настоящего радетеля нет!

— Да я не об земле. Я знаю, что я не радетель земле. Я землю мужикам продам, а с мужиков деньги получу.

— Разом ничего вы, сударь, с них не получите, потому что у них и денег-то настоящих нет. Придется в рассрочку дело оттягивать. А рассрочка эта вот что значит: поплатят они с грехом пополам годок, другой, а потом и надоест: всё плати да плати!

— Надоест! Это разве резон! ведь не бессудная же земля!

— И земля не бессудная, и резону не платить нет, а только ведь и деньга защитника любит. Нет у нее радетеля — она промеж пальцев прошла! есть радетель — она и сама собой в кармане запутается. Ну, положим, рассрочил ты крестьянам уплату на десять лет... примерно, хоть по полторы тысячи в год...

«По полторы тысячи! стало быть, пятнадцать тысяч в десять лет! — мелькнуло у меня в голове.— Однако, брат, ты ловок! сколько же *разом-то* ты намерен был мне отсыпать!»

— Ну, продал, заключил условие, уехал. Не управляющего же тебе нанимать, чтоб за полуторами тысячами смотреть. Уехал — и вся недолга! Ну год они тебе платят, другой платят; на третий — пишут: сенов не родилось, скот выпал... Неужто ж ты из Питера сюда поскачешь, чтоб с ними судиться?!

— Не поскачу, а напишу кому следует.

— Да ведь у них и взаправду скот выпал — неужто ты их зорить будешь!

— Однако, ведь вы взыскали бы?

— Я — другое дело. Я радетель. Я и землю соблюду, и деньги взыщу. Я всякое дело порядком поведу. Ежели бы я, например, и совсем за землей не смотрел, так у меня крестьянин синь пороха не украдет. Потому, у него исстари соста-

вилось мнение, что у Дерунова ничего плохо не лежит. Опять же и насчет взысканий: не разоряю я, а исподволь взыскиваю. Вижу, коли у которого силы нет — в работу возьму. Дрова заставлю пилить, сено косить — мне всего много нужно. Ему приятно, потому что он гроша из кармана не вынул, а ровно бы на гулянках отработался, а мне и того приятнее, потому что я работой-то с него, вместо рубля, два получу!

— Ну, а вы... сколько бы вы мне за землю предложили?

— Пять тысяч — самая христианская цена. И деньги сейчас в столе — словно бы для тебя припасены. Пять тысяч на круг! тут и худая, и хорошая десятина — всё в одной цене!

— Ну, нет, это дешевенько. Лучше уж я посмотрю!

— Посмотри! что ж, и посмотреть не худое дело! Старики говаривали: «Свой глазок — смотрок!» И я вот стар-стар, а везде сам посмотрю. Большая у меня сеть раскинута, и не оглядишь всеё — а все как-то сердце не на месте, как где сам недосмотришь! Так день-деньской и маюсь. А, право, пять тысяч дал бы! и деньги припасены в столе — ровно как тебя ждал!

Однако я ничего не ответил на этот новый вызов. Мы оба на минуту смолкли, но я инстинктивно почувствовал, что между нами вдруг образовалась какая-то натянутость. Я смотрел в сторону, Осип Иваныч тоже поглядывал куда-то в угол.

— Ну, а ваши дела как? — прервал я первый молчание.

— Нечего бога гневить — дела хороши! Нынче только мозгами шевелить не ленись, а деньга сама к тебе привалит!

— Хлебом торгуете?

— Хлебом нынче за первый сорт торговать. Насчет податей строго стало, выкупные требуют — ну, и везут. Иному и самому нужно, а он от нужды везет. Очень эта операция нынче выгодная.

— Скот скупаете тоже, я слышал?

— И скот скупать хорошо, коли ко времю. Вот в марте кормы-то повыберутся, да и недоимки понуждать начнут — тут только не плошай! За бесценок целые табуны покупаем да на винокуренных заводах на барду ставим! Хороший барыш бывает.

— Леса, вино?

— И лесами подобрались — дрова в цене стали. И вино — статья полезная, потому — воля. Я нынче фабрику миткалевую завел: очень уж здесь народ дешев, а провоз-то по чугунке не бог знает чего стоит! Да что! Я хочу тебя спросить: пошли нынче акции, и мне тоже предлагали, да я не взял!

— Что ж так?

— Опаску имею. Намеднись даже генерал ко мне из Питера приезжал. Снял, вишь, железную дорогу, так в учредители звал. Очень хвалил!

— За чем же стало?

— То-то, что Сибирь-то еще у меня в памяти! Забыть бы об ней надо! Еще бы вольнее орудовать можно было!

— С какой же тут стати Сибирь?

— Да ведь на грех мастера нег. Толковал он мне много, да мудрено что-то. Я ему говорю: «Вот рубль — желаю на него пятнадцать копеечек получить». А он мне: «Зачем твой рубль? Твой рубль только для прилику, а ты просто задаром еще другой такой рубль получишь!» Ну, я и поусумнился. Сибирь, думаю. Вот сын у меня, Николай Осипыч,— тот сразу эту механику понял!

— Должно быть, ваш генерал помещение для облигаций выгодное нашел; ну, акции-то и пойдут, как будто на придачу.

— Вот это самое и он толковал, да вычурно что-то. Много, ах, много нынче безместных-то шляется! То с тем, то с другим. Намеднись тоже Прокофий Иваныч — помещик здешний, Томилиным прозывается — с каменным углем напрашивался: будто бы у него в имении не есть этому углю конца. Счастливчики вы, господа дворяне! Нет-нет да что-нибудь у вас и окажется! Совсем было капут вам — ан вдруг на лес потребитель явился. Леса извели — уголь явился. Того гляди, золото окажется — ей-богу, так!

— Вот как вы все земли-то купите, вам все и достанется: и уголь, и золото! Ну, а семейство ваше как?

— Живем помаленьку. Жена, слава богу, поперек себя шире стала. В профeранец играть выучилась! Я ей, для спокою, и компанию составил: капитан тут один, да бывший судья, да Глафирин Николай Петрович.

— Это предводитель-то?

— Был предводителем, а нынче он, как и прочие, на бога да на каменный уголь надежду имеет. Сколь прежде был лют, столь нынче смирен. Собираются с обеда да и обыгрывают Анну Ивановну помаленьку. Мне не убыточно, им — рублишко на молочишко, а ей — моцион!

— А дети?

— Старший сын, Николай, дельный парень вышел. С понятием. Теперь он за сорок верст, в С***, хлеб закупать уехал! С часу на час домой жду. Здесь-то мы хлеб нынче не покупаем; станция, так конкурентов много развелось, приказчиков с Москвы насылают, цены набивают. А подальше — поглуше. Ну, а младший сын, Яков Осипыч,— тот с изъянцем. С год

места на глаза его не пущаю, а по времени, пожалуй, и совсем от себя отпихну!

— Жалко.

— Непочтителен. Я уж его и в смирительный за непочтение сажал — всё неймется. Теперь на фабрику к Астафью Астафьичу — англичанин, в управителях у меня живет — под начало его отдал. Жаль малого — да не что станешь делать! Кажется, кабы не жена у него да не дети — давно бы в солдаты сдал!

— И женат?

— Женат, четверо детей. Жена у него, в добрый час молвить, хорошая женщина! Уж так она мне приятна! так приятна! и покорна, и к дому радельна, словом сказать, для родителев лучше не надо! Все здесь, со мною живут, всех у себя приютил! Потому, хоть и противник он мне, а все родительское-то сердце болит! Не по нем, так по присным его! Кровь ведь моя! ты это подумай!

— Что говорить! Стало быть, только двое сыновей у вас и есть?

— Сынов двое, да дочь еще за полковника выдана. Хороший человек, настоящий. Не пьет; только одну рюмку перед обедом. Бережлив тоже. Живут хорошо, с деньгами.

— Еще бы не с деньгами! чай, порядочный куш в приданое-то отсыпали!

— Нет, я на этот счет с оглядкой живу. Ласкать ласкаю, а баловать — боже храни! Не видевши-то денег, она все лишний раз к отцу с матерью забежит, а дай ей деньги в руки — только ты ее и видел. Э, эх! все мы, сударь, люди, все человеки! все денежку любим! Вот помирать стану — всем распределю, ничего с собой не унесу. Да ты что об семье-то заговорил? или сам обзавестись хочешь?

— Куда мне! И одному-то вряд прожить, а то еще с семьей!

— Не говори ты этого, сударь, не греши! В семье ли человек или без семьи? Теперича мне хоть какую угодно принцессу предоставь — разве я ее на мою Анну Ивановну променяю! Спаси господи! В семью-то придешь — ровно в раю очутишься! Право! Благодать, тишина, всякий при своем месте — истинный рай земной!

Осип Иваныч зевнул и перекрестил рот. Разговор видимо истощился. Я уже встал с намерением проститься, но гостеприимный хозяин и слышать не хотел, чтоб я уехал, не отведав его хлеба-соли. Кстати, в эту самую минуту послышался стук подъезжающего к крыльцу экипажа.

— Да вот и Николай Осипыч воротился! — сказал Осип

Иваныч, подходя к окну,— так и есть, он самый! Познакомитесь! Он хоть и не воспитывался в коммерческом, а малый с понятием! Кстати, может, и мимо Чемезова проезжал.

Через минуту в комнату вошел средних лет мужчина, точь-в-точь Осип Иваныч, каким я знал его в ту пору, когда он был еще мелким прасолом. Те же ласковые голубые глаза, та же приятнейшая улыбка, те же вьющиеся каштановые с легкою проседию волоса. Вся разница в том, что Осип Иваныч ходил в сибирке, а Николай Осипыч носит пиджак. Войдя в комнату, Николай Осипыч помолился и подошел к отцу, к руке. Осип Иваныч отрекомендовал нас друг другу.

— Ну, что, как торги?

— Торговал, папенька, за первый сорт. Только в С*** задержечка вышла. Ездил в Р*** — там купил.

— Что так? не чикуновские ли приказчики наехали?

— Нет, благодарение богу, окромя нас, еще никого не видать. А так, промежду мужичков каприз сделался. Цену, кажется, давали им настоящую, шесть гривен за пуд — ан нет: «нынче, видишь ты, и во сне таких цен не слыхано»!

— Во сне и всё хорошие цены снятся! Так и не продали?

— Не продали. Все, как есть, в Р*** уехали. Приехали — а там опять мы же. Только уж я там, папенька, по пятидесяти копеечек купил.

— И дело. Вперед наука. Вот десять копеек на пуд убытку понес да задаром тридцать верст проехал. Следственно, в предбудущем, что ему ни дай — возьмет. Однако, это, брат, в наших местах новость! Скажи пожалуй, стачку затеяли! Да за стачки-то нынче, знаешь ли, как! Что ж ты исправнику не шепнул!

— Ничего, папенька, покамест еще своими мерами справляемся-с.

— Ну, ладно. И то сказать, окромя нас и покупщиков-то солидных здесь нет. Испугать вздумали! нет, брат! ростом не вышли! Бунтовать не позволено!

— Истинный, папенька, бунт был! Просто, как есть, стали все заодно — и шабаш. Вы, говорят, из всего уезда кровь пьете! Даже смешно-с.

— Никогда прежде бунтов не бывало, а нынче, смотри-ка, бунты начались!

— Да какой же это бунт, Осип Иваныч! — вступился я.

— А по-твоему, барин, не бунт! Мне для чего хлеб-то нужен? сам, что ли, экую махину съем! в амбаре, что ли, я гноить его буду? В казну, сударь, в казну я его ставлю! Армию, сударь, хлебом продовольствую! А ну, как у меня из-за

них, курицыных сынов, хлеба не будет! Помирать, что ли, армии-то! По-твоему, это не бунт!

На сей раз Осип Иваныч совершенно явно и довольно нагло говорил мне «ты». Он возмущался так искренно, что даже изменил своему обычному благодушию. Признаюсь откровенно, я и не подумал возразить ему. Соображение, что, по милости мужиков, не соглашающихся взять *настоящую* цену, армия может встретить препятствие в продовольствии, было так решительно и притом так полно современности, что я даже сам испугался, каким образом оно прежде не пришло мне в голову. Конечно, я понимал, что и против такого капитального соображения не невозможны возражения, но, с другой стороны, что может произойти, если вдруг Осипу Иванычу в моем скромно выраженном мнении вздумается заподозрить или «превратное толкование», или наклонность к «распространению вредных идей»! Скажу я, например, что, при неисправности подрядчика, военное ведомство может распорядиться насчет его залогов, а он вдруг растолкует, что я армии и флоты отрицаю, основы потрясаю, авторитетов не признаю! Разве этих примеров не бывало! Разве не обвиняли фабриканты своих рабочих в бунте за то, что они соглашались работать не иначе, как под условием увеличения заработной платы! Поэтому я призвал на помощь возможное при подобных обстоятельствах гражданское мужество и воскликнул:

— Ну, да, армия .. конечно! армия! Представьте, я и не подумал!

— А я так денно и нощно об этом думаю! Одна подушка моя знает, сколь много я беспокойств из-за этого переношу! Ну, да ладно. Давали христианскую цену — не взяли, так на предбудущее время и пятидесяти копеек напроситесь. Нет ли еще чего нового?

— Кандауровского барина чуть-чуть не увезли-с.

— Как увезли? куда?

— Неизвестно-с. И за что — никто не знает. Сказывали, этта, будто господин становой писал. Ни с кем будто не знакомится, книжки читает, дома по вечерам сидит...

— Не было ли поступков за ним каких?

— Поступков не было. И становой, сказывают, писал: поступков, говорит, нет, а ни с кем не знакомится, книжки читает... так и ожидали, что увезут! Однако ответ от вышнего начальства вышел: дожидаться поступков. Да барин-то сам догадался, что нынче с становым шутка плохая: сел на машину — и айда в Петербург-с!

— Да, строгонько ноне насчет этих чтениев стало. Насчет вина свободно, а насчет чтениев строго. За ум взялись.

— А разве что-нибудь у вас было? Беспокойства какие-нибудь? — полюбопытствовал я.

— Мало ли у нас тут сквернословиев было!

— Однако ведь вы сами говорите, что за кандауровским барином никаких поступков не было?

— А кто его знает! Может, он промежду́ себя революцию пущал. Не по-людски живет! ни с кем хлеба-соли не водит! Кому вдомек, что́ у него на уме!

— Позвольте, Осип Иваныч! ведь если так рассуждать, то, пожалуй, кандауровский-то барин и хорошо сделал, что в Петербург бежал! Один бежит, другой бежит...

— А коли кто задумал бежать — никто не держит! Слава богу! И окромя довольно народу останется!

Сказавши это, Осип Иваныч опрокинулся на спину и, положив ногу на ногу, левую руку откинул, а правою забарабанил по ручке дивана. Очевидно было, что он собрался прочитать нам предику, но с таким при этом расчетом, что он будет и разглагольствовать, и на бобах разводить, а мы будем слушать да поучаться.

— Мы здесь живем в тишине и во всяком благом поспешении,— сказал он солидно,— каждый при своем занятии находится. Я, например, при торговле состою; другой — рукомесло при себе имеет; третий — от земли питается. Что кому свыше определено. Чтениев для нас не полагается.

Осип Иваныч умолк на минуту и окинул нас взглядом. Я сидел, съежившись и как бы сознаваясь в какой-то вине; Николай Осипыч, как говорится, ел родителя глазами. По-видимому, это поощрило Дерунова. Он сложил обе руки на животе и глубокомысленно вертел одним большим пальцем вокруг другого.

— Главная причина,— продолжал он,— коли-ежели без пользы читать, так от чтениев даже для рассудка не без ущерба бывает. День человек читает, другой читает — смотришь, по времени и мечтать начнет. И возмечтает неявленная и неудобьглаголемая. Отобьется от дела, почтение к старшим потеряет, начнет сквернословить. Вот его в ту пору сцарапают, раба божьего,— и на цугундер. Веди себя благородно, не мути, унылости на других не наводи. Так ли, по-твоему сударь?

— Да что ж «по-моему»? Меня ведь не спросят!

— Вот это ты дельное слово сказал. Не спросят — это так. И ни тебя, ни меня, никого не спросят, сами всё, как следует, сделают! А почему тебя не спросят, не хочешь ли знать? А по-

тому, барин, что уши выше лба не растут, а у кого ненароком и вырастут сверх меры — подрезать маленечко можно!

Видя, что мысли Дерунова принимают унылый и не совсем безопасный оборот, я серьезно обеспокоился. Несмотря на смутную форму его предики, ясно было, что она направлена в мой огород. Как ни робко выражено было мною сомнение насчет правильности наименования бунтовщиками мужиков, не соглашавшихся взять предлагаемую им за хлеб цену, но даже и оно видимо омрачило благодушие старика. Стало быть, кроме благодушия, в нем, с течением времени и под влиянием постоянной удачи в делах, развилась еще и другая черта: претензия на непререкаемость. С минуты на минуту я ждал, что от намеков он перейдет к прямым обвинениям и что я, к ужасу своему, встречусь лицом к лицу с вопросом: нужны ли армии или нет? Напрасно буду я заверять, что тут даже вопроса не может быть,— моего ответа не захотят понять и даже не выслушают, а будут с настойчивостью, достойною лучшей участи, приставать: «Нет, ты не отлынивай! ты говори прямо: нужны ли армии или нет?» И если я, наконец, от всей души и от всего моего помышления возопию: «Нужны!» и, в подтверждение искренности моих слов, потребую шампанского, чтоб провозгласить тост за процветание армий и флотов, то и тогда удостоюсь только иронической похвалы, вроде: «ну, брат, ловкий ты парень!» или: «знает кошка, чье мясо съела!» и т. д.

Поэтому, в отвращение дальнейших бедствий, я воспользовался первою паузой, чтоб переменить разговор.

— Вы давно не бывали в Чемезове? — обратился я к Николаю Осипычу.

— Сегодня только проезжал. Следом за мной и старик Лукьяныч за вами приехал. В гостинице кормить остановился.

— Ну, вот и прекрасно. Стало быть, я и поеду.

— Постой! погоди! как же насчет земли-то! берешь, что ли, пять тысяч? — остановил меня Осип Иваныч и, обращаясь к сыну, прибавил: — Вот, занадельную землю у барина покупаю, пять тысяч надавал.

— Пять тысяч-с! — удивился Николай Осипыч.

— Много денег, сам знаю, что много! Ради родителев вызволить барина хотел, как еще маленьким человеком будучи, ласку от них видел!

— Берите-с! — обратился ко мне Николай Осипыч, как будто даже со страхом,— этакая цена! да за этакую цену обеими руками ухватиться надобно!

— И я то же говорю, а барин вот ломается.

— Не ломаюсь, а осмотреться желаю. Надеюсь, что имею на это право!

— Кто об твоих правах говорит! Любуйся! смотри! А главная причина: никому твоя земля не нужна, следственно, смотри на нее или не смотри — краше она от того не будет. А другая причина: деньги у меня в столе лежат, готовы. И в Чемезово ехать не нужно. Взял, получил — и кати без хлопот обратно в Питер!

Но я встал и решительно начал откланиваться.

— Стало быть, ты и хлеба-соли моей отведать не хочешь! Ну, барин, не ждал я! А родители-то! родители-то какие у тебя были!

Осип Иваныч тоже встал с дивана и по всем правилам гостеприимства взял мою руку и обеими руками крепко сжал ее. Но в то же время он не то печально, не то укоризненно покачивал головой, как бы говоря: «Какие были родители и какие вышли дети!»

— Да не обидел ли я тебя тем, что насчет чтениев-то спроста сказал? — продолжал он, стараясь сообщить своему голосу особенно простодушный тон,— так ведь у нас, стариков, уж обычай такой: не всё по головке гладим, а иной раз и против шерсти причесать вздумаем! Не погневайся!

— Полноте! Мне и в голову не приходило, что ваши слова могли относиться ко мне!

— К тебе не к тебе, а ты тоже на ус мотай! От стариков-то не отворачивайся. Ежели когда и поучат, тебя жалеючи,— ни сколько тебе убытку от этого и будет! Кандауровский-то барин недалеко от твоей вотчины жил! Так-то!

Мы простились довольно холодно, хотя Дерунов соблюл весь заведенный в подобных случаях этикет. Жал мне руки и в это время смотрел в глаза, откинувшись всем корпусом назад, как будто не мог на меня наглядеться, проводил до самого крыльца и на прощанье сказал:

— Забеги, как из Чемезова в обратный поедешь! И с крестьянами коли насчет земли не поладишь — только слово шепни — Дерунов купит! Только что уж в ту пору я пяти тысяч не дам! Ау, брат! Ты с первого слова не взял, а я со второго слова — не дам!

Лукьяныч выехал за мной в одноколке, на одной лошади. На вопрос, неужто не нашлось попросторнее экипажа, старик ответил, что экипажей много, да в лом их лучше отдать, а лошадь одна только и осталась, прочие же «кои пали, а кои так изничтожились».

— Ну, брат, не красиво же у вас там! — вздохнул я.

— Какая красота! Был, было, дворянин, да черт переменил! Вот полюбуетесь на усадьбу-то!

В Лукьяныче олицетворялась вся история Чемезова. Он был охранителем его во времена помещичьего благоденствия, и он же охранял его и теперь, когда Чемезово сделалось, по его словам, таким местом, где, «куда ни плюнь, все на пусто попадешь». Не раз писывал он мне письма, в которых изображал упадок родного гнезда, но, наконец, убедившись в моем равнодушии, прекратил всякое настояние. С немногими оставшимися в живых стариками и старухами, из бывших дворовых, ютился он в подвальном этаже барского дома, получая ничтожное содержание из доходов, собираемых с кой-каких сенных покосов, и, не без тайного ропота на мое легкомыслие, взирал, как разрушение постепенно клало свою руку на все окружающее. Упала оранжерея, вымерз грунтовой сарай, заглох сад, перевелся скот, лошади выстаивали свои лета и падали. Потом сначала в одной из комнат дома грохнулся потолок, за нею в другой комнате... Птицы и град повыбили из окон стекла, крыша проржавела и дала течь. Долгое время, кое-как, своими средствами, замазывали и законопачивали, но когда наконец изо всех щелей вдруг полилось и посыпалось — бросили и заботились только о том, как бы сохранить от разрушения нижний этаж, в котором жили старики-дворовые. Вот зрелище, которое ожидало меня впереди и от присутствования при котором я охотно бы отказался, если б в последнее время меня с особенною назойливостью не начала преследовать мысль, что надо, во что бы то ни стало, покончить...

И вот я ехал «кончать». С чем кончать, как кончать — я сам хорошенько не знал, но знал наверное, что тем или другим способом я «кончу», то есть уеду отсюда свободный от Чемезова. Куда-нибудь! Как-нибудь! во что бы ни стало! — вот единственная мысль, которая работала во мне и которая еще более укрепилась после свидания с Деруновым. Должно быть, и Лукьяныч угадал эту мысль, потому что лицо его, на минуту просветлевшее при свидании со мною, вдруг нахмурилось под влиянием недоброго предчувствия. С старческою медленностью, беспрестанно вздыхая, закладывал он лохматого мерина в убогую одноколку, и, быть может, в это время в его воображении особенно ярко рисовалась сравнительная картина прежнего помещичьего приволья и теперешнего убожества. Покуда меня не было налицо, он мог и роптать, и сожалеть, и даже сравнивать, но ясного понимания положения вещей у него все-таки не было. Теперь перед ним стоял сам «барин» — и вот к услугам этого «барина» готова не рессорная коляска, запряженная четверней караковых жеребцов,

с молодцом-кучером в шелковой рубашке на козлах, а ободранная одноколка, с хромым мерином, который от старости едва волочил ноги, и с ним, Лукьянычем, поседевшим, сгорбившимся, одетым в какой-то неслыханный затрапез! Лукьяныч вдруг, в одну минуту, понял. «Барин», одноколка, дом без потолков, усадьба без оранжерей, сад без дорожек — все это ярко сопоставилось в его старческой голове. И затем, словно искра, засветилась мысль: «Да, надо кончить!» То есть та самая мысль, до которой иным, более сложным и болезненным процессом, додумался и я...

Мы сели рядом, кое-как скрючились и поехали.

Долго мы ехали большою дорогой и не заводили разговора. Мне все мерещился «кандауровский барин». «Чуть-чуть не увезли!» — как просто и естественно вылилась эта фраза из уст Николая Осипыча! Ни страха, ни сожаления, ни даже изумления. Как будто речь шла о поросенке, которого *чуть-чуть* не задавили дорогой!

За что? по какому резону? что случилось? — никому не известно! Известно только, что «в гости не ходил» и «книжки читал»...

Но, может быть, он дома один на один в потолок плевал? Может быть, он «Собранием иностранных романов» зачитывался? Неужто и это зазорно? Неужто и это занятие настолько подозрительно, что даже и ему нельзя предаваться в тишине, но должно производить публично, в виду всех?

И кто же этот сердцеведец, который счел своею обязанностью проникнуть в душу «кандауровского барина» и обличить ее тайные помыслы? — Увы! это становой пристав, это бывший куроед, а теперешний эксперт по части благонадежности или неблагонадежности обывательских убеждений!

Вот мы, жители столиц, часто на начальство ропщем. Говорим: «Стесняет, прав не дает». Нет, съездите-ка в деревню да у станового под началом поживите!

Что было бы с «кандауровским барином», если б начальство не написало: «дожидаться поступков»! Что сталось бы с ним, если б судьба его зависела единственно от усмотрения сердцеведца-станового!

Становой! какая метаморфоза, если посравнить с добрым старым временем!

Я помню, смотрит, бывало, папенька в окошко и говорит: «Вот пьяницу-станового везут». Приедет ли становой к помещику по делам — первое ему приветствие: «Что, пьяница! видно, кур по уезду сбирать ездишь!» Заикнется ли становой насчет починки мостов — ответ: «Кроме тебя, ездить здесь некому, а для тебя, пьяницы, и эти мосты — таковские». Словом

сказать, кроме «пьяницы» да «куроеда», и слов ему никаких нет!

Я знаю, что такую манеру обращаться с агентом полицейской власти похвалить нельзя; но согласитесь, однако ж, что и метаморфоза чересчур уж резка. Все был «куроед», и вдруг — сердцевед!

В прежние времена говаривали: «Тайные помышления бог судит, ибо он один в совершенстве видит сокровенную человеческую мысль...» Нынче все так упростилось, что даже становой, нимало не робея, говорит себе: «А дай-ка и я понюхаю, чем в человеческой душе пахнет!» И нюхает.

Я сижу дома и, запершись от людей, Поль де Кока читаю, а становой уже нечто насчет «превратных толкований» умозаключил! Не по случаю Поль де Кока умозаключил (в этом смысле он так образован, что даже Баркова наизусть знает), а по случаю моей любви к уединению. Он думает: «Зачем я уединяюсь, когда прочие въявь все срамоты производят?» И вот он начинает сослежать меня. Я держу у себя Гришку-лакея, думаю, что живу за ним, как за каменной стеной, а он уж и Гришку развратил и потихоньку его выспросил, что и как, почтителен ли я к начальству, не затеваю ли революций и т. п. Он даже не ждет с моей стороны «поступков», а просто, на основании Гришкиных показаний, проникает в тайники моей души и одним почерком пера производит меня или в звание «столпа и опоры», или в звание «опасного и беспокойного человека», смотря по тому, как бог ему на душу положит! Это бывший-то куроед!

Куроед, совместивший в своем одном лице всю академию нравственных и политических наук! Куроед-сердцеведец, куроед-психолог, куроед-политикан! Куроед, принимающий на себя расценку обывательских убеждений и с самым невозмутимым видом одним выдающий аттестат благонадежности, а другим — аттестат неблагонадежности!

Ужели же и впрямь нет другого дела для куроедов!

Очевидно, тут есть недоразумение, в существовании которого много виноват т—ский исправник. Он призвал к себе подведомственных ему куроедов и сказал им: «Вы отвечаете мне, что в ваших участках тихо будет!» Но при этом не разъяснил, что читать книжки, не ходить в гости и вообще вести уединенную жизнь — вовсе не противоречит общепринятому понятию о «тишине».

И вот куроеды взбаламутились и с помощью Гришек, Прошек и Ванек начинают орудовать. Не простой тишины они ищут, а тишины прозрачной, обитающей в открытом со всех сторон помещении. Везде, даже в самой несомненной тишине,

они видят или нарушение тишины, или подстрекательство к таковому нарушению.

Еще на днях один становой-щеголь мне говорил: «По-настоящему, нас не становыми приставами, а начальниками станов называть бы надо, потому что я, например, за весь свой стан отвечаю: чуть ежели кто ненадежен или в мыслях нетверд — сейчас же к сведению должен дать знать!» Взглянул я на него — во всех статьях куроед! И глаза врозь, и руки растопырил, словно курицу поймать хочет, и носом воздух нюхает. Только вот мундир — мундир, это точно, что ловко сидит! У прежних куроедов таких мундирчиков не бывало!

И этот-то щеголь судит «моя тайная и сокровенная», судит, потому что я живу у него в стану, а он «за весь стан отвечает». Он залезает в мою душу и барахтается в ней на всей своей воле!

А «кандауровский барин» между тем плюет себе в потолок и думает, что это ему пройдет даром. Как бы не так! Еще счастлив твой бог, что начальство за тебя заступилось, «поступков ожидать» велело, а то быть бы бычку на веревочке! Да и тут ты не совсем отбоярился, а вынужден был в Петербург удирать! Ты надеялся всю жизнь в Кандауровке, в халате и в туфлях, изжить, ни одного потолка неисплеванным не оставить — ан нет! Одевайся, обувайся, надевай сапоги и кати, неведомо зачем, в Петербург!

Какие жестокие времена!

Да и один ли становой! один ли исправник! Вон Дерунов и партикулярный человек, которому ничего ни от кого не поручено, а попробуй поговори-ка с ним по душе! Ничего-то он в психологии не смыслит, а ежели нужно, право, не хуже любого доктора философии всю твою душу по ниточке разберет!

Проста наша психология! ах, как проста! Только одно слово от себя прилги или скрой одно слово — и вся человеческая подноготная словно на ладони! Вот, например, я давеча насчет бунтов говорил, что нельзя назвать бунтовщиками крестьян за то только, что они хлеб по шести гривен отдать не соглашались! Прибавь Дерунов от себя только десять следующих слов: «и при сем, якобы армий совсем не нужно, говорил» — и дело в шляпе. Я знаю, меня не казнят даже и за это, но знаю также, что ни в Навозном, ни в Соломенном мне не будет житья. Удирай! беги во все лопатки в Петербург, чтобы там, на глазах у начальства, невинную свою душу спасти!

Я удивляюсь даже, что Деруновы до такой степени скромны и сдержанны. Имей я их взгляды на бунты и те удобства, которыми они пользуются для проведения этих взглядов, я всякого бы человека, который мне нагрубил или просто не

понравился, со свету бы сжил. Писал бы да пописывал: «И при сем, якобы армий совсем не нужно, говорил!» И наверное получил бы удовлетворение...

Какой необыкновенный мир — этот мир Деруновых! как все в нем перепутано, скомкано, захламощено всякого рода противоречивыми примесями! Как все колеблется и проваливается, словно половицы в парадных комнатах старого чемезовского дома, в которых даже крысы отказались жить!

Имеет ли, например, Осип Иваныч право называться столпом? Или же, напротив того, он принадлежит к числу самых злых и отъявленных отрицателей собственности, семейного союза и других основ? Бьюсь об заклад, что никакой мудрец не даст на эти вопросы сколько-нибудь положительных ответов.

Что он всем своим нутром рьяный и упорный поборник всевозможных союзов — в этом я, конечно, не сомневаюсь. Это доказывается одним тем, что он богат (следовательно, чтит «собственность»), что он держит в порядке семью (следовательно, чтит «семейный союз»), что он, из уважения «к вышнему начальству», жертвует на «общеполезное устройство» (следовательно, чтит союз государственный). Но понимает ли он сам, что он «поборник»? Не говорит ли в этом случае одно его нутро, которое влечет его быть «радетелем» и «защитником» без всякого участия в том его сознания?

Вот этого-то я именно и не могу себе объяснить.

Ведь сам же он, и даже не без самодовольства, говорил давеча, что по всему округу сеть разостлал? Стало быть, он кого-нибудь в эту сеть ловит? кого ловит? не таких ли же представителей принципа собственности, как и он сам? Воля ваша, а есть тут нечто сомнительное!

Когда давеча Николай Осипыч рассказывал, как он ловко мужичков окружил, как он и в С., и в Р. сеть закинул и довел людей до того, что хоть задаром хлеб отдавай,— разве Осип Иваныч вознегодовал на него? разве он сказал ему: «Бездельник! помни, что мужику точно так же дорога его собственность, как и тебе твоя!»? Нет, он даже похвалил сына, он назвал мужиков бунтовщиками и накричал с три короба о вреде стачек, отнюдь, по-видимому, не подозревая, что «стачку», собственно говоря, производил он один.

Или, наконец, насчет меня. С каким злорадством доказывал он мне, что я ничего из Чемезова не извлеку и что нет для меня другого выхода, кроме как прибегнуть к нему, Деруновy, и порешить это дело на всей его воле! Предположим, что он прав; допустим, что я действительно не способен к «извлечениям» и, в конце концов, должен буду признать в Деруновe того суженого, которого, по пословице, конем не объ-

едешь. Но разве он имел бы право поступать со мною так, как он поступил, если б был действительный и сознательный поборник принципа собственности? Не обязан ли он был утешить меня, наставить, укрепить? Не обязан ли был представить мне самый подробный и самый истинный расчет, ничего не утаивая и даже обещая, что буде со временем и еще найдутся какие-нибудь лишки, то и они пойдут не к нему, а ко мне в карман?

Нет, как хотите, а с точки зрения собственности — он не «столп»!

И кто же знает, столп ли он по части союзов семейного и государственного? Может быть, в государственном союзе он усматривает одни медали, которыми уснащена его грудь? Может быть, в союзе семейном...

Но здесь нить моих размышлений порвалась, и я, несмотря на неловкое положение тела, заснул настолько глубоко и сладко, что даже увидел сон.

Виделся мне становой пристав. Окончил будто бы он курс наук и даже получил в Геттингенском университете диплом на доктора философии. Сидит будто этот испытанный психолог и пишет:

«Проявился в моем стане купец 1-й гильдии Осип Иванов Дерунов, который собственности не чтит и в действиях своих по сему предмету представляется не без опасности. Искусственными мерами понижает он на базарах цену на хлеб и тем вынуждает местных крестьян сбывать свои продукты за бесценок. И даже на днях, встретив чемезовского помещика (имярек), наглыми и бесстыжими способами вынуждал оного продать ему свое имение за самую ничтожную цену.

А потому благоволит вышнее начальство оного Дерунова из подведомственного мне стана извлечь и поступить с ним по законам, водворив в места более отдаленные и безопасные».

. . . . . .

— Знатно, сударь, уснули! — приветствовал меня Лукьяныч, когда я, при первом сильном толчке одноколки, очнулся,— даже кричали во сне. Крикнете: «Вор!» — и опять уснете!

Я чувствую, что сейчас завяжется разговор, что Лукьяныч горит нетерпением что-то спросить, но только не знает, как приступить к делу. Мы едем молча еще с добрую версту по мостовнику: я истребляю папиросу за папиросою, Лукьяныч исподлобья взглядывает на меня.

— Кончать приехали? — наконец произносит он.

— Да надо бы... всему есть конец, Лукьяныч!

— Это так точно. (Лукьяныч нервно передергивает вожжами.) У Осипа Иванова побывали?

— Был.
— Покупает, значит?
— Надавал пять тысяч.
— Ловок, толстобрюхой!
Молчание.
— Конечно,— вновь начинает Лукьяныч,— многие нынче так-то говорят: пропади, мол, оно пропадом!
Опять молчание.
— Как же быть-то, Лукьяныч?
— Вот и я это самое говорю: ничего не поделаешь! пропади, мол, оно пропадом!
Опять молчание.
— Прежде люди по местам сидели. Нынче все, ровно жиды, разбежались.
— Согласись, однако ж, что мне здесь делать нечего.
— Папенька с маменькой нашли бы, что делать. А вам что! Пропади оно пропадом — и делу конец!
— Заладил одно! Ты бы лучше сказал, подходящую ли цену дает Дерунов?
— Стало быть, для него подходящая, коли дает!
— Да для меня-то? для меня-то подходящая ли?
— И для вас, коли-ежели...
— Не лучше ли крестьянам предложить?
— Что ж, и крестьянам... тоже с удовольствием...
— Вот Дерунов говорит, что крестьянам-то подати впору платить!
— Знает, толстобрюхой!
В этом роде мы еще с четверть часа поговорили, и все настоящего разговора у нас не было. Ничего не поймешь. Хороша ли цена Дерунова? — «знамо хороша, коли сам дает». Выстоят ли крестьяне, если им землю продать? — «знамо выстоят, а може, и не придется выстоять, коли-ежели...»
— Слушай! ты что такое говоришь!
— Что говорю! знамо, мы рабы, и слова у нас рабские.
— Я тебя об деле спрашиваю, а ты меня или дразнишь, или говорить не хочешь!
— Об чем говорить, коли вы сами никакого дела не открываете!
— Я кончать хочу! Понимаешь, хочу кончать!
— И кончать тоже с умом надо. Сами в глаза своего дела не видели, а кругом пальца обернуть его хотите. Ни с мужиками разговору не имели, ни какова такова земля у вас есть — не знаете. Сколько лет терпели, а теперь в две минуты конец хотите сделать!
В самом деле, ведь я ничего не знаю. Ни земли не знаю, ни

«своего дела». Странно, как это соображение ни разу не пришло мне в голову. В течение многих лет одно у меня было в мыслях: кончить. И вот, наскучив быть столько времени под гнетом одного и того же вопроса, я сел в одно прекрасное утро в вагон и помчался в Т***, никак не предполагая, что «конец» есть нечто сложное, требующее осмотров, покупщиков, разговоров, запрашиваний, хлопаний по рукам и т. п. Оказывается, однако ж, что в мире ничто не делается спустя рукава и что если б я захотел даже, в видах сокращения переписки, покончить самым безвыгодным для меня образом, то и тут мне предстояло бесчисленное множество всякого рода формальностей. Как бы, вместо «конца»-то, не прийти к самому ужаснейшему из всех «начал»: к началу целого ряда процессов, которые могут отравить всю жизнь? При этой мысли мне сделалось так скверно, что даже померещилось: не лучше ли бросить? то есть оставить все по-прежнему и воротиться назад?

Во всяком случае, я решился до времени не докучать Лукьянычу разговорами о «конце» и свел речь на Дерунова.

— А ходко пошел Осип Иванов!

— Голова на плечах есть! Оттого!

— Крестьян, говорят, шибко притесняет?

— Чем притесняет? нынче — воля!

— Чудак! разве вольного человека нельзя притеснить?

— Засилие взял, а потому и окружил кругом. На какой базар ни сунься — везде от него приказчики. Какое слово скажут, так тому и быть!

— Повезло ему! Богат, у всех в почтении, в семье счастлив!

— В двух семьях...

— Как в двух! неужто у него и на стороне семья есть?

— Не на стороне, а в своем дому. Анну-то Ивановну он нынче отставил, у сына, у Яшеньки, жену отнял!

Признаюсь, это известие меня озадачило. Как! этот благолепный старик, который праздника в праздник не вменяет, ежели двух обеден не отстоит, который еще давеча говорил, что свою Анну Ивановну ни на какую принцессу не променяет... снохач!!

— Да не врут ли, Лукьяныч? Сказывают, Яшенька-то ведь у него непутный!

— Запивает, известно!

— Ну, видишь ли!

— С этого самого и запил, что сраму стерпеть не мог!

Кончено. С невыносимою болью в сердце я должен был сказать себе: Дерунов — не столп! Он не столп относительно

собственности, ибо признает священною только лично ему принадлежащую собственность. Он не столп относительно семейного союза, ибо снохач. Наконец, он *не может* быть столпом относительно союза государственного, ибо не знает даже географических границ русского государства...

Но где же искать «столпов», если даже Осип Иваныч не столп?

КАНДИДАТ В СТОЛПЫ

Какая, однако ж, загадочная, запутанная среда! Какие жестокие, неумолимые нравы! До какой поразительной простоты форм доведен здесь закон борьбы за существование! Горе «дуракам»! Горе простецам, кои «с суконным рылом» суются в калашный ряд чай пить! Горе «карасям», дремлющим в неведении, что провиденциальное их назначение заключается в том, чтоб служить кормом для щук, наполняющих омут жизненных основ!

Все это я и прежде очень хорошо знал. Я знал и то, что «дураков учить надо», и то, что «с суконным рылом» в калашный ряд соваться не следует, и то, что «на то в море щука, чтобы карась не дремал». Словом сказать, все изречения, в которых, как в неприступной крепости, заключалась наша столповая, безапелляционная мудрость. Мало того, что я *знал:* при одном виде избранников этой мудрости я всегда чувствовал инстинктивную оторопь.

Мне казалось, что эти люди во всякое время готовы растерзать меня на клочки. Не за то растерзать, что я в чем-нибудь виноват, а за то, что я или «рот разинул», или «слюни распустил». Начавши жизненную карьеру с процесса простого, так сказать, нетенденциозного «отнятия», они постепенно приходят в восторженное состояние и возвышаются до ненависти. Им мало отнять у «разини», им нужно сократить «разиню», чтоб она не болталась по белу свету, не обременяла понапрасну землю. Ненависть к «дураку» возводится почти на степень политического и социального принципа.

Как тут жить?!

Но я живу и, следовательно, волею и неволею делаюсь причастником жизненного процесса. В сущности, этот процесс даже для «разини» не представляет ничего головоломного. Наравне со всеми прочими, я могу и купить, и продать, и объявить войну, и заключить мир. Купить так купить, продать так продать, говорю я себе, и мне даже в голову не приходит, что нужно принадлежать к числу семи мудрецов, чтобы сладить с подобными бросовыми операциями. Но когда наступает мо-

мент «ладить» — вот тут-то именно я и начинаю путаться. Мне делается неловко, почти совестно. Мне начинает казаться, что на меня со всех сторон устремлены подозрительные взоры, что в голове человека, с которым я имею дело, сама собою созревает мысль: «А ведь он меня хочет надуть!» И кто же может поручиться, что и в моей голове не зреет та же мысль? не думаю ли и я с своей стороны: «А ведь он меня хочет надуть!»

Это чувство обоюдной подозрительности до того противно, что я немедленно начинаю ощущать странную потребность освободиться от него. И потому на практике я почти всегда действую «без ума», то есть — спешу. Когда я продаю, то мои действия сами собою принимают такой характер, как будто покупщик делает мне благодеяние и выручает меня из неслыханного затруднения. Когда я покупаю и продавец, по осмотре предмета покупки, начинает уверять меня, что все виденное мною ничто в сравнении с тем, что я, с божьею помощью, впереди увижу, то я не только не вступаю с ним в спор, не только не уличаю его во лжи, но, напротив того, начинаю восклицать: «Да помилуйте! да неужели же я не понимаю!» и т. д. Когда я объявляю войну, то каким-то образом всегда так устроивается, что я нахожу своего противника вооруженным прекраснейшим шасспо, а сам нападаю на него с кремневым ружьем, у которого, вдобавок, вместо кремня вставлена крашенная под кремень чурочка. Когда заключаю мир, то говорю: возьми всё — и отстань!

Но что всего удивительнее: я не только не питаю никакой ненависти к этим людям, но даже скорее склонен оправдывать их. Так что если б я был присяжным заседателем и мне, в этом качестве, пришлось бы судить различные случаи «отнятия» и «устранения из жизни», то я положительно убежден, что и тут поступил бы как «разиня», «слюняй» и «дурак». Каким образом занести руку на вора, когда сама народная мудрость сочинила пословицу о карасе, которому не полагается дремать? каким образом обрушиться на нарушителя семейного союза, когда мне достоверно известно, что «чуждых удовольствий любопытство» (так определяет прелюбодеяние «Письмовник» Курганова) представляет одну из утонченнейших форм новейшего общежития? Вот почему я совсем неспособен быть судьей. Я не могу ни карать, ни миловать; я могу только бояться...

Увы! я не англосакс, а славянин. Славянин с головы до ног, славянин до мозга костей. Историки удостоверяют, что славяне исстари славились гостеприимством,— вот это-то именно качество и преобладает во мне. Я люблю всякого странника

угостить, со всяким встречным по душе покалякать. И ежели под видом странника вдруг окажется разбойник, то я и тут не смущусь: возьми всё — и отстань. Я даже не попытаюсь оборониться от него, потому что ведь, в сущности, все равно, как обездолит меня странник: приставши ли с ножом к горлу или разговаривая по душе. Пусть только он спрячет свой нож, пусть объедает и опивает меня по душе! Греха меньше.

Говоря по правде, меня и «учили» не раз, да и опытностью житейскою судьба не обделила меня. Я многое испытал, еще больше видел и даже — о, странная игра природы! — ничего из виденного и испытанного не позабыл...

Но все это прошло мимо, словно скользнуло по мне. Как будто я видел во сне какое-то фантастическое представление, над которым и плакать, и хохотать хочется...

Я помню, как пришла мне однажды в голову мысль: «Куплю я себе подмосковную!» Зачем Чемезово? Что такое Чемезово? Чемезово — глушь, болотина, трясина! В Чемезове с голоду помрешь! В Чемезово никто покалякать по душе не заедет! То ли дело «подмосковная»! И вот, вместо того чтоб «с умом» повести дело, я, по обыкновению, начал спешить, а меня, тоже по обыкновению, начали «объегоривать». Какие-то благочестивые мерзавцы явились: вздыхают, богу молятся — и объегоривают! Чужой лес показывают и тут же, смеючись, говорят: «Да вы бы, сударь, с планом проверили! ведь это дело не шуточное: на ве-ек!» А я-то так и надрываюсь: «Да что вы! да помилуйте! да неужто ж вы предполагаете! да я! да вы!» и т. д. И что же в результате вышло? Вышло, что я до сего дня на проданный мне лес любуюсь, но войти в него не могу: чужой!

Памятны мне «крепостные дела» в московской гражданской палате. Выходишь, бывало, сначала под навес какой-то, оттуда в темные сени с каменными сводами и с кирпичным, выбитым просительскими ногами полом, нащупаешь дверь, пропитанную потом просительских рук, и очутишься в узком коридоре. Коридор светлый, потому что идет вдоль наружной стены с окнами; но по правую сторону он ограничен решетчатой перегородкой, за которою виднеется пространство, наполненное сумерками. Там, в этих сумерках, словно в громадной звериной клетке, кружатся служители купли и продажи и словно затевают какую-то исполинскую стряпню. Осипшие с похмелья голоса что-то бормочут, дрожащие руки что-то скребут. Здесь, по манию этих зверообразных людей, получает принцип собственности свою санкцию! здесь с восхода до заката солнечного поются ему немолчные гимны! здесь стригут и бреют и кровь отворяют! Здесь, за этой решеткой. А по сю

сторону перегородки, прислонившись к замасленному карнизу ее, стоят люди кабальные, подневольные, люди, обуреваемые жаждой стяжания, стоят и в безысходной тоске внемлют гимну собственности, который вопиет из всех стен этого мрачного здания! И в каждом из этих кабальных людей, словно нарыв, назревает мучительная мысль: вот сейчас! сейчас налетит «подвох»! — сейчас разверзнется под ногами трапп... хлоп! И начнут тебя свежевать! вот эти самые немытые, нечесаные, вонючие служители купли и продажи! Свежевать и приговаривать: «Не суйся, дурак, с суконным рылом в калашный ряд чай пить! забыл, дурак, что на то щука в море, чтобы карась не дремал! Дурак!»

Помню я и уездный суд. Помню судью, лихого малого, который никогда не затруднялся «для своего брата дворянина одолжение сделать», но всегда как-то так устроивал, что, вместо одолжения, выходила пакость. Помню секретаря, у которого щека была насквозь прогрызена фистулою и весь организм поражен трясением и который, за всем тем, всем своим естеством, казалось, говорил: «Погоди, ужо я завяжу тебе узелочек на память, и будешь ты всю жизнь его развязывать!» Помню весь этот кагал, у которого, начиная со сторожа, никаких других слов на языке не было, кроме: урвать, облапошить, объегорить, пустить по миру...

Помню тетушек, сестриц, дяденек, братцев, постоянно ведших между собою какую-то бесконечную тяжбу, подличавших перед всевозможными секретарями, столоначальниками, писцами, открывавших перед ними всю срамную подноготную своего домашнего очага, не отступавших ни перед лестью, ни перед сплетней, ни перед клеветой...

— Беспременно эта расписка фальшивая! — восклицала одна тетенька.

— Беспременно он столоначальника перекупил! — воскликцала другая тетенька.

— Уж это как свят бог, что они его дурманом опоили! — вопияла сестрица.

И так далее, то есть целый ряд возгласов, в которых так и сыпались, словно жемчуг бурмицкий, слова: «Подкупил, надул, опоил» и проч.

Надеюсь, что это школа хорошая и вполне достаточная, чтобы из самого несомненного «ротозея» сделать осторожного и опытного практика. Но повторяю: ни опыт, ни годы не вразумили меня. Я знаю, я помню — и ничего больше. И теперь, как всегда, я остаюсь при своем славянском гостеприимстве и ничего другого не понимаю, кроме разговора по душе... со всяким встречным, не исключая даже человека, который вот-

вот сейчас начнет меня «облапошивать». И теперь, как всегда, я «спешу», то есть смотрю на своего покупателя и своего продавца, как на избавителей, без помощи которых я наверное погряз бы в беде... Возьми всё — и отстань!

Говорят, что теперь ничего этого уже нет. Нет ни уездных судов, ни гражданских палат, ни решеток, за которыми сидят «крепостные дела». Конечно, это факт утешительный, но я должен сознаться, что даже и от него не много прибавилось во мне куражу. Я все-таки *боюсь,* и всякий раз, как приходится проходить мимо конторы нотариуса, мне кажется, что у него на вывеске все еще стоит прежнее: «Здесь стригут, бреют и кровь отворяют». Что здесь меня в чем угодно могут уверить и разуверить. Что здесь меня могут заставить совершить такой акт, которого ни один человек в мире не имеет права совершить. Что здесь мне несовершеннолетнего выдадут за совершеннолетнего, каторжника за столпа, глухонемого за витию, явного прелюбодея за ревнителя семейных добродетелей. И в заключение скажут: «что же делать, милостивый государь! это косвенный налог на ваше невежество!» И даже потребуют, чтоб я этим объяснением утешился.

Какая загадочная, запутанная среда! И какое жалкое положение «дурака» среди этих тоже не умных, но несомненно сноровистых и хищных людей!

На этот раз, однако ж, ввиду предстоявшего мне «конца», я твердо решился окаменеть и устранить всякую мысль о славянском гостеприимстве. «Пора наконец и за ум взяться!» — сказал я себе и приступил к делу с мыслью ни на йоту не отступать от этой решимости.

Старик Лукьяныч тоже, по-видимому, убедился, что «конец» неизбежен и что отдалять его — значит только бесполезно поддерживать тревожное чувство, всецело овладевшее мною. Поэтому он впал в какую-то суетливую деятельность, в одно и то же время знакомя меня с положением моего имения и разведывая под рукой, не навернется ли где подходящего покупщика.

Я кое-как устроился в одной из комнат гостиного флигеля, которая не представляла еще большой опасности. Первые дни были посвящены осмотрам. Дерунов был прав: громадный барский дом стоял без окон, словно старый инвалид без глаз. Стены почернели, красная краска на железной крыше частью выгорела, частью пестрила ее безобразными пятнами; крыльцо обвалилось; внутри дома — пол колебался, потолки частью обрушились, частью угрожали обрушением. Но расхищения не было, и Дерунов положительно прилгал, говоря, что даже кирпич из печей растаскан.

— Тут одного гвоздья сколько! — восторгался Лукьяныч, бесстрашно водя меня по опустелым комнатам.— Кирпичу, изразцу, заслонок — страсть! Опять же и дерево! только нижние венцы подгнили да балки поперечные сопрели, а прочее — хоть опять сейчас в дело! Сейчас взял, балки переменил, верхнюю половину дома вывесил, нижние венцы подрубил — и опять ему веку не будет, дому-то!

Осмотревши дом, перешли к оранжереям, скотному и конному дворам, флигелям, людским, застольным... Все было ветхо, все покривилось и накренилось, везде пахло опальною затхлостью, но гвоздья везде было пропасть. Сад заглох, дорожек не было и помина, но березы, тополи и липы разрослись так роскошно, что мне самому стало как-то не по себе, когда я подумал, что, быть может, через месяц или через два, приедет сюда деруновский приказчик, и по манию его ляжет, посеченная топором, вся эта великолепная растительность. И эти отливающие серебром тополи, и эти благоухающие липы, и эти стройные, до самой верхушки обнаженные от сучьев березы, неслышно помавающие в вышине своими всклоченными, чуть видными вершинами... Еще месяц — и старый чемезовский сад будет представлять собою ровное место, усеянное пеньками и загроможденное полсаженками дров, готовых к отправлению на фабрику. Казалось, вся эта заглохшая, одичалая чаща в один голос говорила мне: «вырастили! выхолили!» и вот пришел «скучающий» человек, которому неизвестно почему, неизвестно что надоело, пришел, черкнул какое-то дурацкое слово — и разом уничтожил весь этот процесс ращения и холения!

— Ишь какой вырос! — говорил между тем Лукьяныч,— вот недели через две зацветут липы, пойдет, это, дух — и не выйдешь отсюда! Грибов сколько — всё белые! Орешник вон в том углу засел — и не додерешься! Малина, ежевика...

В тоне голоса Лукьяныча слышалось обольщение. Меня самого так и подмывало, так и рвалось с языка: «А что, брат, коли-ежели» и т. д. Но, вспомнив, что если однажды я встану на почву разговора по душе, то все мои намерения и предположения относительно «конца» разлетятся, как дым,— я промолчал.

— Ежели даже теперича срубить их, парки-то,— продолжал Лукьяныч,— так от одного молодятника через десять лет новые парки вырастут! Вон она липка-то — робёнок еще! Купят, начнут кругом большие деревья рубить — и ее тут же зря замнут. Потому, у него, у купца-то, ни бережи, ни жаления: он взял деньги и прочь пошел... хоть бы тот же Осип Иванов!

А сруби теперича эти самые парки настоящий хозяин, да сруби жалеючи — в десять лет эта липка так выхолится, что и не узнаешь ее!

Обольщение шло crescendo,[1] я чувствовал себя, так сказать, на краю пропасти, но все еще оставался неколебим.

— Опять ежели теперича самим рубить начать,— вновь начал Лукьяныч,— из каждой березы верно полсажонок выйдет. Ишь она какая стеколистая выросла — и вершины-то не видать! А под парками-то восемь десятин — одних дров полторы тыщи саженей выпилить можно! А молодятник сам по себе! Молодятник еще лучше после вырубки пойдет! Через десять лет и не узнаешь, что тут рубка была!

— А что, коли-ежели...— невольно сорвалось у меня с языка.

Однако бог спас, и я успел остановиться вовремя.

— Коли-ежели этот парк Дерунову в руки,— поправился я,— ведь он тут кучу деньжищ загребет!

— И Дерунов загребет, и другой загребет. Главная причина: у кого голова на плечах состоит, тот и загребет. Да парки что! Вот ужо запряжем мерина, в Филипцево съездим, лес посмотрим — вот так лес!

Съездили в Филипцево, потом в Ковалиху съездили, потом в Тараканиху. И везде оказался лес. В одном месте настоящий лес, «хоть в какую угодно стройку пущай», в другом — молодятник засел.

— Вот тут ваш папенька пятнадцать лет назад лес вырубил,— хвалил Лукьяныч,— а смотри, какой уж стеколистый березнячок на его месте засел. Коли-ежели только терпение, так через двадцать лет цены этому лесу не будет.

Словом сказать, столько богатств оказалось, что и не сосчитать. Только поля около усадьбы плохи. Загрубели, задерневели, поросли лозняком. А впрочем, «коли-ежели к рукам», то и поля, пожалуй, недурны.

— Одного лозняку тут на всю жизнь протопиться станет! Мы уж сколько лет им протапливаемся, а все его, каторжного, не убывает. Хитер, толстомясой (то есть Дерунов)! За всю палестину пять тысяч надавал! Ах, дуй те горой! Да тут одного гвоздья... да кирпича... да дров... окромя всего прочего... ах ты, господи!

Зрелище этих богатств поколебало и меня. Шутка сказать! В Филипцеве, по малой мере, пятнадцать тысяч сажен дров, в Ковалихе пять тысяч, в парке полторы, а там еще Тарака-

[1] с возрастающей силой.

ниха, Опалиха, Ухово, Волчьи Ямы... Срубить лес, продать дрова (ежели даже хоть по рублю за сажень очистится)... сколько тут денег-то! А земля-то все-таки будет моя! И опять пошел на ней лес расти!.. Через двадцать лет опять Тараканиху да Опалиху побоку... и опять пошел лес! А отопиться и лозняком можно! Лес и лозняк! Лес, лес, лес! Просто хоть сойти с ума!

Но ведь для этого надобно жить в Чемезове, надобно беспокоиться, разговаривать, хлопать по рукам, запрашивать, уступать... А главное, жить тут, жить с чистым сердцем, на глазах у всевозможных сердцеведцев, официальных и партикулярных, которыми кишит современная русская провинция! Вот что́ страшит. Еще в Петербурге до меня доходили, через разных приезжих из провинции, слухи об этих новоявленных сердцеведцах.

— Теперь, брат, не то, что прежде! — говорили одни приезжие,— прежде, бывало, живешь ты в деревне, и никому нет дела, в потолок ли ты плюешь, химией ли занимаешься, или Поль де Кока читаешь! А нынче, брат, ау! Химию-то изволь побоку, а читай Поль де Кока, да еще так читай, чтобы все твои домочадцы знали, что ты именно Поль де Кока, а не «Общепонятную физику» Писаревского читаешь!

— Теперь, брат, деревню бросить надо! — говорили другие,— теперь там целая стена сердцеведцев образовалась. Смотрят, уставив брады, да умозаключают каждый сообразно со степенью собственной невежественности! Чем больше который невежествен, тем больше потрясений и подкопов видит. Молви ты в присутствии сердцеведца какое-нибудь неизвестное ему слово — ну, хоть «моветон», что ли — сейчас «фюить!», и пошла писать губерния.

Да, это так; в этом я сам теперь убедился, поговорив с Деруновым. Я был на один шаг от опасности, и ежели не попался в беду, то обязан этим лишь тому, что Дерунов сам еще не вполне обнял всю обширность полномочий, которые находятся в его распоряжении. Конечно, он не настоящий, то есть не официальный сердцеведец, он только «подспорье»... но ведь и с подспорьем нынче шутить нельзя! Посмотрит, умозаключит, возьмет в руки перышко — смотришь, ан и село на тебя пятнышко... Положим, крошечное, с булавочную головку, а все-таки пятнышко! Поди потом, соскребывай его!

Как все изменилось! как все вдруг шарахнулось в сторону! Давно ли исправники пламенели либерализмом, давно ли частные пристава обливались слезами, делая домовые выемки! Давно ли?.. да не больше десяти лет тому назад!

— Ne croyez pas à ces larmes! ce sont des larmes de croco-

dile![1] — еще в то время предостерегал меня один знакомый француз, свидетель этих выемочных слез.

Но, признаюсь, несмотря на это образное предостережение, я верил не ему, а полицейским слезам. Я думал, что раз полились эти слезы, и будут они литься без конца... Что в этих слезах заключается только зародыш, которому суждено развиваться дальше и дальше.

Я столько видел в то время чудес, что не мог, не имел права быть скептиком. Я знал губернатора, который был до того либерален, что не верил даже в существование тверди небесной.

— Ничему я этому не верю! — говорил он,— как будто земля под стеклянным колпаком висит, и кто-то там ею ворочает — какие пустяки!

Я знал генерала, который до того скептически относился к «чудесам кровопускания», что говорил мне:

— Конечно... есть случаи... как это ни прискорбно... когда без кровопускания обойтись невозможно... Это так! это я допускаю! Но чтобы во всяком случае... сейчас же... с первого же раза... так сказать, не разобравши дела... не верьте этому, милостивый государь! не верьте этому никогда! Это... неправда!

И все это я видел своими глазами, все это я слышал своими ушами не дальше, как десять лет тому назад!

И вдруг весь этот либерализм исчез! Исправник «подтягивает», частный пристав обыскивает и гогочет от внутреннего просветления. Все поверили, что земля под стеклянным колпаком висит, все уверовали в «чудеса кровопускания», да не только сами уверовали, но хотят, чтоб и другие тому же верили, чтобы ни в ком не осталось ни тени прежнего либерализма.

«Насчет вина свободно, насчет чтениев — строго!» — вот собственные слова Дерунова, которые, конечно, никогда не изгладятся из моей памяти. И какой загадочный человек этот Дерунов! Вслушаешься в тон, которым он произносит свои «предики», кажется, что он говорит серьезно и даже с некоторою нажимкой. И вдруг прорвется нотка... ну, смеется эта нотка, да и всё тут! Смеется, словно вот так и говорит: «Видишь, какие я чудеса в решете перед тобою выкладываю! а ты все-таки слушай, да на ус себе мотай! Потому что я — столп!»

Жестокие нравы! Загадочный, запутанный мир!

Нет, лучше уйти! какие тут тысячи, десятки тысяч саженей

[1] Не верьте этим слезам! это крокодиловы слезы!

дров! Пойдет ли на ум все это обилие гвоздья, кирпича, изразца, которым соблазняет меня старик! Кончить и уйти — вот это будет хорошо!

— Нет, Лукьяныч, мне здесь жить незачем! — сказал я однажды, когда старик с особенным рвением начал разводить передо мною на бобах.

— А почему ж бы?

— А вот почему: скажи я теперь хоть тебе, что, например, не Илья-пророк громом распоряжается...

— Что вы, сударь! Христос с вами!

— Ну, видишь! ты вот от моих слов только рот разинул, а другой рта-то не разинет, а свистнет...

— А вы, сударь, не говорите! За это тоже не похвалят.

— Знаю, поэтому и ухожу от греха. Так вот что! подыскивай-ка ты покупщика.

В течение месяца перед моими глазами прошла целая портретная галерея лиц. Я видел все оттенки любостяжания, начиная с заискивающего, в основании которого лежит робкое чувство зависти, и кончая наглым, от которого так и пышет беззаветною верою в несокрушимую силу хищничества. Мирное Чемезово сделалось ареною борьбы, которая, благодаря элементу соревнования, нередко принимала характер ненависти. Всякий являлся на арену купли, с головы до ног вооруженный темными подозрениями, и потому не шел прямою дорогой к делу, но выбирал окольные пути. Всякий старался не только отбить у другого облюбованный кусок, но еще подставить конкуренту ногу и по возможности очернить его. Сначала меня занимала эта беспардонная игра страстей, разгоравшаяся по поводу какой-нибудь Ковалихи или Тараканихи, потому что я имел наивность видеть в ней выражение настоятельно говорившего чувства собственности; но потом, всмотревшись ближе, я убедился, что принцип собственности, в смысле общественной основы, играет здесь самую жалкую, почти призрачную роль.

Конечно, я был бы неправ, если б утверждал, что в моих глазах происходило прямое воровство, или кража, или грабеж. Но что тут в постоянном ходу было действие, называемое в просторечии «подвохом»,— это несомненно. Только теперь я увидел, сколько может существовать видов «отнятия», которых не только закон, но даже самый тонкий психолог ни предусмотреть, ни поименовать не может. Весь процесс купли и продажи основан на психологических тонкостях, относительно которых немыслимы какие бы то ни было юридические опре-

деления. Вы слабохарактерны — я налетаю на вас орлом; вы тщеславны — я опутываю вас паутиной самой тонкой лести; вы недальновидны или глупы — я показываю вам чудеса в решете, от которых вы дуреете окончательно. Очень часто «подвох» является даже в самой цинической и грубой форме, без всякого участия психологии; но и тут он недоступен для изобличения, потому что в основании его предполагается обоюдное согласие. «Своими ли ты глазами смотрел? своими ли руками брал?» — таковы афоризмы, на которых твердо стоит «подвох». Две стороны находятся друг против друга, и обе стараются друг друга обойти. Не украсть, а именно обойти. Даже «дурак» не прочь бы обойти умного, но только не умеет. И только тогда, когда «подвох» возымел уже свое действие, когда психологическая игра совершила весь свой круг и получила от нотариуса надлежащую санкцию, когда участвовавшие в ней стороны уже получили возможность проверить самих себя, только тогда начинают они ощущать нечто странное. Я уже не говорю о стороне «объегоренной», «облапошенной» и т. д., которая с растерявшимся видом ощупывает себя, как будто с нею наяву произошло что-то вроде сновидения; я думаю, что даже сторона «объегорившая», «облапошившая» и т. д.— и та чувствует себя изубытченною, на том основании, что «мало еще дурака нагрели». Конечно, кражи тут нет, но, как хотите, есть нечто до такой степени похожее, что самая неопределительность факта возбуждает чувство, еще более тревожное, нежели настоящая кража. Куда идти? где искать отмщения? Ежели искать его в сфере легальности, то ни один правильно организованный суд не признает себя компетентным в деле психологических игр. Ежели искать его в сфере так называемого общественного мнения, то все эти «рохли», «разини» и «дураки» занимают на жизненном пире такое приниженное, постылое место, что внезапный протест их может возбудить только чувство изумления.

Собственно говоря, я почти не принимал участия в этой любостяжательной драме, хотя и имел воспользоваться плодами ее. Самым процессом ликвидации всецело овладел Лукьяныч, который чувствовал себя тут как рыба в воде. Покупщики приходили, уходили, опять приходили, и старик не только не утомлялся этою бесконечною сутолокою, но даже как будто помолодел.

— Вот погодите! — говорил он, спровадив какого-нибудь претендента на обладание Опалихой,— он еще ужо придет, мы его тут с одним человеком стравим!

И стравливал. Стравливал всегда внезапно, как бы нечаянно, и притом так язвительно, что у конкурентов налива-

лись кровью глаза и выступала пена у рта. Конечно, это в значительной степени оттягивало ликвидацию моих дел, но в этом отношении все мои настояния оставались бессильными. Лукьяныч не только не хотел понимать, но даже просто-напросто не понимал, чтоб можно было какое-нибудь дело сделать, не проведя его сквозь все мытарства запрашиваний, оговорок, обмолвок и всей бесконечной свиты мелких подвохов, которыми сопровождается всякая так называемая полюбовная сделка, совершаемая в мире столпов и основ.

Я, конечно, не намерен рассказывать читателю все перипетии этой драмы, но считаю нелишним остановиться на одном эпизоде ее, которым, впрочем, и кончились мои деревенские похождения по предмету продажи и купли.

Между прочим, Лукьяныч счел долгом запастись сводчиком. Одним утром сижу я у окна — вижу, к барскому дому подъезжает так называемая купецкая тележка. Лошадь сильная, широкогрудая, длинногривая, сбруя так и горит, дуга расписная. Из тележки бойко соскакивает человек в синем армяке, привязывает вожжами лошадь к крыльцу и направляется в помещение, занимаемое Лукьянычем. Не проходит десяти минут, как старик является ко мне.

— Заяц из Долгинихи приехал,— докладывает он.

— Покупщик, что ли?

— Говорит, что Волчьи Ямы купить охотится.

— Что ж, переговори с ним!

— Стало быть, он до вас дойти хочет.

— А коли хочет, так зови.

Но вместо того чтоб уйти, Лукьяныч переминается с ноги на ногу, видимо желая что-то сказать еще.

— Только он покупщик не настоящий,— произносит он наконец, по своему обыкновению загадочно понижая голос,— у него всего и имущества вон эта телега с лошадью.

— Так об чем же я буду с ним говорить?

— Поговорите, может, и польза будет.

— Да кто он такой?

— Здешний, из Долгинихи, Федор Никитин Чурилин. А Зайцем прозван оттого, что он на всяком месте словно бы из-под куста выпрыгнул. Где его и не ждешь, а он тут. Крестьянством не занимается, а только маклерит. Чуть где прослышит, что в разделку пошло — ему уж и не сидится. С неделю места есть, как он около нас кружит, да я все молчал. Сам, думаю, придет — ан вот и пришел.

— Чем же он для нас-то может быть полезен?

— Первое дело, покупателя приведет. Второе дело, и сам

для виду подторговывать будет, коли прикажем. Только баловать его не нужно.

— То есть как же не «баловать»?

— Много денег давать не надо. Он тоже ловок на чужие-то деньги чай пить. Вы сами-то не давайте, ко мне посылайте.

Лукьяныч уходит и через минуту является вместе с Зайцем. Это среднего роста человек, жиденький, белокуренький, с подстриженною рыжеватою бородкой, с маленькими бегающими глазками, обрамленными розовыми, как у кролика, веками, с востреньким носом. Вообще фигурой своей он напоминает отчасти лисицу, отчасти зайца. Одет щеголем: в синей тонкого сукна сибирке, подпоясанной алым кушаком, посверх которой надет такой же синий армяк; на ногах высокие смазные сапоги. Подходит он на цыпочках, почти неслышно, к самому столу, за которым я сижу. К разговору приступает шепотом, словно секрет выведать хочет. При этом беспрерывно оглядывается по сторонам и при малейшем шорохе вздрагивает.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Наслышаны, что ваша милость вотчину продать желаете?

— Да, желал бы.

— Так-с. А какая, примерно, цена ваша будет?

— Да вы осматривали дачу-то?

— Даже очень довольно смотрели. Мы, ваше благородие, здешние жители. Может, около каждого куста раз десять обошли. Очень довольно знаем. В Филипцеве это точно, что есть лесок, а в прочих местах лет двадцать настоящего лесу дожидаться надо!

— Мне кажется, однако, что и в некоторых других пустошах порядочный лес есть.

— Помилуйте, ваше благородие! позвольте вам доложить! Лес, одно слово, это такое дело: возьмем теперича одну десятину — ей одна цена; возьмем другую десятину — ей другая цена! Стало быть, коли-ежели я или, к примеру, другой покупщик...

— Постой, Федор Никитич! — вмешивается Лукьяныч,— ты ведь не для себя торговаться пришел! Зачем же ты наш лес хаишь! А ты похвали! Может, от твоего-то слова, где и нет лесу — он вырастет!

— Это так точно-с. Главная причина, как его показать покупателю. Можно теперича и так показать, что куда он ни взглянул, везде у него лес в глазах будет, и так показать, что он только одну редочь увидит. Проехал я давеча Ковалихой;

в бочку-то, направо-то... ах, хорош лесок! Ну, а ежели полевее взять — пильщикам заплатить не из чего!

— А ты бы вот съездил да показал барину-то, как оно по-твоему выходит!

— Чего же лучше-с! Вот не угодно ли на моей лошади хоть в Филипцево съездить. И Степана Лукьяныча с собой захватим.

Поехали. Я с Зайцем сел рядом; Лукьяныч спустился корпусом в тележный рыдван, а ноги взодрал на ободок. Заяц был видимо польщен и весело пошевеливал вожжами; он напоминал собой фокусника, собирающегося показать свои лучшие фокусы и нимало не сомневающегося, что публика останется им довольна. С полчаса мы ехали дорогою, потом свернули в сторону и поехали целиком по луговине, там и сям усеянной небольшими куртинами березника, перемешанного с осиною. Долго мы кружили тут и всё никак не доедем до Филипцева, то есть до «настоящего» леса. Выдастся местами изрядная десятинка, мелькнет — и опять пошла писать редочь.

— Да ты что такое показываешь? — воззрился наконец Лукьяныч.

— Филипцево показываю! или своего места не узнал! Вон и осина, на которой прошлою осенью Онисим Дылда повесился!

Лукьяныч не выдержал и выругался, чем, впрочем, Заяц нимало не смутился.

— Теперича как, по-вашему? Много ли, примерно, ваше Филипцево стоит? — обратился он ко мне.

— Да, но ведь...

— Это так точно-с! Однако, вот хоть бы ваша милость! говорите вы теперича мне: покажи, мол, Федор, Филипцево! Смею ли я, примерно, не показать? Так точно и другой покупщик: покажи, скажет, Федор, Филипцево,— должен ли я, значит, ему удовольствие сделать? Стало быть, я и показываю. А можно, пожалуй, и по-другому показать... но, но! пошевеливай! — крикнул он на коня, замедлившего ход на дороге, усеянной целым переплетом древесных корней.

Через пять минут мы опять выехали на торную дорогу, с которой уже нельзя было своротить, потому что по обеим ее сторонам стояла сплошная стена высоких и толстых елей.

— Вот и опять то же Филипцево, только в этом самом месте цены ему нет! — с некоторым торжеством провозгласил Заяц.

— Да вы зачем же показываете либо одно, либо другое! Вы бы, как следует, всё показали!

— Помилуйте! позвольте вам доложить! Неужто я своего

дела не знаю! К примеру, возьмем теперича хоть покупателя — могу ли я его принуждать! Привез я его теперича хоть в это самое место, показал ему; он сейчас взглянул: «Ах, хорош лесок, Федор!» Главная причина, значит, облюбовал. Что же я теперича против этого сделать могу? Само собой, чтобы, примерно, в ответе перед ним не остаться, скажешь ему: не весь, мол, такой лес, есть и прогалинки. Однако, как он сразу в своем деле уверился, так тут ему что хочешь говори: он всё мимо ушей пропущает! «Айда домой, Федор! — говорит,— лес первый сорт! нечего и смотреть больше! теперь только маклери, как бы подешевле нам этот лес купить!» И купит, и цену хорошую даст, потому что он настоящий лес видел! А как начнешь с редочи-то показывать, так после хоть и привези его сюда, к настоящему лесу,— он все про редочь поминать будет!

— Скажите, вы имеете в виду какого-нибудь покупщика?

— У меня, ваше благородие, по здешней округе очень знакомства довольно. Хорошие господа доверяют мне, а не то чтобы что̀! Ну, и купцы тоже: и в Р., и в К., и в Т.

— Дерунова вы знаете?

— Как не знать Осипа Иваныча! Довольно знаем. Послужил тоже его степенству. Да признаться, зацепочка, этта, небольшая у нас вышла.

— А что?

— Да так-с. Тоже онамеднись лес показывал, генерал Голозадов продавал. Признаться, маленько спапашился я тогда, а молодец деруновский и догадайся. Очень они на меня в ту пору обиделись, Осип-то Иваныч!

— Чай, и за вихры досталось! — вставил свое слово Лукьяныч.

— Этого бог еще миловал. Сколько на свете живу, а за вихры, кроме тятеньки с маменькой, никто еще не дирал. А не велел, значит, Осип Иваныч до себя допущать.

— Да, брат, ваша должность тоже — и-и! Плутовать — плутуй, а по сторонам не заглядывайся!

— Наша должность, ваше благородие, осмелюсь вам доложить, даже очень довольно строгая. Смо̀трите, примерно, тепереча хоть вы, или другой кто: гуляет, мол Федор, в баклуши бьет! А я, между прочим, нисколько не гуляю, все промежду себя обдумываю. Как, значит, кому угодить и кому что̀, к примеру, требуется. Все это я завсегда на замечании держать должен. К примеру, хошь бы такой случай: иной купец сам доходит, а другой — через прикащиков.

— С прикащиками, я думаю, скорее дело-то сделаешь!

— И прикащик прикащику рознь, Степан Лукьяныч,— вот как надо сказать. Одно дело деруновский прикащик, и одно

дело — владыкинский прикащик. А в прочиих частях, разумеется, коли-ежели господин маслица не пожалеет, с прикащиком все-таки складнее дело сделать можно.

— Подкупить, значит, нужно?

— Зачем покупать? а просто, к примеру, пообещать. Копейки, что ли, с рубля, или хоша бы и две, если, значит, дело хорошо доложит хозяину.

— Ну, две-то копейки — это, брат, ты соврал! — вступился Лукьяныч,— копейку — это точно! это по-христиански будет!

— Эх, Степан Лукьяныч, как это, братец, ты говоришь: «соврал!» Могу ли я теперича господина обманывать! Может, я через это самое кусок хлеба себе получить надеюсь, а ты говоришь: «соврал!» А я все одно, что перед богом, то и перед господином! Возьмем теперича хоть это самое Филипцево! Будем говорить так: что для господина приятнее, пять ли тысяч за него получить или три? Сказывай!

— Оно, конечно, кабы пять... да навряд...

— Ты говоришь: навряд, а я тебе говорю: никто как бог! Владыкина Петра Семеныча знаешь?

— Слыхивал.

— А слыхивал, так и про Тихона Иванова, про прикащика его, значит, слыхивал. Вот ужо поеду в К., шепну Тихону Иванову: Тихон, мол, Иваныч! доложите, мол, хозяину, что хороший барин лесок продает!

— Да, кабы пять тысяч... не жаль бы и двух копеек...

— И не пять тысяч, а больше даст — вот что! Потому, сейчас ты его в трактир сводил, закуску потрафил: «Тихон Иваныч! сделай милость!»

— Закуска — это точно; закуска — это первое дело!

Заяц постепенно разгорячался и начал лгать; с своей стороны, и Лукьяныч, постепенно поддаваясь обаянию лганья, с каким-то беззаветным простодушием вторил ему.

— Потому что у нас всё на чести! — ораторствовал Заяц.— Будем так говорить: барин лес продает, а Тихон Иванов его осматривает. В одном месте посмотрит — ах, хорош лесок! в другом поглядит — вот так, брат, лесок! Правильно ли я говорю?

— Это так... правильно... это так точно!

— Ты думаешь, мало у вас в Филипцеве добра?

— Мало ли тут добра!

— Я тебе вот как скажу: будь я теперича при капитале — не глядя бы, семь тысяч за него дал! Потому что, сейчас бы я первым делом этот самый лес рассертировал. Начать хоть со строевого... видел, какие по дороге деревья-то стоят... ужастёсные!

— Мало ли тут дерева! Хоть в какую угодно стройку!

— Хорошо. Стало быть: перво-наперво строевой лес... сколько тут, по-твоему, корней будет? Тысячи три будет?

— Коли не побольше... как трех тысяч не быть!

— Ну, клади три!.. Ан дерево-то, оно три рубля... на ме-е-сте! А на станции за него дашь и шесть рублей... как калач! Вот уж девять тысяч. А потом дрова... Сколько тут дров-то!

— Мало ли тут дров!

— Опять же товарник... сучья... по нашему месту всякий сучок денег стоит! А земля-то! земля-то ведь опять за покупателем останется!

— И опять по ней лес пойдет!

— И какой еще лес-то пойдет! В десять лет и не узнаешь, была ли тут рубка или нет! Место же здесь боровое, ходкое!

— Эхма!

— А я что же говорю! Я то же и говорю: кабы теперича капитал в руки — сейчас бы я это самое Филипцево... то есть, ни в жизнь бы никому не уступил! Да тут, коли человек с дарованием... тут конца-краю деньгам не будет!

— Так ты так и действуй. Улещай покупателя. Старайся.

— И то стараюсь. Потому вижу: господин добрый, неведущий — для кого же нам и стараться-то! Слава богу! я всем господам по здешнему месту довольно известен! Голозадов генерал, Порфирьев господин... все хоть сейчас аттестат мне подписать готовы!

— Вот ты об Владыкине давеча помянул... так он вряд ли у нас купит. Он, слышь, у кандауровского барина всю палестину торгует! У нас ему не рука.

— А Владыкин не захочет, так к Бородавкину, к Филиппу Ильичу, толкнемся. Мужик денежный. Этот сам осматривать поедет, прикащику не поручит.

— Ну, самому-то двух копеечек не посулишь!

— У этого опять другой фортель: пуншт любит. Как приехал — так чтобы сейчас ему пуншт готов был! И пьет он этот пуншт, докуда глаза у него круглые не сделаются! А в ту пору что хошь, то у него и бери!

— Проспится небось?

— Проспится — и опять, чтобы сейчас пуншт! Само собой, уж тут не зевай. Главная причина, все так подстроить, чтобы в эвтом самом виде хорошей неустойкой его обязать. Страсть, как он этих неустоек боится! Словно робенок!

— Ишь ты, парень!

— А Бородавкин ежели не поедет — Хмелева Павла Фомича за бока приволокем! И насчет его опять есть фортель: амбицию большую имеет! Скажи ему только: «Дерунов, мол,

Осип Иваныч, пять тысяч давал»,— сейчас он, не глядя, шесть тысяч отвалит!

— Житье им, этим аршинникам!

— И какое еще житье-то! Скажем, к примеру, хоть об том же Хмелеве — давно ли он серым мужиком состоял! И вдруг ему господь разум развязал! Зачал он и направо загребать, и налево загребать... Страсть! Сядет, это, словно кот в темном углу, выпустит когти и ждет... только глаза мерцают!

Из Филипцева заехали мы в Опалиху, а по дороге осмотрели и Волчьи Ямы. И тут оказалось то же: полевее проехать — цены нет, поправее взять — вся цена грош.

— Главная причина ка́к показать! — настойчиво утверждает Заяц.

— Это что и говорить! Ка̀к показать... это так точно! — вторит ему Лукьяныч.

Словно во сне слушаю я этот разговор. В ушах моих раздаются слова: «фортель... загребать... ка̀к показать... никто как бог... тысячи, три тысячи... семь тысяч...» Картины, одна другой фантастичнее, рисуются в моем воображении. То мне кажется, что я волк, а все эти Деруновы, Владыкины, Хмелевы, Бородавкины — мирно пасущееся стадо баранов, в виду которого я сижу и щелкаю зубами. И вот я начинаю гарцевать и, распустив хвост по ветру, описываю круги. Один смелый прыжок — и я уже там, в самой середине стада! Но, о ужас! Не успел я еще хорошенько раскрыть пасть, как все эти бараны, вместо того чтобы смиренно подставить мне свои загривки, вдруг оскаливают на меня зубы и поднимают победный вой! Картина переменяется. Я оказываюсь не волком, а бараном, на которого Заяц обманным образом напялил волчью шкуру! Я слышу хохот и вой: «жарь его!» «наяривай!» «накладывай!» «в загривок-то! в загривок его!» раздается в моих ушах: «дурак! дурак! дурак!»

Пообедавши, Заяц уехал.

— Ты смотри! по сторонам не заглядывайся! за это, брат, тоже не похвалят! — напутствовал его Лукьяныч.

— Зачем по сторонам глядеть! мы на чести дело поведем! Счастливо оставаться, ваше благородие! Увидите, коли я завтра же вам Бородавкина Филиппа Ильича не предоставлю!

Тележка загремела, и вскоре целое облако пыли окутало и ее, и фигуру деревенского маклера. Я сел на крыльцо, а Лукьяныч встал несколько поодаль, одну руку положив поперек груди, а другою упершись в подбородок. Некоторое время мы молчали. На дворе была тишь; солнце стояло низко; в воздухе чуялась вечерняя свежесть, и весь он был пропитан ароматом от только что зацветших лип.

— Ишь ведь! — вдруг огозвался Лукьяныч, озирая глазами высь и отирая платком пот, выступивший на лбу.

— Да, брат, хорошо теперь на вольном воздухе.

— И не вышел бы!

В самом деле, так было хорошо среди этой тишины, этой теплыни угасающего дня, этих благоуханий, что разговор наш непременно принял бы сентиментальный характер, если б изредка долетавший стук Зайцевой тележки не возвращал нас к действительности.

— Не нравится мне этот Заяц,— сказал я.

— Чего в нем нравиться!

— Зачем же ты привел его?

— А нам разве «нравиться» надо! Нам нужно, чтоб дело сделал, а там, пожалуй, хоть век его не видать!

— Однако ведь ты сам видишь, что он просто-напросто мошенник!

— Мошенник — много про него сказать. А лодырь!.. нестоющий, значит, человек!

— Вот, ты говоришь: «нестоющий человек», а между тем сам же его привел! Как же так жить! Ну, скажи, можно ли жить, когда без подвоха никакого дела сделать нельзя!

— Живем помаленьку. Стало быть, не до конца еще прегрешили.

— Да ты пойми же, Лукьяныч, вот завтра Бородавкин приедет: неужто ж и в самом деле ты будешь его пуншем спаивать?

— А коли ему нравится! пущай пьет!

— Да ведь это значит прямо мошенничать! С пьяным человеком в сделку входить!

Лукьяныч изумленными глазами взглянул на меня.

— Да никак вы в сам-деле думаете, что вы Бородавкина обидеть можете? — удивился он.

— Обидеть! Не обидеть, а коли по-твоему делать, так просто-напросто обмануть!

— Христос с вами! Да вы слыхали ли про Бородавкината! Он ведь два раза невинно падшим объявлялся! Два раза в остроге сидел и всякий раз чист выходил! На-тко! нашли кого обмануть! Да его и пунштом-то для того только поят, чтобы он не слишком уж лют был!

Сказавши это, Лукьяныч махнул рукой и ушел в свое логово готовиться к завтрашнему дню. Через полчаса вышел оттуда еще такой же ветхий старик и начал, вместе с Лукьянычем, запрягать в одноколку мерина.

Посылали в город за кизляркой и другими припасами для предстоящих «пунштов».

Но я не выдержал.

Ежедневные разъезды по одним и тем же местам, беспрерывные разговоры об одних и тех же предметах до того расшатали мои нервы, что мне почти всю ночь не спалось. Передо мной, в течение нескольких бессонных часов, прошли все подробности любостяжательной драмы, которой я был очевидцем и участником. Вспомнился благолепный Дерунов и его самодовольные предики насчет «бунтов», в которых так ясно выразилась наша столповая мораль; вспомнилась свита мелких торгашей-прасолов, которые в течение целого месяца, с утра до вечера, держали меня в осаде и которые хотя и не успели еще, подобно Дерунову, уловить вселенную, но уже имели наготове все нужные для этого уловления мрежи; вспомнилась и бесконечная канитель разговоров между Лукьянычем и бесчисленными претендентами на обладание разрозненными клочьями некогда великолепного чемезовского имения...

Эти разговоры в особенности раздражали меня. Все они велись в одной и той же форме, все одинаково не имели никакого содержания, кроме совершенно бессмысленной укоризны. На русском языке даже выработался особенный термин для характеристики подобных разговоров. Этот термин: «собачиться».

— А ты настоящую цену давай! — собачился, например, Лукьяныч.

— И то настоящую цену даем! — с своей стороны, отсобачивался прасол-покупщик.

— А ты дело говори!

— И то дело говорим!

— Слушай! сколько ты тут дров напилить хочешь?

— Сколько напилим — все наше будет.

— Опять товарник! Ты думаешь, сколько ты товарнику тут напилишь?

— Опять-таки, сколько ни напилим — все наше будет!

— Бога ты не боишься!

— Ты один, видно, боишься!

И так далее, до тех пор, пока запас «собаченья» не истощался на время. Тогда наступало затишье, в продолжение которого Лукьяныч пощипывал бородку, язвительно взглядывал на покупателя, а покупатель упорно смотрел в угол. Но обыкновенно Лукьяныч не выдерживал и, по прошествии нескольких минут, с судорожным движением хватался за счеты и начинал на них выкладывать какие-то фантастические суммы.

— Слушай! Боишься ли ты бога! — принимался он вновь за прежнюю канитель укоризн.

Вспомнился мне, наконец, и Заяц, за несколько часов перед тем с такою бесцеремонною торжественностью посвящавший меня в тайны искусства «показывания», которого я некогда был жертвою.

Теперь это искусство «показывания» уже не меня обездоливало, а, напротив того, *мне* предлагало свои услуги.

Ясно, что передо мной, в течение целого месяца, каждодневно производился тот самый акт «потрясания», который поселяет такой наивный ужас в сердцах наших столпов. Да, это было оно, это было «потрясание», и вот эти люди, которые так охотно бледнеют при произнесении самого невинного из заклейменных преданием «страшных слов»,— эти люди, говорю я, по-видимому, даже и не подозревают, что рядом с ними, чуть ли не ими самими, каждый час, каждую минуту, производится самое действительное из всех потрясаний, какое только может придумать человеческая злонамеренность!

И с какою наивною бессознательностью, с каким простодушным неведением производится этот акт «потрясания общественных основ». Это даже не акт, а почти простой обряд. Даже добряк Лукьяныч, которому, конечно, и на мысль никогда не приходило кого-нибудь ограбить, и тот является чуть не грабителем или, по крайней мере, попустителем и пособником грабежа. Не услаждался ли он всем существом своим фокусами «показывания», представленными Зайцем? Не послал ли он в город за кизляркой, в надежде, что Бородавкин, под влиянием «пунштов», ходчее пойдет в устроиваемую ему Зайцем ловушку?

И чем дольше я думал, тем больше и больше таяла моя недавняя решимость действовать с умом. И по мере того как она исчезала, на ее место, сначала робко, но потом все настойчивее и настойчивее, всплывала другая решимость: бросить! Бросить все и бежать!

Как-то вдруг для меня сделалось совсем ясно, что мне совсем не к лицу ни продавать, ни покупать, ни даже ликвидировать. Что мое место совсем не тут, не в мире продаж, войн, трактатов и союзов, а где-то в безвестном углу, из которого мне никто не препятствовал бы кричать вслед несущейся мимо меня жизни: возьми всё — и отстань!..

Утром, едва я успел забыться тревожным сном, как меня разбудил гром и звон, раздававшийся на дворе. Одевшись наскоро, я выбежал на крыльцо, и глазам моим представилась картина необычной для Чемезова суеты. Старики и старухи, мирно доживавшие свой век в подвальных этажах барского дома, все разом выползли на барский двор, сновали взад и вперед, от амбара к кладовой, от кладовой к погребу, гремели

ключами, отпирали, запирали, что-то вынимали, несли. У конюшни стояла крытая ямская повозка; вблизи нее, на лужку, ходили три спутанные лошади и кормились, встряхивая бубенчиками. На вопрос мой, что случилось, мне отвечали, что приехал купец Бородавкин и вместе с Зайцем и Лукьянычем отправился осматривать дачу.

Я ждал довольно долго. Наконец, часа через три, осторожно, словно крадучись, вошел в мою комнату Заяц. Лицо его, в буквальном смысле слова, было усеяно каплями пота и выражало таинственность и озабоченность.

— Желают вас видеть,— доложил он шепотом.

Я чувствовал, что решительный час настал; но все еще колебался.

— Ваше высокоблагородие! позвольте вам доложить!— продолжал он таинственно,— они теперича в таком пункте состоят, что всего у них, значит, просить можно. Коли-ежели, к примеру, всю дачу продать пожелаете — они всю дачу купят; коли-ежели пустошь какую, или парки, или хоша бы и дом — они и на это согласны! Словом сказать, с их стороны на всё согласие будет полное!

И надо было видеть его изумление и даже почти негодование, когда я объявил ему, что в настоящую минуту ничего продавать не намерен!!

ПРЕВРАЩЕНИЕ

На днях иду по Невскому, мимо парикмахерской Дюбюра, смотрю и глазам не верю: по лестнице магазина сходит... сам Осип Иванович Дерунов!!

Нужно было в свое время очень запечатлеть в памяти лицо Осипа Иваныча, чтобы узнать его в том обличии, в каком он предстал передо мной в эту минуту. На плечах накинута соболья шуба редчайшей воды (в «своем месте» он носит желтую лисью шубу, а в дорогу так и волчьей не брезгает), на голове надет самого новейшего фасона цилиндр, из-под которого высыпались наружу серебряные кудри; борода расчесана, мягка, как пух, и разит духами; румянец на щеках даже приятнее прежнего; глаза блестят... Словом сказать, лет двадцать пять с плеч долой — никак не меньше.

И прежде случалось, что Дерунов по временам наезжал в Петербург по своим делам, но приезды эти всегда совершались более чем скромно. Останавливался он обыкновенно у кума своего, Ивана Иваныча Зачатиевского, сына к—ского пономаря, который служил в одном из департаментов столо-

начальником, досиделся до чина статского советника и с получением его воспользовался титулом управляющего столом. Если же у кума было нельзя приютиться (Зачатиевский был необыкновенно плодущ, и не всегда в его квартире имелся свободный угол), в таком случае Дерунов нанимал дешевенький нумер в гостинице «Рига» или у Ротина, и там все его издержки, сверх платы за нумер, ограничивались требованием самовара, потому что чай и сахар у него были свои, а вместо обеда он насыщался холодными закусками с сайкой, покупаемыми у лоточников. Франтить он не только не франтил, но даже, ступая на петербургскую почву, как бы с расчетом усугублял невзрачность своего костюма. Иногда, во время этих наездов, он удостоивал посещать и меня.

— Охота вам, Осип Иваныч, себя изнурять! — бывало, скажешь ему,— человек вы состоятельный, а другие говорят и богатый, могли бы в Петербурге шику задать, а вы вот в сибирке ходите да белужиной, вместо обеда, пробавляетесь!

— А ты слушай-ко, друг, что я тебе скажу! — благосклонно объяснял он мне в ответ,— ты говоришь, я человек состоятельный, а знаешь ли ты, как я капитал-то свой приобрел! все постепенно, друг, все пятачками да гривенничками! Кабы платье-то у меня хорошее было, мне бы в карете ездить надо, а за нее поди пять рублей в день отдать мало! А теперь я от Ивана Иваныча (Зачатиевского, из Измайловского полка) выйду — платье-то у меня таковское: и забрызгает — терпит! Вот я иду-иду на биржу, да и даю извозчику сначала двугривенничек, а потом, у Вознесенья, и пятиалтынничек. Времени передо мной достаточно, на пожар спешить нечего. Не возьмет извозчик пятиалтынничка — я и до адмиралтейства, заместо прогулки, дойду, а оттоль уж за гривенничек и сяду до биржи. Ан сочти-ка ты, сколько гривенников-то за день в кармане останется — ведь шутя-шутя полтора-два рубля в сутки набежит!

— А вам очень эти полтора-два рубля дороги?

— Мне все дорого, потому на полу и гривенника не поднимешь. Опять и то скажу: я ведь всякою операцией орудую, и сало покупаю, и масло постное, всякий, значит, товар. Во всё пальцем колупнуть должен, а иное и на язык испробовать Кабы теперича я в хорошем платье да в перчатках ходил, как бы к товару-то я приступился? Ведь около него хорошее-то платье изгадишь, а оно поди денег стоит. Вот и стал бы я, вместо того, чтобы сам до всего доходить, прикащика за себя посылать, а прикащику-то плати, да он же тебя за твои деньги продаст! А теперь — святое дело! Нужды нет, что по пя-

тачкам да по гривенничкам сбираем: курочка и по зернышку клюет, да сыта бывает!

— Ну, вы-то, чай, не всё по зернышку клюете! Как сало-то на язык попробуете — в кармане, смотри, и изрядный куш очутится!

— Бывают и куши — и от кушей не отказываемся. Да ведь и тут опять: отчего эти самые куши до нас доходят? Всё через нашу же экономию да осмотрительность! Лучше скажу тебе: даже немец здешний такое мнение об нас, русских, имеет, что в худом-то платье человеку больше верят, нежели который человек к нему в карете да на рысаках к крыльцу подъедет. Теперича хоть бы я: миткалевая фабрика у меня есть, хлопок нужен; как приду я к немцу в своем природном, русском виде, мне и поклониться ему не стыдно! Да и он тоже, глядя на мою одёжу, соображает: «Этот человек, говорит, основательный!» Глядишь — ан мне и уступочка за мою основательность. Нет, сударь, видно, нам, русским, еще предел не вышел в хорошем-то платье ходить!

И вот этот самый человек, возведший хождение в худом платье чуть не в теорию, является передо мной совершенным франтом. Из-за распахнувшейся на мгновение шубы я заметил отлично сшитый сюртук и ослепительной белизны рубашку с крупными бриллиантовыми запонками; на руках перчатки à double couture[1], на шее — узенький черный col...[2] Только сапоги навыпуск обличают русского человека, да и то, быть может, он сохранил их потому, что видел такие же у какого-нибудь знакомого кирасира.

— Осип Иваныч — вы? — спросил я нерешительно.

— Самолично-с.

Он высунул из-под шубы два пальца, один из которых я слегка и потянул к себе, сказав:

— Вот вы и в перчатках! а помните, недавно еще вы говорили, что вам непременно голый палец нужен, чтоб сало ловчее было колупать и на язык пробовать?

— Было... и это! — ответил он, несколько сконфузясь,— а что только два пальца вам подал, так этому есть причина: шубу поддерживаю.

— Нет, в самом деле! Не шутя, ведь узнать вас нельзя, Осип Иваныч! Похорошели! помолодели! Просто двадцать пять лет с костей долой! Надолго ли в Петербург?

— Думаю недельки две еще побыть.

[1] двойной строчки.
[2] галстук.

— А помнится, вы не очень-то Петербург долюбливали? По делам?

— По делам... ну, и проветриться тоже... Сидишь-сидишь, этта, в захолустье — захочется и на свет божий взглянуть!

— И прекрасно. Теперь, стало быть, вам остается только «штучку» какую-нибудь подцепить — и дело в шляпе! А может быть, вы уж и подцепили?

— Есть их, «штучек»-то... довольно здесь! Я, впрочем, не столько для них, сколько для того, что уж оченно генерал приехать просил.

— Какой генерал?

— Да вот, что летось к нам в К. приезжал... сказывал вот, помнится! Насчет облигациев...

— Стало быть, об концессии хлопотать приехали?

— Парень-то уж больно хорош. Говорит: «Можно сразу капитал на капитал нажить». Ну, а мне что ж! Состояние у меня достаточное; думаю, не все же по гривенникам скалачивать, и мы попробуем, как люди разом большие куши гребут. А сверх того, кстати уж и Марья Потапьевна проветриться пожелала.

— Какая Марья Потапьевна?

— Уж и забыли? Яшенькина, сына моего, супруга...

Мне показалось, что, говоря это, он как-то посмотрел совсем уже вкось.

— Не видал я ее, Осип Иваныч, не привелось в ту пору. А красавица она у вас, сказывают. Так, значит, вы не одни? Это отлично. Получите концессию, а потом, может быть, и совсем в Петербурге оснуетесь. А впрочем, что ж я! Переливаю из пустого в порожнее и не спрошу, как у вас в К., все ли здоровы? Анна Ивановна? Николай Осипыч?

— Что им делается! Цветут красотой — и шабаш. Я нынче со всеми в миру живу, даже с Яшенькой поладил. Да и он за ум взялся: сколь прежде строптив был, столь нонче покорен. И так это родительскому сердцу приятно...

— Еще бы! какой он, однако ж, чудак у вас! Марью Потапьевну в Петербург отпустил, а сам в захолустье остался!

— Ведь не одну он ее отпустил, а с родителем. Да ему-то, признаться, в хорошую-то компанию и войти покуда нельзя.

— Что так?

— Да все то же. Вино мы с ним очень достаточно любим. Да не зайдете ли к нам, сударь: я здесь, в Европейской гостинице, поблизности, живу. Марью Потапьевну увидите; она же который день ко мне пристает: покажь да покажь ей господина Тургенева. А он, слышь, за границей. Ну, да ведь и вы писатель — все одно, значит. Э-эх! загоняла меня совсем мо-

лодая сношенька! Вот к французу послала, прическу новомодную сделать велела, а сама с «калегвардами» разговаривать осталась.

— Вот как!

— Да, сударь, всякого люду к нам теперь ходит множество. Ко мне — отцы, народ деловой, а к Марье Потапьевне — сынки наведываются. Да ведь и то сказать: с молодыми-то молодой поваднее, нечем со стариками. Смеху у них там... ну, а иной и глаза таращит — бабенке-то и лестно, будто как по ней калегвардское сердце сохнет! Народ военный, свежий, саблями побрякивает — а время-то, между тем, идет да идет. Бывают и штатские, да всё такие же румяные да пшеничные — заодно я их всех «калегвардами» прозвал.

— Что ж, чай, любезности напевают Марье Потапьевне?

— Не без того. Ведь у вас, в Питере, насчет женского-то полу утеснительно; офицерства да чиновничества пропасть заведено, а провизии про них не припасено. Следственно, они и гогочут, эти самые «калегварды». Так идем, что ли, к нам?

Я согласился.

Дерунов занимал в гостинице отлично меблированный апартамент, комнат в пять. Прямо из передней — столовая (здесь в настоящую минуту был накрыт стол, уставленный разнообразнейшими закусками и целою батареей водок и вин), из столовой налево — кабинет и спальня Осипа Иваныча, направо — гостиная и будуар Марьи Потапьевны. В гостиной раздавались голоса и смех. Когда мы вошли (было около двух часов утра), то глазам нашим представилась следующая картина: Марья Потапьевна, в прелестнейшем дезабилье из какой-то неслыханно дорогой материи, лежала с ножками на кушетке и играла кистями своего пеньюара; кругом на стульях сидело четверо военных и один штатский. Военные принадлежали к разным родам оружия, но все были одинаково румяны и белы и все одинаково глядели крепышами; даже штатский был так бел и румян, что сразу его нельзя было признать за штатского.

— А я тебе, Машенька, писателя привел! шутя на улице нашел! — балагурил Осип Иваныч, рекомендуя меня Марье Потапьевне.

Марья Потапьевна поспешно сошла с кушетки и как-то оторопела, словно институтка, перед которой вырос из земли учитель и требует ее к ответу в ту самую минуту, когда она всеми силами души призывала к себе «калегварда». Очень возможно, что она думала, что перед нею стоит сам Тургенев, но я, разумеется, поспешил ее успокоить, назвав себя. И, увы! я с горестью должен сознаться, что фамилия моя ровно ничего

не сказала ей, кроме того, что я к — ский помещик и как-то летом был у Осипа Иваныча с предложением каких-то земельных обрезков.

Впрочем, она очень предупредительно подала руку и даже на мгновение задумалась, словно стараясь что-то припомнить.

— Ах, да! ведь вы по смешной части! — наконец вспомнила она.

— Горестей не имею — от этого,— ответил я, и, не знаю отчего, мне вдруг сделалось так весело, точно я целый век был знаком с этою милою особой. «Сколько тут хохоту должно быть, в этой маленькой гостиной, и сколько вранья!» — думалось мне при взгляде на этих краснощеких крупитчатых «калегвардов», из которых каждый, кажется, так и готов был ежеминутно прыснуть со смеху.

— Садитесь — гости будете! — пригласила меня Марья Потапьевна, принимая прежнее положение на кушетке.

Я сел и тут только всмотрелся в нее. Действительно, это была женщина, в материальном смысле, очень привлекательная. Рослая, ширококостая, высокогрудая, с румяным, несколько более чем нужно круглым лицом, с большими серыми навыкате глазами, с роскошною темно-русою косой, с алыми пухлыми губами, осененными чуть заметно темным пушком, она представляла собой совершенный тип великорусской красавицы в самом завидном значении этого слова. Мне досадно было смотреть на роскошный ее пеньюар и на ту нелепую позу, в которой она раскинулась на кушетке, считая ее, вероятно, за пес plus ultra [1] аристократичности; мне показалось даже, что все эти «калегварды», в других случаях придающие блеск обстановке, здесь только портят. Хотелось бы видеть ее в штофном малиновом сарафане, в кисейной рубашке, среди хоровода. Одна рука уперлась в бок, другая полукругом застыла в воздухе, голова склонена набок, роскошные плечи чуть вздрагивают, ноги каблучками притопывают, и вот она, словно павушка-лебедушка, истово плывет по хороводу, а парни так и стонут кругом, не «калегварды», а настоящие русские парни, в синих распашных сибирках, в красных александрийских рубашках, в сапогах навыпуск, в поярковых шляпах, утыканных кругом разноцветными перьями...

Как по морю по Хвалынскому
Выплывала лебедь белая -

раздается в моих ушах...

Ну, скажите на милость, зачем тут «калегварды»? что они могут тут поделать, несмотря на всю свою крупитчатость? Вот

[1] верх.

кабы Дерунову, Осипу Иванычу, годов сорок с плеч долой — это точно! Можно было бы залюбоваться на такую парочку!

— Ну-с, господа «калегварды», о чем лясы точите? — между тем фамильярно обратился к присутствующим Дерунов.

— Да вот, Осип Иваныч, хотим вам на Марью Потапьевну пожаловаться! никакого хорошего разговору не допускает! сразу так оборвет — хоть на Кавказ переводись! — ответил один юный корнет, с самым легким признаком усов, совсем-совсем херувим.

— Стало быть, перепустили маленько. А вы, господа, не всё зараз. Посрамословьте малость, да и на завтра что-нибудь оставьте! Дней-то ведь впереди много у бога!

— Да мы и то крошечку... об Шнейдерше чуть-чуть вспомнили!

— Знаю я вашу «крошечку». Взглянуть на вас — уж так-то вы молоды, так-то молоды! Одень любого в сарафан — от девки не отличишь! А как начнете говорить — кажется, и габвахта ваша, и та от ваших слов со стыда сгореть должна!

Общий смех.

— Вот я и привел нарочно писателя: авось, мол, он вас остепенит. Я уж Иван Иваныча (Зачатиевского) к ним не однажды в компанию припускал — для степенности, значит,— а они, не будь просты, возьмут да и откомандируют его в кондитерскую за конфектами!

Сказав это, Осип Иваныч тоже взял стул, придвинул его к кружку и сел верхом.

— Ну, что же притихли! — прикрикнул он,— без меня небось словно мельница без мелева, а пришел — языки прикусили! Сказывайте, об чем без меня срамословили?

— Да что при вас... без вас свободнее! — отозвался кто-то, и все вдруг смолкло.

Действительно, с нашим приходом болтовня словно оборвалась; «калегварды» переглядывались, обдергивались и гремели оружием; штатский «калегвард» несколько раз обеими руками брался за тулью шляпы и шевелил губами, порываясь что-то сказать, но ничего не выходило; Марья Потапьевна тоже молчала; да, вероятно, она и вообще не была разговорчива, а более отличалась по части мления.

— Ну, батюшка, это вы страху на них нагнали! — обратился ко мне Дерунов,— думают, вот в смешном виде представит! Ах, господа, господа! а еще под хивинца хотите идти! А я, Машенька, по приказанию вашему, к французу ходил. Обнатурил меня в лучшем виде и бороду духами напрыскал!

Марья Потапьевна лениво вскинула глазами на Осипа

Иваныча; из рядов «калегвардов» послышалось несколько панегирических восклицаний.

— Скажите хоть вы что-нибудь!— вдруг обратилась ко мне Марья Потапьевна.

Обращение это застало меня совершенно врасплох. Вообще я робок с дамами; в одной комнате быть с ними — могу, но разговаривать опасаюсь. Все кажется, что вот-вот *она* спросит что-нибудь такое совсем неожиданное, на что я ни под каким видом ответить не смогу. Вот «калегвард» — тот ответил; тот, напротив, при мужчине совестится, а дама никогда не застанет его врасплох. И будут *они* вместе разговаривать долго и без умолку, будут смеяться и — кто знает — будут, может быть, и понимать друг друга!

— Вы ко мне?.. Но ведь я... право, со мной не случалось ничего такого...— бормотал я сконфуженно...

И в то время мне думалось: а ну, как она скажет: «какой вы, однако ж, невежа!» Литератор, в некотором роде служитель слова — и ничего не умеет рассказать! вероятно ли это?

К счастию, меня озарила внезапная мысль. Я вспомнил, что когда-то в детстве я читал рассказ под названием: «Происшествие в Абруццких горах»; сверх того, я вспомнил еще, что когда наши русские Александры Дюма-фисы желают очаровывать дам (дамы — их специальность), то всегда рассказывают им это самое «Происшествие в Абруццких горах», и всегда выходит прекрасно.

«А что, не пройтись ли и мне насчет «Происшествия в Абруццких горах»? — пришло мне на ум.— Правда, я там никогда не бывал, но ведь и они тоже, наверное, не бывали... Следственно...»

Я наскоро припомнил басню рассказа, читанного мною в детстве, и в то же время озаботился позаимствоваться некоторыми подробностями из оперы «Фра-Диаволо», для соблюдения couleur locale [1].

— Позвольте! — воскликнул я, не откладывая дела в долгий ящик,— есть у меня одна вещица: «Происшествие в Абруццких горах»... Происшествие это случилось со мной лично, и если угодно, я охотно расскажу вам его.

Предложение мое встретило радушный прием. Марья Потапьевна томно улыбнулась и даже, оставив горизонтальное положение на кушетке, повернулась в мою сторону; «калегварды» переглянулись друг с другом, как бы говоря: nous allons rire [2].

[1] местного колорита.
[2] сейчас посмеемся.

— Итак,— начал я,— я обещал вам, милая Марья Потапьевна, рассказать случай из моей собственной жизни, случай, который в свое время произвел на меня громадное впечатление. Вот он:

ПРОИСШЕСТВИЕ В АБРУЦЦСКИХ ГОРАХ

(Посвящается русским беллетристам, очаровывающим русских дам рассказами из собственной жизни)

В 1848 году путешествовали мы с известным адвокатом Евгением Легкомысленным (для чего я привлек к моему рассказу адвоката Легкомысленного — этого я и теперь объяснить себе не могу; ежели для правдоподобия, то ведь в 1848 году и адвокатов, в нынешнем значении этого слова, не существовало!!) по Италии, и, как сейчас помню, жили мы в Неаполе, волочились за миловидными неаполитанками, ели frutti di mare [1] и пили una fiasca di vino [2]. Вот только однажды говорит мне Легкомысленный:

— А не съездить ли нам в Абруццские горы?

— С какой стати в Абруццские горы загорелось? — спрашиваю я.

— А там, говорит, разбойники!

Взглянул я, знаете, на Легкомысленного, а он так и горит храбростью. Сначала меня это озадачило: «Ведь разбойники-то, думаю, убить могут!» — однако вижу, что товарищ мой кипятится, ну, и я как будто почувствовал угрызение совести.

— Идет,— говорю,— едем!

Ну-с, только едем мы с Легкомысленным, а в Неаполе между тем нас предупредили, что разбойники всего чаще появляются под видом мирных пастухов, а потом уже оказываются разбойниками. Хорошо. Взяли мы с собой запас frutti di mare и una fiasca di vino, едем в коляске и калякаем.

— А знаешь ли,— говорит Легкомысленный,— я понимаю поступок гимназиста Полозова!

— Что ж тут понимать-то?

— Нет, как хочешь, а нанять тройку и без всякой причины убить ямщика — тут есть своего рода дикая поэзия! я за себя не ручаюсь... может быть, и я сделал бы то же самое!

— Наплевать мне на твою поэзию, а ты бы вот об чем подумал: Абруццские горы близко, страшные-то разговоры оставить бы надо!

— Помилуй! — говорит.— Да я затем и веду страшные

[1] креветок, устриц и т. п.
[2] фляжку вина.

разговоры, чтоб падший дух в себе подкрепить! Но знаешь, что иногда приходит мне на мысль? — прибавил он печально,— что в этих горах, в виду этой суровой природы, мне суждено испустить многомятежный мой дух!

Ладно. Между этими разговорами приезжаем на станцию. «Тут,— говорят нам,— коляску оставить нужно, а придется вам ехать на ослах!» Что ж, на ослах так на ослах! — сели, поехали.

Отъехали мы верст десять — и вдруг гроза. Ветер; снег откуда-то взялся; небо черное, воздух черный и молнии, совсем не такие, как у нас, а толстые-претолстые. Мы к проводникам: «Долго ли, мол, этак будет?» — не понимают. А сами между тем по-своему что-то лопочут да посвистывают.

— Молись! — кричит мне Легкомысленный.

И вдруг, при этом его слове, показался в стороне огонек. Смотрим — хижина, и на пороге крыльца бедные пастухи с факелами в руках.

— Помнишь, что̀ нам в Неаполе о пастухах говорили? — шепнул мне на ухо Легкомысленный.

Признаюсь откровенно, в эту минуту я именно только об этом и помнил. Но делать было нечего: пришлось сойти с ослов и воспользоваться гостеприимством в разбойничьем приюте. Первое, что поразило нас при входе в хижину,— это чистота, почти запустелость, царствовавшая в ней. Ясное дело, что хозяева, имея постоянный промысел на большой дороге, не нуждались в частом посещении этого приюта. Затем, на стенах было развешано несколько ружей, которые тоже не предвещали ничего доброго.

— Видишь? — спросил я шепотом Легкомысленного.

Но он, в ответ, только стучал зубами.

Не успели мы снять с себя верхнее платье и расположиться, как нам принесли овечьего сыру, козьего молока и горячих лепешек. Но таких вкусных лепешек, милая Марья Потапьевна, я ни прежде, ни после — никогда не едал! А шельмы пастухи прислуживают нам и между тем всё что-то по-своему лопочут.

Поели, надо ложиться спать. Я запер дверь на крючок и, по рассеянности, совершенно машинально потушил свечку. Представьте себе мой ужас! — ни у меня, ни у Легкомысленного ни единой спички! Очутиться среди непроглядной тьмы и при этом слышать, как товарищ, без малейшего перерыва, стучит зубами! Согласитесь, что такое положение вовсе не благоприятно для «покойного сна»...

Надо вам сказать, милая Марья Потапьевна, что никто никогда в целом мире не умел так стучать зубами, как стучал

адвокат Легкомысленный. Слушая его, я иногда переносился мыслью в Испанию и начинал верить в существование кастаньет. Во всяком случае, этот стук до того раздражил мои возбужденные нервы, что я, несмотря на все страдания, не мог ни на минуту уснуть.

В полночь мы совершенно явственно услышали шорох...

— Слышишь? — полушепотом спросил меня Легкомысленный, перестав стучать зубами.

— Слышу,— ответил я.

— Я полагаю, что теперь самое время выстрелить из револьвера!

— А я так думаю, что покуда мы с тобой разговариваем, разбойники давно уж догадались и спрятались. Будем же молчать и ожидать.

И действительно: едва мы умолкли, как шорох прекратился.

Через полчаса он, однако ж, возобновился с новою силой.

— Слышишь? — вновь спросил меня Легкомысленный.

— Стреляй! — отвечал я решительно.

— Но я боюсь стрелять!

— И все-таки стреляй, потому что ты адвокат. В случае чего, ты можешь целый роман выдумать, сказать, например, что на тебя напала толпа разбойников и ты находился в состоянии самозащиты; а я сказать этого не могу, потому что лгать не привык.

Не успел я высказать всего этого, как раздался выстрел. И в то же время два вопля поразили мой слух: один раздирающий, похожий на визг, другой — в котором я узнал искаженный голос моего друга.

— Легкомысленный! ты убит или ты убил? — воскликнул я, пораженный ужасом.

Но прежде, нежели я получил ответ, снаружи послышались голоса. Проводники, пастухи — все это всполошилось и стучалось к нам в дверь. Разумеется, я уперся и не отпирал, но дюжие молодцы в одну минуту высадили дверь, и без того чуть державшуюся на ржавых петлях. И что же представилось нашим взорам при свете факелов?! Во-первых, на полу простерта была простреленная насквозь кошка, и, во-вторых, на лавке лежал в глубоком обмороке мой друг. Разумеется, мы прежде всего употребили энергические усилия, чтоб возвратить Легкомысленного к сознанию, а остальное время ночи посвятили разъяснению недоразумений. Оказалось, что наши хозяева совсем не разбойники, а действительно добродушные пастухи, которые на другой день опять накормили нас сыром и лепешками и даже напутствовали своими благословениями.

На этот раз Легкомысленный спасся. Но предчувствие не обмануло его. Не успели мы сделать еще двух переходов, как на него напали три голодные зайца и в наших глазах растерзали на клочки! Бедный друг! с какою грустью он предсказывал себе смерть в этих негостеприимных горах! И как он хотел жить!

Хотите верьте, хотите не верьте этой истории, милая Марья Потапьевна, но вы видите пред собою не только очевидца, но и участника ее.

Конец.

Я кончил, но, к удивлению, история моя не произвела никакого эффекта. Очевидно, я адресовался с нею не туда, куда следует. «Калегварды» переглядывались. Марья Потапьевна как-то вяло проговорила:

— Я думала, что вы смешное что-нибудь расскажете, а вы, напротив, печальное...

А Осип Иваныч сказал:

— Слышал я что-то; один купец у нас сказывал, что с ним под Корчевой на постоялом такое же дело приключилось...

Затем все вдруг зевнули.

— А что, господа «калегварды»! в столовой закуска-то зачем же нибудь да поставлена! Ходим! — провозгласил Осип Иваныч.

Действительно, это был самый лучший и, по-видимому, даже давно желанный исход из затруднения, в котором неожиданно очутилась веселая компания. Оружие загремело, стулья задвигались, и мы все, вслед за поднявшеюся Марьей Потапьевной, направились в столовую.

В столовой всем стало как-то поваднее. «Калегварды» выпили по две рюмки водки и затем, по мере закусывания, поглощали соответствующее количество хересу и других напитков. Разговор сделался шумным; предметом его служила Жюдик. Некоторые хвалили; один «калегвард» даже стал в позу и спел «la Chatouilleuse» [1]. Другие, напротив того, порицали, находя, что Жюдик слишком добродетельна и что, например, Шнейдерша...

— Черт ли мне в ее добродетели! — восклицал один из порицателей,— если я на добродетель хочу любоваться, я, конечно, в Буфф не пойду!

— Ты не понимаешь, душа моя! — возражал один из хвалителей,— это только так кажется, что она добродетельна, а в

[1] «Недотрогу».

сущности — c'est une coquine accomplie![1] Вслушайся, например, как она поет:

Assez!
Finissez!
Monsieur! vous me faites mal![2] —

ведь она произносит это, как будто она совсем-совсем невинная, а вглядись-ка в нее поближе...

— Elle est tellement innocente
Qu'elle ne comprend presque rien![3] —

запел штатский «калегвард».

— То-то вот и есть! — подхватил панегирист Жюдик,— «qu'elle ne comprend *presque* rien!» — это очень тонко, душа моя!

— Оченно хорошо она это представляет,— подтвердила и Марья Потапьевна.

— Хорошо-то хорошо,— подался порицатель,— а все-таки... Помните, Шнейдер в «Dites-lui»[4] вот это... масло! Нет, воля твоя! мнє в «Буфф» добродетели не нужно! Добродетель — я ее уважаю, это опора, это, так сказать, основание... je n'ai rien à dire contra cela![5] Но в «Буфф»...

— А я так, право, дивлюсь на вас, господа «калегварды»! — по своему обыкновению, несколько грубо прервал эти споры Осип Иваныч,— что вы за скус в этих Жюдиках находите! Смотрел я на нее намеднись: вертит хвостом ловко — это так! А настоящего фундаменту, чтоб, значит, во всех статьях состоятельность чувствовалась — ничего такого у нее нет! Да и не может его быть у француженки!

— Ха-ха! «фундамент»! délicieux![6] про какой же это «фундамент» вы изволите говорить, Осип Иваныч? — подстрекнул старика один из «калегвардов».

— А про такой, чтобы и поясница, и бедра — все чтобы в настоящем виде было! Ты француженке-то не верь: она перед тобой бедрами шевелит — ан там одне юпки. Вот как наша русская, которая ежели утробистая, так это точно! Как почнет в хороводе бедрами вздрагивать — инда все нутро у тебя перевернет!

— А вы таки, Осип Иваныч, любитель!

— В стары годы охоч был. А впрочем, скажу прямо: и мо-

[1] она настоящая плутовка.
[2] Довольно! Оставьте! Мне больно, сударь!
[3] Она так невинна, что почти ничего не понимает!
[4] «Скажите ему».
[5] мне нечего возразить!
[6] восхитительно!

лод был — никогда этих соусов да труфелей не любил. По-моему, коли-ежели всё как следует, налицо, так труфель тут только препятствует.

— Однако вы тоже, папаша! только молодым предики читаете, а сами ишь ты какой разговор завели! — укорила Марья Потапьевна.

— Я, сударыня, настоящий разговор веду. Я натуральные виды люблю, которые, значит, от бога так созданы. А что создано, то все на потребу, и никакой в том гнусности или разврату нет, кроме того, что говорить об том приятно. Вот им, «калегвардам», натуральный вид противен — это точно. Для них главное дело, чтобы выверт был, да погнуснее чтобы... Настоящего бы ничего, а только бы подлость одна!

— Ну, господа, беда! Теперь нам всем одно от Осипа Иваныча решение — в молчанку играть! — воскликнул один из «калегвардов».

— Нет, я ничего! По мне что! пожалуй, хоть до завтрева языком мели! Я вот только насчет срамословия: не то, говорю, срамословие, которое от избытка естества, а то, которое от мечтания. Так ли я, сударь, говорю? — обратился Осип Иваныч ко мне.

— Да как вам сказать! Я думаю, что вообще, и «от избытка естества», и «от мечтания», материя эта сама по себе так скудна, что если с утра до вечера об ней говорить, то непременно, в конце концов, должно почувствоваться утомление.

— Вот об этом самом я и говорю. Естества, говорю, держись, потому естество - - оно от бога, и предел ему от бога положен. А мечтанию этому — конца-краю ему нет. Дал ты ему волю однажды — оно ежеминутно тебе пакость за пакостью представлять будет!

Покуда мы таким образом морализировали, «калегварды» втихомолку вели свой особливый разговор; слышалось шушуканье и тихое, сдержанное хихиканье; казалось, что вот-вот сама Марья Потапьевна сейчас запоет:

Assez!
Finissez!
Monsieur! vous me faites mal!

Вообще старики нерасчетливо поступают, смешиваясь с молодыми. Увы! как они ни стараются подделаться под молодой тон, а все-таки, под конец, на мораль съедут. Вот я, например,— ну, зачем я это несчастное «Происшествие в Абруццких горах» рассказал? То ли бы дело, если б я провел параллель между Шнейдершей и Жюдик! провел бы весело, умно, с самым тонким запахом милой безделицы! Как бы я всех оживил! Как бы всё это разом встрепенулось, запело, загоготало!

Словом сказать, я почувствовал себя лишним и потому, улучив первую удобную минуту, взял шляпу и стал раскланиваться.

— Вы лучше вечерком к нам зайдите,— любезно пригласил меня Осип Иваныч,— по пятницам у нас хорошие люди собираются. Может быть, в стуколку сыграете, а не то, так Иван Иваныч и по маленькой партию составит.

Несмотря на богатство обстановки, которое я сейчас видел, впечатление, вынесенное мною, было очень неприятно. Мне было жаль прежнего Дерунова в старозаветном синем сюртуке, желающего «худым платьем» вселить в немце-негоцианте уверенность в своей «обстоятельности», пробующего на язык сало, дающего извозчику сначала двугривенный и потом постепенно съезжающего на гривенник и т. д. Несмотря на всю несовместность подобных поступков с миллионным состоянием, в личности Осипа Иваныча не было ничего такого, что бы сразу претило. Посторонний человек редко проникает глубоко, еще реже задается вопросом, каким образом из ничего полагается основание миллионам и на что может быть способен человек, который создал себе как бы ремесло из выжимания пятаков и гривенников. Ему видится в Дерунове какая-то искренность и простота, которые делают отношения к нему до крайности легкими. Осип Иваныч мог прямо смотреть в глаза своему собеседнику, рассказывая о гривенниках, пятаках, о колупании сала и о пользе «худого платья» в коммерческом деле. Он был в этом случае только юмористом, добродушно подсмеивающимся над самим собой и в то же время снисходительно выдерживающим и чужую шутку. Другое дело, если б он рассказал самую подноготную выжимательного процесса; но ведь и то сказать: еще вопрос, понимал ли он сам, что тут существует какая-то подноготная и что она может быть подвергаема нравственной оценке.

По крайней мере, что касается до меня, то хотя я и понимал довольно отчетливо, что Дерунов своего рода вампир, но наружное его добродушие всегда как-то подкупало меня. А еще более подкупали его практический ум и его бывалость. В первом смысле, никто не мог подать более делового совета, как в данном случае поступить (разумеется, можно было следовать или не следовать этому совету — это уже зависело от большей или меньшей нравственной брезгливости,— но нельзя было не сознавать, что при известных условиях это именно тот самый совет, который наиболее выгоден); во втором смысле, никто не знал столько «Приключений в Абруццских горах» и никто не

умел рассказать их так занятно. Даже явно неправдоподобные рассказы его о чудодейственной силе скапливаемых гривенников и пятаков не казались особенно неприятными, потому что в самой манере рассказывания уже слышалось его собственное ироническое отношение к предмету рассказов. Видно было, что при этом он имел в виду одну цель: так называемое «заговаривание зубов», но, как человек умный, он и тут различал людей и знал, кому можно «заговаривать зубы» наголо́ и кому с тонким оттенком юмора, придающего речи приятный полузагадочный характер.

Теперь, с исчезновением старозаветной обстановки, исчезла и прежняя загадочность; выжимание гроша втихомолку сменилось наглым вожделением грабежа, и хотя старинный юмор по временам еще сказывается, но имеет уже характер случайный, искусственный. Очевидно, что Дерунов уж оставил всякую оглядку, что он не будет впредь ни колоколов лить, ни пудовых свечей к образам ставить, что он совсем бросил мысль о гривенниках и пятаках и задумал грабить наголо́ и в более приличной форме. Все мелкие виды грабежа, производимые над живым материалом и потому сопровождаемые протестом в форме оханья и криков, он предоставляет сыну Николашеньке и приказчикам, сам же на будущее время исключительно займется грабежом «отвлеченным», не сопряженным с оханьями и криками, но дающим в несколько часов рубль на рубль. «И голова у тебя слободна, и совесть чиста — потому, «разговоров нет!» — так, я уверен, рассуждает он в настоящее время. Генерал, который нарочно приезжал в К., чтоб доказать Осипу Иванычу, что в его рубле даже надобности никакой нет, что он нужен только для прилику, для видимости, а что два других рубля на этот мнимый рубль придут сами собой,— успел в этом больше, чем надо. Дерунов вдруг утратил присущее всякому русскому кулаку представление о существовании Сибири, или, лучше сказать, он и теперь еще помнит об ней, но знает наверное, что Сибирь существует не для него, а для «других-прочих».

И вот, хотя отвлеченный грабеж, по-видимому, гораздо меньше режет глаза и слух, нежели грабеж, производимый в форме операции над живым материалом, но глаза Осипа Иваныча почему-то уже не смотрят так добродушно-ясно, как сматривали во время о́но, когда он в «худой одёже» за гривенник доезжал до биржи; напротив того, он старается их скосить вбок, особливо при встрече с старым знакомым. Он как бы чувствует, что его уже не защищает больше ни «глазок-смотрок», ни «колупанье пальцем», ни та бесконечная сутолока, которой он с утра до вечера, в качестве истого хозяина-приоб-

ретателя, предавался и которая оправдывала его в его собственном мнении, а пожалуй, и в мнении других. Теперь он оголен, он ходит праздно с утра до вечера и только соображает, в какой степени выгодна новая финансовая пакость, которую предложил ему «генерал». По исстари установившемуся в нем самом понятию, все это никоим образом не осуществляет представления об «деле», как об чем-то, сопряженном с трудом. Он вполне сознает, что тут нет и тени «труда», а есть только ничем не прикрытое ёрничество, сопровождаемое наглым бросанием денег и бражничаньем без конца.

Самые отношения его к Марье Потапьевне утратили прежнюю загадочность. Нагота их разом всплыла наружу и, для своего прикрытия, потребовала такой обстановки, которая сообщает этим отношениям характер еще большей пошлости. В обществе «сквернословов» Осип Иваныч сам незаметно сделался сквернословом, и хотя еще держится в этом отношении на реальной почве, но кто же может поручиться, что дальнейшая практика не сведет и его, в ближайшем будущем, на ту почву мечтания, о которой он покуда отзывается с негодованием. Благо в жизнь вошел элемент срамословия, а что градации его будут пройдены все до конца — это неминуемо. И тогда — Марье Потапьевне мат: Осип Иваныч войдет во вкус и не станет смотреть, «утробиста» ли женщина или не «утробиста», а будет подмечать только, как она «виляет хвостом». И останется он постоянным жителем города С.-Петербурга, и наймет себе девицу Сузетту, а Марью Потапьевну ушлет в К., в жертву издевкам Анны Ивановны и семьи Николая Осиповича...

Тем не менее в одну из пятниц я отправился в Европейскую гостиницу, отправился от скуки, сам не сознавая зачем. Было довольно поздно, когда я пришел. В столовой стоял раздвинутый стол, уставленный фруктами, конфектами и крюшонами с шампанским; в кабинете у Осипа Иваныча, вокруг трех соединенных ломберных столов, сидело человек десять, которые играли в стуколку. Было страшно накурено; там и сям около играющих виднелись стаканы с шампанским. Среди плавающих облаков дыма я заметил несколько физиономий, несомненно принадлежащих тузам финансового мира,— физиономий, по носам которых можно было безошибочно заключить о восточном их происхождении. Несколько перстней с крупными бриллиантами блеснуло мне в глаза. Тут же сидел и «генерал», человек очень угрюмого вида, когда-то бывший полководец, совершивший знаменитую переправу через реку Вьюлку[1] и

[1] Тверской губернии, Калязинского уезда. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

победивший мятежных семендяевцев [1], но теперь, за победой и одолением, оставшийся за штатом и нашедший приют около концессионеров. Тишина царствовала невозмутимая, прерываемая только условным стуканьем пальцев и хлясканием карт. Один Осип Иваныч изредка балагурил, немилосердно мусля при этом карты. Посреди стола лежала изрядная куча скомканных бумажек.

Мое появление взбудоражило всю компанию. Осип Иваныч выразил как бы недоумение, увидев меня; когда же он назвал мою фамилию, то такое же недоумение сказалось и на других лицах.

— С нами, что ли, в стуколку играть сядете? — тем не менее любезно обратился ко мне хозяин, делая вид, что очищает место подле себя.

— Нет, я уж к Марье Потапьевне...

— Ну, к Марье Потапьевне так к Марье Потапьевне! А у ней соскучитесь, так с Иваном Иванычем займетесь. Иван Иваныч! вот, братец, гость тебе! Займи! да смотри, чтоб не соскучился! Да чаю им, да по питейной части чтоб неустойки не было! Милости просим, сударь!

Иван Иваныч Зачатиевский, куда-то исчезавший в минуту моего прихода, словно из земли вырос на зов своего патрона и стоял уже сзади меня, готовый по первому манию увлечь меня хоть в преисподнюю.

— Пожалуйте-с! Марья Потапьевна будут очень рады-с! — говорил Иван Иваныч, уводя меня под руку из кабинета.

— Помещик из наших местов... Еще родителя ихнего знавал...— объяснял, следом за мной, Дерунов, по-видимому, все еще недоумевающим игрокам и, сказав это, намуслил карты и стукнул.

В гостиной, вокруг Марьи Потапьевны, тоже собралось человек около десяти, в числе которых был даже один дипломат, сухой, длинный, желтый, со звездой на груди. В ту минуту, когда я вошел, дипломат объяснял Марье Потапьевне происхождение, значение и цель брюссельских конференций.

— Представьте себе, chère [2] Марья Потапьевна, что одна из воюющих сторон вошла в неприятельскую землю,— однозвучно цедил он сквозь зубы, отчего его речь была похожа на гуденье,— что́ мы видим теперь в подобных случаях? А то, что местное население старается всячески повредить победоносному врагу, устроивает ему измеиннические засады, бежит в

[1] Торговое село Семендяево, там же. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

[2] дорогая.

леса, заранее опустошая и предавая огню все, что стоит на его пути, предательски убивает солдат и офицеров, словом сказать, совершает все, что дикость и варварство могут внушить ему... тогда как теперь...

Мой приход помешал дальнейшему развитию объяснений. Но и в гостиной Марьи Потапьевны я был не более счастлив, чем в кабинете Осипа Иваныча. Она словно забыла мое лицо и одно мгновение как бы колебалась; потом, однако ж, вспомнила и подала мне руку, несколько кисло улыбнувшись. «Калегварды», которых я уже встретил во время моего первого утреннего визита, приняли меня радушнее. Казалось, им надоел дипломат (он, наверное, надоел и Марье Потапьевне), и они надеялись, что мой приход даст беседе новое направление. Многие зевали, и ежели не уходили, то только благодаря крюшонам, стоявшим в столовой, и ожидаемой перспективе ужина. Что касается до дипломата, то он взглянул на меня с недоумением, почти неприязненно.

— Помещики из наших местов,— как бы оправдывалась Марья Потапьевна, называя меня по фамилии.

— Вы, кажется, писатель? — спросил дипломат, сопровождая этот вопрос каким-то невыразимо загадочным взглядом, в котором в одинаковой степени смешались и брезгливость, и смутное опасение быть угаданным, и желание подольститься, показать, что и мы, дескать, не чужды...

Я поклонился, думая в то же время (эта мысль преследует меня везде и всегда): «А ну, как последует назначение... ведь бывали же примеры!»

— Они по смешной части! — объяснила Марья Потапьевна.

— Ah! Ah! «по смешной части»! joli [1]. Именно, именно по «смешной части»! Faites-nous rire, monsieur! [2] Мы так бедны смехом, что нужно, чтобы кто-нибудь расправлял наши морщины.

Он благосклонно подал мне руку и затем обратился к прерванному разговору и окончательно разъяснил Марье Потапьевне пользу брюссельских конференций.

Исполнив это, он любезно обратился к «калегвардам»:

— Ну-с, господа, как идут дела с мадам Жюдик?

— Да что, барон! Нельзя сказать, чтобы очень... добродетельна чересчур! — отозвался тот самый «калегвард», который и в первый визит мой заявил себя противником Жюдик.

— Ну, нет-с; я вам скажу, это женщина... это, как по-испански говорится, salado... salada...[3] Так, кажется?

[1] прекрасно
[2] Посмешите нас, сударь!
[3] пикантная.

— Так-то так, барон, но к чему эта строгость... ce puritanisme, enfin! [1]

— Не знаю, не заметил... а по моему мнению, бывает воздержность, которая гораздо больше говорит, нежели самая недвусмысленная жестикуляция... Впрочем, вы, молодежь, лучшие ценители в этом деле, нежели мы, старики. Вам и книги в руки.

— Что касается до меня, то я совершенно вашего мнения, барон! — вступился «калегвард», приверженец Жюдик,— я говорю: жест актрисы никогда не должен давать всё сразу; он должен оставлять желать, должен возбуждать воображение, открывать перед ним перспективы... Schneider! Что такое Schneider? — это несколько усовершенствованная Alphonsine — и ничего больше! Она сразу дает всё, она не оставляет моему чувству никакого повода для самодеятельности... Je vous demande un peu, si c'est de l'art! [2]

— Так-с, так-с, совершенно с вами согласен... Vous avez saisi mon idée! [3] А впрочем, вы, кажется, и из корпуса вышли первым, если не ошибаюсь...

— Точно так, барон.

— Н-да... это так... Жюдик... Salado, salada... Ну-с, chère Марья Потапьевна, я вас должен оставить! — произнес дипломат, с достоинством взвиваясь во весь рост и взглядывая на часы,— одиннадцать! А меня ждет еще целый ворох депеш! Пойти на минуту к почтеннейшему Осипу Иванычу — и затем домой!

— А я думала, что вы с нами отужинаете, барон?

— Нет, chère Марья Потапьевна, я в этом отношении строго следую предписаниям гигиены: стакан воды на ночь — и ничего больше! — И, подав Марье Потапьевне руку, а прочим сделав общий поклон, он вышел из гостиной в сопровождении Ивана Иваныча, который, выпятив круглый животик и грациозно виляя им, последовал за ним. Пользуясь передвижением, которое произвело удаление дипломата, поспешил и я ускользнуть в столовую.

— Ну, теперь я вас не выпущу! — шепнул мне по дороге Иван Иваныч,— вот дайте только проводить генерала.

Дипломат проследовал в кабинет и благосклонно присел около Осипа Иваныча, который в эту самую минуту загреб целую уйму денег.

— Ну-с, господа, как поигрываете? — спросил дипломат.

[1] этот пуританизм, в конце концов!
[2] Спрашивается, искусство ли это!
[3] Вы уловили мою мысль!

— Да вот его превосходительство побеждает,— шутил Осип Иваныч, указывая на бывшего полководца.

— Да? непобедим, как и везде! и на поле сражения, и на зеленом поле! А я с вами, генерал, когда-нибудь намерен серьезно поспорить! Переправа через Вьюлку — это, бесспорно, одно из славнейших дел новейшей военной истории, но ошибочка с вашей стороны таки была!

— Толкуй больной с подлекарем! — проворчал себе под нос полководец.

— Нечего, ваше превосходительство, сердиться,— с своей стороны подшучивал Осип Иваныч,— их превосходительство это правильно заметить изволили! Была ошибочка! действительно ошибочка была!

— Я, по крайней мере, позволяю себе думать, что если бы вы в то время взяли направление чуть-чуть влево, то талдомцы [1] не успели бы прийти на помощь мятежным семендяевцам, и вы не были бы вынуждены пробивать кровавый путь, чтоб достигнуть соединения с генералом Голотыловым. Сверх того, вы успели бы обойти Никитские болота и не потопили бы в них своей артиллерии!

— Да что говорить, ваше превосходительство,— подзадоривал Осип Иваныч,— я сам тамошний житель и верно это знаю. Сделай теперича генерал направление влево, к тому, значит, месту, где и без того готовый мост через Вьюлку выстроен, первое дело — не нужно бы совсем переправы делать, второе дело — кровопролития не было бы, а третье дело — артиллерия осталась бы цела!

— Ну, вот видите! я хоть и не тактик, а сейчас заметил... Впрочем, господа, победителя не судят! — решил дипломат и с этим словом окончательно встал, чтобы удалиться.

Осип Иваныч кинулся было за ним, но дипломат благосклонным жестом руки усадил его на место. Это не помешало, однако, Дерунову вновь встать и постоять в дверях кабинета, следя взором за Иваном Иванычем, провожавшим дорогого гостя.

— Ну, слава богу, проводили! — сказал мне Зачатиевский, возвращаясь из передней,— теперь вы — наш гость! садитесь-ка сюда, поближе к источнику! — прибавил он, усаживая меня к столу, уставленному фруктами и питиями.

Я не раз бывал у Зачатиевского во время наездов Дерунова в Петербург, но знал его вообще довольно мало. Помню, что он называл Осипа Иваныча благодетелем, но я никогда

[1] Талдом — тоже торговое село в Калязинском уезде. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина)*

особенно не верил искренности его излияний. В сущности, благодеяния, изливаемые семейством Деруновых на Зачатиевского, были очень скудны и едва ли вознаграждали последнего за хлопоты и стеснения. Несмотря на неприхотливость Осипа Иваныча, правила гостеприимства требовали и успокоить его, то есть отдать в его распоряжение лучший угол, и приготовить лишнее блюдо к обеду. Все это делалось почти бескорыстно, потому что Дерунов отбояривался домашнею провизией, присылаемой из К., и тем, что крестил детей у Зачатиевского, причем давал на зубок выигрышный билет с пожеланием двухсот тысяч. Но таково уже магическое действие богатства: Зачатиевский, быть может, и ругал втихомолку Дерунова, но никогда не позволил себе отказать ему в какой-либо услуге, хотя бы для этого он вынужден был бегать несколько дней сряду высуня язык.

Впрочем, сама природа, казалось, создала Зачатиевского для услуги. Он был среднего роста и весь круглый. Круглый живот, круглая спина, округлые ляжки, круглые, как сосиски, пальцы — все это с первого раза делало впечатление, что вот-вот этот человек сейчас засеменит ногами и побежит, куда приказано. Круглое, одутловатое и несколько суженное кверху лицо не свидетельствовало о значительных умственных способностях, но постоянно выражало возбужденность и беззаветную готовность что-то выслушать и сейчас же исполнить. И на лице у него все было кругло: полные щеки, нос картофелиной, губы сердечком, маленький лоб горбиком, глаза кругленькие и светящиеся, словно можжевеловые ягодки у хлебного жаворонка, и поверх их круглые очки, которые он беспрестанно снимал и вытирал. Даже лысина на его голове имела вид пятачка, получившего постепенно значительное распространение. Проворен он был изумительно, и я думаю, что в этом случае ему в весьма большой степени помогала бочковатость его существа. Он устремлялся вперед и при этом учтиво вилял всем телом, что особенно приятно поражало начальствующих лиц.

Несмотря, однако ж, на услужливость, действительной доброты в нем не было. Собственно говоря, он был услужлив помимо своей воли, потому только, что тело его очень удобно для этого было приспособлено. Но, оказывая услуги, вскакивая и устремляясь, словно на пружинах, он внутренно роптал и завидовал. В этой зависти, впрочем, скорее сказывалось завидующее пономарское естество, которое всю жизнь как будто куда-то человека подманивает и всю жизнь оставляет его на бобах. На деле он довольствовался очень малым, но глазами захапал бы, кажется, целый мир. Вообще это был очень своеоб-

разный малый, в котором полное отсутствие воли постоянно препятствовало установлению сознательных отношений к людям.

— Так вот мы здесь, у источника, и побеседуем! — сказал он, садясь возле меня,— нам с вами *там* делать нечего, а вот около крюшончиков... Постойте! я сейчас велю новый принести... с земляникой!

— Да нужно ли, Иван Иваныч?

— Что вы! что вы! да Осип Иваныч обидится! Не те уж мы нынче, что прежде были! — прибавил он, уже стоя, мне на ухо.

И прежде нежели я успел остановить его, он быстрыми шагами юркнул в переднюю.

— А не то, может быть, вы закусить бы предпочли? — продолжал он, возвратившись,— и закуска в передней совсем готовая стоит. У нас все так устроено, чтоб по первому манию... Угодно?

Но в эту минуту лакей уже внес новый крюшон, и вопрос насчет путешествия в переднюю для закусыванья остался открытым.

— Да, не те *мы* нынче! — возобновил он прерванную материю, нервно передвигая на носу очки,— гривеннички-то да пятачки оставили, а желаем разом...

— Да, большую перемену и я в Осипе Иваныче замечаю.

— В каретах мы нынче ездим — да-с! за карету десять рубликов в сутки-с; за нумер пятьдесят рубликов в сутки-с; прислуге, чтобы проворнее была, три рублика в сутки; да обеды, да ужины, да закуски-с; целый день у нас труба нетолченая-с; одни «калегварды» что за сутки слопают-с; греки, армяне-с; опять генерал-с; вот хоть бы сегодня вечерок-с... одного шампанского сколько вылакают!

При этом перечислении меня так и подмывало спросить: «Ну, а вы? что вы получаете?» Само собою разумеется, что я, однако ж, воздержался от этого вопроса.

— Здесь в один вечер тысячи летят,— продолжал, как бы угадывая мою мысль, Зачатиевский,— а старому приятелю, можно сказать, слуге — грибков да маслица-с. А беготни сколько! с утра до вечера словно в котле кипишь! Поверите ли, даже службой неглижировать стал.

— Вольно же вам!

— Нельзя, сударь, нрав у меня легкий,— *он* знает это и пользуется. Опять же земляк, кум, детей от купели воспринимал — надо и это во внимание взять. Ведь он, батюшка, оболтус оболтусом, порядков-то здешних не знает: ни подать, ни

принять — ну, и руководствуешь. По его, как собрались гости, он на всех готов одну селедку выставить да полштоф очищенного! Ну, а я и воздерживай. Эти крюшончики да фрукты — *кто* обо всем подумал? Я-с! А кому почет-то?

— Иван Иваныч! распорядись, братец! — раздался из кабинета голос Дерунова,— с гостем со своим занялся, а нас бросил!

Зачатиевский засеменил ногами по направлению к передней, и вслед за тем прошли в кабинет два лакея с подносами, обремененными налитыми стаканами.

— Ваше превосходительство! повелите! Новенького! — раздавалось в кабинете.

— Не велеть ли закуску подавать? — обратился ко мне Иван Иваныч, смотря на часы,— первый в половине!

— Не знаю; по-моему, спать пора.

— У нас ведь до четырех часов материя-то эта длится... Н-да-с, так вы, значит, удивлены? А уже мне-то какой сюрприз был, так и вообразить трудно! Для вас-то, бывало, он все-таки принарядится, хоть сюртучишко наденет, а ведь при мне... Верите ли,— шепнул он мне на ухо,— даже при семейных моих, при жене-с...

— Но чем же вы объясняете эту перемену?

— Да как вам сказать? первое дело, кровь на старости лет заиграла, а главное, я вам доложу, все-таки жадность.

— Он и мне что-то об концессии говорил.

— Да-с, вот этот генерал... вон он, полководец! Он первый его обрящил. Нарочно в К. ездил, чтоб залучить. Я, знаете, так полагаю, что думали они, вся эта компания, на простачка напасть, ан вышло, что сами к простачку в передел попали. Грека-то видите, что возле генерала сидит? — он собственно воротило и есть, а генерал не сам по себе, а на содержании у грека живет. Вот они и затеяли эту самую механику, думали: мужик жадный, ходко на прикормку пойдет! — Ан Осип-то Иваныч жаднее всякого жадного вышел, ходит около прикормки да посматривает: «Не трог, говорит, другие сперва потеребят, а я увижу, что на пользу, тогда уже заодно подплыву, да вместе с прикормкой всех разом и заглону!» И так этот грек его теперь ненавидит, так ненавидит!

— Ну, а Осип Иваныч что?

— Смеется — ему что̀! — Помилуйте! разве возможная вещь в торговом деле ненависть питать! Тут, сударь, именно смеяться надо, чтобы завсегда в человеке свободный дух был. Он генерала-то смешками кругом пальца обвел; сунул ему, этта, в руку пакет, с виду толстый-претолстый: как, мол? — ну, тот и смалодушествовал. А в пакете-то ассигнации всё трех-

рублевые. Таким манером он за каких-нибудь триста рублей сразу человека за собой закрепил. Объясняться генерал-то потом приезжал.

— И что же?

— Велел закуску подать — и только. Коли, говорит, от тебя, ваше превосходительство, и впредь заслуга будет, и впредь не оставлю, а теперь, говорит, закусим да в кабинет пойдем, там по душе потолкуем. Заперлись они это, пошушукали там, только на сей раз остался наш генерал уж доволен. Веселый вышел, да не успел, знаете, уйти, как следом этот самый грек является. «Купите, говорит, мои акции — одни хозяином дела останетесь!» — «А я, говорит (это наш-то), Христофор Златоустыч, признаться сказать, погорячился маленько: полчаса тому назад его превосходительству, доверенному от вас лицу, все свои акции запродал — да дешево, говорит, как!»

— Скажите! и все-таки продолжают видеться?

— И дело даже продолжают вместе делать! Только грек серьезнее стал на Осипа Иваныча смотреть. И посейчас каждый день беседуют. Грек этот, знаете, больше насчет выдумки, а наш — насчет понятия. Тот выдумает, а наш поймет. Тот пока с духом собирается, а наш, смотри, уже и дело сделал. И представьте себе, ведь во всем ему счастие такое! Вот хоть бы стуколка эта — редкий раз пройдет, чтобы он у них карманы не обчистил! Намеднись даже сам говорит мне: «Помилуй, говорит, да мне здесь дешевле, нежели в нашей уездной мурье жить, потому, сколько ни есть карманов, все они теперь мои стали!»

— Ну, это до поры до времени!

— Нет, сударь, это сущую правду он сказал: поколе он жив, все карманы его будут! А которого, он видит, ему сразу не одолеть, он и сам от него на время отойдет, да издали и поглядываст, ровно бы посторонний человек. Уже так-то вороват, так-то вороват!

Опять возглас из кабинета: «Иван Иваныч! Заснул, что ли, братец!» — и опять торопливое движение со стороны Зачатиевского.

— Первый час в исходе, закуску не прикажете ли подавать? — докладывает он Осипу Иванычу.

— А тебе, видно, спать к жене загорелось! Отпустить, что ли, его, господа честная компания! — предложил Дерунов.

— Отпустить! Отпустить!

— Ну, что с тобой делать! волоки закуску!

Иван Иваныч распорядился и опять подсел ко мне.

— Вот вы сказали давеча,— начал я,— что у Дерунова

кровь на старости лет заиграла. Я ведь и сам об этом в К. мельком слышал: неужели это правда?

— Верно-с!

— А отец протоиерей к—ский еще «приятнейшим сыном церкви» его величает!

— Будешь величать! Сторублевку-то на полу не поднимешь!

— Но Яков Осипыч, как он это терпит?

— А он с утра до вечера в тумане: помнит ли даже, что и женат-то! Нынче ему насчет вина уж не велено препятствия делать.

— Ну, а Анна Ивановна?

— А Глафирина Николая Петровича знаете?

— Так что ж?

— Ну, он самый и есть... мужчина! У нас, батюшка, нынче все дела полюбовным манером кончаются. Это прежде *он* лют был, а нынче смекнул, что без огласки да потихоньку не в пример лучше.

— А знаете ли что! Ведь я это семейство до сих пор за образец патриархальности нравов почитал. Так это у них тихо да просто... Ну, опять и медалей у него на шее сколько! Думаю: стало быть, много у этого человека добродетелей, коли начальство его отличает!

— Да вы спросите, кто медали-то ему выхлопотал! — ведь я же-с! — Вы меня спросите, что эти медали-то стоят! Может, за каждою не один месяц, высуня язык, бегал... а он с грибками да с маслицем! Конечно, я за большим не гонюсь... Слава богу! сам от царя жалованье получаю... ну, частная работишка тоже есть... Сыт, одет... А все-таки, как подумаешь: этакой аспид, а на даровщину все норовит! Да еще и притесняет! Чуть позамешкаешься — уж он и тово... голос подает: распорядись... Разве я слуга... помилуйте!

Сказавши это, он даже от меня отвернулся и столь плотно уселся в кресло, что я так и ждал: вот-вот Дерунов кликнет из кабинета, и Зачатиевский останется глух к этому кличу.

— Конечно, ежели рассудить, то и за обедом, и за ужином мне завсегда лучший кусок! — продолжал он, несколько смягчаясь,— в этом *он* мне не отказывает! — Да ведь и то сказать: отказывай, брат, или не отказывай, а я и сам возьму, что мне принадлежит! Не хотите ли,— обратился он ко мне, едва ли не с затаенным намерением показать свою власть над «кусками»,— покуда они там еще режутся, а мы предварительную! Икра, я вам скажу, какая! семга... царская!

— Понуждай, Иван Иваныч! понуждай, братец! — раздался голос Осипа Иваныча.

Но Зачатиевский на этот раз не ринулся с места и ограничился ответом: «сейчас!», потому что закуска была почти уже сервирована.

— А все *она*-с,— сказал он, вновь обращаясь к разоблачениям тайн деруновской семьи,— она сюда его и привезла. Мало ей к—ских приказчиков, захотелось на здешних «калегвардов» посмотреть!

— Однако Осип Иваныч, кажется, не ревнует?

— Хитер, сударь, он — вишь их какую ораву нагнал; ну, ей и неспособно. А впрочем, кто ж к нему в душу влезет! может, и тут у него расчет есть!

— Ну, какой же тут расчет!

— Не говорите, сударь! Такого подлеца, как этот самый Осип Иванов, днем с огнем поискать! Живого и мертвого готов ободрать. У нас в К. такую механику завел, что хоть брось торговать. Одно обидно: все видели, у всех на знати, как он на постоялом, лет тридцать тому назад, извозчиков овсом обмеривал!

— Счастье, Иван Иваныч, счастье!

— Не счастье-с, а вся причина в том, что он проезжего купца обворовал. Останавливался у него на постоялом купец, да и занемог. Туда-сюда, за попом, за лекарем, ан он и душу богу отдал. И оказалось у этого купца денег всего двадцать пять рублей, а Осип Иваныч пообождал немного, да и стал потихоньку да полегоньку, шире да глубже, да так, сударь, это дело умненько повел, что и сейчас у нас в К. никто не разберет, когда именно он разбогател.

— Иван Иваныч! батюшка! да ведь это уголовщина!

— А вы думали ка́к? вы, может быть, думали, что миллионер из беспортошника так, сам собой, и делается?

— Да, я слыхал и про такие случаи... Вот, например, был один мальчишка, спичками торговал, а потом четырехэтажный дом выстроил.

— И я от матушки-покойницы слыхивал, что она меня не родила, а под капустным листом нашла.

Говоря это, Зачатиевский нервно подергивал свои очки, и я убежден положительно, что в эту минуту он искренно, от всего сердца ненавидел Дерунова.

— Эти «столпы», я вам доложу...— начал он и вдруг осекся.

В кабинете послышалось движение отставляемых стульев. Иван Иваныч вскочил и стал в позу почтительнейшего метрдотеля, даже губы у него как-то вспухли и замаслились. С обеих сторон, и из кабинета, и из гостиной, показались процессии гостей и ринулись на закуску.

— Вот он каков! — шепнул мне на ухо Зачатиевский,— даже не хотел подождать, покуда я доложу! А осетрины-то в соку между тем нет! да и стерлядь копченая...

— Где стерлядь копченая? Что ж копченая стерлядь? — ринулся он в толпу лакеев, покуда я в передней отыскивал свое пальто.

ОТЕЦ И СЫН

На севере диком растет одиноко
На голом утесе сосна,
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим,
Как ризой, одета она.
И снится ей...

Снятся консервативные начала, благонадежные элементы, правящие сословия, английские лорды и, как неизбежное к ним в русском стиле дополнение: Сидорова коза и Макар, телят не гоняющий...

На обрывистом берегу реки Вопли стоит дворянская усадьба и дремлет. Снится ей новый с иголочки дом, стоящий на противоположном низменном берегу реки, дом, словно облупленное яичко, весь светящийся в лучах солнца, дом с обширным двором, обнесенным дощатым забором, с целым рядом хозяйственных строений по обоим бокам,— строений совсем новых, свежих, в которых помещаются: кабак, называющийся, впрочем, «белой харчевней», лавочка, скотопрогонный двор, амбар и проч.

В барской усадьбе живет старый генерал Павел Петрович Утробин; в новом домике, напротив,— хозяйствует Антошка кабатчик, Антошка прасол, Антошка закладчик, словом, Антошка — homo novus [1], выброшенный волнами современной русской цивилизации на поверхность житейского моря.

Генерал называет Антошку подлецом и христопродавцем; Антошка называет генерала «гнилою колодою». Оба избегают встреч друг с другом, оба стараются даже не думать друг об друге, и оба не могут ступить шагу, чтобы одному не бросился в глаза новый с иголочки домик «нового человека», а другому — тоже не старая, но уже несомненно потухающая усадьба «ветхого человека»...

В сумерки, когда надвигающиеся со всех сторон тени ночи уже препятствуют ясно различать предметы, генерал не утерпит и выйдет на крутой берег реки. Долгое время стоит он недвижно, уставясь глазами в противоположную сторону.

[1] новый человек.

— Ежели верить Токвилю...— начинают шептать его губы (генерал — член губернского земского собрания, в которых Токвиль, как известно, пользуется славой почти народного писателя), но мысль вдруг перескакивает через Токвиля и круто заворачивает в сторону родных представлений,— в бараний рог бы тебя, подлеца! — уже не шепчет, а гремит генерал,— туда бы тебя, христопродавца, куда Макар телят не гонял!

И в тот же таинственный час, крадучись, выходит из новенького дома Антошка, садится на берег и тоже не может свести лисьих глаз с барской усадьбы.

— Ежели теперича за̀ дом,-- шепчут его губы,— ну, хоть полторы, ну, положим, за парк с садом тысячу... а впрочем, зачем же! Может, и так, без денег, измором... так-то, старая колода!

И, намечтавшись до̀сыта, оба, не заметив друг друга, расходятся по домам...

Генеральская усадьба имеет вид очень странный, чтоб не сказать загадочный. Она представляет собой богатую одежду, усеянную множеством безобразных заплат. Дело в том, что она соединила в себе два элемента: старую усадьбу, следы которой замечаются и теперь, в виде незаровненных ям и разбросанных кирпичей и осколков бутового камня, и новую усадьбу, с обширными затеями, оставшимися, по произволению судеб, недоконченными.

Старая барская усадьба еще не так давно стояла несколько поодаль от реки, на берегу впадающего в нее оврага. Овраг этот был исстари запружен в своем устье и образовал громадный, глубокий и хорошо содержанный пруд, в водах которого отражался старинный и длинный, словно казарма, господский дом. Вправо от дома, по берегу пруда, раскинулся обширный парк, разбитый по-старинному на квадраты, засаженные внутри березами, елями и соснами, а по бокам вековыми липами, которые образовали, таким образом, длинные и темные аллеи. Сзади дома, под руками, находились службы: конный и скотный дворы, застольные, флигеля для дворовых, амбары, погреба и проч. За парком, на трех десятинах, был разведен плодовый сад с оранжереями и теплицами, с яблонями и вишеньем, с громадными ярусами гряд клубники и ягодных кустов. Напротив дома, чрез пруд, боком к барской усадьбе и лицом к Вопле, расположился крестьянский поселок, дворов около двадцати.

В то время (с небольшим лет двадцать пять тому назад) генеральский дом кипел млеком и медом. Сам генерал, Павел

Петрович Утробин, был старик лет пятидесяти, бодрый, деятельный, из себя краснощекий и тучный. Служил он некогда, лет пятнадцать сряду, губернатором и был, как тогда говорилось, хозяином своей губернии. Почтовые дороги обсадил по бокам березками, почтовые станции выстроил с иголочки, хлебные запасные магазины пополнил, недоимки взыскал, для губернского города выписал новую пожарную трубу, а для губернской типографии новый шрифт. Затем, когда все земное было им совершено, он сам, motu proprio [1], вышел в отставку с приличною пенсией (это было лет за десять до упразднения крепостного права) и поселился у себя в Воплине. Сюда он перенес ту же кипучую деятельность, которая отличала его и на губернаторском месте, а для того, чтоб не было скучно одному посреди холопов, привез с собой, в качестве секретаря, одного довольно жалконького чиновника приказа общественного призрения, Иону Чибисова, предварительно женив его на шустренькой маленькой поповне, по имени Агния.

С приездом хозяина, прадедовская, несколько запущенная усадьба ожила. Дворовые встрепенулись; генерал — летом в белом пикейном сюртучке с форменными пуговицами, зимой в коротеньком дубленом полушубке и всегда в серо-синеватых брюках с выпушкой в обтяжку и в сапогах со шпорами — с утра до вечера бродил по полям, садам и огородам; за ним по пятам, как тень, всюду следовал Иона Чибисов для принятия приказаний. Аллеи парка утрамбовали и посыпали густым слоем песка; оранжереи и плодовый сад подчистили, конный и скотный дворы обрядили так, что взойти любо. Генерал был строг, но справедлив: любя наказывал, но и добрым словом не обходил. Румяный, плотный, довольный собой, он бодро ходил по усадьбе, позвякивая шпорами, играя селезенкою и зорким старческим глазом подмечая малейшую неисправность. Шустрая поповна Агнушка, кругленькая, пухленькая, находилась при ключах, и генерал только языком прищелкивал, глядя, как она, словно комочек, с утра до вечера перекатывается от погреба к амбару, от амбара к молочной и т. д.

В скором времени Воплино сделалось почти ежедневным сборным пунктом для всех окрестных помещиков. Генерал водил их по усадьбе, хвастался вводимыми порядками, кормил, предоставлял в их распоряжение ломберные столы и не отказывал в перинах для отдохновения. Вследствие этого любовь и доверие дворянства к гостеприимному воплинскому хозяину росли не по дням, а по часам, и не раз шла даже речь о том, чтоб почтить Утробина крайним знаком дворянского доверия,

[1] добровольно.

то есть выбором в предводители дворянства, но генерал, еще полный воспоминаний о недавнем славном губернаторстве, сам постоянно отклонял от себя эту честь.

Одним словом, все шло как нельзя лучше желать, и ни о каких признаках, предвещающих пришествие Антошки homo novus, не было и в помине. Но в 1856 году смутил генерала бес. Приехал к нему в побывку сын, новоиспеченный двадцатилетний титулярный советник, молодой человек, с честью прошедший курс наук в самых лучших танцклассах того времени и основательно изучивший всего Поль де Кока. Петенька Утробин на чем свет стоит раскостил папашину усадьбу. И виду нет, и скотным двором воняет, и дом на казарму похож, и река далеко. Попал однажды Петенька на крестьянский поселок — и восхитился. Место высокое, почти утес; у подошвы течет глубокая Вопля, которая тут же неподалеку, приняв в себя овраг, на котором стояла старая усадьба, делает крутой поворот направо. Через реку — вид на безграничное пестрое пространство луговой поймы и деревень. По низменному берегу вьется почтовая дорога, упирающаяся прямо в загиб Вопли, через которую в этом месте ходит на канате дощаник. На мыску, образуемом речным изгибом (там, где ныне выстроил почти целый поселок Антошка-подлец), чернеет постоялый двор, отдаваемый генералом в аренду богобоязненному и смирному мужику Калине Силантьеву, из своих же крепостных. Около постоялого двора и дощаника всегдашняя живописная суета: отпряженные лошади, возы с завороченными вверх оглоблями, мужики, изредка почтовые тройки и большие экипажи, кареты, коляски. Вот *где* надобно быть усадьбе, а *не там,* разом решил Петенька. Вот тут на берегу, лицом к реке, следует выстроить новый дом, с башенками, балконами, террасами, и весь его утопить в зелени кустарников и деревьев; обрывистый берег срыть и между домом и рекой устроить покатость, которую убрать газоном, а по газону распланировать цветник; сзади дома, параллельно с прудом, развести изящный молодой парк, соединив его красивым мостом через пруд с старым парком. Крестьян, разумеется, выселить за старый парк и плодовый сад. Таков был план, который начертил Петенька и из которого должен был выйти настоящий château [1], а не какая-нибудь мурья, в окна которой беспрестанно врываются гнусные запахи со скотных дворов и из застольных и в которой не мыслимо никакое другое развлечение, кроме мрачного истребления ерофеича.

К удивлению, преобразовательные затеи Петеньки не встре-

[1] за́мок.

тили почти никакого отпора со стороны генерала. Во-первых, Петенька был единственный сын и притом так отлично кончил курс наук и стоял на такой прекрасной дороге, что старик отец не мог без сердечной тревоги видеть, как это дорогое его сердцу чадо фыркает, бродя по лабиринту о́тчего хозяйства и нигде не находя удовлетворения своей потребности изящного. Во-вторых, генерал был так долго «хозяином губернии», что всякая ломка и перетасовка ему самому была по душе. Сообразив составленный Петенькой план, он понял, что тут предстоит целое море построек, переносок, посадок, присадок,— и селезенка пуще, чем когда-либо, заиграла в нем.

Одно только обстоятельство заставляло генерала задуматься: в то время уже сильно начали ходить слухи об освобождении крестьян. Но Петенька, который, посещая в Петербурге танцклассы, был, как говорится, au courant de toutes les choses [1], удостоверил его, что никакого освобождения не будет, а будет «только так».

— Полно, так ли, мой друг? — допытывался старик,— в народе уж сильно поговаривать начали.

— Niaiseries, mon père! [2] — отвечал Петенька,— вы подумайте только, есть ли в этом человеческий смысл! Вот и Архипушку, стало быть, освободить!

Архипушка, деревенский дурачок, малый лет уж за пятьдесят, как нарочно шел в это время мимо господской усадьбы, подняв руки в уровень с головой, болтая рукавами своей нестрядинной рубахи, свистя и мыча. Взглянул генерал на Архипушку, подумал: в самом деле, неужели Архипушку освободят? — и решил: нет, это было бы даже не великодушно! Тем не менее, чтобы окончательно быть удостоверенным, что «зла» не будет, он, по отъезде сына в Петербург на службу, съездил в губернский город и там изложил свои сомнения губернатору и архиерею. Губернатор, человек старого закала, только улыбнулся в ответ, присовокупив, что хотя подобные слухи и распространяются врагами отечества, но что верить им могут только люди, не понимающие истинных потребностей России. Преосвященный же прямо сказал, что как в древности были господа и рабы, так и напредь сего таковые имеют остаться без изменения.

Заручившись столь вескими авторитетами, Утробин успокоенный возвратился в Воплино и при первом удобном случае приступил к преобразованиям. На его беду, весна и лето 1857 года прошли совсем тихо. Он живо перенес крестьянский посе-

[1] в курсе всех дел.
[2] Глупости, отец!

лок за плодовый сад, выстроил вчерне большой дом, с башнями и террасами, лицом к Вопле, возвел на первый раз лишь самые необходимые службы, выписал садовника-немца, вместе с ним проектировал английский сад перед домом к реке и парк позади дома, прорезал две-три дорожки, но ни к нивелировке береговой кручи, ни к посадке деревьев, долженствовавшей положить начало новому парку, приступить не успел. Как ни усердствовали крестьяне, как ни старались сельские начальники, но к концу осени окрестности будущего château представляли собою скорее картину недавнего геологического переворота, нежели что-нибудь с чем-нибудь сообразное; даже ямы, свидетельствовавшие о пребывании в этом месте крестьянских дворов и гумен, не были заровнены.

А между тем грозный час не медлил, и в конце 1857 года уже сделан был первый шаг к разрешению крестьянского вопроса.

Генерал был так озадачен, что опять поскакал в губернский город. Там уже сидел другой губернатор, из молодых ранний, но архиерей был прежний. На вопрос генерала: «Что сей сон значит?» — губернатор несколько нахмурился, ибо пространречия даже в разговоре не любил, а как сам говорил слогом докладных записок, так и от других того требовал. Впрочем, в виду преклонных лет, прежних заслуг и слишком яркой непосредственности Утробина, губернатор снизошел и процедил сквозь зубы, что хотя факт обращения к генерал-губернатору Западного края есть факт единичный, так как и положение этого края исключительное, и хотя засим виды и предположения правительства неисповедимы, но что, впрочем, идея правды и справедливости, с одной стороны, подкрепляемая идеей общественной пользы, а с другой стороны, побуждаемая и, так сказать, питаемая высшими государственными соображениями...

Генерал слушал эту рацею, выпучив глаза, и к ужасу своему — понимал.

— А я, вашество, в нынешнем году переформировку у себя затеял,— произнес он как-то машинально, словно эта идея одна и была в его голове.

— Очень рад-с! очень рад-с! — ответил губернатор,— очень рад видеть, что господа дворяне оставляют прежние рутинные пути и выказывают дух предприимчивости, этот, так сказать, нерв...

На этом месте Утробин шаркнул ножкой, откланялся и направился к архиерею.

Архиерей принял генерала с распростертыми объятиями и сейчас же велел подать закуску.

— Слышали? — спросил генерал.

— Не токмо слышал, но и возвеселился! — ответил преосвященный.— Истинно любезная для христианского сердца минута сия была.

Генерал побагровел.

— Как же так, преосвященнейший! А помните: «и в древности были господа и рабы, и напредь таковые должны остаться без изменения»? — огрызнулся он.

— Да, да, да! то-то вот все мы, бесу смущающу, умствовать дерзновение имеем! И предполагаем, и планы строим — и всё на песце. Думалось вот: должны оставаться рабы, а вдруг воспоследовало благочестивейшего государя повеление: не быть рабам! При чем же, скажи ты мне, предположения и планы-то наши остались? Истинно говорю: на песце строим!

Генерал просидел у преосвященного с четверть часа, но не проронил больше ни слова и даже не прикоснулся ни к балыку, ни к свежей икре. Казалось, он был в летаргическом сне.

Приехавши из губернского города в Воплино, Утробин двое суток сряду проспал непробудным сном. Проснувшись, он увидел на столе письмо от сына, который тоже извещал о предстоящей катастрофе и писал: «Самое лучшее теперь, милый папаша,— это переселить крестьян на неудобную землю, вроде песков: так, по крайней мере, все дальновидные люди здесь думают».

— Ну, нет, слуга покорный! надо еще об окончании своего собственного переселения подумать! — воскликнул генерал и тут же мысленно присовокупил: — А впрочем, может быть, ничего и не будет!

Но в январе 1858 года отовсюду посыпались адресы, а следующим летом уже было приступлено к выборам членов комитета об улучшении быта крестьян, и генерал был в числе двоих, избранных за К—ий уезд.

Тем не менее на глазах генерала работа по возведению новой усадьбы шла настолько успешно, что он мог уже в июле перейти в новый, хотя далеко еще не отделанный дом и сломать старый. Но в августе он должен был переселиться в губернский город, чтобы принять участие в работах комитета, и дело по устройству усадьбы замялось. Иону и Агнушку генерал взял с собой, а староста, на которого было возложено приведение в исполнение генеральских планов, на все заочные понуждения отвечал, что крестьяне к труду охладели.

В комитете между тем Утробин выказал себя либералом. Он не только говорил, но и *кричал,* что «сделать что-нибудь надобно». Впрочем, предостерегал от излишеств и от имени

большинства представил проект, который начинался словами: «но ежели» и кончался словом «однако». Над оригинальной редакцией этого проекта в то время много смеялись, не сообразив, что необычная форма вступления в беседу с читателем посредством «но ежели» была лишь порождением той страстности и убежденности, которая постоянно присутствовала при составлении проекта. Утробин просто-напросто был убежден, что все, предшествовавшее словам «но ежели», всякому слишком известно, чтоб требовалось повторять. Как прожектер, он был послан от большинства в комиссии в качестве эксперта. Это было летом. В Петербурге его, вместе с прочими экспертами, возили по праздникам гулять в Павловск, в Царское Село, в Петергоф и даже в Баблово, где показывали громадную гранитную купальню, в которой никогда никто не купался. Остальное время он проводил в нумере гостиницы Демут, каждый день все более и более убеждаясь, что его «но ежели» не выгорит. Единственным светлым воспоминанием этого периода его жизни был вечер, проведенный вместе с Агнушкой на минерашках, причем они сообща отлично надули Иону, сказав ему, чтоб он ожидал их на Смоленском кладбище.

1861 год застал генеральскую усадьбу в следующем положении: дом отстроен и обит тесом, но не выкрашен; крыша покрыта железом, но тоже не выкрашена и местами уже проржавела и дала течь. Внутри дома три комнаты оштукатурены совсем, в двух сделаны приготовления, то есть приколочена к стенам дрань, в прочих — стены стояли голые. Перед домом, где надлежало сделать нивелировку кручи, существовали следы некоторых попыток в этом смысле, в виде канав и дыр; сзади дома были прорезаны дорожки, по бокам которых посажены кленки, ясенки и липки, из которых принялась одна десятая часть, а все остальное посохло и, в виде голых прутьев, стояло на местах посадки, раздражая генеральское сердце. Из служб были перенесены только кухня и погреб, все прочее осталось на прежнем месте за прудом. Ямы, где стояли крестьянские избы и гумна, остались незаровненными и густо поросли крапивой и диким малинником. Старый парк зарос и одичал; по дорожкам начал пробиваться осинник; на месте старого дома валялись осколки кирпича и поднялась целая стена крапивы и лопухов. Оранжереи потемнели, грунтовые сараи задичали; яблони, по случаю немилостивой зимы 1861 года, почти все вымерзли, так что в плодовом саду, на месте роскошных когда-то деревев, торчали голые и корявые остовы их.

В первое время генералу было, впрочем, не до усадьбы: он наблюдал, кто из крестьян ломает перед ним шапку и кто не ломает. Собственно говоря, ломали все, без исключения; но

генерал сделался до того уже прозорлив, что в самой манере ломания усматривал очень тонкие, почти неуловимые оттенки. Затем он вел ожесточенную полемику с мировым посредником, самолично ездил к нему на разбирательство и с какою-то страстностью подвергал себя «единовременному и унизительному для него совместному сидению» с каким-нибудь Гришкой-поваром, который никак не хотел отслужить заповедные два года.

Мало-помалу, однако, страсти улеглись. Прекратилась полемика с мировым посредником, прошла пора «унизительного совместного сидения» с Гришками, Прошками и Марфушками. Но тут, как нарочно, случилась катастрофа с Антошкой-христопродавцем, о которой ниже и которая подействовала еще горчее, нежели «совместные сидения». Генерал был окончательно надломлен. Унылая сиротливость словно пологом окутала и его самого, и недавние его затеи. Дик и угрюм шумит в стороне за прудом старый парк, и рядом с ним голо и мизерно выглядит окопанное канавой пространство, где предполагалось быть новому парку. Генерал поседел, похудел и осунулся; он поселился в трех оштукатуренных комнатах своего нового дома и на все остальное, по-видимому, махнул рукой. Заложив руки назад и понурив седую голову, он бродит по этим комнатам, словно дремлет. Но по временам взор его вспыхивает и как бы магнетической силой приковывается к тому берегу Вопли, где светлеется выстроенная с иголочки усадьба Антошки-христопродавца.

Антон Валерьянов Стрелòв был мещанин соседнего уездного города, и большинство местных обывателей еще помнит, как он с утра до вечера стрелой летал по базару, исполняя поручения и приказы купцов-толстосумов. Отсюда — прозвище Антон Стрела, которое и оставалось за ним до тех пор, пока он сам не переименовал себя в Стрелòва. Долгое время Антошка погрязал в ничтожестве и никак не мог выбиться из колеи мелкого торгаша-зазывателя и облапошивателя, да и то не за свой счет, а за счет какого-нибудь капиталиста, зорко следившего, чтобы лишний пятак не задерживался меж Антошкиных пальцев. Способности были у него богатые; никто не умел так быстро обшарить мышьи норки, так бойко клясться и распинаться, так ловко объегорить, как он; ни у кого не было в голове такого обилия хищнических проектов; но ни изобретательность, ни настойчивая деятельность лично ему никакой пользы не приносили: как был он голяк, так и оставался голяком до той минуты, когда пришел его черед. Время тогда

было тугое, темное; сословная обособленность царила во всей силе, поддерживаемая всевозможными искусственными перегородками; благодаря этим последним, всякий имел возможность крепко держаться предоставленного ему судьбою места, не употребляя даже особенных усилий, чтобы обороняться от вторжения незваных элементов. Пробиться при таких условиях было мудрено, и как бы ни изворотлив был ум человека, брошенного общественною табелью рангов на последнюю ступень лестницы,— лично для него эта изворотливость пропадала даром и много-много ежели давала возможность кое-как свести концы с концами.

Антошка был деятелен необыкновенно. Каждое утро он начинал изнурительную работу сколачивания грошей, бегал, высуня язык, от базарной площади к заставе и обратно, махал руками, торопился, проталкивался вперед, божился, даже терпел побои — и каждый вечер ложился спать все с тем же грузом, с каким встал утром. Встал — грош и лег — грош. Посмотрит, бывало, Антошка на этот заколдованный грош, помнет его, щелкнет языком — и полезет спать на полати, с тем чтоб завтра чуть свет опять пустить тот грош в оборот, да чтобы не зевать, а то, чего боже сохрани, и последний грош прахом пойдет. И что всего замечательнее, несмотря на эту вечно преследующую бедность, никто не обращал на нее внимания, никто не сострадал к ней, а, напротив, всякий до того был убежден в «дарованиях» Антошки, что звал его «стальною душой» и охотно подшучивал, что он «родного отца на кобеля променять готов».

Так шло до тех пор, пока на русскую землю не повеяло новым духом. Антошка был одним из первых, воспользовавшихся ближайшими результатами этого веяния. Он разом смекнул, что упразднение крепостного права должно в значительной степени понизить старинные перегородки и создать совершенно новое положение, в котором свежему и алчному человеку следует только не зевать, чтобы обрести сокровище. Арена промышленной деятельности несомненно расширилась: не одним местным толстосумам понадобились подручные люди, свободно продающие за грош свою душу, но и другим всякого звания шлющимся людям, вдруг вспомнившим изречение: «земля наша велика и обильна» — и на этом шатком основании вознамерившимся воздвигнуть храм будущей славы и благополучия.

Во множестве появились неведомые люди (те же Антошки, но только называвшие себя «исследователями»), с пронзительными, почти колючими взорами, с острым и развитым обонянием и с непоколебимою решимостью в Тетюшах открыть Аме-

рику. Эти люди ничего не покупали и не законтрактовывали, а нюхали, расспрашивали встречных и поперечных, шатались по базарам и торгам и уверяли всех и каждого, что полагают основание для каких-то сношений, отыскивают новые рынки и новые истоки для отечественной производительности. Для подобных субъектов Антошка был сущий клад. Он отлично понял, что имеет дело с людьми легкомысленными, которым нужно одно: чтоб «идея», зашедшая в голову им самим или их патронам, была подтверждена так называемым «местным исследованием». Поэтому он охотно пристроивался к вестникам воспрянувшего промышленного духа и не только остерегался им противоречить, но лгал в их смысле что было мочи, лишь бы они остались довольны.

Исследование обыкновенно производилось очень просто: приезжий Улисс брал записную книжку и начинал допрос.

— Скажите, пожалуйста, я слышал, что у вас здесь в значительном количестве хмель разводится?

Улисс развертывает при этом карту, на которой Россия разрисована разными красками, смотря по большей или меньшей производительности хмеля.

— Хмель-то! Позвольте вам, ваше сиятельство, доложить! Хмелю у нас в одном здешнем городе так довольно, так довольно, что, можно сказать, не одна тыща пудов сгниет его... потому сбыта ему у нас нет.

— Ну, так я и знал! Это изумительно! Изумительно, какие у нас странные сведения об отечестве! — горячится Улисс,— а что касается до сбыта, то об этом беспокоиться нечего; сбыт мы найдем.

— А какое бы, ваше сиятельство, здешним жителям удовольствие сделали!

— Сбыт мы найдем. Да. Ну, а как у вас обработывают хмель? прессуют?

— Это что же такое «прессуют»?

— Ну, да; вот в Англии, например, там хмель прессуют и в этом виде снабжают все рынки во всех частях света... Да-с, батюшка! вот это так страна! Во всех частях света — всё английский хмель! Да-с, это не то, что мы-с!

Антошка слушает и в такт качает головой.

— И ни боже мой! — говорит он,— у нас и заведениев этих нет! Помилуйте! примерно, ежели теперича мужик или хоша мещанин... ну, где же им этой самой прессовке обучиться!

— Ну, этого, батюшка, не говорите, потому что русский народ — талантливый народ.

— Это насчет того, чтобы перенять, что ли-с? Ваше сиятельство! помилуйте! да покажите хоть мне! Скажите: «Сде-

лай, Антон Верельянов, вот эту самую машину... ну, то есть вот как!» с места, значит, не сойду, а уж дойду и представлю!

— То-то вот и есть. Тут только руку помощи нужно подать. Стало быть, вы думаете, что ежели устроить здесь хмелепрессовальное заведение...

— Самая это, ваше сиятельство, полезная вещь будет! А для простого народа, для черняди, легость какая — и боже ты мой! Потому что возьмем, к примеру, хоть этот самый хмель: сколько теперича его даром пропадает! Просто, с позволения сказать, в навоз валят! А тогда, значит, всякий, кто даже отроду хмелем не занимался, и тот его будет разводить. Потому, тут дело чистое: взял, собрал в мешок, представил в прессовальное заведение, получил денежки — и шабаш!

— Гм... а лен в ваших местах — тоже в большом количестве разводится?

Улисс развертывает другую карту, на которой Россия разрисована тоже разными красками, показывающими большее или меньшее развитие льняной промышленности. К*** покрыт краскою жидко, что означает слабое развитие.

— Лен-то! Да наше место, можно сказать, исстари... Позвольте вам, ваше сиятельство, доложить: что теперича хмель, что лен — всё, значит, едино, всё — первые по здешнему месту статьи-с! То есть, столько тут льну! столько льну!

— Ну, так я и знал! Наперед знал, что все эти предварительные сведения — всё пустяки! Однако хорошо мы знаем наше отечество... можно сказать! Посмотрите-ка, батюшка! вот это карта! вот на ней положение нашей льняной промышленности представлено, и против вашего уезда значится: льняная промышленность — слабо.

— Ваше сиятельство! да неужели же я! Сколько лет, значит, здесь живу! да, может, не одна тыща пудов...

— Еще бы! Разумеется, кому же лучше знать! Я об том-то и говорю: каковы в Петербурге сведения! Да-с, вот извольте с такими сведениями дело делать! Я всегда говорил: «Господа! покуда у вас нет *живого* исследования, до тех пор все равно, что вы ничего не имеете!» Правду я говорю? правду?

— Это истинное слово, ваше сиятельство, вы сказали!

— Ну да. А впрочем, я ведь один... Прискорбно это... Трудно, батюшка, трудно!

— Уж на что больше труда, ваше сиятельство!

— Ну-с, а теперь будем продолжать наше исследование. Так вы говорите, что лен... как же его у вас обработывают? Вот в Бельгии, в Голландии кружева делают...

— Позвольте вам, ваше сиятельство, доложить! Это точно, что по нашему месту... по нашему, можно сказать, необразо-

ванию... лен у нас, можно сказать, в большом упущении... Это так-с. Однако, ежели бы теперича обучить, как его сеять, или хоша бы, например, семена хорошие предоставить... большую бы пользу можно от этого самого льна получить! Опять хоша бы и наша деревенская баба... нешто она хуже галанской бабы кружева сплетет, коли-ежели ей показать?

И так далее. Исследование обходило все предметы местного производства, и притом не только те, которые уже издавна получили право промысловой гражданственности, но и те, которые даже вовсе не были в данной местности известны, но, при обращении на них должного внимания, могли принести значительные выгоды. В заключение исследователь обыкновенно спрашивал:

— А не можете ли вы назвать мне главнейших здешних промышленников?

Антошку при этом вопросе подергивало: он уже начинал ревновать своего Улисса.

— Дерунов, Осип Иванович,— отвечал он, запинаясь,— большое колесо у них заведено... Только позвольте, ваше сиятельство, вам доложить...

— Что такое?

— Не понравятся они вам, господин, то есть, Дерунов...

— Отчего так?

— Да так-с... немножечко они как будто по старине-с... Насчет предприятиев очинно осторожны... Опасаются. Это чтобы вот насчет прессовки хмелю или насчет кружев-с — и ни боже мой!

— Рутинными, значит, путями идет? Рутинными? старыми?

— Еще какими старыми-то! Как, значит, ваше сиятельство, отцы и дедушки калью наездили — так и мы!

Но исследователь все-таки отправлялся к Дерунову (нельзя: во-первых, местный Ротшильд, а во-вторых, и «сношения» надо же завести), калякал с ним, удивлял его легкостью воззрений и быстротою мысленных переходов — и в конце концов, как и предсказывал Антошка, выходил от него недовольный.

— Да, батюшка! — говорил он Антошке,— вы правду сказывали! Это не промышленник, а истукан какой-то! Ни духа предприимчивости, ни понимания экономических законов... ничего! Нет-с! нам не таких людей надобно! Нам надобно совсем других людей... понимаете? Вот как мы с вами, например! А? Понимаете? вот как мы с вами?

— Сказывал я вашему сиятельству, что понапрасну только время терять изволите. Самый, что называется, закоренелый это человек!

Непосредственным результатом этих наездов было то, что в короткое время Антошка успел сколотить несколько сотен рублей. Главный же результат сказался в том, что цена на Антошкину услугу внезапно повысилась и отношения к нему местных обывателей в значительной степени изменились. С этих пор он делается солидным человеком, вместо «Антошки» начинает именоваться «Антоном Верельянычем», а прозвище «Стрела» заменяет фамилиею «Стрело́в». И действительно, в городе начали ходить удивительные слухи. Сперва начали говорить, что учреждается компания для «разведения и обделки льна», а еще через несколько месяцев прошел слух о другой компании, которая поставила себе задачей вытеснить из торговли английский прессованный хмель и заменить его таковым же русским. Наконец, пришла весть и о железной дороге. Хотя же первые два слуха так и остались слухами, а последний осуществился лишь гораздо позднее, тем не менее репутация Антошки установилась уже настолько прочно, что даже самому Дерунову не приходило в голову называть его по-прежнему Антошкою.

В это же самое время и в среде помещиков обнаружилось движение. Некоторые просто-напросто сознали свое неумение вести хозяйство на новых основаниях; другие же, не отказываясь от надежды достигнуть плодотворных результатов в будущем, требовали капиталов, капиталов, капиталов... Отсюда — общее желание ликвидировать или все, или, по крайней мере, то, что казалось менее необходимым. Неумелые готовы были сбыть все и во что бы то ни стало, лишь бы бежать из постылого места; мнившие себя умелыми отделывались от пустошей и тех обрезков, которые, благодаря их же настояниям, образовались при написании уставных грамот. Эти затеи тоже требовали бойких и ходких посредников, потому что толстосумы, вроде Дерунова, ежели обращались к ним непосредственно, без зазрения совести предлагали за рубль грош. В числе этих посредников-маклеров, само собою разумеется, на первом плане оказался Антон Стрело̀в; и действительно, он устроил на первых порах несколько таких сделок, которыми обе стороны остались довольны.

То была именно та самая минута, когда заскучал генерал Утробин. Оброки шли туго; земля не только ничего не приносила, но еще требовала затрат. Генерал вдруг почувствовал себя одиноким и беспомощным. Всякий интерес к жизни в нем словно погас; он уже перестал ревниво присматриваться к выражению лиц временнообязанных, он даже разом прекратил, словно оборвал, полемику с мировым посредником. Все это было хорошо, покуда теплились еще остатки прежней бар-

ской жизни, но теперь, когда пошла речь об удовлетворении потребностей ежедневного расхода, шутки шутить было уже не к лицу. Безучастным, скучающим взором глядел генерал из окон нового дома на воды Вопли и на изрытый, изуродованный берег ее, тот самый, где было когда-то предположено быть лугу и цветнику. Изредка, выходя из дома, он обводил удивленными, словно непонимающими взорами засохшие деревца, ямы, оставшиеся незаровненными, неубранный хлам — и в седой его голове копошилась одна мысль: что где-нибудь должен быть человек, который придет и все это устроит разом, одним махом. Что он, генерал, в одно утро проснется и *вдруг* увидит, что все цветет, красуется, благоухает и никаких признаков недавнего геологического переворота в помине нет. Для опытного, свыше шестидесятилетнего старика, конечно, это была надежда совсем детская, но когда нервы человека почти убиты, то волшебство невольным образом делается единственным исходом, на котором успокоивается мысль.

На Иону генерал не надеялся. Со времени освобождения крестьян Иона несколько раз нагрубил генералу, а раза два даже позволил себе явиться к нему «не в своем виде». По этому поводу произошла баталия, во время которой генерал напомнил Ионе, что он его «из грязи вытащил», а Иона, в свою очередь, сделал генералу циническое замечание насчет Агнушки. Конечно, на другой день Иона проспался и принял прежний смиренный вид, но в сердце генерала уже заползла холодность. Холодность эта мало-помалу перешла и на Агнушку, особливо с тех пор, как генерал, однажды стоя у окна, увидал, что Агнушка, озираясь, идет со скотного двора и что-то хоронит под фартуком. Генерал, разумеется, ни одним словом не намекнул о своем открытии, но стал примечать и уследил чудовищные вещи. В его глазах, с быстротой молнии, исчезали громадные куски сахару, а расход чухонского масла, чая и кофея становился просто-напросто скандальным. Был у генерала целый запас перин, а недавно приехал становой, и не на чем было положить его спать. Наконец, стали исчезать подсвечники, а о мелках, карточных щетках и т. п. давно и в помине не было. Куда все это девалось? спрашивал себя генерал и продолжал молча наблюдать, с каким-то диким наслаждением растравляя собственные раны.

«Это они на всякий случай прикапливают! — рассуждал он сам с собою,— только куда они прячут?»

И он с злорадством ожидал, что вот-вот придет некто, который всю эту шваль погонит и все разом устроит.

Этот таинственный «некто» явился в лице Антона Стрелова. Это уже был не прежний худой и замученный Антошка,

с испитым лицом, с вдавленною грудью, с полным отсутствием живота, который в обшарпанном длиннополом сюртуке ждал только мановения, чтобы бежать вперед, куда глаза глядят. Напротив того, пред лицо генерала предстал малый солидный, облеченный в синюю поддевку тонкого сукна, плотно обтягивавшую довольно объемистое брюшко, который говорил сдержанно резонным тоном и притом умел сообщить своей почтительности такой характер, как будто источником ее служило не грубое раболепство, а лишь сознание заслуг и высокости звания того лица, которому он, Антон, имел честь «докладывать». Это до того приятно поразило генерала, что и он, в свою очередь, не счел возможным отнестись к Стрелову в том презрительно-фамильярном тоне, в каком он вообще говорил с людьми низкого звания.

— Ну, Антон... как по отчеству — не знаю...— сказал он, сам, очевидно, смущенный необходимостью допущенной им уступки.

— Верельяныч,— спокойно ответил Стрелов.

— Ну, так вот, стало быть, Антон Велерьяныч, надобно нам ладком об делах поговорить!

— С великим моим удовольствием, ваше превосходительство! Дела вашего превосходительства я даже и сейчас очень хорошо знаю. Нехороши дела, ваше превосходительство! то есть, так нехороши! так нехороши!

— Затем, братец, я тебя и позвал. Поправить надо.

— Ваше превосходительство! как перед богом, так и перед вами! Поправку тут даже очень хорошую можно сделать! Одно слово — извольте приказать! Только кликнуть извольте: «Антон, мол, Верельянов!..» и коли-ежели...

— Ну да, вот этого-то я и хочу. Сам видишь, как я живу. Усадьба — не достроена; в сад войдешь — сухие прутья да ямы из-под овинов...

— На что хуже-с!

— А оброки между тем поступают плохо, земля — в убыток...

— Земля... в убыток! Помилуйте! это даже удивительно для меня! — усомнился Антон и словно бы даже укоризненно покачал головой.

— И я, братец, удивляюсь...

— По-нашему, ваше превосходительство, так нужно сказать: не токма что убыток, а пользу должна земля принести! вот какое об этом деле мы рассужденье имеем.

— И я, брат, это рассужденье-то имею...

— Ваше превосходительство! позвольте вам доложить! Как же эта самая земля может убыток приносить, коли-ежели ей,

можно сказать, от самого бога так определено, чтобы человек от нее пропитанье себе имел! Это точно, что по нынешнему времю все господа большую претензию имеют... Вот Толстопятов господин или кандауровский барин — все они меня точно так же спрашивали: «Отчего, мол, Антон, землю нынче работать — себе в убыток?» Однако, как осмотрел я всё как следует, и вижу: тут местечко полезное, там местечко, в другом месте — десятинка-с... Смотришь, десятинка да десятинка — ан, можно сказать, и пользу сыскали!

Речь эта сильно пришлась по сердцу генералу. Он даже унынье с себя сбросил и несколько дней сряду ходил по усадьбе орлом. Стрелов в это время осматривал земельную дачу и каждый вечер докладывал о результате осмотра.

— Ну, дачка у вас, ваше превосходительство! — восхищался он,— такая дачка! такая дачка! И коли-ежели эту самую дачу да к рукам — и господи боже мой!

— Гм... стало быть, пользу можно получить?

— Позвольте вам, ваше превосходительство, доложить! Возьмемте теперича к примеру хоша бы лес... что такое этот самый лес? Есть лес всякой-с; есть теперича дровяник, есть угольник, а есть, примерно, и строевой-с. Главная причина — как рассертировать. Ежели теперича дрова, скажем примерно, к дровам, угольник — к угольнику, а строевой, значит, чтобы особо... сколько теперича от одного угольника пользы получить можно! А при сем сучья. Крестьянину, значит, отопиться нужно — где он возьмет? А земля-то, ваше превосходительство! По ней ведь и опять лес пойдет! Места же здесь вольные, боровые...

— Так ты полагаешь: пилить самим?

— Полагаю, что так бы следовало. Потому, ежели теперича леснику на свод продать, он первое дело — лес затопчет и загадит, и второе дело — половинной цены против настоящих барышов не даст!

— Что же, брат, с богом!

Через десять дней Стрелов окончательно поселился в генеральской усадьбе в качестве главноуправляющего.

Устроившись таким образом, Стрелов счел первым долгом освободить генерала от всяких «беспокойств». С помощью бесчисленных мелких предупредительностей он довел генерала до того, что последний даже утратил потребность выходить из дому, а не то чтобы делать какие-нибудь распоряжения. Но что всего важнее, генерал сейчас же почувствовал непосред-

ственный результат стреловского управления: от него перестали требовать денег на расходы по ведению полевого хозяйства. Обработка земли не только не приносила убытка, но в самое короткое время дала $57^1/_2$ копеек барыша.

— Ты, братец, волшебник! — воскликнул генерал вне себя от изумления.

— Все силы-меры, ваше превосходительство! — скромно ответил Стрелов,— тут урвешь, там сократишь... а ваше превосходительство изволите говорить: «волшебник-с!» Да кабы мы волшебствами могли заниматься, тàк ли бы мы перед вашим превосходительством заслужили!

И действительно, волшебства никакого не было, а просто-напросто Стрелов покрывал расходы по полевому хозяйству из доходов по лесной операции. Генерал этого не видел, да и некому было указать ему на это волшебство, потому что и относительно окружающих Стрелов принял свои меры. Весь служебный персонал он изменил, Иону с утра до вечера держал в полубесчувственном от вина положении, а с Агнушкой прямо вошел в амурные отношения, сказав ей:

— Теперича, ежели вы его превосходительство беспокоить будете, так у нас в городу девиц очень довольно на ваше место найдется.

В первый раз, после мучительных двух лет, генерал почувствовал себя спокойно. Конечно, это было спокойствие очень однообразное, которое скоро бы надоело генералу, несмотря ни на какие ухищрения Стрелова, если б не нашлось подходящего предмета, который вполне поглотил все внимание старика. Этим предметом явились пресловутые беспорядки 1862 года. С самодовольством вычитывал генерал из газет загадочные, но захватывающие дух известия, и торжествующе улыбался при мысли, что все это он предвидел и предрекал еще в то время, когда писал свой проект «но ежели». Сын тоже слал ему известие за известием: молодой человек шел в гору и подробно уведомлял об увольнениях, перемещениях и назначениях. Все говорило генералу, что горячка новшеств должна в скором времени стихнуть. Сверх того, Петенька писал еще о каких-то нигилистах, присовокупляя при этом, что в Москве вырабатывается проект исследования корней и нитей. Генерал приосанился и запомнил слово: «нигилист». Быть может, ему даже показалось, что его время еще не прошло, что об нем вспомнят, его призовут. Тогда это многим казалось. Такое было это время, что всякий шлющийся человек мог мысленно дерзать. Генерал начал даже готовиться по секрету к какой-то важной миссии, как бы опасаясь, чтоб его не застали врасплох. С этою целью он начал сочинение, которому, по бывшему

уже примеру, присвоил название: «О повреждении нравов» и которое должно было служить, так сказать, готовою программой на случай, если его «призовут».

Сочинение писалось в разлинованной тетрадке и по-старинному разделялось на параграфы, причем сбоку обозначалось кратко содержание каждого. Ежедневно прибавлял он по одному параграфу, приблизительно в пять строк. Параграф: «В чем заключается современное повреждение?» — гласил так: «Всякому времени особливое повреждение свойственно; так, при блаженной памяти императрице Екатерине II введены были фижмы и господствовал геройский дух, впоследствии же к сему присоединилась наклонность к военным поселениям. Нашему времени свойственное повреждение — есть нигилизм». В параграфе: «Видимое происхождение нигилизма и тайные предтечи его» — говорилось: «Явное месторождение нигилизма открыто недавно в Москве, на Цветном бульваре, в доме Селиванова, в гостинице «Крым», в особом оной отделении, именуемом «Ад»; тайные же предтечи оного уже с 1856 года изливали свой яд в той же Москве, в редакции некоторого повременного издания, впоследствии принесшего в том раскаяние». В параграфе: «В чем оное повреждение состоит?» — значилось: «В отвержении промысла божия и пользы, предержащими властями приносимой. Равным образом: в непочтении, неуважении, разрушении и неповиновении. Сущее отрицают, крепкое шатким почитают, а несущее и некрепкое за сущее и крепкое выдают. Нелепость сего очевидна». В параграфе: «Как в сем случае поступать?» — объяснялось: «По усмотрению. Но ежели бы сие до такового лица относилось, которое, быв некогда опытно, а потом в отставке, внезапу подверглось призванию с облечением доверия, то, кажется, лучшее в сем случае было бы поступить так: разыскав корни и нити и отделив вредные плевелы от подлинных и полезных класов, первые исторгнуть, вторым же дать надлежащий по службе ход».

Одним словом, в жизнь генерала всецело вторгнулся тот могущественный элемент, который в то время был известен под именем борьбы с нигилизмом.

Тем не менее сначала это была борьба чисто платоническая. Генерал один на один беседовал в кабинете с воображаемым нигилистом, старался образумить его, доказывал опасность *сего,* и хотя постоянно уклонялся от объяснения, что̀ следует разуметь под словом *сие,* но по тем огонькам, которые бегали при этом в его глазах, ясно было видно, что дело идет совсем не о неведомом каком-то нигилизме, а о совершившихся новшествах, которые, собственно, и составляли неизбывную обиду, подлежавшую генеральскому отмщению.

Впрочем, такое платоническое отношение не могло быть продолжительно. Явилась потребность осуществить бескровный идеал нигилиста в сколько-нибудь подходящем живом образе, и генерал был отменно доволен, когда потребность эта нашла себе удовлетворение в лице его мелкопоместного соседа, Анпетова.

Анпетов был малый лет двадцати семи, получивший очень ограниченное образование, но неглупый по природе и, главное, очень сочувствующий. Когда случился тот перелом, который поверг генерала в уныние, Анпетов, напротив того, как-то особенно закопошился: он разъезжал веселый по селам и весям, обнимался, целовался, плакал, хохотал и в заключение даже принял безмездно место письмоводителя при мировом посреднике. В то время подобных людей не причисляли к лику нигилистов, но считали опорами и делали им лестные предложения. Но Анпетов до того был зарыт в толпе, что даже тогдашнее сильное движение не выдвинуло его вперед, как выдвинуло, например, Луку Кисловского, добившегося, à son corps défendant [1], чести служить волостным писарем. Анпетов по-прежнему остался в толпе, заявляя о себе одним лишь ликованием и нося в своем чистом сердце только одну гражданскую зависть — к Луке Кисловскому. Он из первых покончил с крестьянами выкупною сделкой, что, впрочем, доставило ему больше радости, нежели материальных выгод. Подобно большинству энтузиастов того времени, он с жаром обратился к вольнонаемному труду и, подобно всем, повел это дело без расчета и с первого же раза осекся. Однако это не подействовало на него одуряющим образом: он не бросился вон из «своего места» и не осовел, запершись в четырех стенах полуразвалившейся храмины, в которой предки его с незапамятных времен истребляли ерофеич. В нем было чересчур много потребности жить, чтоб запереться, и он слишком любил «свое место», чтобы бежать из него в уездный или губернский город на службу. Он любил приволье, любил охоту, любил лес, реку, луг, любил народ. Вследствие всего этого, не желая умереть с голода, он сломал ветхие отцовские хоромы, на место их вывел просторную избу и сделался сам, в одно и то же время, и землевладельцем, и работником. Само собою разумеется, что во всем этом не было ни тени намека ни на социализм, ни на коммунизм, о которых он, впрочем, и понятия не имел, но тем не менее поступок его произвел сенсацию.

Внешним поводом для этой сенсации послужило то, что дворянин «занимается несвойственными дворянскому званию

[1] спасая шкуру.

поступками»; действительною же, внутреннею причиной служило просто желание к чему-нибудь придраться, на ком-нибудь сорвать накипевшее зло. Вся окрестность загудела; дворяне негодовали, мужики-торгаши посмеивались, даже крестьянская масса — и та с каким-то пренебрежительным любопытством присматривалась.

Генерал взглянул на Анпетова сначала с недоумением; но потом, припомнив те тысячи досад, которые он в свое время испытал от одних известий о новаторской рьяности молодого человека, нашел, что теперь настала настоящая минута отмстить. Как-то вдруг вырвалось из уст его восклицание: «Ну, вот! ну, да! ну, «он»!» Он, то есть нигилист, то есть то загадочное существо, которое, подобно древнему козлу очищения, обязывалось понести на себе наказание за реформаторскую прыткость века. Сейчас же генерал охарактеризовал Анпетова именем «негодяй», и с тех пор это прозвище вошло в воплинской усадьбе в употребление вместо собственного имени.

Трудно представить себе, что̀ может произойти и на что̀ может сделаться способен человек, коль скоро обиженное и возбужденное воображение его усвоит себе какое-нибудь убеждение, найдет подходящий образ. Генерал глубоко уверовал, что Анпетов негодяй, и сквозь призму этого убеждения начал строить его жизнь. Само собой разумеется, что это был вымышленный и совершенно фантастический роман, но роман, у которого было свое незыблемое основание и который можно было пополнять и варьировать до бесконечности.

Во всяком случае, все это наполняло бездну праздного времени и, в то же время, окончательно уничтожало в генерале чувство действительности. Стрелов понял это отлично и с большим искусством поддерживал фантастическое настроение генеральского духа.

Каждое утро генерал, сидя за чаем и попыхивая трубку, машинально выслушивал рапорт Стрелова о вчерашних операциях и тотчас же свертывал на любимый предмет.

— Ну, а как... негодяй?

В ответ Антон, не то скорбно, не то как бы едва воздерживаясь от смеха, махал рукой.

— Новенькое что-нибудь начудил?

— Дележка у них, этта, была! — говорит Стрелов, словно умирая от смеха.

— И что ж?

— Вычисление делал. Это, говорит, мне процент на капитал, это — моя часть, значит, как хозяина, а остальное поровну разделил. Рабочие даже сейчас рассказывают — смеются.

— Однако... это важно! это даже очень важно!

— Помилуйте, ваше превосходительство! нестоящий это совсем человек, чтобы вам, можно сказать, так об нем беспокоиться!

— Нет, мой друг, не говори этого! не в таком я звании, чтоб это дело втуне оставить! Не Анпетов важен, а тот яд, который он разливает! вот что я прошу тебя понять!

— Яд — это так точно-с! Отравы эгой они и посейчас промежду черняди довольное число распространили. Довольно, кажется, с ихней стороны было уж низко из одной чашки с мужиками хлебать — так нет, и этого мало показалось!

— А что еще?

— Помилуйте! позвольте вам доложить! теперича сами с сохой в поле выходят, заодно с мужиками все работы исполняют!

— Негодяй!

— Истинное, ваше превосходительство, вы это слово сказали. Именно не иначе об них теперича заключить можно!

— Да ты видел?

— Самолично-с. Вечòр иду я из Петухов, и он тоже за сохой домой возвращается. Только я, признаться, им камешòк тут забросил: «Что, говорю, Петр Иваныч, видно, нынче и баре за соху принялись?» Ну, он ничего — смолчал.

— Негодяй! — почти задавленным голосом произносил генерал.

— А все-таки, позвольте вам доложить: напрасно себя из-за них беспокоить изволите!

— Нет, мой друг, это слишком важно! это так важно! так важно! Знаешь ли ты, чем такие поступки пахнут?

— Оно, конечно, ваше превосходительство, большая смута через это самое промежду черняди идет!

— Ну, вот видишь ли!.. Значит, и простой народ... крестьяне... как они на эти поступки смотрят?

— Которые хорошие мужички — ни один не одобряет. Взять хоть бы Лександра-телятник или Пётра-бумажник — ни один, то есть, и ни-ни! Ну, а промежду черняди — тоже не без сумления!

— А что в Писании сказано? «Пасите овцы ваша» — вот что сказано! Ты говоришь: «Не извольте беспокоиться», а кто в ответе будет?

— В ответе — это так точно, другому некому быть! Ах! только посмотрю я, ваше превосходительство, на чины на эти! Почет от них — это слова нет! ну, однако, и ответу на них лежит много! то есть — столько ответу! столько ответу!

— Кому много дано, с того много и взыщется. Так-то, мой друг!

— Это так точно, ваше превосходительство. Только коли-**ежели** теперича все сообразить...

Стрелов махал рукой и умолкал, как бы немея перед необъятностью открывавшихся ему перспектив.

Так проходили дни за днями, и каждый день генерал становился серьезнее. Но он не хотел начать прямо с крутых мер. Сначала он потребовал Анпетова к себе — Анпетов не пришел. Потом, под видом прогулки верхом, он отправился на анпетовское поле и там самолично убедился, что «негодяй» действительно пробивает борозду за бороздой.

— Стыдно, сударь! звание дворянина унижаете! — крикнул ему Утробин, но так как в эту минуту Анпетов находился на другом конце полосы, то неизвестно, слышал ли он генеральское вразумление или нет.

Наконец генерал надумался и обратился к «батюшке». Отец Алексей был человек молодой, очень приличного вида и страстно любимый своею попадьей. Он щеголял шелковою рясой и возвышенным образом мыслей и пленил генерала, сказав однажды, что «вера — главное, а разум — все равно что слуга на запятках: есть надобность за чем-нибудь его послать — хорошо, а нет надобности — и так простоит на запятках!»

Генерал любил батюшку; он вообще охотно разговаривал от Писания и даже хвалился начитанностью своей по этой части. Сверх того, батюшка давал ему случай припоминать об архиереях, которых он знал во времена своего губернаторства, и о том, как и кто из них служил заутреню в светлое Христово воскресенье.

— При мне у нас преосвященный Ираклампвон[1] был,— рассказывал генерал,— так тот, бывало, по-военному, к двум часам и заутреню, и обедню отпоет. Чуть, бывало, певчие зазеваются: «а-а-э-э...» он сейчас с горнего места: «Распелись?!»

— Значит, скорое и светлое пение любил?

— Да, а вот преосвященный Памфалон[2] — тот, бывало, полчаса чешется да полчаса облачается, а певчие в это время: «а-а-а-а...»

— Торжественность, значит, предпочитал?

Одного не любил генерал в отце Алексее: что он елеем волосы себе мазал. И потому, поговорив об архиереях, всегда склонял разговор и на этот предмет:

— И охота тебе, батя, маслищем этим...

[1] Празднуется двенадцатого июня. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина)*
[2] Празднуется семнадцатого мая. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

— Прошу, ваше превосходительство, извинить: еще времени не избрал помады купить! — оправдывался отец Алексей.

Однажды из-за этого обстоятельства даже чуть не вышло между ними серьезное столкновение. Генерал не вытерпел и, следуя традициям старинной русской шутливости, послал отцу Алексею копытной мази. Отец Алексей обиделся...

Вот к нему-то и обратился генерал в настоящем случае.

— Слышал, батя?

— Что изволите, ваше превосходительство, приказать?

— Про «негодяя»?

— Недоумеваю...

— Про Анпетова, про Ваньку Анпетова говорю! да ты никак, с попадейкой-то целуясь, и не видишь, что̀ у тебя в пастве делается?

— У господина Анпетова бываю и даже ревнивым оком за ним слежу. До сих пор, однако, душепагубного ничего не приметил. Ведет себя доброчинно, к церкви божией нельзя сказать, чтоб особливо прилежен, но и неприлежным назвать нельзя.

— Землю пашет! — прогремел генерал, вдруг вытянувшись во весь рост,— сам! сам! сам с сохой по полю ходит! Это — дворянин-с!

Батюшка потупился. Он и сам приметил, чго Анпетов поступает «странно некако», но до сих пор ему не представлялся еще вопрос: возбраняется или не возбраняется?

— Дворянин-с! — продолжал восклицать между тем генерал.— Знаешь ли ты, чем это пахнет! Яд, сударь! возмущение! Ты вот сидишь да с попадьей целуешься; «доброчинно» да «душепагубно» — и откуда только ты эти слова берешь! Чем бы вразумить да пристыдить, а он лукошко в руку да с попадейкой в лес по грибы!

Решили на том, чтоб идти отцу Алексею к Анпетову и попробовать его усовестить. Эту миссию выполнил отец Алексей в ближайший воскресный день, но успеха не имел. Начал отец Алексей с того, что сказал, что всегда были господа и всегда были рабы.

— А теперь вот рабов нет! — ответил Анпетов.

— И теперь они есть, только в сокровенном виде обретаются,— продолжал усовещивать отец Алексей.

— Ты, батя, натощак, должно быть — оттого вздор и городишь! — заметил на это Анпетов и затем отпер шкап, вынул оттуда полуштоф и налил две рюмки.— Выпьем!

Одним словом, кончилось ничем, и батюшка, придя в тот же вечер к генералу, заявил, что Анпетов, даже по многому увещанию, остался непреклонен.

Тогда генерала вдруг осенила мысль, что батюшка в одно из ближайших воскресений произнесет краткое поучение, направленное против Анпетова, которое взялся написать сам генерал.

И действительно, поучение было написано и гласило следующее:

«Давно собирался я, братия, побеседовать с вами об отце лжи, но доселе не представлялось удобного к тому случая. Ныне же случай сей несомненно представился, ибо между нами появился один из ревностнейших аггелов его. Не думайте, однако, чтоб он имел вид унильный и душепагубный, свойственный дьяволу, обретающемуся в первобытном состоянии. Наш аггел не таков; он не имеет ни крыл темных, ни копыт громкозвонных, ни турьего рога на челе, ни раскаленного уголья в гортани своей. Он носит вид обыкновенного человека, с тем лишь отличием, что во внутренностях его сокрыт ад. Или прямее: это не человек, но человекоад. Человек по наружному виду, но ад по виду внутреннему. Воистину человекоад, ибо ни о чем другом не мыслит, ничего другого не делает, как только сеет плевелы. Сеет на земле грехопадения, срезает серпом умерщвления и ссыпает зерна в житнице погубления.

Но, сказав вам достаточно о появившемся между нами человекоаде и прелестях его, я еще не открыл вам его самого. Кто же ты, столь часто упоминаемый мной человекоад? Кто ты, носящий в сердце яд, а руками сеющий измену? Ты — сын почтенного коллежского регистратора, с честью служившего заседателем в земском суде и потом почившего от трудов в дому отцов своих! Ты — сын достойнейшей родительницы, которая вскормила и воспитала тебя, отнюдь не думая, что у почтеннейшей груди ее вскармливается и воспитывается младенец, которому суждено сделаться ближайшим советником отца лжи! Ты — юноша, на казенный счет, по причинам от начальства не зависевшим, не кончивший курса в среднем учебном заведении и на казенный же счет взлелеявший в сердце своем семя разврата! Почтенные и добродетельные родители — и душепагубный сын! попечительное начальство — и результат сей благопопечительности... ужаснейший человекоад! Размыслим о сем, братия, и поскорбим!»

Отец Алексей даже похолодел, когда генерал прочитал ему произведение своей фантазии. Но с генералом спорить было мудрено, а заставить его добровольно отступиться от однажды принятого решения — и совсем невозможно.

Два воскресенья сряду батюшка сказывался больным и не служил обедни, но на третье такая отговорка оказалась уже неудобною. Так как по всей окрестности разнесся слух, что генерал, устами отца Алексея, будет обличать Анпетова, то наро-

ду в церковь собралось видимо-невидимо. Явился и сам Анпетов. Генерал встал на возвышенное место и обводил орлиным взглядом толпу. Но вот прочитана была заамвонная молитва, Анпетов уже вытянул шею, чтобы принять публичный реприманд, все вдруг притихло... увы! аналоя не появилось! Батюшка не решился...

После обедни Анпетов взошел в генеральский дом, пробрался в кабинет к генералу и сказал:

— Если б вы были умны, то вместо того чтобы полемизировать со мной в церкви, вы прогнали бы вора Антошку, а меня взяли бы на его место в управляющие. Я бы вас не обкрадывал.

— Вон! — заревел на него не своим голосом генерал.

Покуда генерал боролся с Анпетовым и мнил на нем отомстить поражение старых порядков, Антон Стрелов распоряжался в имении полным господином. Ни Ионы, ни Агнушки в генеральском доме уже не было. Иону генерал определил в к—ский уездный суд протоколистом, на имя Агнушки — купил в К. дом. Место Агнушки заняла дородная и краснощекая девица Евпраксея, которую Стрелов самолично разыскал и представил. Сам Антон к этому времени раздобрел так, что стал почти неузнаваем. Обличие у него сделалось настоящее купеческое; широкое и скулистое от природы лицо налилось; серые, некогда пронзительные глаза слегка заплыли. Ездил он по делам в купеческой тележке, на породистом кореннике-иноходце, которого генерал подарил ему в ознаменование победы над сердцем девицы Евпраксеи. Но что всего важнее, в течение года с небольшим он представил генералу до десяти тысяч рублей денег.

Генерал не справлялся, откуда и каким образом пришли к нему эти деньги: он был доволен. Он знал, что у него есть где-то какие-то Петухи, какое-то Разуваево, какая-то Летесиха и проч., и знал, что все это никогда не приносило ему ни полушки. Кроме того, он давно уже не имел в руках разом столько денег. Он был так доволен, что однажды даже, в порыве гордыни, позволил себе сказать:

— Антон, проси у меня, чего хочешь!

Но на этот раз Антон еще не осмелился. В ответ на приглашение генерала он только повалился ему в ноги и произнес:

— Ничего мне, окромя спокойствия вашего превосходительства, не надобно! коли-ежели ваше превосходительство... ах, ваше превосходительство!

И был так при этом взволнован, что генерал, чтоб успокоить его, трикраты с ним облобызался.

Но через короткое время Антон одумался. Однажды, принеся генералу выручку, полученную за проданный лес, он скромно доложил, что имеет попросить у его превосходительства милости.

— Говори, мой друг! — благосклонно ответил генерал.

— Не будет ли вашей милости это самое местечко мне уступить?

Антон произнес эти слова робко, как будто ему давили горло. При этом он взмахнул глазами на «Мысок», на противоположном берегу реки, где и до сих пор стоял постоялый двор Калины Силантьева. Генерал словно очнулся от сна.

— А как же Калина? — спросил он.

— Калина Силантьич довольно попользовались. А при сем они и на деревне оседлость имеют — могут, коли-ежели, и там свою торговлю производить.

— Гм... да... стало быть, Калина...

— А между прочего, ежели такое их желание будет, чтоб беспременно на сем месте остаться, так они и от меня могут онное кортомить!

— Что!! так ты купить, значит, «Мысок» задумал?! — вскочил генерал словно ужаленный.

— Коли-ежели ваша милость...

— На-тко!

И генерал сделал такой жест, вследствие которого Антошка на цыпочках убрался восвояси, наклонив голову, словно бы избегая удара.

Целую неделю потом Стрелов ходил точно опущенный в воду и при докладе генералу говорил печально и как-то особенно глубоко вздыхал. В то же время девица Евпраксея сделалась сурова и неприступна. Прочая прислуга, вся подобранная Стреловым, приняла какой-то особенный тон, не то жалостливый, не то пренебрежительный. Словом сказать, в доме воцарился странный порядок, в котором генерал очутился в роли школьника, с которым, за фискальство или другую подлость, положено не говорить.

Одиноко ходил он по комнатам барского дома и как-то фаталистически влекся к балконной двери, из которой как на ладони виднелся «Мысок» и постоялый двор Калины Силантьева. Как будто он что-то смутно предчувствовал. Он видел отпряженные телеги, видел восьмидесятилетнего Калину, который сидел на завалинке, грелся на солнце и чертил что-то палкой на земле; видел целое поколение здоровых и кряжистых Калинычей, сновавших взад и вперед; потом переносил свою мысль на Агнушку, на Иону, даже на Анпетова... и никак не мог освободиться от предчувствия.

В одно прекрасное утро он получил письмо от Петеньки, которому писал о «дерзком поступке» Антона (Стрелов и с своей стороны написал Петеньке слезное письмо).

«Не понимаю,— писал Петенька,— из-за чего вы кипятитесь на Антона. По моему мнению, это единственный человек, который стоит au niveau de la position [1]. Он очень хорошо понял, что нам нужно продавать, продавать и продавать, то есть обращать в деньги. Все эти Петухи, Разуваевы и проч., которые не приносили вам ни обола,— он их утилизировал и доставил вам деньги. Почему же «Мысок» святее их, если Антон за него хорошую цену дает? Вы пишете, что «Мысок» прямо против окон усадьбы,— ну, и пусть будет прямо против окон усадьбы. Если вы боитесь, что Стрелов будет перед вашими глазами живые картины представлять, так насчет подобных случайностей можно в купчей крепости оговорить. А что касается до того, что «жаль Калину обидеть», то это просто смешно. Нас никто не жалеет, а мы весь мир будем жалеть — когда же этим великодушиям будет конец!»

Прочитав это письмо, генерал окончательно поник головой. Он даже по комнатам бродить перестал, а сидел, не вставаючи, в большом кресле и дремал. Антошка очень хорошо понял, что письмо Петеньки произвело эффект, и сделался еще мягче, раболепнее. Евпраксея, с своей стороны, прекратила неприступность. Все люди начали ходить на цыпочках, смотрели в глаза, старались угадать желания.

Однажды утром, при докладе, Антон опять осмелился.

— Так как же насчет «Мыска», ваше превосходительство? какое распоряжение сделать изволите? — спросил он, переминаясь с ноги на ногу.

— Гм... это насчет того, что ли, что ты купить его хочешь?

— Так точно, ваше превосходительство. А уж как бы я за вас бога молил... уж так бы!

Генерал потупил глаза в землю и молчал.

— А ежели что насчет услуги касается, так уж на что способнее! Только кликните отселе: Антон! а уж я на том берегу и слышу-с!

— Да... вот и сын тоже...

— Одобряют-с? ну, хоша за Петра Павлычево здоровье богу помолим, ежели теперича у родителя заслужить не сумели...

— Вон с моих глаз, негодяй!

. . . . . .

[1] на высоте положения.

Тем не менее недели через две купчая была совершена, и притом без всяких ограничений насчет «живых картин», а напротив, с обязательством со стороны генерала оберегать мещанина Антона Валерьянова Стрелова от всяких вступщиков. А через неделю по совершении купчей генерал, даже через затворенные окна своей усадьбы, слышал тот почти волчий вой, который подняли кряжистые сыны Калины, когда Антон объявил им, что имеют они в недельный срок снести постоялый двор и перебраться, куда пожелают.

Стрелов имел теперь собственность, которая заключалась в «Мыске», с прибавком четырех десятин луга по Вопле. За все это он внес наличными деньгами пятьсот рублей, а купчую, чтобы не ехать в губернский город, написали в триста рублей и совершили в местном уездном суде. При этом генерал был твердо убежден, что продал только «Мысок», без всякой прибавки луговой земли.

Антон сделал несомненно выгодное дело. Место было бойкое; к тому же как раз в это время объявили в ближайшем будущем свободную продажу вина.

Мало-помалу отношения выяснились. Зиму 1862/1863 года Антон, «для-ради признательности», еще оставался у генерала, но уже исподволь заготовлял лес для построек. Когда же окончательно сказали вину волю, то он не вытерпел и явился за расчетом.

— Куда? — снова как бы проснулся генерал.

— Послужили-с,-- кротко ответил Стрелов, стоя на благоразумной дистанции.

Генерал бросился было вперед, но Антон уже не на цыпочках, а полным ходом ушел из дому, а затем и совсем из усадьбы.

Генерал попробовал не расчесться с Антоном, но расчелся; затем он попробовал потребовать от него отчета по лесной операции; но так как Антон действовал без доверенности, в качестве простого рабочего, то и в требовании отчета получен был отказ. В довершение всего, девица Евпраксея сбежала, и на вопрос «куда?» генералу было ответствовано, что к Антону Валерьянычу, у которого она живет «вроде как в наложницах».

С начала марта, несмотря на не вполне стаявший снег, на той стороне реки уже кипела необычайная деятельность. Антошка выводил какое-то длинное здание с двумя крылечками, из которых одно вело в горницу, а другое — в закрытое помещение, вроде амбара. Рядом продолжал возвышаться старый постоялый двор, который Стрелов за бесценок купил у Калины. В самое светлое Христово воскресенье в новом здании

открыт был кабак, и генерал имел случай убедиться, что все село, не исключая и сынов Калины, праздновало это открытие, горланя песни, устроивая живые картины и нимало не стесняясь тем, что генерал несколько раз самолично выходил на балкон и грозил пальцем.

Но всего больше поразила генерала картина, представившаяся его глазам в последовавший затем Петров день. Встав-ши еще задолго до обедни, он увидел, что на самом лучшем его лугу собрался какой-то людской сброд и косит его. Антон Стрелов ходит между рядами косцов с полштофом в одной руке и стаканом в другой и потчует вином; а Проська раздает куски пирога. Вне себя, генерал попробовал послать рабочих, чтоб унять мерзавцев, но был отбит. Тогда он отправился в уездный город и с изумлением, почти дошедшим до паралличного удара, узнал, что он сам, вместе с «Мыском», продал Антошке четыре десятины своего лучшего луга по Вопле...

С этих пор жизненная колея старого генерала начала видимо суживаться. Тщетно слал он письмо за письмом к Петеньке, описывая продерзостные поступки «негодяя» (увы! с Анпетова он уже перенес эту кличку на Стрелова!): на все его жалобы сын отвечал одними сарказмами. «Извините меня, милый папенька (писал он), но вы, живучи в деревне, до того переплелись со всяким сбродом, что вещи, не стоящие ломаного гроша, принимают в ваших глазах размеры чего-то важного». Или: «Пожалуйста, милый папенька, не волнуйте меня вашими дрязгами с Стреловым, иначе я, право, подумаю, что вы впадаете в детство». Письма эти постоянно сопровождались требованием денег, причем представлялись такие убедительные доказательства необходимости неотложных и обильных субсидий в видах поддержания Петенькиной карьеры, что генерал стонал, как раненый зверь.

К счастью, генерала не оставила благородная страсть к литературным упражнениям; но и тут случилось нечто неожиданное, доведшее и это развлечение до самых крайних размеров. Надумавши (чтобы забыться от преследовавшего его представления о «негодяе») писать свои мемуары, он с удивлением заметил, что все позабыл. От целого славного прошлого в его памяти осталось что-то смутное, несвязное, порою даже как будто неожиданное. То учебный сигнал, то белая лошадь, то аллеи почтовых дорог, то жидовская корчма, то дощик Макарка... И все это без малейшей последовательности и связано только фразой: «И еще припоминаю такой случай...» В заключение он начал было: «И еще расскажу,

как я от графа Аракчеева однажды благосклонною улыбкой взыскан был», но едва вознамерился рассказать, как вдруг покраснел и ничего не рассказал. В одной коротенькой главе, в три страницы разгонистого письма, уместилась вся жизнь генерала Утробина, тогда как об одном пятнадцатилетнем славном губернаторстве можно было бы написать целые томы. Он тем более удивился этому, что в то же самое время в «Русской старине» многие генералы, гораздо меньше совершившие подвигов, писали о себе без малейшего стеснения. Пришлось, оставив в покое «историю», прибегнуть к вымыслу, для чего он и выбрал форму притчей, наиболее подходящую к роду его дарования. Но и притчей он написал в течение шести лет только две, которые здесь и приводятся целиком.

I. ПРИТЧА О НЕКОТОРОМ НЕОСТОРОЖНОМ ГЕНЕРАЛЕ

Один генерал, служивший по гражданской части (впрочем, с сохранением военного чина и эполет), не быв никогда в лесу, пожелал войти вовнутрь оного. И будучи храбр от природы, решил идти в лес один, без свиты, но в мундире. Напрасно секретарь его упреждал, что в лесу том водятся волки, которые могут генерала растерзать; на все таковые упреждения генерал ответствовал одно: «Не может этого случиться, чтобы дикие звери сего мундира коснулись!» И с сими словами отправился в путь. Что же, однако, случилось? прошел один день — генерала нет; прошел другой день — опять нет генерала; на третий день обеспокоенные подчиненные идут в лес — и что̀ находят? обглоданный дикими зверьми генеральский остов, и при сем столь искусно, что мундир и даже сапоги со шпорами оставлены нимало не тронутыми.

Смысл сей притчи таков: и содержащее не всегда для содержимого защитой быть может.

II. ПРИТЧА О ДВУХ РАСТОЧИТЕЛЯХ. УМНОМ И ГЛУПОМ

Некоторые два расточителя получили от дальних родственников в наследство по одной двадцатипятирублевой бумажке. Нимало не думая, оба решили невеликие сии капиталы проесть; но при сем один, накупив себе на базаре знатных яств и питий и получив, за всеми расходами, полтинник сдачи, сделал из купленного материала обед и со вкусом съел оный; другой же, взяв кастрюлю, наполнив оную водою и вскипятив, стал в кипятке варить наследственную двадцатипятирублевую бумажку, исполняя сие дотоле, пока от бу-

мажки не осталось одно тесто. И велико было его удивление, когда, испробовав от сего новоявленного варева, он нашел, что оно не токмо отменного, по цене своей, вкуса не имеет, но еще смердит по причине жира от множества потных рук, коими та бумажка была захватана.

Читатель! размысли, не имеет ли притча сия отношения к тем нашим реформаторам-нигилистам (увы! генерал все еще не мог забыть мировых посредников начала шестидесятых годов!), кои полученное от отцов наследие в котле переформировок варят, но варевом сим никому удовольствия не делают, а токмо смрад!

Но занятия эти не наполняли и миллионной доли той бездны досуга, которая оставалась в распоряжении генерала. Он сделался апатичен, брюзглив, почти близок к разрушению. Прежде он был консерватор, теперь — постоянно смешивал консерваторов с нигилистами и как-то загадочно говорил: давно пора! Прежде он был душою уездной охранительной оппозиции, теперь — только щелкал языком, когда ему рассказывали о новых реформаторских слухах. Все помнили его гордую и смелую позу в тот момент, когда катастрофа, несмотря на все контрпрожекты, явилась совершившимся фактом. «Сгною подлецов во временнообязанных, а на выкуп не пойду... нет! никогда!» — воскликнул он тогда — и что же? теперь он не только *пошел* на выкуп, но и вынужден был совершить его «по требованию одного владельца»...

Все его оставили, и он не мог даже претендовать на такое забвение, а мог только удивленными глазами следить, как все спешит ликвидировать и бежать из своего места. Оставались только какие-то мрачные наемники, которым удалось, при помощи ненавистных мужиков, занять по земству и мировым судам места, с которыми сопряжено кое-какое жалованье.

А Стрелов между тем цвел. Он вписался в купцы, женился на молодой купеческой дочери и выглядел совершенно природным купцом. Старого постоялого двора уже не было, на месте его возвышался полукаменный, двухэтажный дом, в верхнем этаже которого помещался сам хозяин, а внизу — его многочисленные приказчики и рабочие. Деятельность его кипела. Он торговал кабаками, рощами, скупал гурты и проч. До десяти кабаков и столько же лавочек со всяким крестьянским товаром в окрестностях Воплина держали все население в кабале. Постепенно оперяясь, Стрелов начал скупать земли и заводить хутора.

Ничего легкомысленного, напоминавшего прежнюю, пущенную из лука стрелу, не осталось в этом человеке. Даже

речь его изменилась. Прежде он говорил тòропко, склонив голову набок и беспрерывно озираясь по сторонам, как будто осведомляясь, не хочет ли кто дать ему сзади треуха по затылку. Теперь он выпускал слова точно жемчуг, мазал, уснащал речь околичностями, но так, что это было не смешно, а казалось как бы принадлежностью высокого купецкого слога. Он не покинул русской одежды, но последняя, особенно в праздничные дни, глядела на нем так щеголевато, что никому не приходило даже в голову видеть его в немецком неуклюжем костюме. Это был в полном смысле слова русский бельом: белый, рыхлый, с широким лицом, с пушистою свет-ло-русою бородкой и с узенькими, бегающими глазами. Любо было посмотреть, как он, нарядившись в синий тонкого сукна кафтан, в купецком шарабане, катил в воскресенье с разряженною в пух женой в воплинскую церковь, сам правя откормленным иноходцем, старинным генеральским подареньем. Генерал постоянно бледнел, когда видел этого коня, привязанного на время обедни к церковной ограде. Но делать было нечего, потому что Стрелов представлял уже силу. Мужики ломали перед ним шапки даже поспешнее, чем перед генералом, и считали за счастье бежать к нему, если он поманит кого пальцем. Сам батюшка постепенно привык смотреть на Стрелова, как на благонадежнейшего сына церкви, и по окончании обедни всегда высылал ему с дьячком просвиру.

При всей этой благополучной обстановке была, однако ж, язва, которая точила существование Стрелова. Этою язвой была господская воплинская усадьба. При воспоминании об ней фантазия его болезненно разыгрывалась. *Там* было приволье, был парк, была какая-то особенная прохлада в тенистых аллеях. Здесь, в этой низине, несмотря на все довольство, он все-таки — пес, а настоящий *барин* все-таки тот, который сидит *там,* наверху воплинской кручи, в недостроенном доме, среди признаков геологического переворота. И только *он,* сидящий *там,* имеет законное основание считать себя властелином окрестности, по праву, издавна признанному, а не купленному при содействии кабаков, и только *он* же всегда был и будет подлинным сыном церкви, а не нахальным пришлецом, воровски восхитившим не принадлежащее ему звание.

И он тосковал, выходил в сумерки любоваться на барский дом, рассчитывал на пальцах и втайне давал себе клятву во что бы то ни стало быть *там.*

Таково было положение дел на Вопле, когда, наконец, давно желанный и ожиданный Петенька приехал к отцу.

Прошло уже лет шестнадцать с тех пор, как он не бывал

в Воплине, и в течение этого времени он успел значительно пойти кверху. Уже года четыре он нес на плечах своих генеральский чин, но, к сожалению, я должен сознаться, что он нес его, как раб лукавый, постоянно вводивший в заблуждение благодеющее ему начальство.

Увы! я не могу скрыть, что наше неустойчивое во всех отношениях время выработало особенную породу чиновников-карьеристов, которые хотя прикидываются преданными, но, в сущности, никакой любви к начальству не питают. Эти люди обладают чрезвычайным чутьем относительно мелочей жизни и замечательною подвижностью, которая дозволяет им везде попадаться в глаза, так сказать, с оника. С проницательностью, достойной лучшей участи, они намечают «человека судьбы», приснащиваются к нему, льстят, изучают его характер и иногда даже разделяют колебания и невзгоды его карьеры... разумеется, если есть уверенность, что «человек судьбы» сумеет вынырнуть вновь. Если «человек судьбы» либеральничает — они захлебываются от либерализма, если «человек судьбы» впадает в консервативное озлобление — они озлобляются вдвое. Шалопаи по натуре и по воспитанию, они никогда не несут никакой деятельной службы, и потому постоянно состоят в качестве бессменных паразитов при административном механизме и принимают деятельнейшее участие во всех канцелярских интригах. Кроме того, они обладают небольшим запасом общих мест и взглядов, которые, при неуклонном повторении и благодаря современному оскудению, принимаются за что-то действительно похожее на некоторый нравственный и умственный фонд. Я знал, например, много таких карьеристов, которые, никогда не читав ни одной русской книги и получив научно-литературное образование в театре Берга, так часто и так убежденно повторяли: «la littérature russe — parlez moi de ça!»[1] или «ah! si l'on me laissait faire, elle n'y verrait que du feu, votre charmante littérature russe!»[2] — что люди, даже более опытные, но тоже ничего не читавшие и получившие научно-литературное образование в танцклассе Кессених[3], не на шутку поверили им. И вот, благодаря какому-нибудь глупому, но вовремя попавшемуся на язык слову, эти паразиты далеко проскакивают вперед и даже со временем становятся на страже.

Но повторяю: они не имеют никакой серьезной преданно-

[1] не говорите мне о русской литературе!

[2] ах, будь это в моей власти, я бы сжег ее, вашу очаровательную русскую литературу!

[3] Танцкласс этот был знаменит в сороковых годах и помещался в доме Тирсова, у Измайловского моста. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

сти к своим начальникам и благодетелям. Напротив того: бывали примеры самой черной неблагодарности и изумительно гнусного предательства...

Я не виню начальства за то, что оно не всегда провидит в сердцах подобных людей. Во-первых, оно обременено высшими государственными соображениями, а во-вторых — оно не всевидяще. Перед глазами его мелькают молодые и цветущие здоровьем люди, которые ничего другого не являют, кроме небрезгливой готовности,— и это, разумеется, нравится. Конечно, тут есть немножко пристрастия («Уж сколько раз твердили миру» и т. д.), но пристрастия совершенно естественного. Естественнее брать живой административный материал между своими, в том вечно полном садке, где во всякое время можно зачерпнуть «дàкающего человека», нежели в той несоследимой массе, о которой известно только то, что она не ведает никакой дисциплины, и которая, следовательно, имеет самые сбивчивые понятия о «тоне», представляющемся в данную минуту желательным. Последнее и хлопотливо, и рискованно. Хлопотливо — потому что приходится убеждать, разговаривать, что замедляет течение дел. Рискованно — потому что можно ждать иронического отношения. Тогда как свой человек, прямо животрепещущим вынутый из садка, ни малейших хлопот не представляет (только мигни — и он готов!), кроме, конечно, возможного предательства... Но ведь к предательству мы уже так привыкли, что оно, так сказать, уже вошло в наш домашний обиход и даже название носит не предательства, а savoir-vivre'a [1].

К таким именно обманывающим доверие начальства карьеристам принадлежал и Петенька Утробин. В 1860—1861 годах он был прогрессист; в 1862 году он поглядывал по сторонам и обнюхивал, чем пахнет; в 186 * году — прямо объявил себя консерватором.

Петенька не шутя вознамерился сообщить блеск фамилии Утробиных. Уже в школе он смотрел государственным младенцем, теперь же, в тридцать пять лет, он прямо и не шутя мнил себя государственным человеком en herbe [2]. Носились слухи, что в ресторане Бореля, по известным дням, собирается какая-то компания государственных людей en herbe (тут были и Федя, и Сережа, и Володя, и даже какой-то жидок, которому в воображаемых комбинациях представлялась блестящая финансовая будущность), душою которой был Петенька Утробин и которая постоянно злоумышляла против

[1] уменья жить.
[2] в будущем.

установленных порядков. Там, за изящным обедом, обсуждались текущие правительственные распоряжения (où allons-nous![1]) и развивались насущные государственные вопросы (je ne vous dis que ça![2]). В заключение, компания, закончив свои занятия, отправлялась в цирк или в театр Буфф.

Сам Петенька не готовил себя специально ни по какой части, но действовал с таким расчетом, чтоб быть необходимым всюду, где бы ни пришлось. Только военную, морскую и финансовую части признавал он стоящими вне его компетентности. Военную — потому что тут был уже кандидатом какой-то полководец, состоявший, в ожидании, на службе у некоего концессионера; морскую — потому что боялся морской болезни; финансовую — потому что не смел обойти жидка, у которого постоянно занимал деньги. Ко всем прочим частям он готовился неуклонно и каждую ночь, ложась спать, разрешал, хотя кратко, по одному государственному вопросу.

Вопрос: Какое необходимо образование для высших классов?

Ответ: Классическое, ибо только высшие классы обладают необходимым для чтения Кошанского («Universus mundus»[3], мелькает в это время в его голове) досугом.

Вопрос: Какое необходимо образование для средних классов?

Ответ: Реальное, с таким, впрочем, расчетом, чтобы каждый был обучаем в пределах своей специальности, не вторгаясь в специальности других.

Вопрос: Какое наиполезнейшее образование для низших классов?

Ответ: Никакого. Должны быть воспитываемы в страхе божием.

Вопрос: Есть ли необходимость, при управлении известною частью, знать составные части ее механизма и действие сих последних?

Ответ: Не только нет необходимости, но даже вред, ибо дает повод к умствованиям. Необходим лишь дар сердцеведения и удача в выборе подчиненных чиновников.

Вопрос: Нужен ли суд присяжных?

Ответ: С удобством может быть заменен судом постоянных дворянских заседателей, коим необходимо присвоить приличное содержание, снабдив притом надлежащими от начальства наставлениями.

И так далее.

[1] куда мы идем!
[2] о прочем умалчиваю!
[3] «Весь мир».

Решивши таким образом насущные вопросы, он с таким апломбом пропагандировал свои «идеи», что не только Сережа и Володя, но даже и некоторые начальники уверовали в существование этих «идей». И когда это мнение установилось прочно, то он легко достиг довольно важного второстепенного поста, где имел своих подчиненных, которым мог вполне развязно говорить: «Вот вам моя идея! вам остается только развить ее!» Но уже и отсюда он прозревал далеко и видел в будущем перспективу совсем иного свойства...

Тем не менее и у этого человека был червь, который грозил подточить все эти импровизированные перспективы: он по уши погряз в долгах. Игра в государственные подростки составляла лишь малую часть его существования; бо́льшая часть последнего была посвящена женщинам, обжорству и вину. Нынешние кокодессы не любят ни домашнего очага, ни так называемого «света», ни женщин его, ни его удовольствий. Они любят нанять женщину (иногда даже в кредит) и пользоваться ею на всей своей воле, как пользуются стаканом хорошего вина или вкусным блюдом. Поэтому нет ресторана, в котором они не были бы кругом должны, нет кокотки, которой бы они, в конце концов, самым постыдным образом не надули. Часто эти подвиги сходят с рук, но иногда они влияют на ход карьеры и даже получают трагический конец.

Петенька был именно в подобном положении, так что в последнее время у него окончательно закружилась голова. Почти беспрерывно он обращался к отцу с требованием денег, и надо отдать справедливость генералу, он редко отказывал. Выкупные свидетельства сбывались одно за другим и вырученные деньги отсылались в Петербург на поддержание Петенькиной карьеры. Но когда на дне шкатулки оказались какие-то смешные остатки, то генерал застонал. Он не спросил себя, чем он будет жить лично (у него, впрочем, оставалась в резерве пенсия),— он понял только, что посылать больше нечего.

В эту минуту приехал Петенька. Он явился взбешенный и совершенно не понимающий, каким образом могло случиться, что денег нет.

Свидание двух генералов было странное. Старый генерал расчувствовался и пролил слезы. Молодой генерал смотрел строго, как будто приехал судить старика. «Раб лукавый! — как бы говорил его холодный, почти стеклянный взор,— куда ты зарыл вверенный тебе талант?»

Старик, впрочем, не приметил этого с первого раза. Он помолодел и стряхнул с себя сонливость. С почти детскою

жадностью расспрашивал он об увольнениях, перемещениях, определениях, о слухах и предположениях, но молодой генерал на все вопросы отвечал нехотя, сквозь зубы. Наконец зашла речь и о деньгах. Старый генерал как бы сконфузился и только вздыхал; но молодой генерал настаивал. Тогда старик изложил положение дел довольно подробно и даже связно. Оказывалось, что воплинская экономия, со всеми ее обезлесенными угодьями, стоит много-много двадцать тысяч рублей; сверх того, оставалось еще одно выкупное свидетельство в десять тысяч рублей. В сумме все состояние фамилии Утробиных представляло ценность отнюдь не свыше тридцати тысяч рублей.

— Это черт знает что! — фыркнул молодой генерал.

— Да, друг мой; еще я, благодаря пенсиону, могу кой-как концы с концами сводить...— заикнулся было старый генерал.

Но молодой генерал уже окончательно вышел из себя и не дал ему окончить.

— Вы! вы! «вы можете»! еще бы... вы! Вы посмотрите только, как вы живете... вы! это что? это что? — восклицал он бешено, указывая пальцами на хаос, царствовавший в комнатах, и на изрытый берег Вопли, видневшийся через отворенную балконную дверь.

Старый генерал ни слова не сказал в ответ. Он покорно понурил седую голову, словно сознавая себя без оправдания.

— Вы! — продолжал между тем молодой генерал, расхаживая тревожными шагами взад и вперед по кабинету,— вы! вам нужна какая-нибудь тарелка щей, да еще чтоб трубка «Жукова» не выходила у вас из зубов... вы! Посмотрите, как у вас везде нагажено, насрамлено пеплом этого поганого табачища... какая подлая вонь!

Наконец он остановился против отца и пустил ему в укор:

— Но объясните же наконец, каким образом *это* могло случиться? Говорите же! что такое вы тут делали? балы, что ли, для уездных кокоток устроивали? Говорите! я желаю знать!

— Мой друг! я... я... ты сам отчасти... В последнее время... требования денег...

— Ну да! вот это прекрасно! *Я* — виноват! *Я* — много требовал! Я!! Je vous demande un peu![1] А впрочем, я знал заранее, что у вас есть готовое оправдание! *Я* — должен был жить на хлебе и воде! *Я* — должен был рисковать своею карьерой! *Я* — должен был довольствоваться ролью piqué-

[1] Прошу покорно!

assiette'a [1] при более счастливых товарищах! Вы *это,* конечно, хотите сказать?

— Сохрани бог, мой друг! но...

— Без всяких «но»! Point de «mais», mon père! [2] Я очень хорошо понимаю и вижу! Я зараньше знаю все, что вы можете сказать! О! я травленый зверь, mon père, меня провести не так-то легко! Ионы... Агнушки! — вот куда *дозволительно* бросать деньги! Им дома покупают, им отдают домашнюю движимость, им — всё! А сын — что̀ такое сын?! On l'engendre — et tout est dit! [3] И за это он обязывается почитать родителей и целовать у них ручки... ces chers parents! [4] Нет, вы скажите, зачем вы, вместо того чтоб действовать, извлекать, добывать ценности, в нелепые пререкания с Стреловым вошли?

— Но, друг мой, он-то и есть та причина...

— Нет, вы, вы, вы! Он доставал вам деньги! он умел это! И, конечно, он сумел бы достать и теперь! он нашел бы, из чего извлечь пользу! Вы! разве вы имеете понятие о том, что у вас есть? Разве можно поверить, чтобы всё... чтобы не было... ну, пустоши какой-нибудь... une prairie... une forêt... [5] А он... в пререкания входит! Ему, изволите видеть, оскорбительно, что в виду его усадьбы поселился честный труженик... oui, un honnête travailleur... [6] который, быть может, по̀том и кровью...

Петенька так расчувствовался, что произнес последние слова почти дрожащим голосом («au fond je suis démocrate!» [7] мелькнуло в его голове). В это же самое время он взглянул в окно.

— Э! да он там премило устроился! — воскликнул он,— целый городок... право!

— Он, друг мой, наш луг обманом...

— Обманом! а кто виноват? Вы, вы и вы! Зачем вы подписываете бумаги, не читая? а? На Иону понадеялись? а? И хотите, чтоб этим не пользовались люди, у которых практический смысл — всё? Mais vous êtes donc bien naïf, mon père! [8]

В таком духе разговор продолжался около двух часов. Наконец это надоело Петеньке. Он оставил старика под бреме-

[1] прихлебателя.
[2] Никаких «но», отец!
[3] Его родят — и кончено!
[4] дорогие родители!
[5] какого-нибудь луга... какого-нибудь леса.
[6] да, честный труженик.
[7] в глубине души я — демократ!
[8] Уж очень вы наивны, отец!

нем обвинений и, сказав: «il faut que je mette ordre à ça!»[1], выбежал из дома во вновь разведенный сад. Там все смотрело уныло и заброшенно; редко-редко где весело поднялись и оделись листвой липки, но и то как бы для того, чтобы сделать еще более резким контраст с окружающею наготой. Желая пробраться в старый парк, который все еще сохранял прежнюю дикую прелесть, Петенька спустился было по заросшей дорожке к пруду, который в этом месте суживался, и через переузину был когда-то перекинут мост, но вместо моста торчали сгнившие столбики. Взбешенный, побежал он назад, прибежал на скотную — никого не нашел, потом на конный двор — опять никого не нашел, и наконец случайно набрел на мужика, спавшего под деревом, растолкал его ногою и дал волю сквернословию. К обеду пришел он усталый, озлобленный, с пересохшим горлом и без малейшего признака аппетита.

Обед прошел молчаливо. Петенька брезгливо расплескивал ложкой превосходные ленивые щи (старый генерал хотел похвастаться, что у него, несмотря на «катастрофу», в начале июля все-таки есть новая капуста) и с каким-то неизреченным презрением швырялся вилкой в соусе из телячьей головки. Вино тоже не понравилось ему, хотя это был добрый St.-Julien, года четыре лежавший в подвале у генерала. Только по временам он прерывал тяжелое молчание (он, впрочем, не чувствовал его тяжести и фыркал совсем хладнокровно, как ни в чем не бывало), чтобы высказать поучение вроде следующего:

— Да-с, любезнейший родитель! Не могу похвалить ваши порядки! не могу-с! Пошел в сад — ни души! на скотном — ни души! на конном — хоть шаром покати! Одного только ракалью и нашел — спит брюхом кверху! И надобно было видеть, как негодяй изумился, когда я ему объяснил, что он нанят не для спанья, а для работы! Да-с! нельзя похвалить-с! нельзя-с!

— Они в это время отдыхают, мой друг, пòлдни...— попробовал оправдаться старый генерал.

— У вас, по-видимому, всегда пòлдни! И давеча пòлдни, и теперь пòлдни! Наспятся, потом начнут потягиваться да почесываться — опять пòлдни! Нет-с, этак нельзя-с! этак не управляют имениями! таким манером, конечно, никакого дохода никогда получить нельзя!

Генерал молча выслушивал эти реприманды. наклонив лицо к тарелке, и ни разу не пришло ему даже на мысль, что,

[1] мне придется навести здесь порядок!

несмотря на старость, он настолько еще сильнее и крепче своего пащёнка, что стоило ему только протянуть руку, чтоб раздавить эту назойливую гадину.

После обеда, едва старик успел вымолвить: «Ну, теперь я пойду...» — как уже Петенька схватился за фуражку и исчез из дома.

Старый генерал удалился в спальную и, по обыкновению, лег отдохнуть. Но ему не спалось. Что-то горькое до остроты, до жгучести шевелилось в его душе, хотя он и сам ясно не сознавал, что именно. Сомнительно, впрочем, чтоб это было чувство негодования, возбужденное поведением сына при встрече после шестнадцатилетней разлуки; скорее это было чувство упорного самообвинения. Действительно, ведь он от отца своего получил полную чашу, а сам оставляет сыну — что? Правда, что через него прошла, так сказать, целая катастрофа; но все же, если б повести дело умненько... да, именно, если б умненько повести!.. если б не воевать с дворовыми, не полемизировать с Анпетовым, если б сразу обрезать себя поновому, если бы не вверяться Антошке, если б... Генерал насчитал столько «если б», что об отдохновении нечего было и думать. Проворочавшись целый час с боку на бок, он встал с тяжелою головой и прежде всего спросил:

— Петр Павлыч не возвращался?

— Они к Антону Верельянову ушли,— услышал он в ответ.

Старик широко раскрыл глаза, словно сразу не понял.

А Петенька был действительно там, у того самого Антошки, которого одно имя производило нервную дрожь во всем организме старого генерала. Он решил этот вопрос очень скоро. Он сказал себе: «Все это вздор, в котором почтеннейший мой родитель может, если ему угодно, купаться хоть до скончания веков, но который я имею полное право игнорировать. Для меня ясно одно: что мне необходимы деньги и что на фàтера надежда плоха. Антошка же человек оборотливый, у него должны быть деньги, и он обязывается снабдить меня ими. Прежде всего я должен знать наверное, нет ли еще каких-нибудь ресурсов... например, лес, земля... и если нет, то... ma foi! [1] надо будет поступить решительно!»

Антошка словно предчувствовал, что молодой генерал посетит его, и едва лодка, перевезшая Петеньку, успела причалить к «Мыску», как уже Стрелов, облеченный в праздничный костюм, помогал ему выйти на берег.

[1] ей-богу!

— Если не ошибаюсь, Антон...— заговорил первый Петенька и остановился: он позабыл отчество Стрелова.

— Верельяныч-с,— поправил спокойно Стрелов,— вот и вы, ваше превосходительство, изволили в наши, можно сказать, палестины пожаловать?

— Да, ненадолго. А вы тут премило устроились... право! — любезно беседовал Петенька, оглядывая ряд построек, выведенных Стреловым,— этот дом... двухэтажный... вы в нем, конечно, сами живете?

— Точно так, ваше превосходительство, благодарение богу-с. Всё от него, от создателя милостивого! Скажем, теперича, так: иной человек и старается, а все ему милости нет, коли-ежели он, значит, создателя своего прогневил! А другой человек, ежели, к примеру, и не совсем потрафить сумел, а смотришь, создатель все ему посылает да посылает, коли-ежели перед ним сумел заслужить! Так-то и мы, ваше превосходительство: своей заслуге не приписываем, а все богу-с!

— Гм... это похвально! Все должны бы так думать... Но вы, надеюсь, напоите меня чаем?

— Помилуйте, ваше превосходительство, с превеликим нашим удовольствием. Даже за счастие-с... как мы еще папаши вашего благодеяния помним... Не токма что чашку чаю, а даже весь дом-с... все, можно сказать, имущество... просто, значит, как есть...

— Да... вот видите! сейчас вы сказали, что помните добро, которое вам сделал отец, а между тем ссоритесь со стариком! Дурно это, Антон Валерьяныч, нехорошо-с! — не то укорял, не то шутил Петенька.

— Ваше превосходительство! Как перед богом, так и перед вами-с! С моей стороны, окромя, можно сказать, услуги... чтобы его превосходительству, значит, спокой был... Да помилуйте! кабы не они, что же бы я без них был? Червь-с, червяк — и больше ничего! Неужто ж я не обязан это помнить! Да я, можно сказать, и денно, и нощно... А что с ихней стороны — это действительно-с... Позвольте вам доложить! даже походя сквернымн словами обзывают! Иной раз, сядешь, этта, у окошка, плачешь-плачешь: «Господи! думаешь, с моей стороны и услуга, и старание... ну, крикни его превосходительство с того берега... ну, так бы... И за все за это награда — просто, можно сказать, походя...»

— Ну, ничего! я это устрою! я, собственно, и приехал... все эти недоразумения... Уладим, почтеннейший мой, уладим мы это!

— А уж как бы мы-то, ваше превосходительство, рады были! точно бы промеж нас тут царствие небесное посели-

лося! ни шуму, ни гаму, ни свары, тихо, благородно! И сколько мы, ваше превосходительство, вас здесь ждем — так это даже сказать невозможно! точно вот ангела небесного ждем — истинное это слово говорю!

Комната. в которую Стрелов привел Петеньку, смотрела светло и опрятно; некрашеный пол был начисто вымыт и снабжен во всю длину полотняною дорожкой; по стенам и у окон стояли красного дерева стулья с деревянными выгнутыми спинками и волосяным сиденьем; посредине задней стены был поставлен такой же формы диван и перед ним продолговатый стол с двумя креслами по бокам; в углу виднелась этажерка с чашками и небольшим количеством серебра. Стены были нештукатуренные, в чем, впрочем, Стрелов немедленно извинился, сказав, что еще «не изобрал времени».

— Вы ведь женаты, кажется? — спросил Петенька.

— В законе-с.

— Надеюсь, что познакомите меня с супругой.

— Помилуйте, ваше превосходительство! даже осчастливите-с! Авдотья Григорьевна! — крикнул он, приотворив дверь в соседнюю комнату,— чайку-то! да сами-с! сами подайте! Большого гостя принимаем! Такого гостя! такого гостя, что, кажется, и не чаяли себе никогда такой чести! — продолжал он, уже обращаясь к Петеньке.

Через минуту, с подносом, уставленным чашками, вошла или, вернее сказать, выплыла и сама Авдотья Григорьевна. Это была женщина среднего роста, белая, рассыпчатая, с сахарными грудями, с серыми глазами навыкате, с алыми губами сердечком, словом сказать, по-купечески — красавица.

— В Кашине у купца взял-с! — похвастался Стрелов,— старинные купцы их родители! Еще когда Москва всей Расее голова была — еще тогда они торговали!

— Очень, очень приятно,— любезничал Петенька, между тем как Авдотья Григорьевна, стоя перед ним с подносом в руках, кланялась и алела.— Да вы что ж это, Авдотья Григорьевна, с подносом стоите? Вы с нами присядьте! поговорим-с.

— Что ж, сядьте, Авдотья Григорьевна, коли его превосходительство такое, можно сказать, внимание к вам имеют! — поощрил Стрелов и, обращаясь к Петеньке, прибавил: — Оне у меня, ваше превосходительство, городские-с! в монастыре у монашены обучались! Какой угодно разговор иметь могут.

— Тем лучше-с, тем лучше-с, милая Авдотья Григорьевна! Вот мы и поговорим! Скучаете здесь, конечно?

— Нет-с, нам скучать некогда, потому что мы завсегда в трудах...

— Оне у меня, ваше превосходительство, к своему делу приставлены-с, потому, мы так насчет этого судим, что коли-ежели эта самая... хочь бы дама-с... да ежели по нашему месту без трудов-с... больших тут мечтаниев ожидать нужно-с!

— Да, это так; я это сам... А все-таки, милая Авдотья Григорьевна, сознайтесь, что скучно?

— Конечно, коли-ежели сравнить с Кашином... там одних церквей сколько! Опять же родители...

— А в Петербург хотелось бы? Ну, признайтесь,— хотелось бы?

— Нет уж, куда в Петербург! вот в Кашин... в Угличе тоже весело живут! ну, а Калязин — нет, кажется, этого города постылее!

— Ну, Углич там, Кашин, Калязин... А все, я думаю, сердечко-то так в Петербург и рвется?

— Нет уж... В одном только я петербургским господам завидую: что они царскую фамилию постоянно видеть могут!

— Это делает вам честь, сударыня. Что же! со временем, когда дела Антона Валерьяновича разовьются, может быть, вам и представится случай удовлетворить вашему похвальному чувству.

— Нет уж... А вот у нас, в Кашине, один купец в Петербурге был, так сказывал: каждый день, говорит, на Невском в золотых каретах...

— Ну, это-то он, положим, от себя присочинил, а все-таки... Знаете ли что? потормошите-ка вы Антона Валерьяновича вашего, да и махнем... а я бы вам всё показал!

— Нет уж... А вы и во дворце бывали?

— Сколько раз, милая Авдотья Григорьевна!

— И государя видеть изволили?

— Сколько раз! Однажды даже...

Петенька вдруг ощутил потребность лгать. Он дал волю языку и целый час болтал без умолку. Рассказывал про придворные балы, про то, какие платья носят петербургские барыни, про итальянскую оперу, про Патти; одним словом, истощил весь репертуар. Под конец, однако, спохватился, взглянул на часы и вспомнил, что ему надо еще об деле переговорить.

— А я ведь к вам, Антон Валерьяныч, между прочим, и по делу,— сказал он.

— Извольте только приказать, ваше превосходительство! Все силы-меры, то есть сколько есть силы-возможности...

— Скажите, неужели дела отца так плохи?

— Так плохи! так плохи! то есть как только живут еще

его превосходительство! Усадьба, теперича, без призору... Скотный двор, конный... опять же поля... так худо! так худо!

— Да, и я уж заметил. Давеча бегал — нигде ни одной души не нашел. Один только мерзавец сыскался, да и тот вверх брюхом дрыхнет!

— Уж коли ваше превосходительство в короткую, можно сказать, минуту заметили, так уж нам-то что и говорить!

— А ведь знаете, генерал немного и вас обвиняет. Говорит, что вы весь лес за десять тысяч продали, тогда как...

— Первое дело, не десять, а пятнадцать тысяч я его превосходительству предоставил. Пять-то тысяч они на покупку Агнушке дома извели... Бог им судья, ваше превосходительство! конечно, маленького человека обидеть ничего не значит, однако я завсегда, можно сказать, и денно и нощно, словом, всем сердцем... Ваше превосходительство! позвольте вам доложить! что̀ я такое? можно сказать, червь ползучий, а может быть, и того хуже-с! Стало быть, ежели теперича сказать про меня: «Антон, мол, Стрелов вор!» — кому в этом разе стыд будет? Мне ли, который, примерно, все силы-меры... или тому, кто меня обидел?

— Так-то так, голубчик, только вот отец говорит, что за одни Петухи можно было десять тысяч выручить, а вы там всего на четыре тысячи дров продали.

— А коли-ежели можно было десять тысяч выручить, кто же, позвольте вам доложить, им в этом препятствие делал? А при сем, позвольте, ваше превосходительство, еще одно слово сказать! Всё — от ихнего нетерпения-с. Может быть, возможно было бы и больше выручить, да что ж, ежели они внимать ничему не хотят! Кто я таков и кто они-с? позвольте вас спросить. Я раб-с, а они господин-с. Следственно, ежели теперича мой господин мне приказывает: «Антон! продай такую-то пустошь за пять тысяч!» И я, значит, видючи, что эта пустошь, примерно, не пять тысяч стоит, а восемь, докладываю: «Не лучше ли, мол, ваше превосходительство, попридержаться до времени?» И коли-ежели при сем господин мне вторительно приказывает: «Беспременно эту самую пустошь чтоб за пять тысяч продать» — должен ли я господина послушаться?

— Ну, все-таки... Впрочем, это дело прошлое, я не об том... Скажите, неужели же у отца совсем-совсем никакого лесу не осталось?.. Ну, понимаете, который бы продать было можно?

— Теперича, ваше превосходительство, ежели всю дачу наскрозь обшарить, кажется, ни одного путного дерева не

найти. Для своего продовольствия кой-какой лесишко остался... Так, небольшое количество.

Петенька задумался.

— Ну, а зѐмли? ведь есть же лишние?

— Зѐмли, ваше превосходительство, по здешнему месту самый, значит, нестоющий товар. А при сем у папаши вашего в пустошах — один пенек-с. Даже поросли нет, потому что мужицкий скот безвыходно теперича по порубке ходит.

Петенька задумался еще больше и испустил глубокое «гм»...

— Чудеса! — вымолвил он наконец.

— Уж так чудно̀! так чудно̀, ваше превосходительство! Первые, можно сказать, по здешней округе помещики были и вдруг...

— Ну-с, так я того... постараюсь как-нибудь вас со стариком уладить. Может быть, сообща что-нибудь и придумаем! — сказал Петенька, поднимаясь.

— Сообща — как же можно-с! сообща — завсегда лучше! Ладком да мирком — смотришь, ан шутя что-нибудь полезное и представится.

Петенька воротился домой довольно поздно. Старый генерал ходил в это время по зале, заложив руки за спину. На столе стоял недопитый стакан холодного чая.

— *Там* был? — спросил старик, указывая глазами на балкон.

— Там. А знаешь ли, фа̀тер, ведь этот Антон — он вовсе...

— Ни слова, мой друг! — серьезно вымолвил старый генерал и, махнув рукою, отправился в спальную, откуда уже и не выходил целый вечер, прислав сказать сыну, что у него болит голова.

Несмотря на безмолвный протест отца, путешествия Петеньки на «Мысок» продолжались. Он сделал в этом отношении лишь ту уступку, что производил свои посещения во время послеобеденного сна старика. Вообще в поведении Петеньки и Стрелова было что-то таинственное, шли между ними какие-то деятельные переговоры, причем Петенька некоторое время не соглашался, а Стрелов настаивал и, наконец, настоял.

Дело в том, что Петеньке до зарезу нужно было иметь пятнадцать тысяч рублей, которые он и предположил занять или у Стрелова лично, или через его посредство, под документ. Стрелов и с своей стороны не прочь был дать деньги, но требовал, чтобы долговой документ был подписан самим стариком-генералом.

— Позвольте вам, ваше превосходительство, доложить! вы еще не отделенные-с! — объяснил он обязательно,— следственно, ежели какова пора ни мера, как же я в сем разе должен поступить? Ежели начальство ваше из-за пустяков утруждать — и вам конфуз, а мне-то и вдвое против того! Так вот, собственно, по этой самой причине, чтобы, значит, неприятного разговору промежду нас не было...

Петенька сделал еще несколько попыток к примирению отца с Стреловым, но всякий раз слышал один ответ: «Ни слова, мой друг!» — после чего старый генерал удалялся в спальную и запирался там.

Наконец Петенька решился: в одно прекрасное утро в кармане у Стрелова очутились четыре заемные обязательства, сроком на шесть месяцев, каждое в сумме пять тысяч рублей.

— Насилу уломал старика! — сказал молодой генерал, вручая документы Стрелову и получая от него, взамен их, пятнадцать тысяч рублей разношерстными пятипроцентными бумагами.

Миссия Петеньки была окончена, и он немедленно заторопился в Петербург. В последние два дня он уже не посещал «Мысок» и был почти нежен с отцом. Старый генерал, с своей стороны, по мере приближения отъезда сына, делался тревожен и взволнован, по-видимому тоже принимая какое-то решение.

Наконец наступила и минута разлуки. Экипаж стоял у крыльца; по старинному обычаю, отец и сын на минуту присели в зале. Старый генерал встал первый. Он был бледен, пошатываясь, подошел к сыну и слабеющими руками обнял его.

— Друг мой! — сказал он прерывающимся голосом,— служи! А это — вот...

С этими словами он сунул в карман Петеньки свое последнее выкупное свидетельство, с доверенностью на продажу его и на употребление вырученных денег по усмотрению.

Петенька поцеловал у папаши ручку, попробовал смигнуть с глаз слезу, но не смигнул, выбежал из комнаты и поспешно сел в экипаж.

Ровно через шесть месяцев генералу были предъявлены четыре документа, в которых значилось: «Я, нижеподписавшийся, повинен...» и в конце которых весьма отчетливо изображена была его собственноручная подпись: «Отставной генерал-лейтенант Павел Петров Утробин», с характерным росчерком, в форме вскинутой вверх лесы, к концу которой прикреплен крючок.

Генерал не сделал даже вида, что не понимает. Он спокойно признал документы за подлинные и предоставил приступить к описи и оценке Воплина.

Вечером того же дня он лежал в спальной, разбитый параличом.

ОПЯТЬ В ДОРОГЕ

Как-то не верится, что я снова в тех местах, которые были свидетелями моего детства. Природа ли, люди ли здесь изменились, или я слишком долго вел бродячую жизнь среди иных людей и иной природы,— как бы то ни было, но я с трудом узнаю родную окрестность.

С освобождением крестьян помещиками овладело какое-то страстное желание ликвидировать. Безденежье, неумелость, неприготовленность, гнет старых привычек и приемов — все соединилось, чтобы поддерживать в них это стремление. Выражение: «У нас все свое, некупленное» — сделалось уже преданием. Теперь у всех все купленное, и притом втридорога, потому что сделать нужные закупки оптом, в свое время и в своем месте, нет средств, а местный торговец-монополист на всё назначает цену по душе. Доходы же приходится собирать двугривенными и пятаками, да при этом иметь еще разговор с мировым судьей. Как будто впервые всех поразила мысль, что существует какой-то процесс, без которого пашня не производит хлеба, луга — травы. Прежде все это производилось без всякого процесса, так как-то, само собой; теперь — нет. Побьется-побьется помещик и придет к убеждению, что единственный для него выход — ликвидировать. А так как помещик здесь исстари был властелином лесов, полей, лугов и всего, что на земле, и всего, что под землею, то и выходит, что как будто вся местность разом ликвидирует...

В настоящее время все составляет бремя для помещика: и вода, и небо, и земля, и даже собственный, приходящий к разрушению дом. Пашни лежат запустелые, потому что хотя и пробовали сгоряча на первых порах пахать, но напахали себе в карман и бросили. Луга заезжены и потравлены, потому что прежнее властное слово «не сметь!» никого уж не сдерживает. Пустоши никому не нужны и поросли черт знает чем. Естественно, что при таком положении дела нет иного спасения, кроме ликвидации. Но — вопрос: кàк ликвидировать? Продать землю? — за землю дают грош, да и тот с рассрочкой. Воспользоваться выкупною ссудой? — она давно уж пущена в оборот, на затычку старинных помещичьих легкомысленностей. И вдруг все как-то разом прозрели: нашлась

статья настоящая, серьезная — леса. Леса здесь были сплошные, береженые: на лес не было покупателя, потому что нечего было с ним делать. Лесом исключительно и притом беспошлинно пользовались крепостные крестьяне, которые курили смолу, сидели деготь, делали кадки, чашки, ложки и другой щепной товар. Теперь въезд в помещичий лес крестьянам возбранен, лесной промысел пал, и, конечно, надолго остался бы лес мертвым капиталом и для помещиков, и для края, если б на выручку не подоспели железные дороги, которые значительно приблизили пункты сбыта. Вместе с первым слухом о железных дорогах появились и личности из местных прасолов, кабатчиков, бывших приказчиков, бурмистров и прочего деревенского делового люда, которые начали неутомимо разъезжать на беговых дрожках от помещика к помещику, предлагая свое содействие по устройству ликвидации. Помещики ободрились. «Продать! продать! — завопили они хором,— продать, и затем бежать!»

Я еду и положительно ничего не узнаю. Вот здесь, на самом этом месте, стояла сплошная стена леса; теперь по обеим сторонам дороги лежат необозримые пространства, покрытые пеньками. Помещик зря продал лес; купец зря срубил его; крестьянин зря выпустил на порубку стадо. Никому ничего не жалко; никто не заглядывает в будущее; всякий спешит сорвать все, что в данную минуту сорвать можно. И вот, давно ли началась эта вакханалия, а окрестность уже имеет обнаженный, почти безнадежный вид. Пеньки, пеньки и пеньки; кой-где тощий лозняк.

— Нехороши наши места стали, неприглядны,— говорит мой спутник, старинный житель этой местности, знающий ее как свои пять пальцев,— покуда леса были целы — жить было можно, а теперь словно последние времена пришли. Скоро ни гриба, ни ягоды, ни птицы — ничего не будет. Пошли сиверки, холода, бездождица: земля трескается, а пару не дает. Шутка сказать: май в половине, а из полушубков не выходим!

И точно: холодный ветер пронизывает нас насквозь, и мы пожимаемся, несмотря на то что небо безоблачно и солнце заливает блеском окрестные пеньки и побелевшую прошлогоднюю отаву, сквозь которую чуть-чуть пробиваются тощие свежие травинки. Вот вам и радошный май. Прежде в это время скотина была уж сыта в поле, леса стонали птичьим гомоном, воздух был тих, влажен и нагрет. Выйдешь, бывало, на балкон — так и обдает тебя душистым паром распустившейся березы или смолистым запахом сосны и ели.

— Помнишь, Софрон Матвеич, в прежнее время, бывало,

в семицкий четверг девки венки завивали? — обращаюсь я к моему спутнику.

— Да и вы, чай, помните, как в троицын день в беленьких панталонцах, с цветочками в руках, в церковь хаживали?

Да, все это было. И девки венки завивали, и дворянские дети, с букетами пионов, нарциссов и сирени, ходили в троицын день в церковь. Теперь не то что пиона, а и дворянского дитяти по всей окрестности днем с огнем не отыщешь! Теперь семик на дворе, и не то что цветка не сыщешь, а скотина ходит в поле голодом!

— Вон она, Григорий Александровичева усадьба-то! — говорит между тем Софрон Матвеич,— была усадьба, а нынче смотри, как изныла!

В стороне стоит что-то длинное, черное, дом не дом, казарма не казарма. По одному наружному виду этого жалкого строения можно об заклад побиться, что в нем нет ни единой живой половицы, что в щели стен его дует, что на стенах этих обои повисли клочьями. Половина окон (в бывших парадных комнатах) закрыта ставнями; на другой половине ставни открыты, но едва держатся на петлях, вздрагивают и колотятся об стены, чуть посильнее подует ветер. Ни одного цельного стекла, а в иных местах вместо стекол вмазана синяя сахарная бумага. Нигде — ни плетня, ни изгороди. Бывший перед домом палисадник неведомо куда исчез — тоже, должно быть, изныл; бывший «проспект» наполовину вырублен; бывший пруд зарос и покрыт плесенью, а берега изрыты копытами домашних животных; от плодового сада остались две-три полувымерзшие яблони, едва показывающие признаки жизни...

Усадьба эта и в цветущие свои времена не могла назваться красивою, но зато она постоянно кипела млеком и медом. Григорий Александрыч Гололобов, старого закала помещик, не заботился ни о красоте, ни об удобствах, но зато его дом уподоблялся трактирному заведению, в котором всякий «прилично одетый» мог с утра до вечера пить и есть. Он даже не был особенно богат, и я очень хорошо помню, что соседи удивлялись, каким образом Григорий Александрыч от каких-нибудь ста душ мог так роскошествовать. Но он, по-видимому, слишком хорошо постиг тайны крепостного права и на все удивления относительно его житья-бытья объяснялся так:

— Сто душ — большое, батенька, дело! Сто душ — это сто хрѐбтов-с!

И продолжал кормить и поить до тех пор, пока не ударил грозный час...

— А жив еще Григорий Александрыч? — спрашиваю я.

— Живет! Вон окно-то — там и ютится. Был я у него

намеднись, нагажено у него, насорено в горнице-то! Ни у дверей, ни у окон настоящих запоров нет; войди к нему ночью, задуши — никто три дня и не проведает! Да и сам-то он словно уж не в уме!

— Стар!

— Одно дело — стар, другое дело — разоренье. Теперь он, можно сказать, весь обнажился; ни́ у него хлеба, ни́ травы — хуже, не чем у иного мужика!

— Что так?

— Да сначала, как уставную-то грамоту писал, перестарался уж очень. Землю, коя получше, за собой оставил, ан дача-то и вышла у него клочьями. Тоже плут ведь он! думал: «Коли я около самой ихней околицы землю отрежу, так им и курицы некуда будет выпустить!» — ан вышло, что курицы-то и за́все у него в овсе!

— Чай, судится с крестьянами-то?

— Пытал тоже судиться, да смех один вышел: хоть каждый день ты с курицей судись, а она все пойдет, где ей лакомо. Надзору у него нет; самому досмотреть нет возможности, а управителя нанять — три полсотни отдать ему надо. Да и управителю тут ни в жизнь не углядеть, потому, в одном месте он смотрит, а в другом, гляди, озоруют!

— На чем же он порешил?

— Да не поймешь его. Сначала куда как сердит был и суды-то тре́клял: «какие, говорит, это праведные суды, это притоны разбойничьи!» — а нынче, слышь, надеяться начал. Все около своих бывших крестьян похаживает, лаской их донять хочет, литки с ними пьет. «Мы, говорит, все нынче на равной линии стоим; я вас не замаю, и вы меня не замайте». Все, значит, насчет потрав просит, чтоб потрав у него не делали.

— Ну, и что ж крестьяне... чувствуют?

— Нельзя сказать, чтоб очень. Намеднись один мужичок при мне ему говорит: «Ты, говорит, Григорий Александрыч, нече сказать, нынче парень отменный стал, не обидчик, не наругатель, не что; а прежнее-то, по-твоему, как?» — «А прежнее, говорит, простить надо!»

— Отчего ж бы и не простить, в самом деле.

— Отчего не простить! Вот и я в те поры тоже подумал: «Стар, мол, ты стар, а тоже знаешь, где раки зимуют! Прежнее чтобы простить, а вперед чтобы опять по-прежнему!» Да вот, никак, и сам он!

Смотрим: невдалеке от дороги, у развалившихся ворот, от которых остались одни покосившиеся набок столбы, стоит старик в засаленном стеганом архалуке, из которого местами

торчит вата, и держит руку щитком над глазами, всматриваясь в нас. На голове у него теплый картуз, щеки и губы обвисли, борода не брита, жидкие волосы развеваются по ветру; в левой руке березовая палка, которую он тщетно старается установить.

— Неужто это Григорий Александрыч? — спрашиваю я, до такой степени изумленный, что мне не приходит даже на мысль остановить лошадей, чтоб поздороваться с маститым свидетелем игр моего детства.

— Он самый и есть. Смотри, как палка-то у него в руках прыгает; с палкой совладать уж не может.

— Господи! а какой был прежде белый да румяный!

— Был румян, поколь свои мужики на барщину ходили, а теперь вон какой стал. Сердитые нынче, сударь, времена настали.

— Чем же так уж очень сердиты?

— Да тем, что спустя-то рукава нынче уж, видно, редко кому прожить доведется!

— Ну, что ж такое! стало быть, дело надо делать — вот и все.

— Да и на дело-то нынешнее посмотришь, так словно бы оно на мошенничество похоже стало. Прежде совсем делов не было, а нынче уж слишним их много, а настоящего, постоянного дела все-таки нету — все с наскоку. Перервал горло, утащил, надул — и убёг. Вот нынешнее дело. Настоящий-то, постоянный-то человек промеж дошлых и пропадает. Со всех сторон его окружили, нигде ни расчету, ни суда ему нет. Да и соблазн велик. Станет человек постоянное-то дело делать — ан тут его сейчас лукавый смутит! Зачем, скажет, работать, коли обманом да колотырничеством жить можно! А иной с непривычки и обмануть-то путем не умеет! Смотришь, ан со временем или по судам его таскают, или он в кабаке смёртную чашу пьет!

— Так неужто ж прежде лучше было?

— Лучше не лучше, только прежде мы об своих качествах-то помалчивали да потихоньку их прикапливали. При крепостном-то праве мы словно в тюрьме сидели, и каки́-таки́ были у нас добродетели — никому о том было не ведомо. А теперь все свои капиталы вдруг объявили. А и капиталов-то у нас всего два: жрать да баклуши бить. Жрать хочется, а работа́ть не хочется (прежде, стало быть, при крепостном праве вдосталь наработались!) — ну, и ищут, как бы вьюном извернуться. Иной всю жизнь без штанов жил, да и дела отродясь в глаза не видал — ан, смотришь, он в трактире чай пьет, поддевку себе из синего сукна сшил! Спроси его, что̀ он

сработал, откуда у него что̀ проявилось,— он не то что тебе, да и себе-то настоящего ответа дать не сумеет! Так маклаченьем да карманной выгрузкой и живет. Да что и говорить! Всякого спроси, всякий скажет: сердитые нынче времена пришли!

— Бог милостив, Софрон Матвеич! Перемелется — все мука̀ будет!

— Известно, бог не без милости! Однако вот пошли пожары, падежи — значит же это что-нибудь!

— Да ведь и прежде это не в редкость было!

— Было и прежде, да прежде-то от глупости, а нынче всё от ума. Вороват стал народ, начал сам себя узнавать. Вон она, деревня-то! смотри, много ли в ней старых домов осталось!

Мы въехали в довольно большую деревню, в которой было два порядка изб; один из них был совершенно новый, частью даже не вполне достроенный; другой порядок тоже не успел еще почернеть от времени.

— Прошлого года в Покров сгорели: престольный праздник у них тут; а три года назад другой порядок горел! А сибирская язва и не переводится у нас. В иной деревне что ни год, то половину стада выхватит!

— Божья воля, Софрон Матвеич, вот и все!

— Божья воля — само собой. А главная причина — строгие времена пришли. Всякому чужого хочется, а между прочим, никому никого не жаль. Возьмем хоть Григорья Александрыча. Ну, подумал ли он, как уставную-то грамоту писал, что мужика обездоливаст? подумал ли, что мужику либо землю пахать, либо за курами смотреть? Нет, он ни крошки об этом не думал, а, напротив того, еще надеялся: «То-то, мол, я штрафо́в с мужиков наберу!»

— А ведь самое это выгодное дело, Софрон Матвеич, с мужиков штрафы брать!

— Выгодное — как не выгодное. Теперича, ежели мужика со всех сторон запереть, чтоб ему ни входу, ни выходу — чего еще выгоднее! Да ведь расчет-то этот нужно тоже с умом вести, сосчитать нужно, стоит ли овчинка выделки! Ну, а Григорий Александрыч не сосчитал, думал, что штрафы-то сами к нему в карман полезут — ан вышло, что за ними тоже походить надо!

— Чай, и кается же он теперь?

— Каяться, как не каяться, да потому только и кается, что выдумка его не удалась. А кабы удалась, так и он бы теперь пироги с начинкой ел.

— Видишь, стало быть, не всегда это верно на чужой-то карман рассчитывать!

— Как вам сказать, сударь! Григорий Александрыч тут не пример. У него хоть и не задашный, а все свой кус есть. Вот он теперь и казнится на него, думает: лучше было бы, кабы по-божески спервоначалу поступить! Ну, а другому и каяться-то резону нет. Народ нонче все гольтепа, бездомовый пошел: на что ни пустись — все ему хуже прежнего не будет. Хоть лишнюю рюмку вина выпьет — и то в барышах. Скажем теперича хоть про престольные праздники. Найдет тут народу в деревню видимо-невидимо, и всякий вина просит. Не дал ты ему вина — он тебя с сердцов спалил, да и соседей твоих зауряд!

— Не может быть! из таких пустяков!

— Верное слово говорю. Чтобы ему на ум пришло, что он чужое добро жжет — ни в жизнь! Иной даже похваляется, чтоб его боялись. И не токма что похвальба эта с рук ему сходит, а еще каждый день пьян бывает!

— Ну, а падежи-то отчего ж?

— Да тоже главная причина та, что всякий норовит поскорей нажиться. У нас в городе и сейчас все лавки больной говядиной полнехоньки. Торговец-то не смотрит на то, какой от этого разор будет, а норовит, как бы ему барыша поскорей нажить. Мужик купит на праздник говядинки, привезет домой, вымоет, помои выплеснет, корова понюхает — и пошла язва косить!

— Однако нехороши у вас дела!

— Чего хуже! День живем, а завтра что будет — не ведаем.

— А знаешь, ведь нас учат, что нигде не так крепко насчет собственности, как между крестьянами!

— Ведомое дело, кому своего не жаль!

— Нет, не насчет только «своей» собственности, а вообще. У вас, говорят, и запоров в заводе нет!

— Не знаю, как в других местах, а у нас на этот счет строго. У нас тех, которые чужое-то добро жалеют, дураками величают — вот как!

— Да ведь не пойдешь же, например, *ты* за чужим добром?

— Мне на что! у меня свое есть!

— Представь себе, однако, что у тебя своего или нет, или мало: неужто же ты...

— Зачем представлять! что вы!

— Ну, да представь же!

— Пустое дело вы говорите! — зачем я стану представлять, чего нет!

Вопрос этот так и остался неразрешенным, потому что

в эту минуту навстречу нам попались беговые дрожки. На дрожках сидел верхом мужчина в немецком платье, не то мещанин, не то бывший барский приказчик, и сам правил лошадью.

— Хрисанф Петрович! куда? — кричит Софрон Матвеич, высовываясь всем корпусом из тарантаса и даже привставая в нем.

Проезжий отвечает что-то, указывая рукой по направлению гололобовской усадьбы.

— Ну, так и есть, к Гололобову едет. То-то Григорий Александрыч высматривал. Это он его поджидал. Ну, и окрутит же его Хрисашка!

— Разве дела у них есть?

— Леску у Гололобова десятин с полсотни, должно быть, осталось — вот Хрисашка около него и похаживает. Лесок нештò, на худой конец, по нынешнему времени, тысяч пяток надо взять, но только Хрисашка теперича так его опутал, так опутал, что ни в жизнь ему больше двух тысяч не получить. Даже всех прочих покупателев от него отогнал!

— Кто же этот Хрисашка? давно он в здешних местах?

— Хрисанф Петрович господин Полушкин-с? — Да у Бакланихи, у Дарьи Ивановны, приказчиком был — неужто ж не помните! Он еще при муже именьем-то управлял, а после, как муж-то помер, сластить ее стал. Только до денег очень жаден. Сначала тихонько поворовывал, а после и нахалом брать зачал. А обравши, бросил ее. Нынче усадьбу у Коробейникова, у Петра Ивановича, на Вопле на реке, купил, живет себе помещиком да лесами торгует.

— Хрисаша! помню! помню! какой прежде скромный был!

— Был скромный, а теперь выше лесу стоячего ходит. Медаль, сказывает, во сне видел. Всю здешнюю сторону под свою державу подвел, ни один помещик дыхнуть без его воли не может. У нас, у Николы на Вопле, амвон себе в церкви устроил, где прежде дворяне-то стаивали, алым сукном обил — стойт да охорашивается!

— Вот как!

— Уж такая-то выжига сделался — наскрозь на четыре аршина в землю видит! Хватает, словно у него не две, а четыре руки. Лесами торгует — раз, двенадцать кабаков держит — два, да при каждом кабаке у него лавочка — три. И везде обманывает. А все-таки, помяните мое слово, не бывать тому, чтоб он сам собой от сытости не лопнул! И ему тоже голову свернут!

— Проворуется, значит?

— Не то что проворуется, а нынче этих прожженных,

словно воронья, развелось. Кусков-то про всех не хватает, так изо рту друг у дружки рвут. Сколько их в здешнем месте за последние года лопнуло, сколько через них, канальев, народу по миру пошло, так, кажется, кто сам не видел — не поверит!

— А у нас, брат, толкуют, что в русском человеке предприимчивости мало! А как тебя послушать, так, пожалуй, ее даже больше, чем следует!

— Уж на что вороватее. Завелось, например, нынче арендателев много: земли снимают, мельницы, скотные дворы — словом, всю помещичью угоду в свои руки забрали. Спроси ты у него, кто он таков? Придет он к тебе: в кармане у него грош, на лице звания нет, а тысячным делом орудовать берется. Одно только и держит на уме: «Возьму, разорю и убегу!» И точно, в два-три года всё до нитки спустит: скотину выпродаст, стройку сгноит, поля выпашет, даже кирпич какой есть — и тот выломает и вывезет. А под конец и сам в трубу вылетит!

— Так, значит, насчет собственности-то и у вас не особенно крепко? Ну, по крайней мере, хоть насчет чистоты нравов... надеюсь, что в этом отношении...

— Это насчет снохачей, что ли?

— Какие тут снохачи... снохачи — это, братец, исключение... Я не об исключениях тебе говорю, а вообще...

— А вообще — так у нас французская болезнь есть. Нынче ее во всякой деревне довольно завелось.

— Как же это так, однако ж! Ни к собственности уважения, ни к нравственности! Согласись, что этак, наконец, жить нельзя!

— Да кабы не палка — и то давно бы оно врозь пошло.

— Позволь! ты говоришь: «Кабы не палка!» Но ведь нельзя же век свой с палкой жить! Представь себе, что палки нет... ведь можно себе это представить?

— Никак этого представить нельзя!

— Ну, да представь, однако! Все только палка да палка — это даже безнравственно! *Должно* же когда-нибудь это кончиться! Что ж будет, если палку, наконец, сократят?

— А то и будет, что все врозь пойдет!

— Послушай! Да какой же еще больше розни, чем та, которая, по твоим же словам, теперь идет! Ни собственности, ни нравственности... французская болезнь... чего хуже!

— Это так точно!

— Так что же палка-то твоя делает? отчего ж она никого не исправляет?

— Ну, всё же поберегаются!

— Поберегаются... Хрисашка, например! И ведь поди,

чай, этот самый Хрисашка, если не только что украсть у него, а даже если при нем насчет собственности что-нибудь неладно сказать,— поди, чай, как завопит!

— Само собой, завопит!

— А он, как ты сам говоришь, чуть не походя ворует. Вот и теперь, пожалуй, Гололобову в карман руку запускает!

— Запущает — это верно. Трещит Григорий Александрыч да еще его же, подлеца, беспременно водкой поит!

— А коли ты знаешь, что он подлец, зачем же ты подлецу кланяешься? зачем картуз перед ним снимаешь?

Софрон Матвеич при этом вопросе на минуту словно опешил, но тотчас же, впрочем, опять оправился.

— Позвольте-с! Как же я ему не поклонюсь,— ответил он мне уже совершенно резонно,— коли он у нас теперь в округе первый человек?

— Нет, ты не виляй! ты ответь, что̀ все это значит?

— А то и значит, что «не пойман — не вор»!

Итак, изречение: «не пойман — не вор», как замена гражданского кодекса, и французская болезнь, как замена кодекса нравственного... ужели это и есть та таинственная подоплека, то искомое «новое слово», по поводу которых в свое время было писано и читано столько умильных речей? Где же основы и краеугольные камни? Ужели они сосланы на огород и стоят там в виде пугал... для «дураков»?

Григорий Александрыч обездоливает крестьян; Хрисашка обездоливает Григория Александрыча; пропоец, из-за рюмки водки, обездоливает целую деревню; мещанин-мясник, из-за грошового барыша, обездоливает целую палестину... Никому ничего не жаль, никто не заглядывает вперед, всякий ищет, как бы сорвать сейчас, сию минуту, и потом... потом и самому, пожалуй, вылететь в трубу.

Если б мне сказал это человек легкомысленный — я не поверил бы. Но Софрон Матвеич не только человек, вполне знакомый со всеми особенностями здешних обычаев и нравов, но и сам в некотором роде столп. Он консерватор, потому что у него есть кубышка, и в то же время либерал, потому что ни под каким видом не хочет допустить, чтоб эту кубышку могли у него отнять. Каких еще столпов надо!

Но все-таки должно сознаться, что и в рассказах Софрона Матвеича есть слабая сторона. Если довериться ему безусловно со всеми выводами, какие он делает, то непонятно было бы, каким образом люди живут. А между тем люди не только живут, но и преуспевают. Ясно, что Софрон Матвеич слиш-

ком исключительно моралист, и в то же время не менее ясно и то, что мораль его имеет довольно узкую исходную точку. Он сам аккуратен и требует такой же аккуратности от других — разве такая низменная мораль может быть навязана миру, как общеобязательный жизненный принцип?

То, в чем он видит развращение нравов, есть собственно бестолочь, происшедшая вследствие смешения понятий, уже известных, отвержденных, с понятиями искомыми, еще не имеющими на рынке определенного курса. Человек чувствует себя спутанным и, вместо того чтоб искать этих пут около себя, шарит руками в пространстве. Человек ищет, где лучше, но, не имея даже приблизительных сведений насчет того, где раки зимуют, естественным образом вынуждается беспрестанно перебегать из области дозволенного в область запретного и наоборот. Если его ограбят, он старается изловить грабителя, и буде изловит, то говорит: «Стой! законами грабить не позволяется!» Если он сам ограбит, то старается схоронить концы в воду, и если ему это удастся, то говорит: «Какие такие ты законы для дураков нашел! для дураков один закон: учить надо!» И все кругом смеются: в первом случае смеются тому, что дурака поймали, во втором — тому, что дурака выучили. Что̀ может тут сделать мораль, когда ее отправные пункты давным-давно всеми внутренно осмеяны и оставлены, в виде реторической шумихи, в назидание... дуракам! Но даже и для дураков они страшны лишь потолику, поколику за ними стоит острог...

Должно быть, иначе уж нельзя жить, коли люди так живут и впредь так жить надеются. Ворчит Софрон Матвеич (хоть он же вместе с тем сознается, что «не пойман — не вор»), а Хрисашки свое дело делают. Видно, они уж раскинули умом, что не так черен черт, как его малюют. А в деле воровства — это главное. Поначалу, воровать действительно страшно: все кажется, что чужой рубль жжется; а потом, как увидит человек, что чужой рубль имеет лишь то свойство, что легче всего другого обращается в свой собственный рубль, станет и походя поворовывать. Точно так же и насчет чистоты нравов; только сначала есть опасение, как бы бока не намяли, а потом, как убедится человек, что и против этого есть меры и что за сим, кроме сладости, ничего тут нет,— станет и почаще в чужое гнездо заглядывать. «Заведи свою жену! заведи свой рубль!» — говорит негодующий Софрон Матвеич; а Хрисашка ему в ответ: «А зачем мне заводить, коли ты для меня и жену, и рубль припас!»

Некоторые видят в подобных фактах войну и протест. Это, дескать, война незваных против званых, это глухой протест

обделенных против общественной несправедливости. А по-моему, так тут и войны никакой нет. Если б в область запретного врывались одни обделенные, тогда еще можно было бы, хоть с натяжкою, сказать: «Да, это протест!» Но ведь сплошь и рядом званые-то еще ходчее в эту область заглядывают. Стало быть, не только незваным, но и званым туго пришлось. Да и как, наконец, определить, кто обделен, кто не обделен? Конечно, сытому воровать стыднее, нежели голодному, и Софрон Матвеич, я знаю, первый упрекнет сытого: «Не стыдно ли тебе, скажет: добро бы у тебя своего куска не было!» А Хрисашка ему в ответ: «А ты мой аппетит знаешь? мерил ты мой аппетит?»

Я не говорю, что Хрисашка представляет собой образец добродетели; я знаю, что он кругом виноват, а напротив того, критик его, Софрон Матвеич (впрочем, снимающий перед Хрисашкой картуз), кругом прав. Но я знаю также, что Софрон Матвеич влачит свое серенькое существование с грехом пополам, между тем как Хрисашка блестит паче камня самоцветного и, конечно, не всуе видит во сне медаль. Софрон Матвеич придет в церковь, станет скромненько в уголок, и поп не назовет его ни истинным сыном церкви, ни ангельского жития ревнителем и не вынесет просвиры. А Хрисашка взойдет в церковь, так словно светлее в ней сделается; взойдет и полезет прямо на свой собственный, крытый алым сукном амвон. И поп скажет ему притчу, начнет с «яко солнцу просиявающу» и кончит: «тако да воссияешь ты добродетелями вовек», а в заключение сам вручит ему просвиру. По выходе же из церкви Софрону Матвеичу поклонится разве редкий аматёр добродетелей (да и то, может быть, в том расчете, что у него все-таки кубышка водится), а Хрисашке *все* поклонятся, да не просто поклонятся, а со страхом и трепетом; ибо в руках у Хрисашки хлеб *всех*, всей этой чающей и не могущей наесться досыта братии, а в руках у Софрона Матвеича — только собственная его кубышка.

«Я в трубу не вылечу, а Хрисашка — вот помяните мое слово! — не долго нагуляет!» — говорил мне Софрон Матвеич. Прекрасно; но для Хрисашки это все-таки довод не убедительный. Разве ты когда-нибудь жил, Софрон Матвеич? Разве ты испытал, какое значение имеют слова: «пожить в свое удовольствие»? Нет, ты не жил, а только уберегался от жизни да поученья себе читал. Захочется тебе иной раз во все лопатки ударить (я знаю, и у тебя эти порывы-то бывали!) — ан ты: «Нет, погоди — вот ужо!» Ужо да ужо — так ты и прокис, и кончил на том, что ухватился обеими руками за кубышку да брюзжишь на Хрисашку, а сам ему же кла-

няешься! А у Хрисашки кубышки и в заводе нет, ему не над чем дрожать, потому что у него деньга вольная. Всякая деньга — его деньга: и та, которая у тебя в кармане тщетно хоронится от его прозорливости, и та, которая скрывается в груди, в мышцах, в спине вот у этого прохожего, который с пилой да с заступом на плече пробирается путем-дорогой на промысел. Или опять насчет чистоты нравов — разве ты настоящей сладости-то вкусил? Приглянется тебе, бывало (еще при крепостном праве это было), Дунька, старостина жена, а ты: «Нет, погоди! неравно староста обидится!» Погоди да погоди, и дожил до того, что теперь нечего тебе другого и сказать, кроме: «Хорошо дома; приеду к Маремьяне Маревне, постелемся на печи да и захрапим во всю ивановскую!» А у Хрисашки и тут все вольное: и своя жена вольная, и чужая жена вольная — как подойдет! Безнравствен Хрисашка, прелюбодей он и вор — что говорить! И в трубу вылетит, и в острог попадет — это верно. Но и в остроге ему будет чем свою жизнь помянуть да порассказать «прочиим каторжныим», как поп его истинным сыном церкви величал да просвирами жаловал, а ты и на теплой печи, с Маремьяной Маревной лежа, ничего, кроме распостылого острога, не обретешь!

Ты говоришь: «Поп завидущ; захочу, десять рублей пошлю — он и не такую притчу мне взбодрит!» Знаю я это. Но вспомни, что ведь ты добродетельный, а Хрисашка вор и прелюбодей. Если об тебе и за десять копеек поп скажет, что ты ангельского жития ревнитель — он немного солжет, а каково об Хрисашке-то это слышать! Хрисашка, сияющий добродетелями! Хрисашка, аки благопотребный дождь, упояющий ниву, жаждущу, како освежитися! Слыхана ли такая вещь! А разве ты не слыхал?

Да взгляни же ты наконец на Хрисашку, как он невозмутим, спокоен, самодоволен! С каким неизреченным состраданием взирает он с своего амвона на тебя, героя собственной кубышки, поборника невоспрещенного законом храпенья на собственной печке возле собственной Маремьяны Маревны! Именно с состраданием, даже не с иронией. Не тебя жалеет он, а твою кубышку, держа которую ты так сладко похрапываешь на собственной печи, в свободные от копления часы! «Эх, думается ему, кабы эту самую кубышку да в настоящие руки... задали бы ей копоти!» Всмотрись же в Хрисашку пристальнее и крепче прижми к груди кубышку, потому что с таким озорником всяко случиться может: вздумается — и отнимет!

Да, Хрисашка еще слишком добр, что он только поглядывает на твою кубышку, а не отнимает ее. Если б он захотел,

он взял бы у тебя всё: и кубышку, и Маремьяну Маревну на придачу. Хрисашка! воспрянь — чего ты робеешь! Воспрянь — и плюнь в самую лохань этому идеологу кубышки! Воспрянь — и бери у него все: и жену его, и вола его, и осла его — и пусть хоть однажды в жизни он будет приведен в необходимость *представить себе*, что у него *своего* или ничего, или очень мало!

Итак, всякий хочет жить — вот общий закон. Если при этом встречаются на пути краеугольные камни, то стараются умненько их обойти. Но с места их все-таки не сворачивают, потому что подобного рода камень может еще и службу сослужить. А именно: он может загородить дорогу другим и тем значительно сократить размеры жизненной конкуренции. Стало быть: умелый пусть пользуется, неумелый — пусть колотится лбом о краеугольные камни. Вот и всё.

Между тем как я предавался этим размышлениям, лошади как-то сами собой остановились. Выглянувши из тарантаса, я увидел, что мы стоим у так называемого постоялого двора, на дверях которого красуется надпись: «распивочно и навынос». Ямщик разнуздывает лошадей, которые трясут головами и громыхают бубенчиками.

— Лошадей хочу попоить! — обращается к нам ямщик.

— Чего «лошадей попоить»! вижу я, куда у тебя глаза-то скосило! — ворчит Софрон Матвеич.

— Что ж, на свои деньги и сам выпить могу!

— То-то «сам»... до места-то, видно, нельзя подождать! на пароход опоздаем!

— На пароход еще за сутки приедем. Ты, чай, и выпил, и закусил дома с «барином», а я на пустых-то щах только зубы себе нахлопал!

Дверь кабака визжит, и ямщик скрывается за нею.

— А много пьют? — спрашиваю я.

— Так довольно, так довольно, что если, кажется, еще немного, совсем наша сторона как дикая сделается. Многие даже заговариваться стали.

— То есть как же это — заговариваться?

— Совсем не те слова говорит, какие хочет. Хочет сказать, к примеру, сено, а говорит — телега. Иного и совсем не поймешь. Не знает даже, что̀ у него под ногами: земля ли, крыша ли, река ли. Да вон, смотрите, через поле молодец бежит... ишь поспешает! Это сюда, в кабак.

И действительно, через несколько секунд с нашим тарантасом поравнялся рослый мужик, имевший крайне озабоченный вид. Лицо у него было бледное, глаза мутные, волоса взъерошенные, губы сочились и что-то без умолку лепетали.

В каждой руке у него было по подкове, которыми он звякал одна об другую.

— Давно не пивал, почтенный? — обратился к нему Софрон Матвеич.

— Завтра пивал!.. Реговоно табе... талды... Веней пина! Зарррок! — бормотал мужик, остановившись и словно испуганный человеческою речью.

— Вот и разговаривай с ним, как этакой-то к тебе в работники наймется! А что, почтенный, тебе бы и в кабак-то ходить не для че! Ты только встряхнись — без вина пьян будешь!

Мужик стоял, блуждая глазами по сторонам и как бы нечто соображая.

— Подковы-то украл, поди! чужие небось!

— Ч-ч-чии! веней пина... реговоно... талды!

— Ну, ну! ступай своей дорогой!

— Веней! — крикнул мужик не своим голосом, делая всем корпусом движение в нашу сторону.

— Ступай, ступай! нехорошо! видишь — барин!

Мужик плюет («какие грубияны!» вертится у меня в голове) и обращается к кабаку. Опять визжит дверь, принимая в свои объятия нового потребителя.

— Хороши наши палестины? — подсмеивается Софрон Матвеич.

— Чудак ты, однако ж! Говоришь так, как будто уж все заговариваются!

— Все не все, а что многие в вине занятие находят — это верно. Да вот увидите. Версты с четыре проедем, тут в деревне через Воплю перевоз будет, а при перевозе, как и следует, кабак. Паромишко ледащий, телега с нуждой уставится, не то что экипаж, вот они и пользуются. Как есть, у кабака вся деревня ждет. Чуть покажемся — все высыплют. На руках тарантас на паром спустят, весь переезд задние колеса на весу держать будут — всё за двугривенный. Получат двугривенный — сейчас в кабак. И идет у них с утра до вечера веселье, даже вчуже завидно!

— Однако, славно ты земляков-то своих рекомендуешь!

— Распостылые они мне — вот что! всякая пакость — все через них идет! Попы нос задирают, чиновники тиранят, Хрисашки грабят — всё не через кого, а через них! Ощирина Павла Потапыча знавали?

— Это владыкинского? молодого?

— Какой он молодой — сорок лет с лишком будет! Приехал он сюда, жил смирно, к помещикам не ездил, хозяйством не занимался, землю своим же бывшим крестьянам почесть за ничто сдавал — а выжили!

— Как так?

— Да так и выжили: зачем в церковь редко ходит! Поп, вишь, к нему повадился гостить; сегодня пришел, завтра пришел — ну, Павлу Потапычу это и не понравилось. Сгрубил, что ли, он попу, только поп обиделся, да, не будь прост, и наускал на него мужиков. И в бога, говорит, не верит, и в церковь не ходит — фармазон. Пошла, это, слава, проведали помещики, а спустя время и исправник приехал. Какой такой вы пример мужикам подаете?.. Ну, посмотрел-посмотрел Павел Потапыч, плюнул и уехал. Да нынче по весне приказ с Москвы прислал: обрыть всю землю канавой, а крестьян — чтобы ни ногой! А они его землей только и жили!

— Ну, это-то уж лишнее! крестьяне ведь по невежеству!

— Знамо, что не по вежеству! А поколь у них невежество будет, стало быть, подражать им надо? Ну, хорошо, будем так говорить: «Надо их учить, надо школы для них заводить». А поколь как? А поколь он тебя стоялому жеребцу за косушку продаст, да когда тебя к чертовой матери, неведомо за что, ссылать будут, он над тобой же глумиться станет! Нет, нынче постоянные-то люди сторониться начали! Больше всё из столиц пишут: «Школы, мол, устроивать надо!» а сами что-то и носу не показывают! Только тот и остался здесь, который с мужика последнюю рубашку снять рассчитывает, или тот, кому — вот как Григорью Александрычу — свет клином сошелся, некуда, кроме здешнего места, бежать!

Совершивши выпивку, ямщик сделался заметно развязнее. Посвистывал, помахивал кнутом, передергивал коренную, крутил пристяжную в кольцо и беспрестанно оборачивался на нас. Да и дорога пошла повеселее, все озимями и яровою пашней; пространства, усеянные пеньками, встречались реже, горизонт сделался шире и чище; по сторонам виднелись церкви, помещичьи усадьбы, деревни. Поравнявшись с одной усадьбой, ямщик взмахнул кнутом, гикнул, во весь опор промчался мимо ворот господского дома и каким-то неестественным голосом крикнул:

— Ах, сахарница ты наша... любе-е-зная!

— Кого это он так величает? — спросил я Софрона Матвеича.

— Вдова тут, Меропа Петровна Кучерявина, живет: видно, ее ублажает. А что, Иван, сладка?

— Уж так сладка! так сладка! Мероша! Мерончик!

— Да ты-то из чего себе кишки надрываешь? чай, по усам текло, а в рот не попало?

Ямщик весело взглянул Софрону Матвеичу в лицо.

— Знаешь, что̀ я тебе, Софрон Матвеич, скажу? — молвил он.

— Сказывай, только не ври.

— Зачем врать! Намеднись везу я ее в этом самом тарантасе... Только везу я, и пришла мне в голову блажь. Дай, думаю, попробую. «А знаешь ли, говорю, Меропа Петровна, что̀ я вам скажу?» — «Сказывай», говорит.— «Скажу я тебе, говорю, что хоша я и мужик, а в ином разе против двух генералов выстою!»

— Так-таки и сказал?

— Вот те Христос! Сказал, знаешь, а сам боюсь. Однако ничего, молчит. Только проехали и еще версты с две, я опять: «Право, говорю, выстою!» — а сам полегоньку с козел в тарантас... словно как ненароком. И вдруг, братец ты мой, как свиснет она меня по рылу кулаком... инда звезды в глаза вступили!

— Строга, значит?

— Не то что строга, а не по порядку, стало быть, дело повел...

— Кто такая эта Кучерявина? — обращаюсь я к Софрону Матвеичу.

— А был тут помещик... вроде как полоумненький. Женился он на ней, ну, и выманила она у него векселей, да из дому и выгнала. Умер ли, жив ли он теперь — неизвестно, только она вдовой числится. И кто только в этой усадьбе не отдыхал — и стар и млад! Теперь на попа сказывают...

— Да ты постой, дай досказать-то! — снова вступился ямщик.— Обидно мне стало, и боже мой, как обидно! Еду я и смотреть на нее не хочу. Постой, думаю, я те уважу! я те в канаву вывалю! «А знаешь ли, говорю, Меропа Петровна, что я тебя могу в канаву сейчас вывалить!» — «Не смеешь»,— говорит. «Смелости, говорю, теперь во мне очень довольно, а ты мне вот что скажи: чем я хуже попа?» — «Ну, ну, ври больше!» — говорит. «Нет, не ври, а верное дело, что я ничем твоего попа не хуже... даже звание у нас с ним одно! И я из простых, и он из простых, и я сапоги дегтем смазываю, и он сапоги дегтем смазывает...» И начал я, значит, ее урезонивать. Еду и всё резоны говорю: «Сякая ты, мол, такая, за что человека обидела!» И не заметил, как к городу, к самой околице подъехали...

— А в городу-то кутузка, слышь, есть...

— Стой... да ты не загадывай вперед... экой ты, братец, непостоянной! Едем мы, это, городом, а я тоже парень бывалый, про кутузку-то слыхивал. Подъехали к постоялому, я ее, значит, за ручку, высаживаю, жду... И вдруг, братец ты мой, какую перемену слышу! «А что, говорит, Иван, я здесь только

ночь переночую, а завтра опять к себе в усадьбу — доставил бы ты меня!»

— Вот так важно!

— И что̀ после того у нас с ней было! что̀ только было! Только сказывать не велела!

— То-то ты и помалчиваешь!

— Тебе-то! Тебе я все одно что отцу духовному! Только ты уж помалчивай, Христа ради!

В это время дорога сделала крутой загиб, и кучерявинская усадьба снова очутилась у нас в глазах, как на ладони.

— Сахарница! — завыл опять ямщик.

— Сахарница-то сахарница, а уж выжига какая — не приведи бог! — обратился ко мне Софрон Матвеич.— Ты только погости у ней — не выскочишь! Все одно что в Москве на Дербеновке: там у тебя бумажник оберут, а она тебя напоит да вексель подсунет!

— И сходит с рук?

— Ничего. Взыщет деньги — и полно. Хошь — и опять приезжай гостить, и опять допоит до того, что вексель подпишешь! И везде ей почет, все к ней ездят, многие даже руки целуют. Теперь, слышь, генерала Голозадова обсахаривает.

— Это кто? фамилия, что ли, такая?

— Древняя, сказывает. Еще дедушки его кантонистами были. Вон и усадьба его, вон на горе! Недавно у нас поселился, а уж мужичок один от него повесился.

— Как так?

— Да пустосвят он и кляузник, Голозадов-то. На всех прошения пишет, и хоть нигде ему, ни в каких местах, резону нынче не дают, а он все пишет. Ну, и изымал он, этта, мужичка в потраве, и пошла у него мельница в ход. К мировому — отказ, на съезде — отказ. В Сенат, в Петербург — там прицепу выдумали, велели сызнова судить. Опять к мировому, к другому, за сорок уж верст — отказ; на съезд — отказ; в Сенат — прицепу выдумали, в третий раз судить велели. Намеднись еду: на четырех подводах народ встречу едет. «Чьи такие?» — «Генерала Голозадова, говорят, свидетелей из города везем».— «Решили ли дело-то?» — «Чего, говорят, решать: Андрей-то Герасимов удавился!»

— Однако, брат, это штука!

— Да уж где только эта кляуза заведется — пиши пропало. У нас до Голозадова насчет этого тихо было, а поселился он — того и смотри, не под суд, так в свидетели попадешь! У всякого, сударь, свое дело есть, у него у одного нет; вот он и рассчитывает: «Я, мол, на гулянках-то так его доеду, что он последнее отдаст, отвяжись только!»

— Ну, этого, по крайней мере, не уважают, ты говоришь?

— Покамест еще не уважают; а вот как один повесится, да другой повесится — не мудрено, что и уважать будут!

— А там вон, влево, чья усадьба?

— Талалыкина господина. Он у нас в те поры, как наши в Крыму воевали, предводителем был да сапоги для ополчения ставил. Сам поставщик, сам и приемщик. Ну, и недоглядел, значит, что подошвы-то у сапогов картонные!

— Тсс... видно, у вас и насчет отечества-то... не шибко-таки любят!

— Как не любить! любят, коли другого не предвидится... Только вот ежели сапоги или полушубки ставить... это уж шабаш! Самый здесь, сударь, народ насчет этого легкий!

В воздухе чуется близость большой реки. Ветер свежеет, дорога идет поймою; местами, сквозь купы кустов, показывается сверкающий изгиб Волги. Вдали, на крутом берегу реки, то вынырнет из-за холма, то опять нырнет в яму торговое село К., с каменными домами вдоль набережной и обширным пятиглавым собором над самою пароходною пристанью. Исколесивши вавилонами верст пять по поемному берегу, мы останавливаемся наконец у перевоза, прямо против села. Паром на другой стороне, то есть, по обыкновению, там, где его не нужно, а между тем, по случаю завтрашнего базара, на луговом берегу уже набралась целая вереница возов, ожидающих переправы. Значительное число расшив и судов покрывает реку; одни бросили якорь, другие медленно двигаются вверх по реке с помощью бечевы. На противоположной стороне, на пристани, идет суета; нагружаются и разгружаются воза с кладью; взбираются по деревянной лестнице в гору крючники с пятипудовыми тяжестями за плечьми. Воздух, в буквальном смысле этого слова, насыщен сквернословием.

— Мать-мать-мать-ма-ать! — словно горох перекатывается от одного берега до другого.

— Дедюлинские — что рот-то разинули! Мать-мать-мать-ма-а-ать!

— Вороти носовую! мать-мать-ма-ать!

Поощряемый этими возгласами, наш ямщик, в свою очередь, во всю силу легких горланит:

— Перевозчики! заснули! мать-мать-ма-ать!

— Лодку не вскричать ли? — обращается ко мне Софрон Матвеич.

— Да, на лодке скорее бы переехали.

И вот мой целомудренный спутник, поборник копилки и чистоты нравов, нимало не смущаясь, вопиет:

— Лодку подавай! Мать-мать-мать-ма-а-ть!

И вдруг вся собравшаяся на берегу ватага обозчиков, словно остервенившись, возглашает:

— Паром давай! перевоз! Мать-мать-мать-ма-а-ать!

— Сейчас! черти! что ругаетесь! Мать-мать-ма-а-ть! — слабо доносится с другого берега.

— Однако, братец, насчет сквернословия-то у вас здесь свободно! — обращаюсь я к одному из обозчиков.

— От самого Селижарова и вплоть до Астрахани у нас эта речь идет!

— И понимаете друг друга?

— В лучшем виде!

Наконец мы убеждаемся, что паром отчаливает от другого берега. Наступает внезапное затишье, прерываемое лишь посвистыванием бурлаков на лошадей, тянущих бечеву. Страшно смотреть. Изморенные, сплеченные животные то карабкаются на крутизну, то спускаются вниз в рытвины, скользят, падают на передние ноги и вновь вскакивают под градом ударов кнута.

— Вот ты давеча уверял,— говорю я Софрону Матвеичу,— что народ от работы отбился! А это, по-твоему, не работа?

— Эти не дошли! — отвечает он с самоуверенностью истинного моралиста,— да, надо полагать, и не дойдут никогда!

— Бог труды любит! — сентенциозно вмешивается один из хозяев-обозчиков, мелочной торговец,— это им, значит, от бога назначено, чтобы завсегда в труде время проводить!

— Кому же это «им»?

— Простонародью, черняди-с,— отвечает обозчик, не моргнув глазом.

— И прочиим всем трудиться назначено,— поправляет другой обозчик,— да у иного достатки есть, так он удовольствие доставить себе может, а у них достатков нет! Поэтому они преимущественно...

Но вот приволокли и паром, а лодки не подали. Пришлось переправляться вместе с возами. Покуда паром черепашьим ходом переплывает на другую сторону, между переправляющимися идет оживленный разговор:

— Сапог в заминке (эта местность славится производством громадного количества сапогов)! совсем сапог остановился! — говорит один.

— Сердитые времена настали! — отзывается другой.— Сочти, сколько теперь народу без хлеба осталось!

— Что, видно, в чувство пришли! — иронически замечает Софрон Матвеич.

— Будешь чувствовать, почтенный, как есть нечего.

— Зачем же прежде не чувствовали?

— Чувствовали и прежде, да ничего такого не было... Линия, значит, тогда была одна, а теперь — другая!

— Да что же такое случилось, что здешний сапог остановился? — любопытствую я.

— Аршавский сапог в ход пошел — вот что!

— Как будто это причина? Почему же варшавский сапог перебил дорогу вашему, а не ваш варшавскому?

— Пошел аршавский сапог в ход — вот и вся причина!

— Ловки уж очень они стали! — объясняет Софрон Матвеич,— прежде хоть кардону не жалели, а нынче и кардону жаль стало: думали, вовсе без подошвы сойдет! Ан и не угадали!

— Много ты смыслишь! — вмешивается из толпы недовольный голос.

— Ты и больше моего смыслишь, да не все сказываешь!

— Нечего сказывать-то! Известно, от начальства поддержки не видим — вот и бедствуем!

По-твоему, значит, всех надо заставить в ваших сапогах ходить?

— Зачем заставлять! Тебе, к примеру, и в лаптях ходить — в самую препорцию будет! А надо аршавский сапог запретить — вот что!

— Какие же такие права ты для этой выдумки отыскал?

— А такие права, что мы сапожники старинные, извечные. И отцы, и деды наши исстари землю покинули, и никакого у них, кроме сапога, занятия не было. Стало быть, с голоду нам теперича, по-твоему, помирать?

— А вы бы не фальшивили. По чести бы делали.

— И все-таки скажу тебе: говоришь ты, ровно балалайка бренчишь, а ничего в нашем деле не смыслишь. У нас колесото с каких пор заведено? Ты знаешь ли?

— Здешний житель — как не знать! Да не слишним ли шибко завертелось оно у вас, колесо-то это? Вам только бы сбыть товар, а про то, что другому, за свои деньги, тоже в сапогах ходить хочется, вы и забыли совсем! Сказал бы я тебе одно слово, да боюсь, не обидно ли оно для тебя будет!

— Слово — брех; и я, пожалуй, слово знаю...

— Знаешь, так говори!

— Ты свое прежде скажи!

— Нет, ты мое угадай, а я твое слово давно угадал! Нам, мол, умным, чай надо пить, а вы, дураки, невелики бары: и за деньги босиком проходите!

Разговор в этом тоне и духе продолжался почти во все время переправы. Как я ни старался вникнуть в смысл этого сапожного кризиса, но из перекрестных мнений не мог извлечь никакого другого практического вывода, кроме того, что «от начальства поддержки нет», что «варшавский сапог истребить надо» и что «старинным сапожникам следует предоставить вести заведенное колесо на всей их воле». Эти виды и предположения обсуждались на все лады, перемежаясь вздохами, ахами, напоминаниями о сердитых временах и известиями о новых пожарах, происшедших в разных деревнях по случаю Николина дня.

— Каюрово-то, слышь, выгорело!

— А в нашей стороне Мокряги опять дотла сгорели!

. . . . . .

Публика в каюте первого класса была немногочисленна: всего человек семь-восемь. Из К. ехала депутация от дворян, с целью, как потом оказалось, ходатайствовать «в губернии» об удалении из уезда одного из мировых судей за вредный образ мыслей и строптивый нрав. Два помещика отправлялись в Т., чтобы ликвидировать, и в ожидании минуты, когда нужно будет предстать перед очи старшего нотариуса, пропускали по маленькой и с каким-то блаженным видом сообщали друг другу предполагаемые результаты ликвидации. Две заспанные личности уныло слонялись между диванами и от времени до времени вопияли: «Господа! в табельку! по маленькой!» Наконец, тут же сидели: педагог и адвокат. Педагог имел вид скорбный, как будто даже здесь, на пароходе, вдали от классической гимназии, его угнетала мысль, нельзя ли кого-нибудь притеснить или огорошить таким вопросом, который сразу бы поставил человека в беспомощное положение. Напротив того, от адвоката так и отдавало внутренним ликованием. Лицо его сияло, и он с каким-то безапелляционным легкомыслием, быстро и решительно, выбрасывал из себя один афоризм за другим, по-видимому даже не допуская мысли, чтобы можно было что-нибудь ему возразить.

— В гражданских делах нет безотносительной истины,— говорил адвокат, продолжая начатый до прихода моего разговор.— Когда мне поручают ведение процесса, я не имею никакой надобности заглядывать в совесть моего доверителя. Я говорю себе: «Он начинает дело, стало быть, он искренно думает, что он прав. Анализировать его побуждения — значило бы возбуждать в его совести такие сомнения, которые, быть может, и не будут оправданы дальнейшим ходом дела». Поэтому я ставлю вопрос гораздо проще; я спрашиваю себя: «Может ли поручаемый мне процесс быть выигран или нет — и

только». И согласно с тем или другим решением этого вопроса, принимаю ведение процесса или не принимаю его.

— Но ведь таким образом и адвокат противной стороны... ведь и он, пожалуй, может иметь подобный же упрощенный взгляд на юридическую истину? — возразил педагог.

— Не только может, но и обязан-с. В этом отношении юридическая практика требует, чтобы стороны признавали друг за другом самую широкую свободу. Если б не было полной свободы воззрений на гражданскую истину, не существовало бы целой громады сочинений по каждому вопросу гражданского права, не было бы, наконец, и самого процесса. В вопросах гражданского права все зависит от обстановки, уменья пользоваться ошибками противника и от способности делать именно те выводы, которые наиболее отвечают интересам клиента. Если мое дело обставлено прочно, если я не лишен дара противопоставлять выводам моего противника другие, еще более логичные выводы, и если, при этом, я умею одни обстоятельства оставить в тени, а на другие бросить яркий свет — я заранее могу быть уверен, что дело мое будет выиграно. Но не следует думать, что это вещь легкая. Независимо от ума, ловкости, знания законов и в особенности кассационных решений, тут необходима и известная доля самопожертвования. Клиент требователен, господа, и часто даже несправедлив и горяч. Вот об чем не следует забывать при обсуждении деятельности адвоката!

— Ну, да уж это само собой. Умеешь денежки брать — умей и шпаги глотать! не прогневайся! — бесцеремонно вмешивается один из депутатов по части истребления вредных мыслей.

— Если вы под этим разумеете гонорар, то считаю нелишним объяснить вам, что размер его исключительно обусловливается высшим или низшим уровнем юридического развития общества. Высокое вознаграждение за адвокатскую услугу есть налог на юридическое невежество общества — и ничего более.

— Ну, батенька, про юридическое или там другое развитие вы нам не рассказывайте! Знаем мы вас, мудрецов! Не там подписал «к сему» да не на той гербовой бумаге подал... вот тебе и юридическое развитие!

— С одной стороны, в последнее время все это значительно упрощено, и нынче меньше, нежели когда-нибудь, мы вправе отговариваться неведением законов. С другой стороны, поверьте, что если б законодатель не оградил гражданского процесса известными формальностями, то шансы на достижение юридической истины, конечно, были бы еще более сомнитель-

ными, нежели даже в настоящее время. Tout se lie, tout s'enchaîne dans ce monde,[1] сказал один знаменитый философ, и сказал великую истину. Отмените, например, апелляционные и кассационные сроки — и перед вами хаос, перед вами бездна, на поверхность которой наверное не всплывет ни одного решенного дела!

— Но позвольте, однако ж! как же это так: в гражданских делах нет истины?! гм... нет истины?! — недоумевал педагог.

— Я не говорю: «нет истины»; я говорю только: «нет *безотносительной* истины». Если угодно, я поясню вам это примером. Недавно у меня на руках было одно дело по завещанию. Купец отказал жене своей имение, но при этом употребил в завещании следующее выражение: «жене моей, такой-то, за ее любовь, отказываю *в вечное владение* то-то и то-то». Как, по вашему мнению, следует ли считать жену покойного собственницей завещанного имения?

— Кажется, что следовало бы... а впрочем...

— Чего «впрочем»! Просто черт ногу переломит — и всё тут!

— Вот видите, вы сомневаетесь сами. Это уж признак очень важный. Вы говорите: «Кажется, следует, а впрочем...» не доказывает ли это с осязательностью неопровержимейшей истины, что в гражданских вопросах нет ничего безотносительно верного? Тем не менее, в данном случае, я остановился на той мысли, что клиентку мою *следует* признать собственницею завещанного. Я сказал себе: «Моя клиентка желает быть собственницею — ma foi[2], постараемся устроить дело так, чтоб она была удовлетворена». И чтоб достичь этого результата, я употребил довольно оригинальный прием. Я обратился к вопросу: что̀ такое завещание? — и на этом простом вопросе, играя им, так сказать, во всех направлениях, я в буквальном смысле слова кругом пальца обвертел все дело. В самом деле, господа, что такое завещание? — завещание, говорите вы, есть выражение воли завещателя. Это ясно, и с этим вполне согласен и я. Но в чем преимущественно выражается воля завещателя? в букве ли завещания или в смысле его? Опять вопрос, на который, я надеюсь, вы ответите: «Конечно, не в букве, а в смысле, и даже не в том внешнем смысле, который водит неопытною рукою какого-нибудь невежественного купца, а в том интимном смысле, который соприсутствует его мысли, его, так сказать, намерению!» Утверждать противное — значит допускать в судебную практику прецедент в высшей степени странный, отчасти даже скабрёзный. Итак, до сих пор мы были с

[1] Все переплетено, все связано в этом мире.
[2] ну что ж.

вами согласны. Но вот вы приступаете к самому разбору завещания и говорите: «Тем не менее, *вечное* владение невозможно. Вечна собственность,— говорите вы,— но владение, по самому существу своему, есть нечто временное, почти эфемерное».— «Прекрасно,— отвечаю я,— я первый соглашаюсь с вами, я даже иду далее вас и утверждаю, что совместное существование таких представлений, как вечность и владение, есть не что иное, как неестественнейший конкубинат. Допустить подобный конкубинат,— говорю я,— значило бы потрясти самое основание собственности, а кто же из нас не остановится в ужасе перед подобным предположением! Mais entendons-nous, messieurs! [1] не будемте торопливы, постараемтесь проникнуть в самое сердце вопроса — и лишь тогда решимтесь произнести ему окончательный приговор! А чтобы легче достигнуть этого, я попрошу вас припомнить исходный пункт, из которого вышло дело, подавшее повод для наших разногласий. Припоминаем — и находим, что этот исходный пункт таков: завещание есть выражение воли завещателя. Ни больше, ни меньше. Определение это до такой степени верно, что тут нельзя ни убавить, ни прибавить ни одного слова, ни одной буквы, ни одной йоты. Завещание есть выражение воли завещателя — этим все сказано. Затем нам ничего другого не остается, как идти далее и постараться отыскать ту *волю* завещателя, которой выражением должно служить его завещание. Чтоб отыскать эту волю, мы обращаемся, как уже сказано выше, не к букве завещания, а к внутреннему смыслу его. К тому смыслу, который несомненно соприсутствовал завещателю во все время, употребленное им на составление завещания, к тому смыслу, который был ясен и для лиц, подписавших завещание, в качестве свидетелей, и для жены завещателя. И вот здесь-то, на первых порах, мы встречаемся с словами: *вечное* владение! Кто писал эти слова, милостивые государи? — *Их писал человек, с одной стороны, не искусившийся в* юридических тонкостях, но который, с другой стороны, несомненно бы содрогнулся, если б понимал всю необъятность бездны, разделяющей такие понятия, как «вечность» и... «владение»! Эти слова писал простой купец, который не имел в жизни иного культа, кроме культа собственности. Неверная, быть может, изможденная болезнью рука его (завещание было писано на одре смерти, при общем плаче друзей и родных... когда же тут было думать о соблюдении юридических тонкостей!) писала выражение, составляющее ныне предмет споров, но бодрая его мысль несомненно была полна другим выраже-

[1] Но условимся, господа!

нием,— выражением, насчет которого, к счастию для человечества, не может быть двух разных мнений. Нужно ли говорить здесь, какое это выражение? Я, с своей стороны, находил бы это излишним, так как оно и без того, конечно, вертится у каждого на языке. Но если уж непременно нужно произнести его, ежели этого во что бы то ни стало требует противная сторона — *извольте, я не отступлю и перед этою обязанностью!* Я произнесу это интересующее вас выражение, произнесу его скромно, но уверенно, без ненужного пафоса, но во всеуслышание! Выражение это, которое так сильно вас интригует, господин поверенный противной стороны... это страшное для вас выражение — есть СОБСТВЕННОСТЬ!!»

Под конец адвокат, очевидно, забылся и повторил недавно сказанную им на суде речь. Он делал так называемые красивые жесты и даже наскакивал на педагога, мня видеть в нем противную сторону. Когда он умолк, в каюте на несколько минут воцарилось всеобщее молчание; даже ликвидаторы как будто усомнились в правильности задуманных ими ликвидаций и, с беспокойством взглянув друг на друга, разом, для храбрости, выпили по большой.

— Да-с, батенька, ежели таким манером... да ежели при этом еще ночным временем... это точно, что без мыла куда хочешь влезть можно! — процедил депутат-помещик, когда улеглось общее изумление, произведенное внезапным пролитием словесного дождя.

— И выиграли-с? — в свою очередь, как-то отрывисто спросил педагог.

— Выиграл-с. Но, с другой стороны, я очень хорошо понимаю, что на дело моей доверительницы можно было взглянуть и с иной точки зрения (поощренный успехом, адвокат до того разыгрался, что с самою любезною откровенностью, казалось, всем и каждому говорил: «Я шалопай очень разносторонний, господа! я и не такие штуки проделать согласен!»). Как я уже имел честь объяснить, господа, главная обязанность адвоката относительно поручаемых ему дел — это обстановка, ловкость и уменье осветить предмет тем светом, который наиболее благоприятствует интересам его клиента. В подтверждение этой мысли я мог бы привести вам множество разнообразнейших случаев, но остановлюсь на одном, подобном сейчас же рассказанному мной деле, в котором я играл уже роль не ответчика, а истца. Точь-в-точь такой же купец и точь-в-точь такое же завещание. Но тут я, конечно, уже остерегся от обращения к вопросу, что̀ такое духовное завещание, а прямо поставил дело на почву строгой законности, на почву несовместимости понятия о владении с понятием о собственности. «Господа! —

говорил я,— не будем обманываться! взглянем на предмет спора прямо, без адвокатских уверток и в особенности без так называемых цветов красноречия! Перед нами два выражения: «владение» и «собственность». Чтобы определить их, нам стоит только заглянуть вот в эту книгу (я поднимаю десятый том и показываю публике), и мы убедимся, что владение, какими бы эпитетами мы ни сдобривали его, не только не однородно с собственностью, но даже исключает последнюю. Признаки того и другого до такой степени различны, и различие это так наглядно, почти осязаемо, что никто не вправе его игнорировать. Здесь больше, нежели где-нибудь, уместна угроза закона: никто не может отговариваться неведением закона. Допустить смешение в таком основном вопросе — значит допустить, чтобы обществу постоянно угрожала очень существенная опасность. Единственный оплот против подобной опасности — это суд, который, конечно, и не допустит, чтобы закон был обойден и намерения законодателя попраны. К нему мы и обращаемся; к его помощи мы взываем, чтобы оградить оскорбленную правду. Нам говорят, что *вечное* владение и собственность — одно и то же; но, спрашиваю я вас, что же станется с священным принципом собственности, если мы допустим подобную юридическую ересь? Нам говорят еще, что завещатель был невежествен, что он не получил юридического образования, что он только *не умел* различить «вечного владения» от «собственности», но что мысль его несомненно тяготела к сей последней. Но остережемся, милостивые государи! Спросим себя прежде всего, имеем ли мы право отдавать на поругание невежеству самые дорогие основы нашей гражданственности! До сих пор невежество считалось одним из неудобств общежития; теперь нас хотят уверить, что это — привилегия! Привилегия — в отношении к чему? — в отношении к священнейшему из всех прав человеческих, к праву собственности! Не чувствуете ли вы какую-то неловкость при подобном неслыханном притязании? Не чувствуете ли вы себя незащищенными, свою жизнь — отданною на произвол всевозможным случайностям? Невежество имеет привилегию попирать собственность, невежество имеет привилегию игнорировать ее, невежество имеет привилегию упразднить ее и на место ее поставить нечто фантастическое и призрачное! Не правда ли, какая кровавая ирония! К счастью, у нас есть суд, который не допустит этого! Вместе с ним мы станем на страже у входа величественного храма собственности и скажем: юридическая ересь не имеет права войти сюда! Господа! не будем обманывать себя! Свойства юридических ересей таковы, что они неслышно проникают в самые сокровенные свя-

тилища и, раз проникнув, утверждаются там навсегда. Кто знает? быть может, благодаря этим неслышным вторжениям, уже колеблется и тот всем нам дорогой храм собственности, о котором я сейчас говорил и на страже которого мы стоим... Быть может, в то самое время, когда мы сбираем рать на защиту его,— его уж нет... он потрясен! Вот почему, в данном случае, я прошу, чтобы за выражением «собственность» было оставлено то чистое, строгое представление, которое имел об нем сам законодатель. Требуя этого, я не высказываю никакой дерзкой самонадеянности, а только, по мере моих слабых сил, защищаю общество от грозящей ему опасности! Я кончил, господа».

Все тоскливо переглянулись. Казалось, над всеми тяготела мысль: «Да, этот обчистит! хоть и не яко разбойник, а все-таки...» Педагог потирал себе коленки; помещики-депутаты переглядывались между собой, как бы говоря: «Уж на что мы ловки, а против этого, брат,— ау!» Ликвидаторы, как встрепанные, выбежали из каюты. Последовал за ними на палубу и я. Там, в самом уголку носовой части, спиной к ветру, расположились двое Хрисашек, по-видимому еще не выросших в меру настоящего Хрисашки, и, разложивши на коленях синюю сахарную бумагу, раздирали руками вяленую воблу. Ликвидаторы подбежали к ним и начали шептаться, по временам возвышая голос. Отрывки этого совещания долетали и до меня.

— В суд — чтобы ни-ни! аблакатов — ни-ни! — восклицали ликвидаторы,— вести дело начистоту!

— Зачем аблакатов! на что лучше, коли-ежели дело начистоту! — успокоивал один Хрисашка.

— Чистое-то дело — ровно как яичко облупленное! и глядеть-то на него весело! — присовокуплял другой Хрисашка.

Успокоенные ликвидаторы, потребовав на бегу еще графин очищенной, вновь скрылись в каюту, и я за ними. Адвокат окончательно разыгрался и сыпал случаями из своей юридической практики. Он весь сиял: из каждой пòры его организма, словно от светящегося червячка, исходил загадочный свет.

— Вы удивляетесь, вы восклицаете: «Вот так «штука»!» — говорил он, когда мы вошли,— я тоже, в свою очередь, скажу: «Да, это «штука», но в том лишь смысле, что здесь слово «штука» означает победу знания над невежеством, ума над глупостью, таланта над бездарностью». Недавно в моей практике был следующий оригинальный случай, который я, можно сказать, не доводя до суда, устроил в пользу моей клиентки. Является ко мне дама и говорит, что у нее есть вексель от одного лица, уже не находящегося в живых. Мне стоило бросить только один взгляд на эту даму, чтобы понять, что тут есть что-

нибудь неладное. И в самом деле, взял в руки вексель — черт знает что! подпись не подпись, а так какие-то каракули, навараканные и вкривь и вкось. «Это собственноручная подпись должника?» — спрашиваю я. «Да, это его подпись».— «Но это *обыкновенная* его подпись? *всегда* он подписывался *таким образом?*» — «Нет... да... болезнь...» — «Следовательно-с?..» Баба мнется, краснеет, бледнеет... «Достаточно,— говорю я,— я не желаю искушать вашу совесть. Я не знаю, выиграется ли *это* дело, но знаю, что *подобные* дела выигрываются». Затем я условливаюсь насчет гонорара, подаю вексель ко взысканию, а через неделю уже удостоиваюсь посещения наследника должника. «Вы взыскиваете с меня по векселю,— говорит он мне,— но это документ фальшивый: вот настоящие и притом современные документу подписи должника».— «Не смею с вами спорить,— отвечаю я,— но согласитесь, что ежели делать фальшивый документ, то гораздо выгоднее подделать подпись как следует, нежели так, как она в настоящем случае сделана. Здесь самое неряшество подписи доказывает, что она действительная».— «Словом сказать,— отвечает он мне,— если бы подпись была хорошо подделана, вы бы доказывали, что нельзя подписаться под чужую руку так отчетливо; теперь же, когда подпись похожа черт знает на что, вы говорите, что это-то именно и доказывает ее подлинность?» — «Не смею с вами спорить,— говорю я,— но мое убеждение таково, что эта подпись подлинная».— «Позвольте-с! ну, предположим! ну, допустим, что подпись настоящая; но разве вы не видите, что она сделана в бессознательном положении и что ваш документ во всяком случае безденежный?» — «Опять-таки не смею спорить с вами, но позволю себе заметить, что все это требует доказательств и сопряжено с некоторым риском...» Затем мы пожимаем друг другу руки и расстаемся, как джентльмены. Через неделю он, однако же, вновь удостоивает меня посещением.— «Слушайте! — говорит,— я человек спокойный, в судах никогда не бывал и теперь должен судиться, нанимать адвокатов... поймите, как это неприятно!» — «Совершенно понимаю-с, но интересы моих клиентов для меня священны, и я, к сожалению, ничего не могу сделать для вашего спокойствия».— «Позвольте! если бы ваша клиентка сделала уступку... если бы, например, половину... ведь задаром и половину получить недурно... не правда ли, недурно!» — «Правда-с; но извините, я не имею права даже останавливаться на подобном предположении; это была бы правда, если б *было доказано,* что деньги, которые вы изволите предлагать на мировую, *действительно* приобретаются *задаром,* а для меня это далеко не ясно».— «Ну, так как же? нельзя, стало быть... задаром-то?» —

«Извольте, я сделаю, что от меня зависит, я переговорю с моей доверительницей...» И через несколько дней, действительно, устроиваю дело к общему удовольствию!..

— То есть, взяли деньги задаром? — отрубил один из депутатов.

— Повторяю: я не считаю себя вправе тяготеть над совестью моих клиентов. В настоящем случае моя роль была ясна: облегчить пути для мирного соглашения, и я достиг этого. Исполнивши это, я мог бы счесть свои обязанности оконченными, но я пошел даже дальше. Во внимание к тому, что противная сторона предупредительно избавила меня от грустной обязанности ходатайствовать пред судом, я дал ей полезный совет. «Берегитесь! — сказал я наследнику должника,— перед вами еще целых десять лет, в продолжение которых вас могут тревожить подобными документами!»

Это было сказано так ясно, отчетливо и вразумительно, что депутат-помещик уже без всякой церемонии запел:

— Но я-я-ко разбо-ойник!

Однако ж педагог не унялся и рискнул возразить.

— Позвольте,— сказал он,— не лучше ли возвратиться к первоначальному предмету нашего разговора. Признаться, я больше насчет деточек-с. Я воспитатель-с. Есть у нас в заведении кафедра гражданского права, ну и, разумеется, тут на первом месте вопрос о собственности. Но ежели возможен изложенный вами взгляд на юридическую истину, если он, как вы говорите, даже обязателен в юридической практике... что же такое после этого собственность?

Вопрос этот до такой степени изумил адвоката своею наивностью, что он смерил своего возражателя с головы до ног.

— Собственность! — ответил он докторальным тоном,— но кто же из нас может иметь сомнение насчет значения этого слова! Собственность — это краеугольный камень всякого благоустроенного общества-с. Собственность — это объект, в котором человеческая личность находит наиудобнейшее для себя проявление-с. Собственность — это та вещь, при несуществовании которой человеческое общество рисковало бы превратиться в стадо диких зверей-с. Я полагаю, что для «деточек» этих определений совершенно достаточно!

Сказав это, он, не торопясь, встал с места и вышел на палубу.

Усталый после бессонной ночи, проведенной в тарантасе, я прилег на диван с намерением заснуть, но выполнить это намерение не представлялось никакой возможности. С уходом адвоката в каюте сделалось как-то вольнее, как будто отсутствие его всем развязало языки.

— Ушел! — воскликнул один из депутатов.— И черт его знает... вот уже именно черт его знает!!

— Необыкновенные нынче люди пошли,— отозвался другой депутат,— глаза у него словно сверла, язык суконный... что захочет, то на тебя и наплетет!

— Долго ли наплести!

— Вот хоть бы сейчас. Говорил, это, говорил... Только что вот уцепишься за что-нибудь — глядь, он опять, шельма, из рук выскочил!

— И как он это просто сказал: налог, дескать, на ваше невежество! До сих пор казна налоги собирала, а нынче, извольте видеть, новые сборщики проявились!

— То ли дело прежние порядки! Придешь, бывало, к секретарю, сунешь ему барашка в бумажке: плети, не торопясь!

— А покуда он плетет — ты переезжай из усадьбы в усадьбу!

— Нет, этот и из-за тридевять земель выколупает! от него ни горами, ни морями — ничем не загородишься!

С своей стороны, педагог был неутешен.

— Теперича кафедра гражданского права... как тут учить! Как я скажу деточкам, что в гражданском процессе нет безотносительной истины! Ведь деточки — умные! А как же, скажут, ты давеча говорил, что собственность есть краеугольный камень всякого благоустроенного общества?!

Один из заспанных праздношатающихся воспользовался этим смутным настроением общества и, остановившись против педагога, сказал:

— Слушайте! давайте, ради Христа, в преферанс играть!

Педагог с минуту колебался, но потом махнул рукой и согласился. Его примеру последовали и депутаты. Через пять минут в каюте были раскинуты два стола, за которыми шла игра, перемежаемая беседой по душе.

— А вы слышали, что лекарь-то наш женился?

— Не может быть! неужто на предводительской француженке?

— Верно изволили угадать. Шестого числа у Петра Петровича в Воронове и свадьба была.

— Ну, едва ли, однако ж, наш эскулап в расчете останется!

— Чего в расчете! Сразу так и разыграл пословицу: по усам текло, в рот не попало!

— Что вы!

— Такая тут у нас вышла история! такая история! Надо вам сказать, что еще за неделю перед тем встречает меня Петр Петрович в городе и говорит: «Приезжай шестого числа

в Вороново, я Машу замуж выдаю!» Ну, я, знаете, изумился, потому ничего этакого не видно было...

— Помилуйте! как же не видно было! Да она с эскулапом-то, говорят, уж давненько!..

— Говорят-то говорят, а кто видел?.. Конечно, может быть, она и приголубливала его, но чтобы дойти до серьезного — нини! Не такая это женщина, чтоб стала из-за пустого каприза верным положением рисковать. Ну-с, так слушайте. Приезжаю я перед вечером, а они уж и в церковь совсем готовы. Да, надо вам, впрочем, сказать, что Петр Петрович перед этим в нашу веру ее окрестил, чтобы после, знаете, разговоров не было... Ну-с, в церковь... из церкви... шабаш, значит! В десять часов ужин. Весела она, обольстительна — как никогда! Кружева, блонды, атлас, брильянты; ну, думаю, кого-то ты, голубушка, будешь своими парюрами в нашем городишке прельщать? Хорошо. Не успели мы отужинать, а у них уж и экипажи готовы: молодые — к себе в город, Петр Петрович — в Москву. И представьте, среди тостов вдруг встает наш эскулап и провозглашает: «Господа! до сих пор шли тосты, так сказать, официальные; теперь я предлагаю мой *личный,* задушевный тост: здоровье отъезжающего!» Это Петра Петровича-то!

— Отъезжающего! ха-ха!

— Признаться, я тогда же подумал: «Не прогадай, mon cher! [1] как бы не пришлось тебе пить за здоровье приезжающего...» ну, да это так, к слову... Часов этак в одиннадцать ушли молодые переодеться на дорогу, и Петр Петрович за ними следом. Через полчаса возвращается эскулап: щегольская жакетка, сумка через плечо... Понимаете, весь костюм для него Петр Петрович в Москве заказывал... Только сидим мы еще полчаса — ни Марьи Павловны, ни Петра Петровича! Ну, думаю, житейское дело: прощаются! Однако проходит и еще время: эскулап мой начинает уж на часы поглядывать (Петр Петрович ему великолепный хронометр подарил!). Стало уж и мне его жалко; я, знаете, спроста и говорю лакею: «Голубчик! попросил бы ты Петра Петровича к нам!» — «Да они, говорит, уж с час времени с Марьей Павловной в Москву уехали».

— Вот так случай!

— Ну, мы все, кто тут был,— поскорее за шапки. А уж он как до города добрался — этого не умею сказать!

— Однако ж!.. история!!

[1] дорогой мой!

— И представьте, только тем и попользовался, что хронометр да две пары платья получил!

— А не дурак ведь!

— Какой же дурак! Какие в нынешнем году, во время рекрутского набора, симфонии разыгрывал — гениальнейший человек-с! А тут вот слепота нашла.

— Да, знаете, не мудрено и опростоволоситься-то. Ведь если б он с купцом дело имел, а то ведь Петр Петрович... ведь благороднейший человек-с!

— Так-то так... слова нет; Петр Петрович...

— Если он ему обещал... положим, десять или пятнадцать тысяч... ну, каким же образом он этакому человеку веры не даст? Вот так история!! Ну, а скажите, вы после этого видели эскулапа-то?

— Как же; встретились. Ничего. «Погода, говорит, стоит холодная, прозябание развивается туго...»

— Это он, должно быть, еще в Воронове наблюдал... ха-ха!

— Ха-ха... пожалуй! Ха-ха... пожалуй, что и так!

— Господа! что-нибудь одно: либо в карты играть, либо анекдоты рассказывать! — тоскливо восклицает один из играющих,— пас!

Некоторое время в каюте ничего не слышно, кроме «пас! куплю! мизер! семь!» и т. д. Но мало-помалу душевный разговор опять вступает в свои права.

— Впрочем, я уж не раз замечал, что как-то плохо расчеты-то эти удаются. Вот еще недавно в Москве с князем Зубровым случай был...

— Какой это князь Зубров? что-то не слыхал такой фамилии!

— Литовская-с. Их предок, князь Зубр, в Литве был — еще в Беловежской пуще именье у них... Потом они воссоединились, и из Зубров сделались Зубровыми, настоящими русскими. Только разорились они нынче, так что и Беловежскую-то пущу у них в казну отобрали... Ну-с, так вот этот самый князь Андрей Зубров... Была в Москве одна барыня: сначала она в арфистках по трактирам пела, потом она на воздержанье попала... Как баба, однако ж, неглупая, скопила капиталец и открыла нумера...

— Позвольте! это не та ли, что в гостинице «Неаполь» нумера снимает! Варвара Ивановна!

— Ну, так-так-так! Она самая!

— И как до сих пор сохранилась!

— Ничего, в телах барыня. Только как открыла она нумера, князь Зубров — в ту пору он студентом был — и стал, знаете, около нее похаживать. То в коридоре встретится —

помычит, то в контору придет — лбом в нее уставится. Видит Варвара Иванова, что дело подходящее: князь, молодой человек, статьи хорошие, образованный... стала его приголублывать. Только все, знаете, пустячками: рюмку водки из собственных рук поднесет, бутербродцем попотчует. Словом сказать, всякую аттенцию оказывает, а настоящего дела не открывает. Задумался мой князек: «В настоящем — ничего, в будущем — еще того меньше. Женюсь!» Разумеется, главный расчет — деньги; «женюсь, говорит, и буду с деньгами отдыхать!» Что ж — и женился-с! Только что бы вы думали? — отвела она ему нумер... ну, разумеется, обед там, чай, ужин, а денег — ни-ни! И таким манером идет у них и посейчас! Ни его ни к кому, ни к нему никого! А себе, между прочим, независимо от сего, орденского драгуна завела! Так вот они каковы эти расчеты-то бывают!

— Уж очень, должно быть, прост ваш князек?

— Прост-то прост. Представьте себе, украдется как-нибудь тайком в общую залу, да и рассказывает, как его Бобоша обделала! И так его многие за эти рассказы полюбили, что даже потчуют. Кто пива бутылку спросит, кто графинчик, а кто и шампанского. Ну, а ей это на руку: пускай, мол, болтают, лишь бы вина больше пили! Я даже подозреваю, не с ее ли ведома он и вылазки-то в общую залу делает.

— Да, с этими барынями... ой-ой, нужно ухо востро держать!

— Вот кабы векселя... это так! Тогда, по крайней мере, в узде ее держать можно. Обмундштучил, знаете... пляши! Вот у меня соседка, Кучерявина, есть, так она все мужа водкой поила да векселя с него брала. Набрала, сколько ей нужно было, да и выгнала из имения!

— Господа! сделайте ваше одолжение! мы в карты играем! Держу семь в бубнах.

— Позвольте-с! двадцать две копейки выиграл — и за карты должен платить! где же тут справедливость! — протестует за другим столом педагог.

Начинается спор: следует или не следует. Я убеждаюсь, что спать мне не суждено, и отправляюсь вверх, на палубу.

Восьмого половина; солнце уже низко; ветер крепчает; колеса парохода мерно рассекают мутные волны реки; раздается троекратный неистовый свист, возвещающий близость пристани. Виднеется серенький городишко, у которого пароход должен, по положению, иметь получасовую остановку. Пассажиры третьего класса как-то безнадежно слоняются по палубе, и между ними, накинув на плеча плед и заложив руки в карманы пальто, крупными шагами расхаживает адвокат.

— Вы в Петербург? — спрашивает он, подходя ко мне.

— Да, в Петербург.

— Я тоже. Черт знает, как этот проклятый пароход тихо двигается! Просто не знаешь, как время убить. А завтра еще в Т. полсуток поезда дожидаться нужно.

— Вы бы в карты... в каюте играют уж...

— Ну их. Я и то раскаиваюсь, что давеча погорячился. Пожалуй, еще на шпиона наткнешься.

— Ну вот! если б на все пароходы шпионов посылать, так тут никакого бюджета бы не хватило!

— Нет, батенька, вы не знаете. У нас тем-то и скверно, что добровольных, бесплатных шпионов не оберешься! А скажите, я давеча не проврался?

— Ничего, кажется, все как следует. А закончили даже отлично.

— Это насчет краеугольных камней-то? А что, разве вы не согласны?

— Помилуйте! что вы! да я на том стою! В «нашей уважаемой газете» я только об этом и пишу!

— Да? так вы тоже писатель?

— Еще бы. Вот эти статьи, в которых говорится: «с одной стороны, должно признаться, хотя, с другой стороны, нельзя не сознаться» — это все мои!

— Так позвольте мне рекомендовать себя: мы борцы одного и того же лагеря. Если вы читали статьи под названием: «Еженедельные плевки в пустопорожнее место» — то это были мои статьи!

Мы обнялись. Быть может, в другом месте мы не сделали бы этого, но здесь, в виду этого поганого городишки, в среде этих людей, считающих лакомством вяленую воблу, мы, забыв всякий стыд, чувствовали себя далеко не шуточными деятелями русской земли. Хотя мы оба путешествовали по делам, от которых зависел только наш личный интерес, но в то же время нас ни на минуту не покидала мысль, что, кроме личных интересов, у нашей жизни есть еще высшая цель, известная под названием «украшения столбцов». Он мечтал о том, как бы новым «плевком» окончательно загадить пустопорожнее место, я же, с своей стороны, обдумывал обременительнейший ряд статей, из которых каждая начиналась бы словами: «с одной стороны, нужно признаться» и оканчивалась бы словами: «об этом мы поговорим в другой раз»...

В отличнейшем расположении духа мы воротились в каюту. На одном столе игра еще продолжалась; кончившие игру сидели тут же и наблюдали.

— Вы в Т. едете? — спросил педагог у одного из депутатов.

— Мы туда все четверо по одному и тому же делу.

— К господину губернатору?

— Да, депутацией от уезда. Негодяй один у нас завелся. Собственности не признает, над семейством издевается... так мы его пробрать хотим!

— И проберем-с.

— Молодой человек?

— Как вам сказать... он у нас мировым судьей служит. Да он здесь, с нами же едет, только во втором классе. Почуяла кошка, чье мясо съела,— предупредить грозу хочет! Да ни́што ему: спеши! поспешай! мы свое дело сделаем!

— Пропаганда, стало быть, с его стороны была?

— И пропаганда, и всё — мы уж расскажем! Мы всё, как на картине, изобразим! Вот как придется ему холодные-то климанты посетить, кровь-то у него и поостынет!

Говоря это, депутат взял взятку и с таким судорожным движением щелкнул ею по столу, что даже изогнул карты.

— Ну, что! я вам говорил! — шепотом заметил мне адвокат,— каков народец! Кому-нибудь судья-то отказал, дело решил не в пользу — сейчас и донос! Поверьте мне, батенька...

Но я уже не слушал: я как-то безучастно осматривался кругом. В глазах у меня мелькали огни расставленных на столах свечей, застилаемые густым облаком дыма; в ушах раздавались слова: «пас», «проберем», «не признает собственности, семейства»... И в то же время в голове как-то назойливее обыкновенного стучала излюбленная фраза: «с одной стороны, должно сознаться, хотя, с другой стороны,— нельзя не признаться»...

На другой день, с почтовым поездом, я возвращался в Петербург. Дорогой я опять слышал «благонамеренные речи» и мчался дальше и дальше, с твердою надеждой, что и впредь, где бы я ни был, куда бы ни кинула меня судьба, всегда и везде будут преследовать меня *благонамеренные речи*...

ПО ЧАСТИ ЖЕНСКОГО ВОПРОСА

Я возвращался с вечера, на котором был свидетелем споров о так называемом женском вопросе. Говоря по совести, это были, впрочем, не споры, а скорее обрывки всевозможных предположений, пожеланий и устремлений, откуда-то внезапно появлявшихся и куда-то столь же внезапно исчезавших. Говорили все вдруг, говорили громко, стараясь перекричать друг

друга. В сознании не сохранилось ни одного ясно формулированного вывода, но, взамен того, перед глазами так и мелькали живые образы спорящих. Вот кто-то вскакивает и кричит криком, захлебывается, жестикулирует, а рядом, как бы соревнуя, вскакивают двое других и тоже начинают захлебываться и жестикулировать. Вот четыре спорящие фигуры заняли середину комнаты и одновременно пропекают друг друга на перекрестном огне восклицаний, а в углу безнадежно выкрикивает некто пятый, которого осаждают еще трое ораторов и, буквально, не дают сказать слова. Все глаза горят, все руки в движении, все голоса надорваны и тянут какую-то недостижимо высокую ноту; во всех горлах пересохло. Среди моря гула слух поражают фразы, скорее имеющие вид междометий, нежели фраз.

— Хоть бы позволили в Медико-хирургическую академию поступать! — восклицают одни.

— Хоть бы позволили университетские курсы слушать! — отзываются другие.

— Не доказали ли телеграфистки? — убеждают третьи.

— Наконец, кассирши на железных дорогах, наборщицы в типографиях, сиделицы в магазинах — все это не доказывает ли? — допрашивают четвертые.

И в заключение склонение: Суслова, Сусловой, Суслову, о, Суслова! и т. д.

Наконец, когда все пожелания были высказаны, когда исчерпались все междометия, прения упали само собою, и все стали расходиться. В числе прочих вышел и я, сопутствуемый другом моим, Александром Петровичем Тебеньковым.

Я либерал, а между «своими» слыву даже «красным». «Наши дамы», разумеется в шутку, но тем не менее так мило называют меня Гамбеттой, что я никак не могу сердиться на это. Скажу по секрету, название это мне даже льстит. Что ж, думаю, Гамбетта так Гамбетта — не повесят же в самом деле за то, что я Гамбетта, переложенный на русские нравы! Не знаю, по какому поводу пришло ко мне это прозвище, но предполагаю, что я обязан ему не столько революционерным моим наклонностям, сколько тому, что сызмалолетства сочувствую «благим начинаниям». В сороковых годах я с увлечением аплодировал Грановскому и зачитывался статьями Белинского. В средине пятидесятых годов я помню одну ночь, которую я всю напролет прошагал по Невскому и чувствовал, как все мое существо словно уносит куда-то высоко, навстречу какой-то заре, которую совершенно явственно видел мой умственный взор. В конце пятидесятых и в начале шестидесятых годов я просто-напросто ощущал, что подо мною горит земля. Я не жил в то время, а реял и трепетал при звуках: «глас-

ность», «устность», «свобода слова», «вольный труд», «независимость суда» и т. д., которыми был полон тогдашний воздух. В довершение всего, я был мировым посредником. Даже и ныне, когда все уже совершилось и желать больше нечего, я все-таки не прочь посочувствовать тем людям, которые продолжают нечто желать. По старой привычке, мне все еще кажется, что во всяких желаниях найдется хоть крупица чего-то подлежащего удовлетворению (особливо если тщательно рассортировывать желания настоящие, разумные от излишних и неразумных, как это делаю я) и что если я люблю на досуге послушать, какие бывают на свете вольные мысли, то ведь это ни в каком случае никому и ничему повредить не может. Ведь я не выхожу с оружием в руках! Ведь я люблю вольные мысли лишь постольку, поскольку они представляют matière à discussion! [1] Будемте спорить, господа! raisonnons, messieurs, raisonnons! [2] Но чтобы, с божьею помощью, выйти с вольными мыслями куда-нибудь на площадь... Нет, это уж позвольте, господа! — Это запрещено-с!

А так как «наши дамы» знают мои мирные наклонности и так как они очень добры, то прозвище «Гамбетта» звучит в их устах скорее ласково, чем сердито. К тому же, быть может, и домашние Руэры несколько понадоели им, так что в Гамбетте они подозревают что-нибудь более пикантное. Как бы то ни было, но наши дамы всегда спешат взять меня под свое покровительство, как только услышат, что на меня начинают нападать. Так что, когда однажды князь Лев Кирилыч, выслушав одну из моих «благоначинательных» диатриб, воскликнул:

— Вы, *мой любезнейший друг*,— человек очень добрый, но никогда никакой карьер не достигнете! — Потому что вы есть «красный»!

То княгиня Наталья Борисовна очень мило заступилась за меня, сказав:

— Ce pauvre Gambetta! Il est dit qu'il restera toujours méconnu et calomnié! Et il ne deviendra ni sénateur, ni membre du Conseil de l'Empire! [3]

Одним словом, я представляю собой то, что в нашем кружке называют un libéral très prononcé [4], или, говоря другими

[1] материал для спора.
[2] порассудим, господа, порассудим!
[3] Бедный Гамбетта! Ему *суждено навсегда остаться* непризнанным и оклеветанным. Не быть ему ни сенатором, ни членом Государственного совета!
[4] ярко выраженный либерал.

словами, я человек, которого никто никогда не слушает и которому, если б он сунулся к кому-нибудь с советом, бесцеремонно ответили бы: mon cher! vous divaguez![1] И я сознаю это; я понимаю, что я не способен и что в мнении моем действительно никому существенной надобности не предстоит. Так что однажды, когда два дурака, из породы умеренных либералов (то есть два такие дурака, о которых даже пословица говорит: «Два дурака съедутся — инно лошади одуреют»), при мне вели между собой одушевленный обмен мыслей о том, следует ли или не следует принять за благоприятный признак для судебной реформы то обстоятельство, что тайный советник Проказников не получил к празднику никакой награды, то один из них, видя, что и я горю нетерпением посодействовать разрешению этого вопроса, просто-напросто сказал мне: «Mon cher! ты можешь только запутать, помешать, но не разрешить!» И я не только не обиделся этим, но простодушно ответил: «Да, я могу только запутать, а не разрешить!» — и скромно удалился, оставив дураков переливать из пустого в порожнее на всей их воле...

Но как ни велико мое сочувствие благим начинаниям, я не могу выносить шума, я страдаю, когда в ушах моих раздается крик. Я рос и воспитывался в такой среде, где так называемые «резкости» считаются первым признаком неблаговоспитанности. Поэтому, когда передо мной начинают «шуметь», мне делается не по себе, и я способен даже потерять из вида предмет, по поводу которого производится «шум». Случалось, что я отворачивался от многих «благих начинаний», к которым я несомненно отнесся бы благосклонно, если б не примешались тут «шум» и «резкости». «Помилуйте! — говорю я,— разве можно иметь дело с людьми, у которых губы дрожат, глаза выпучены и руки вертятся, как крылья у мельницы? С людьми, которые не демонстрируют, а кричат? Сядемте, господа! будемте разговаривать спокойно! сперва пусть один скажет, потом другой пусть выскажется, после него третий и т. д. Тогда я, конечно, готов и выслушать, и взвесить, и сообразить, а ежели окажется возможным и своевременным... отчего же и не посочувствовать! Но вы хотите кричать на меня! вы хотите палить в меня, как из пушки,— ну, нет-с, на это я не согласен!»

А так как только что проведенный вечер был от начала до конца явным опровержением той теории поочередных высказов, которую я, как либерал и притом «красный», считаю необходимым условием истинного прогресса, то очевидно, что

[1] вы чепуху городите, мой дорогой!

впечатление, произведенное на меня всем слышанным и виденным, не могло быть особенно благоприятным.

Но еще более неблагоприятно подействовал вечер на друга моего Тебенькова. Он, который обыкновенно бывал словоохотлив до болтливости, в настоящую минуту угрюмо запахивался в шубу и лишь изредка, из-под воротника, разрешался афоризмами, вроде: «Quel taudis! Tudieu, quel exécrable taudis»[1] или: «Ah, pour l'amour du ciel! où me suis-je donc fourré!»[2] и т. д.

Тебеньков — тоже либерал, хотя, разумеется, не такой красный, как я. Я — Гамбетта, то есть человек отпетый и не признающий ничего святого (не понимаю, как только земля меня носит!). «Наши» давно махнули на меня рукой, да и я сам, признаться, начинаю подозревать, что двери сената и Государственного совета заперты для меня навсегда. Я мог бы еще поправить свою репутацию (да и то едва ли!), написав, например, вторую «Парашу Сибирячку» или что-нибудь вроде «С белыми Борей власами», но, во-первых, все это уж написано, а во-вторых, к моему несчастию, в последнее время меня до того одолела оффенбаховская музыка, что как только я размахнусь, чтоб изобразить монолог «Неизвестного» (воображаемый монолог этот начинается так: «И я мог усумниться! О, судебная реформа! о, земские учреждения! И я мог недоумевать!»), или, что одно и то же, как только приступлю к написанию передовой статьи для «Старейшей Российской Пенкоснимательницы» (статья эта начинается так: «Есть люди, которые не прочь усумниться даже перед такими бесспорными фактами, как, например, судебная реформа и наши всё еще молодые, всё еще неокрепшие, но тем не менее чреватые благими начинаниями земские учреждения» и т. д.), так сейчас, словно буря, в мою голову вторгаются совсем неподходящие стихи:

Je suis gai!
Soyez gais!
Il le faut!
Je le veux![3]

И далее я уже продолжать не могу, а прямо бегу к фортепьяно и извлекаю из клавиш целое море веселых звуков, которое сразу поглощает все горькие напоминания о необходимости монологов и передовых статей...

Совсем другое дело — Тебеньков. Во-первых, он, как го-

[1] Что за кабак! Черт возьми, какой мерзкий кабак!
[2] Бог мой, куда я попал!
[3] Я весел! Будьте веселы! Так нужно! Я этого хочу!

ворится, toujours à cheval sur les principes;[1] во-вторых, не прочь от «святого» и выражается о нем так: «convenez cependant, mon cher, qu'il y a quelque chose que notre pauvre raison refuse d'approfondir»[2], и, в-третьих, пишет и монологи и передовые статьи столь неослабно, что никакой Оффенбах не в силах заставить его положить оружие, покуда существует хоть один несраженный враг. Поэтому, хотя он в настоящую минуту и не у дел, но считает карьеру свою далеко не оконченною, и когда проезжает мимо сената, то всегда хоть одним глазком да посмотрит на него. В сущности, он даже не либерал, а фрондер или, выражаясь иначе: почтительно, но с независимым видом лающий русский человек.

Происхождение его либерализма самое обыкновенное. Кто-то когда-то сделал что-то не совсем так, как он имел честь почтительнейше полагать. По-настоящему, ему тогда же следовало, не конфузясь, объяснить недоразумение и возразить: «Да я именно, ваше превосходительство, так и имел честь почтительнейше полагать!» — но, к несчастию, обстоятельства как-то так сложились, что он не успел ни назад отступить, ни броситься *в сторону, да так и остался с почтительнейшим докладом* на устах. Вот с этих пор он и держит себя особняком и не без дерзости доказывает, что если б вот тут на вершок убавить, а там на вершок прибавить (именно как он в то время имел наглость почтительнейше полагать), то все было бы хорошо и ничего бы этого не было. Но в то же время он малый зоркий и очень хорошо понимает, что будущее еще не ускользнуло от него.

— Я теперь в загоне, mon cher,— откровенничает он иногда со мной,— я в загоне, потому что ветер дует не с той стороны. Теперь — честь и место князю Ивану Семенычу: c'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Tant qu'il reste là, je m'éclipse — et tout est dit[3]. Но это не может продолжаться. Cette bagarre gouvernementale ne saurait durer[4]. Придет минута, когда вопрос о князе Льве Кирилыче сам собою, так сказать, силою вещей, выдвинется вперед. И тогда...

Дойдя до этого «тогда», он скромно умолкает, но я очень хорошо понимаю, что «тогда»-то именно и должно наступить царство того серьезного либерализма, который понемножку да помаленьку, с божьею помощью, выдаст сто один том «Тру-

[1] всегда страшно принципиален.

[2] однако согласитесь, дорогой, есть вещи, в которые наш бедный разум отказывается углубляться.

[3] это он делает погоду. Раз он там, я стушевываюсь — и этим все сказано.

[4] Этой правительственной сумятице придет конец.

дов», с таковым притом заключением, чтобы всем участвовавшим *в «Трудах», в вознаграждение за рвение и примерную* твердость спинного хребта, дать в вечное и потомственное владение хоть по одной половине уезда в плодороднейшей полосе Российской империи, и затем уже всякий либерализм навсегда прекратить.

За всем тем, он человек добрый или, лучше сказать, мягкий, и те вершки, которые он предлагает здесь убавить, а там прибавить, всегда свидетельствуют скорее о благосклонном отношении к жизни, нежели об ожесточении. Выражения: согнуть в бараний рог, стереть с лица земли, вырвать вон с корнем, зашвырнуть туда, куда Макар телят не гонял,— никогда не принимались им серьезно. По нужде он, конечно, терпел их, но никак не мог допустить, чтоб они могли служить выражением какой бы то ни было административной системы. Он был убежден, что даже в простом разговоре нелишнее их избегать, чтобы как-нибудь по ошибке, вследствие несчастного lapsus linguae [1], в самом деле кого-нибудь не согнуть в бараний рог. Первая размолвка его с князем Иваном Семенычем (сначала они некоторое время служили вместе) произошла именно по поводу этого выражения. Князь утверждал, что «этих людей, mon cher, непременно надобно гнуть в бараний рог», Тебеньков же имел смелость почтительнейше полагать, что самое выражение «гнуть в бараний рог» — est une expression de nationalgarde, à peu près vide de sens [2].

— Смею думать, ваше сиятельство,— доложил он,— что и заблуждающийся человек может от времени до времени что-нибудь полезное сделать, потому что заблуждения не такая же специальность, чтобы человек только и делал всю жизнь, что заблуждался. Франклин, например, имел очень многие и очень вредные заблуждения, но по прочему по всему и он был человек небесполезный. Стало быть, если б его в то время взять и согнуть в бараний рог, то хотя бы он и прекратил по этому случаю свои заблуждения, но, с другой стороны, и полезного ничего бы не совершил!

Выслушав это, князь обрубил разом. Он встал и поклонился с таким видом, что Тебенькову тоже ничего другого не оставалось, как, в свою очередь, встать, почтительно расшаркаться и выйти из кабинета. Но оба вынесли из этого случая надлежащее для себя поучение. Князь написал на бумажке: «Франклин — иметь в виду, как одного из главных зачинщиков и возмутителей»; Тебеньков же, воротясь домой, тоже записал:

[1] обмолвки.
[2] это почти бессмысленное выражение национальных гвардейцев.

«Франклин — иметь в виду, дабы на будущее время избегать разговоров об нем».

Таким образом, Тебеньков очутился за пределами жизненного пира и начал фрондировать. С этих пор репутация его, как либерала, дотоле мало заметная, утвердилась на незыблемом основании. Идет ли речь о женском образовании — Тебеньков тут как тут; напишет ли кто статью о преимуществах реального образования перед классическим — прежде всего спешит прочесть ее Тебенькову; задумается ли кто-нибудь о средствах к устранению чумы рогатого скота — идет и перед Тебеньковым изливает душу свою. Народные чтения, читальни, издание дешевых книг, распространение в народе здравых понятий о том, что ученье свет, а неученье тьма — везде сумел приютиться Тебеньков и во всем дает чувствовать о своем присутствии. Здесь скажет несколько прочувствованных слов, там — подарит десятирублевую бумажку. И вместе с тем добр, ну так добр, что я сам однажды видел, как одна нигилисточка трепала его за бакенбарды, и он ни одним движением не дал почувствовать, что это его беспокоит. Словом сказать, человек хоть куда, и я даже очень многих знаю, которые обращают к нему свои взоры с гораздо большею надеждою, нежели ко мне...

Но, подобно мне, Тебеньков не выносит «шума» и «резкостей».

— Зачем они так кричат! à quoi mènent toutes ces crudités! [1] — жалуется он иногда,— зачем они привскакивают, когда говорят? Премиленькие — а вот этого не понимают, что надобно, чтоб сперва один высказался, потом другой бы представил свои соображения, потом третий бы присовокупил... право! И какие у них голоса — точь-в-точь как у актрис в Александринке! Тоненькие — вот как булавка! Послушай, например, как Паскà говорит — вот это голос! А наши — ну, ни дать ни взять шавочки: ам-ам-ам! Хоть ты что хочешь, ничего не разберешь!

Итак, мы возвращались домой. Покуда я вдыхал всеми легкими свежий воздух начинающейся зимы, мне припоминались те «кабы позволили» да «когда же наконец позволят», которые в продолжение нескольких часов преследовали мой слух.

Мне казалось, что я целый вечер видел перед собой человека, который зашел в бесконечный, темный и извилистый коридор и ждет чуда, которое вывело бы его оттуда. С одной стороны, его терзает мысль: «А что, если мне всю жизнь суждено

[1] к чему ведет вся эта грубость!

бродить по этому коридору?» С другой — стремление увидеть свет само по себе так настоятельно, что оно, даже в виду полнейшей безнадежности, нет-нет да и подскажет: «А вот, погоди, упадут стены по обе стороны коридора, или снесет манием волшебства потолок, и тогда...»

Я знаю, что в коридоры никто собственною охотой не заходит; я знаю, что есть коридоры обязательные, которые самою судьбою устроиваются в виду известных вопросов; но положение человека, поставленного в необходимость блуждать и колебаться между страхом гибели и надеждой на чудесное падение стен, от этого отнюдь не делается более ясным. Это все-таки положение человека, которого ум поглощен не действительным предметом известных и ясно сознанных стремлений, а теми несносными околичностями, которые, бог весть откуда, легли на пути и ни на волос не приближают к цели.

Такого рода именно положение совершенно отчетливо рисовалось мне посредине этих беспрестанно повторявшихся двух фраз, из которых одна гласила: «Неужели ж, наконец, не позволят?», а другая: «А что, если не позволят?»

«Что, ежели позволят? — думалось, в свою очередь, и мне.— Ведь начальство — оно снисходительно; оно, чего доброго, все позволит, лишь бы ничего из этого не вышло. Что тогда будет? Будут *ли они* усердны в исполнении лежащих на них обязанностей? — Конечно, будут, ибо не доказывают ли телеграфистки? Окажут ли себя способными охранять казенный интерес? — Конечно, окажут, ибо не доказывают ли кассирши на железных дорогах?»

В моих глазах это было так ясно, что, если б зависело от меня, я, конечно, ни одной минуты не колебался бы: я бы позволил...

Скажите, какой вред может произойти от того, что в Петербурге, а быть может, и в Москве, явится довольно компактная масса женщин, скромных, почтительных, усердных и блюдущих казенный интерес, женщин, которые, встречаясь друг с другом, вместо того чтоб восклицать: «Bonjour, chère mignonne! [1] какое вчера на princesse N.[2] платье было!» — будут говорить: «А что, mesdames, не составить ли нам компанию для защиты мясниковского дела?»

Какая опасность может предстоять для общества от того, что женщины желают учиться, стремятся посещать Медико-хирургическую академию, слушать университетские курсы? Допустим даже самый невыгодный исход этого дела: что они *ни-*

[1] здравствуйте, милочка!
[2] на княгине N.

чему не научатся и потратят время *задаром* — все-таки спрашивается: кому от этого вред? Кто пострадает от того, что они задаром проведут свое и без того даровое время?

Как ни повертывайте эти вопросы, с какими иезуитскими приемами ни подходите к ним, а ответ все-таки будет один: нет, ни вреда, ни опасности не предвидится никаких... За что же это жестокое осуждение на бессрочное блуждание в коридоре, которое, представляя собою факт беспричинной нетерпимости, служит, кроме того, источником «шума» и «резкостей»?

Я знаю, многие полагают, будто женская работа не может быть так чиста, как мужская. Но, во-первых, мы этого еще не знаем. Мы даже приблизительно не можем определить, каким образом женщина обработала бы, например, мясниковское дело, и не чище ли была бы ее работа против той мужской, которую мы знаем. Во-вторых, мы забываем, что определение степени чистоты работы должно быть вполне предоставлено давальцам: не станет женщина чисто работать — растеряет давальцев. В-третьих, наконец, не напрасно же сложилась на миру пословица: не боги горшки обжигают, а чем же, кроме «обжигания горшков», занимается современный русский человек, к какому бы он полу или возрасту ни принадлежал?

Я знаю других, которые не столько опасаются за чистоту работы, сколько за «возможность увлечений». Но эти опасения уж просто не выдерживают никакой критики. Что женщина охотно увлекается — это правда, но не менее правда и то, что она всегда увлекается в известных границах. Начертив себе эти границы, она все пространство, в них заключающееся, наполнит благородным энтузиазмом, но только *это* пространство — ни больше, ни меньше. Она извлечет весь сок из данного «позволения», но извлечет его лишь в пределах самого позволения — и отнюдь не дальше. Если даже мужчина способен упереться лбом в уставы судопроизводства и не идти никуда дальше, то женщина упрется в них тем с большим упоением, что для нее это дело внове. Она и дома и на улице будет декламировать: «Кто похитит или с злым умыслом повредит или истребит...» и ежели вы прервете ее вопросом: как здоровье мамаши? — то она наскоро ответит (словно от мухи отмахнется): «благодарю вас», и затем опять задекламирует: «Если вследствие составления кем-либо подложного указа, постановления, определения, предписания или иной бумаги» и т. д.

Нет, как хотите, а я бы позволил. Уж одно то, что они будут у дела, и, следовательно, не останется повода ни для «шума», ни для «резкостей»,— одно это представило бы для

меня несомненное основание, чтобы не медлить разрешением. Но, кроме того, я уверен, что тут-то именно, то есть в среде женщин, которым *позволено,* я и нашел бы для себя настоящую опору, настоящих столбов. Не спорю, есть много столбов и между мужчинами, но, ради бога, разве мужчина может быть настоящим, то есть пламенным, исполненным энтузиазма столбом? Нет, он и на это занятие смотрит равнодушно, ибо знает, что оно ему разрешено искони и что никто его права быть столбом не оспоривает. То ли дело столб, который еще сам хорошенько не знает, столб он или нет, и потому пламенеет, славословит и изъявляет желание сложить свою жизнь! И за что готов сложить жизнь? за то только, что ему «позволено» быть столбом наравне с мужчинами!

Ну, просто, дозволил бы — и делу конец!

Разумеется, если бы меня спросили, достигнется ли через это «дозволение» разрешение так называемого «женского вопроса», я ответил бы: «Не знаю, ибо это не мое дело».

Если бы меня спросили, подвинется ли хоть на волос вопрос мужской, тот извечный вопрос об общечеловеческих идеалах, который держит в тревоге человечество,— я ответил бы: «Опять-таки это не мое дело».

Но потому-то именно я, кажется, даже еще охотнее позволил бы. Как либерал, как русский Гамбетта, я люблю, чтоб вопросы стояли особняками, каждый в своих собственных границах, и смотрю с нетерпением, когда они слишком цепляются друг за друга. Я представляю себе, что я начальник (опять-таки, как русский Гамбетта, я не могу представить себе, чтоб у какого бы то ни было вопроса не имелось подлежащего начальника) и что несколько десятков женщин являются утруждать меня по части улучшения женского быта. Прежде всего, как galant homme [1], я принимаю их с утонченною вежливостью (я настолько благовоспитан, что во всякой женщине вижу женщину, а не кобылицу из татерсаля).

— Mesdames! charmé de vous voir! [2] чем могу быть полезен? — спрашиваю я.

— Нам хотелось бы посещать университетские курсы, ваше превосходительство.

— Прекрасно-с. Сядемте и будемте обсуждать предмет ваших желаний со всех сторон. Но прежде всего прошу вас: будемте обсуждать именно тот вопрос, по поводу которого вы удостоили меня посещением. Остережемся от набегов в область других вопросов, ибо наше время — не время широких

[1] порядочный человек.
[2] Сударыни! рад видеть вас!

задач. Будем скромны, mesdames! Не станем расплываться! Итак, вы говорите, что вам угодно посещать университетские курсы?

— Точно так, ваше превосходительство.

— Извольте-с. Я готов дать соответствующее по сему предмету предписание. (Я звоню; на мой призыв прибегает мой главный подчиненный.) Ваше превосходительство! потрудитесь сделать надлежащее распоряжение о допущении русских дам к слушанию университетских курсов! Итак, сударыни, по надлежащем и всестороннем обсуждении, ваше желание удовлетворено; но я надеюсь, что вы воспользуетесь данным вам разрешением не для того, чтобы сеять семена революций, а для того, чтобы оправдать доброе мнение об вас начальства.

— Рады стараться, ваше превосходительство!

— Вы рады, а я в восторге-с. Я всегда и везде говорил, что вы скромны. Вы по природе переводчицы — я это знаю. Поэтому я всех, всегда и везде убеждал: «Господа! дадимте им книжку — пусть смотрят в нее!» Не правда ли, mesdames?

— Точно так, ваше превосходительство!

И если б в это время отделился какой-нибудь робкий голос, чтоб заметить:

— Но женский вопрос, ваше превосходительство...

Я сейчас же остановил бы возражательницу, сказав ей:

— Позвольте-с. Мы условились не выходить из пределов вопроса, подлежащего нашему обсуждению, а вопрос этот таков. предоставить женщинам посещать университетские курсы. Вы скажете, может быть, что кроме этого есть еще много других, не менее важных вопросов,— я знаю это, милостивые государыни! Я знаю, что вопросов существует больше, чем нужно! Но знаю также, что всякому вопросу свой черед — да-с! Впоследствии, идя постепенно, потихоньку да помаленьку, исподволь да не торопясь, мы, с божьею помощью, все их по очереди переберем, а быть может, по каждому изладим сто один том «Трудов», но теперь мы должны проникнуться убеждением, что нам следует глядеть в одну точку, а не во множество-с. Вы желаете посещать университетские курсы — я удовлетворил вашему желанию! затем я больше не имею причин вас задерживать, mesdames! Прощайте, и бог да просветит сердца ваши!

И только. В результате оказалось бы, что я позволил бы женщинам учиться, что допустил бы их в звание стенографисток и что в то же время, с божьею помощью, на долгое время эскамотировал «женский вопрос»!

Так было бы, если б я «позволил»...

«Но если б я не позволил? — мелькнуло у меня в голове.— Что было бы тогда?»

Да очень ясно, что̀ было бы! Было бы то, что есть и теперь, а именно, что, в качестве либерала и русского Гамбетты, я был бы обязан ходить по «умным вечерам» и выслушивать безнадежные: «ах, кабы позволили!» да «не доказали ли телеграфистки?» и т. д.

Конечно, и «позволь» я, и «не позволь», ни в том, ни в другом случае общественное спокоїствие не было бы нарушено, но разве это достаточный резон, чтобы непременно *не* дозволять? Ужели же перспектива приобрести либеральную репутацию имеет в себе так мало заманчивого, чтобы предпочитать ей перспективы, обещаемые хладным и бесплодным восклицанием: «цыц»?

Но в эту минуту размышления мои были прерваны восклицанием Тебенькова:

— Какие, однако, это неблагонамеренные люди!

Признаюсь, со стороны Тебенькова высказ этот был так неожидан, что я некоторое время стоял молча, словно ошибенный.

— Тебеньков! ты! либерал! и ты это говоришь! — наконец произнес я.

— Да, я. Я либерал, mais entendons-nous, mon cher [1]. В обществе я, конечно, не высказал бы этого мнения; но не высказал бы его именно только потому, что я представитель русского либерализма. Как либерал, я ни в каком случае не могу допустить аркебузированья ни в виде частноі меры, ни в виде общего мероприятия. Но внутренно я все-таки должен сказать себе: да, это люди неблагонамеренные!

— Но что̀ же тебя так поразило во всем, что мы слышали?

— Всё! и эта дерзкая назойливость (ces messieurs et ces dames ne demandent pas, ils commandent! [2], и это полупрезрительное отношение к авторитету благоразумия и опытности, и, наконец, это поругание всего, что есть для женщины драгоценного и святого! Всё!

— Над чем же поругание, однако ж?

— Над женским стыдом, сударь! Если ты не хочешь понимать этого, то я могу тебе объяснить: над женскою стыдливостью! над целомудрием женского чувства! над этим милым неведением, ce je ne sais quoi, cette saveur de l'innocence [3], которые душистым ореолом окружают женщину! Вот над чем поругание!

[1] но условимся, дорогой мой.
[2] эти господа и дамы не просят, они приказывают!
[3] этим едва уловимым ароматом невинности.

Я знал, что для Тебенькова всего дороже в женщине — ее неведение и что он стоит на этой почве тем более твердо, что она уже составила ему репутацию в глазах «наших дам». Поэтому я даже не пытался возражать ему на этом пункте.

— Страшно! — продолжал он между тем,— не за *них* страшно (les pauvres, elles ont l'air si content en débitant leurs mesquineries, qu'il serait inutile de les plaindre![1]), но за *женщину!*

— Позволь, душа моя! Если ты всего больше ценишь в женщине ее невежество...

— Не невежество-с, mais cette pieuse ignorance, ce délicieux parfum d'innocence qui fait de la femme le chef d'oeuvre de la création![2] Вот что-с!

— Ну, хорошо, не будем спорить. Но все-таки где же ты видишь неблагонамеренность?

— Везде-с. По-вашему, подкапываться под драгоценнейшее достояние женщины — это благонамеренность? По-вашему, топтать в грязь авторитеты, подкапываться под священнейшие основы общества — это благонамеренность? Ces gens... эти люди... ces gens qui traînent la femme dans la fange...[3] по-вашему, они благонамеренны? Поздравляю-с.

— Да, но ведь это еще вопрос: что собственно составляет «драгоценнейшее достояние» женщины?

— Нет-с, это не вопрос. На этот счет сомнения непозволительны-с!

Сказав это, Тебеньков взглянул на меня так строго, что я счел нелишним умолкнуть. Увы! наше время так грозно насчет «принципий», что даже узы самой испытанной дружбы не гарантируют человека от вторжения в его жизнь выражений вроде «неблагонадежного элемента», «сторонника выдохшегося радикализма» и проч. Тебеньков уже изменил «ты» на «вы» — кто же мог поручиться, что он вдруг, в виду городового (не с намерением, конечно, а так, невзначай), не начнет обличать меня в безверии и попрании авторитетов? Долгое время мы шли молча, и я другого ничего не слышал, кроме того, как из взволнованной груди моего друга вылетало негодующее фырканье.

— Нет, ты заметь! — наконец произносит он, опять изменяя «вы» на «ты»,— заметь, как *она* это сказала: «а вы, говорит, милый старец, и до сих пор думаете, что Ева из Адамова

[1] бедняжки, они с таким довольным видом излагают свои скудные мысли, что было бы бесполезно их жалеть!

[2] но то святое невежество, тот прелестный аромат невинности, который делает женщину венцом творения!

[3] люди, толкающие женщину на разврат.

ребра выскочила?» И из-за чего она меня огорошила? Из-за того только, что я осмелился выразиться, что с одной стороны история, а с другой стороны Священное писание... Ah, sapristi! Les gueuses! [1]

— Но ведь это, наконец, твои личные счеты, мой друг...

— А эта... маленькая...— продолжал он, не слушая меня,— эта... в букольках! Заметил ты, как она подскакивала! «Подчиненность женщины... я говорю, подчиненность женщины... если, с другой стороны, мужчины... если, как говорит Милль, вековой деспотизм мужчин...» Au nom de Dieu! [2]

— Но скажи, где же все-таки тут неблагонамеренность?

— Это дерзость-с, а дерзость есть уже неблагонамеренность. «Женщина порабощена»! Женщина! этот живой фимиам! эта живая молитва человека к богу! Она — «порабощена»! Кто им это сказал? Кто позволил им это говорить?

— Стало быть, ты просто-напросто не признаешь женского вопроса?

— Нет-с... то есть да-с, признаю-с. Но признаю совсем в другом смысле-с. Я говорю: женщина — это святыня, которой не должен касаться ни один нечистый помысел! Вот *мой* женский вопрос-с! И мужчина, и женщина — это, так сказать, двоица; это, как говорит поэт, «Лад и Лада», которым суждено взаимно друг друга восполнять. Они гуляют в тенистой роще и слушают пение соловья. Они бегают друг за другом, ловят друг друга — и наконец устают. Лада склоняет томно головку и говорит: «Reposons-nous!» [3] Лад же отвечает: «Ce que femme veut, Dieu le veut» [4] — и ведет ее под сень дерев... A mon avis, toute la question est là! [5]

— Да хорошо тебе говорить: «Ce que femme veut, Dieu le veut!» Согласись, однако, что и пословицы не всегда говорят правду! Ведь для того, чтоб женщина действительно достигла, чего желает, ей нужно, даже при самых благоприятных условиях, лукавить и действовать исподтишка!

— Не исподтишка-с, а с соблюдением приличий-с.

— Но «приличия»... что же это такое? ведь приличия... это, наконец...

— Приличия-с? вы не знаете, что такое приличия-с? Приличия — это, государь мой, основы-с! приличия — это краеугольный камень-с. Отбросьте приличия — и мы все очутимся

[1] А, черт возьми! Негодяйки!
[2] Ради бога!
[3] отдохнем!
[4] чего хочет женщина, то угодно богу.
[5] По-моему, в этом суть!

в анатомическом театре... que dis-je! [1] не в анатомическом театре — это только первая ступень! — а в воронинских банях-с! Вот что̀ такое эти «приличия», о которых вы изволите так иронически выражаться-с!

Одним словом, мой либеральный друг так разгорячился, начал говорить такие неприятные вещи, что я не в шутку стал бояться, как бы не произошел в нем какой-нибудь «спасительный» кризис! А ну, как он вдруг, пользуясь сим случаем, возьмет да и повернет оглобли? Хотя и несомненно, что он повздорил с князем Иваном Семенычем — это с его стороны был очень замечательный гражданский подвиг! — но кто же знает, что он не тоскует по этой размолвке? Что, ежели он ищет только повода, чтоб прекратить бесплодное фрондерство, а затем явиться к князю Ивану Семенычу с повинной, сказав: «La critique est aisée, mais l'art est difficile [2] ваше сиятельство, я вчера окончательно убедился в святости этой истины»? Что будет, если это случится?! Ведь Тебеньков — это столп современного русского либерализма! Ведь если он дрогнет, что станется с другими столпами? Что станется с князем Львом Кирилычем, который в Тебенькове видит своего вернейшего выразителя? Что станется с тою массой серьезных людей, которые выбрали либерализм, как временный modus vivendi [3], в ожидании свободного пропуска к пирогу? Что станется, наконец, с «Старейшею Всероссийскою Пенкоснимательницей», этим лучшим проводником тебеньковских либеральных идей?

— Друг мой! — воскликнул я почти умоляющим голосом,— сообрази, однако ж! ведь *они* только в Медико-хирургическую академию просятся!

— Да-с, в академию,— отвечал он мне сухо,— в академию-с, но только не художеств, а в Медико-хирургическую. Знаю-с. Я сам смотрел на это снисходительными глазами... до нынешнего вечера-с! Они топтали в грязь авторитеты — и я молчал; они подрывали общественные основы — и я не противоречил. Я говорил себе: «Эти люди заблуждаются, но заблуждения — ведь это, наконец, в ведомстве князя Ивана Семеныча! Пусть он и вразумит их — je m'en lave les mains!» [4] Но женщина-с! Но брак-с! Но святость семейных уз-с! Это уж превосходит все! Женщина! эта святыня! это благоухание! этот кристалл! Et l'on veut traîner tout ça dans la fange! [5] В Меди-

[1] что я говорю!
[2] Критика легка, искусство трудно.
[3] образ жизни.
[4] я умываю руки!
[5] И хотят тянуть всё это в грязь!

ко-хирургическую академию! Vous êtes bien bonnes, mesdames! [1]

Сказавши это, он холодно кивнул головой и, даже не пожав мне руки, исчез в темноте переулка.

В течение ночи мои опасения насчет того, что в Тебенькове, чего доброго, произойдет «спасительный кризис», последствием которого будет соглашение с князем Иваном Семенычем, превратились в жгучее, почти несносное беспокойство. Если это соглашение состоится, думалось мне, то все кончено — либеральным идеям капут. Наш юный либерализм так слаб, так слаб, что только благодушие Тебенькова и поддерживает его. Откажись Тебеньков — и все это здание, построенное на песце, рухнет, не оставив после себя ничего, кроме пыли, способной возбудить одно чихание. Тебеньков тем опасен, что он знает (или, по крайней мере, убежден, что знает), в чем суть либеральных русских идей, и потому, если он раз решится покинуть гостеприимные сени либерализма, то, сильный своими познаниями по этой части, он на все резоны будет уже отвечать одно: «Нет, господа! меня-то вы не надуете! я сам был «оным»! я знаю!» И тогда вы не только ничего с ним не поделаете, а, напротив того, дождетесь, пожалуй, того, что он, просто из одного усердия, начнет открывать либерализм даже там, где есть лишь невинность.

А для князя Ивана Семеныча это воссоединение Тебенькова будет настоящим кладом. До сих пор князь был силен не столько основательностью, сколь живостью своих намерений. На практике его намерения очень редко получали надлежащее осуществление, и это происходило именно вследствие того, что, по неполному знанию признаков русского либерализма, князь довольно часто попадал, как говорится, пальцем в небо. Так случилось, например, с распоряжением о разыскании Франклина, в котором этот последний был назван сначала «эмиссаром», потом «человеком, потрясшим Западную Европу», и, наконец, просто «злодеем». Конечно, в этом прежде всего виноват секретарь князя, который недосмотрел (он был немедленно за это уволен), но все-таки даже в клубах все ахнули, когда узнали, что ищут «эмиссара» Франклина, а Тебеньков прямо так-таки и выразился: «Ça fait pitié!» [2] Теперь Тебеньков все эти смешения устранит. Он прямо в настоящую

[1] Вы очень добры, сударыни!
[2] Это вызывает жалость!

точку ударит, он сделает это уже по тому одному, что самое воссоединение его в лоно князя Ивана Семеныча может произойти лишь ценою сожжения тебеньковских кораблей. Сколько погибнет тогда невинных людей! Сколько несчастных, никогда не имевших в голове другой идеи, кроме: как прекрасен божий мир с тех пор, как в нем существуют земские учреждения! — вдруг вынуждены будут убедиться, что это идея позорная, потрясшая Западную Европу и потому достойная аркебузированья! Да, Тебеньков будет и аркебузировать, несмотря на то что до сих пор он горячо ратовал против аркебузирования! Он скажет: «Mon cher! я сам был против этого, но — que veux-tu! [1] — у нас так мало средств, что это все-таки одно из самых подходящих!» И напрасно будут молить его «невинные», напрасно будут они сплетничать на других солибералов, напрасно станут клясться и доказывать свою невинность! На все изворотыих Тебеньков даст один холодный и ясный ответ: «Господа! вы меня не надуете! я сам был «оным»! я знаю!»

Понятно, что, в виду такого темного будущего, я решился во что бы ни стало, даже с пожертвованием своего самолюбия, воспрепятствовать союзу Тебенькова с князем. При одной мысли, что в ад реакции проникнет этот новый Орфей и начнет петь там свои чарующие песни, в уме моем рисовались самые мрачные перспективы. Поэтому я принял всю вину на себя, я сделал вид, что не Тебеньков говорил мне вчера колкости, но я, по своей необдуманности и неопытности, был виною происшедшего скандала. И вот, на другой день, около полудня, я уже был у моего друга.

— Тебеньков! — приветствовал я его,— ужели из-за того, что произошло вчера, из-за нескольких необдуманных с моей стороны выражений, ты захочешь разорвать со мною!

Мой друг дрогнул. Я очень ясно прочитал на его лице, что у него уж готов был вицмундир, чтоб ехать к князю Ивану Семенычу, что опоздай я еще минуту — и кто бы поручился за то, что могло бы произойти! Однако замешательство его было моментальное. Раскаяние мое видимо тронуло его. Он протянул мне обе руки, и мы долгое время стояли рука в руку, чувствуя по взаимным трепетным пожиманиям, как сильно взволнованы были наши чувства.

— Разорвать! С тобой, мой бедный Гамбетта! — наконец произнес он,— никогда!

— Но... с либерализмом?! — спросил я, почти задыхаясь от страха.

Он дрогнул опять. Идея, что вицмундир вычищен и что за-

[1] что поделаешь!

тем стоит только взять извозчика и ехать — видимо угнетала его. Но такова сила либерального прошлого, что оно, даже ввиду столь благоприятных обстоятельств, откликнулось и восторжествовало.

— Никогда! — воскликнул он совершенно твердым голосом.— Plutôt la mort que le déshonneur! [1]

— La mort — c'est trop dire! [2] Но подумай, однако ж, мой друг! вот ты ждал к празднику через плечо... вот как бы это...

— A bah! ça viendra! [3] — сказал он весело и махнул рукою.

Затем мы обнялись. Тебеньков велел сервировать завтрак, и все недоразумения были сейчас же покончены.

— Мне — разорвать с либерализмом! мне? — говорил мой друг, покуда мы дегюстировали какой-то необыкновенной красоты лафит,— но разве ты не понимаешь, что это значило бы разбить вдребезги всю мою жизнь! Знаешь ли ты, с которых пор я либерал? ты еще в рубашечках ходил, как я уж был испытаннейшим либералом в целом Петербурге! Уже тогда я проектировал все те идеи, которыми теперь наш общий друг, Менандр Прелестнов, волнует умы в «Старейшей Русской Пенкоснимательнице»! Покойный князь Федор Федорыч недаром говаривал: «Тебеньков тем более опасен, что никогда нельзя понять, чего собственно он добивается!» Ты понимаешь! Это была целая система, именно в том и заключавшаяся, чтоб никто ни в чем не мог уличить, а между тем всякий бы чувствовал, что нечто есть, и только вот теперь эта система пошла настоящим образом в ход! Либерализм, mon cher, это для меня целое семейное предание! C'est tout un culte [4]. Мой отец, моя мать, мой дед... все были либералы! Мой отец первый подал мысль об обязательном посеве картофеля... tu sais [5], потом из этого еще произошли знаменитые «картофельные войны»? Моя мать еще в тысяча восемьсот восемнадцатом году порешила с женским вопросом, выйдя, при живом муже, замуж за моего отца! И ты мог думать, что я изменю этим преданиям! Mon cher! позволь тебе сказать: ты грубо, ты непростительно грубо ошибался!

Тебеньков так был взволнован, говоря это, что даже закусил нижнюю губу!

— Тебеньков! Я ошибался! я глубоко, грубо, непростительно ошибался! я сознаю это! — лепетал я.

[1] Лучше смерть, чем бесчестие!
[2] Смерть — уж это слишком!
[3] Ничего! в свое время будет!
[4] Это настоящий культ.
[5] знаешь.

— Постой! я не все сказал. Возьми мои теперешние связи — они все до одной либеральные. От кого я жду обновления России — от князя Льва Кирилыча! Какую газету я читаю — «Старейшую Всероссийскую Пенкоснимательницу»! J'espère que c'est assez concluant! [1] Учреждение читален, лекций, народного театра, распространение полезных знаний — во всем и везде я играю первую роль! Я всегда и везде говорил: «Господа! не полагайте движению препон, но умейте овладеть им. Овладейте, господа! дайте движению надлежащее направление — et alors tout ça ira comme sur des roulettes! [2] Только овладейте!» Сколько я потерял через это — ты знаешь сам. Ты знаешь очень хорошо, чем бы я мог быть, если б принял в то время предложение князя Ивана Семеныча! Он предлагал мне Анны... Ты понимаешь! святыя Анны... помимо Станислава! в мои лета! Ah! c'était bien joli! [3] Но я сказал прямо: «Если бы к этому прибавили три тысячи аренды, то и тогда я еще подумаю!» Почему я так смело ответил? а потому, мой друг, что, во-первых, у меня есть своя административная система, которая несомненно когда-нибудь понадобится, а во-вторых, и потому, что я знаю наверное, что от меня мое не уйдет. Система моя очень проста: *никогда ничего прямо не дозволять и никогда ничего прямо не воспрещать*. C'est simple comme bonjour [4]. Но чтобы ты мог лучше понять мой административный идеал, я попрошу тебя вообразить себе, что в настоящую минуту я нахожусь у дел. Первое, что я делаю,— это ослабляю бразды. Хотя, в сущности, в этом еще нет ничего определенного, но для нас, русских, уже одно это очень и очень важно. Мы так чувствительны к браздам, что малейшее изменение в манере держать их уже ценится нами. И вот, когда я ослабил бразды, когда все почувствовали это — вдруг начинается настоящее либеральное пиршество, un vrai festin d'idées libérales [5]. Литература ликует, студенты ликуют, женщины ликуют, все вообще, как бы сговорившись, выходят на Невский с папиросами и сигарами в зубах! И заметь: я ничего *прямо* не дозволял, а *только ничего прямо* не воспрещал! Я, с своей стороны, тоже ликую. Я вижу эти наивные, малым довольные лица, я указываю на них и говорю: «Вот доказательства разумности моей системы! J'espère que j'ai bien mérité mon cordon rouge de s-te Anna!» [6] Таким образом проходит год, а мо-

[1] Надеюсь, это довольно убедительно!
[2] и тогда все пойдет как по маслу!
[3] Ах! это было прекрасно!
[4] Ясно, как день.
[5] настоящий праздник либеральных идей
[6] Надеюсь, я вполне заслужил красную ленту святой Анны!

жет быть, и два — я все продолжаю мою систему, то есть ничего прямо не дозволяю, но и ничего прямо не воспрещаю. Тогда начинают там и сям прорываться проявления так называемой licence[1]. Подчиненные Держиморды бегут ко мне в ужасе и докладывают, что такого-то числа в Канонерском переулке, в доме под номером таким-то, шла речь о непризнании авторитетов. Но я еще не разделяю опасений моих сослуживцев и настаиваю на том, что мер кротости совершенно достаточно, чтоб обратить заблудших на путь истины. Pas trop de zèle, messieurs, говорю я, surtout pas trop de zèle![2] Затем я призываю зачинщиков и келейным образом делаю им внушение. «Господа! — говорю я,— вы должны понять, что у нас без авторитетов нельзя! Если вы хотите, чтоб я имел возможность защитить вас, то поберегите и меня! если не хотите, то скажите прямо — я удалюсь в отставку!» Разумеется, моя угроза действует. Все кричат: «Осторожнее! осторожнее! потому что, если оставит нас Тебеньков,— мы погибли!» Так проходит, быть может, еще целый год. Mais hélas! les idées subversives — c'est quelque chose de très peu solide, mon cher![3] С ними никогда нельзя быть уверенным, где они остановятся и не перейдут ли ту границу «недозволенного», но и «не воспрещенного», в прочном установлении которой и заключается вся задача истинного либерализма. И вот, по прошествии известного времени, la licence relève la tête[4] и прямо утверждает, что «невоспрещение» равняется «дозволению». Начинается шум, mesquineries[5], резкости вроде тех, которые мы слышали вчера вечером. Тогда я говорю уже прямо: «Messieurs! je m'en lave les mains!»[6] и уступаю мое место князю Ивану Семенычу. Hein? tu comprends?[7]

— Гм... да... это в своем роде...

— Не правда ли? Mais attends, attends encore! je n'ai pas tout dit![8] Итак, на мое место приходит и начинает оперировать князь Иван Семеныч. Собственно говоря, я ничего не имею против князя Ивана Семеныча и даже в ряду прочих феноменов признаю его далеко не бесполезным. В общей административной экономии такие люди необходимы. В минуты, когда дурные страсти доходят до своего апогея, всегда являются так

[1] своевольности.
[2] Без лишнего усердия, господа .. главное — без лишнего усердия!
[3] Но увы! разрушительные идеи — нечто весьма неустойчивое, дорогой мой!
[4] своевольность снова поднимает голову.
[5] мелкие препирательства
[6] господа! я умываю руки!
[7] А? понимаешь?
[8] Но подожди, подожди! Я еще не кончил!

называемые божии бичи и очищают воздух. Не нужно только, чтоб они слишком долго оставались в должности воздухоочистителей, потому что тогда это делается, наконец, скучным. Но по временам очищать воздух — не бесполезно. Таким образом, покуда князь Иван Семеныч выполняет свое провиденциальное назначение, я остаюсь в стороне; я только слежу за ним и слегка критикую его. Этою критикою я, так сказать, напоминаю о себе; я не даю забыть, что существует и другая система, которая состоит не столько в очищении воздуха, сколько в умеренном пользовании его благорастворениями. И действительно, не проходит нескольких месяцев, как страсти уже утихли, волнения отчасти усмирены, отчасти подавлены, и существование князя Ивана Семеныча само собой утрачивает всякий raison d'être [1]. Напрасно старается он устроивать бури в стакане воды: его время прошло, он не нужен, он надоел, он даже не забавен. Тогда опять прихожу я и опять приношу с собой свою систему... И таким образом, мы чередуемся: сперва я, потом князь Иван Семеныч, потом опять я, опять князь Иван Семеныч, и так далее... Mais n'est-ce pas que c'est le vrai système? [2]

— Да; это система... я назвал бы ее системою равновесия,— твердо заметил я.

— Именно так. Именно система равновесия. C'est toi qui l'as dit, Gambetta! Pauvre ami! tu n'as pas de système à toi, mais tu as quelquefois des révélations! [3] Ты иногда одним словом определяешь целое положение! Система равновесия — c'est le mot, c'est le vrai mot! [4] Сегодня я, завтра опять Иван Семеныч, послезавтра опять я — какого еще равновесия нужно! Mais revenons à nos moutons [5], то есть к цели твоего посещения. Итак, ты находишь, что вчера я был *к ним* слишком строг?

— Да, строгонек-таки...

— Нельзя, mon cher! Ты забываешь, что я им же добра хочу. Нельзя этого допустить... ты понимаешь: нельзя!

— Но ведь ты сам же сейчас говорил, что твоя «система», между прочим, заключается в том, чтоб «не воспрещать»!

— Ah, mais entendons nous, mon cher! [6] *Прямо* не воспрещать, но и *прямо* не дозволять — voici la formule de mon système [7]. Сверх того, ты забываешь еще, что, как поправку к

[1] смысл.

[2] Ведь это правильная система, не правда ли?

[3] Золотые слова, Гамбетта! Бедный друг! У тебя нет своей системы, но иногда бывают озарения!

[4] лучше не скажешь, лучше не скажешь!

[5] Но вернемся к нашему разговору.

[6] Однако условимся, дорогой мой!

[7] вот формулировка моей системы.

моей системе, я допускаю периодическое вмешательство князя Ивана Семеныча — а это очень важно! Ah! c'est très grave, mon cher! [1] потому, что без князя Ивана Семеныча tout mon système s'écroule et s'évanouit! [2] Я необходим, но и князь Иван Семеныч... o! он тоже в своем роде... ah! c'est une utilité! c'est une très grande utilité! [3]

— Послушай, однако ж! Сообрази, чего же они, собственно, хотят!

— Они хотят извратить характер женщины — excusez du peu! [4] Представь себе, что они достигнут своей цели, что все женщины вдруг разбредутся по академиям, по университетам, по окружным судам... что тогда будет? Où sera le plaisir de la vie? [5] Что станется с нами? с тобой, со мной, которые не можем существовать без того, чтоб не *баловать* женщину?

Вопрос, предложенный Тебеньковым, несколько сконфузил меня. Признаюсь, он и мне нередко приходил в голову, но я как-то всегда отлынивал от его разрешения. В самом деле, что станется со мной, если женщины будут пристроены к занятию? Кого я буду баловать? Теперь, покуда женский вопрос еще находится на старом положении, я знаю, где мне «в минуту жизни грустную» искать утешения. Когда мне горько жить, или просто когда мое сердце располагается к чувствительности, я ищу женского общества и знаю наверное, что там обрету забвение всех несносностей, которые отуманивают мое существование ici bas [6]. Там я найду ту милую causerie [7], полную неуловимых petits riens [8], которая, не прибавляя ничего существенного к моему благополучию, тем не менее разливает известный bien être [9] во всем моем существе и помогает мне хоть на время забыть, что я не более, как печальный осколок сороковых годов, живущий воспоминанием прошлых лучших дней и тщетно усиливающийся примкнуть к настоящему, с его «шумом» и его «crudités» [10]. Там я отдохну душой, в самом изящном значении этого слова. Там, на этих волнах кружев и блонд, на этом грациозном смешении бархата и атласа, мой взор успокоится от сермяжных впечатлений действительности. Там я найду тот милый обман, то чудесное смешение идеаль-

[1] Это очень важно, дорогой мой!
[2] вся моя система рушится и исчезает.
[3] это ценность, очень большая ценность!
[4] подумать только!
[5] в чем будет радость жизни?
[6] здесь, на земле.
[7] беседу.
[8] безделиц.
[9] благостный покой.
[10] грубостью.

ного и реального, которого так жаждет душа моя и которого, конечно, не дадут никакие диспуты о прародителях человека. Там все уютно, все тепло; там и свет не режет глаз, и тени ложатся мягче, ровнее. И всего этого вдруг не будет? И на мой вопрос: «Дома ли Катерина Михайловна?» — мне ответят: «Оне сегодня в окружном суде мясниковское дело защищают»?! Что со мной станется, когда все эти petits riens исчезнут, уступив место крикливым возгласам о фаллопиевых трубах и об околоплодной жидкости? Кого я буду баловать? Перед кем стану сжигать фимиам моего сердца? Кому буду дарить конфекты? Кого станут называть «belle dame»?[1]

Но разве надо мной одним стрясется беда — что будет с литературой, с романом? Если безделица отойдет на второй план, о чем будут трактовать романисты? Что ни говори, как ни притворяйся романист публицистом и гражданином, ему никогда не скрыть, что настоящая болячка его сердца — это все-таки улучшение быта безделицы. Не будет девиц, томящихся под сенью развесистых лип в ожидании кавалеров, не будет дам, изнемогающих в напрасной борьбе с адюльтером,— не будет и романа! Вот что ясно для меня, как дважды два. Но, ради самого бога, что же тогда будет! Кто меня утешит? кто заставит пролить слезу? Нет! ежели не ради себя, то ради романа, ради «изящной словесности» — я протестую!! Возьмите все, что угодно! Попирайте авторитеты! подкапывайтесь под основы! Оспоривайте русское происхождение Микулы Селяниновича! но сохраните девиц, глядящих на большую дорогу, по которой имеют обыкновение приезжать кавалеры, и дам, выходящих на борьбу с адюльтером! Ah, c'est si joli — une femme qui reste indécise entre le devoir et l'adultère![2] Сколько тут перипетий! сколько непредвиденного! Какая горькая, почти безнадежная борьба! Даже суровые моралисты — и те поняли, как велик предстоящий в этом случае женщине жизненный подвиг, и потому назвали победу над адюльтером — *торжеством добродетели.* Вот эта женщина «добродетельна»,— говорят они,— ибо с успехом боролась в Чугуеве с целым штабом военных поселений. А вот эта женщина не может быть названа «добродетельною», потому что не могла устоять перед настойчивостью одного землемера... Одним словом, всякая женская «добродетель» заключена тут, в этом ограниченном, заветном круге...

— И за всем тем, я все-таки снисходителен,— продолжал мой друг,— до тех пор, пока они разглагольствуют и сотря-

[1] красавицей.

[2] Женщина, колеблющаяся между долгом и адюльтером,— ах, это так красиво!

сают воздух междометиями, я готов смотреть на их домогательства сквозь пальцы. Mais malheur à elles [1], если они начнут обобщать эти домогательства и приискивать для них надлежащую формулу... ah, qu'elles y prennent garde! [2]

— Но ведь они ничего же и не формулируют!

— Гм... ты думаешь? ты полагаешь, что женский вопрос, по их мнению, в том только и состоит, чтоб женщины получили доступ в телеграфистки и к слушанию университетских лекций? Ты серьезно так полагаешь?

— Позволь! дело не в том, как я или они полагают, а в том, чем они *ограничивают* свои домогательства!

— A d'autres, mon cher! Un vieux sournois, comme moi, ne se laisse pas tromper si facilement [3]. Сегодня к вам лезут в глаза с какою-нибудь Медико-хирургическою академиею, а завтра на сцену выступит уже вопрос об отношениях женщины к мужчине и т. д. Connu! [4]

— Да не выступит этот вопрос! А ежели и выступит, то именно только как теоретический вопрос, который нелишне обсудить! Ты знаешь, как они охотно становятся на отвлеченную точку зрения! Ведь в их глазах даже мужчина — только вопрос, и больше ничего!

— Да! но вот это-то именно и опасно. C'est justement là que gît le danger [5]. В твоих глазах абстрактность — смягчающее обстоятельство, в моих — это обстоятельство усугубляющее Если б они разрешили этот вопрос практически, каждая сама для себя — ça serait une question de tempérament, et voilà tout [6] Но они хотят, чтоб им разрешение на бумажке было написано. Они *законов* требуют! Понимаешь ли: они хотят, чтоб законодатель взял в руки перо и написал: «Позволяется à ces demoiselles» [7] и т. д. Нет-с! этого нельзя-с!

Опять мысль, и опять откровение! В самом деле, ведь *они* как будто о том больше хлопочут, чтоб было что-то на бумажке написано? Их интригует не столько факт, сколько то, что вот в такой-то книжке об этом так-то сказано! Спрашивается: необходимо ли это, или же представляется достаточным просто, без всяких законов, признать совершившийся факт, да и дело с концом?

— Наши дамы давно уже порешили с этим вопросом, и

[1] но горе им.
[2] пусть остерегаются!
[3] Говори это другим, мой дорогой! Старую лисицу вроде меня не так-то легко провести.
[4] Знаем!
[5] Именно здесь и гнездится опасность.
[6] тогда бы все сводилось к темпераменту, и только.
[7] девицам.

мир нимало не пострадал от этого! — продолжал ораторствовать Тебеньков.— На днях la princesse Nathalie — tu sais qu'il lui arrive quelquefois d'avoir des moments de charmante intimité avec ses amis! [1] — сказала мне. «Mon cher! nous autres, femmes du monde, nous avons depuis longtemps tranchè la question! Nous ne faisons pas de radottages, mais nous agissons!» [2]

— La princesse Nathalie! est-ce possible? Une «sainte»! [3]

— Да-с, une «sainte»! Et elle a parfaitement raison, la belle princesse! [4] Потому что ведь, ты понимаешь, ежели известные формы общежития становятся слишком узкими, то весьма естественно, что является желание расширить их. Не об этом спор: это давно всеми признано, подписано и решено. Saperlotte! [5] не делаться же монахиней из-за того только, чтоб князь Лев Кирилыч имел удовольствие свободно надевать на голову свой ночной колпак! Но *как* расширить эти формы — вот в чем весь вопрос! Voici la grrande, la grrrandissime question! [6]

— Стало быть, по-твоему, лучшее средство — это протестовать на манер «Belle Hélène»? [7]

— А ты шутишь с «Belle Hélène»? Нет, ты подумай! Вот он, протест-то, с которых пор начался! и заметь: в этой форме никто никогда не видел в нем ни малейшей опасности. Еще во времена Троянской войны женский вопрос был уже решен, но решен так ловко, что это затрогивало только одного Менелая. Ménélas! on s'en moque — et voilà tout! [8] Все эти Фрины, Лаисы, Аспазии, Клеопатры — что это такое, как не прямое разрешение женского вопроса? А *они* волнуются, требуют каких-то разъяснительных правил, говорят: «Напишите нам все это на бумажке!» Согласись, что это несколько странно? Согласен?

— Да... для «Belle Hélène»... действительно, едва ли требуются разъяснительные правила!

— Ну, вот видишь! А *они* сохнут о правилах! Мы все, tant que nous sommes [9], понимаем, что первозданная Таутова азбука отжила свой век, но, как люди благоразумные, мы говорим себе: зачем подрывать то, что и без того стоит еле живо, но

[1] княгиня Наталья — она порой бывает очаровательно интимна с друзьями, сам знаешь!

[2] Мой дорогой! Мы, светские женщины, давно уж разрешили вопрос. Мы не болтаем попусту, но действуем!

[3] Княгиня Наталья! возможно ли? Эта «святая»!

[4] И прекрасная княгиня совершенно права!

[5] Черт возьми!

[6] Вот огромный, огрррромнейший вопрос.

[7] «Прекрасной Елены»?

[8] Менелай! над ним смеются, только и всего!

[9] сколько нас ни на есть.

на чем покуда еще висит проржавевшая от времени вывеска с надписью: «Здесь начинается царство запретного»? Зачем публично и с каким-то дурным шиком вторгаться в пределы этого царства, коль скоро мы всем этим quasi-запретным [1] можем пользоваться под самыми удобными псевдонимами? Для большей вразумительности приведу тебе хоть следующий пример. И ты, и я, и все мы, люди современной интеллигенции, любим от времени до времени посещать театр Берга. Для чего мы ездим туда? что̀ привлекает нас? — Это, конечно, наше личное дело. И вдруг выискивается какой-нибудь intrus [2] и выпаливает нам в упор: «Вы, господа, ездите к Бергу смотреть, как француженки юпки поднимают!» Согласись, что это было бы крайне неприятно! По крайней мере, что касается до меня, то я сразу осадил бы наглеца. «Нет, милостивый государь! — сказал бы я,— вы ошибаетесь! я хожу к Бергу совсем не для юпок и проч., а для того, чтоб видеть французскую веселость, la bonne et franche gaîté française!» [3] Понимаешь? *Он* сказал: «Юпки поднимают», а *я* ему ответил: «Французская веселость». Вот это-то и есть псевдоним, один из тех псевдонимов, которые позволяют нам не слишком тяготиться игом первозданной Таутовой азбуки!

Тебеньков говорил так убедительно и в то же время так просто и мило, что мне оставалось только удивляться: где почерпнул он такие разнообразные сведения о Тауте, Фрине и Клеопатре и проч.? Ужели всё в том же театре Берга, который уже столь многим из нас послужил отличнейшею воспитательной школой?

— Жизнь наша полна подобного рода экскурсий в область запретного, или, лучше сказать, вся она — не что иное, как сплошная экскурсия. Азбука говорит, например, очень ясно, что все дети имеют равное право на заботы и попечения со стороны родителей, но если бы я или ты дали одному сыну рубль, а другому грош, то разве кто-нибудь позволил бы себе сказать, что подобное действие есть прямое отрицание семейственного союза? Нет, всякий сказал бы себе: «Это только экскурсия в область запретного, экскурсия, в которой всякий смертный может встретить нужду!» Другой пример: кто не знает, что похищение чужой собственности есть прямое нарушение гражданских законов, но ежели бы X., благодаря каким-нибудь формальным упущениям со стороны Z., оттягал у последнего с плеч рубашку, разве кто-нибудь скажет, что такой

[1] якобы запретным.
[2] выскочка.
[3] милую, свободную французскую веселость!

исход процесса есть отрицание права собственности! Нет, вся кий выразится, что и это только экскурсия, в которой каждый смертный может встретить нужду! Представь же себе теперь, что вдруг выступает вперед наглец и, заручившись этими фактами, во все горло орет: «Господа! посмотрите-ка! ведь собственность-то, семейство-то, основы-то ваши... фюйю!» Не вправе ли мы будем замазать этому человеку рот и сказать: «Дурак! чему обрадовался! догадался?! велика штука! ты догадался, а мы и подавно! Только мы не хотим, чтоб ты нас беспокоил! Не беспокой нас, ибо дураков-горланов на цепь сажают!» Но, впрочем, pardon, cher! [1] Я, кажется, слишком заболтал тебя этими mesquineries [2], которые слывут у нас под пышным именем «вопросов».

— Ах, нет! нет! сделай милость! С твоей стороны это такая откровенность! такая, можно сказать, драгоценнейшая откровенность!

— Итак, continuons [3]. Я сам не дорого ценю эту первозданную азбуку и очень хорошо понимаю, что стоит ткнуть в нее пальцем — и она развалится сама собой. Но для черни, mon cher [4], это неоцененнейшая вещь! Представь себе, что вдруг *все* сказали бы, что запретного нет,— ведь это было бы новое нашествие печенегов! Ведь они подвергли бы дома наши разграблению, они осквернили бы наших жен и дев, они уничтожили бы все памятники цивилизации! Но, Dieu merci [5], этого нет и не будет, потому что это запрещено. Они знают, saperlotte! [6] что в каждой губернии существует окружной суд, а в иных даже по два и по три, и что при каждом суде имеется прокурор, который относительно печенегов неумолим. Вот это-то именно и заставляет меня видеть в первозданной азбуке некоторого рода палладиум. Я говорю себе: свойства этой азбуки таковы, что для меня лично она может служить только ограждением от печенежских набегов,— с какой же стати я буду настаивать на ее упразднении?

— Позволь, душа моя! Я понимаю твою мысль: если *все* захотят иметь беспрепятственный вход к Бергу, то понятно, что твои личные желания в этом смысле уже не найдут такого полного удовлетворения, какое они находят теперь. Но, признаюсь, меня страшит одно: а что, если они, то есть печенеги... тоже начнут вдруг настаивать?

[1] извини, дорогой!
[2] мелочами.
[3] продолжаем.
[4] дорогой мой.
[5] слава богу.
[6] черт возьми!

— Impossible![1] это именно тот предрассудок, который уже не раз ввергал в бездну гибели целые нации. С тех пор как печенеги перестали быть номадами, их нечего опасаться. У них есть оседлость, есть дом, поле, домашняя утварь, и хотя все это, вместе взятое, стоит двугривенный, но ведь для человека, не видавшего ни гроша, и двугривенный уже представляет довольно солидную ценность. Сверх того, они «боятся», и что всего замечательнее, боятся именно того, что всего менее способно возбуждать страх в мыслящем человеке. Они боятся грома, боятся домовых, боятся светопреставления. Et plus ils sont bêtes, plus ils sont souples[2]. Следовательно, самая лучшая внутренняя политика относительно печенегов — это раз навсегда сказать себе: чем меньше им давать, тем больше они будут упорствовать в удовольствии. Я либерал, но мой взгляд на печенегов до такой степени ясен, что сам князь Иван Семеныч, конечно, позавидовал бы ему, если бы он мог понять, в чем состоит настоящий, разумный либерализм. Печенег смирен, покуда ему ничего не дают. Как только ему попало что-нибудь на зубы — он делается ненасытен, et puis — c'est fini! L'histoire des peuples est là pour attester la vérité de ce que j'avance![3]

— Так ли это, однако ж? Вот у меня был знакомый, который тоже так думал: «Попробую, мол, я не кормить свою лошадь: может быть, она и привыкнет!» И точно, дней шесть не кормил и только что, знаешь, успел сказать: «Ну, слава богу! кажется, привыкла!» — ан лошадь-то возьми да и издохни!

— Гм... да... ты все смеешься, Гамбетта! А знаешь ли ты, что эта смешливость очень и очень тебе вредит! Tu ne parviendras jamais[4] — и я первый об этом жалею, parce que tu as quelquefois des idées[5]. Даже наши либералы и те выражаются о тебе: «Ce n'est pas un homme sérieux!»[6] Разумеется, я заступаюсь за тебя, сколько могу. Я всем и всегда говорю: «В государстве, господа, и в особенности в государстве обширном, и Гамбетта имеет право на существование!» — но ведь против установившегося общего мнения и мое заступничество бессильно!

Сделавши этот выговор, Тебеньков так дружески мило подал мне руку, что я сам сознал все неприличие моего поведения и дал себе слово никогда не рассказывать анекдотов, когда идет речь о выеденном яйце.

[1] Невозможно!
[2] И чем они глупее, тем податливее.
[3] а потом — конец! Истинность моих слов доказывается историей народов
[4] Тебе ни за что не преуспеть.
[5] ибо тебя иногда осеняют идеи.
[6] Несерьезный человек!

— Затем возвратимся вновь к так называемому женскому вопросу и постараемся, прийти к заключению. Я утверждал, что вопрос этот давным-давно разрешен, и берусь подтвердить эту мысль примерами. Оглянись кругом: la princesse de P., la baronne de K.[1], наконец, Катерина Михайловна, наша добрейшая Катерина Михайловна,— разве не разрешили они этого вопроса совершенно определенно и к полному своему удовольствию? Что они не посещают Медико-хирургической академии — mais c'est simplement parce qu'elles s'en moquent bien... de l'académie![2] А если бы захотели, то и в академию бы ездили, и никто бы не имел ничего сказать против этого! А почему никто ничего не сказал бы? потому просто, что всякий понял бы, что это один из тех jolis caprices de femme[3], которым уже по тому одному нельзя противоречить, что ce que femme veut, Dieu le veut[4].

— Но коли так, то почему же не удовлетворить желанию этих demoiselles, которых ты слышал вчера?

— Да именно потому, что в первом случае c'est un de ces jolis caprices que toute femme a le droit d'avoir[5]. Женщина, и в особенности хорошенькая, имеет право быть капризною — это ее привилегия. Если она может *вдруг* пожелать парюру в двадцать тысяч, то почему же *вдруг* не пожелать ей посетить медицинскую академию? И вот она желает, но желает так мило, что достоинство женщины нимало не терпит от этого. Напротив, тут-то именно, в этом оригинальном желании, и выступает та женственность, которую мы, мужчины, так ценим. La baronne de K., слушающая господина Сеченова,— можно ли вообразить себе quelque chose de plus gracieux, de plus piquant?![6] Поэтому я не только не буду препятствовать желанию баронессы, но сам поеду сопровождать ее, сам предупрежу господина Сеченова. Monsieur! lui dirai-je, la baronne est bonne fille! Elle ne déteste point les crudités, mais à condition qu'on sâche leur donner une forme piquante, qui permette à son sentiment de femme de ne pas s'en formaliser![7] Затем мы едем, мы берем с собой Катерину Михайловну и ее jeunes gens[8], мы садимся на

---

[1] княгиня П., баронесса К.

[2] так это просто потому, что им наплевать на нее... на академию.

[3] милых женских капризов.

[4] чего хочет женщина, то угодно богу.

[5] это один из тех милых капризов, на которые имеет право каждая женщина.

[6] что-либо привлекательнее и пикантнее?!

[7] Сударь! — скажу я ему,— баронесса — славная бабенка! Она отнюдь не питает отвращения к непристойностям, только чтобы их преподносили в пикантной форме, не оскорбляющей ее женского чувства!

[8] молодых людей.

тройки, устроиваем quelque chose comme un piquenique[1] и выслушиваем курс физиологии à l'usage des dames et des demoiselles[2], который г. Сеченов прочтет нам. Оттуда — к Дороту или в другой какой-нибудь кабачок. Вот и все. О том, чтоб интернировать господина Сеченова в сердцах наших дам, о том, чтобы сделать его лекции настольной книгой наших будуаров, о том, чтоб укоренить в наших салонах физиологический жаргон — нет и помину. Мы разрешили женский вопрос, мы узнали, comment cela leur arrive[3],— этого с нас довольно! Напротив того, девицы, в обществе которых мы находились вчера, о том только и думают, чтобы навсегда интернировать господина Сеченова в своем домашнем обиходе. Чистота женского чувства, ce sentiment de pudeur qui fait monter le feu au visage d'une femme[4], это благоухание неведения, эта прелесть непочатости — elles mettent tout ça hors de cause![5] Они требуют господина Сеченова tout de bon, et elles traînent le reste dans la fange! Halte-là, mesdames![6]

— Но все-таки нет же прямого повода называть их неблагонамеренными? Они любят Сеченова, но ведь они не неблагонамеренные? Не правда ли? Ведь ты согласен со мной?

— «Неблагонамеренные» — это слишком сильно сказано, j'en conviens. Mais ce sont des niaises[7] — от этого слова я никогда не откажусь. Это какие-то утопистки стенографистики и телеграфистики! А утопизм, mon cher, никогда до добра не доводит. Можно упразднять азбуку de facto:[8] взял и упразднил — это я понимаю; но чтоб прийти и требовать каких-то законов об упразднении — c'est tout bonnement exorbitant[9].

Я задумался. В самом деле, зачем дожидаться закона об упразднении, когда никто не препятствует de facto совершить самый акт упразднения? Ведь вот и la princesse de P., и la baronne de K., и, наконец, наша милейшая Катерина Михайловна — ведь упраздняют же они! О, Наденька Лаврецкая! о, Гапочка Перерепенко! Вы, которые чуть не пешком прибежали в Петербург из ваших захолустьев ради разрешения женского вопроса,— вы не понимаете, что вопрос этот разрешается так легко! Стоит только подобрать компанию jeunes gens

[1] нечто вроде пикника.
[2] предназначенный для дам и девиц.
[3] их повадку.
[4] стыдливость, заливающая лицо женщины краской.
[5] они отбрасывают всё это, как не идущее к делу.
[6] во что бы то ни стало, а остальное втаптывают в грязь. Стой, сударыни!
[7] согласен. Но это — дурочки.
[8] фактически.
[9] это уж чересчур.

bien, bien comme il faut [1], затем нанять несколько троек и покатить, с бубенчиками, прямо в театр Берга, эту наицелесообразнейшую Медико-хирургическую академию à l'usage des dames et des demoiselles! Там девица Филиппò прочтет вам лекцию: «L'impot sur les célibataires» [2], а девица Лафуркад, пропев «A bas les hommes!» [3], вместе с тем провозгласит и окончательную эмансипацию женщин...

Тебеньков между тем торжествовал. Он заметил мое раздумье и до того уверовал в неотразимую убедительность своих доводов, что все лицо его как бы сияло вдохновением.

— Я не называю их неблагонамеренными,— говорил он,— à Dieu ne plaise! [4] Но полиция, mon cher! полиция не может быть либеральною, как я или ты! Она не имеет права терпеть, чтобы общественная нравственность была подрываема, так сказать, при свете дня. Она смотрит сквозь пальцы, она благосклонно толерирует, когда ты, я, всякий другой, наконец, разрешаем женский вопрос келейным образом и на свой страх. Но когда мы выходим из нашей келейности и с дерзостью начинаем утверждать, что разговор об околоплодной жидкости есть единственный достойный женщины разговор — alors la police intervient et nous dit: halte-là, mesdames et messieurs! respectons la morale et n'embêtons pas les passants par des mesquineries inutiles! [5] Согласитесь, что оно и не может быть иначе!

— Да как бы тебе сказать... оно точно... на практике оно так и бывает!

— Нет, не «бывает», а «должно быть», не может иначе быть! Ты, Гамбетта, неисправим! Ты думаешь, что то, что совершается так, а не иначе, совершается по какому-то озорству! Нет, оно совершается тàк потому, что не может иначе совершиться. L'histoire a sa logique, mon cher [6], и для каких-нибудь двух-трех десятков девиц не может изменить свое величественное течение! Не расплывайтесь, messieurs! Помните, что наше время — не время широких задач! Вот лозунг, к которому пришла вся наша либеральная партия, et tant qu'elle restera dans ces convictions, la police n'aura rien à y redire! [7] Но, впрочем,

[1] вполне, вполне приличных молодых людей.

[2] Налог на холостяков.

[3] Долой мужчин!

[4] не дай бог!

[5] тогда вмешивается полиция и говорит нам: стойте-ка, милостивые государыни и милостивые государи! давайте уважать нравственность и не будем досаждать прохожим никчемными пустяками!

[6] У истории своя логика, дорогой мой.

[7] и пока она будет на том стоять, полиция ни в чем не сможет ее упрекнуть.

к чему продолжать бесплодный разговор! Чтоб убедить тебя наглядным образом, насколько эти дамы не правы, добиваясь какого-то разрешения женского вопроса, тебе достаточно пройтись со мной по Невскому и потом зайти позавтракать к Дюссо. Здесь ты на каждом шагу десять раз убедишься, что женский вопрос давным-давно разрешен, и притом самым радикальным образом. Итак, идем. Кстати, уж третий час, а это именно момент моей прогулки и моего завтрака...

День стоял серый, не холодный, но с легким морозцем, один из тех дней, когда Невский, около трех часов, гудит народом. Слышалось бряцание палашей, шарканье калош, постукивание палок. Пестрая говорящая толпа наполняла тротуар солнечной стороны, сгущаясь около особенно бойких мест и постепенно редея по мере приближения к Аничкину мосту. Там и сям истово выступали «наши дамы», окруженные молоденькими последнего выпуска офицерами и сопровождаемые лакеями в богатых ливреях. Между ними, словно ящерицы, проползали ревнительницы женского вопроса, по поводу которых у нас чуть-чуть не произошла ссора с Тебеньковым, бойко стуча каблучками и держа под мышками книги. Сановники faisaient leur tournée de matin [1], и некоторые из них очень мило вставляли в глаз стеклышко и не без приятности фредонировали: «J'ai un pied qui r'mue!» [2] Четыре брата С. виделись на всех перекрестках и своим сходством вводили проходящих в заблуждение. Деловой люд не показывался или жался к стенам домов. Напротив, гуляющий люд шел вольно, целыми шеренгами и партиями, заложив руки в карманы и занимая всю середину тротуара. У Полицейского моста остановились два бывшие губернатора и объясняли друг другу, как бы они в данном случае поступили. Выходец из провинции, в фуражке с красным околышком, с широким затылком, с трепещущим под кашне кадыком и с осовелыми глазами, уставился против елисеевских окон и только что не вслух думал: «Хорошо бы тут родиться, тут получить воспитание, тут жениться и тут умереть, буде бессмертие не дано человеку!» Перед магазином эстампов остановилась целая толпа и глядела на эстамп, изображавший девицу с поднятою до колен рубашкою; внизу эстампа было подписано: «L'oiseau envolé» [3]. Из ресторана Доминика выходили полинялые личности, жертвы страсти к бильярду и к желудочной. Посередине улицы царствовала сумятица в полном смысле этого слова. Кареты, сани, дилижансы, железнодорожные вагоны — все это появлялось и исчезало, как в сон-

[1] занимались утренним моционом.
[2] У меня ноги пускаются в пляс!
[3] Улетевшая птичка.

ном видении. В самом разгаре суматохи, рискуя передавить пешеходов, мчались на тысячных рысаках молодые люди, обгоняя кокоток, которых коляски и соболя зажигали неугасимое пламя зависти в сердцах «наших дам». Газ в магазинах еще не зажигался, но по местам из-за окон уже виднелась протягивавшаяся к газовому рожку рука. Еще минута — и весь Невский загорится огнями, а вместе с огнями моментально исчезнет и та пестрая, фантастическая публика, которая переполняет теперь его тротуары.

ГРУППА 1-я

На углу Большой Конюшенной; шеренга из четырех молодых людей неизвестного оружия.

1-й молодой человек *(докторальным тоном)*. Чтоб утверждать что-нибудь, надо прежде всего знать, что́ утверждаешь. Ведь ты незнаком с Муриными?

2-й молодой человек. Я... да... нет... но я слышал... quelq'un, qui est très intime dans la maison, m'a raconté...[1]

1-й молодой человек. Ну, вот видишь! ты только слышал, а утверждаешь! И что ты утверждаешь? Qu'Olga est jusqu'à nos jours fidèle à son grand dadais de colonel! Olga! je vous demande un peu, si ça a le sens commun![2]

ГРУППА 2-я

У Казанского моста; трое штатских молодых людей.

1-й молодой человек. И представь себе: сразу!

2-й и 3-й молодые люди *(вместе)*. Pas possible![3]

1-й молодой человек. Я сам не успел хорошенько понять, что со мной делается, как уж был счастливейшим из смертных!

ГРУППА 3-я

У Михайловской; два несомненные кавалериста.

Первый. И муж, ты говоришь, в соседней комнате... ха-ха!

Второй. Да, в соседней комнате, за преферансом сидит. И мы слышим, как он говорит: «пас!!»

Первый. Ah, c'est unique![4]

[1] один очень близкий друг их дома рассказал мне.

[2] Что Ольга до сих пор верна своему дурню — полковнику! Ольга! Скажите, да мыслимо ли это!

[3] Не может быть!

[4] Бесподобно!

ГРУППА 4-я

У одной из Садовых; начальник и подчиненный.

Подчиненный. Он, вашество, кàк место-то получил? Вы Глафиру-то Ивановну изволите знать?

Начальник. Как же! как же! Хорошенькая! Ах да! ведь она с графом Николаем Петровичем... по-ни-маю!

Подчиненный. Ну вот-с! ну вот-с! ну вот-с!

Начальник. Пон-ни-маю!!

. . . . . .

ГРУППА 5-я

У подъезда Дюсо; Тебеньков и я.

Тебеньков. А ты еще сомневался, что женский вопрос решен! Давно, mon cher! Еще «Прекрасная Елена» — уж та порешила с ним!

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ

Двадцать первого июля, накануне своих именин, Марья Петровна Воловитинова с самого утра находится в тревожном ожидании. Она лично надзирает за тем, как горничные убирают комнаты и устроивают постели для дорогих гостей.

— Пашеньке-то! Пашеньке-то! подушечку-то маленькую не забудьте под бочок положить! — командует она направо и налево.

— А Семену Иванычу где постелить прикажете? — спрашивает ее ключница Степанида.

— Ну, Сенечка пусть с Петенькой поспит! — отвечает она после минутного колебания.

— А то угольная порожнем стоит!

— Нет, пусть уж, Христос с ним, с Петенькой поспит!.. Феденьке-то! Матрена! Феденьке-то не забудьте, чтоб графин с квасом на ночь стоял!

— А перинку какую Семену Иванычу прикажете?

— Попроще, Степанидушка, попроще! из тех... знаешь? — отвечает Марья Петровна, томно вздыхая.

Сделав эти распоряжения, Марья Петровна удаляется в девичью, где ждет ее повар с разложенною на столе провизией.

— Я сегодня дорогих гостей к себе жду, Афоня! — говорит она повару.

— Слушаю-с.

— Так как же ты думаешь, что̀ бы нам такое сготовить, чтоб дорогих гостей порадовать?

— На холодное галантир можно-с.

— Что это, господи! только и слов у тебя что галантир да галантир!

— Как вам угодно-с.

— Нет, уж ты лучше... да что ты жуешь? что ты все жуешь? — Афоня проворно подносит ко рту руку и что-то выплевывает.

— Таракан залез-с! — отвечает он.

— Ах ты, дурной, дурной! (Марья Петровна решилась не омрачать праздника крепкими словами.) Верно уж клюкнул?

— Виноват-с.

— Вот то-то вы, дурачки! огорчаете вы вашу старую барыню, а потом и заедаете всякой дрянью!

— Виноват-с.

— Ты бы вот, дурачок, подумал, что завтра, мол, день барынина ангела; чем бы, мол, мне ее, матушку, порадовать!

— Виноват-с.

— Молчать! Что ты, подлец, какую власть надо мной взял! я слово, а он два! я слово, а он два!.. Так вот ты бы и подумал: «Что бы, мол, такое сготовить, чтоб барыне перед дорогими гостями не совестно было!» а ты, вместо того, галантир да галантир!

— Можно ветчину с горошком подать-с! — отвечает повар с некоторым озлоблением.

— Ну да; ну, хоть ветчину с горошком... а с боков-то котлеточек...

Марья Петровна высчитывает, сколько у нее будет гостей. Будут: Феденька, Митенька и Пашенька; еще будет Сенечка, но его Марья Петровна почему-то пропускает.

— Так ты три котлеточки к одному боку положи,— говорит она,— ну, а на горячее что?

— Щи из свежей капусты можно сделать-с.

Марья Петровна рассчитывает: свежей капусты еще мало, а щи надобно будет всем подавать.

— Щи ты из крапивы сделай! или нет, вот что: сделай ты щи из крапивы для всех, да еще маленький горшочек из свежей капусты... понимаешь?

— Слушаю-с.

— А на жаркое сделай ты нам баранинки, а сбоку положи три бекасика...

— Можно-с.

— А пирожное, уж так и быть, общее: малиновый пирог! И я, старуха, с ними полакомлюсь!

Кончивши с поваром, Марья Петровна призывает садовника, который приходит с горшками, наполненными фрукта-

ми. Марья Петровна раскладывает их на четыре тарелки, поровну на каждую, и в заключение, отобрав особо самые лучшие фрукты, отправляется с ними по комнатам дорогих гостей. Каждому из них она кладет в потаенное место по нескольку отборных персиков и слив, исключая Сенечки, около комнаты которого Марья Петровна хотя и останавливается на минуту, как бы в боренин, но выходит из борьбы победительницей.

Марья Петровна — женщина очень почтенная: соседи знают ее за чадолюбивейшую из матерей, а отец Павлин, местный сельский священник и духовник Марьи Петровны, даже всенародно однажды выразился, что душа ее всегда с благопоспешением стремится к благоутешению ближнего, а десница никогда не оскудевает благоготовностью к благоукрашению храмов божиих. Марья Петровна сама знает, что она хорошая женщина, и нередко, находясь наедине с самой собою, потихоньку умиляется по поводу разнообразных своих добродетелей. Сядет этак у окошечка, раздумается и даже всплакнет маленько. Все-то она устроила: Сенечку в генералы вывела, Митеньку на хорошую дорогу поставила, Феденька — давно ли из корпуса вышел, а уж тоже штабс-ротмистр, Пашенька выдана замуж за хорошего человека, один только Петенька... «Ну, да этот убогонький, за нас богу помолит! — думает Марья Петровна,— надо же кому-нибудь и богу молиться!..» И все-то она одна, все-то своим собственным хребтом устроила, потому что хоть и был у ней муж, но покойник ни во что не входил, кроме как подавал батюшке кадило во время всенощной да каждодневно вздыхал и за обедом, и за ужином, и за чаем о том, что не может сам обедню служить. А храмы-то, храмы-то божии! Тогда-то Марья Петровна пелену на престол пожертвовала, тогда-то воздухи прекрасные вышила, тогда-то паникадило посеребрила... Как вспомнит это Марья Петровна да сообразит, что все это она, одна она сделала и что вся жизнь ее есть не что иное, как ряд благопотребных подвигов, так у ней все внутри и заколышется, и сделается она тихонькая-претихонькая, Агашку называет Агашенькой, Степашку — Степанидушкой и все о чем-то сокрушается, все-то благодушествует.

У Марьи Петровны три сына: Сенечка, Митенька и Феденька; были еще две замужние дочери, но обе умерли, оставив после себя Пашеньку (от старшей дочери) и Петеньку (от младшей).

Сенечка, как сказано выше, уже генерал (разумеется, штатский) и занимает довольно видный пост в служебной иерархии. Начальники Сенечки не нахвалятся им; мало того

что он держит в страхе своих подчиненных, но что всего драгоценнее, сам повиноваться умеет. Окончив с успехом курс в училище правоведения, Сенечка с гордостью мог сказать, что ни одного чина не получил за выслугу, а всё за отличие, и, наконец, тридцати лет от роду, довел свою исполнительность до того, что начальство нашлось вынужденным наградить его чином действительного статского советника. Поздравляя его с этой наградою, Сенечкин начальник публично улыбнулся и назвал его général-enfant [1], а Сенечка, с своей стороны, разревновался до того, что в один год сочинил пять проектов, из коих два даже по совершенно постороннему ведомству. Начальство просто растерялось и не знало, как наградить молодого генерала. Сенечка же, с своей стороны, слушая со всех сторон себе похвалы, застенчиво краснел, что придавало еще более цены его усердию. Я не читал сочиненных Сенечкою проектов, но, признаюсь, очень хотел бы почитать их. А так как, с другой стороны, я достоверно знаю, что все они кончались словами: *вменить начальникам губерний в обязанность* и т. д., то, положив руку на сердце, я с уверенностью могу сказать, что содержание их мне заранее известно до точности, а следовательно, и читать их особенной надобности для меня не настоит.

Итак, со стороны службы, Сенечка был счастлив; он имел прекрасный, шитый золотом мундир, был баловнем своих начальников, служил предметом зависти для сверстников и примером подражания для подчиненных. Сверх того, он имел очень приятную наружность и те прекрасные манеры, которыми вообще отличаются питомцы школы правоведения. И в наружности, и в манерах его прежде всего поражала очень милая смесь откровенной преданности с застенчивою почтительностью; сверх того, он имел постоянно бодрый вид, а когда смотрел в глаза старшим, то взгляд его так отливал доверчивостью и признательностью, что старшие, в свою очередь, не могли оторвать от него глаз и по этой причине называли его василиском благонравия. Замечательно, что до всего этого он дошел своим собственным умом, без малейшей протекции, потому что maman [2] Воловитинова хотя была женщина с состоянием, но жила безвыездно в деревне и никаких знатных связей не имела. Вообще Сенечка мог дерзать в будущем очень далеко, и хотя предположений своих по этому предмету не высказывал, но я знаю, что и он был не чужд мечтаний. Я знаю, например, что нередко ему снились мундиры самых разнооб-

[1] генерал-дитя.
[2] мамаша.

разных цветов и покроев, но всегда с великолепным шитьем; однажды он даже увидел себя во сне сплошь утыканным павлиными перьями, которые так и играли на солнце всевозможными радужными цветами. Сон оказался вещун, потому что на другой же день его представили к награде. Повторяю: Сенечка был счастлив. Однако было одно обстоятельство, которое грызло его, и обстоятельство это заключалось в том, что он никак не мог пленить сердце маменьки Марьи Петровны. По-видимому, он заключал в себе все данные для увеселения материнского сердца; по-видимому, он был и благонравен, и почтителен, не пропускал ни одного праздника, чтоб не пожелать милой маменьке «встретить его в полном душевном спокойствии и в той сердечной тишине, которых вы, милая маменька, вполне достойны», однако материнское сердце оставалось холодно к нему. Нельзя сказать, чтобы Марья Петровна не «утешалась» им: когда он в первый раз приехал к ней показаться в генеральском чине, она даже потрепала его по щеке и сказала: «ах, ты мо-ой!», но денег не дала и ограничилась ласковым внушением, что люди для того и живут на свете, чтобы друг другу тяготы носить.

— Маменька, мне надо будет мундир новый сшить! — сказал Сенечка, думая деликатным образом дать понять об истинной цели своего посещения.

— Сшей, душенька, сшей! — снисходительно отвечала Марья Петровна, а денег так-таки и не дала.

Соседи всячески исголковывали себе причины холодности Марьи Петровны к своему первенцу. Приплетали тут и каких-то двух офицеров пошехонского пехотного полка, и Карла Иваныча, аптекаря; говорили, что Сенечка — первый и единственный сын своего отца и что Марья Петровна, не питавшая никогда нежности к своему мужу, перенесла эту холодность и на сына...

Я, с своей стороны, думаю, что все это пустяки. Не смея ни возражать, ни утверждать ничего относительно офицеров и аптекаря (потому что я и сам этого обстоятельства не привел в положительную известность), я объясняю себе холодность Марьи Петровны несколько иначе. Она была женщина простая, деятельная и весьма сообразительная; Сенечка же, напротив того, был молодой человек вычурный, лимфатический и слегка словно пришибенный. Марья Петровна любила, чтоб у нее дело в руках горело; Сенечка же любил всякое дело обсудить, то есть не столько обсудить, сколько наговорить по поводу его с три короба всякого рода предварительных пошлостей. Марья Петровна терпеть не могла, когда к ней лезли с нежностями, и даже целование руки считала хотя необходи-

мою, но все-таки скучною формальностью; напротив того, Сенечка, казалось, только и спал и видел, как бы влепить мамаше безешку взасос, и шагу не мог ступить без того, чтобы не сказать: «Вы, милая маменька», или: «Вы, добрый друг, моя дорогая маменька». Весьма натурально, что, будучи от природы нетерпелива и не видя конца речи, Марья Петровна выходила наконец из себя и готова была выкусить язык этому «подлецу Сеньке», который прехладнокровно сидел перед нею и размазывал цветы своего красноречия. «Как начнет он, это, разводить да размазывать, да душу из меня выматывать, как начнет, это, свои слюни распускать,— говорила Марья Петровна по этому случаю,— так, поверите ли, родная моя, я даже свету невзвижу; так бы, кажется, изодрала ему рот-то его поганый, чтоб он кашу-то эту из себя скорей выблевал!» Когда Марья Петровна ела, то совсем не жевала, а проглатывала пищу, как щука; напротив того, Сенечка любил всякий кусок рассмотреть, разжевать, просмаковать, посыпать разговорцем и, к довершению всего, разрезывал кушанье на маленькие кусочки, а с огурца непременно срезывал кожу. Поэтому, когда им случалось вдвоем обедать, то у Марьи Петровны всегда до того раскипалось сердце, что она, как ужаленная, выскакивала из-за стола и, не говоря ни слова, выбегала из комнаты, а Сенечка следом за неї приставал: «Кажется, я, добрый друг маменька, ничем вас не огорчил?» Наконец, когда Марья Петровна утром просыпалась, то, сплеснув себе наскоро лицо и руки холодною водой и накинув старенькую ситцевую блузу, тотчас же отправлялась по хозяйству и уж затем целое утро переходила от погреба к конюшне, от конюшни в контору, а там в оранжерею, а там на скотный двор. Сенечка, напротив того, и спал как-то не по-человечески: во-первых, на ночь умащал свое лицо притираньями; во-вторых, проснувшись, целый час рассматривал, не вскочило ли где прыщика, потом целый час чистил ногти, потом целый час изучал перед зеркалом различного рода улыбки, причем даже рот как-то на сторону выворачивал, словно выкидывал губами артикул. Хоть Марье Петровне до всего этого было очень мало дела, потому что она и не желала, чтоб дети у ней в доме чем-нибудь распоряжались, однако она и на конюшне, бывало, вспомнит, что вот «Сенька-фатюй» теперь перед зеркалом гримасы строит, и даже передернет ее всю при этом воспоминанье. Одним словом, встречаясь в жизни на каждом шагу, они не только не могли ни в чем сойтись, но положительно и постоянно точили друг друга. Ясно, что причина этого явления лежала совсем не в офицерах пошехонского полка, но объяснялась гораздо проще. Они видеть друг друга не могли без того, чтоб мысленно

не произнести — она: «Ах, если б ты знал, как меня от одного твоего вида тошнит!», он: «Ах, если б ты знала, с каким бы я удовольствием ноги своей сюда не поставил, кабы только от меня это зависело!» Какой же тут аптекарь! тут просто люди не понимают друг друга, потому что говорят на разных языках!

Однажды Сенечка насмерть перессорился с маменькой из-за бани. Приехавши летом в отпуск, вздумал он вымыться в баньке и пришел доложить об этом маменьке. Он тогда только что был произведен в статские советники и назначен вице-директором какого-то департамента.

— У меня есть до вас, милая маменька, большая просьба! — приступил Сенечка, по своему обыкновению, с предисловия.

— Говори, мой друг!

— Вы меня извините, добрый друг маменька, я только что приехал и решаюсь уже вас беспокоить...

— Говори, мой друг!

— Но обстоятельство такого рода, что я, зная ваше доброе ко мне расположение и как вы всегда были снисходительны ко всем моим нуждам...

— Да говори же, дурак!

— Я, право, не знаю, дорогая маменька, чем я мог заслужить ваш гнев...

— Долго ли ты меня притеснять будешь? долго ли тебе мной командовать?

— Я, милая маменька...

Но Марья Петровна уже вскочила и выбежала из комнаты. Сенечка побрел к себе, уныло размышляя по дороге, за что̀ его наказал бог, что он ни под каким видом на маменьку потрафить не может. Однако Марья Петровна скоро обдумалась и послала девку Палашку спросить «у этого, прости господи, черта», чего ему нужно. Палашка воротилась и доложила, что Семен Иваныч в баньку желают сходить.

— На-тко! — сказала Марья Петровна и показала при этом Палашке указательный палец правой руки,— на дворе сенокос, люди в поле, а он в баньку выдумал! Поди, доложи, что некому сегодня топить.

Однако через несколько минут Марья Петровна опять обдумалась, велела затопить баню и послала за Сенечкой.

— Ну, ступай в баню, мой друг,— сказала она кротко.

— Но если это затрудняет вас в ваших распоряжениях, милый друг маменька...

— Ступай в баню, мой друг,— опять повторила Марья Петровна и, чтоб не увлекаться, занялась раскладыванием гран-пасьянса.

— Если все люди в поле, дорогая маменька...

Марья Петровна не отвечала, но, судорожно повертываясь на стуле, думала: «Неужели это *я* такого дурака родила?»

— Я не знаю, милая маменька, что̀ я такое сделал, чем я мог вас огорчить?

Молчание...

— Я благонравием своим заслужил любовь всех моих начальников, ныне назначен уже вице-директором и льщу себя надеждою, что карьера моя далеко не кончена...

То же молчание, нарушаемое только шлепаньем карт.

— Во всех семействах первородные сыновья...

— Уйдешь ли ты в баню, мерзавец! — крикнула наконец Марья Петровна, но таким голосом, что Сенечке стало страшно. И долго потом волновалась Марья Петровна, и долго разговаривала о чем-то сама с собой, и все повторяла: «Лишу! ну, как бог свят лишу я этого подлеца наследства! и перед богом не отвечу!» С своей стороны, Сенечка хоть и пошел в баню, но не столько мылся в ней, сколько размышлял: «Господи, да отчего же я всем угодил, всем заслужил, только маменьке Марье Петровне ничем угодить и заслужить не могу!»

Второй сын Марьи Петровны, Митенька,— дипломат. Он воспитывался в Лицее, прекрасно владеет французским диалектом, смотрит урожденным камер-юнкером и отлично танцует. Лицо его выразительно и напоминает скорее прекрасный худощавый итальянский тип, нежели наш мясистый русский. Поговаривают, будто он пользуется значительными успехами у дам; тем не менее он ведет себя очень осторожно; историй, которые могли бы его скомпрометировать, никогда не имел и, как видно, предпочитает обделывать свои дела полегоньку. Вообще это малый довольно глубокомысленный, понимающий, что счастье человеческое заключается в скромности, терпении и небрезгливости и, вследствие того, всегда предпочитающий даму опытную, знакомую с жизненною дипломатией, какой-нибудь молоденькой, привлекательной, но в то же время неосновательной бабенке. Носились слухи, что он сумел «сыскать» в какой-то княгине, знаменитой не столько настоящею, сколько прошедшею своею красотой; говорили, что он не только пользуется ее благосклонностью, но не пренебрегает и другими, более вещественными выгодами. Как бы то ни было, но квартира его была действительно отделана как игрушечка, хотя Марья Петровна, по своей расчетливости, не слишком-то щедро давала детям денег на прожитие; сверх того, княгиня почти публично называла его сынком, давала ему целовать свои ручки и без устали напоминала Митенькиным начальникам, что это перл современных молодых людей. Мне, как автору, кроме

того, известно, что однажды княгиня, в порыве чувствительности, даже написала к Марье Петровне письмо, в котором называла ее доброю maman и просила благословения. Это был единственный случай, когда Митенька вышел из своего обычного хладнокровия и чуть было не поссорился с своею покровительницей. В первом увлечении гнева он нашел, что поступок этот чересчур уж нелеп, que ça n'a l'air de rien[1], что это срам; однако ж, по зрелом размышлении, успокоился и даже рассудил, что нелепая сентиментальность княгини может возвысить его в мамашиных глазах и, вместо вреда, принести пользу. И действительно, почти вслед за тем, он получил от мамаши письмо, полное самых шутливых намеков, которое окончательно его успокоило. Письмо это оканчивалось поручением поцеловать милую княгиню и передать ей, что ее материнское сердце отныне будет видеть в ней самую близкую, нежно любимую дочь. Разумеется, Митенька поручения этого не исполнил.

В своем обществе Митенька называл Марью Петровну ma bonne pâte de mère[2] и очень трогательно рассказывал, как она там хозяйничает в деревне, чтоб прилично содержать своих детей. К Сенечке он относился дружелюбно, но виделся с ним редко и в отношения его к матери не входил, ибо считал, что это не его дело. Он знал, что Сенечка не потеряется и, в конце концов, все-таки женится на купчихе, которая соблазнится его генеральством. Феденьку, младшего брата, он в душе презирал и даже боялся, что он когда-нибудь непременно или казенные деньги украдет, или под суд попадет, или получит неприятность по лицу. Тем не менее это опасение, быть может, было причиной, что он поддерживал с Феденькой сношения даже более деятельные, нежели с Сенечкой: он надеялся, что если и возникнет какая-нибудь неприятность, то можно будет своевременно принятыми мерами предотвратить ее. Повторяю: это был малый очень глубокомысленный, принявший свое положение в том виде, в каком оно действительно представлялось, и употреблявший все свои усилия на то, чтоб вывернуться из него как можно приличнее. Если б можно было упечь Феденьку куда-нибудь подальше, но так, чтобы это было прилично (ему часто даже во сне виделось, что Феденька оказался преступником и что его ссылают в Сибирь), то он бы ни на минуту не усомнился оказать в этом деле все свое содействие.

С своей стороны, Марья Петровна не столько любила Митеньку, сколько боялась его. При одном его имени она чувство-

[1] что это никуда не годится.
[2] моя добрая матушка.

вала какой-то панический страх, точно вот он сейчас возьмет да и проглотит ее. Митенька дома держал себя таинственно-строго, с матерью никогда не ссорился, но и в откровенности не пускался. В сущности, он и Сенечка представляли почти одну и ту же натуру: та же шаткость основ, то же отсутствие всякой живой мысли, но, вследствие особенностей характера и жизненной выдержки, то, что в Сенечке сказывалось прямою, неподкрашенною нелепостью, в Митеньке являлось твердостью характера, переходившею в холодную и расчетливую злость. Оба они говорили и делали одни и те же пошлости, но проводили эти пошлости в жизнь совершенно различными путями. Сенечка суетился и сентиментальничал; он не смотрел на себя как на государственного человека, но, надеясь на милость начальства, был предан и выигрывал единственно усердием и ничтожеством. Взирая на него, как он хлопочет и надрывается, усматривая на каждом шагу несомненные доказательства его почтительности, начальство говорило: «О! это молодой человек верный! этот не выдаст!» Напротив того, Митенька был неприступен и непроницаем; он хранил свою пошлость про себя и совершенно искренно верил, что в ней заключаются истинные задатки будущего государственного человека; он не хлопотал, не суетился, но делал свои маленькие нелепости серьезно и методически и поражал при этом благородством манер. Взирая на эту силу ничтожества, доведенную почти до олимпийского спокойствия, начальство говорило: «Да! это молодой человек положительный! этот не выдаст!» Результаты в обоих случаях выходили одинаковые, и действительно, Митенька шел вперед столь же быстрыми шагами, как и Сенечка, с тою только разницей, что Сенечка мог надеяться всплыть наверх в таком случае, когда будет запрос на пошлецов восторженных, а Митенька — в таком, когда будет запрос на пошлецов непромокаемых. Марья Петровна радовалась успехам Митеньки, во-первых, потому, что это не позволяло Сенечке говорить: «Все у вас дети пастухи — я один генерал!» и, во-вторых, потому, что Митенька один умел сдерживать Феденьку, эту скорбь и вместе с тем радость и чаянье ее материнского сердца.

И действительно, Феденька представлял собою совершеннейший тип не только пустейшего малого, но и положительного ерыги. «Все у него удовольствия какие-то неблагородные! все-то у него либо подол поднять, либо рожу раскровенить!» — часто думала втихомолку Марья Петровна про Феденьку, и болело же, ох, болело! ее материнское сердце! И припоминала ей беспощадная память все оскорбления, на которые был так щедр ее любимчик; подсказывала она ей, как он однажды,

пьяный, ворвался к ней в комнату и, ставши перед ней с кулаками, заревел: «Сейчас послать в город за шампанским, не то весь дом своими руками передушу!» «И передушил бы!»— невольно повторяет Марья Петровна при этом воспоминании. Подсказывала ей память, как он в другой раз преданную ей ключницу Степаниду сбирался за что-то повесить, как он даже вбил гвоздь в стену, приготовил веревку и, наконец, заставил Степаниду стать на колени и молиться богу. Подсказывала ей память, как он однажды батюшке потихоньку косу обстриг и как батюшка был от того в великом смущении и хотел даже доходить до епархиального начальства... Вообще каждый приезд Феденьки в родительский дом равнялся неприятельскому погрому, после которого обыватели долго не могли прийти в себя. Во-первых, всех горничных непременно перепортит, и не то чтоб лаской или резонным усовещиваньем, а все арапником да нагайкой; во-вторых, божьего дара не столько припьет-приест, сколько озорством разбросает; в-третьих, изо всего дома словно конюшню сделает. «Другая бы мать давно этакого молодца в суздаль-монастырь упекла!» — рассуждает сама с собой Марья Петровна, совершенно убежденная, что есть на свете какой-то суздаль-монастырь, в который чадолюбивые родители имеют право во всякое время упекать ненравящихся им детей. Никто в доме не любил Феденьку; всех-то он или побил, или оборвал; только горничные девки оказывали какое-то трепетное малодушие при одном его взгляде, несмотря на жестокое его обращение.

Тем не менее сердце Марьи Петровны ни к кому из детей так не лежало, как к Феденьке. Быть может, ей именно то в нем и нравилось, что он таким коршуном налетал: «разбойник!» — громко говорил ее рассудок; «молодец!» — подсказывали внутренности, и, как и водится, последние всегда одерживали победу в этой неравной борьбе. Будучи сама характера решительного и смелого, она весьма естественно симпатизировала Феденьке, который ни перед чем не задумывался, ничем не затруднялся. Никогда не имев случая испытать над собой гнет чьей-нибудь власти, сама всегда властвуя и повелевая, она исполнялась каким-то наивным удивлением перед Феденькой, который сразу подчинял ее себе. Это был совсем не страх, вроде того, который внушал ей Митенька, это именно было удивление. Митеньку она боялась, потому что знала, что уж если этот человек чего захочет, то не станет много разговаривать, не станет горячиться, а просто ехиднейшим образом подкопается подо все существование и изведет, измучит вконец, покуда не поставит на своем. Напротив того, Феденька, как буян по натуре, действовал убеждением, так сказать, механи-

ческим: вспылит, подымет дым коромыслом, порой чуть-чуть не убьет, но через десять минут опять успокоится и опять пошел шутки шутить.

Ко всему этому Феденька был и по наружности молодец молодцом. Высокий, плечистый, искрасна-белокурый, он олицетворял собою тип чисто русский, мясистый тип, от которого млеют и ноют неиспорченные сердца русских помещиц и их горничных. Часто, глядя на него, Марья Петровна невольно думала: «Господи! да как же и противиться-то этакому молодцу!» — и в этом, быть может, была вторая причина ее предпочтения младшему сыну. Когда же, бывало, натянет он на себя свой кавалерийский мундир, а на голову наденет медную, как жар горящую, каску с какими-то чудодейственными орлами на вершине да войдет этаким чудаком в мамашину комнату, то Марья Петровна едва удерживалась, чтоб не упасть в обморок от полноты чувств.

— Эк! уж и расползлись! — скажет, бывало, Феденька и дико-торжественно загогочет.

— Да помилуй, мой друг! — вымолвит только Марья Петровна и долго смотрит на своего идола, смотрит без всяких мыслей, кроме одной: «Господи! да неужто же есть на свете такая женщина, которая может противиться моему молодцу!»

Кроме сыновей, у Марьи Петровны есть еще внучата: Пашенька и Петенька. Пашенька — кругленькое, маленькое и мяконькое существо — вот все, что можно сказать об ней. Она менее года как замужем за «хорошим человеком», занимающим в губернском городе довольно видное место, которого, однако ж, Феденька откровенно называет слюняем и фофаном; Марья Петровна души в ней не слышит, потому что Пашенька любит копить деньги. Петенька — четырнадцатилетний мальчик, полуидиот и единственный постоянный собеседник Марьи Петровны, которая обращается с ним снисходительно и жалуется только на то, что он, по своей нечистоплотности, слишком много белья изнашивает. Единственный рассказ, которым всех и каждого потчевал Петенька, заключался в том, как он однажды заблудился в лесу, лег спать под дерево и на другой день, проснувшись, увидел, что кругом оброс грибами.

— Что ж, ты, чай, так их сырые и приел? — спрашивал его обыкновенно Феденька.

— *Ей!* — отвечал Петенька, который, помимо малоумия, был до такой степени косноязычен, что трудно было понять, что он говорит.

— Ну, брат, скотина же ты!

— *Кати...*

Итак, вот то семейство, среди которого Марья Петровна Воловитинова считала себя совершенно счастливою.

Часу в первом усмотрено было по дороге первое облако пыли, предвещавшее экипаж. Девки засовались, дом наполнился криками: «Едут! едут!» Петенька, на палочке верхом, выехал на крыльцо и во все горло драл какую-то вновь сочиненную им галиматью: «Пати-маля, маля-тата-бум-бум!» Марья Петровна тоже выбежала на крыльцо и по дороге наградила Петеньку таким шлепком по голове, что тот так и покатился. Первая прибыла Пашенька: она была одна, без мужа.

— Друг ты мой! а что же друг-то твой, Максим Александрыч? — воскликнула Марья Петровна, заключая в свои объятия возлюбленную внучку.

— Максиму Александрычу никак нельзя, милая бабенька; у нас, бабенька, скоро торги, так он приготовляется! Здравствуй, Петька!

— *Пати-маля, маля-тата, бум-бум!*

— Это он что-то новое у вас, бабенька, выучил!

— Не слыхала еще! сегодня, должно быть, выдумал! это он «реприманд» дорогим гостям делает.

— А я, бабенька, полторы тысячи накопила! — сообщает Пашенька, как только унялись первые восторги.

— Ах, ты моя ягодка! да никак ты тяжела!

— Я, милая бабенька, тяжела уж с одиннадцатого февраля!

— Ах, малютка ты моя милая! где ж ты рожать-то будешь?

— Максим Александрыч говорит, что у себя, в городе.

— Да есть ли у вас бабка-то там?

— У нас, бабенька, такая бабка... такая бабка! нарочно для нашей губернаторши лучшую из Петербурга прислали!

— Стало быть, у вас губернаторша-то еще рожает?

— Ах, бабенька! у нас губернаторша... это ужас! Уж немолодая женщина, а каждый год! каждый год!

— Ну, это хорошо, что бабка у вас такая... Куда же ты деньги-то? положила?

— Нет, бабенька, Максим Александрыч мне класть не советовал; проценты нынче в опекунском совете маленькие, так я в рост за большие проценты отдала.

— Смотри, чтоб он у тебя денег-то не выманил!

— Кто это?

— А Максимушка-то твой; бывают, Пашенька, мой друг, бывают такие озорники, что жену готовы живую съесть, только бы деньги из нее вымучить!

— Ну, уж это, бабенька, тогда разве будет, когда он жилы из меня потянет!

— То-то, ты смотри!

Бабенька смотрит Пашеньке в глаза и не налюбуется на нее; Пашенька, с своей стороны, докладывает, что приходил к ней недавно в город мужик из Жостова, Михей Пантелеев, просил оброк простить, потому что погорел, «да я ему, милая бабенька, не простила».

— Ну, душенька, иногда, по-божески, нельзя и не простить! — замечает Марья Петровна.

— Ну, уж нет, бабенька, этак они так об себе возмечтают, что после с ними и не сговоришь!

— Однако, душечка...

— Нет, бабенька, нет! Я уж решилась никогда никому никаких снисхождений не делать!

Потом Пашенька рассказывает, какой у них в городе дом славный, как их все любят и какие у Максима Александрыча доходы по службе прекрасные.

— В прошлый набор, бабенька, так это ужасти, сколько Максим Александрыч приобрел! — говорит она.

— Да, это хорошо, коли в дом, а не из дому! Ты, Пашенька, разузнай под рукой про его доходы-то, а не то как раз на стороне метресу заведет!

— Что вы, бабенька, да я ему глаза выцарапаю!

— Ах ты, моя ягодка!

Пашенька чувствует прилив нежности, которая постепенно переходит в восторг. Она ластится к бабеньке, целует у ней ручки и глазки, называет царицей и божественной. Марья Петровна сама растрогана; хоть и порывается она заметить, по поводу Михея Пантелеева, что все-таки следует иногда «этим подлецам» снисходить, но заметка эта утопает в другом рассуждении, выражающемся словами: «а коли по правде, что их, каналье в, и жалеть-то!» Таким образом время проводится незаметно до самого приезда дяденек.

Наконец и они приехали. Феденька, как соскочил с телеги, прежде всего обратился к Пашеньке с вопросом: «Ну, что, а слюняй твой где?» Петеньку же взял за голову и сряду три раза на ней показал, как следует ковырять масло. Но как ни спешил Сенечка, однако все-таки опоздал пятью минутами против младших братьев, и Марья Петровна, в радостной суете, даже не заметила его приезда. Без шума подъехал он к крыльцу, слез с перекладной, осыпал ямщика укоризнами и даже пригрозил отправить к становому.

— Милости просим! милости просим! хоть и поздний гость! — говорит ему Марья Петровна, когда он входит в ее комнату.

— Я, милая маменька, выехал прежде всех...

— А ты умей после всех выехать, да прежде всех приехать! — говорит Феденька,— право, мы выехали со станции полчаса после него: думаем, пускай его угодит маменьке... Сеня! а Сеня! признайся, ведь тебе очень хотелось угодить маменьке?

Сенечка улыбается; он хочет притвориться, что Феденька и его фаворит и что, по любви к нему, он смотрит на его выходки снисходительно.

— Только на половине дороги смотрим, кто-то перед носом у нас трюх-трюх! — продолжает Феденька,— ведь просто даже глядеть было на тебя тошно, каким ты разуваем ехал! а еще генерал... ха-ха!

— Ну, Христос с ним, Феденька!

— Да нет, маменька! не могу я равнодушно видеть... его, да вот еще Пашенькинова слюняя... Шипят себе да шипят втихомолку!

— Что такое тебе мой слюняй сделал? — горячо вступается Пашенька, которая до того уже привыкла к этому прозвищу, что и сама нередко, по ошибке, называет мужа слюняем.

Митенька сидит и хмурит брови. Он спрашивает себя: куда он попал? Он без ужаса не может себе представить, что̀ сказала бы княгиня, если б видела всю эту обстановку? и дает себе слово уехать из родительского дома, как только будут соблюдены необходимые приличия. Марья Петровна видит это дурное расположение Митеньки и принимает меры к прекращению неприятного разговора.

— Ну, вы, петухи индейские! как сошлися, так и наскочили друг на друга! — говорит она ласково,— рассказывайте-ка лучше каждый про свои дела! Начинай-ка, Феденька!

Митенька думает про себя: «Господи, и слова-то какие! «петухи индейские»! да куда ж это я попал!» Сенечка думает: «А ведь это она не меня петухом-то назвала. Это она все Федьку да Пашку ласкает!»

— Да что я скажу! — начинает Феденька,— жуируем!

— Да ты рассказывай! — настаивает Марья Петровна.

— Недавно одну корифейку затравили!

— Что ты!

— Уговаривали добром — не хотела, ну, и завели обманом в одно место и затравили!

— Ах вы, бедокуры! бедокуры! — говорит Марья Петровна, покачивая головой и вздыхая.

— Тебя, Феденька, за эти проделки непременно в солдаты разжалуют,— очень серьезно замечает Митенька.

— Еще что!

— Ах, боюсь и я этого! боюсь я, что ты очень уж шаловлив стал, Феденька!

— Так неужто ж им спуску давать!

— Да уж очень ты неосторожно, друг мой! Чай, ведь она, Феденька, плакала!

— Ну что ж... и плакала! смотреть, что ли, на ихние слезы!

Марья Петровна опять вздыхает, но в этом вздохе не слышится ни малейшей укоризны, а скорее какое-то сладкое чувство удовлетворенной материнской гордости.

— Вот если б *он* вздумал такую проделку сделать,— продолжает Феденька, указывая на Сенечку,— ну, это точно: сейчас бы его, раба божьего, сграбастали... нет, да ведь я позабыть не могу, каким он фофаном давеча ехал!

— Ну, где уж ему!

— Нет, маменька,— прерывает вдруг Сенечка, которому хочется вступиться за свою честь,— я тоже однажды имел случай в этом роде...

— Полно! полно хвастаться-то! уж где тебе, убогому!

Сенечка стыдливо умолкает и весь погружается в самого себя; он думает, что̀ бы такое ему сказать приятное, когда маменька станет расспрашивать о его житье-бытье.

— Я, маменька, опять Эндоурова обыграл,— продолжает повествовать Феденька.

— Скажи, сделай милость! и много выиграл?

— Да тысяч на пять обжег.

— Что это за Эндоуров такой? должно быть, хороший человек?

— Просто филин... в карты шагу ступить не умеет — ну, и обжег! Не суйся вперед, коли лапти плетешь!

— Ну, и за это тебя когда-нибудь в солдаты разжалуют,— хладнокровно замечает Митенька.

— Ах, что это ты, Митенька, точно ворона каркаешь!— с неудовольствием отзывается Марья Петровна.

— Не тянуть же мне канитель по две копейки в ералаш, как Семену Иванычу,— огрызается Феденька.

— Извините-с, я нынче по пяти играю, а не по две-с!— отвечает Сенечка не без волнения.

— Так ты по пяти играешь! ах ты, развратник! но только ты все-таки не поверишь, каким ты фофаном давеча ехал!

— Для тебя бы, Сенечка, такая-то игра и дорогонька!— сухо замечает Марья Петровна и обращается к Митеньке,— е ву, ля метресс... тужур бьен? [1]

[1] а у тебя с любовницей... по-прежнему хорошо? (*франц.* et vous, la maîtresse... toujours bien?)

— Желал бы я знать, отчего вы вдруг по-французски заговорили? — угрюмо спрашивает Митенька.

— Отчего ж мне и не заговорить по-французски?

— Нет, я желал бы знать, отчего вы все время говорили по-русски, а вот как вам взошла в голову пакость, сейчас принялись за французский язык?

— Ах, господи! да неужто ж это преступление какое?

— И сколько я раз говорил вам, чтобы вы со мной о подобных предметах не заигрывали?

— Ведь ты, чай, сын мне! всякой матери лестно слышать, коли сын успехи имеет!

— А я вам говорил и вновь повторяю, что имею ли я успехи или нет, это до вас не касается!

— Ну, уж не знаю...

— Так знайте. И по-французски не упражняйтесь, потому что вы говорите не по-французски, а по-коровьи...

Я не знаю, как вывернулась бы из этого пассажа Марья Петровна и сумела ли бы она защитить свое материнское достоинство; во всяком случае, Сенечка оказал ей неоцененную услугу, внезапно фыркнув во всеуслышание. Вероятно, его точно так же, как и Митеньку, поразил французский язык матери, но он некоторое время крепился, как вдруг Митенька своим вовсе не остроумным сравнением вызвал наружу всю накопившуюся смешливость.

— Ты еще что? — строго обратилась к нему Марья Петровна.

— Я, маменька, один смешной случай вспомнил-с...

— Над матерью-то посмеяться тебя станет, а вот как заслужить чем-нибудь, так тут тебя нет!

— Я, маменька...

Но здесь опять, и, конечно, против всякого желания, Сенечка разразился самым неестественным фырканьем, так что сам понял все неприличие своего поведения и инстинктивно поднялся со стула.

— Поди в свою комнату... очнись! — говорила ему вслед до глубины души оскорбленная мать.

Только к обеду явился Сенечка, но и то единственно затем, чтоб испить до дна чашу унижения. За обедом все шло по-сказанному; Марья Петровна сама выбирала и накладывала лучшие куски на тарелки Митеньке, Феденьке и Пашеньке и потом, обращаясь к Сенечке, прибавляла: «Ну, а ты, как старший, сам себе положишь, да кстати уж и Петеньке наложи». Очевидно, что, при такой простоте обращения, только относительно щей дело могло принять оборот несколько затруднительный, но и тут обстоятельства выручили Марью Петровну,

потому что Феденька, как воин грубый, предпочел крапивные щи ленивым, и, вследствие этого, оказалось возможным полтарелки последних уделить Сенечке. Наевшись баранины, Сенечка почувствовал такую тяжесть в желудке, что насилу дошел до своей комнаты и как сноп свалился на постель; Феденька отправился после обеда на конюшню; Пашенька, как *тяжелая,* позволила себе часочек-другой отдохнуть. Марья Петровна осталась с Митенькой наедине.

— Вот вы смеетесь надо мной, мои друзья,— сказала она в виде предисловия,— а я, как мать, можно сказать, денно и нощно только об вас думаю.

Митенька молчал и думал про себя: «Ну, верно, по обыкновению, пойдут разговоры о завещании!»

— Вот я теперь и стара, и дряхла становлюсь,— продолжала Марья Петровна,— мне бы и об душе пора подумать, а не то чтоб имением управлять или светскими делами заниматься!

Митенька продолжал молчать, совершенно хладнокровно пуская ртом кольца дыма.

— Паче всего сокрушаюсь я о том, что для души своей мало полезного сделала. Всё за заботами да за детьми, ан об душе-то и не подумала. А надо, мой друг, ах, как надо! И какой это грех перед богом, что мы совсем-таки... совсем об душе своей не рачим!

Но Митенька словно окаменел. Только чуть заметная ироническая улыбка блуждала на губах его.

— Вот я, мой друг, и придумала... Да что же ты, однако, молчишь? Я, как мать, можно сказать, перед тобой свое сердце открываю, а ты хоть бы слово!

— Вы об завещании хотите говорить... я знаю! — процедил сквозь зубы Митенька.

— Ну, да, об завещании... можно бы, кажется, на слова матери внимание обратить!

— Говорите.

— Нет, это обидно! Я, как мать, покоя себе не знаю, все присовокупляю, все присовокупляю... кажется, щепочку на улице увидишь, и ту несешь да в кучку кладешь, чтоб детям было хорошо и покойно, да чтоб нужды никакой не знали да жили бы в холе да в неженье...

— Да мы, маменька, очень вам благодарны...

— Нет, мне, видно, бог уж за вас заплатит! Один он, царь милосердый, все знает и видит, как материнское-то сердце не то чтобы, можно сказать, в постоянной тревоге об вас находится, а еще пуще того об судьбе вашей сокрушается... Чтобы жили вы, мои дети, в веселостях да в неженье, чтоб и ветром-то на

вас как-нибудь неосторожно не дунуло, чтоб и не посмотрел-то на вас никто неприветливо...

— Да говорите же, маменька, я вас слушаю.

Мало-помалу, однако ж, Марья Петровна успокоилась. Она очень хорошо понимала, что весь этот разговор не что иное, как представление, да, сверх того, понимала и то, что и Митенька знает, что все это представление; но такова уже была в ней потребность порисоваться и посекретничать, что не могла она лишить себя этого удовольствия, несмотря на то что оно, очевидно, не достигало своей цели.

— Ну, так видишь ли, друг мой, что̀ я придумала. Года мои преклонные, да и здоровье нынче уж не то, что прежде бывало: вот и хочется мне теперь, чтоб вы меня, старуху, успокоили, грех-то с меня этот сняли, что вот я всю жизнь все об маммоне да об маммоне, а на хорошее да на благочестивое — и нет ничего. Так снимите же вы, Христа ради, с меня эту тягость; ведь замучилась уж я, день-деньской маявшись: освободите вы мою душу грешную от муки мученической! Ведь ты знаешь ли, какой я себе грех беру на душу: кажется, и не отмолить мне его вовек!

Марья Петровна даже прослезилась: так оно выходило хорошо да чувствительно. Несколько минут она все вздыхала и вытирала платком слезы, обильно струившиеся из глаз. Но мысль ее не спала в это время. Странное дело! эта мысль подсказывала ей совсем не те слова, которые она произносила: она подсказывала: «Да куда ж я, черт побери, денусь, коли имение-то все раздам! все жила, жила да командовала, а теперь, на-тко, на старости-то лет да под команду к детям идти!» И вследствие этого тайного рассуждения слезы текли еще обильнее, а материнское горе казалось еще горчее и безысходнее.

— Так что же вы предполагаете сделать? — спокойно спросил Митенька.

— Отдам! все отдам! — с каким-то почти злобным криком отвечала Марья Петровна,— нет моих сил! нет моих сил! Слушай ты меня: вот я какое завещание составила!

Марья Петровна отперла денежный ящик и вынула оттуда бумагу.

— Да ведь вы мне уж несколько раз это завещание читали,— иронически заметил Митенька.

— Нет, это я другое... я то переменила.

— Ну-с, читайте.

— *Во имя*... ну, там всё, как следует, по-старому... *первое*, сыну моему Семену, как непочтительному...

— Кто же вам поверит, что Сенечка был к вам непочтителен?

— Да мне какое дело, поверит ли кто или нет; я мать — я и судья; имение-то, чай, мое, благоприобретенное...

— Ну-с, хорошо-с...

— «Сыну моему Семену — село Вырыпаево с деревнями, всего триста пятьдесят пять душ; второе, сыну моему Дмитрию — село Последово с деревнями, да из вырыпаевской вотчины деревни Манухину, Веслицыну и Горелки, всего девятьсот шестьдесят одну душу...» — Марья Петровна остановилась и взглянула на Митеньку: ей очень хотелось, чтоб он хоть ручку у ней поцеловал, но тот даже не моргнул глазом.— Да что ж ты молчишь-то! что ты, деревянный, что ли! — почти крикнула она на него.

— Позвольте, маменька, дайте же до конца прослушать.

— «Третье, сыну моему Федору — сельцо Дятлово с деревнею Околицей и село Нагорное с деревнями, а всего тысяча сорок две души».

Митенька пускал дым уже не кольцами, а клубами. Он знал, конечно, что все эти завещания вздор, что Марья Петровна пишет их от нечего делать, что она на следующей же неделе, немедленно после их отъезда, еще два завещания напишет, но какая-то робкая и вместе с тем беспокойная мысль шевелилась у него в голове. «А ну, как она умрет! — говорила эта мысль,— ведь все эти бредни, пожалуй, перейдут в действительность». Справедливость, однако ж, заставляет меня сказать, что ни разу не пришло ему в голову, что каково бы ни было завещание матери, все-таки братьям следует разделить имение поровну. В этом отношении он очень хорошо понимал, что долг его повиноваться воле матери, тем более что повиновение это для него выгодно.

— Ну-с,— сказал он.

— Вот и всё; там обыкновенно, формальности разные...

— А капитал?

— Какой же у меня капитал? а коли и есть капитал, так ведь надо же мне, вдове, прожить на что-нибудь до смерти!

— Да ведь это завещание, а не раздельный акт...

— Неужто ж вы потребуете, чтоб я последнее отдала? чтоб я и рубашку с себя сняла?

— Это завещание, маменька, а не раздельный акт...

— Ну, нет! не ожидала я этого от тебя! что ж, в самом деле, выгоняйте мать! И поделом старой дуре! поделом ей за то, что себе, на старость лет, ничего не припасала, а все детям да детям откладывала! пускай с сумой по дворам таскается!

— Извините меня, маменька, но мне кажется, что все это только фантазии ваши, и напрасно вы с этим делом обратились ко мне («это она Федьке весь капитал-то при жизни еще

передать хочет!» — шевельнулось у него в голове)! Вы лучше обратились бы к Сенечке: он на эти дела мастер; он и пособолезновал бы с вами, и натолковался бы досыта, и предположений бы всяких наделал!

И действительно, в то самое время, как между Марьей Петровной и Митенькой происходила описанная выше сцена, Сенечка лежал на кровати в Петенькиной комнате и, несмотря на ощущаемую в желудке тяжесть, никак-таки не мог сомкнуть глаза свои. Предположения и планы, один другого чуднее, один другого разнообразнее, являлись его воображению. То видел он, что Марья Петровна умирает, что он один успел приехать к последним ее минутам, что она прозрела и оценила его любовь, что она цепенеющею рукой указывает ему на шкатулку и говорит: «Друг мой сердечный! Сенечка мой милый! это все твое!» То представлялось ему, что и маменька умерла, и братья умерли, и Петенька умер, и даже дядя, маменькин брат, с которым Марья Петровна была в ссоре за то, что подозревала его в похищении отцовского духовного завещания, и тот умер; и он, Сенечка, остался общим наследником... То видится ему, что маменька призывает его и говорит: «Слушай ты меня, друг мой сердечный, Сенечка! лета мои преклонные, да и здоровье не то, что было прежде...» и в заключение читает ему завещание свое, читает без пропусков (не так, как Митеньке: «там, дескать, известные формальности»), а сплошь, начиная с *во имя* и кончая «здравым умом и твердою памятью», и по завещанию этому оказывается, что ему, Сенечке, предоставляется сельцо Дятлово с деревнею Околицей и село Нагорное с деревнями, а всего тысяча сорок две души...

— А капитал, милый друг мой, маменька? — мысленно спрашивает Сенечка.

— А капитал, друг мой, Сенечка! я тебе при жизни из рук в руки передам... Только успокой ты мою старость! Дай ты мне, при моих немощах, угодникам послужить! Лета мои пришли преклонные, и здоровье уж не то, что прежде бывало...

Пасмурная и огорченная явилась Марья Петровна ко всенощной. В образной никого из домашних не было; отец Павлин, уже совершенно облаченный, уныло расхаживал взад и вперед по комнате, по временам останавливаясь перед иконостасом и почесывая в бороде; пономарь раздувал кадило и, по-видимому, был совершенно доволен собой, когда от горящих в нем угольев внезапно вспыхивало пламя; дьячок шуршал замасленными листами требника и что-то бормотал про себя. Из залы долетал хохот Феденьки и Пашеньки.

— С дорогими гостями,— приветствовал отец Павлин,— начинать прикажете?

— Начинай, батюшка, начинай! Да что ж это Сенечки нет! Девки! позовите Семена Иваныча!

По обыкновению, и в этом случае Сенечка служил, так сказать, очистительною жертвою за братьев. За всенощной он должен был молиться. Но на этот раз ему как-то не молилось; машинально водил он рукою по груди и задумчиво вглядывался в облака дыма, изобильно выходившие из батюшкинова кадила. Тщетно заливался дьячок, выводя руладу за руладой, тщетно вторил ему пономарь, заканчивая каждый кант каким-то тонким дребезжаньем, очень похожим на дребезжанье, которым заканчивает свой свист чижик; тщетно сам отец Павлин вразумительно и ясно произносил возгласы: Сенечка не внимал ничему и весь был погружен в мечтания, мечтания глупые, но тем не менее отнюдь не имевшие молитвенного характера. Марья Петровна, любившая, чтоб Сенечка за нее молился, тотчас же заметила это.

— Помилуй, мой друг,— сказала она ему,— что ты это рукою-то словно на балалайке играешь! Или за мать-то помолиться уж лень?

Вообще весь вечер прошел как-то неудачно для Сенечки, потому что Марья Петровна, раздраженная послеобеденным разговором, то и дело придиралась к нему. Неизвестно, с чего вздумал вдруг Сенечка вступить за чаем в диспут с батюшкой и стал доказывать ему преимущество католической веры перед православною (совсем он ничего подобного и не думал, да вот пришла же вдруг такая несчастная мысль в голову!), и доказывал именно тем, что в католической вере просфоры пекутся пресные, а не кислые. Батюшка, с своей стороны, разревновался и стал обличать Сенечку в ереси.

— Позвольте,— говорил он,— ведь таким манером и лютерцев оправдывать можно!

— Я не об лютеранах говорю...

— Нет, позвольте! я спрашиваю вас: оправдываете ли вы лютерцев?

— Да ведь мы...

— Нет, прошу ответ дать: заслуживают ли лютерцы, по вашему мнению, быть оправданными? — повторял батюшка и, повторяя, хохотал каким-то закатистым, веселым хохотом и выказывал при этом ряд белых, здоровых зубов.

— И охота тебе, батька, с ним спорить! — вмешалась Марья Петровна,— разве не видишь, что он с ума сбрендил! Смотри ты у меня, Семен Иваныч! ты, пожалуй, и дворню-то мне всю развратишь!

Тем этот достославный спор и кончился; Сенечка думал удивить маменьку разнообразием познаний и полетом фанта-

зии, но, вместо того, осрамился прежде, нежели успел что-нибудь высказать. После того он несколько раз порывался вернуть еще что-нибудь насчет эмансипации (блаженное время! ее тогда не было!), но Марья Петровна раз навсегда так дико взглянула на него, что он едва-едва не проглотил язык.

Оставалась одна надежда на подарок, который Сенечка приготовил маменьке для дня ангела, но и та обманула его. Проснулся он очень рано, да и вообще дурно спал ночью. Во-первых, его осаждала прискорбная мысль, что все усилия, какие он ни делал, чтоб заслужить маменькино расположение, остались тщетными; во-вторых, Петенька всю ночь метался на постели и испускал какое-то совсем неслыханное мычание; наконец, кровать его была до такой степени наполнена блохами, что он чувствовал себя как бы окутанным крапивою и несколько раз не только вскакивал, но даже произносил какие-то непонятные слова, как будто бы приведен был сильными мерами в восторженное состояние.

Узнавши, что маменька только что встала, что к обедне еще не начинали благовестить и что братцы еще почивают, Сенечка осторожно вынул из чемодана щегольской белый муар-антиковый зонтик и отправился к маменьке. Но каково же было его удивление, когда он застал ее за письменным столом в созерцании целых трех зонтиков! Он сейчас же догадался, что это были подарки Митеньки, Феденьки и Пашеньки, которые накануне еще распорядились о вручении их имениннице, как только «душенька-маменька» откроет глаза. Сенечка до того смутился, что даже вытаращил глаза и уронил зонтик.

— Здравствуй, друг мой!.. да что ж ты на меня, вытараща глаза, смотришь! или на мне грибы со вчерашнего дня выросли! — приветствовала его Марья Петровна.

— Я, маменька... позвольте мне, милый друг мой, маменька, поздравить вас с днем ангела и пожелать провести оный среди любящего вас семейства в совершенном спокойствии, которого вы вполне достойны...

— Благодарствуй, благодарствуй! да что это ты словно уронил что-то?

— Это, милая маменька, я желал принести вам слабую дань моей благодарности за те ласки и попечения, которыми вы меня, добрый друг, маменька, постоянно осыпаете!

— Да что вы, взбесились, что ли? все по зонтику привезли! — напустилась на него Марья Петровна при виде новой прибавки к коллекции зонтиков, уже лежавшей на столе,— смеяться, что ли, ты надо мной вздумал?

— Я, милая маменька, всею душою...

— Сговориться вы, что ли, между собой не можете, или и

в самом деле вы друг другу не братья, а звери, что никакой между вами откровенности нет?

— Я, милая маменька...

— Это все ты, тихоня, мутишь! Вижу я тебя, насквозь тебя вижу! ты думаешь, на глупенькую напал? ты думаешь, что вот так сейчас и проведешь! так нет, ошибаешься, друг любезный, я все твои прожекты и вдоль и поперек знаю... все вижу, все вижу, любезный друг!

— Я, маменька, никаких прожектов не имею...

— Ты... ты... ты всей смуте заводчик! Если б не доброта моя, давно бы тебя в суздаль-монастырь упечь надо! не посмотрела бы, что ты генерал, а так бы вышколила, что позабыл бы, да и другим бы заказал в семействе смутьянничать! Натко, прошу покорно, в одном городе живут, вместе почти всю дорогу ехали и не могли друг дружке открыться, какой кто матери презент везет!

— Маменька! чем же я виноват, что Феденька не хочет мне почтения делать?

— Да что ты, обалдел, что ли? Какое тебе почтение! Ведь ты ему, чай, брат!

— Я, маменька, старший брат, и Феденька обязан мне почтение оказывать!

Бог знает, чем бы разыгралась эта история, если б в эту минуту не заблаговестили к обедне. Марья Петровна так и осталась с раскрытым ртом, только махнула рукой на Сенечку. Но зато после обедни она, можно сказать, испилила его всего. Не только братьям рассказала, что Сенечка требует, чтоб ему было оказываемо почтение, но даже всех соседей просила полюбоваться четырьмя зонтиками, подаренными ей в один день, и всю вину складывала на Сенечку, который, как старший брат, обязан был уговориться с младшими, какой презент маменьке сделать. Вследствие этого Феденька целый день трунил над Сенечкой, называл его «вашим превосходительством», привставал на стуле при его появлении и даже один раз бросился со всех ног, чтоб пододвинуть ему кресло, но в рассеянности тотчас же выдернул его из-под него. Все это было очень остроумно и возбуждало всеобщий смех, к которому оставался равнодушен только Митенька. И таким образом прошел целый мучительный день, в продолжение которого Сенечка мог в сотый раз убедиться, что подаваемые за обедом дупеля и бекасы составляют навсегда недостижимый для него идеал

А Марья Петровна была довольна и счастлива. Все-то она в жизни устроила, всех-то детей в люди вывела, всех-то на дорогу поставила. Сенечка вот уж генерал — того гляди, губер-

нию получит! Митенька — поди-ка, какой случай имеет! Феденька сам по себе, а Пашенька за хорошим человеком замужем! Один Петенька сокрушает Марью Петровну, да ведь надо же кому-нибудь и бога молить!

С своей стороны, Сенечка рассуждает так: «Коего черта я здесь ищу! ну, коего черта! начальники меня любят, подчиненные боятся... того гляди, губернатором буду да женюсь на купчихе Бесселендеевой — ну, что мне еще надо!» Но какой-то враждебный голос так и преследует, так и нашептывает: «А ну, как она Дятлово да Нагорное-то подлецу Федьке отдаст!» — и опять начинаются мучительные мечтания, опять напрягается умственное око и представляет болезненному воображению целый ряд мнимых картин, героем которых является он, Сенечка, единственный наследник и обладатель всех материнских имений и сокровищ.

Пашенька на другой же день именин уехала, но Сенечка все еще остается, все чего-то ждет, хотя ему до смерти надо в Петербург, где ожидают его начальники и подчиненные. Он ждет, не уедут ли Митенька с Феденькой, чтоб одному на просторе остаться с маменькой и объяснить ей, как он ее обожает. Но проходит пять дней, и ожидания его напрасны. Мало того что братья не уезжают, но он видит, как мать беспрестанно с ними о чем-то шушукается, и как только он входит, переменяет разговор и начинает беседовать о погоде. «Это они об духовном завещании шепчутся! — думает Сенечка и в то же время невольно прибавляет,— да для какого же черта я здесь живу!»

Митенька первый сжалился над ним и предложил вместе ехать в Петербург. Феденька так и остался полным властелином материнского сердца.

Едет Сенечка на перекладной, едет и дремлет. Снится ему, что маменька костенеющими руками благословляет его и говорит: «Сенечка, друг мой! вижу, вижу, что я была несправедлива против тебя, но так как ты генерал, то оставляю тебе... мое материнское благословение!» Сенечка вздрагивает, кричит на ямщика: «пошел!» и мчится далее и далее, до следующей станции.

ЕЩЕ ПЕРЕПИСКА

«Наконец, chère petite mère [1], для меня началась упоительная жизнь полка.

Я принят прекрасно и совсем не жалею, что не попал в гвардию. Это еще не уйдет, а покамест, право, мне нечего за-

[1] дор гая мамочка.

видовать тому, что мои товарищи по училищу сокращают свою жизнь, дегюстируя коньяки и ликеры в закусочной Одинцова. Правда, что К***, в котором расположен наш полковой штаб, городок довольно мизерный, но, по крайней мере, я имею здесь простор и приволье и узнаю на практике ту поэтическую бивачную жизнь, которая производит героев. А главное, я вижу здесь настоящих женщин, des femmes à passions [1], а не каких-нибудь Эрнестинок, которые за умеренную плату показывают приходящим «l'amour — ce n'est que ça!» [2]

Я целые дни в движенье. Утром — ученье; после ученья — отдых в кругу товарищей, завтрак в кабачке, игра на бильярде и проч.; обед — у полкового командира; после обеда — прогулка верхом с полковыми дамами; вечером — в гостях, всего чаще опять у полкового командира. По временам дежурство в карауле: каска, мундир на все пуговицы, кожаная подушка, жесткий диван и какой-то особенный солдатский запах... Но даже и это имеет свою прелесть, не говоря уже о том, что подобная суровая обстановка есть лучшая школа для человека, которого назначение быть героем. Домой я захожу на самое короткое время, чтоб полежать, потянуться, переодеться и поругаться с Федькой, которого, entre nous soit dit [3], за непотребство и кражу моих папирос, я уже три раза отсылал в полицию для «наказания на теле» (сюда еще не проникла «вольность», и потому здешний исправник очень обязательно наказывает на теле, если знает, что его просит об этом un homme comme il faut) [4].

Разумеется, первою моею мыслью по приезде к К. была мысль о женщине, cet être indicible et mystérieux [5], к которому мужчина фаталистически осужден стремиться. Ты знаешь, что две вещи: l'honneur et le culte de la beauté [6] — всегда были краеугольными камнями моего воспитания. Поэтому ты без труда поймешь, как должно было заботить меня это дело. Но и в этом отношении все, по-видимому, благоприятствует мне.

Почти все наши старшие офицеры женаты; стало быть, если б даже не было помещиц (а их, по слухам, достаточно, и притом бо́льшая часть принадлежит к числу таких, которым, как у нас в школе говаривали, ничто человеческое не чуждо), то можно будет ограничиться и своими дамами. Nous en avons

[1] женщин со страстями.
[2] Любовь — это только это!
[3] между нами говоря.
[4] порядочный человек.
[5] существе таинственном и неизъяснимом.
[6] честь и культ красоты.

de tous les types [1], чему, конечно, не мало способствовала кочевая жизнь полка. Наш полк перебывал всюду и везде ремонтировался хорошенькими женщинами. Роскошные малороссиянки, с белыми как кипень зубами, обаятельные брюнетки-польки, мечтательные золотокудрые немки, знойные молдаванки, enfin tout ce que les diverses nationalités peuvent offrir d'exquis et de recherché en fait de femmes [2]. У одного дивизионера жена даже персиянка (говорят, с пунцовыми волосами), но, к сожалению, он ее никому не показывает, а по слухам, даже бьет нагайкой... le cher homme! [3] Конечно, в манерах наших женщин (не всех, однако ж; даже и в этом смысле есть замечательные исключения) нельзя искать той женственной прелести, ce fini, ce vaporeux [4], которые так поразительно действуют в женщинах высшего общества (tu en sais quelque chose, pauvre petite mère, toi, qui, à trente six ans, as failli tourner la tête au philosophe de Chizzlhurst [5]), но зато у них есть непринужденность жеста и очень большая свобода слова, что, согласись, имеет тоже очень большую цену. Эта свобода, в соединении с адским равнодушием мужей (представь себе, некоторые из них так-таки прямо и называют своих жен «езжалыми бабами»!), делает их общество настолько пикантным, что поневоле забываешь столицу и ее увлечения...

Наш командир, полковник барон фон Шпек, принял меня совершенно по-товарищески. Это добрый, пожилой и очень простодушный немец, который изо всех сил хлопочет, чтоб его считали за русского, а потому принуждает себя пить квас, есть щи и кашу, а прелестную жену свою называет не иначе как «мой баб».

— Мы, ру́сски, бе́з церемо̀ни! — сказал он мне с первого же раза,— в три часа у нас щи-каша — милости прошу! — я вас мой баб представлять буду!

Разумеется, я не заставил повторять приглашение и ровно в три часа был уже представлен прелестной командирше.

Я, не преувеличивая, могу сказать, что это одна из очаровательнейших женщин, каких я когда-либо видел в своей жизни. Прежде всего, ей тридцать — тридцать пять лет, и она блондинка, почти с таким же темно-золотистым отливом, как у тебя, petite mère. Ты знаешь, я никогда не был охотник ни до очень молоденьких женщин, ни до женщин с черными волоса-

[1] Они у нас имеются всех видов.

[2] словом, все самое отборное и изысканное по части женщин, что могут представить разные национальности.

[3] прелесть какая!

[4] той утонченности, той воздушности.

[5] ты, в тридцать шесть лет чуть не вскружившая голову чизльгёрстскому философу, ты в этом знаешь толк, милая мамочка.

ми и темными глазами. Молоденькие бабенки глупы и надоедливы. Они поминутно лезут целоваться, сами не понимая зачем. Что же касается до брюнеток, то хотя и говорят, будто они страстны, но, по моему мнению, c'est une réputation usurpée [1]. В сущности, они только деспотичны и резки — вот что̀ многими принимается за страстность. Я, еще будучи в училище, изучил этот вопрос à fond. Une brune est toujours froide et denuée de ressources [2]. Я не говорю уже о формах, которые у брюнетки никогда не достигают такой полноты и роскоши развития, такой, если можно так выразиться, лучезарности, как у блондинки. Брюнетка пикантна — и ничего больше. Это не женщина наслаждения. Даже каштановая женщина, в смысле наслаждения, представляет перед брюнеткой неоспоримые преимущества. Dans sa façon d'aimer une femme marron a déjà quelque chose de blond [3]. Но блондинка, настоящая блондинка — это масло...

Итак, она блондинка; глаза у нее большие, серые и очень хорошо поставленные. Она не хуже любой Camille de Lyon [4] умеет подрисовать себе веки, и потому глаза ее кажутся, в одно и то же время, и блестящими, и влажными. Нос прелестный, с тонкими, удивительно очерченными ноздрями. Рот с несколько вздернутой верхней губой, что придает всей физиономии вызывающее выражение. Подбородок круглый, мягкий, слегка пушистый, с ямочкой посередине... on dirait, un nid d'amour [5]. Уши маленькие, сухие, почти прозрачные. Общий тон лица нежно-золотистый, как у спелой сливы. Ничего розового, вульгарного, напоминающего дурно сваренного поросенка. Формы — роскошь, не доходящая, однако ж, до пресыщения; ножка... но про ножку достаточно сказать, что она сама ею кокетничает!

Прибавь к этому бездну женственности и того неуловимого кокетства, которое всякую светскую красавицу окружает словно облаком аромата (она была в гвардии, прежде нежели попала сюда) — и ты получишь приблизительное понятие о том сокровище, которое я был так счастлив найти в одном из самых мизерных уголков нашего любезного отечества.

С первого же взгляда на эту женщину я почувствовал в сердце неотразимое желание покорить ее.

Недаром любовь правит миром, chère maman! [6] Недаром

[1] это — не заслуженная репутация.
[2] основательно. Брюнетка всегда холодна и однообразна.
[3] По манере любить шатенка уже близка блондинке.
[4] Камиллы де Лион.
[5] словно гнездышко амура.
[6] дорогая маменька!

она проникает и в раззолоченные палаты владык мира, и в скромную хижину земледельца! Все живущее спешит покориться жестоким и в то же время сладким законам ее. Даже дикий зверь и тот, под влиянием ее, забывает аппетит и сон! Вы видите бегущего по лесу волка: пасть его открыта, язык высунут, глаза мутны; он рвет землю когтями, бросается на своих собратов, грызет их... à propos de quoi, je vous demande un peu? [1] ужели только потому, что он видит перед собой эту отвратительную волчицу, которая бежит впереди стада с оскаленными зубами? — Да-с, потому-с! ибо такова сила любовных чар, таково могущество любви! Другой причины нет... и не может быть!

Quel mystère, chère maman! [2]

Читайте великих мастеров искусства: Paul de Kock, Ponson du Terrail, Feydeau... [3] что вы найдете у них? Любовь, любовь и любовь! Et «La belle Hélène» donc! [4]

Впрочем, по-видимому, мое предприятие не обойдется без препятствий. Я уже наметил двух конкурентов, борьба с которыми обещает не мало трудностей. Один из них — председатель местной земской управы Травников; другой — полковой казначей, ротмистр Цыбуля.

Травников — либерал. Он выжил два года в Париже, где познакомился с Бастиа, который, de vive voix [5], передал ему тайны своей науки. Это сделало его до того обаятельным между здешними гласными, что когда он, воротившись из Парижа, поселился в своем имении, то его единогласно выбрали председателем управы. Теперь он пропагандирует Бастиа между полковыми дамами. Наружностью своей и манерами он напоминает выцветшего трактирного маркёра. En somme, c'est un pauvre sire [6], и было бы даже удивительно, что Полина (c'est le petit nom de la dame en question [7]) интересуется им, если б он не был богат. Но это слово объясняет многое.

Ротмистр Цыбуля — неуклюжий малоросс, который говорит «фост» вместо «хвост». Но он тринадцати вершков роста и притом так крепок и силен, что, я уверен, мог бы свободно пройти сквозь строй через тысячу человек...

По-видимому, однако ж, и моя смиренная рожица произвела недурное впечатление. По крайней мере, после обеда,

[1] и из-за чего, я вас спрашиваю?
[2] Какая тайна, дорогая маменька!
[3] Поль де Кок, Понсон дю Террайль, Фейдо.
[4] И, наконец, «Прекрасная Елена»!
[5] изустно.
[6] В общем, это жалкий господин.
[7] таково имя дамы, о которой идет речь.

когда Травников и Цыбуля ушли к полковнику в кабинет, она окинула меня взглядом и сказала:

— Какой вы молодой!

На что я поспешил ответить, что молодое сердце хотя и не может похвалиться опытностью, но зато умеет горячо любить и быть преданным. И ответ мой был выслушан благосклонно...

Я вперед предвижу, что́ будет. Сначала меня будут называть «сынком» и на этом основании позволят мне целовать ручки. Потом мне дадут, в награду за какую-нибудь детскую услугу, поцеловать плечико, и когда заметят, что это производит на меня эффект, то скажут: «Какие, однако ж, у тебя смешные глаза!» Потом тррах! — et tout sera dit! [1]

Таков неумолимый закон любвей!

Я воротился домой очарованный и весь вечер предавался возвышенным мыслям. Ночь была тихая, теплая. Я сидел у растворенного окна, смотрел на полную луну и мечтал. Сначала мои мысли были обращены к *ней,* но мало-помалу они приняли серьезное направление. Мне живо представилось, что мы идем походом и что где-то, из-за леса, показался неприятель. Я, по обыкновению, гарцую на коне, впереди полка, и даю сигнал к атаке. Тррах!.. ружейные выстрелы, крики, стоны, «руби!», «коли!». Et, ma foi! [2] через пять минут от неприятеля осталась одна окрошка!

Вот первые впечатления моей новой жизни. Я буду писать тебе часто, но надеюсь, что «Butor» [3] не узнает о нашей переписке. Пиши и ты ко мне как можно чаще, потому что твои советы теперь для меня, более нежели когда-нибудь, драгоценны. Целую тебя.

Сергий Проказнин.

P. S. Против квартиры моей стоит большой каменный дом. Сегодня утром, подойдя к окну, я увидел на балконе этого дома очень недурную и еще молодую женщину. Не говоря худого слова, я взял бинокль и навел его на нее. Она не только не оскорбилась этим, но даже слегка усмехнулась и поиграла в мою сторону глазками. От Федьки я узнал, что это вдова купца Лиходеева и что она ежегодно отправляет значительное число барок с хлебом. Говорят также (все тот же Федька, у которого на этот счет изумительное чутье), что тут уж примазался здешний исправник. И действительно, в ту минуту, как я закрываю это письмо, его дрожки подъехали к крыльцу лиходеевского дома».

---

[1] и делу конец!

[2] И, честное слово!

[3] Грубиян.

«Vous êtes un noble coeur, Serge! [1] ты понял меня! Ты понял, что мне нужна переписка с тобой, чтоб отдохнуть от той безвыходной прозы, которая отныне должна составлять все содержание моей бедной, неудавшейся жизни!

Ах, какая это жизнь! Вежетировать изо дня в день в деревне, видеть налитую водкой физиономию Butor'a, слышать, как он, запершись с Филаткой в кабинете, выкрикивает кавалерийские сигналы, ежеминутно быть под страхом, что ему вдруг вздумается сделать нашествие на мой будуар... Это ужасно, ужасно, ужасно!

Представь себе, что̀ я узнала! До сих пор я думала, что должна была оставить Париж, потому что Butor отказался прислать мне деньги; теперь мне известно, что он подавал об этом официальную записку, и в этой записке... просил о высылке меня из Парижа *по этапу!!* L'animal! [2]

Et moi qui croyais autrefois à l'idéal, au sublime, à l'infini... que sais-je! [3] Я, которая думала, что вся моя жизнь будет непрерывным гимном божеству! И что ж! достаточно было прикосновения грубой руки одного человека, чтоб разбудить меня от моих золотых грез. И этот человек... c'est le Butor! Le sublime — et l'horrible, le ciel — et l'enfer, l'ange — et le démon... [4] какой поразительный урок!

Я не знаю, что̀ сталось бы со мной, если б я не нашла утешения в религии. Религия — это наше сокровище, мой друг! Без религии мы путники, колеблемые ветром сомнений, как говорит le père Basile [5], очень миленький молодой попик, который недавно определен в наш приход и которого наш Butor уж успел окрестить именем Васьки-шалыгана. Я собственным горьким опытом убедилась в истине этих слов — и знаешь ли где? Там... в Париже! Сознаюсь, я в то время жила... comme une payenne! [6] Я ничего не понимала... c'etait un rève! [7] И вдруг мне объявляют, что если я завтра не выеду из Парижа, то меня посадят в Clichy! C'était comme un trait de lumière! [8] Я сейчас же приказала уложить мои вещи... и с этой минуты — ни малейшего ропота, ни единого горького слова! Я вдруг преобразилась, почувствовала, что мне легко. Paul de Cassagnac,

[1] Ты благороден, Серж!

[2] Скотина!

[3] А я-то верила в идеалы, в возвышенное, в бесконечное... и прочую ерунду!

[4] Возвышенное — и ужасное, небо — и ад, ангел — и демон.

[5] отец Василий.

[6] как язычница!

[7] это был сон!

[8] Клиши! Это был луч света!

Villemessent, Détroyat, Tarbé, Dugué de la Fauconnerie [1] [2] — все прибежали, все хотели утешить меня, но я наотрез сказала: «N-i — n-i, c'est fini! Que la volonté de Dieu soit faite» [3]. И когда, на другой день, я садилась в вагон, Villemessent, прощаясь со мной, сказал: «Vous êtes une sainte! c'est Villemessent qui vous le dit!» [4]

Но как он терзает меня... le Butor! как он изобретателен в своих оскорблениях! как он умеет повернуть нож в не зажившей еще ране!

На днях — это было в день моего рождения (hélas! твоей pauvre mère исполнилось сорок лет, mon enfant! [5]) — он является прямо в мой будуар.

— Честь имею поздравить!

Я молчу.

— Сорок годков изволили получить! Самая, значит, пора!

Я делаю чуть заметный знак нетерпения.

— По Бальзаку, это именно настоящая пора любви. Удивительно, говорят, как у этих сорокалетних баб оно знойно выходит...

— Только не для вас! — холодно ответила я и, окинув его презрительным взглядом, поспешила запереться у себя в спальной.

Я не знаю, какой эффект произвел на него мой ответ (Маша, моя горничная, уверяет, что у него даже губы побелели от злости), но я очень отчетливо слышала, как он несколько раз сряду произнес мне вдогонку:

— Заставлю-с! заставлю-с! заставлю-с!

И таким образом — почти ежедневно. Я каждое утро слышу его неровные шаги, направляющиеся к моей комнате, и жду оскорбления. Однажды — это был памятный для меня день, Serge! — он пришел ко мне, держа в руках листок «Городских и иногородных афиш» (c'est la seule nourriture intellectuelle qu'il se permet, l'innocent! [6]).

— Ну-с вот и чизльгёрстский философ околел! — сказал он, посылая мне в упор свою пьяную улыбку.

— Как? кто? Он? — только могла я произнести.

— Да-с! он-с. Седанский герой-с; ваш...

[1] Поль де Кассаньяк, Вильмессан, Детруйа, Тарбе, Дюге де ля Фоконнери.

[2] Журналисты мазурицкого оттенка. *(Прим. М. Е Салтыкова-Щедрина.)*

[3] ни-ни, кончено! Да будет воля божья.

[4] вы — святая! это говорит вам Вильмессан!

[5] увы!.. бедной матери... дитя мое!

[6] это единственная умственная пища, которую он себе позволяет, простофиля!

Il a nommé la chose... le monstre![1] Он не пощадил ничего... даже этого славного воспоминания моей жизни!

Je le confesse[2], я была неделикатна. Я вцепилась ногтями в его лицо, но, впрочем, сию же минуту опамятовалась и убежала от него. Я целый час была как сумасшедшая! Я думала, что он нарочно обманывает, дразнит меня! Но вслед за тем — конечно, из жестокого желания не оставить во мне никакого сомнения — он прислал мне с Машей листок... Это была правда! Он умер! Сперва Морни, потом Персиньи... наконец ОН!! Целый рой сновидений пронесся предо мной... le rêve doré de mon passé![3] Я, как безумная, бегала по зале и все напевала: «*Ah! j'ai un pied qui r'mue*»[4] мотив кадрили, которая *тогда* решила мою участь. Я помню, на мне было платье совсем как из воздуха: des bouillonées, des bouillonées et puis encore des bouillonées, toujours des bouillonées... En un mot, tout-à-fait frou-frou...[5] ОН подошел ко мне и сказал: «Quelle gorge adorable»[6] — и только! Но при этом он посмотрел на меня, как только *он* один умел смотреть... Это продолжалось не более одной минуты, но участь моя была навсегда решена... Но зачем растравлять воспоминанием еще дымящуюся рану!.. Одним словом, я до того увлеклась моими воспоминаниями, что даже не заметила, что Butor стоит в дверях и во все горло хохочет. У него все лицо распухло от глубоких царапин, которые сделали мои ногти; il était ignoble, dégoûtant, immonde...[7]

Вот моя жизнь! И представь себе, что иногда... бывают дни, когда этот человек объявляет о каких-то своих правах на меня... le butor!

После всего этого ты можешь себе представить, какое блаженство для меня твои письма. И что придает им еще больше прелести — это тайна и даже опасность, с которыми сопряжено их получение. Я получаю их через Машу и иногда по целым часам бываю вынуждена держать их под корсажем, прежде нежели прочитать. Тогда я воображаю себя в пансионе, где я впервые научилась скрывать письма (и представь себе, это были письма Butor'a, который еще в пансионе «соследил» меня, как он выражался на своем грубом жаргоне), и жду, пока Butor не уляжется после обеда спать. Это пытка, мой

[1] И у него повернулся язык... чудовище!
[2] Каюсь.
[3] золотой сон моего прошлого!
[4] Ах! у меня ноги пускаются в пляс.
[5] буфы, буфы и опять буфы, повсюду буфы... Одним словом, сплошная воздушность.
[6] какая восхитительная грудь!
[7] он был мерзок, отвратителен, гнусен.

друг, это почти истязание, mais c'est égal, c'est plein de poésie![1] Иногда он, как нарочно, медлит, и тогда я готова наделать глупостей от нетерпения... Но вот раздался сигнальный храп — и я уж за делом. Я запираюсь у себя в комнате и читаю, и перечитываю твои письма... noble enfant de mon coeur![2]

Я понимаю тебя и твои молодые стремления, мой друг! Я, твоя бедная мать, эта сорокалетняя женщина, cette femme de Balzac, comme dit le Butor![3] И я была молода, и я увлекалась... ты знаешь, *кто* меня любил! Теперь *он* в могиле... все в могиле, мой друг! Morny, Persigny... Lui!![4] Один Базен остался, и тот сидит на каком-то острове[5], откуда он будет очень глуп, ежели не бежит. Но я не забыла, я помню. Я *все* помню и потому *все* могу понимать...

Я отсюда вижу тебя и твою Полину... toi, plein de sève et de vigueur, elle — rayonnante de ce doux parfum d'abnégation amoureuse qui est l'auréole et en même temps l'absolution de la pauvre femme... coupable! Tu es beau, elle est belle;[6] вы оба молоды, сильны, оба горите избытком жизни, оба чувствуете, как страсть катится по вашим жилам, давит вас... Но отчего же признание дрожит на ваших губах — и не может сказаться?.. Отчего глаза ваши ищут встретить друг друга — и, встретившись, опускаются? Вы встревожены, вас волнует какая-то горькая мысль... Она — с трепетом вглядывается в будущее и падает ниц перед идеею вечности... Ты — пугаешь себя ревнивыми воспоминаниями... Травников, Цыбуля, даже сам фон Шпек!.. Ты никого не забыл! *После* — ты все забудешь, все простишь. *После* — ты скажешь себе: «И Травников, и Цыбуля — все это естественные последствия фон Шпека!» *После* — но не теперь! *Теперь* ты еще помнишь, хотя уже и жаждешь забыть.

А покуда я надеюсь, что ты выслушаешь воркотню старухи матери, решающейся высказать несколько советов, которые, наверное, не будут для тебя бесполезны.

Любовь, мой друг,— это святыня, к которой нужно приближаться с осторожностью, почти с благоговением, и вот почему мне не совсем нравится слово «тррах», которое ты употребил в письме своем. Может быть, все так и произойдет, как

[1] но все равно это полно поэзии!
[2] благородное дитя моего сердца!
[3] бальзаковская женщина, как говорит Butor.
[4] Морни, Персиньи. . Он!
[5] Писано до получения известия о бегстве Базена. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*
[6] ты, полный здоровья и силы, она — благоухающая сладостным ароматом любовной самоотверженности, составляющей ореол и оправдание бедной грешной женщины! Ты красив, она — тоже!

ты писал, но уже по тому одному, что оно именно *так* и произойдет, то есть *сначала* назовут тебя «сынком», *потом* дадут ручку, etc.[1] — ты всего менее вправе употреблять ce malencontreux[2] «тррах». Ça sent la caserne, mon cher, ça pue l'écurie, le fumier[3]. Салон светской женщины (ты именно такою описываешь мне Полину) — не манеж и не одно из тех жалких убежищ, в которых вы, молодые люди, к несчастию, получаете первые понятия о любви... Это место очень приличное, где требуются совсем другие приемы, нежели... ты понимаешь где?

Помни, мой друг, что любовь — всё для женщины, или, лучше сказать, что вся женщина есть любовь. Что, стало быть, оскорбить ее любовь — значит оскорбить ее *всё*. Этого одного достаточно, чтобы понять, почему успех, в большей части случаев, достается совсем не тому, кто с громом и трубами идет точно на приступ, а тому, кто умеет ждать. Во-первых, все эти самонадеянные люди почти всегда нескромны и хвастливы, что совсем не входит в расчеты замужней женщины, которая желает сохранить les dehors[4]. Во-вторых, женщины самолюбивы, и им всегда приятно дать щелчок человеку, у которого на уме «тррах». В-третьих — и это главное,— женщины вовсе не так алчут грубых наслаждений, как вы, мужчины, обыкновенно об этом думаете.

Женщина — это существо особенное, c'est un être indicible et mystérieux, как ты сам очень мило определил ее в твоем письме (как страшно звучит твое «тррах» рядом с этим милым определением!). Разумеется, я говорю здесь не об институтках, а о настоящих женщинах, о тех, которые испытаны жизнью и к числу которых, по-видимому, принадлежит и Полина. Такие женщины любят медлить. Elles aiment à savourer les préludes de l'amour[5]. Эти таинственные, бесконечные излияния, в которых все отрывочно, недоконченно, неуловимо, но в которых каждое слово, каждый звук, каждая улыбка, каждый вздох имеют глубокое значение. Женщина любит неслышно погружаться в душистый пар недоговоренных слов, затаенных вздохов, взглядов, брошенных украдкой. Она любит заменять слово «любовь» словом «дружба»... Это доставляет ей минуты того сладкого головокружения, которое у самого падения отнимает все, что в нем есть грубого, сырого. Ce n'est pas une chûte grossière qu'elle ambitionne, c'est une *jolie* chûte[6].

[1] и так далее.
[2] это неуместное.
[3] Это отдает казармой, дорогой мой, пахнет конюшней, навозом.
[4] приличия.
[5] Они любят наслаждаться прелюдиями любви.
[6] Они мечтают не о грубом падении, а о красивом.

Вот почему женщин так увлекают высокопоставленные лица, даже старики. С точки зрения матерьялистической это кажется странным, но дело в том, что эти люди в высшей степени обладают тайною de la jolie séduction. Tout en causant [1], они неслышно подходят к женщине, неслышно овладевают ее вниманием и потом — неслышно же берут ее. Всё — en causant. La femme adore la causerie, les phrases bien tournées, les fines reparties, enfin tout ce joli caquetage que rend la vie facile et charmante [2].

Я знаю, есть женщины, которым нравится грубость, которые даже любят, чтоб их мальтретировали. Но это или очень молодые бабенки, или такие бабы, которым совсем нечего терять. Я и сама когда-то увлекалась Butor'ом потому только, что он гремел шпорами, вертел зрачками и как-то иньобильно причмокивал, quand j'avais le sein trop découvert; [3] но ведь я тогда была девчонка и положительно ничего не смыслила dans les jolis raffinements du sentiment [4].

Быть может, ты с нетерпением читаешь мое письмо и даже удивляешься, с какой стати я принялась тебя морализировать. Но, рискуя даже надоесть тебе, прошу выслушать меня до конца.

Я сказала сейчас, что женщины любят то, что в порядочном обществе известно под именем causerie [5]. Наедине с женщиной мужчина еще может, à la rigueur [6], ограничиться вращением зрачков, но в обществе он *непременно* должен уметь говорить или, точнее,— занимать. Поэтому ему необходимо *всегда* иметь под руками приличный сюжет для разговора, чтобы не показаться ничтожным в глазах любимой женщины. Ты понимаешь, надеюсь, к чему я веду свою речь?

Женщина прежде всего любит великодушные идеи, les idées généreuses. Она сама великодушна — это ее ахиллесова пята, которая всего чаще и губит ее. Поэтому, ежели мужчина высказывает в ее присутствии даже слишком великодушные идеи (les idées dites subversives [7]), то ей все-таки нравится это. Конечно, я никогда не позволила бы тебе сделаться на самом деле поклонником сюбверсивных идей, но в смысле экспози-

[1] красивого обольщения. Попутно, в разговоре.

[2] Женщина обожает беседу, гладкие фразы, тонкие выражения, словом — всю ту изящную болтовню, которая делает жизнь легкой и прелестной.

[3] когда у меня была слишком открыта грудь.

[4] в красивых утонченностях чувства.

[5] легкой беседы.

[6] в крайнем случае.

[7] так называемые разрушительные идеи.

ции, как aperçu de morale[1] — это один из лучших sujets de conversation[2]. Консервативные идеи страдают большим недостатком: им никак нельзя придать тот лоск великодушия, который зажигает симпатию в сердцах. Консервативные идеи хороши в кабинете, с глазу на глаз с начальством, но в будуаре или в обществе, где много молодых женщин, elles ne valent rien[3]. Великодушные идеи придают лицу говорящего оживленное, осмысленное, почти могучее выражение, которое прямо свидетельствует о силе и мощи. Напротив того, самый убежденный консерватор напоминает собой менялу, приведенного в азарт. Я знаю, что в последнее время расплодилось много женщин, которые охотно выслушивают консервативные разговоры и даже называют себя консерваторками; но они положительно сами себя обманывают. Они дурно окружены — вот отчего это происходит. Они постоянно видят перед собой манкенов консерватизма, постоянно слышат их бесцветное и бессильное жужжание — и думают, что так и должно быть. Что эти сумерки, эта меняльная канитель, этот безнадежно серый цвет — явление нормальное. Но все это дурная привычка — и ничего больше! Представь себе теперь, что в эту ровную, едва не засыпающую атмосферу вдруг врывается человек, который прямо, à bout portant[4], бросает новое, кипучее слово! В каком положении должна очутиться женщина, которая до тех пор ничего не слышала, кроме тягучего переливания из пустого в порожнее?! Ты скажешь, быть может, что непрошеное врыванье — скандал, но почему же ты знаешь, что для женщины даже и тут не скрывается своего рода обаяние? Не забудь, что она великодушна по природе, и следовательно...

Ах! тот, которого в насмешку прозвали чизльгёрстским философом, понимал это отлично! Среди величайших запутанностей и махинаций внутренней и внешней политики он никогда не забывал своего знаменитого: «Tout pour le peuple et par le peuple!»[5]. Он понимал, конечно, что все это не более как aperçu de morale, но когда он говорил это, все лицо его светилось и все сердца трепетали. Я помню: я была в белом платье... des bouillonées... des bouillonées... partout des bouillonées![6] Он подошел ко мне...

Et bien, ils sont tous morts! Morny... Persigny... Lui!![7] все в

[1] рассуждение о морали
[2] предметов для разговора.
[3] грош им цена.
[4] в упор.
[5] все для народа и руками народа.
[6] буфы... буфы... везде буфы!
[7] И вот все они умерли! Морни... Персиньи... Он!!

могилах, друг мой! Остался один Базен... entreprendra-t-il quelque chose? n'entreprendra-t-il rien? [1]

Но это еще не всё, мой друг. Наука жить в свете — большая наука, без знания которой мужчина может нравиться только офицерше, но не женщине.

Одних aperçus de morale, о которых я сейчас упомянула, недостаточно: il faut savoir juger des choses de l'actualité et de l'histoire [2]. Одним словом, нужно всегда иметь в запасе несколько aperçus politiques, historiques et littéraires [3]. Для самолюбия женщины большой удар, если избранник ее сердца открывает большие глаза, когда при нем говорят о фенианском вопросе, об интернационале, о старокатоликах etc., если он смешивает Геродота с генералом Михайловским-Данилевским, Сафо с г-жою Кохановскою, если на вопрос о Гарибальди он отвечает известием о новом фасоне гарибальдийки. Наедине, с глазу на глаз, все это может сойти за наивность, но в обществе, при свете люстр, подобные смешения не прощаются... никогда! Знаешь ли, что̀ было первою причиной моей холодности к Butor'y? А вот что. Однажды (это было в первый мой приезд в Париж, сейчас после la belle échauffourée du 2 décembre [4]), в один из моих приемных дней, en plein salon [5], кому-то вздумалось faire l'apologie du chevalier Bayard [6] — тогда ведь были в моде рыцарские чувства. К несчастию, я с кем-то заговорилась и забыла, что Butor требует неусыпного наблюдения. И вдруг, в самом жару апологии, я замечаю какое-то замешательство и вижу, что все глаза обращены на Butor'a, который самым неприличным образом улыбается и даже всхлипывает... Спешу к нему, спрашиваю, что̀ с ним... Представь себе мой ужас! он смешал le chevalier de Bayard с le chevalier de Faublas! Et il se pâmait d'aise... [7] от одного ожидания, что вот-вот сейчас начнется рассказ известных похождений!

Vous êtes un noble et généreux coeur, Serge! [8] но, к сожалению, светская молодежь нашего времени думает, что одной физической силы (один петербургский адвокат de mes amis [9] называет это современною гвардейскою правоспособностью) достаточно, чтоб увлечь женщину. Не верь этому, друг мой!

[1] предпримет ли он что-нибудь? или не предпримет?
[2] современные и исторические факты нужно разбирать с умением.
[3] политических, исторических и литературных суждений.
[4] известного дерзкого предприятия 2 декабря.
[5] в разгар приема
[6] восхвалять рыцаря Баяра.
[7] рыцаря Баяра с кавалером Фоблазом! И таял от удовольствия.
[8] Ты благороден и великодушен, Серж!
[9] из моих друзей.

La femme aime à être initiée, entre deux baisers, aux mystères de l'histoire, de morale et de littérature! [1] И она очень рада, когда не слышит, как близкий человек утверждает, что Ликург был главным городом Греции и славился кожевенными и мыловаренными заводами, как это сделал, лет пять тому назад, на моих глазах, один национальгард (и как он идиотски улыбался при этом, чтобы нельзя было разобрать, в шутку ли он говорит это или вследствие серьезного невежества!).

Но довольно. Я вижу, что надоела тебе своей воркотней. Кстати, до меня уже долетают выкрики одиночного учения: это значит, что Butor восстал от послеобеденного сна. Надо кончить. Пиши обо всем, что касается Pauline. Je voudrais l'embrasser et la bénir. Dis-lui qu'il faut qu'elle aime bien mon garçon. Je le veux. A toi de coeur —

Nathalie de Prokaznine [2].

Ты не теряешь, однако, времени, дурной мальчик! — Ухаживаешь за Полиной и в то же время не упускаешь из вида вдовушку Лиходееву, которая «отправляет значительное количество барок с хлебом». Эта приписка мне особенно нравится! Mais savez-vous que c'est bien mal à vous, monsieur le dameret, de penser à une trahison, même avant d'avoir reçu le droit de trahir...» [3]

«Я получил твое письмо, chère petite mère. Comme modèle de style — c'est un chef-d'oeuvre [4], но, к сожалению, я должен сказать, что ты, по крайней мере, на двадцать лет отстала от века.

Все эти финесы и деликатесы, эти aperçus de morale et de politique [5], эти подходцы и подвиливанья — все это старый хлам, за который нынче гроша не дадут. De nos jours, on ne fait plus d'aperçus: on fait l'amour — et voilà tout!.. [6] Мы — позитивисты (il me semble avoir lu quelque part ce mot) [7], мы знаем, что time is money [8], и предпочитаем любовный телеграф самой благоустроенной любовной почте.

[1] Женщина любит, чтобы между двумя поцелуями ее посвящали в тайны истории, морали, литературы.

[2] Мне хотелось бы обнять и благословить ее. Скажи ей, чтобы она крепко любила моего мальчика. Я этого хочу. Твоя всем, всем сердцем — Наталья Проказнина.

[3] Но знаешь, господин волокита, с твоей стороны очень дурно замышлять измену еще до получения права изменять!

[4] Как образец стиля — это шедевр.

[5] рассуждения о морали и политике.

[6] В наше время занимаются не рассуждениями, а любовью — вот и вся недолга!

[7] кажется, я где-то вычитал это слово.

[8] время — деньги.

И знаешь ли, кто произвел этот коренной переворот в обращении с любовью! — Это все тот же чизльгёрстский философ, l'auteur de la belle échauffourée du 2 décembre[1], о котором ты так томно воркуешь. Он и она... la résignée de Chizzlhurst la belle Eugénie[2]. В такое время, когда прелестнейшие женщины в мире забывают предания de la vieille courtoisie française, pour fraterniser avec la soldatesque[3], когда весь мир звучит любезными, но отнюдь не запечатленными добродетелью мотивами из «La fille de m-me Angot»[4], когда в наиболее высокопоставленных салонах танцуют кадрили под звуки «ah, j'ai un pied qui r'mue», когда все «моды и робы», турнюры и пуфы, всякий бант, всякая лента, всякая пуговица на платье, все направлено к тому, чтобы мужчина, не теряя времени на праздные изыскания, смотрел прямо туда, куда нужно смотреть,— в такое время, говорю я, некогда думать об aperçus[5], а нужно откровенно, franchement[6], сказать себе: «хватай, лови, пеї, ешь и веселись!»

Сознайся, petite mère, que tu as voulu faire de la blague et du joli style — et voilà tout[7]. В деїствительности же, ты сама очень хорошо знаешь, что все это одна меланхолия, как выражается ротмистр Цыбуля. Морни, Персиньи... неужели ты думаешь, что их можно было пленить разными aperçus politiques, historiques et littéraires? И сама «la belle résignée de Chizzlhurst»[8] — неужели «le philosophe»[9] пленил ее каким-нибудь ловким изложением «Слова о полку Игореве»? Нет, голубчик! ты сама не веришь этому, потому что тут же, через две-три строки, упоминаешь о существовании d'une certaine robe[10], «сотканного точно из воздуха»... Вот это так! вот эти-то «сотканные из воздуха» платья одни и производят в наше время эффект. C'est simple comme bonjour[11].

И совсем я не так уж неотесан, как ты полагаешь. У меня даже больше sujets de conversation, нежели сколько требуется по тому роду оружия, в котором я служу. Я учился и истории, и литературе и, кроме того, владею французским языком.

[1] виновник известного дерзкого предприятия 2 декабря.
[2] чизльгёрстская отшельница, прекрасная Евгения.
[3] старинной французской учтивости ради братания с солдатней.
[4] «Дочери мадам Анго».
[5] отвлеченностях.
[6] чистосердечно.
[7] мамочка, ты хотела блеснуть остроумием и изящным стилем — только и всего.
[8] прекрасная чизльгёрстская отшельница.
[9] философ.
[10] некоего платья.
[11] Это ясно, как день.

Я могу рассказать и про волчицу, вскормившую Ромула, и про Калигулу, которого многие (но не я) смешивают с Каракаллой. En fait de littérature [1], я знаю «Вихрь полунощный, летит богатырь», «Оставим астрономам доказывать» — une foule de choses en un mot [2]. Правда, я несколько призабыл греческую историю, но все-таки напрасно ты думаешь меня сбить с толку своим Ликургом. Кто же не знает, что главный город Греции был Солон?

Вообще, хоть я не горжусь своими знаниями, но нахожу, что тех, какими я обладаю, совершенно достаточно, чтобы не ударить лицом в грязь. Что же касается до того, что ты называешь les choses de l'actualité [3], то, для ознакомления с ними, я, немедленно по прибытии к полку, выписал себе «Сын отечества» за весь прошлый год. Все же это получше «Городских и иногородных афиш», которыми пробавляетесь ты и Butor в тиши уединения.

Не думай, однако ж, petite mère, что я сержусь на тебя за твои нравоучения и обижен ими. Во-первых, я слишком bon enfant [4], чтоб обижаться, а во-вторых, я очень хорошо понимаю, что в твоем положении ничего другого не остается и делать, как морализировать. Еще бы! имей я ежедневно перед глазами Butor'a, я или повесился бы, или такой бы aperçu de morale настрочил, что ты только руками бы развела!

А теперь поговорим об моих маленьких делах. То, что я писал тебе, начинает сбываться. Меня уж назвали «сынком» и дали мне поцеловать ручку (ручка у нее маленькая, тепленькая, с розовыми ноготками). Конечно, это еще немного (я уверен даже, что ты найдешь в этом подтверждение твоих нравоучений), но я все-таки продолжаю думать, что ежели мои поиски и не увенчиваются со скоростью телеграфного сообщения, то совсем не потому, что я не пускаю в ход «aperçus historiques et littéraires» [5], а просто потому, что, по заведенному порядку, никакое представление никогда с пятого акта не начинается. Что делать! Женщина так уж воспитана, что требует, чтобы однажды принятая канитель была проделана от начала до конца, а исключение в этом случае допускается только в пользу «чизльгёрстских философов»...

Это было вчера, после обеда. В этот день все офицерство праздновало на именинах у одного помещика, верст за пять от города, а потому я один обедал у полковника. Он сам хотя

[1] Из области литературы
[2] кучу вещей, одним словом.
[3] злобой дня.
[4] паинька.
[5] исторических и литературных рассуждений.

и не поехал к имениннику, отозвавшись нездоровьем, но после обеда тотчас исчез (представь себе, я узнал, что он делает экскурсии к жене нашего дивизионера, роскошной малороссиянке, и что это даже очень недешево обходится старику). Мы сидели вдвоем. Погода на дворе стояла отвратительная, совсем осенняя, и хотя был всего шестой час, в комнатах уже царствовал полусвет. Она полулежала на кушетке, завернувшись в шаль (elle est frileuse, comme le sont toutes les blondes [1]), я сидел несколько поодаль на стуле, чутко прислушиваясь к малейшему шороху. На ней было шелковое серо-стальное платье, которого цвет до того подходил к этим сумеркам, что мягкие контуры ее форм, казалось, сливались с общим полусветом комнаты. Я долгое время молчал, но опять-таки совсем не потому, чтобы не имел sujets de conversation, а потому просто, что наедине с хорошенькой женщиной как-то ничего не идет на ум, кроме того, что она хорошенькая. Но зато я смотрел на нее... пристально, почти в упор (c'est une manière comme une autre de faire entendre certaines intentions [2]).

— Не хотите ли творогу со сливками? — вдруг обратилась она ко мне.

— Madame!..— сказал я, не понимая ее вопроса.

— Вы такой молодой... vous devez adorer le laitage... [3]

Признаюсь, это меня как будто ожгло; но, к счастью, я скоро нашелся.

— Может быть,— ответил я,— но во всяком случае обожать молоко все-таки лучше, нежели обожать... лук!

В свою очередь, она с минуту в недоумении смотрела на меня... и вдруг поняла!

— Ах, да! — почти вскрикнула она, весело хохоча,— «лук»... «цыбуля»... c'est ça! Ce cher capitaine! Mais savez-vous que c'est très méchant! [4] Лук... цыбуля... обожать Цыбулю... ah! ah!

И она вновь так звонко засмеялась, что я почувствовал себя довольно неловко. Ты не можешь себе представить, maman, какой это смех! Звук его ясный, чисто детский, и в то же время раздражающий, едкий. Нахохотавшись досыта, она вздохнула и сказала:

— Какой вы молодой!

— Послушайте, баронесса! — сказал я,— я уж однажды слышал от вас это восклицание. Теперь вы его повторяете... зачем?

[1] она зябкая, как все блондинки.
[2] это один из способов намекнуть на известные намерения.
[3] вы должны обожать молочное
[4] Вот оно что! Милый ротмистр! Но, знаете, это очень зло!

— А хоть бы затем, чтоб вы не смотрели так, как сейчас на меня смотрели. Vous avez des regards de conquérant qui sont on ne peut plus compromettants... ah, oui! [1]

— В чьих же глазах это может компрометировать вас? Быть может...

Я остановился, как бы затрудняясь продолжать.

— В глазах ротмистра, хотите вы сказать? А если б и так?

— Цыбуля, баронесса! Поймите меня... Цыбуля!!

— Вам не нравится эта фамилия? Какой вы молодой!

— De grâce, baronne! [2]

— Да, молодой! Если б вы не были молоды, то поняли бы, что Цыбуля — отличный! Que c'est un homme charmant, un noble coeur, un ami à toute épreuve... [3]

— Rien qu'un ami? [4]

— Ah! ah! par exemple! [5]

Она опять залилась своим ясным, раздражающим смехом. Но я весь кипел; виски у меня стучали, дыхание занималось. Вероятно, в лице моем было что-то особенно горячее, потому что она пристально взглянула на меня и привстала с кушетки.

— Слушайте! — сказала она,— будемте говорить хладнокровно. Мне тридцать лет, и вы могли бы быть моим сыном... à peu près... [6]

«Вот оно! сынок!» — мелькнуло у меня в голове.

— Что за дело! — начал я.

— Нет, очень большое дело. Я не хочу портить вашу жизнь... не хочу! Вы только в начале пути, а я...

— Неправда! неправда! — воскликнул я с жаром,— красота, грация... la chasteté du sentiment!.. cette fraîcheur de formes... ce moelleux... ça ne passe pas! [7] Это вечно!

Она засмеялась вновь, но уже тихонько, сладко, и приняла задушевный тон.

— Хотите быть моим другом? — сказала она,— нет, не другом... а сыном?

— Потому что «друг» у вас уж есть? — с горечью произнес я.

— Ну да, Цыбуля... c'est convenu! [8] А вы будете сыном... mon fils, mon enfant — n'est ce pas? [9]

Я молчал.

[1] У вас страшно компрометирующий взгляд победителя... да, да!
[2] Помилуйте, баронесса!
[3] Что это прелестный человек, благородное сердце, испытанный друг.
[4] Только друг?
[5] О, о! А хотя бы и так!
[6] почти.
[7] целомудрие чувства!.. свежесть форм .. нежность.. это не проходит!
[8] решено!
[9] моим сыном, моим ребенком — не правда ли?

— Но почтительным, скромным сыном... pas de bêtises...[1] правда? И чтоб я никогда не видела никаких ссор... с Цыбулей?

— И с Травниковым? — бросил я ей в упор.

— И с Травниковым... ah! ah! par exemple![2] Да, и с Травниковым, потому что он присылает мне прелестные букеты и отлично устраивает в земстве дела барона по квартированию полка... Eh bien! pas de bêtises... c'est convenu?[3]

— Mais comprenez donc...[4]

— Pas de mais! Un bon gros baiser de mère, appliqué sur le front du cher enfant, et plus — rien![5] Слышите! — ничего!

С этими словами она встала, подошла ко мне, взяла меня обеими руками за голову и поцеловала в лоб. Все это сделалось так быстро, что я не успел очнуться, как она уже отпрянула от меня и позвонила.

Я был вне себя; я готов был или разбить себе голову, или броситься на нее (tu sais, comme je suis impétueux![6]), но в это время вошел лакей и принес лампу.

Затем кой-кто подъехал, и, разумеется, в числе первых явился Цыбуля. Он сиял таким отвратительным здоровьем, он был так омерзительно доволен собою, усы у него были так подло нафабрены, голова так холопски напомажена, он с такою денщицкою самоуверенностью чмокнул руку баронессы и потом оглядел осовелыми глазами присутствующих (после имениного обеда ему, очевидно, попало в голову), что я с трудом мог воздержаться...

И эта женщина хочет втереть мне очки насчет каких-то платонических отношений... с Цыбулей! С этим человеком, который пройдет сквозь строй через тысячу человек — и не поморщится! Ну, нет-с, Полина Александровна,— это вы напрасно-с! Мы тоже в этих делах кое-что смыслим-с!

Весь остаток вечера я провел в самом поганом настроении духа, но вел себя совершенно прилично. Холодно и сдержанно. Она заметила это и улучила минуту, чтоб подозвать меня к себе.

— Vous vous conduisez comme un sage![7] — сказала она.— Вот вам за это!

Она быстро поднесла к моим губам руку, но я был так зол, что только чуть-чуть прикоснулся к этой хорошенькой, душистой ручке...

[1] без глупостей.
[2] О! о! А хотя бы и так!
[3] Итак, без глупостей!.. решено?
[4] Но поймите же
[5] Никаких «но»! Материнский поцелуй, запечатленный на лбу милого ребенка, и больше — ничего!
[6] ты знаешь, какой я пылкий!
[7] Вы ведете себя умницей!

К довершению всего, мне пришлось возвращаться домой вместе с Цыбулей, которому вдруг вздумалось пооткровенничать со мною.

— Ты, хвендрик, не вздумай у меня Парасю отбить! — сказал он совсем неожиданно.

«Парася!» le joli nom![1] И я уверен, что с глазу на глаз, в минуты чувствительных излияний, он ее даже и Параською зовет! Это окончательно взбесило меня.

— Послушайте! — отвечал я,— во-первых, я не понимаю, о чем вы говорите, а во-вторых, объясните мне, почему вы говорите «хвендрик», тогда как отлично произносите «фост»?

— Эге! да ведь и в самой же вещи так! — удивился он и на всю улицу разразился хохотом...

Итак, первый акт кончился. Но что это именно только первый акт, за которым пойдут второй и последующие — в этом ручаюсь тебе я!

Целую твои ручки. Ах, если б ты могла улизнуть от несносного Butor'a и приехать в К***! Мне так нужны, так нужны твои советы!

Твой С. Проказнин.

P. S. Вчера, в то самое время, как я разыгрывал роли у Полины, Лиходеева зазвала Федьку и поднесла ему стакан водки. Потом спрашивала, каков барин? На что Федька ответил: «Барин насчет женского полу — огонь!» Должно быть, ей это понравилось, потому что сегодня утром она опять вышла на балкон и стояла там все время, покуда я смотрел на нее в бинокль. Право, она недурна!»

«Взвесим все шансы, мой друг, и будем говорить серьезно.

Из последнего твоего письма я вижу, что твое предприятие гораздо сложнее, нежели можно было предположить. C'est très sérieux, mon enfant, c'est presque insurmontable[2]. Тут нужно много сдержанности, самоотвержения и — passe moi le mot[3] — ума. Потому что дело идет не о том только, чтобы наполнить праздное и скучающее существование, но о том, чтобы освободить это существование от тисков, которыми оно охвачено и которые со всех сторон заграждают путь к сердцу женщины.

Я вижу два заинтересованных лица: Цыбулю и Травникова. Ты приходишь третьим. Начнем с Цыбули.

Ротмистр, в твоем описании, выходит очень смешон. И я

[1] красивое имя!
[2] Дитя мое, это серьезнейшее, почти неосуществимое дело.
[3] прости меня.

уверена, что Полина вместе с тобой посмеялась бы над этим напомаженным денщиком, если б ты пришел с своим описанием в то время, когда борьба еще была возможна для нее. Но я боюсь, что роковое решение уж произнесено, такое решение, из которого нет другого выхода, кроме самого безумного скандала.

Il doit y avoir une question d'argent — c'est presque certain [1]. Цыбуля — казначей, а такие люди нужны. Казначеи всегда имеют деньги — j'en sais quelque chose, moi [2], потому что Butor одно время был казначеем. Очень возможно, что барон скуп и неохотно дает деньги на туалет жены; еще возможнее, что все доходы его уходят на удовлетворение прихотей «прекрасной малороссиянки». В таком случае Цыбуля — настоящий клад не только для нее, но и для него. Он развязывает его руки, избавляет его от необходимости ремонтировать дорогую игрушку — жену, к которой он уже не чувствует ни малейшего интереса.

Ты молод, мой друг! tu ne connais rien dans les misères humaines [3]. Ты не можешь себе представить, какое горькое значение имеют в жизни женщины тряпки, на которые ты едва обращаешь внимание. Видеть женщину хорошо одетою кажется до такой степени натуральным, что вам, мужчинам, не приходит даже на мысль спросить себя, как создается эта обаятельная обстановка, cette masse de soies, de velours, de mousselines et de dentelles, qui rend la femme si séduisante, si désirable [4]. А между тем это целая страдальческая эпопея. Тут всё: и борьба, и покорность, и обман, и унижение, и предательство, и слезы... tout jusqu'à l'oubli du 7-me commandement inclusivement [5].

Я отсюда вижу Полину, cette pauvre âme désolée. Elle aime les bonnes choses; [6] она с удовольствием прячет себя в нежащие, мягкие волны шелка и кружев. Ça habille si bien! ça communique à la physionomie la plus ordinaire quelque chose de distingué, de vaporeux, de céleste. Et puis... viennent les messieurs [7]. Они так страстно следят за этою шелковою зыбью, так жадно хотят проникнуть тайну, которая за нею скрывается, так обаятельно льстят, что бедная женщина, незаметно для

[1] Здесь, вероятно, дело в деньгах — почти наверняка.
[2] уж я-то знаю.
[3] ты совершенно не разбираешься в слабостях человеческих.
[4] вся эта масса шелков, бархата, тюля и кружев, которая делает женщину столь обольстительной, столь желанной.
[5] всё, вплоть до забвения седьмой заповеди
[6] эту бедную страдающую душу. Она любит красивые вещи.
[7] Это так красит, это придает заурядней шему лицу нечто утонченное, воздушное, небесное. И вот... мужчины тут как тут.

самой себя, petit à petit [1], погружается в этот чарующий мир, где все мягко, душисто, уютно, тепло...

И вот в ту минуту, когда страсть к наряду становится господствующею страстью в женщине, когда муж, законный обладатель всех этих charmes, tant convoités [2], смотрит на них тупыми и сонными глазами, когда покупка каждой шляпки, каждого бантика возбуждает целый поток упреков с одной стороны и жалоб — с другой, когда, наконец, между обеими сторонами устанавливается полуравнодушное-полупрезрительное отношение — в эту минуту, говорю я, точно из земли вырастает господин Цыбуля. Он очень ловко начинает с того, что накидывает на себя маску преданности и смирения. Он ничего не требует, кроме счастья оказывать тысячи бескорыстных услуг. Он устроивает дела мужа, выводит его из затруднений, покровительствует его слабостям. И в то же время выказывает безграничное, почти благоговейное баловство относительно жены. Таким образом, мало-помалу, он становится необходимым для обоих. Это миротворец, это устранитель недоразумений, c'est le coeur le plus noble, c'est l'ami à toute épreuve [3].

Но если заслуга однажды уж признана, то весьма естественно, что с тем вместе признается и право на вознаграждение за нее. Это признание подкрадывается незаметно, в одну из тех минут мечтательного сострадания, в которые так охотно погружается женщина и которые Цыбули умеют отлично ловить. Dès lors, la femme ne s'appartient plus [4]. Она перестает быть собою, она делается собственностью, вещью... Цыбули! одного Цыбули, sans partage! [5] Сам муж, хотя и замечает, что у него под носом происходит нечто, не входившее в его первоначальные расчеты, но — поздно. Привычка и тысяча мелких услуг уже до того сковывают все его действия, что он не протестует, а думает только о том, чтобы спасти приличия.

Я знаю, ты скажешь опять, что Цыбуля смешон, что он не более как напомаженный денщик, что порядочная женщина не может и т. д. Et pourtant, tu sais très bien qu'il y est [6]. Ах, мой друг! вы живете в провинции, в маленьком городке, где горизонты ужасно как суживаются. Та самая женщина, которая, живя в одном из больших цивилизованных центров, увидела бы в Цыбуле не больше как l'homme au gros magot [7], в захолу-

[1] мало-помалу.
[2] столь соблазнительных прелестей
[3] Это благороднейшее сердце, испытанный друг.
[4] С этого момента женщина больше не принадлежит себе.
[5] безраздельно!
[6] И все-таки тебе отлично известно, что он преуспевает.
[7] толстосума.

стье — мирится с ним совершенно, мирится как с человеком, даже независимо от его magot. Глаз легко привыкает как к изящному, так и к безвкусному, и среди целой массы денщиков денщик Цыбуля уже не производит оскорбительного впечатления. Он «не противен» — этого одного достаточно, чтобы не разрывать с ним, тем больше что при тех условиях, в которых произошло сближение, разрыв равносилен такой огласке, которая для светской женщины тяжелее самых тяжелых цепей.

Таким образом, Цыбуля имеет за себя: во-первых, очень веские обязательства, во-вторых, привычку и, в-третьих, молчаливое потворство мужа... И ты думаешь, что она разорвет с ним!

Ни за что! Но этого мало, что она не разорвет: она едва ли даже решится обмануть его в твою пользу. В этом маленьком городке, где произошла ее семейная драма, ни одна даже малейшая подробность частной жизни не может ускользнуть от внимания праздных наблюдателей. К Цыбуле все уж привыкли; все видят в нем неизбежное дополнение семейства барона Шпека, так что самая ничтожная перемена в этом смысле возбудит общее внимание и непременно будет известна Цыбуле. С другой стороны, Цыбуля вовсе не такой человек, чтобы выпустить из рук свою добычу... и даже часть добычи. Поверь, что он ведет подробный счет своим издержкам, что у него всякая копейка записана в книгу avec noms et prénoms[1]. Это негодяй очень опасный, негодяй, который всё помнит и всё хранит. Наверное, у него есть письма Полины, наверное, в этих письмах... ах! ничего не может быть доверчивее бедной любящей женщины, и ничего не может быть ужаснее денщиков, когда они делаются властелинами судьбы ее!

Итак, вот Цыбуля. Что касается до господина Травникова, то мне кажется, что ты ошибаешься, подозревая его в интимных отношениях к баронессе. Я, напротив, уверена, что он à peu près находится в том же положении, как и ты. Il est tout simplement un agréable blagueur, un chevalier servant[2], невинный поставщик конфект и букетов, за которые, однако же, баронессе очень сильно достается от ревнивого Цыбули.

Как бы то ни было, но ты приходишь третьим.

Знаешь ли что! Я удивляюсь, что Полина даже настолько себе позволила, сколько она высказала при том случайном свидании, которое ты описываешь. C'est une âme vraiment héroïque[3]. Другая, на ее месте, совсем бы притихла. Ведь эти

[1] скрупулезнейшим образом.
[2] Просто он приятный балагур, услужливый кавалер.
[3] Это действительно героическая душа.

денщики... они дерутся! Сколько нужно иметь твердости характера, самоотвержения и героизма, чтобы, в виду их, отважиться на какую-нибудь escapade![1] Однако ж она отважилась, правда, осторожно, почти двусмысленно, но даже и это, наверное, ей не прошло даром. Цыбуля уже подозревает, он уж следит за нею, et il n'en démordera pas, sois en certain[2]. Он слишком денщик, чтобы забыть о деньгах, которые он истратил!

Вот соображения, которые я, как преданная мать, считаю себя обязанною передать тебе... только не поздно ли?

«Стало быть, нужно отступить?» — спросишь ты меня и, конечно, спросишь с негодованием. Мой друг! я слишком хорошо понимаю это негодование, я слишком ценю благородный источник его, чтоб ответить тебе сухим: «Да, лучше отступить!» Я знаю, кроме того, что подобные ответы не успокоивают, а только раздражают. Итак, поищем оба, не блеснет ли нам в темноте луч надежды, не бросит ли нам благосклонная судьба какого-нибудь средства, о котором мы до сих пор не думали?

Скажу тебе прямо: это средство есть, но оно потребует с твоей стороны не только благоразумия, но почти самоотвержения. Это средство — совершенно довериться инстинкту и такту Полины. Une femme qui aime est intarissable en matière d'expédients. Il faut que Pauline trouve un compromis — sans cela pas de salut! *avec ou sans Tziboulla, n'importe!*[3] Ты должен сказать себе это, и в особенности остановиться на последнем, подчеркнутом мною, условии Повторяю: ты не только не имеешь права быть придирчивым, но даже обязан всячески помогать Полине в ее миссии. Во-первых, не брюскировать ее и не пугать своим нетерпением; во-вторых, выказать относительно ее много, очень много терпимости.

Достанет ли у тебя героизма, чтоб выполнить это?

Но, может быть, ты и на эти советы посмотришь как на пустую старушечью воркотню... Что ж делать, мой друг! Nous autres, vieilles mamans, nous ne savons qu'aimer![4] Я давно уж освоилась с мыслью, что для меня возможна только роль старухи; Butor слишком часто произносит это слово в применении ко мне (и с какою язвительностью он делает это, если б ты знал!), чтобы я могла сохранять какие-нибудь сомнения на этот счет... Хотя le père Basile и уверяет, что я могла бы еще любить...

[1] шалость.
[2] он не отступится, будь уверен
[3] Любящая женщина бесконечно изобретательна на уловки. Полине необходимо найти компромисс — иначе нет спасения! *с Цыбулей или без него — не важно!*
[4] Мы, старухи, способны только на материнскую любовь!

Кого любить?.. Персиньи, Морни... Он!!

Нет, я никого не могу любить, кроме бога, ни в чем не могу найти утешения, кроме религии! Знаешь ли, иногда мне кажется, что у меня выросли крылья и что я лечу высоко-высоко над этим дурным миром!

А между тем сердце еще молодо... зачем оно молодо, друг мой? зачем жестокий рок не разбил его, как разбил мою жизнь?

На днях, впрочем, и мое бедное существование озарилось лучом радости. Paul de Cassagnac вспомнил обо мне и прислал длинное письмо, которое, будто волшебством, перенесло меня в мир чудес. Все они: и Cassagnac, и Dugué de la Fauconnerie, и Souillard, и Rouher[1] — все полны надежд. Гамбетте готовится сюрприз, от которого он долго не оправится. Все веселы, бодры, готовы; все зовут меня: mais venez donc chez nous, pauvre cher ange incompris![2]

И представь себе, Butor имел низость перехватить это письмо и прочитать его. С тех пор он не иначе зовет меня, как «pauvre cher ange incompris». И все это — в присутствии Филатки. Так что даже те немногие бедные радости, которые мне остались,— и те становятся для меня источником досад и нравственных истязаний!

Я одна, одна, одна... Это ужасно! Я пробовала поставить le père Basile au niveau de mon idéal[3], но до сих пор это как-то не удается мне. Хуже всего то, что, говоря со мной, он всегда пускает в ход этот несносный высокий слог. А еще хуже, что он совсем не умеет вести себя за столом, и когда кончит суп, то всегда кладет ложку на скатерть. Но иногда он меня поражает глубиною своих определений. На днях мы говорили с ним о вере, и знаешь ли, что̀ он мне сказал? Что одна вера дает нам твердое (il prononce:[4] «твѐрдое») и известное основание... ах, какая это истина, друг мой! Это именно то самое, в чем я убедилась тогда... в Париже!

И он страдал! И ему знакома эта святая жажда сердца, которая, вследствие злой насмешки судьбы, как-то всегда остается неудовлетворенною. Представь себе: он должен был жениться на дуре, которая не может отличить правую руку от левой, жениться, потому что иначе ему предстояло оставаться без места на неопределенное время. С тех пор вся его жизнь есть не что иное, как бесконечная цепь самоотвержений. Он сам говорил мне, что если б не сошел к нему с небеси ангел

[1] и Кассаньяк, и Дюге де ля Фоконнери, и Суйяр, и Руэр.
[2] приезжайте же к нам, несчастный, милый, непонятыи ангел!
[3] отца Василия на уровень моего идеала.
[4] он произносит.

(кажется, он называет этим именем меня; tu vois, comme il est délicat [1]), то он давно бы начал пить.

Вот моя жизнь, мой друг, вот жизнь твоей старухи матери. Иногда мне кажется, что я даже начинаю свыкаться с ее однообразием, особливо когда Butor оставляет меня в покое. От времени до времени он уезжает к соседям или на охоту, и тогда я целыми днями остаюсь одна. Я пользуюсь этими минутами отдыха, чтобы освежить свою душу воспоминаниями. Я убегаю в парк и долго брожу одна, совсем одна по пустынным аллеям. Наш парк — прелесть, и особенно осенью. Он так таинственно дремлет, облитый золотыми лучами сентябрьского солнца, так тихо помавает багряными вершинами своих деревь, как будто рассказывает какой-то бесконечный фантастический сон. Воздух совсем-совсем прозрачен и так гулок, что малейший шелест, малейший порх птицы отдается во всех углах парка. Я поминутно вздрагиваю. Свежо, бодро... чудо как хорошо! Я скоро-скоро бегу по усыпанным желтыми листьями дорожкам и вся отдаюсь своим мечтам. Morny... Persigny... Lui!! Все это так недавно было... и всего этого нет! Rien! [2] Понимаешь ли ты, какое безнадежное чувство я должна испытывать, ежеминутно повторяя себе это ужасное: rien!!

Rien! mais c'est le désespoir, c'est le néant, c'est la mort... [3] За что?!

Иногда мне кажется, что где-то, близко, меня подстерегает катастрофа... Что вдруг блеснет мне в глаза великая причина, которая вызовет с моей стороны великое решение...

Я ничего не знаю, что делается на свете. К довершению досады, даже «Городские и иногородные афиши» почти целый месяц не доходят до меня. Что делает Базен? смирился ли Plon-Plon? неужели «la belle résignée» [4] проводит все время в том, что переезжает из Чизльгёрста в Арененберг и обратно? неужели Флёри ничего более умного не выдумал, кроме парадирования в полном мундире на смотру английских войск à côté de l'Ecolier de Woolwich? [5] К чему же привели все эти casse-têtes и sorties de bal [6], которые когда-то с таким успехом зажимали рты слишком болтливой canaille? [7] Ужели их никогда уже нельзя будет пустить в ход?

«Tout pour le peuple et tout par le peuple» — ужели и это, наконец, забыто?!

[1] видишь, как он деликатен
[2] Ничего!
[3] Ничего! но это означает отчаяние, небытие, смерть.
[4] прекрасная отшельница.
[5] рядом с вульвичским школьником?
[6] кастеты и плащи-накидки.
[7] черни.

Ты, может быть, удивишься тому, что все это до сих пор меня волнует; но вспомни же, *кто* меня любил, и пойми, что я не могу оставаться равнодушною... хотя бы прошли еще годы, десятки лет, столетия!

Довольно. Еще раз прошу: внимательно обсуди настоящее мое письмо и не забывай ту, которая сердцем всегда с тобою,—

N. de Prokaznine.

P. S. Décidément, m-me Likhodéieff[1] имеет на тебя виды. Et vraiment, elle n'est pas à dédaigner, cette chère dame[2], которая «отправляет множество барок с хлебом». По-видимому даже, она умна, потому что прямо обратилась к тому человеку, который всего лучше может устроить ее дело, то есть к Федьке. Quant à ce dernier, sa réponse à la belle amoureuse est incomparable de brio. Elle m'a rappelée les fines reparties de Jocrisse dans le «Jeu du hasard et de l'amour»[3].

«Vous êtes la meilleure des mères, maman, mais décidément vous donnez dans la mélancolie[4]. Должно быть, присутствие Butor'a так действует на тебя. Неужели ты не можешь говорить своими словами, не прибегая к хрестоматии Ноэля и Шапсаля? Неужели ты и чизльгёрстского философа развлекала своими aperçus de morale? Воображаю, как ему было весело!

Право, жизнь совсем не так сложна и запутанна, как ты хочешь меня уверить. Но ежели бы даже она и была такова, то существует очень простая манера уничтожить запутанности — это разрубить тот узел, который мешает больше других. Не знаю, кто первый употребил в дело эту манеру,— кажется, князь Александр Иванович Македонский,— но знаю, что этим способом он разом привел армию и флоты в блистательнейшее положение.

Кажется, именно я так и поступлю.

Ты просто бесишь меня. Я и без того измучен, почти искалечен дрянною бабенкою, а ты еще пристаешь с своими финесами да деликатесами, avec tes blagues[5]. Я раскрываю твое письмо, думая в нем найти *дельный* совет, а вместо того, встре-

[1] Несомненно, госпожа Лиходеева.

[2] В самом деле, этой милой дамой не следует пренебрегать.

[3] Что до него, так его ответ влюбленной красотке бесподобен, блестящ. Он мне напоминает остроумные реплики Жокрисса в «Игре случая и любви».

[4] Ты, маменька, лучшая из матерей, но решительно впадаешь в меланхолию.

[5] со своими шутками.

чаю описания каких-то «шелковых зыбей» да «masses de soies et de dentelles». Connu, ma chère! [1] Спрашиваю тебя: на кой черт мне все эти dentell'и, коль скоро я не знаю, что̀ они собою прикрывают!

В одном только ты права: в том, что Полина дрянная, исковерканная бабенка. То есть тебе-то собственно эти коверканья нравятся, но, в сущности, это просто гадость. Полина — одна из тех женщин, у которых на первом плане не страсть и даже не темперамент, а какие-то противные minauderies [2], то самое, что ты в одном из своих писем называешь «les préludes de l'amour» [3]. По-моему, ничего гнуснее, развратнее этого быть не может. Женщина, которая очень хорошо понимает, чего она хочет и чего от нее хотят, и которая проводит время в том, что сама себя дразнит... фуй, мерзость! Ты можешь острить сколько тебе угодно насчет «гвардейской правоспособности» и даже намекать, что я принадлежу к числу представителей этого солидного свойства, но могу тебя уверить, что мои открытые, ничем не замаскированные слова и действия все-таки в сто крат нравственнее, нежели паскудные aperçus politiques, historiques et littéraires, которыми вы, женщины, занимаетесь... entre deux baisers [4].

Целуют меня беспрестанно — cela devient presque dégoûtant [5]. Мне говорят «ты», мне, при каждом свидании, суют украдкой в руку записочки, написанные точь-в-точь по образцу и подобию твоих писем (у меня их, в течение двух месяцев, накопились целые вороха!). Одним словом, есть все материалы для поэмы, нет только самой поэмы. Это до того, наконец, обозлило меня, что вчера я решился объясниться.

Я нарочно пришел пораньше вечером.

— Вы знаете, конечно, что Базен бежал? — сказал я, чтобы завязать разговор.

Она удивленно взглянула на меня.

— Да-с,— продолжал я,— бежал с помощью веревки, на которой даже остались следы крови... ночью... во время бури... И должен был долгое время плыть?!

Я остановился; она все смотрела на меня.

— Какой странный разговор! — наконец сказала она.

— Ничего нет странного... об чем говорить?

— Вероятно, это предисловие?

— А если бы и так?

[1] массы шелка и кружев. Знаем мы все это, дорогая!
[2] ужимки.
[3] прелюдиями любви.
[4] между двумя поцелуями.
[5] это становится почти невыносимым.

— Предисловие... к чему?

— А хоть бы к тому, что все эти поцелуи, эти записочки, передаваемые украдкой,— все это должно же, наконец, чем-нибудь кончиться... к чему-нибудь привести?

Она взглянула на меня с таким наивным недоумением, как будто я принес ей бог весть какое возмутительное известие.

— Да-с,— продолжал я,— эти поцелуи хороши *между прочим;* но как *постоянный режим* они совсем не пристали к гусарскому ментику!

— Mais vous devenez fou, mon ami! [1]

— Нет-с, не fou-с. А просто не желаю быть игралищем страстей-с!

Я был взбешен бесконечно; я говорил громко и решительно, без всяких ménagements [2], расхаживая по комнате.

— Но чего же *вы* от меня хотите?

— Parbleu! la question me parait singulière [3].

— Vous êtes un butor! [4]

Признаюсь, в эту минуту я готов был разорвать эту женщину на части! Вместо того чтобы честно ответить на вопросы, она отделывается какими-то общими фразами! Однако я сдержался.

— Быть может, ротмистр Цыбуля обращается деликатнее? — спросил я язвительно.

— Да, Цыбуля — деликатный! C'est un chevalier, un ami à toute épreuve [5]. Он никогда не обратится к порядочной женщине, как к какой-нибудь drôlesse! [6]

— Еще бы! Мужчина четырнадцати вершков росту!

— Pardon! Il me semble que vous oubliez... [7]

— Послушайте! неужели вы, однако, не видите, что я, наконец, измучен?

Это восклицание, по-видимому, польстило ей. Ведь эти авторши разных aperçus de morale et de politique — в сущности, самые кровожадные, тигровые натуры. Ничто не доставляет им такого наслаждения, как уверенность, что пущенная в человека стрела не только вонзилась в него, но еще ковыряет его рану. В ее глазах блеснула даже нежность.

— Voyons, asseyons-nous et tâchons de parler raison! [8] — сказала она ласково.

[1] Да вы с ума сходите, мой друг!
[2] обиняков.
[3] Черт побери! странный, по-моему, вопрос.
[4] Вы грубиян!
[5] Он рыцарь, он испытанный друг.
[6] потаскушке.
[7] Довольно! мне кажется, вы забываетесь.
[8] Сядем и попробуем поговорить здраво!

Я опустился на диван возле нее. Опять начались поцелуи; опять одна рука ее крепко сжимала мою руку, а другая покоилась на моей голове и перебирала мои волосы. И вдруг меня словно ожгло: я вспомнил, что все это по вторникам, четвергам и субботам проделывает m-me Pasca на сцене Михайловского театра.

— И вы называете это «parler raison»? [1] — почти закричал я.

— Mon ami! au nom du ciel! [2]

— А! это на вашем языке называется «parler raison»! Eh bien, je ne veux pas parler raison, moi! Je veux extravaguer, je veux... [3]

. . . . . .

Я вел себя глупо; кажется даже, я мальтретировал ее. Но эта женщина — змея в полном смысле этого слова! Она скользит, вьется... Через четверть часа я сидел в своей дурацкой квартире, кусал ногти и рвал на себе волосы...

К довершению всего, по дороге мне встретился Цыбуля и словно угадал, что̀ со мною произошло.

— А ну-те, хвендрик! — сказал он,— добрые люди в гости, а он из гостей бежит! Может, гарбуз получил?

И, говоря это, глупейшим образом улыбался... скотина!

Прощай, я слишком озлоблен, чтоб продолжать. Пиши ко мне, пиши чаще, но, ради бога, без меланхолий.

С. Проказнин.

P. S. Лиходеева опять залучила Федьку, дала ему полтинник и сказала, что на днях исправник уезжает в уезд «выбивать недоимки». Кроме того, спросила: есть ли у меня шуба?.. уж не хочет ли она подарить мне шубу своего покойного мужа... cette naïveté! [4] Каждый день она проводит час или полтора на балконе, и я без церемоний осматриваю ее в бинокль. Положительно она недурна, а сложена даже великолепно!»

«Все кончено. И там, и тут. Везде, во всем мире кончено. В тот же день, как я отправил тебе последнее письмо, я, по обыкновению, пошел обедать к полковнику... Ах, maman! Вероятно, я *тогда* сделал что-нибудь такое, в чем и сам не отдавал себе отчета!..

[1] поговорить здраво?

[2] Друг мой! бога ради!

[3] Но я не хочу говорить здраво. Мне хочется сумасбродствовать, хочется...

[4] что за простодушие!

Когда я вошел в гостиную, я сейчас же заметил, что *ее* не было... Полковник что-то рассказывал, но при моем появлении вдруг все смолкло. Ничего не понимая, я подошел к хозяину, но он не только не подал мне руки, но даже заложил обе свои руки назад.

— Господин субалтерн-офицер! — сказал он мне, возвысив голос как на ученье,— вы вели себя как ямщи́цки!

Мне ничего другого не оставалось, как повернуть налево кругом и исчезнуть.

После обеда я отправился, однако, в городской сад. Мне было так скверно, так тоскливо, что я был готов придраться к первому встречному; но товарищи, завидев меня, скрывались. Я слышал только, что при моем появлении произносилось слово «шуба».

На другой день все объяснилось. Ах, какая это адская интрига! И с каким коварством она пущена в ход, чтобы забрызгать грязью одного меня и выгородить все остальное!.. Утром я сидел дома, обдумывая свое положение, как ко мне приехал один из наших офицеров. Он назвал себя депутатом и от имени всех товарищей пригласил меня оставить полк.

— Но за что́ же? — спросил я,— что́ я сделал такого, что не было бы согласно с принятыми в офицерском звании обычаями?

— Очень жаль,— сказал он мне,— что между нами существует на этот счет разногласие, но общество наше никак не может терпеть в среде своей офицера, который унизился до того, что принял в подарок от женщины... шубу! Затем прошу вас уволить меня от дальнейших объяснений и позвольте надеяться, что вы добровольно и как можно скорее исполните просьбу бывших ваших товарищей!

Он шаркнул и был таков.

Меня вдруг точно озарило. Я вспомнил дурацкий вопрос Лиходеевой: есть ли у меня шуба? Я бросился к Федьке — и что же узнал! что этот негодяй в каком-то кабаке хвастался, что я не только в связи с Лиходеевой, но что она подарила мне шубу!.. Какой вздор!!

Карьера моя разбита. Пойми, petite mère, что я даже не могу опровергнуть эту клевету, потому что никто не станет слушать мои объяснения. C'est un parti pris; [1] «шуба» тут ни при чем — это просто отвод, придуманный фон Шпеками и Цыбулей...

Когда я думаю, что об этом узнает Butor, то у меня холодеет спина. Голубушка! брось ты свою меланхолию и помирись с

[1] Это подстроено.

Butor'ом. Au fond, c'est un brave homme![1] Ведь ты сама перед ним виновата — право, виновата! Ну, что тебе стоит сделать первый шаг? Он глуп и все забудет! Не могу же я погибнуть из-за того только, что ты там какие-то меланхолии соблюдаешь!

С. Проказнин.

P. S. Пожалуйста, поскорее уломай Butor'а, потому что я уж подал в отставку. Я без копейки — пусть пришлет денег. Представь себе, даже Лиходеева перестала показываться. Сегодня утром я смотрел в окно — вдруг дверь балкона отворяется, и в ней показывается улыбающаяся рожа исправника... Стало быть, и с этой стороны все кончено».

«Bazaine s'est évadé![2] Я сегодня прочла об этом в «Городских и иногородных афишах», которые доставлены сюда разом за целый месяц.

Я не могу описать тебе, мой друг, что̀ я почувствовала, когда прочла это известие. C'était comme une révélation[3]. Помнишь, я писала тебе, что предчувствую катастрофу... et bien, là-voici![4] Я заперлась в своей комнате и целый час, каждую минуту повторяла одно и то же: «Базен бежал! Базен бежал!» И потом: «Рюль... Рюль... Рюль...»

Рюль! Il est brave! il est jeune! il est beau![5]

И я вдруг, почти машинально, начала собираться. Мне так ясно, так отчетливо представилось, что мое место... там, à côté de ce brave et beau jeune homme![6]

Oui, je dois être à mon poste! je le sens, jamais je ne l'ai senti avec autant d'irrésistibilité[7]. Сначала еду в Париж, чтоб повидаться с Sainte-Croix (celui qui a donné le soufflet à Gambetta)[8], потом... потом, быть может, и совсем останусь в Париже... Ah! si tu savais, mon ami![9]

Но, само собою разумеется, что где бы я ни была, сердцем я всегда с тобою.

Nathalie».

[1] В сущности, он славный парень!
[2] Базен бежал!
[3] Это было словно откровение.
[4] и вот она!
[5] Он храбр! он молод! он красив!
[6] рядом с этим молодым храбрым красавцем!
[7] Да, я должна быть на своем посту! Я это чувствую, чувствую с такой неодолимостью, как никогда прежде.
[8] Сент-Круа (тот, что дал пощечину Гамбетте).
[9] Ах, если бы ты знал, друг мой!

«Негодяй!

Все письма твои я перечитал, а последние два даже сам лично получил.

Butor — это я-с?!

Наталья Кирилловна, твоя мать, а моя жена, вчерашнего числа в ночь бежала, предварительно унеся из моего стола (посредством подобранного ключа) две тысячи рублей. Пишет, будто бы для свидания с Базеном бежит, я же наверно знаю, что для канканов в Closerie des lilas [1]. Но я не много о том печалюсь, а трепещу только, как бы, навешавшись в Париже досыта, опять не воротилась ко мне.

До сих пор я читал седьмую заповедь так: «Не прелюбодействуй!» Но вы с матерью и сим недовольны, а новую заповедь выдумали. «Не перепрелюбодействуй!» Вы простому прелюбодейству не можете остаться верными, но даже в самый разгар оного о том всечасно помышляете, как бы новое учинить!

А посему вот от меня тебе приказ: немедленно с посланным приезжай в деревню и паси свиней, доколе не исправишься. Буде же сего не исполнишь, то поезжай к Базену и от него жди милости, а меня не раздражай.

За сим остаюсь навсегда разгневанный отец твой

Семен Проказнин».

КУЗИНА МАШЕНЬКА

Сàваны, сàваны, сàваны! Саван лежит на полях и лугах; саван сковал реку; саваном окутан дремлющий лес; в саван спряталась русская деревня. Морозно; окрестность тихо цепенеет; несмотря на трудную, с лишком тридцативерстную станцию, обындевевшая тройка, не понуждаемая ямщиком, вскачь летит по дороге; от быстрой езды и лютого мороза захватывает дух. Пустыня, безнадежная, надрывающая сердце пустыня... Вот налетел круговой вихрь, с визгом взбуравил снежную пелену — и кажется, словно где-то застонало. Вот звякнуло вдали; порывами доносится до слуха звон колокольчика обратной тройки, то прихлынет, то отхлынет, и опять кажется, что где-то стонет. Вот залаяла у деревенской околицы ледащая собачонка, зачуяв волка,— и снова чудятся стоны, стоны, стоны... Мнится, что вся окрестность полна жалобного ропота, что ветер захватывает попадающиеся по дороге случайные звуки и собирает их в один общий стон...

Сàваны и стоны...

[1] Сиреневой беседке.

Для жителя столицы, знакомого лишь с железными путями, зимнее путешествие на лошадях, в том виде, в каком оно совершается в наши дни, должно показаться почти анахронизмом. Если даже в его памяти свежо сохранились воспоминания о старинной езде на почтовых, сдаточных и так называемых долгих, то и тут он должен сознаться, что в настоящее время этого рода способы передвижения, сохранив за собой прежние неудобства, значительно изменились к худшему. Прежде вы одинаковым способом, то есть на лошадях, передвигались от места до места и сообразно с этим устроивали известные приспособления: обряжали экипаж, запасались провизией, брали погребец с посудой, походную кровать и проч. Нынче везде по вашему пути врезалась железная дорога и нигде до «вашего места» не доехала. Железные дороги сделали прежние приспособления немыслимыми, а между тем большинству смертных приходится сворачивать в сторону и ехать более или менее значительное расстояние на лошадях. Прежде по проезжим дорогам везде встречались постоялые дворы, где можно было найти хоть теплую отдельную комнату и, с помощью привезенных с собою приспособлений, устроить кой-какой невзыскательный комфорт. Нынче о постоялых дворах и в помине нигде нет, а место их заняли сырые, на скорую руку выстроенные, вонючие, исполненные гама и толкотни трактиры.

Вы оставили блестящий, быстро мчащийся железнодорожный поезд и сразу окунулись в самую глубину мерзости запустения. Вы очутились на одной из третьестепенных станций, которую станционный жандарм насквозь прокурил тютюном и пропитал запахом овчинного полушубка. Холодно, сыро, воняет. Наружные двери беспрерывно хлопают, и ни до одной нельзя без омерзения притронуться рукой: до того они пропитаны жиром и слизью. В общей пассажирской комнате дует сквозной ветер и царствует какой-то сизый полумрак. Сидеть в шубе — душно и неловко, снять ее — непременно схватишь простуду. Вы уходите в так называемую «дамскую» — там невыносимый жар, угарно, негде повернуться. Вы спрашиваете чаю — вам отвечают, что на станции, где нет буфета, проклажаться пассажиру не полагается, и указывают на трактир, который отстоит в тридцати — сорока саженях и к которому надо шагать по сугробам. Скрепя сердце, вы решаетесь ехать немедля, и вот вас обступает стая ямщиков, которые, «глядя по пассажиру», устанавливают на вас цену и мечут об вас жребий. Наконец условились. Через полчаса к подъезду станции подкатывает тройка заиндевевших лошадей, запряженная в возок, снабженный с обеих сторон отверстиями, через которые пассажир обязывается влезать и вылезать и которые за-

навешиваются откидными рогожами. Вы надеваете тулуп, потом шубу и, чуть дыша под тяжестью одежд, направляетесь к двери. По дороге шпалерой выстраиваются какие-то люди. Один бегал в трактир за ямщиками, другой пришел с известием, что лошадей запрягают, третий помогал снять шубу, четвертый помогал надеть ее, пятый принес чемодан, шестой что-то подержал, покуда вы укутывались. Тут же приютился и мальчик, который чиркнул спичкой, когда вы вынули папиросницу. Никто явно не просит, но все, словно по команде, возглашают: «Дай бог счастли́во!» Вы чувствуете, что каждый из этих людей, по-своему, содействовал факту вашего отъезда и, следовательно, каждый же имеет на вас какое-то право. Начинается процесс влезания в повозку, подсаживания, подталкивания... трогай!

Дорога. Подувает, продувает, выдувает, задувает. Рогожные занавески хлопают; то взвиваются на крышку возка, то с шумом опускаются вниз и врываются в повозку. Путь заметает; повозка по временам стучит по обнаженному черепу дороги; по временам врезывается в сугроб и начинает буровить. Если вы один в повозке, то при каждом ухабе, при малейшей неровности, вас перекатывает из стороны в сторону; если вы сидите вдвоем, то беспрерывно наваливаетесь на соседа или он на вас. Все старания, которые вы употребляли на станции, чтобы поплотнее закутаться,— старания, сопровождаемые поощрительными возгласами: «Вот так! вот теперь хорошо! теперь хоть тысячу верст поезжай — не продует!» — оказываются напрасными. Через четверть часа вы уже растерзаны; шуба сбилась под вас, ноги и весь перёд тела оголились и защищены только тулупом и валенками. Начинается дорожная тоска, выражаемая ежеминутным спрашиванием: «Далеко ли?» Из глаз, из носу, с усов капает. Наконец вы решаетесь лечь на бок и притулиться к одной стороне — ррах! — через минуту вы на другом боку!

Через три, три с половиной часа — станция. Вас привозят в деревенский трактир, где уж угощается толпа проезжего и местного люда. В минуту вашего появления людской гомон стихает; «гости» сосредоточенно уткнулись в наполненные чаем блюдечки, осторожно щелкают сахар, чмокают губами и искоса поглядывают на ввалившуюся «дворянскую шубу», как будто ждут, что вот-вот из-за приподнятого воротника раздастся старинное: «Эй вы, сиволапые,— брысь!» Но так как нынче подобных возгласов не полагается, то вы просто-напросто освобождаетесь от шубы, садитесь на первое свободное место и скромно спрашиваете чаю. Сквозной ветер, сырость, грязь, вонь. Приносят подлый, захватанный стакан,

миниатюрный чайник, которого крышка привязана к ручке жирною бечевкой, мельхиоровую ложку, красную от долговременного употребления. Ввиду вашей скромности, гомон возобновляется. «Гости» постепенно становятся развязнее и развязнее; наконец заводится разговор о том, что «в трактире за свой пятачок всякий волён», что «это прежде, бывало, дворяне форсу задавали, а нынче царь-батюшка всем волю дал», что «если, значит, пришел ты в трактир, то сиди смирно, рядом со всеми, и не фордыбачь!»

— Прежде очень для дворян вольготно было! — говорит один гость,— приедет, бывало, барин на постоялый, гаркнет: «Мужиком чтоб не пахло!» — ну, и ступай на улицу! А нынче — шабаш!

— Нынче слободно! — излагает другой гость,— нынче батюшка царь всем волю дал! Нынче, коли ты хочешь сидеть — сиди! И ты сиди, и мужик сиди — всем сидеть дозволено! То есть, чтобы никому... чтобы ни-ни... сиди, значит, и оглядывайся... Вот как царь-батюшка повелел!

— Нынче, брат, форсы-то оставить надо! и рад бы пофорсить — да руки коротки! Коли хочешь смирно сидеть — сиди! И мужик сиди, и ты сиди — всем сидеть позволено! — разъясняет третий гость.

Среди этой поучительной беседы проходит час. Привезший вас ямщик бегает по дворам и *продает* вас. Он порядился с вами, примерно, на сто верст (до места) со сдачей в двух местах, за пятнадцать рублей, теперь он проехал тридцать верст и норовит сдать вас рублей за шесть, за семь. Покуда он торгуется, вы обязываетесь нюхать трактирные запахи и выслушивать поучения «гостей». Наконец ямщик появляется в трактир самолично и объявляет, что следующую станцию повезет он же, на тех же лошадях.

Протестовать бесполезно; остается только раз навсегда изъявить согласие на всякие случайности и замереть. И вот, если вы выехали в восемь часов утра и рассчитывали попасть в «свое место» часов в десять вечера, то уже с первого шага начинаете убеждаться, что все ваши расчеты писаны на воде и что в десять-то часов вряд вам попасть и на вторую станцию.

Как хотите, а при подобной обстановке самое крепкое и испытанное чувство собственности, семейственности, государственности и проч.— и то не устоит!

Ранним утром, часов около шести, я наконец добрался до места. Деревня пробуждалась. Окна изб ярко пылали пламенем топящихся печей; через улицу шмыгали бабы с коромыслами на плечах; около деревенского колодца, кругом окован-

ного льдом, слышались говор и суета; кое-где, у ворот, мужики, позевывая и почесываясь, принимались снаряжать дровнишки. Зябко; в воздухе плавала белесоватая, насквозь пронизывающая мгла; лошади, как угорелые, мчались по укатанной деревенской улице и замерли перед крыльцом небольшого барского флигеля.

Я счастлив уже тем, что нахожусь в теплой комнате и сознаю себя дома, не скутанным, свободным от грязи и вони, вдали от поучений. Старик Лукьяныч, о котором я уже не раз упоминал на страницах «Благонамеренных речей» и который до сих пор помогает мне нести иго собственности, встречает меня с обычным радушием, хотя, я должен сознаться, в этом радушии по временам прорывается легкий, но очень явный оттенок иронии.

Я люблю Лукьяныча искренно и положительно убежден, что и он, с своей стороны, готов в мою пользу кому угодно горло перервать. Но в то же время я знаю, что никто с такою любовью не выискивает средства отравить мою жизнь, как он. Независимо от общеиронического характера его отношений ко мне, он всегда имеет наготове или отвратительное известие, или какой-нибудь такой безнадежный вывод, вследствие которого я непременно должен почувствовать себя в положении рыбы, бьющейся об лед. Да, существуют еще люди этого закала, хотя несомненно, что тип крепостного Ментора уже вымирает. По мнению моему, эти люди страдают особенною болезнью, которую я назвал бы «бессилием преданности», и, кроме того, они никак не могут позабыть изречение: «Любяй наказует». Лукьяныч рад бы вселенную разорить в мою пользу, но так как руки у него коротки, да и я, по той же причине, не могу оказать ему в этом смысле ни малейшего содействия, то он и вымещает на мне наше обоюдное бессилие. Может быть, он на что-нибудь надеется. Я знаю, ему хотелось бы, чтоб я воспрянул духом, чтоб я облекся в звериный образ и начал бы косить направо и налево, «как папенька». И вот он думает, что его ироническое шпынянье подействует на меня, что я действительно воспряну и начну «косить»...

Именно это самое ироническое отношение повторилось и теперь. Едва успел я глотнуть чаю, как Лукьяныч уже поспешил метнуть в меня камнем, который он, очевидно, с любовью холил у себя за пазухой.

— Мужички опять не согласны!— вымолвил он злорадно-спокойным голосом, стоя у косяка двери и сложив на груди руки кренделем.

Это известие заставило меня вздрогнуть. Я все претерпения принял, я оставил семейство и занятия именно в твердой уве-

ренности, что «мужички согласны» и что иго земельной собственности, наконец, перестанет тяготеть надо мной.

— Как так? — спросил я испуганным голосом.

— Не согласны, и шабаш!

— Да не сам ли же ты писал, что они «на всё согласны»?

— И были третьего дня согласны, а вчера одумали и несогласны сделались. Может, сегодня не будет ли чего.

— Господи! да который же раз я сюда езжу!

— И сто раз будете ездить — все то же будет!

— Заколдованное ваше место, что ли?

— Не заколдовано, а жить в нем надо. Минуту, значит, ловить.

Я как-то вдруг упал духом. Не далее как четверть часа тому назад я ехал по деревенской улице, видел пламя топящихся печей, видел мужиков, обряжающих дровни (некоторые даже шапки сняли, завидев меня), баб, спешащих к колодцу, и был уверен, что все это означает «согласны». И вдруг оказывается, что это-то именно и означает «несогласны», что все эти действия и признаки говорят о закоренелости и упорстве. Вот они совершают свой обычный дневной обряд, поднимаются от сна с полатей, с лавок и с пола, едут в поле за сеном и в лес за дровами, посылают баб за водою, задают корм лошадям и коровам, совершая все это рутинно, почти апатично, без всяких признаков закоренелости,— и, за всем тем, они упорствуют, они несогласны. Кто измерит глубину пучины, называемой мужицким сердцем! кто сумеет урегулировать воздушные колебания, которые производят зыбь на поверхности этой пучины!

— Вы бы, сударь, ослобонили меня! — пустил вдруг шип по-змеиному Лукьяныч, покуда я, в бессилии, мысленно восклицал: «Да где же конец этим оттяжкам!»

Я уж не впервые слышу эту угрозу из уст Лукьяныча. Всякий раз, как я приезжаю в Чемезово, он считает своим долгом пронзить меня ею. Мало того: я отлично знаю, что он никогда не решится привести эту угрозу в действие, что с его стороны это только попытка уязвить меня, заставить воспрянуть духом, и ничего больше. И за всем тем, всякий раз, как я слышу эту просьбу «ослобонить», я невольно вздрагиваю при мысли о той беспомощности, в которой я найдусь, если вдруг, паче чаяния, стрясется надо мной такая беда.

— Опомнись, Лукьяныч! что ты говоришь! — обратился я к нему.

— Да ведь умру — надо же тогда будет другого искать!

— А ты прежде кончи!

Он уставился глазами в землю и пощипывал одной рукой бородку.

— Кончать надо... это так. И сам я вижу. Только кончим ли? Кабы вы настоящий «господин» были — это точно... Вот как березниковская барыня, например...

— Какая еще березниковская барыня?

— Порфирьева, Марья Петровна. Сестрица вам будет... чтой-то уж и забыли! А оне вечòр гонца в Чемезово присылали, просили весточку им дать, как приедете.

— Машенька Величкина! кузина! Боже! да ведь и в самом деле она здесь!

Целый рой воспоминаний пронесся передо мной при этом имени. Я знал Машеньку еще шестнадцатилетнею девушкой, да и самому мне было в то время не более двадцати шести, двадцати семи лет. В то время я с особенным удовольствием езжал в Березники (владелец их приходился мне двоюродным дядей), верстах в двенадцати от Чемезова, в Березники, где была прекрасная барская усадьба, в которой царствовало безграничное гостеприимство. Но, кажется, меня всего больше влекла туда Машенька. Ее нельзя было назвать красивою, но она была удивительно миловидная девушка-ребенок. Именно ребенок. Маленькая, худенькая, почти прозрачная, точно бисквитная куколка. «Совсем-совсем куколка», говорили тогда об ней. В глазах у нее постоянно светилось какое-то горе, которое всего точнее можно назвать горем ни об чем; тонкие бровки были всегда сдвинуты; востренький подбородок, при малейшем недоумении, нервно вздрагивал; розовые губы, в минуты умиления, складывались сердечком. «Миленькая! миленькая!» — как-то естественно думалось при взгляде на нее.

Повторяю: я с особенным удовольствием посещал Березники и еще с бòльшим удовольствием бродил с Машей по аллеям парка. Я помню, я говорил ей, что истина вечна, красота вечна, дух вечен, добро вечно. Что все остальное пройдет, как дурной сон, а эти четыре фактора человеческого существования навсегда пребудут незыблемыми и неприкосновенными. Что люди — братья, что они должны любить друг друга, что счастье есть удел всех. И что, за всем тем, нельзя обойтись без страданья, потому что страданье очищает человека. Я помню, как она с недоумением вслушивалась в мои слова, как глаза ее начинали светиться сугубым горем «ни об чем» и как она вдруг, в самом патетическом месте, пугливо прерывала меня.

— Голубчик! — говорила она мне.— Я знаю, ты будешь смеяться надо мной, но что же мне делать: мысль о вечности пугает меня!

— Какое ребячество! — разуверял я ее,— чего же тут пугаться! Чтò такое вечность? Вечность — это красота, это истина, это добро, это жизнь духа — все, взятое вместе и распро-

страненное в бесконечность... Мысль об вечности должна не устрашать, а утешать нас.

— Да, это так... но вечность! вечность!

— Но почему же ты вдруг заговорила о вечности? — допытывался я.

— Ах, я не знаю... но иногда... Иногда, после разговоров с тобой, мне вдруг приходит на мысль: что̀ же такое мы? что̀ такое вся наша жизнь?

И она так мило вздрагивала при этом, что я употреблял все усилия, чтоб утешить это прозрачное, маленькое существо.

Вообще она была большая трусиха. Бледнела при виде пробегающей мыши, бледнела, заслышав внезапный шум, но в особенности сильно трусила советника т—ской казенной палаты, Савву Силыча Порфирьева.

Савва Силыч был рослый, тучный и рыхлый губернский сановник, с сероватым лицом, напоминавшим ноздреватый известковый камень. Он с пятнадцатилетнего возраста облюбовал Машеньку, точно предвидел, что из этого хрупкого материала можно выработать благонадежную мать семейства. Несколько раз он делал ей предложение, но Машенька все отказывала. Однако она делала эти отказы в такой форме, что Порфирьев не только не отчаялся в успехе, но продолжал по-прежнему дружески посещать дом Величкиных. Она просто говорила: боюсь.

— А боитесь, барышня, так со временем привыкнете! — любезно возражал Савва Силыч, перебирая ногами на манер влюбленного петуха,— спешить нам нечего, я подожду-с!

И, обращаясь к Петру Матвеичу Величкину, тут же, при ней же, прибавлял:

— Ничего-с! это в них девичье-с! Спешить нечего-с! Оне — в цвету-с, я — в поре-с... подождем-с!

И дождался-таки, хотя я в то время готов был сто против одного держать пари, что он никогда ничего не дождется и что никогда к грубому ноздреватому известковому камню не прикоснется нежный, хрупкий бисквит.

С тех пор прошло двадцать лет. Я совершенно потерял Машу из вида и только мельком слышал, что надежды Порфирьева осуществились и что «молодые» поселились в губернском городе Т. Я даже совершенно забыл о существовании Березников и никогда не задавался вопросом, страдает ли Маша боязнью вечности, как в былые времена. Теперь я узнал от Лукьяныча, что она два года тому назад овдовела и вновь переселилась в родные Березники; что у нее четверо детей, из которых старшей дочке — десять лет; что Березники

хотя и не сохранили вполне прежнего роскошного, барского вида, но, во всяком случае, представляют ценность очень солидную; что, наконец, сама Марья Петровна...

На другой день, часу во втором, я подъезжал к Березникам. В противоположность чемезовскому и другим «дворянским гнездам», старинная березниковская усадьба и в настоящее время смотрела бодро, почти уютно. Впрочем, из всех свидетелей прежней барской жизни на широкую руку оставались только громадный дом, оранжереи и парк. Но они не были в забросе, как в большей части соседних имений, а, напротив того, с первого же взгляда можно было безошибочно сказать, что здесь живется тепло и удобно. Все лишнее, оказавшееся после упразднения крепостного права обременительным, было сломано и снесено. Я помню, так называемый красный двор был загроможден флигелями, людскими, амбарами, погребами; теперь на этом самом месте был распланирован довольно обширный сад, который посредине прорезывала дорога, ведшая к барскому дому. Все службы были сгруппированы в одном месте, через дорогу, и бросались в глаза новыми бревенчатыми стенами. Вероятно, еще покойный Савва Силыч начал и привел к окончанию все эти преобразования, однако, и по смерти его, заботливая рука поддерживала их.

Машенька выбежала ко мне в переднюю со словами:

— Ах, родной мой... как давно! как давно!

— Машенька! ты ли... да, это ты! — в свою очередь, воскликцал я.

Я сжимал ее руками за локти, словно желая приподнять, и с любовью разглядывал ее. Она почти совсем не изменилась. Передо мной стояла все та же шестнадцатилетняя Машенька, которая когда-то так «боялась вечности». Маленькая, худенькая, прозрачная, «совсем-совсем куколка», несмотря на то, что ей было уже за тридцать пять лет. В глазах по-прежнему светилось горе «ни об чем», по-прежнему вздрагивал востренький подбородок, губы, от внутреннего умиления, сложились сердечком, бровки были сдвинуты. В ее черных, как вороново крыло, волосах не было заметно ни одной сединки. Ни единой морщины на лбу и около глаз. Словом сказать, для нее как будто не было времени, тех двадцати лет, которые так придавили и доконали меня. Больной всеми старческими недугами, молча любовался я ею, внутренно переживая далекое прошлое и с каким-то удивлением встречаясь лицом к лицу с своею молодостью, тою бесплодною молодостью, которая не дала ни привычки к труду, ни предусмотрительности, ни выносливости, а только научила «нас возвышающим обманам».

— Да, друг мой, давно я тебя не видала,— продолжала она, вводя меня в гостиную и усаживая на диван подле себя,— многое с тех пор изменилось, а, наконец, богу угодно было испытать меня и последним ударом: неделю тому назад минуло два года, как отлетел наш ангел!

Высказавши это, она на минуту отвернула от меня лицо; вероятно, на ее глаза навернулись две крошечные слезки, которые она хотела незаметно для меня смигнуть.

— Да, слышал... Савва Силыч... Впрочем, я знал его так мало...

— Ты можешь даже сказать, что совсем не знал его. Ах, мой друг, как мы были в то время легкомысленны! Помнишь, как я боялась его! И скажу тебе откровенно, что даже после выхода замуж я года три еще боялась его; все казалось: ах, какой он большой! Глупенькая ведь я была. И представь себе: никогда он даже вида не подал, что это для него обидно. Бывало, обнимет меня рукой, а я вся дрожу. Другой бы забранил, а он, напротив, еще приголубит: «Ничего, говорит, привыкнешь! нам спешить некуда!» И точно: потихоньку да помаленьку, я и сама наконец стала удивляться, что̀ можно было находить в нем страшного!

— Привыкла?

— Нет, не то что привыкла, а так как-то. Я не принуждала себя, а просто само собой сделалось. Терпелив он был. Вот и хозяйством я занялась — сама не знаю как. Когда я у папеньки жила, ничто меня не интересовало — помнишь? Любила я, правда, помечтать, а спроси, об чем — и сама сказать не сумею. А тут вдруг...

Я не мог удержаться, чтоб вновь не взять ее за руки. Да, это она! глазки, полные грустного недоумения, бровки сдвинуты, губки вот-вот сейчас сложатся сердечком... миленькая! миленькая! И я невольно подумал: «Возьми теперь эту тридцатисемилетнюю *девочку* за руку и веди ее, куда тебе хочется. *Вдруг* — она очутится в лесу, *вдруг* — среди долины ровныя, *вдруг* — сделается хозяйкой и матерью, *вдруг* — проникнется страстью к балам и пикникам. И повсюду одинаково грустно-недоумело будут смотреть ее глазки, повсюду останутся сдвинутыми ее хорошенькие бровки, а губки, в данную минуту, сложатся сердечком. И что̀ всего важнее, нигде она не пропадет, ничем ее не собьешь, кроме разве, что найдется и еще кто-нибудь и тоже возьмет ее за ручку, и тоже поведет, куда ему хочется».

— А какой христианин он был! — лепетала она,— и какой христианской кончины удостоил его бог!

— Болен он был?

Нет, вдруг это как-то случилось. К обеду пришел он из казенной палаты, скушал тарелку супу и говорит: «Я, Машенька, прилягу». А через час велел послать за духовником и, покуда ходили, все распоряжения сделал. Представь себе, я ничего не знала, а ведь у него очень хороший капитал был!

— Стало быть, он скрывал его от тебя?

— Нет, не то что скрывал, а я сама тогда не понимала. Прямо-то он не открывался мне, потому что я еще не готова была. Это он и перед смертью мне высказал.

— Стало быть, ты теперь обеспечена?

— Да, родной мой, благодаря святым его трудам. И вот как удивительно все на свете деластся! Как я его, глупенькая, боялась — другой бы обиделся, а он даже не попомнил! Весь капитал прямо из рук в руки мне передал! Только и сказал: «Машенька! теперь я вижу по всем поступкам твоим, что ты в состоянии из моего капитала сделать полезное употребление!»

Машенька слегка зааелелась и закрыла глазки платком.

— И ты совсем переселилась в Березники?

— Да, совсем; надо же было его волю исполнить.

— Разве он требовал этого?

— Да. Он прямо сказал, что в Березниках жить дешевле. Ну, и насчет помещения капитала здесь удобно. Земля нынче дешева, леса тоже. Если умненько за это дело взяться, большие деньги можно нажить.

Я вновь взглянул на нее, но на этот раз не столько с любовью, сколько с любопытством. Такая маленькая, худенькая, совсем-совсем куколка — и вдруг говорит: «большие деньги», «нажива»...

— Да отчего же Савва Силыч при жизни не скупал земель? ведь он мог бы заняться этим, конечно, с бо́льшим знанием, нежели ты?

— Ах, голубчик, в том-то и дело, что не мог! Ведь он из духовного звания происходил (и никогда он этого не стыдился, мой друг!), следственно, когда на службу поступал — разумеется, у него ничего не было! И вдруг бы у него оказался капитал — откуда? как? что́ подумали бы! Ах, мой друг, не мало он страдал от этого!

— Напрасно, мне кажется, он затруднялся этими соображениями.

— Не говори, мой родной! люди так завистливы, ах, как завистливы! Ну, он это знал и потому хранил свой капитал в тайне, только пятью процентами в год пользовался. Да и то в Москву каждый раз ездил проценты получать. Бывало, как первое марта или первое сентября, так и едет в Москву с позд-

ним поездом. Ну, а процентные бумаги — ты сам знаешь, велика ли польза от них?

— Покойно зато.

— Да, но имеем ли мы право искать спокойствия, друг мой? Я вот тоже, когда глупенькая была, об том только и думала, как бы без заботы прожить. А выходит, что я заблуждалась. Выходит, что мы, как христиане, должны беспрерывно печься о присных наших!

— Помилуй, душа моя! ведь христианство-то прямо указывает на птиц небесных!

— Это в древности было, голубчик! Тогда действительно было так, потому что в то время все было дешево. Вот и покойный Савва Силыч говаривал: «Древние христиане могли не жать и не сеять, а мы не можем». И батюшку, отца своего духовного, я не раз спрашивала, не грех ли я делаю, что присовокупляю,— и он тоже сказал, что по нынешнему дорогому времени некоторые грехи в обратном смысле понимать надо!

— Если так, то понятное дело, что покойный Савва Силыч должен был тяготиться, получая на свой капитал только пять процентов.

— И как еще тяготился-то! Очень-очень скучал! Представь только себе: в то время вольную продажу вина вдруг открыли — всем ведь залоги понадобились! Давали под бумаги восемь и десять процентов, а по купонам получка — само по себе. Ты сочти: если б руки-то у него были развязаны — ведь это пятнадцать, а уж бедно-бедно тринадцать процентов на рубль он получал бы!

Высказав это, Машенька умилилась и сложила губки сердечком.

— А впрочем, он не роптал,— продолжала она,— он слишком христианин был, чтобы роптать! Однажды он только позволил себе пожаловаться на провидение — это когда откупа уничтожили, но и тут помолился богу, и все как рукой сняло.

— Что же мешало ему в отставку выйти, чтоб распорядиться с капиталом с большею выгодою?

— Ах, как это можно! В последнее время стали управляющих палатами из советников делать — ну, он и надеялся. А как он прозорлив был — так это удивительно! Всякое его слово, все, все так именно и сбылось, как он предсказывал!

— Например?

— Да вот хоть бы насчет земли. Сколько он раз, бывало, говаривал: «Машенька! паче чаянья, я умру — ты непременно зе́мли покупай! Теперь, говорит, у помещиков выкупные свидетельства пока водятся, так зѐмли еще в цене, а скоро будет, что все выкупные свидетельства проедят — тогда зѐмли нипо-

чем покупать будет можно!» И все так именно, по его, и сбылось. Все нынче стали зѐмли распродавать, и уж так дешево, так дешево, что просто задаром. Вот я и покупаю, коли где сходно. Леса́ покупаю, зѐмли. Леса́ свожу, а землю мужичкам в кортому отдаю. Ведь им земля-то нужна, мой друг! ах, как она им нужна!

— И выгодно это?

— Так выгодно! так выгодно! Разумеется, и тут тоже надо с оглядкой поступать: какая земля? Коли земля близко к крестьянской околице лежит — ту непременно покупать следует, потому что она мужичкам нужна. Мужички за нее что хочешь дадут: боятся штрафов. Ну, а коли земля дальняя — за ту надо дешево давать, да и то если на ней молодой березник или осинничек растет. С еловым молодятником я совсем земли не покупаю, потому что туго очень эта ель растет, а вот березка да осинничек — самый это выгодный лес! И представь себе, ка́к это хорошо: ведь с первого-то взгляда кажется, что земля эга так, ничего не стоящая — ну, рублей по пяти за десятину и дашь. Смотришь, ан на ней, лет через двадцать, уж дрова порядочные будут — за ту же десятину, на худой конец, тридцать рублей дадут! Сообрази-ка теперь: ведь это в шесть раз капитал на капитал — в двадцать-то лет!

Опять умиление и опять губы сердечком. Это было до такой степени мило, что я не удержался, чтоб не спросить:

— Ну, а как насчет вечности, Машенька? не боишься... помнишь, как прежде?

— Нет, мой друг, я нынче совсем-совсем христианкой сделалась! Чего бояться вечности! надо только с верою приступать — и все легко будет! И покойный Савва Силыч говаривал: бояться вечности — только одно баловство!

— Кто же у тебя всеми этими делами орудует?

— И сама, и добрые люди советом не оставляют. Вот Анисимушко — он еще при покойном папеньке бурмистром был; ну, и Филофей Павлыч тоже.

— Какой такой Филофей Павлыч?

— Промптов. Покойного Саввы Силыча друг. Он здесь в земской управе председателем служит. Хотел вот и сегодня, по пути в город, заехать; познакомишься.

Она проговорила эти слова как-то неровно; мне показалось, что даже немного сконфузилась при этом.

— Уж не жених ли? — пошутил я,— ведь в твои годы...

— Ах, нет! ах, нет! что ты! что ты! да что ж это дети, однако ж! — продолжала она, переменяя разговор,— ведь мы тебя не ожидали сегодня, по-домашнему были — ну, и разбрелись по углам!

— А много у тебя детей?

— Четверо, мой друг. Старшенькая-то у меня дочь, Нонночка, а прочие — мальчики. Феогност — старший, Коронат — средний, а Смарагдушка — меньшой. Савва Силыч любил звучные имена.

— И ты любишь детей?

— Ах, мой друг!

Она с укором посмотрела на меня, как будто я и невесть какую ересь высказал.

— Только скажу тебе откровенно,— продолжала она,— не во всех детях я одинаковое чувство к себе вижу. Нонночка — та, можно сказать, обожает меня; Феогност тоже очень нежен, Смарагдушка — ну, этот еще дитя, а вот за Короната я боюсь. Думается, что он будет непочтителен. То есть, не то чтобы я что-нибудь заметила, а так, по всему видно, что холоден к матери!

— Извини меня, Машенька, но, право, мне кажется, что ты вздор говоришь! Ну, какие же ты могла заметить признаки непочтительности в семилетнем мальчике?

— Ах, не говори этого, друг мой! Материнское сердце далеко угадывает! Сейчас оно видит, что и как. Феогностушка подойдет — обнимет, поцелует, одним словом, все, как следует любящему дитяти, исполнит. Ну, а Коронат — нет. И то же сделает, да не так выйдет. Холоден он, ах, как холоден!

— Это бывает. Родители заберут себе случайно в голову, что ребенок неласков, да и твердят ему об этом. Ну, разумеется, он тоже смекает. Сначала только робеет, а потом и в самом деле становится холоден.

— Ах, нет, не я одна, и Савва Силыч за ним это замечал! И при этом упрям, ах, как он упрям! Ни за что̀ никогда родителям удовольствия сделать не хочет! Представь себе, он однажды даже давиться вздумал!

— Что ты!

— Право! сдавил себе обеими руками шею... весь посинел!

В эту минуту дети гурьбой вбежали в гостиную. И все, точно не видали сегодня матери, устремились к ней здороваться. Первая, вприпрыжку, подбежала Нонночка и долго целовала Машу и в губки, и в глазки, и в подбородочек, и в обе ручки. Потом, тоже стремительно, упали в объятия мамаши Феогностушка и Смарагдушка. Коронат, действительно, шел как-то мешкотно и разинул рот, по-видимому, заглядевшись на чужого человека.

— Ну, вот и молодцы мои! — рекомендовала мне Машенька детей,— не правда ли, хорошие дети?

Нонночка сделала книксен; прочие шаркнули ножкой.

— Прелестные! — поспешил согласиться я, целуя всех по очереди.

— Хорошие, послушные, заботливые дети и любят свою мамашу. Не правда ли... Коронат?

Коронат, надувшись, смотрел вниз и молчал.

— Что ж ты молчишь! Любишь мамашу?.. Анна Ивановна! верно, он опять сегодня шалил!

Вопрос этот относился к молодой особе, которая вошла вслед за детьми и тоже подошла к Машенькиной ручке. Особа была крайне невзрачная, с широким, плоским лицом и притом кривая на один глаз.

— По обыкновению-с,— отвечала Анна Ивановна голосом, в котором звучала ирония; при этом единственный ее глаз блеснул даже ненавистью, которой, конечно, она не ощущала на деле, но которую, в качестве опытной гувернантки, считала долгом показывать,— очень достаточно-таки пошалил monsieur Koronat [1].

— Ну, что же делать! оставайся, мой друг, без пирожного! — тотчас же решила Машенька,— ах, пожалуйста, не куксись! Помнишь, что̀ говорила я тебе об дурных поступках? помнишь?

Коронат молчал.

— Mais répondez donc! [2] — язвила Анна Ивановна.

— Отвечай же! помнишь? — приставала Машенька.

Но Коронат только пыхтел в ответ.

— Ну, вот видишь, какой ты безнравственный мальчик! ты даже этого утешения мамаше своей доставить не хочешь! Ну, скажи: ведь помнишь?

— Помню,— процедил сквозь зубы Коронат.

— Ну, повтори! повтори же, что̀ я говорила! Вот при дяденьке повтори!

— «Дурные поступки сами в себе заключают свое осуждение»,— произнес красный как рак Коронат, словно клещами вытянули из него эту фразу.

— Ну, видишь ли, друг мой! Вот ты себя дурно вел сегодня — следовательно, сам же себя и осудил. Не я тебя оставила без пирожного, а ты сам себя оставил. Вот и дяденька то же скажет! Не правда ли, cher cousin? [3]

— Ну, что касается до меня, то я полагаю, что если Коронат осудил себя сам, то он же не только может простить самого себя, но даже и даровать себе право на двойную порцию пирожного! — выразился я, стараясь, впрочем, придать моему

[1] господин Коронат.
[2] Отвечайте же!
[3] дорогой кузен?

ответу шуточный оттенок, дабы не потрясти родительского авторитета.

— Видишь, какой дяденька добрый! Ну, так и быть, для дяденьки ты получишь сегодня пирожное. Но ты должен дать ему обещание, что вперед будешь воздерживаться от дурных поступков. Обещаешься?

На Короната опять находит «норов», и он долгое время никак не соглашается «обещаться». Новое приставание: «Mais répondez donc, monsieur Koronat!»[1] — со стороны Анны Ивановны, и «да скажи же, что обещаешься!» — со стороны Машеньки.

— Да господи! обещаюсь! — выпаливает наконец Коронат, который, по-видимому, готов лопнуть от натуги.

— Ну, теперь шаркни ножкой и поблагодари дяденьку!

Но я стремительно вскакиваю с дивана и, чтоб положить конец дальнейшим сценам, обнимаю Короната.

— Можете идти покуда в залу и побегать; а вы, chère[2] Анна Ивановна, потрудитесь сказать, чтоб подавали кушать. Ах, предурной, презакоренелый у него характер! — обратилась она ко мне, указывая на удаляющегося Коронатушку и печально покачивая головкой,— очень, очень я за него опасаюсь!

— А я так нимало не опасаюсь. Вот скажи-ка мне лучше, где ты такое сокровище достала?

— Это ты про Анну Ивановну? Дешевенькая, голубчик. Всего двести рублей в год, а между тем с музыкой. Ну, конечно, иногда на платье подаришь: дурна-дурна, а нарядиться любит. Впрочем, прекраснейшего поведения. Покорна, ласкова... никогда дурного слова!

— Ну, а я все-таки не взял бы ее в гувернантки!

— Нет, мой друг; Савва Силыч — он ее из воспитательного привез — очень правильно на этот счет рассуждал. Хорошенькая-то, говаривал он, сейчас рядиться начнет, а потом, пожалуй, и глазами играть будет. Смотришь на нее — ан враг-то и попутал!

— Вот как! стало быть, он не очень-то на себя надеялся!

— Нет, не то чтобы, а так... Вообще он не любил себя искушать. В семейном быту надо верную обстановку устроивать, покойную! Вот как он говорил.

Наконец пришли доложить, что подано кушать. Признаюсь, проголодавшись после трехдневного поста, я был очень рад настоящим образом пообедать. За столом было довольно шумно, и дети, по-видимому, не особенно стеснялись, кроме,

[1] Отвечайте же, господин Коронат!
[2] дорогая.

впрочем, Короната, который сидел, надувшись, рядом с Анной Ивановной и во все время ни слова не вымолвил.

— Вот видишь, какой он злопамятный! — шепнула мне по этому поводу Машенька.

— И ты не скучаешь? — спросил я Машу, когда мы, после обеда, заняли прежние места в гостиной.

— Нет, мне скучать нельзя: у меня дети, мой друг. Да и некогда. Если б занятий не было, тогда другое дело... Вот я помню, когда я в девушках была, то всегда скучала!

— Будто бы?

— Да, потому что на уме всё глупости были. Ах, ты не можешь вообразить, какая я тогда была глупая и что̀ я себе представляла!

— Например?

— Ну, вот хоть бы... нет, ни за что не скажу! Помнишь, тогда сочинение это вышло... «Les misérables»[1], что ли... да нет, не скажу! Мне самой стыдно, как вспомнишь иногда...

Она слегка потупилась и вздохнула.

— Стало быть, это Савва Силыч выучил тебя не скучать?

— Да, все он; всему он меня научил. Он желал, чтоб я всегда была занята. Вообще он был добр, даже очень добр до меня, но насчет этого строг. Праздность не только порок, но и бедствие: она суетные мечтания порождает, а эти последние ввергают человека в духовную и материальную нищету — вот как он говорил.

— Чем же ты, при жизни его, занималась?

— Мало ли, друг мой, в доме занятий найдется? С той минуты, как утром с постели встанешь, и до той, когда вечером в постель ляжешь,— всё в занятиях. Всякому надо приготовить, за всем самой присмотреть. Конечно, все больше мелочи, но ведь ежели с мелочами справляться умеешь, тогда и большое дело не испугает тебя.

— Это тоже Савва Силыч говорил?

— Да, мой друг, он. А что?

— Ничего. Так спросилось. Хорошая мысль.

На эту тему мы беседовали довольно долго (впрочем, говорила все время почти одна она, я же, что называется, только реплику подавал), хотя и нельзя сказать, чтоб разговор этот был разнообразен или поучителен. Напротив, должно думать, что он был достаточно пресен, потому что, под конец, я таки не удержался и зевнул.

— Ах, что же я? — всполошилась она,— и не подумала, что

[1] «Отверженные».

с дороги тебе отдохнуть хочется! А еще хозяйкой себя выставляю.

— Успокойся, душа моя, я не сплю после обеда. А вот что́ я думаю: не уехать ли мне? По-настоящему, я ведь мешаю тебе!

— Ах, что ты! чем же ты мне мешать можешь! Если б и были у меня занятия, то я для родного должна их оставить. Я родных почитаю, мой друг, потому что ежели мы родных почитать не станем, то что же такое будет! И Савва Силыч всегда мне внушал, что почтение к родным есть первый наш долг. Он и об тебе вспоминал и всегда с почтением!

— Ну, если я не мешаю тебе, то тем лучше.

— А я вот что, братец. Я велю вареньица подать, нам и веселее будет. А потом и чаю; ведь ты чай любишь?

— Что ж, это прекрасно. И вареньица, и чаю — не откажусь.

— Ах, как я рада! И как это хорошо, что ты откровенно мне высказал, что́ тебе нравится. А вот другие любят, чтоб хозяева сами угадывали — вот му́ка-то!

Она взяла меня за обе руки и так грустно-грустно взглянула мне в лицо, словно хотела сказать: «Сиротка ты, бедненький! надо же тебя приголубить и подкормить!»

Через несколько минут на столе стояло пять сортов варенья и еще смоквы какие-то, тоже домашнего изделия, очень вкусные. И что всего удивительнее, нам действительно как-то веселее стало или, как выражаются крестьяне, поваднее. Я откинулся в угол на спинку дивана, ел варенье и смотрел на Машу. При огнях она казалась еще моложавее.

— Машенька! — невольно вырвалось у меня.

— Ах, ты кончил? Вот покушай еще; дай я тебе положу... морошки или крыжовнику?

— Нет, я не о том. Я все хочу тебе сказать: какая ты еще молодая! Совсем-совсем ты не изменилась с тех пор, как мы расстались!

— Это по наружности только, а внутри...

— Что такое «внутри»! Ты напускаешь на себя — и больше ничего! Право, ты так еще мила, что не грех и приволокнуться за тобой, и я уверен, что этот Филофей Павлыч...

— Ах, нет! что ты! что ты!

— Нет, признайся! Наверное, этот вертопрах...

— Во-первых, он совсем не вертопрах, а во-вторых, оставим это... Знаешь, ведь я об чем-то хотела с тобой поговорить!

— Об чем же?

— Скажи, правда ли, что ты с Чемезовом кончить хочешь?

— Правда.

— Вот как! А я все думала, что ты у меня в соседстве поселишься. Ах, как бы это было хорошо!

— Хорошо-то хорошо, да нельзя этого, голубушка. Ты знаешь, занятия, обстоятельства...

— Что такое «обстоятельства»! Не обстоятельства должны управлять человеком, а человек обстоятельствами!

— Это тоже Савва Силыч говорил?

— Да, и он.

— А Филофей Павлыч, быть может, подтверждал?

— Ах, ты опять об этом! Вот ты так не изменился! Все шутишь! А ведь я серьезный разговор хотела с тобою вести!

— Ну, будем вести серьезный разговор.

Лицо ее, действительно, приняло озабоченное выражение; бровки сдвинулись больше обыкновенного.

— Скажи, пожалуйста, на чем же ты хочешь кончить? покупатели есть? — таинственно спросила она, причем даже по сторонам огляделась, как бы желая удостовериться, не подслушивает ли кто.

— Были покупатели. Дерунов охотился, Бородавкина Заяц привозил смотреть.

— И что ж?

— Мне хотелось бы с крестьянами сделаться.

— Ах, нет! ах, пожалуйста! прошу тебя: не имей ты дела с крестьянами!

— Что так?

— Ах, это такие неблагодарные! такие неблагодарные!

— Да мне-то какое дело до того, благодарны они или неблагодарны! Я продавец, они покупатели.

— Помилуй! как это можно! они такие неблагодарные! такие неблагодарные! Представь себе, в то время... ну, вот как уставные грамоты составляли... ведь мои-то к губернатору на Савву Силыча жаловаться ходили! Так он был тогда огорчен этим! так огорчен!

— А!

— И представь себе, какую клевету на него взвели: будто он у них Гулино отнял! У них! Гулино! знаешь: это как к селу-то подъезжаешь, у самой почти что околицы — тут у меня еще прехорошенькая сосновая рощица нынче пошла!

— Что ж? разобрали дело?

— Ну, конечно, им отказали, потому что Савва Силыч как дважды два доказал... Зато теперь они и каются: ведь им, друг мой, без Гулина-то курицы некуда выпустить!

— Как «зато»! Да ведь если б они и не жаловались, Гулино-то все-таки не осталось бы за ними!

— Ах, какой ты! Я тебе говорю: вот какие они неблагодарные, что даже на Савву Силыча жаловались! Да, мой друг! Столько мы беспокойств, столько, можно сказать, неприятностей через них имели, что Савва Силыч даже на одре смерти меня предостерег: «Прошу тебя, говорит, Машенька, никогда ты не имей дело с этими неблагодарными, а действуй по закону!»

— Однако ты, несмотря на это, имеешь-таки с ними дела! вот земли в кортому отдаешь...

— Это совсем другое дело; тут уж я по закону. Да ведь и по-христиански, мой друг, тоже судить надо. Им ведь земля-то нужна, ах, как нужна! Ну, стало быть, я по-христиански...

Она на минуту смолкла, потихоньку вздохнула и даже как бы закручинилась («миленькая!» мелькнуло у меня в голове).

— Ты не поверишь, как они бедны! ах, как бедны! — продолжала она таким голосом, как будто ей вот-вот сейчас душу на части начнут рвать.— И представь себе, бедны, а в кабаке у меня всегда толпа!

— Ты и кабак устроила?

— Да, тут у нас строеньице ненужное осталось, так Анисимушко присоветовал. Ведь это выгодно, родной мой!

— Да?

— Очень, очень даже выгодно. Но представь себе: именно все, как говорил покойный Савва Силыч, все так, по его, и сбывается. Еще в то время, как в первый раз вину волю сказали,— уж и тогда он высказался: «Курить вино — нет моего совета, а кабаки держать — можно хорошую пользу получить!»

— Машенька! ты милая! — невольно вскрикнул я и — каюсь — не удержался-таки, поцеловал ее в щечку.

— Что ты! дети... ах, какой ты! — застыдилась она.

— Ну, хорошо, хорошо! не стану! Так что же ты мне насчет Чемезова-то сказать хотела?

Она на мгновенье задумалась, потом вдруг все лицо ее словно озарилось.

— Знаешь ли что! — вскрикнула она почти восторженно,— Лукьяныч обманывает тебя!

— Что ты! Христос с тобой! Старику семьдесят лет!

— Говорю тебе, обманывает! это так верно, так верно...

— Ну, оставим это! пускай себе обманывает, а мы возьмем да перехитрим его. Что же ты мне еще скажешь?

— А вот что, мой друг. Признаюсь, я очень, даже очень в твое дело вникала. И могу сказать одно: жаль, что ты «Кусточки» в то время крестьянам отдал! И Савва Силыч говорил: «Испортил братец все свое имение».

— Помилуй! да ведь «Кусточки» как раз около Чемезова; крестьянам и обойтись без них невозможно! Да и всегда, и при крепостном праве, «Кусточками» крестьяне владели!

— В том-то и дело, друг мой, что крестьянам эта земля нужна — в этом-то и выгода твоя! А владели ли они или не владели — это всегда обделать было можно: Савва Силыч с удовольствием бы для родного похлопотал. Не отдай ты эти «Кусточки» — ведь цены бы теперь твоему имению не было!

— Да что ж об «Кусточках» говорить, коли они уж отданы! А без «Кусточков» как велика, по-твоему, цена за всю землю?

— А сколько Осип Иваныч (Дерунов) тебе давал?

— Пять тысяч.

— Как тебе сказать, мой друг! Я бы на твоем месте продала. Конечно, кабы здесь жить... хорошенькие в твоем именье местечки есть... Вот хоть бы Филипцево... хорош, очень хорош лесок!.. Признаться сказать, и я иногда подумывала твое Чемезово купить — все-таки ты мне родной! — ну, а пяти тысяч не дала бы! Пять тысяч — большие деньги! Ах, какие это большие деньги, мой друг! Вот кабы «Кусточки»...

— Дались тебе «Кусточки»! Каких-нибудь двадцать десятин!

— Двадцать десятин, а за двести ответят! Это и Анисимушко скажет тебе. Вот почему я и думаю: обманывает тебя Лукьяныч! Ну, так обманывает! так обманывает!

— Да полно же, ради Христа!

— Нет, мой друг, это дело надо разыскать. Если б он верный слуга тебе был, согласился ли бы он допустить, чтоб ты такое невыгодное условие для себя сделал? Вот Анисимушко — тот прямо Савве Силычу сказал: «Держитесь Гулина, ни за что крестьянам его не отрезывайте!» Ну, Савва Силыч и послушался.

— Слушай! да ведь я сам уставную-то грамоту и составил и подписал!

— Все-таки. Кабы Лукьяныч настоящий христианин был — все бы ему следовало тебя предостеречь!

— Машенька! клянусь, ты милая!

— Ну, видишь ли! я ведь знала, что с тобой серьезно нельзя говорить. Всегда ты был такой; всегда в тебе эта неосновательность была. С тобой серьезно говорят, а у тебя всё мысли какие-то. И Савва Силыч это замечал; а он очень тебя любил.

— За что ж он меня любил?

— Он всех родных вообще почитал. Он всегда... он такой... Ну вот, ты и опять этими воспоминаниями расстроил меня, друг мой!

Действительно, ее глазки блеснули, и две маленькие слез-

ки скатились на ее щечки. Воспоминание ли о Савве Силыче на нее подействовало, или просто взгрустнулось... *так* — во всяком случае, это было так мило, что я невольно подумал: а ведь этот Филофей дурак будет, если Машеньку к себе не приурочит.

Такие женщины в деревенской тиши настоящий клад. И нежна, и «Кусточков» не проглядит, и приголубить может, и весь дом обегает, за всем сама присмотрит, все прикажет. Блаженствуй! Хорошо этакую «куколку» по головке погладить и потом сказать ей: «А что, Машенька, кабы теперь вареньица!» Хорошо целовать эти глазки и читать в них, как они думают: что бы еще велеть с погреба принести! Да и не надоедлива ведь она: прибежит, сядет к тебе на колени, вспомнит, что нужно насчет белья распорядиться,— вскочит и убежит; потом опять прибежит, на колени сядет — и опять вспомнит, что Смарагдушке нужно пупочек бобковою мазью потереть... Вот настоящее utile dulce;[1] вот единственное условие, при котором никакое деревенское захолустье опостылеть не может! Но, может быть, опостылеет жизнь вообще?..

Нет, едва ли и это. По крайней мере, Филофей, наверное, совсем не так думает. Не знаю, почему мне вспал на ум этот Филофей, но я убежден, что он тут что-нибудь маклерит. Недаром два раза Машенька покраснела при его имени. Конечно, он такой же крупный и вальяжный, как и Савва Силыч, и из такого же ноздреватого известкового камня вырублен. Маленькие женщины сначала боятся таких идолов, а потом льнут к ним: защиту себе видят. Муж нервный, худощавый, болезненный не защитит. А вот как целая глыба под руками, стоит только присесть сзади, никто и не увидит. Таков первоначальный повод для привязанности, а потом, разумеется, и другие найдутся. А Машенька уж обтерпелась за Саввой Силычем, и Филофей это знает. Может быть, он и тогда, при жизни мужа, уж думал: «Мерзавец этот Савка! какую штучку поддел! вон как она ходит! ишь! ишь! так по струнке и семенит ножками!» И кто же знает, может быть, он этому Савке, другу своему, даже подсыпал чего-нибудь, чтоб поскорей завладеть этою маленькою женщиной, которая так охотно пойдет за тем, кто первый возьмет ее за ручку, и потом всю жизнь будет семенить ножками по струнке супружества!

Но это была уже уголовщина, и я поспешил опомниться. Машенька правду сказала: нельзя со мной серьезно говорить! Сейчас я на окольную дорогу сверну и начну совсем о другом. И с какой стати я к этому Филофею привязался! Может быть,

[1] (сочетание) приятного с полезным.

это просто семинарист какой-нибудь — и сам семинарист, и, кроме того, еще друг покойного семинариста,— который, по старой сквалыжнической привычке, заезжает в Березники, на перепутье из деревни в земскую управу, потому только, что у Машеньки сладенько поесть можно! Приедет, наестся, выспится, наговорит изречений из старых прописей — и отправится дальше...

Покуда я так размышлял, доложили, что пришел Анисимушко.

Анисимушко — старик древний, лет под восемьдесят, но еще бодрый на вид, хотя и ходит с палкою. Осанку он имеет важную, лицо почтенное, выражающее, что он себе цену понимает. Садится, не дожидаясь позволения, и говорит барыне «ты». Вообще, это одна из тех личностей, без совета с которыми, при крепостном праве, помещики шагу не делали, которых называли «министрами» и которые пользовались привилегией «говорить правду», но не забываться, подобно тем своим знатным современникам, которые, в более высокой сфере, имели привилегию

Истину царям с улыбкой говорить..

Анисимушко вошел степенно, важно; не торопясь помолился в восточный угол, где висел образ, потом поклонился мне и барыне и сел.

— Вот и Анисимушко, рекомендую! — произнесла Машенька,— мой советчик, руководитель и, можно сказать даже, друг. Надеюсь, что ты позволишь нам поговорить?

— Ах, сделай одолжение!

— Ну, что, Анисимушко, скажешь?

— Клинцы, сударыня, продают.

— Это где?

— Рядом с Ульянцевом. Пустошонка десятин с сорок, побольше, будет.

— А земля какова?

— Земля не то чтобы... Покосишко есть... не слишком тоже... леску тоже молоденького десятинки с две найдется... земля не очень... Только больно уж близко к Ульянцеву подошла!

— Дорого просят?

— Дорого. Восемьсот; по двадцати рублей за десятину на круг.

— Ой! что ты!

Машенька даже испугалась громадности цифры.

— А купить все-таки надо будет,— солидно продолжал Анисимушко.

— Ни за что! Разориться мне, что ли, прикажешь!

И она растерянно взглянула на меня. Наверное, она вспомнила недавние свои инсинуации насчет Лукьяныча и хотела угадать, не думаю ли я того же самого об ее Анисимушке.

— До разоренья еще далеко,— иронически возражал Анисимушко,— ты сначала выслушай!

— Помилуй, Анисимушко!

— Слушай-ко. Первое дело — ульянцевские сейчас за нее тысячу дают. Сегодня ты восемьсот дашь, а завтра тысячу получишь.

— Так отчего ж они не покупают! Тысячу-то тысячу, да, может быть, в рассрочку?

— И не в рассрочку, а деньги на стол. Да, вишь, барин негодованье на них имеет, судились они с ним за эту самую землю — он ее у них и оттягал. Вот теперь он и говорит: «Мне эта земля не нужна, только я хоть задаром ее первому встречному отдам, а вам, распостылые, не продам!»

— Ах, боже мой! да если ты говоришь, что эта земля так им нужна, зачем же ее продавать! Можно и так с пользою отдавать им же в кортому!

— Ему это не рука, барину-то, потому он на теплые воды спешит. А для нас, ежели купить ее,— хорошо будет. К тому я и веду, что продавать не надобно — и так по четыре рубля в год за десятину на круг дадут. Земля-то клином в ихнюю угоду врезалась, им выйти-то и некуда. Беспременно по четыре рубля дадут, ежели не побольше.

Машенька задумалась и перебирала пальчиками, словно рассчитывала.

— Так ты думаешь, купить? — робко спросила она.

— Послушай ты моего мужицкого разума! не упущай ты этого случаю!

— Денег-то очень уж много, Анисимушко!

— Мало ли денег! Да ведь и я не с ветру говорю, а настоящее дело докладываю. Коли много денег кажется, поторговаться можно. Уступит и за семьсот. А и не уступит, все-таки упускать не след. Деньги-то, которые ты тут отдашь, словно в ламбарте будут. Еще лучше, потому что в Москву за процентами ездить не нужно, сами придут.

— А ежели мужички не будут землю кортомить?

— Христос с тобой! куда ж они от нас уйдут! Ведь это не то что от прихоти: земля, дескать. хороша! а от нужды от кровной: и нехороша земля, да надо ее взять! Верное это слово я тебе говорю: по четыре на круг дадут. И цена не то чтобы с прижимкой, а самая настоящая, христианская...

— Да уж, Анисимушко! надо по-христиански! и их тоже пожалеть нужно!

— Известное дело, и их пожалеть, про что ж я и говорю. Дело хоть обоюдное, вольное, а все же по-христиански нужно. Потому, бог — он все видит. Ты думаешь, бог-от далеко, а он вон он! По-христиански — как возможно! не в пример лучше! И мужичкам хорошо, и тебе спокой! Так-то. Ты тужишь, что у тебя рублик-другой промеж пальцев будто ушел, ан бог-от тебя в другом месте благословит! А совесть-то и завсе у тебя спокойна. И уснул ты сладко, и встал поутру, никакого покору за собой не знаешь! Так ли я, сударыня, говорю?

— Так, Анисимушко! Я знаю, что ты у меня добрый! Только я вот что еще сказать хотела: может быть, мужички и совсем Клинцы за себя купить пожелают — как тогда?

— Что ж, сударыня, с богом! отчего же и им, по-христиански, удовольствия не сделать! Тысячу-то теперь уж дают, а через год — и полторы давать будут, коли-ежели степенно перед ними держать себя будем!

Опять минута задумчивости; глазки грустные-грустные; подбородочек вздрагивает.

— Так уж я куплю, Анисимушко,— вздохнув, решает Машенька.

— Купи, матушка! Ты моего мужицкого ума слушайся! Потоль и служу, поколь жив.

— А уж я-то как благодарна тебе, Анисимушко! так благодарна! так благодарна! Дети! Феогност! Нонночка! велите Анисимушку чаем напоить! С богом, Анисимушко!

В эту минуту у крыльца послышался звон колокольчика, и дети в зале всполошились.

— Дядя приехал! Дяденька! — кричали они.

Я не обманулся: это была действительно глыба. И притом глыба, покушавшаяся быть любезною и отчасти даже грациозною. Вошел он в гостиную как-то боком, приятно переплетая ногами, вынул из ушей канат, спрятал его в жилетный карман и подошел Машеньке к ручке.

— А вот и братец приехал! — рекомендовала меня Машенька, складывая губки сердечком.

— Приятно-с. Служить изволите?

— Нет, не служу, а так.

— Вот даже сейчас видно, что вы Марье Петровне родственником доводитесь! Оне тоже очень часто это слово «так» в разговоре употребляют.

Он улыбнулся и не без вожделения скосил глазами в сторону Машеньки, причем меланхолически склонил голову набок, так что я заметил под левою его скулой большой кружок английского пластыря, прикрывавший, очевидно, фистулу.

Однако замечание его смутило-таки меня. В самом деле, зачем я сказал это «так»? Что̀ такое «так»? Что̀ хотел я этим выразить? Вот Машенька — она действительно «так»; я и сам это давеча заметил. И для нее это нимало не предосудительно; ей это даже прелесть придает, потому что она женщина и притом вдова. Впрочем, и она, я подозреваю, больше ради прелести употребляет это слово, потому что Филофею оно нравится. А я-то зачем? Зачем я сказал: «так»? И может быть, я только не замечаю за собою, а на деле и частенько-таки этим словом щеголяю?

— Из Петербурга приехать изволили? — любезничал со мной Промптов.

— Из Петербурга.

— Большой город. Париж, говорят, обширнее; ну, да ведь то уж Вавилон. Вот мы так и своим уездным городом довольны. Везде можно пользу приносить-с. И океан, и малая капля вод — кажется, разница, а как размыслишь, то и там, и тут — везде одно и то же солнце светит. Так ли я говорю-с?

— Да, философы утверждают...

— Скажу хоша про себя: на нынешнее трехлетие званием председателя управы меня почтили. Дело оно, конечно, небольшое, а все же пользишку принести можно. Кто желает, и в таком деле пищу для труда найдет. А труд, я вам доложу, великая вещь: скуку он разгоняет. Вот и Марья Петровна трудятся — и им не скучно.

— Не скучно, а так...— как-то лениво промолвила Машенька, и на сей раз я положительно утверждаю, что она сказала это слово неспроста, а с желанием пококетничать с Филофеем.

— Вот видите: и сейчас оне это слово «так» сказали,— хихикнул он, словно у него брюшко пощекотали,— что же-с! в даме это даже очень приятно, потому дама редко когда в определенном круге мыслей находится. Дама — женщина-с, и им это простительно, и даже в них это нравится-с. Даме мужчина защиту и вспомоществование оказывать должен, а дама с своей стороны... хоть бы по части общества: гостей занять, удовольствие доставить, потанцевать, спеть, время приятно провести — вот ихнее дело.

Он опять меланхолически скосил глаза в сторону Машеньки и опять показал мне свою фистулу. «Знает ли она, что у него под скулой фистула?» — невольно спросил я себя и тут же, внимательно обсудив все обстоятельства дела, решил, что не только знает, но что даже, быть может, и пластырь-то на фистулу она сама, собственными ручками, налепляет.

— Следовательно, вам не скучно? — обратился я к нему.

— Докладываю вам: тружусь-с. Кабы не трудился, может быть, и скучал бы. Может быть, вино бы пить стал; может быть, в разврат бы впал...

— Ах, что вы, Филофей Павлыч! — испугалась Машенька.

— Не извольте, сударыня, беспокоиться: со мной этого случиться не может. Я себя очень довольно понимаю. Рюмка перед обедом, рюмка перед ужином — для желудка сварения-с... Я вот и табак прежде, от скуки, нюхал,— обратился он ко мне,— да, вижу, доброй соседушке не нравится (Машенька заалелась) — и оставил-с!

— И вы постоянно здесь живете?

— Оседлость имею — ну, и живу. Слава богу, послужил. Был в Т. советником губернского правления; теперь государя моего действительный статский советник в отставке — чего нужно! Не растратил, а, по милости божией, приобрел-с. На собственные, на трудовые денежки — наследственного-то мне родители не завещали! — купил здесь, поблизости, именьице, да и катаюсь взад да вперед: из имения в город, из города в именье. Вот к Марье Петровне на перепутье заезжаю. Чайком напоит, вареньицем полакомит, а иногда, грешным делом, и отдохнуть разрешит.

Он встал и опять, переплетая ногами, подошел Машеньке к ручке.

— Сегодня-то вы у нас ночуете? — спросила она.

— Всенепременно-с, ежели такая ваша милость будет. Я, сударыня, вчера утром фонтанель на обеих руках открыл, так боюсь: дорогой-то в шубе сидишь, как бы не разбередить.

— Давно уж я вам про эту фонтанель советовала... что ж, и удачно?

— Нельзя лучше-с. Сегодня утром рассматривал: материя идет — отличнейшая-с. И даже сейчас уж лучше на оба уха слышу!

— Ну, и слава богу!

Новое переплетанье ногами и новое чмоканье Машенькиной ручки.

— Так мы здесь и живем! — сказал он, усаживаясь,— помаленьку да полегоньку, тихо да смирно, войн не объявляем, тяжб и ссор опасаемся. Живем да поживаем. В умствования не пускаемся, идей не распространяем — так-то-с! Наше дело — пользу приносить. Потому, мы — земство. Великое это, сударь, слово, хоть и неказисто на взгляд. Вот, в прошлом году, на перервинском тракте мосток через Перерву выстроили, а в будущем году, с божьею помощью, и через Воплю мост соорудим...

— Ах, да, пожалуйста, устройте! Я намеднись чуть не провалилась! — пожаловалась Машенька.

— Ах, грех какой! А вы, сударыня, осторожнее! Вот изволите, сударь, видеть! всем до нас дело! Марье Петровне мосток построить, другому — трактец починить, третьему — переправочку через ручей устроить! Ан дела-то и многонько наберется. А вы, осмелюсь спросить, писательством, кажется, заниматься изволите?

— Да, пишу.

— И это полезно, ежели в учительном духе... Мы здесь, признаться, только «Московские ведомости» выписываем, так настоящую-то литературу мало знаем.

— Братец, кажется, больше по сатирической части,— вмешалась Машенька.

— Что ж, и сатира не без пользы, коли в пределах. Ridendo castigat mores [1] — так, кажется? Дело писателей — изображать, а дело правительства — их воздерживать. И в древности сатирики были: Ювенал, Персий, Кантемир. Даже Цицерон, временами, к сатире склонность выказывал, а Кантемира так сам блаженной памяти государь Петр Алексеич из Молдавии вывезти изволил. Современникам, конечно, не всегда приятны ихние стрелы были, а теперь, по прошествии времени, даже в средних учебных заведениях читать не возбраняется.

— А дорого, братец, за эти сатиры дают?

— Не знаю, как тебе сказать, голубушка, не считал.

— Писатели, сударыня, подробностей этих никогда не открывают. Хотя же и не отказываются от приличного за труды вознаграждения, однако все-таки желательнее для них, чтобы другие думали, якобы они бескорыстно произведениями своего вдохновения досуги человечества услаждают. Так, сударь?

— Ну, не совсем так, но, во всяком случае, ничего определительного на вопрос Машеньки ответить не могу. Вознаграждение за литературный труд так изменчиво, что точно определить его норму почти невозможно.

— А знаете ли, братец, ведь и у нас здесь прошлым летом чуть-чуть сатирик не проявился?

— Как же-с! молодой человек один, николо-воплинского иерея сынок. Кончил курс в семинарии, да вместо того чтоб невесту искать, начал здешний уезд в сатирическом смысле описывать. Однако мы сейчас же его сократили.

— Как так?

[1] Смех исправляет нравы.

— В настоящее время он в дальние губернии, по распоряжению, выслан-с.

— Помилуйте! за что же!

— Возмущение от него большое выходило. Чуть что — сейчас опишет и начнет, это, распространять. Все мы, сударь, человеки и человеческим слабостям причастны, а он выше всех себя мнил. Вот мы его однажды подкараулили да к господину становому, вместе с писаниями, и представили.

— Однако трудненько-таки у вас сатирику жить!

— Жить у нас, сударь, всякому можно. И даже сатирами заниматься никто не препятствует. Вот только касаться — этого, действительно, нельзя.

Разговор принимал такой любопытный оборот, что я счел долгом своим поближе вглядеться в эту известковую глыбу. Слова Промптова пахнули на меня чем-то знакомым, хотя и недосказанным; они напомнили мне о какой-то жгучей задаче, которую я постоянно старался обойти, но от разрешения которой — я это смутно чувствовал — мне ни под каким видом не избавиться. «Будь сатириком, но не касайся» — да ведь это оно, это то самое решение, которого никто до сих пор ясно не формулировал, но которое, несомненно, у всех на уме. В особенности в Петербурге на этот счет существует какое-то малодушное двоегласие. Язык говорит: «Кто же запрещает! обличайте! преследуйте! карайте!» — а в глазах в это время бегают огоньки. Ясно, что в результате такого двоегласия должно быть постоянное сатирическое беспокойство. Общечеловеческая слабость нашептывает сатирику: «Мужайся! верь словам! огоньки,— это «так»!» А опыт и подозрительность предостерегают: «Помни об огоньках, а слова — это «так»!»

И вот простой рыбарь, какой-то безвестный Филофей, взял на себя труд разрешить задачу ясно, просто и, главное, спокойно и без огоньков. «Будь сатириком, но не касайся!» — да, это оно, оно самое! Но вот вопрос: способен ли Филофей преподать надлежащие к выполнению своего афоризма наставления? Гм... конечно, с его точки зрения, он способен. Не он ли сейчас сказал: «Подкараулили да к господину становому, вместе с писаниями, и представили»? Вот вам и исполнение. Только разрешает ли оно самую задачу? Создаст ли оно такого сатирика, который и сатиры будет писать, и в то же время «касаться» не станет? В этом-то я и позволю себе усомниться. Да и в Петербурге, по-видимому, тоже сомневаются, а вследствие этого и допускают «огоньки» в виде пальятивной меры. Пусть, мол, до времени огоньки служат предостережением, а вот ежели... Что̀ «ежели»?

Под влиянием этих мыслей я еще пристальнее взглянул на высившуюся передо мною известковую глыбу: не скажет ли она еще что-нибудь, не разъяснит ли? Но, увы! глыба так заурядно, почти бессмысленно покачивалась, вместе с креслом, в котором она сидела, и при этом так маслено косила глазами по направлению к Машеньке, что мне сделалось ясно, что она ничего не сознавала. Афоризм вырвался у нее из глотки «так», без понимания, и даже без малейших претензий на дальнейшее развитие. Он представлял собою одну из тех «благонамеренных речей», которыми так изобилует среда рыбарей. Так что я, который намеревался просить разъяснений по этому поводу и даже не прочь был вступить в спор, я сразу же убедился, что самое лучшее в этом случае — это последовать мудрому правилу: не тронь навоза — не воняет.

— А знаете ли что, Филофей Павлыч,— догадалась между тем Машенька,— ведь Коронат-то у нас, пожалуй, сатириком будет?

— Разве расположение выказывает?

— Нет, вообще... Безнравственность в нем какая-то... из всех детей он какой-то... Вон и братец давеча видел...

— А вы бы, сударыня, березовой кашицей почаще... И я знавал эти примеры: в детстве не остепеняли, а со временем, от этой самой родительской слабости, люди злодеями делались.

— Ах, и я этого боюсь! боюсь я за него!

— Самое главное, сударыня, в этом разе — все силы-меры употреблять, чтоб из ребенка человек вышел. Чтобы к семейству привязанность имел, собственность чтобы уважал, отечество любил бы. Лоза, конечно, прямо этому не научит, но споспешествовать может.

— Да ведь и я тоже... вот и братец... Ах, кстати! ведь братец с Чемезовом-то кончать хочет!

— Что так-с! — огорчился Филофей,— а мы было думали, что вы здесь оснуетесь! С сестрицей бы, по соседству, видались! очень бы приятно!

— Неудобно мне.

— Очень, очень было бы приятно. А между тем и имение... хорошенькое у вас, сударь, именьице! Полезные местечки есть! Вот кабы вы «Кусточков» мужичкам не отдали — и еще бы лучше было!

— И я ему то же говорила...

— Да-с, близок локоть, да не укусишь. Это бы уж Лукьянычево дело вас предостеречь. Он обязан был разъяснить вам, что «Кусточки» — это, так сказать, узел-с...

— Слушайте! да как же я мог не отдать «Кусточков»?

Ведь чемезовским крестьянам без этой земли просто жить нельзя!

— А они бы у вас кортомили ее. Вы бы христианскую цену назначили, а они бы пользовались. И им бы без обиды, и вам бы хорошая польза была.

— Да ведь они имели право на «Кусточки»! «Право» — ясно ли это, наконец! Вы сами сейчас говорили, что собственность уважать надо, а по разъяснениям-то выходит, что уважать надо не собственность, а прижимку!

Высказав это, я сейчас же догадался, что очень опрометчиво поступил, употребив слово «прижимка». Это было и слишком резко, и в то же время слишком мягко. Резко потому, что обличало во мне человека, с которым «попросту» (мы с ним «по-родственному», а он — и т. д.) объясняться нельзя; мягко потому, что Филофей, конечно, отлично понимает, что на уме-то у меня совсем другое слово было, да только не сказалось оно. Тем не менее слово произвело свой эффект: Машенька вдруг съежилась, Филофей отвратительно перекосил рот. Минуты на две разговор совершенно упал.

- - А какая сегодня погода отличнейшая! — первый прервал молчание Промптов,— мягкость какая, тишина-с!

— Да, давеча, как молотили, я выходила — очень было хорошо! — отозвалась Машенька.

— Для меня, как путешественника, в особенности такая погода приятна,— с своей стороны присовокупил и я.

— Да вот и в прошлом году погода...— начала было Машенька, но не кончила, слегка зевнула и потянулась.

Молчание.

— А сколько бы вы за чемезовскую землю получить желали? — вдруг обратился ко мне Промптов, словно бы его озарила новая мысль.

— Я ведь с крестьянами в соглашение войти желаю.

— Так-с. С крестьянами — на что лучше! Они — настоящие здешние обыватели, коренники-с. Им от земли и уйти некуда. Платежи вот с них... не очень-то, сударь, они надежны! А коли-ежели по христианству — это что и говорить! С богом, сударь! с богом-с! Впрочем, ежели бы почему-нибудь у вас не состоялось с крестьянами, просим иметь в виду-с.

Он боком повернул голову в мою сторону и любезно искривил рот в улыбку.

— Ах, что вы! — вступилась Машенька,— братцу ведь Осип Иваныч пять тысяч давал!

— Слышали и об этом-с. Впрочем, это в прошлом году Осип Иваныч такую цену давал, а нынче вряд ли. Пять тысяч — много денег-с!

— А по-вашему какая же будет цена?

— По-моему, три с половинкой, много четыре. Нет спору, есть в вашей даче местечки полезные, да покупатель ведь надвое рассчитывает: будут прибыли — мои; а убытки будут — тоже мои.

— Поэтому-то я и думаю, что с крестьянами все-таки прямее дело вести. Если и будет оттяжка в деньгах, все-таки я не более того потеряю, сколько потерял бы, уступив землю за четыре и даже за пять тысяч. А хозяева у земли между тем будут настоящие, те, которым она нужна, которые не перепродадут ее на спекуляцию, потому что, как вы сами сейчас же высказались, им и уйти от земли некуда.

— Что говорить! с крестьянами кончить — святое это дело!

Машенька опять зевнула и потянулась; било девять часов.

— Ну-с, а теперь пора тебе, Машенька, и покой дать! — сказал я, вставая и отыскивая шапку. Машенька как бы встревожилась.

— Братец! куда же? а ночевать? Я ведь надеялась, что и вечерок вместе приятно проведем! — молвила она, выражая глазками знакомую мне грусть ни об чем.

Но я уклонился и даже настоял, чтоб она не провожала меня в переднюю, что она и исполнила, слегка, разумеется, покобенившись. Одеваясь, я слышал, как она произнесла в зале:

— А Анисимушко сегодня Клинцы для меня приторговал!

Возвратившись в Чемезово, я сообщил Лукьянычу, что Промптов мне за землю четыре тысячи надавал. Он даже лопатками передернул, словно спина у него зачесалась от этого известия.

— Пронтов-то этот,— сказал он,— и с Марьей Петровной, прошлым летом, все по грибы в Филипцево да в Ковалиху ездили. Раз с пяток были.

— Ну?

— То-то. Чудно мне это тогда показалось. Чтой-то, думаю, наши грибы им полюбились! Своих рощей девать некуда, а они всё к нам да к нам. А они вон что!

— Да, похоже на то, что присматривались.

— Так вот что, сударь. Сегодня перед вечером я к мужичкам на сходку ходил. Порешили: как-никак, а кончить надо. Стало быть, завтра чем свет опять сходку — и совсем уж с ними порешить. Сразу чтобы. А то у нас, через этого самого Пронтова, и конца-краю разговорам не будет.

НЕПОЧТИТЕЛЬНЫЙ КОРОНАТ

Прошло лет шесть после того, как я в последний раз посетил родное Чемезово, и я совершенно утерял из вида Машеньку. Два раза, впрочем, она сама напоминала мне о себе. В первый раз уведомила о своем вступлении во вторичный законный брак с Филофеем Павлычем Промптовым, тем самым, которому она, еще будучи вдовою после первого мужа, приготовляла фонтанели на руки и налепляла пластырь на фистулу под левою скулой. Во второй раз писала об отъезде в Петербург двоих старших сыновей: Феогноста и Короната, для поступления в казенные заведения, и просила меня принять их в свое «родственное расположение». «Поручаю тебе, мой родной,— писала она,— моих двоих молодцов, коих и прошу принять в свое родственное расположение; я же, с своей стороны, им лично внушала, чтобы они как добронравным поведением, так и прилежанием, всемерно старались оное заслужить. Как мать и христианка, я так рассудила, чтобы каждый из них тот путь избрал, который всего вернее к счастию ведет. И так как Феогностушка — мальчик характера откровенного, то я и заключила из сего, что он ближе всего найдет свое счастие в кавалерии; Коронатушку же, как мальчика скрытного и осмотрительного, заблагорассудила пустить по юридистической части. Что же касается до Смарагдушки, то пускай он, по молодости лет, еще дома понежится, а впоследствии, ежели богу будет угодно, думаю пустить его по морской части, ибо он и теперь мастерски плавает и, сверх того, имеет большую наклонность к открытиям: на днях в таком месте белый гриб нашел, в каком никто ничего путного не находил» и т. п.

И действительно, вслед за вторым письмом явились ко мне Феогност и Коронат, шаркнули ножкой, поцеловали в плечико и в один голос просили принять их в свое родственное расположение, обещаясь, с своей стороны, добронравием и успехами в науках вполне оное заслужить. При этом я узнал от них, что они, по приезде в Петербург, поселились у какого-то отставного начальника отделения департамента податей и сборов, с которым еще покойный отец их, Савва Силыч Порфирьев, состоял в связях по откупным делам, и что этот же начальник отделения обязался брать их из «заведений» по праздникам к себе.

Однако ж племянники не баловали меня визитами. Феогностушка еще заходил по временам; придет, брякнет саблею, скажет: «а меня, дяденька, вчера чуть в карцер не посадили» — и убежит. Но Коронат приходил не больше двух-трех

раз в год, да и то с таким видом, как будто его задолго перед тем угнетала мысль: «И создал же господь бог родственников, которых нужно посещать!» Вообще это был молодой человек несообщительный и угрюмый; чем старше он становился, тем неуклюжее и неотесаннее делалась вся его фигура. Придет, бывало, сядет как-то особняком, закурит папиросу и молчит. Смотрит всегда исподлобья, иногда вдруг замурлычет или засмеется, словно хочет сказать что-то очень колкое, но ничего не выходит. К удивлению, я и с своей стороны чувствовал себя не совсем ловко в его присутствии. И угрюмое молчание, и отрывистые ответы, которые он давал на мои вопросы,— все явно показывало, что он тяготится присутствием в моем доме и что, будь он свободен, порог моей квартиры никогда не увидел бы ноги его. Сначала я думал, что он или неумен, или запуган, но впоследствии, по многим признакам, убедился, что отчужденность его обдуманная, сознательная. Очевидно, в голове этого юноши происходила какая-то своеобразная работа, но он считал ее настолько принадлежащею исключительно ему, что не имел ни малейшей охоты посвящать всякого встречного в ее тайны. А на меня он, по-видимому, именно смотрел как на «встречного», то есть как на человека, перед которым не стоит метать бисера, и если не говорил прямо, что насилует себя, поддерживая какие-то ненужные и для него непонятные родственные связи, то, во всяком случае, действовал так, что я не мог не понимать этого.

И вот в одно из воскресений (это было уже лет пять спустя после того, как он определился в заведение по «юридистической» части) Коронат пришел ко мне. На этот раз он явился еще загадочнее, нежели когда-либо. По обыкновению, отыскал дальний угол, сел и закурил папироску, но уже по тому, как дрожала его рука, зажигая спичку, я заключил, что он чем-то сильно взволнован. Некоторое время он молчал; но плечи его беспрестанно вздрагивали, и он то обращал ко мне свое лицо, как будто и решался и не решался что-то высказать, то опять начинал смотреть прямо, испытуя пространство. Наконец он вдруг выпалил:

— А я, дядя, в Медицинскую академию хочу!

— А школу как? побоку? — спросил я, несколько испуганный этим внезапным решением.

— Стало быть — побоку.

— Христос с тобой! что же за причина?

— Это было бы долго рассказывать, да притом и неинтересно для вас. Словом сказать — я решился.

Я был совсем озадачен. Меня всегда пугала та стремительность, с которою нынешние молодые люди принимают самые

радикальные решения и приводят их в исполнение. Придет молодой человек (родственники у меня между *ними* есть), скажет: «Прощайте! я завтра за границу удираю... совсем!» Думаешь, что он шутку шутит, ан, смотришь, и действительно завтра его след простыл! Или скажет: «Прощайте! я на днях туда нырну, откуда одна дорога: в то место, где Макар телят не гонял!» Опять думаешь, что он пошутил,— не тут-то было! сказал, что нырну, и нырнул; а через несколько месяцев, слышу, вынырнул, и именно в том месте, где Макар телят не гонял. Словом, исполнил в точности: стремительно, быстро, без колебаний. Я сначала полагал, что это у них *так* делается: ни с того ни с сего, взял да и удрал или нырнул; но потом убедился, что в них это мало-помалу накапливается. Мы, старцы сороковых годов, видим, как они молчат (при нас они действительно молчат, словно им и говорить с нами не о чем), и посмеиваемся: вот, мол, шалопаи! чай, женский вопрос, с точки зрения Фонарного переулка, разрешают! А они совсем не о том: у них просто в это время накапливается. Накопится, назреет, и вдруг бац! — удеру, нырну, исчезну... И как скажет, так и сделает.

И все-таки повторяю: как ни обыденна в нынешнее время эта внезапность решений, она всегда меня пугает. И странно, и жутко. Он, молодой-то человек, давно уж порешил, что ему *там* лучше — благороднее! — а нам, старцам, все думается: «Ах! да ведь он *там* погибнет!» И в нас вдруг просыпается при этом вся сумма того теплого, почти страстного соболезнования к гибнущему, которым вообще отличается сердобольная и не позабывшая принципов гуманности половина поколения сороковых годов. Сколько раз я, на свою долю, принимался и уговаривать, и отклонять — и все напрасно.

— Послушайте, молодой человек! — говорил я,— что вам за охота гибнуть?

— Это было бы слишком долго объяснять, да для вас ведь оно и неинтересно.

— Но отчего же! Если б с вами говорил человек равнодушный или зложелательный, перед которым вам было бы опасно душу открыть...

— Извольте-с. Если вы уж так хотите, то души своей хотя я перед вами и не открою, а на вопрос отвечу другим вопросом: если б вам, с одной стороны, предложили жить в сытости и довольстве, но с условием, чтоб вы не выходили из дома терпимости, а с другой стороны, предложили бы жить в нужде и не иметь постоянного ночлега, но все-таки оставаться на воле,— что бы вы выбрали?

Вопрос странный, почти необыкновенный; но тем не менее,

коль скоро он однажды стоит перед вами, то не ответить на него невозможно. Стараешься, разумеется, как-нибудь увильнуть, обратить дело в шутку, но ведь есть совопросники, с которыми даже шутить нельзя. «Отвечайте, сударь, прямо; не увертывайтесь, а прямо говорите: что бы вы выбрали, сытный ли дом терпимости или голодную свободу?» Ну и отвечаешь; отвечаешь, конечно, в таком смысле, чтобы самому себя лицом в грязь не ударить и аттестат себе хороший получить. Оно недурно, положим, в довольстве да в сытости пожить, да ведь дернула же нелегкая к хорошему-то житью дом терпимости пристегнуть. Дом терпимости! каково-с?!

— Стало быть, по-вашему, мы в доме терпимости живем? — попробуешь тоже ответить вопросом на вопрос.

— Стало быть-с.

— И следовательно, я, который...

— Следовательно-с.

И только. Ни отступления, ни раскаяния, ни даже самых общеупотребительных формул учтивости — ничего. Вот и старайся тут смягчать, да сглаживать, да компромиссы отыскивать! Что бы, например, стоило сказать: «Помилуйте! это я не об вас говорю!» или хоть так: «О присутствующих, дескать, не говорят и т. д.»,— нет, так-таки и прет: «Стало быть-с!» Ничем, даже простою, ничего не стоющею вежливостью поступиться не хочет! Посмотришь-посмотришь на эту необузданность, да и скажешь себе: «Нет, лучше с этими господами не разговаривать! Подальше от них — да-с! Пускай они сами, как знают, карьеру свою делают, а мы, старцы, карьеру свою уж сделали... да-с!»

А как бы покойно жить на свете, если б этой стремительности, этого самомнения не было! Шел бы всякий по своей части, один по кавалергардской, другой по юридической, третий по морской, а маменька Марья Петровна сидела бы в Березниках да умилялась бы, на деток глядючи! И сделался бы Коронатушка адвокатом, прослезился бы он в мясниковском деле и уж наверно упал бы в обморок по делу о поджоге овсянниковской мельницы. И был бы он малый с деньгами, обзавелся бы домком, женился бы и вечером, возвратясь из суда, говорил бы: «А я сегодня, душенька, Языкова подкузьмил: он — в обморок, а я, не будь глуп, да выкликать начал!» И вдруг, вместо всего этого,— хочу в Медицинскую академию!

— Ты бы, однако ж, прежде обдумал свое решение,— обратился я к Коронату после минутного молчания.

— Отчего же вы полагаете, что я не обдумал его?

— Ты, конечно, знаешь, что мать предназначила тебя не в медики, а по юридической части...

— А ежели бы она меня по танцевальной части предназначила?

— Позволь, душа моя! Как ни остроумно твое сближение, но ты очень хорошо знаешь, что юридическая часть и танцевальная — две вещи разные. Твоя мать, желая видеть в тебе юриста, совсем не имела в виду давать пищи твоему остроумию. Ты отлично понимаешь это.

— Но я еще лучше понимаю, что если б она пожелала видеть во мне танцмейстера, то это было бы много полезнее. Я отплясывал бы, но, по крайней мере, вреда никому бы не делал. А впрочем, дело не в том: я не буду ни танцмейстером, ни адвокатом, ни прокурором — это я уж решил. Я буду медиком; но для того, чтоб сделаться им, мне нужно пять лет учиться и в течение этого времени иметь хоть какие-нибудь средства, чтоб существовать. Вот по этому-то поводу я и пришел с вами переговорить.

— А мать знает о твоем намерении оставить школу?

— Знает.

— Что же она пишет?

— А вот прочтите.

Он вынул из кармана и подал мне письмо, в котором я прочитал следующее:

«Любезный сын Коронат! Намерение твое оставить юридическую часть и пойти по медицинской весьма меня удивило. Причину столь внезапного твоего предпочтения, впрочем, очень хорошо понимаю: ты и прежде сего был непочтительным сыном, и впредь таковым быть намерен. Ежели так, то пусть будет воля божия! Хотя нынче и в моде родителей не почитать, но я таковой моды не признаю, и правила мои на этот счет очень тверды. Я всегда была христианкой и матерью и всегда буду. Следовательно, ежели ты упорствуешь в непочтительности, то и я в своих правилах остаюсь непреклонною. И согласия моего на твою фантазию не изъявляю, а приказываю, как христианка и мать: продолжай по юридистической части идти, как тебе от меня и от бога сие предназначено. В противном же случае надейся на себя, а на меня не пеняй. За сим, да будет над тобой божие и мое благословение. Я же остаюсь навсегда неизменно тебя любящая —

Мария Пропитова».

— Это — ответ матери на мое письмо,— объяснил Коронат, когда я окончил чтение.— Я просил ее давать мне по триста рублей в год, покуда я не кончу академического курса.

После я обязуюсь от нее никакой помощи не требовать и, пожалуй, даже возвратить те полторы тысячи рублей, которые она употребит на мое содержание; но до тех пор мне нужно. То есть, коли хотите, я могу обойтись и без этих денег, но это может повредить моим занятиям.

Он остановился и взглянул на меня; я тоже глядел на него, волнуемый смутными подозрениями. Я знал, что Коронат не денег от меня хочет: на этот счет он всегда был очень брезглив. Один раз только, когда он был еще в первом классе, он прислал ко мне училищного сторожа с запиской: «для некоторого предприятия необходимо 60 копеек серебром, которые и прошу вручить подателю сего; я же при первом удобном случае возвращу». И возвратил. Но ежели ничто не угрожало моим капиталам, то явно, что существовало какое-то посягательство на мое спокойствие, что на меня возлагалась надежда, быть может, сопряженная с требованием вмешательства. А между тем идеал всей моей жизни именно в том и состоял, чтобы никогда ни во что не вмешиваться. Вмешательство! — при одном этом слове меня кидало в дрожь! Поди, разговаривай, выслушивай тупоумные возражения, старайся опровергнуть мысли, в которых даже ухватиться не за что,— сколько тут пошлого празднословия, мелочных уколов, дрязг, утомительной суетни! А я уж и стар, и устал. Состарелся — сам не знаю как; устал — сам не знаю отчего. Ах, лучше бы, во сто крат лучше бы, если бы он у меня денег попросил,— право, я с удовольствием пятьдесят, сто рублей отдал бы! Деньги — это, во-первых, не сопряжено ни с какими личными хлопотами: вынул из кармана, отсчитал — и пошел себе по Невскому щеголять; а во-вторых — это жертва, которую всякий оценить и сосчитать в состоянии. Давши деньги, можно, для облегчения сердца, кой-кому и пожаловаться. Вот, мол, самому были нужны, а бедный родственник пришел да и утащил из-под носа. Так нет же! не нужно ему, изволите видеть, денег, а поди хлопочи, переливай из пустого в порожнее, бей языком, расстроивай себе печень — и все ради того, чтоб в результате оказался пшик. Эх! сказано было: «Иди по юридической части — и иди! А если претит юридическая часть — ну, сам и устроивайся, а других не беспокой». Очень уж вы строги, господа, а между тем мало ли между юристами хороших людей! Да и не только между юристами — даже между шпионами бывают такие, которые возвышенную душу имеют. Я знал одного шпиона: придет, бывало, со службы домой, сядет за фортепьяно, начнет баллады Шопена разыгрывать, а слезы так и льются, так и льются из глаз. Душа у него так и тает, сердце томительно надрывается, всемогущая мировая скорбь

охватывает все существо, а уста бессознательно шепчут: «Подлец я! великий, неисправимый подлец!» И что ж, пройдет какой-нибудь час или два — смотришь, он и опять при исполнении обязанностей! Быстр, находчив, бодр, при случае глубокомыслен, при случае сострадателен, при случае шутлив. А потом — и опять Шопен, и опять слезы, томительные, сладкие слезы...

— Следовательно,— продолжал между тем Коронат,— если вы желаете мне быть полезным, то этого можно достигнуть следующим образом: вы съездите в Березники и убедите мать, чтоб она не глупила. Я желаю, чтоб вы меня поняли, почтеннейший дядюшка, я знаю, что вам мое предложение не может нравиться, но так как тут дело идет о том, чтоб вырвать человека из омута и дать ему возможность остаться честным, то полагаю, что можно и побеспокоить себя. Вы скажите матери, что я не больше пяти лет буду ей в тягость и что, по выходе из академии, не только не обращусь к ней за помощью, но, пожалуй, даже возвращу все ее траты на меня.

Я разинул было рот, чтоб вставить и мое слово в этот односторонний разговор, но он не дал мне.

— Вы поймите мое положение,— сказал он,— я и мать — мы смотрим в разные стороны; впрочем, об ней даже нельзя сказать, смотрит ли она куда-нибудь. А между тем все мое будущее от нее зависит. Ничего я покуда для себя не могу. Не могу, не могу, не могу... От одной этой мысли можно голову себе раздробить. Только нет, я своей головы не раздроблю... во всяком случае! Прощайте. Надеюсь, что я вас не стеснил.

Высказавши это, он встал, пожал мою руку и вышел из комнаты прежде, нежели я мог очнуться от изумления и что-нибудь возразить.

—

Не знаю, как это случилось, но через неделю я был уже в дороге, а еще через два дня — в том самом Чемезове, с которым я уже столько раз знакомил читателя.

Я остановился у Лукьяныча, который жил теперь в своем доме, на краю села, при самом тракте, на собственном участке земли, выговоренном при окончательной разделке с крестьянами. До сих пор я знал Лукьяныча исключительно как слугу. Приезжая в Чемезово лишь изредка и притом на самое короткое время, я останавливался в старом господском доме, куда являлся ко мне и Лукьяныч. Откуда он являлся, какое было его внеслужебное положение, мог ли он обладать какою-либо иною физиономией, кроме той, которую носил в качестве старосты, радел ли он где-нибудь самостоятельно, за *свой* счет,

в *своем* углу, за *своим* горшком щей, под *своими* образами, или же, строго придерживаясь идеала «слуги», только о том и сохнул, как бы барское добро соблюсти,— мне как-то никогда не приходило в голову поинтересоваться этим. Я знал смутно, что хотя он, в моем присутствии, ютился где-то в подвальном этаже барского дома, но что у него все-таки есть на селе дом, жена и семья; что два сына его постоянно живут в Москве по фруктовой части и что при нем находятся только внучата да бабы, жены сыновей, при помощи которых и справляется его хозяйство. Теперь я увидел его полным хозяином и самостоятельным устроителем собственного муравейника, каждый член которого, по мере сил, трудился на пользу общую. Он купил у крестьян на снос всю барскую стройку, половину продал, а из другой выбрал материал покрепче и выстроил себе просторную избу. В одной половине жил сам с семьей, а в другую пускал проезжих извозчиков — благо тракт был довольно оживленный.

Постарел он за эти восемь лет достаточно, но все еще был крепок, вполне сохранил зрение и память и только на ноги жаловался, что к погоде мозжат.

— Это я их, должно быть, в те поры простудил, как в первый холерный год рекрутов в губернию сдавать ездил,— рассказывал он.— Схватили их тогда наскори, сейчас же в кандалы нарядили — и айда в дорогу! Я было за сапожишками домой побежал, а маменька ваша, царство небесное, увидела в окошко да и поманила: это, мол, что еще за щеголь выискался — и в валенках будешь хорош! Ан тут, как на грех, оттепель да слякоть пошла — ну, и схватил, должно полагать.

Принял он меня добродушно, почти с радостью, но когда показывал свой дом, то как будто сконфузился. Вероятно, думал: увидит барин, какую Лукьяныч махину соорудил, скажет: «Эге! стало быть, хорошо старостой-то служить!» Представил мне всю семью, от старшего сына, которого незадолго перед тем из Москвы выписал, до мелконького-мелконького внучка Фомушки, ползавшего по полу на карачках. Полюбопытствовал я на старое пепелище сходить — сводил и туда. На месте господского дома стояли бугры и глубокие ямы, наполненные осколками кирпича и штукатурки; поверх мусора густою стеной разрослась крапива, а по местам пробивались молодые березки. Но старого сада покуда еще не тронули; по-прежнему был он полон прохлады и сумерек; по-прежнему старые дуплистые липы и березы задумчиво помавали в вышине всклокоченными вершинами; по-прежнему волною неслись отовсюду запахи и прозрачною, душистою массою стояли в воздухе.

— Ишь парки-то! — молвил Лукьяныч, когда я, охваченный волнами прошлого, невольно остановился посреди одной из аллей.— Дерунов мужичкам тысячу рублей сулил, чтоб на дрова срубить, однако мужички согласия не дали. Разве что после будет, а покуда у нас здесь девки по воскресеньям хороводы водят... гулянье! Так и в приговоре написали.

Поговоривши о делах, потревоживши старину, спросил я Лукьяныча и о Промптовых; но, к величайшей неожиданности, вести были очень неутешительные.

— Совсем нынче Марья Петровна бога забыла,— сказал мне Лукьяныч,— прежде хоть землей торговала, все не так было зазорно, а нынче уж кабаками торговать начала. Восемь кабаков на окру́ге под чужими именами держит; а сколько она через это крестьянам обиды делает — кажется, никакими слезами ей того не замолить!

— Да ведь крестьяне — не маленькие, голубчик. Неужто ж стоит только кабак поставить, чтобы вся деревня так и разорилась дотла! Не ходи в кабак! не пей!

— Это что и говорить! чего лучше, коли совсем не пить! только ведь мужику время провести хочется. Книжек мы не читаем, местов таких, где бы без вина посидеть можно, у нас нет,— оттого и идут в кабак. А попал туда раз — и в другой придешь. Дома-то у мужика стены голые, у другого и печка-то к вечеру выстыла, а в кабак он придет — там и светло, и тепло, и людно, и хозяин ласковый — таково весело косушечками постукивает. Ну, и выходит, что хоть мы и не маленькие, а в нашем сословии одно что-нибудь: либо в кабак иди, либо, ежели себя соблюсти хочешь, запрись дома да и сиди в четырех стенах, словно чумной.

— Помнится, старостой-то ты не так говорил?

— Начальником был, усердие имел — ну, и говорил другое. Оброки сбирал: к одному придешь — денег нет, к другому придешь — хоть шаром на дворе покати! А барин с теплых вод пишет: «Вынь да положь!» Ходишь-ходишь — и скажешь грехом: «Ах, волк вас задави! своего барина, мерзавцы, на кабак променяли!» Ну, а теперь сам мужиком сделался.

— Да ведь ты сам-то не пьешь?

— Отроду не пивал. Так ведь я не то чтобы за грех почитал, а настращан уж очень: мужик, мол, ты, а коли мужик пить начал — так тут ему и капут. Ну, и боишься. А отчего же в других сословиях бывает, что и пьют, а себя все-таки помнят? И Степан у меня покуда в кабак никогда ноги не ставил, только вот что я вам скажу: выписал я его из Москвы, а теперь вижу, что ему скучненько у нас. День-то еще нешто́, словно бы и дело делаешь: в анбар заглянешь, за ворота вый-

дешь, на дорогу поглядишь, а вечер наступит — и пошел сон долить. Ты зевнул, за тобой другой, третий зевнул — смотришь, ан и вся семья зазевала.

— А как Машенька с новым мужем живет? согласно?

— Да не слыхать ни́што. Видится, как будто она в доме-то головой. Он все председателем в управе состоит, больше в городе живет, а она здесь распоряжается. Нынче, впрочем, у них не очень здорово. Несчастья пошли. Сначала-то сын старшенький изобидел...

— Как так?

— Долгов, слышь, наделал. Какой-то мадаме две тысячи задолжал да фруктовщику тысячу. Уж приятель какой-то покойного Саввы Силыча из Петербурга написал: скорее деньги присылайте, не то из заведения выключат. Марья-то Петровна три дня словно безумная ходила, все шептала: «Три тысячи! три тысячи! три тысячи!» Она трех-то тысяч здесь в год не проживет, а он, поди, в одну минуту эти три тысячи матери в шею наколотил!

— Чем же они решили?

— Было тут всего. И молебны служили, и к покойному Савве Силычу на могилку ездили. Филофей-то Павлыч все просил, чтоб она его прокляла, однако она не согласилась: любимчик! Думала-думала и кончила тем, что у Дерунова выкупное свидетельство разменяла, да и выслала денежки на уплату мадаме.

— Ну, а еще что у них случилось?

— А потом, вскоре, дочка с судебным следователем сбежала — тоже любимочка была. И тут дым коромыслом у них пошел; хотела было Марья Петровна и к губернатору-то на суд ехать и прошение подавать, да ночью ей, слышь, видение было: Савва Силыч, сказывают, явился, простить приказал. Ну, простила, теперь друг к дружке в гости ездят.

— Так что теперь Машенька одна с мужем живет?

— Одна, и муж-то почти никогда дома не бывает. Еще больше в кабаки ударилась: усчитывает да усчитывает своих поверенных. Непонятлива уж очень: то копейки не найдет, то целого рубля не видит. Из-за самых пустяков по целым часам человека тиранит!

На другой день, утром рано, я отправился в Березники. Из полученных сведений я не мог вывести никакого заключения относительно будущности, ожидающей предпринятое мною дело, и потому старался припомнить себе нравственный образ кузины Машеньки. Но ничего ясного, отчетливого составить себе не мог. Что-то недоделанное, обрывочное, в высшей степени противоречивое мелькало у меня перед глазами. Женщи-

на с ребяческими мыслями в голове и с пошло-старческими словами на языке; женщина, пораженная недугом институтской мечтательности и вместе с тем по уши потонувшая в мелочах самой скаредной обыденной жизни; женщина, снедаемая неутолимою жаждой приобретения и, в то же время, считающая не иначе, как по пальцам; женщина, у которой с первым ударом колокола к «достойной» выступают на глазах слезки и кончик носа неизменно краснеет и которая, во время проскомидии, считает вполне дозволенным думать: «А что, кабы у крестьян пустошь Клинцы перебить, да потом им же перепродать?..» Зачем? ну, зачем я приехал?!

Признаюсь откровенно: давно я не чувствовал себя так неприятно, как в ту минуту, когда Березники, залитые в лучах июльского солнца, открылись перед моими глазами.

Березники смотрели так же солидно и запасливо, как и в последнее мое посещение. Но ни около служб, ни около дома никого не было видно: по случаю рабочей поры всякий был около своего дела. На крыльце меня встретила лохматая и босая девчонка в затрапезном платье (Машенька особенно старалась сохранить за своею усадьбой характер крепостного права и потому держала на своих хлебах почти весь женский штат прежней барской прислуги) и торопливо объявила, что Филофей Павлыч в город уехали, а Марья Петровна в поле ушли. Впрочем, она тут же опрометью бросилась через двор, вероятно, за барыней, так что я уже собственною властью вошел сначала в переднюю, а потом и в комнаты. В зале было жарко и душно, как на полке́ в бане; на полу, на разостланном холсте, сушился розовый лист и липовый цвет; на окнах, на самом солнечном припеке, стояли бутылки, до горлышка набитые ягодами и налитые какою-то жидкостью; мухи мириадами кружились в лучах солнца и как-то неистово гудели около потолка; где-то в окне бился слепень; вдали, в перспективе, виднелась остановившаяся кошка с птицей в зубах. В гостиной было прохладнее, благодаря отворенной двери на балкон, защищенный навесом. Тут я и остался, в ожидании хозяйки.

Минуты ожидания длились довольно томительно. Сначала где-то вдали хлопнула дверь — и все смолкло. Потом кто-то стремглав пробежал по коридору — и опять воцарилось безмолвие минут на десять. Наконец, вдруг все двери точно сорвались с петель, словно волна какая-то шла; началось всеобщее хлопанье и угорелая беготня, послышались голоса, то громкие, то осторожные, отдававшие различные приказания.

— Галантир из телячьей головки приготовить не забудь! — раздавалось где-то.

— Яиц-то! Яиц на пирожное повару выдайте! — кричал кому-то вдогонку чей-то голос.

Машенька изменилась необыкновенно. Эта маленькая головка, эти мелкие черты лица, эта миниатюрная фигурка с легким, почти воздушным станом — все это сморщилось, съежилось, свернулось в комочек. Глаза ввалились и, вместо прежней грусти ни об чем, выражали простую тусклость; кожа на щеках и на лбу отливала желтизною; нос вытянулся, губы выцвели, подбородок заострился; в темных волосах прокрадывались серебристые змейки. Взамен того, корпус отяжелел и обнаруживал явную наклонность сделаться совсем шарообразным. Увидевши меня, она сначала как бы удивилась, но сейчас же оправилась и протянула мне обе руки.

— Ах, мой родной! Кто бы мог думать! — восклицала она, обнимая меня,— ведь эта глупая Анютка сказала, что новый становой приехал — ну, я и не тороплюсь! А это — вот кто! вот неожиданность-то! вот радость! И Филофей Павлыч... вот удивится-то! вот-то будет рад!

— Мне сказали, что он в городе...

— Будет, мой друг, к обеду, непременно будет. И Нонночка с мужем — все вместе приедут. Чай, ты уж слышал: ведь я дочку-то замуж выдала! а какой человек... преотличнейший! В следователях служит у нас в уезде, на днях целую шайку подмётчиков изловил! Вот радость-то будет! Ах, ты родной мой, родной!

Как ни порывисты были эти восклицания радости, но на меня уже они не производили прежнего действия. Мне слышалась в них только дань тем традициям родственности, которые предписывают во что бы то ни стало встречать «доброго родного» шумными изъявлениями радостного празднословия. Это — такой же бессодержательный обычай, такое же лганье, как и причитание по покойнике. И прежде, вероятно, она лгала, и теперь лжет. Только прежде у нее полненькие щечки были — выходило мило, а теперь щечки съежились — выходит противно. Очень возможно, что она и сама не сознаёт своего лганья, но я уверен, что если б она в эту минуту порылась в тайниках своей души, то нашла бы там не родственное ликование, а очень простую и совершенно естественную мысль: «Вот, мол, принесла нелегкая «гостя»... в рабочую пору!»

Тем не менее она усадила меня на диван перед неизбежным овальным столом, по бокам которого, по преданию всех старинных помещичьих домов, были симметрически поставлены кресла; усадивши, обеспокоилась, достаточно ли покойно

мне сидеть, подложила мне под руку подушку и даже выдвинула из-под дивана скамейку и заставила меня положить на нее ноги.

— За делом, что ли, за каким приехал, или так? — спросила она меня, когда кончились первые излияния, в которых главную роль играли пожимания рук, оглядывания и восклицания: «Ах, как постарел!» или: «Ах, как поседел!» — за которыми, впрочем, сейчас же следовало: «Что ж я, однако ж: совсем не постарел! какой был, такой и остался... даже удивительно!»

— Нет, не за делом,— ответил я,— а именно «так».

— Ну, и слава богу! на старинное пепелище посмотришь, могилкам поклонишься, родным воздухом подышишь — все-таки освежишься! Чай, у Лукьяныча во дворце остановился? да, дворец он себе нынче выстроил! тесно в избе показалось, помещиком жить захотел... Ах, мой друг!

Это было высказано не без ехидства, но не потому, чтобы она питала к Лукьянычу какое-нибудь зло, а просто «так». Как, мол, это мужик себе «дворец» выстроил — чтой-то уж больно чудно!

Начались расспросы, хорошо ли живется, здоровье паче всего в исправности ли, продолжаю ли я по сатирической части писать и т. д.

— А я, мой друг, так-таки и не читала ничего твоего. Показывал мне прошлою зимой Филофей Павлыч в ведомостях объявление, что книга твоя продается,— ну, и сбиралась всё выписать, даже деньги отложила. А потом, за тем да за сем — и пошло дело в длинный ящик! Уж извини, Христа ради, сама знаю, что не по-родственному это, да уж...

— Помилуй, при чем же тут родство? — времени у тебя, вероятно, нет — вот и все.

— Ах! времени-то нет — это так; это ты правду сказал. Так мало, так мало у меня времени, что если бы, кажется, сорок восемь часов в сутках было, и тех бы недостало, чтобы все дела переделать. А впрочем, ты не думай, чтобы я совсем не интересовалась тобой. Всякий раз, как детям пишу, всегда об тебе спрашиваю. Ну, Коронат — тот молчит, а Феогностушка частенько-таки об тебе уведомляет. Ах, как ты, однако ж, постарел! и в особенности поседел! так поседел! так поседел! Постой-ка, я поближе на тебя посмотрю... А что ж, впрочем... нет! какой в последний раз приезжал, таким и теперь остался! Право-ну, ни на волос не переменился!

— Да что же ты все обо мне; ты лучше о себе расскажи! — откликнулся я, когда она уж достаточно повертела меня во все стороны.

— Что же я могу тебе о себе сказать! Моя жизнь — все равно что озеро в лесу: ни зыби, ни ряби, тихо, уединенно, бесшумно, только небо сверху смотрится. Конечно, нельзя, чтоб совсем без забот. Хоть и в забытом углу живем, а все-таки приходится и об себе, и о других хлопотать.

— И ты счастлива?

Я очень хорошо заметил, что при этом вопросе ее нос слегка вздрогнул; но, по-видимому, она сейчас же вспомнила, что, по кодексу родственных приличий, никогда не следует упускать случая для лганья,— и поправилась.

— Откровенно тебе скажу: очень я, мой друг, счастлива! — лгала она,— так счастлива! так счастлива, что и не знаю, как бога благодарить! Вот хоть бы Нонночка — никогда я худого слова от нее не слыхала! Опять и муж у нее... так ласков! так ласков!

Сказавши это, она быстро кинула на меня испытующий взгляд, не слыхал ли, мол, чего, но, должно быть, ничего не прочитала на моем лице и успокоилась.

— Вот и Феогностушка тоже — так меня радует! — продолжала она лгать,— ни грубого слова, ни претензии — никогда! Ласковый мальчик! откровенный! А ежели иногда, по молодости лет, и впадет в ошибку (она бросила на меня новый испытующий взгляд) — ну, сейчас же и поправится: «Виноват, маменька!» И обезоружит. Ах, мой друг! великая эта милость божия, коли дети родителей почитают! Почтением да лаской — только ведь этим и держится свет! Ежели дети родителей почитают, то и родители, с своей стороны... Вот Коронат — ну, про этого... А впрочем, грех мне роптать, друг мой. Всем господь свой крест посылает, ну и мне, стало быть...

Она задумалась и сомнительно покачала головой.

— Что ж, и Коронат, кажется,— хороший молодой человек! — счел долгом вступиться я.

— Как бы тебе сказать, голубчик! Для других, может быть, и хорош, а для меня... Не знаю! не вижу я от него ласки! не вижу!

— Тебе бы всё ласки! а ты пойми, что у людей разные темпераменты бывают. Один любит приласкаться, маменькину ручку поцеловать, а другому это просто в голову не приходит. Коронат скромен, учится хорошо, жалоб на него нет; мне кажется, что больше ты и требовать от него не вправе.

— Ну, а мне уж позволь *свое* мнение об этом иметь.

— Имей сколько угодно, но только не забудь: если ты будешь избегать поверки этого *«мнения»*, как теперь, например, то скоро из мнения у тебя вырастет *предубеждение*...

— Нет уж... Хоть ты и родной мне и я привыкла мнения родных уважать... Впрочем, это — уж не первый у нас разговор: ты всегда защитником Короната был. Помнишь, в последний твой приезд? Я его без пирожного оставить хотела, а ты выпросил!

— Помню, помню; ты и тогда уж Короната в категорию «непочтительных» записала!

Я взглянул на нее: лицо ее глядело совершенно спокойно; но что-то, не то чтобы злое, а глупо-непоколебимое сквозило сквозь это спокойствие. Как будто бы она говорила: «Как ты там ни ораторствуй, а у меня «свои правила» есть». Это бывает особенно с женщинами, ибо они вообще как-то охотнее, нежели мужчины, составляют себе «правила». Иная, во всю свою молодость, только и слышала: «Ах, миленькая! как к ней это платьице идет!» — смотришь, ан она из этого какие-то «правила» вывела! Потом выйдет замуж, сначала попадет в школу прописей под начальством какого-нибудь Саввы Силыча, затем перейдет в другую школу прописей под фирмою Филофея Павлыча — смотришь, и опять у ней «правила». И так она за эти «правила» держится, что, словно львица разъяренная, готова всякому горло зубами перервать и кровь выпить, кто к ним без сноровки подойдет!

Главное свойство этих «правил» — отсутствие всяких правил и полная невозможность отделить от шелухи ту руководящую мысль, которая послужила для них основанием. Это — какая-то неуловимая путаница, в которой ни за что ухватиться нельзя; но потому-то именно она и обладает своего рода неприступностью. Заберется «миленькая» в эту своеобразную крепость, и никак ее оттуда не вытащишь. И на убеждения, и даже на прямые опровержения жизни — на всё будет говорить: «У меня свои «правила» есть». Единственное средство пролезть в эту крепость — это начать *уговаривать* «миленькую», то есть взять ее за руки, посадить поближе к себе и гладить по спинке, как лошадку с норовом: «Тпру, милая, тпру! но-но-но-но!» Оглаживаешь, оглаживаешь — и видишь, как постепенно начинают «правила» таять. Тают, тают, и вдруг образуются новые «правила», иногда те самые, каких нужно, а иногда и другие, совсем неожиданные...

Лет восемь тому назад я непременно употребил бы это средство в отношении к Машеньке, но теперь, ввиду изменений, которые произошли в ее внешности, оно показалось мне несколько рискованным. Во всяком случае, я решился прибегнуть к нему лишь в крайности.

— А я... много я переменилась, братец? — спросила она меня, словно угадывая часть моих мыслей.

— Нет... ничего! Как была восемь лет тому назад, так и теперь... ничего! — солгал я «по-родственному».

— Ну, уж, чай, где ничего! Состарелась я, голубчик, вот только духом еще бодра, а тело... А впрочем, и то сказать! Об красоте ли в моем положении думать (она вздохнула)! Живу здесь в углу, никого не вижу. Прежде хоть Нонночка была, для нее одевалась, а теперь и одеваться не для кого.

— Ты бы в Петербург на зиму приехала; на детей бы посмотрела.

— И, что ты! в Петербург! Я и от людей-то отвыкла. Право. Месяца с два тому назад вице-губернатор наш уезд ревизовал, так Филофей Павлыч его обедать сюда пригласил. Что ж бы ты думал? Спрашивает он меня за обедом... ну, одним словом, разговаривает, а я, как солдат, вскочила, это, из-за стола: «Точно так, ваше превосходительство!..» Совсем-таки светское обращение потеряла.

— Поживешь месяц-другой в Петербурге — опять привыкнешь.

— Поздно, друг мой; в Покров мне уж сорок три будет. Я вот в шесть часов вставать привыкла, а у вас, в Петербурге, и извозчики раньше девяти не выезжают. Что ж я с своею привычкой-то делать буду? сидеть да глазами хлопать! Нет уж! надо и здесь кому-нибудь хлопотать: дети ведь у меня. Ах, детки, детки!

— Что ж «детки»! Детки и без тебя дорогу найдут, нечего уж очень-то убиваться об них. Вот, например, Коронат: ну, могу тебя уверить, что он...

— Ах, братец! ты все об нем!

— Отчего же и не говорить об «нем»? Скажи на милость, разве он чем-нибудь тебя огорчил, что ты как будто им недовольна?

— Нет, ничего... Заварилась было у нас каша на днях, ну, да ведь я...

— А что̀ именно?

— Нет, так... Я уж ему ответила. Умнее матери хочет быть... Однако это еще бабушка надвое сказала... да! А впрочем, и я хороша; тебя прошу не говорить об нем, а сама твержу: «Коронат да Коронат!» Будем-ка лучше об себе говорить. Вот я сперва закуску велю подать, а потом и поговорим; да и наши, того гляди, подъедут. И преприятно денек вместе проведем!

Подали завтрак, сели, но об себе как-то не говорилось. Это довольно часто случается с людьми, которые когда-то были близки, потом надолго расстались, потом опять свиделись. И вдруг оказывается, что не только им не об чем говорить, но

что они даже положительно в тягость друг другу. Мы хотя и не совсем были в таком положении, но все-таки ощущали томительную неловкость. Обыкновенно в таких случаях прибегают к воспоминаниям, как к такой нейтральной почве, на которой всего легче выйти из затруднения, но мне как-то и вспоминать не хотелось. Напрасно Машенька заговаривала, указывая то на липовый круг, то на лужайку, обсаженную березами: «Помнишь, как мы тут игрывали?» Или: «Помнишь, как в папенькины именины покойница Каролина Федоровна (это была гувернантка Маши) под вон теми березами группу из нас устроила: меня посредине с гирляндой из розанов поставила, а ты и братец Владимир Иваныч — где он теперь? кажется, в Москве, в адвокатах служит? — в виде ангелов, в васильковых венках, по бокам стояли? Ах, времечко, времечко!» Я отвечал на эти напоминания односложными словами и с явною неохотой. И разговор, наверное, упал бы совсем, если б я не решился вновь поворотить его на тот предмет, который собственно и составлял цель моей поездки.

— Послушай,— сказал я,— я должен сознаться перед тобой, что приехал сюда, собственно, по желанию Короната.

При этих словах она несколько побледнела, и сухая улыбка скользнула на ее губах.

— По желанию Короната? — повторила она,— вот как! стало быть, Коронат в тебе адвоката нашел!

— Да, он просил меня. Он желал, чтоб я лично тебе подтвердил, что он хочет оставить школу и поступить в Медицинскую академию.

— Хочет!.. как-то это для меня странно... хочет! Помнишь, мы в эти года не смели хотеть, а дожидались, как старшие захотят!

— Дело не в выражениях, мой друг, и прошу тебя, ты меня на словах не лови. Если тебе не нравится слово «хочет»...

— И откровенно тебе скажу: даже очень, очень не нравится... Так как-то пòшло уж слишком!

— Не он это слово сказал, а я; следовательно, ты можешь его заменить другим: «желал бы», «предполагал бы», «осмеливался бы думать» — словом сказать, выразиться, как тебе самой кажется почтительнее. Итак, к делу. Он писал тебе о своем желании и получил от тебя двусмысленный ответ...

— Вот уж не двусмысленный! Напротив того, я даже слишком ясно ответила, что никаких перемещений не хочу... не то что «не желаю», а именно «не хочу»! Не хочу, не хочу и не хочу!

— Но ежели *он* желает этого? Если он в этом перемещении видит для себя пользу?

— Ах, боже мой! Если *он* желает! если *он* для себя видит пользу! Что ж! с богом! Нечего у матери и спрашиваться... если *он* желает!

Она улыбалась и даже слегка подсмеивалась; но уж не просто сухость, а злорадство откликнулось в этом смехе. Злорадство, и какое-то торжествующе-идиотское: хоть кол на голове теши!

— И прекрасно, что ты не препятствуешь; мы примем это к сведению. Но вопрос не в этом одном. Ему необходимо существовать в течение пяти лет академического курса, и ежели он, ради насущного труда, должен будет уделять добрую часть времени постороннему труду, то это несомненно повредит его учебным занятиям... ты понимаешь меня?

— Не понимаю... нет, ничего я не понимаю! Как это труд может повредить занятию?!

— Очень просто. Вот ты своим хозяйством занимаешься, а предположи, что необходимость заставляла бы тебя, в то же время, уроки танцеванья давать; ведь хозяйство твое потерпело бы от этого, не так ли?

— Уроки танцеванья, хозяйство... воля твоя, ничего я тут не понимаю, мой друг!

— Одним словом, необходимо, чтобы ты, в течение пяти лет, оказывала ему помощь.

— Ну, это... статья особенная!

— То есть, как же... ты отказываешь ему?

— Ничего я не «отказываю», мой друг, а только так говорю: особенная это статья.

— Но ведь ты тратишься же на него теперь? ты даешь ему денег на лакомство, ты платишь за него тому господину, который берет его к себе по праздникам?

— Да, покуда он волю родительскую чтит.

— Но что же ты имеешь против его намерения?

— Ничего я не имею, а вообще... Что ж, коли хочет по медицинской части идти — пусть идет, я препятствовать не могу! Может быть, он и счастье себе там найдет; может быть, сам бог ему невидимо на эту дорогу указывает! Только уж...

— Так помоги ему!

— Ну, это... особенная статья.

— А почему же?

— А почему... потому...

Машенька окончательно заволновалась и долго бормотала что-то, словно не могла совладеть с своими мыслями. Наконец она, однако ж, кой-как собрала их.

— Уж коли ты хочешь непременно знать почему,— сказа-

ла она, возвышая голос,— так вот почему: правила у меня есть!

— Какие же это правила?

— А такие правила, что дети должны почитать родителей,— вот какие!

— В чем же, однако, выразилась непочтительность Короната?

— И ежели родители что желают, то дети должны повиноваться и не фантазировать! — продолжала Машенька, не слушая меня,— да, есть такие правила! есть! И правительству эти правила известны, и всем! и никому эти правила пощады не дадут — не только детям... непочтительным, но и потаковщикам их!

— Так ты, значит, и меня... по-родственному?

— Нет, я не про тебя, а вообще... И бог непочтительным детям потачки не дает! Вот Хам: что ему было за то, что отца родного осудил! И до сих пор хамское-то племя... только недавно милость им дана!

— Но ежели ты так верно знаешь, что бог непочтительных детей наказывает, то пусть он и накажет Короната! Предоставь это дело богу, а сама жди и не вмешивайся!

Слова эти окончательно раздражили ее, так что она почти хриплым голосом кинула мне в ответ:

— Ах, мой родной! уж извини ты меня! не училась ведь я кощунствовать-то!

— Тут и нет кощунства. Я хочу сказать только, что если ты вмешиваешь бога в свои дела, то тебе следует сидеть смирно и дожидаться результатов этого вмешательства. Но все это, впрочем, к делу не относится, и, право, мы сделаем лучше, если возвратимся к прерванному разговору. Скажи, пожалуйста, с чего тебе пришла в голову идея, что Коронат непременно должен быть юристом?

— Стало быть, пришла... если так вздумалось!

— Вот видишь: тебе «вздумалось», а Коронат, по твоему мнению, не имеет права быть даже сознательно убежденным! Ведь ему, конечно, ближе известно, какая профессия для него более привлекательна.

— Хороша привлекательность... собак потрошить!

— В этом ли привлекательность или в чем-нибудь другом — это вопрос особый. Важно тут убеждение, на каком поприще можешь наибольшую сумму пользы принести.

— Однако! по-твоему, значит, дети умнее родителей стали! Что ж, по нынешнему времени — пожалуй!

— Оставь, сделай милость, нынешнее время в покое. Сколько бы мы с тобой об нем ни судачили — нам его не пере-

менить. Что же касается до того, кто умнее и кто глупее, то, по мнению моему, всякий «умнее» там, где может судить и действовать с бо́льшим знанием дела. Вот почему я и полагаю, что в настоящем случае Коронат — *умнее*. Ведь правда? ведь не можешь же ты не понимать, что поднятый им вопрос гораздо ближе касается его, нежели тебя?

Я взглянул на нее в ожидании ответа: лицо ее было словно каменное, без всякого выражения; глаза смотрели в сторону; ни один мускул не шевелился; только нога судорожно отбивала такт.

— Скажи же что-нибудь! Ну «да̀» — не правда ли, «да»? — настаивал я.

— Как христианка и как мать... не могу, мой друг! — отвечала она, постукивая в такт ножкой с тою неумолимо-наглою непреклонностью, которая составляет удел глупца, сознающего себя силой.

Я понимал, что мне нужно замолчать; но темперамент требовал, чтоб я сделал еще попытку.

— Вспомни,— сказал я,— что ты одной минутой легкомыслия можешь испортить жизнь своего сына!

— Нет уж...

— Помни, что Коронат все-таки выполнит свое намерение, что упорство твое, в сущности, ничего не изменит, что оно только введет в существование твоего сына элемент нужды и что это несомненно раздражит его характер и отзовется на всей его дальнейшей жизни!

— Нет уж...

— Машенька! наконец, не Коронат, а я, я, я прошу тебя изменить свое решение!

— Нет уж...

— Слушай же ты, однако ж...

Я остановился вовремя. Но она, должно быть, сама заметила, что отвечала мне не «по-родственному», и потому поспешила прибавить:

— Я хочу сказать, что правила мои не дозволяют...

— Чего не дозволяют?

— Ну... сделать... или, как это... уступить... Господи, боже мой! да что же это за несчастие на меня! Я так всегда тебя уважала, да и ты всегда со мной «по-родственному» был... и вдруг такой разговор! Право, хоть бы наши поскорее приехали, а то ты меня точно в плен взял!

— Так это — твое последнее слово?

— Какое же... «слово»! Никакого «слова» я не говорила... ах, право, какой ты! Я только об «правилах» своих говорю, а он сейчас: «слово»!

Предмет моей поездки в несколько минут был исчерпан сполна. Мне оставалось только возвратиться в Чемезово, но какая-то смутная надежда на Филофея Павлыча, на Нонночку удерживала меня. Покуда я колебался, звон бубенцов раздался на дворе, и, вслед за тем, целая ватага влетела в переднюю.

— А вот и наши приехали! — весело воскликнула Машенька, поднимаясь навстречу приезжим.

Филофей Павлыч сделался как-то еще крупнее прежнего: по-видимому, земские хлебы пошли ему впрок. Но грации от этого в нем не убавилось, той своеобразно-семинарской грации, которая выражалась в том, что он, во время разговора, в знак сочувствия, поматывал направо и налево головой, устроивал рот сердечком, когда хотел что-нибудь сказать приятное, и приближался к лицам женского пола не иначе, как бочком и семеня ножками. Фистула по-прежнему красовалась под левою его скулой и точно так же была залеплена черным тафтяным кружком; на лбу возвышался кок, и виски были зачесаны по направлению глаз, словно приклеены. Он молодился, одет был в щеголеватый светло-серый костюм и относился к жене с предупредительностью маркиза с подмостков Александринского театра. Вообще он был игрив и играл в доме роль не деспота, а скорее избалованного молодого человека.

Нонночка нимало не походила на мать. Это была рыхлая и вальяжная молодая особа с очень круглыми чертами лица, с чувственным выражением в больших серых глазах навыкате, с узеньким придавленным лбом, как у негритянки, с толстым носом, пухлыми губами, высокою грудью и роскошною косой. Наружный тип Саввы Силыча воплотился в ней вполне, но так как воспитание было дано ей «неженное», то есть глупое, то внутренний тип выработался свой, не похожий ни на отца, ни на мать. По всем признакам, это была личность ленивая, праздная и чувственная, которую могли занимать только сплетни, еда и супружеские ласки. К близким она относилась капризно, к мужу — как-то пошло-любовно. Беспрестанно присасывала она к его губам свои пухлые губы (у Машеньки всегда в этих случаях даже белки глаз краснели), и лицо ее при этом принимало то плотоядно-страдальческое выражение, которое можно подметить только у очень чувственных женщин. Ни чтение, ни так называемые talents de société [1], ни даже наряды — ничто не занимало ее. Одета она была слишком неряшливо для «молодой», и я без труда счел несколько пятен

[1] светские таланты (развлекать и быть душой общества).

на ее платье, которое вообще чересчур уж широко сидело на ней.

Муж ее, Павел Федорыч Добрецов, один из птенцов той школы, которая снабжает всю Россию героями судоговорения,— молодой человек, небольшого роста, очень проворный, ходкий и с чрезвычайными претензиями на деловитость и проницательность. Едва три года, как он кончил курс,— и уже уловлял вселенную в качестве судебного следователя. Маленькие глаза его как-то пытливо перебегали с одного предмета на другой, как будто хотели отыскать поличное; но я не думаю, чтоб это было в нем прирожденное ехидство, а скорее результат похвал и начальственных поощрений. Очень часто молодые люди сначала только роль играют, а потом втягиваются и получают дурные привычки. На меня подобные люди, всегда что-то высматривающие и поднюхивающие, к чему-то прислушивающиеся, производят неприятное впечатление. Все кажется, будто вот-вот у меня сейчас кошелек из кармана исчезнет. Конечно, я первый очень хорошо понимаю, что подозрение мое неосновательное, но переломить невольного чувства все-таки не могу. Не кошелек, так другое что-нибудь,— а непременно он у меня вытянет! думается мне. Может быть, он в душе моей покопаться хочет, что-нибудь оттудова унести, ради иллюстрации в искренней беседе с начальством... Много, ах, много нынче таких молодых людей развелось! и глазки бегают, и носик вздрагивает, и ушки на макушке — всё ради того, что если начальство взглянет, так чтобы в своем виде перед ним быть...

Увидев меня, Филофей Павлыч любезно потоптался на месте, потом расцеловался, потом взял меня за обе руки и откинулся корпусом несколько назад, чтоб и издали на меня взглянуть, потом опять расцеловался и, в заключение, радостно-изумленным голосом воскликнул:

— Вот приятная неожиданность! Сестрицу проведать пожелали?

Нонночка отнеслась ко мне апатично и как-то лениво произнесла:

— Ах, дядя, это вы!

Затем тотчас же обратилась к матери и продолжала:

— А мы, маменька, мимо усадьбы Иудушки Головлева проезжали — к нему маленькие Головлята приехали. Один черненький, другой беленький — преуморительные! Стоят около дороги да посвистывают — скука у них, должно быть, адская! Черненький-то уж офицер, а беленький — штафирка отчаянный! Я, маменька, в офицера то апельсинной коркой бросила!

— Проказница ты! проказница!

— Да еще что-с! одному-то апельсинную корку бросила, а другому безе́ ручкой послала! — пожаловался Филофей Павлыч,— а тот, не будь глуп, да с разбега в коляску вскочил! Да уж Павла Федорыча — незнакомы они — увидел, так извинился! Стыдно, сударыня! стыдно, Нонна Савишна!

— Что ж за стыд! мужчины и не то с нами делают, да не стыдятся. Поль! ты что со мной сделал?

Поль, в ответ, самодовольно оттопырил губы и закрыл, в знак стыда, глаза.

— Так то мужчины, мой друг! — наставительно заметила Машенька,— ихнее и воспитанье такое! Так вот как: стало быть, и Иудушка... то бишь, и Порфирий Владимирыч в радости... сосед дорогой! Да что ж ты, милочка, в россказни пустилась, а мужа-то дяденьке и не представишь! Все, чай, не худо попросить в родственное расположение принять!

— Извольте. Почтеннейший дядюшка! имею честь представить вам моего... как бы вам это объяснить! Ну, одним словом, вы понимаете... всегда, всегда мы вместе... Душка!! — прибавила она, жадно прилипая губами к лицу своего мужа.

Павел Федорыч, как молодой человек благовоспитанный и современный, начал с литературы.

— А мы вас читаем! — сказал он, бросая на меня взгляд, в котором, однако, виднелась оговорка, что он не вполне-таки одобряет и со многим согласиться не может.

— Ах, дядя! я намеднись что-то ваше читала! так хохотала! так хохотала! — с своей стороны польстила Нонночка.

— Ну, видишь, ты какова! небось сама читала, а нет того, чтоб матери дать дяденькино сочинение почитать! — посетовала Машенька.

— Мы, Марья Петровна, сами соберемся да выпишем — тогда им и не дадим! — не преминул слюбезничать Филофей Павлыч.

— И точно, что не дадим! Вот будете просить, а мы не дадим!

Словом сказать, я вдруг очутился в перекрестном огне любезностей. Всякий стремился что-нибудь приятное мне сказать, чем-нибудь меня ублажить. Так что если б я решился быть, и с своей стороны, «по-родственному», то есть не «вмешивался» бы, не «фыркал», то, наверное, я бы тут как сыр в масле катался.

— А я, знаете ли, маменька, что придумала! — молвила вдруг Нонночка,— вы бы теперь за Головлятами послали, а после обеда они приедут, мы и потанцевали бы.

— А дамы-то где?

— Можно за сестрицами Корочкиными послать; три сестрицы Корочкины, да я — вот дамы; Поль, двое Головлят, дядя — и кавалеры налицо.

— Нет, на меня не рассчитывай. Во-первых, мне в Чемезово нужно, а во-вторых, я с детства не танцевал.

— Так папа за кавалера будет.

— С удовольствием-с. Только зачем же до послеобеда ждать? Это сейчас можно, благо лошади запряжены, четыре версты туда, да четыре версты назад — мигом оборотят. Вот Павел Федорыч — съездите, сударь! И вы — молодой человек, и господа Головлевы — молодые люди... тут же и познакомитесь! Что ж, в самом деле, неужто уж и повеселиться нельзя!

— Съезди, Поль... душка! Ах, маменька! как будет весело! Весело, весело, весело! — кричала она, хлопая в ладоши и подпрыгивая так, что пол слегка вздрагивал и стеклышки гремели в люстре, висевшей посреди потолка.

Павел Федорыч уехал, а мы перешли в гостиную. Филофей Павлыч почти толкнул меня на диван («вы, братец,— старший в семействе; по христианскому обычаю, вам следовало бы под образами сидеть, а так как у нас, по легкомыслию нашему, в парадных комнатах образов не полагается — ну, так хоть на диван попокойнее поместитесь!» — сказал он при этом, крепко сжимая мне руку), а сам сел на кресло подле меня. Сбоку, около стола, поместились маменька с дочкой, и я слышал, как Машенька шепнула: «Займи дядю-то!»

— Итак, вы в наши палестины пожаловали? — начал Филофей Павлыч, любезно пригибая голову по направлению ко мне.

— Надобность есть, Филофей Павлыч.

— И надобность даже! вот как приятно!

Он опять взял мою руку, подержал ее в обеих своих и взглянул на меня такими елейными глазами, что я так и ждал: вот-вот он меня сейчас соборовать начнет.

— Из Петербурга чего нет ли? — спросила между тем Маша Нонночку.

— Ничего еще... такая досада! Наш прокурор пишет, что министр за границей, так ждут его возвращения, чтоб о Поле доложить. А впрочем, обещает.

— Павел Федорыч шайку подмётчиков в наших местах накрыл,— объяснил мне Филофей Павлыч,— организация целая... так вот награды себе ждет.

— Представьте, дядя, бог знает что хотели тут натворить! — прибавила Нонночка.— Поль пять человек в острог засадил!

— Да-с, собирались-таки, собирались-с! Дьячка от Спаса Милостивого сынок, да учителишка тут у Троицы есть, да господин Анпетов... Из Петербурга, говорят, лозунг у них был!

— Что ж они делали?

— Да охуждали-с. Промежду себя, конечно, ну, и при свидетелях случалось. А по нашему месту, знаете, охуждать еще не полагается! Вот за границей — там, сказывают, это можно; там даже министрами за охужденья-то делают!

— И такую кутерьму они натворили! — вступилась Машенька,— все было у нас тихо да смирно, а тут вдруг... пошли это спросы да допросы — весь околоток запутали! Даже мужиков от работы отбили — страх, что тут было.

— И всё Павел Федорыч раскрыл?

— Да, всё он, голубчик. Хочется у начальства на хорошее замечание попасть — ну, и старается! Много Нонночка от них, от негодяев, слез приняла.

— Еще бы! Ночь, спать хочется, а у Поля допросы идут!

— И какая, братец, умора была! Дьячков-то сын вдруг исчез! Ищут-ищут — сгинул да пропал, и все тут! А он — что ж бы ты думал! — не будь прост, да в грядах на огороде и спрятался. Так в бороздочке между двух гряд и нашли!

— Да... это... уморительно!

— Умора-то умора, а между прочим, и перепугались все. Так перепугались! так перепугались! Сперва-то с одного началось, а потом шире да глубже, глубже да шире... Всякий думает, что и его притянут! Иной и не виноват, да неверно нынче очень! Очень нынче неверно, ах, как неверно! Куда ступить, в какую сторону идти — никто этого нынче не знает!

— Выходит, стало быть, что оно и уморительно, да и не весело?

— Вы здесь, дядя, в одну неделю соскучитесь,— как-то некстати молвила Нонночка,— у нас даже и соседей настоящих нет. Прежде, говорят, очень весело в здешней стороне бывало: по три дня помещики друг у друга гащивали, танцевали, в фанты играли, свои оркестры у многих были. А нынче хорошие-то или повымерли, или в разные стороны разъехались — все эта эмансипация наделала! Только и остались, что сестрицы Корочкины, да вот мы, да еще старый Головель года с четыре поселился. А вы, маменька, не слыхали, как наши «сестрицы» себе женихов заманивают? У них на селе один офицер из нашего полка квартировал, так он рассказывал. Встанут утром, да и пойдут все три в Воплю купаться — прямо против его квартиры. И уж выделывают они штуки в воде, выделывают! А он стоит у окна да в бинокль смотрит!

— А ему, коли он благородный человек, отвернуться бы

следовало или мать бы предупредить! — сентенциозно заметила Машенька.

— Есть радость жаловаться! Мать-то, может, сама и учила... Да и ему... какой ему резон себя представленья лишать? Дядя! вы у нас долго пробудете?

— Нет; сегодня в Чемезово еду, а завтра чем свет — в дорогу, в Петербург.

— В городе бы у нас побывали; на будущей неделе у головы бал — головиха именинница. У нас, дядя, в городе весело: драгуны стоят, танцевальные вечера в клубе по воскресеньям бывают. Вот в К.— там пехота стоит, ну и скучно, даже клуб жалкий какой-то. На днях в наш город нового землемера прислали — так танцует! так танцует! Даже из драгун никто с ним сравняться не может! Словом сказать, у всех пальму первенства отбил!

— Ах ты, танцевальщица! и сегодня вот танцы затеяла, а подумала ли, кто музыку-то вам играть будет!

— Вы, маменька. Фортепьяно-то у нас не очень ведь расстроено?

— Не знаю; с тех пор, как ты уехала, не раскрывали. Да что же я вам играть-то буду? Как молода была — ну, действительно... даже варьяции игрывала, а теперь... Разве вот «Ach, mein lieber Augustin!» [1] вспомню, да и то навряд!

— Вспомните, вспомните... как-нибудь... А вы, дядя, отчего не танцуете?

— Склонности, друг мой, не имею.

— А вы принудьте себя. Не всё склонность, надо и другим удовольствие сделать. Вот папенька: ему только слово сказали — он и готов, а вы... фи, какой вы недобрый! Может быть, вы любите, чтобы вас упрашивали?

— Нет, уж сделай милость, уволь!

— Дядя! душка! хотите, я на колени перед вами встану?

— Коли охота есть на коленях стоять — становись!

— Фи, недобрый какой! а еще либералом считается! Дяденька! ведь вы либерал — ха-ха! Меня намеднись предводитель спрашивал: «Что это ваш дяденька-либерал как будто хвост поджал?..» в рифму, ха-ха!

В таком характере длился разговор в продолжение целого часа, то есть до тех пор, когда, наконец, явился Павел Федорыч с обоими Головлятами. Действительно, один был черненький, другой беленький. Оба шаркнули ножкой, подошли к Машеньке к ручке, а Нонночке и Филофею Павлычу руку пожали.

[1] «Ах, мой милый Августин!»

— Внучки Арины Петровны — чай, помнишь, братец! — отрекомендовала их мне Машенька.— Приятельница мне была, а во многих случаях даже учительница. А христианка какая... даже кончина ее... ну, самая христианская была! Пришла в праздник от обедни, чайку покушала, легла отдохнуть — так мертвенькую в постели и нашли!

На несколько минут все вдруг смолкли. Машенька вздыхала, Нонночка улыбалась и обменивалась с молодыми Головлевыми взглядами, которые очень смешили их.

— Поль! а скоро старый Головель своих Головлят с тобой отпустил? — первая прервала молчание Нонночка.

— Ну, нет, подумал-таки!

— Он, Нонна Савишна, боится, чтоб мы нечаянно в разврат не впали! — сказал беленький Головленок.

— Он нас, Нонна Савишна, нынче по утрам все просвирами кормит! — присовокупил черненький Головленок.

— Уж он крестил нас, крестил! Мы уж в коляску сели — а он все крестит. Как мост переехали, я нарочно назад оборотился, а он стоит на балконе и все крестит!

— Ах, молодые люди, молодые люди! — вступилась Машенька,— все-то бы вам покощунствовать! А разве худое дело — хоть бы просвиры! ведь они... божественные! Ну, или покрестить — отчего же и не перекрестить в путь шествующих!

— В путь шествующих... в Березники! — заметил Павел Федорыч, и все вдруг засмеялись.

Опять наступило молчание, и возобновилась прежняя игра глазами между молодыми людьми. Наконец уже около четырех часов доложили, что кушать подано, и все гурьбой потянулись в залу.

За обедом все языки развязались, и сделалось очень шумно, так что я начинал уже терять надежду возобновить разговор о Коронате, как Нонночка совершенно неожиданно помогла мне.

— От Короната Савича какой-нибудь новенькой выходки не получили ли? — обратилась она к матери.

— Нет, пока ничего...— ответила Машенька, слегка конфузясь и быстро взглядывая на меня.

— Вы знаете, дядя, что у нас в семействе нигилист проявился? — продолжала болтать Нонночка.

— Филозоф-с,— пояснил Филофей Павлыч,— юриспруденцией не удовлетворяется, считает ее за науку эфемерную и преходящую-с. В корень бытия проникнуть желает.

— Нет, в самом деле! Вы слышали, дядя, что Коронат Савич в Медицинскую академию перейти желает... ха-ха!

— Слышал. Но что же тут смешного?

— Как что смешного! Мальчишка в семнадцать лет — и сам себе звание определяет... ха-ха! Медиком быть хочу... ха-ха!

— Он, может быть, Нонна Савишна, ветеринаром быть желает. Нынче земские управы всё ветеринаров вызывают — так вот он и прочел! — сострил беленький Головлев.

— Ветеринаром — ха-ха! именно, именно ветеринаром! отлично! отлично! Вы — душка, Головлев! Папаша! пожалуйста, вы его в наш уезд ветеринаром определите! Я его к своей Бижутке годовым врачом приглашу!

Нонночка грохотала, и весь синклит вторил ей, кроме, впрочем, Машеньки, которая сидела, уткнувшись в тарелку, и Добрецова, который был серьезно-печален, словно страдал гражданским недугом.

— Я не имею чести знать Короната Савича,— обратился он ко мне,— и, конечно, ничего не могу сказать против выбора им медицинской карьеры. Но, за всем тем, позволяю себе думать, что с его стороны пренебрежение к юридической карьере, по малой мере, легкомысленно, ибо в настоящее время профессия юриста есть самая священная из всех либеральных профессий, открытых современному человеку.

— Почему же вы так думаете?

— А потому просто, что общество никогда так не нуждалось в защите, как в настоящее время.

— В защите? против чего?

— Против современного направления умов-с. Против тех недозрелых и, смею так выразиться, нетерпимых теорий, которые предъявляются со стороны известной части молодого поколения, к которому, впрочем, имею честь принадлежать и я.

— Но ведь такого рода защиту могут и становые пристава оказать!

— Могут-с; но без знания дела-с.

— Отчего же? Ведь доискаться, что человек между грядами спрятался, или допросить его так, чтоб ему тепло сделалось,— право, все это становой может сделать если не лучше (не забудьте, на его стороне опыт прежних лет!), то отнюдь не хуже, нежели любой юрист.

— Да-с, но ведь факты, на которые вы указали,— ни больше ни меньше, как простые формальности. И даже печальные формальности, прибавлю я от себя. Их, конечно, мог бы с успехом выполнить и становой пристав; но ведь не в них собственно заключается миссия юриста, а в чем-то другом. Следствие будет мертво, если в него не вложен дух жив. А вот этот-

то дух жив именно и дается юридическим образованием. Только юридическим образованием, а не рутиною-с.

— Гм... ежели вы с точки зрения «духа жива»... Скажите, пожалуйста, этот «дух жив» — ведь это то самое, что в прежние времена было известно под именем «корней и нитей»?

— И это-с. Вообще, юрист прежде всего обращает внимание не на частности, а на полноту общей картины, на тоны ее, на то, чтобы в ней, как в зеркале, отражалось действительное веяние среды и минуты. Что преступление не должно остаться безнаказанным — это, конечно, не может подлежать ни малейшему спору. Но главное все-таки — это раскрыть глаза самому обществу, указать ему на сущность и источник вредных поползновений и возбудить в нем желание самозащиты. Этот последний результат в особенности важен; в нем, я полагаю, заключается самое бесспорное доказательство преимущества современных юридических деятелей над прежними.

— Извините! я — человек старого покроя, и многое в современных порядках не совсем для меня ясно. Вот вы сейчас о самозащите упомянули: скажите, часто бывают доносы в ваших краях?

— Не доносы-с, а выражения общественной самопомощи-с.

— Ну, да; разумеется, самопомощи... Часто?

— Да, общество наше, по-видимому, с каждым годом яснее и яснее сознает свои права и обязанности.

— Гм... Конечно, это — не больше, как личное мое мнение, но я все-таки должен сознаться, что сердце мое больше лежит к становым приставам. И даже именно потому, что у них мало юридического развития.

— Ну, это уж — дело вкуса-с.

Покуда мы таким образом беседовали, все остальные молчали. Нонночка с удовольствием слушала, как ее Поль разговаривает с дяденькой о чем-то серьезном, и только однажды бросила хлебным шариком в беленького Головлева. Филофей Павлыч, как глиняный кот, наклонял голову то по направлению ко мне, то в сторону Добрецова. Машенька по-прежнему не отрывала глаз от тарелки.

— А впрочем,— кинул Добрецов в заключение,— так как речь у нас началась с Короната Савича, то я считаю долгом заявить, что ничего против его намерений не имею. Медицинское поприще, и даже ветеринарное, как заметил мсьё Головлев...

Достаточно было возобновления этой остроты, чтобы все засмеялись, и разговор наш прекратился. Машенька вздохнула свободно и, чтобы дать другое направление мыслям, обратилась к черненькому Головлеву с вопросом:

— Ну, а папенька как? здоров?

— Как бык-с.

— Ну, и слава богу. Благочестивый ваш папенька человек. Вот я так не могу: в будни рано встаешь, а в воскресенье все как-то понежиться хочется. Ну, и не поспеешь в церковь раньше, как к Евангелию. А папенька ваш, как в колокол ударили — он уж и там.

— Он у нас сам первый в колокол и ударяет. Возьмет за веревку и зазвонит.

— Любит бога ваш папенька! нечего сказать — очень любит! Не всякий это...

— Он у нас с священником все полемику ведет! — как-то высунулся вперед, словно вынырнул, беленький Головлев.

— Старозаветный ведь поп-то у вас!

— Да, все на ектениях сбивается — ну, отец и поправляет, да вслух, на всю церковь! «Николаевну» — врешь: «Михайловну»!»

— Вот как!

— А то у нас такой случай был: в Егорьев день начали крестьяне попа по полю катать — примета у них такая, что урожай лучше будет, если поп по полю покатается,— а отец на эту сцену и нагрянул! Ну, досталось тут всем на орехи!

— Скажите на милость — так вот у вас поп какой. Нет, у нас попик — ничего, чистенький. Всё «Труды» какие-то читает! Зато, может быть, ваш малым довольствуется, а наш за свадьбы больно дорого берет! Ни на что не похоже. Вот я земскому-то деятелю жаловалась: «Хоть бы вы, земство, за неимущих вступились!»

— Ничего-с, погодите. В губернию съездим — и попика к одному знаменателю приведем.

И вдруг, в самом разгаре «светского» разговора, Нонночку словно бес под бока толкнул.

— Дядя! вы давно ли Короната Савича видели? — обратилась она ко мне.

Машеньку даже передернуло всю.

— Нонночка! финиссè... лессè! — заговорила она по-французски (когда она терялась, то всегда прибегала к французскому языку),— ты видишь, что дяденьке этот разговор неприятен.

Нонночка с наивным изумлением взглянула сперва на меня, потом на мать, и вдруг что-то поняла.

— По-ни-маю! — пробормотала она как бы про себя, ворочая крупными, воловыми глазами,— так вот что! Беленький Головлик! расскажите-ка нам, как вас папенька от соблазнов оберегает?

— Во-первых, на ночь все входы и выходы собственноручно запирает на ключ; во-вторых, внезапно встает по ночам и подслушивает у наших дверей; в-третьих, афонский устав в Головлеве ввел: ни коров, ни кур — никакого животного женского пола...

Головлев долго что-то рассказывал, возбуждая общую веселость, но я уже не слушал. Теперь для меня было ясно, что меня *все* поняли. Филофей Павлыч вскинул в мою сторону изумленно-любопытствующий взор; Добрецов — язвительно улыбнулся. Все говорили себе: «Каков! приехал законы предписывать!» — и единодушно находили мою претензию возмутительною.

Под конец обеда гостей прибавилось: три девицы Корочкины поспели к мороженому. Наконец еда кончилась; отдавши приказание немедленно закладывать лошадей, я решился сделать последнюю попытку в пользу Короната и с этою целью пригласил Промптова и Машеньку побеседовать наедине.

— Филофей Павлыч,— начал я, когда мы уселись втроем в гостиной,— до вашего приезда я долго говорил с Машенькой, но, по-видимому, без успеха. Позвольте теперь обратиться к вам: может быть, ваш авторитет подействует на нее убедительнее...

Я взглянул на них: Филофей Павлыч делал вид, что слушает... но не больше, как из учтивости, Машенька даже не слушала; она смотрела совсем в другую сторону, и вся фигура ее выражала: «Господи! сказано было раз... чего бы, кажется!»

— Дело вот в чем,— продолжал я,— Коронат не чувствует в себе призвания к юридической карьере и желает перейти в Медицинскую академию...

— Так что же-с?

— Но для того, чтоб просуществовать в продолжение пяти лет академического курса, он нуждается в помощи...

— Что же-с! вот мать — права ее-с!

— Но матери кажется, что Коронат, поступая таким образом, выходит из повиновения родительской власти, что если она раз, по каким-то необъяснимым соображениям, сказала себе, что ее сын будет юристом, то он и должен быть таковым. Одним словом, что он — непочтительный.

— Никогда я этого не говорила! — вдруг встрепенулась Машенька.

— Помилуй, душа моя! да в этом весь и вопрос!

— Никогда не говорила, что непочтительный! заблуждающий — вот это так!

— Позвольте, Марья Петровна! допустимте, что вы даже

сказали: «непочтительный!» Что же, сударь! И по-моему — довольно-таки близко около этого будет!

— Послушайте! Коронату уж семнадцать лет, и он сам может понимать свои склонности. Вопрос о будущем, право, ближе касается его лично, нежели даже самых близких его родственников. Все удачи и неудачи, которые ждут его впереди,— все это его, его собственное. Он сам вызвал их, и сам же будет их выносить. Кажется, это понятно?

— Помилуйте! даже очень-с! Но ведь и родителям тоже смотреть на свое детище... А впрочем, я — что же-с! Вот мать — права ее-с!

— Но если б сын даже заблуждался, скажите: достаточная ли это для родителей причина, чтоб оставлять его в жертву лишениям?

— Но если он сам на лишения напрашивается... А впрочем — вот мать-с!

— Я должен сказать вам, что Коронат ни в каком случае намерения своего не изменит. Это я знаю верно. Поэтому весь вопрос в том, будет ли он получать из дома помощь или не будет?

— Нет ему моего благословения по медицинской части! нет, нет и нет! — как-то восторженно воскликнула Машенька,— как христианка и мать... не позволяю!

— Слушай, Машенька! ты готовишь для себя очень, очень горькое будущее!

— Будущее, братец, в руке божией! — сентенциозно произнес Филофей Павлыч.

— Машенька! Я... *я* прошу тебя об этом!

— Ах, братец!

— Неужели же ты так и остановишься на этом решении?

— Голубчик! пожалуйста... позволь мне уйти! Меня там ждут... потанцевать им хочется... Я бы поиграла... Право, позволь мне...

Как раз, совсем кстати, в эту минуту в дверях гостиной показалась Нонночка и довольно бесцеремонно крикнула:

— Дядя! вы скоро их отысповедуете? Мы танцевать хотим!

Ясно, что делать мне больше было нечего. Я вышел в залу и начал прощаться. Как и водится, меня проводили «по-родственному». Машенька даже всплакнула.

— Братец,— сказала она,— может, и еще в нашу сторону заглянешь — не забудь, ради Христа! заверни!

Господин Добрецов сильно потряс мою руку и произнес:

— А мы вас почитываем!

Нонночка, не желая отставать от других, сказала:

— Дядя! вы что ж меня не целуете... фи, недобрый какой!

Филофей Павлыч проводил меня до крыльца и, поматывая головой, воскликнул:

— Что прикажете — женщина-с... А впрочем, мать — все права ее-с. Так и в законе-с...

Покуда ямщик собирал вожжи и подавал тарантас, в ушах моих раздалось:

A-ach, mein lieber Augustin!
Augustin, Augustin!

Дружный хохот, встретивший эту допотопную ритурнель, проводил меня до ворот.

Был час восьмой, когда я выехал от Промптовых, и в воздухе надвигались уже сумерки. Скоро мы въехали в лес, и с каждым шагом мгла становилась гуще и гуще. Казалось, что тени выползают из глубины лесной чащи, бегут за экипажем, хватаются за него. Я начал припоминать происшествия дня, и вдруг мне сделалось страшно. Целое море глупости, предрассудков, ничем не обусловленного упрямства развернулось перед глазами — море, по наружности тихое, но алчущее человеческих жертв. «Так уж», «нет уж» — невольно припоминалось мне, и сзади этих бессмысленных словесных обрывков появлялся упорствующий образ непочтительного Короната, на котором, по какой-то удивительной логике, непочтительность должна отозваться голодом, холодом и всяческими лишениями.

Но, как ни простодушна Машенька, однако и у нее нечаянно вырвалось меткое слово.

«Неверно нынче! — сказала она,— очень даже, мой друг, неверно! Куда ступить, в которую сторону идти — никто нынче этого не знает!»

Этим изречением я и заканчиваю.

В ДРУЖЕСКОМ КРУГУ

Кроме Тебенькова, с которым я уже познакомил читателя, у меня есть еще приятель Максим Михайлыч Плешивцев.

Все трое мы воспитывались в одном и том же «заведении», и все трое, еще на школьной скамье, обнаружили некоторый вкус к мышлению. Это был первый общий признак, который положил начало нашему сближению,— признак настолько веский, что даже позднейшие разномыслия не имели достаточно силы, чтоб поколебать образовавшуюся между нами дружескую связь.

В то время, и в особенности в нашем «заведении», вкус к мышлению был вещью очень мало поощряемою. Выказывать его можно было только втихомолку и под страхом более или менее чувствительных наказаний. Тем не менее мы усердно следили за тогдашними русскими журналами, пламенно сочувствовали литературному движению сороковых годов и в особенности с горячим увлечением относились к статьям критического и полемического содержания. То было время поклонения Белинскому и ненависти к Булгарину. Мир не видал двух других людей, из которых один был бы столь пламенно чтим, а другой — столь искренно ненавидим. Конечно, во всем этом было очень много юношеского пыла и очень мало сознательности, но важно было то, что в нас уже существовало «предрасположение» к наслаждениям более тонким и сложным, нежели, например, наслаждение прокатиться в праздник на лихаче или забраться с утра в заднюю комнату ресторанчика и немедленно там напиться. А именно этого рода наслаждениям страстно предавалось большинство товарищей.

Дружба, начавшаяся на школьной скамье, еще более укрепилась в первое время, последовавшее за выпуском из «заведения». Первое ощущение свободы было для нас еще бо́льшим ощущением изолированности. Большинство однокашников, с свойственною юности рьяностью, поспешило занять соответственные места: кто в цирке Гверры, кто в цирке Лежара, кто в ресторане Леграна, кто в ресторане Сен-Жоржа (дело идет о сороковых годах). С другой стороны, новые знакомства для нас мог представлять только чиновнический круг канцелярий, в которые мы поступили, но с этим кругом мы сходились туго и неохотно. Мы очутились втроем, ни с кем не видясь, не расставаясь друг с другом, вместе восхищаясь, пламенея и нимало не скучая унисонностью наших восхищений. Мы не спорили, даже не комментировали, а просто-напросто метафоризировали, чем в особенности отличался Плешивцев, человек, весь сотканный из пламени. Мы не подозревали, что за миром мысли и слова есть какой-то мир действия и игры страстей, мир насущных нужд и эгоистических вожделений, с которым мы, рано или поздно, должны встретиться лицом к лицу. Мы не думали, что этому дрянному миришку суждено будет вызвать в каждом из нас ту интимную подкладку, которая до сих пор оставалась безмолвною. Что столкновение с ним может сделать из нас западников, славянофилов, прогрессистов, консерваторов, федералистов, централизаторов и т. д. То есть лиц, обладающих убеждениями, резкая противоположность которых заставляет иногда людей ненавидеть друг друга.

Этот мир практической деятельности, существование которого мы так долго не подозревали, представила нам провинция, в которую бросил нас естественный ход нашей служебной карьеры. Служба разбросала нас по разным концам России и положила конец нашим совместным восхищениям. В провинции мы выровнялись и приобрели ту драгоценную деловую складку, которая полагает раздельную черту между делом и убеждениями и позволяет первому идти вполне независимо от последних. И когда мы, после долгих лет скитаний, вновь встретились в Петербурге, то эта складка прежде всего бросилась в глаза и вновь сделалась для нас соединительным звеном. Подкрепленная воспоминаниями прошлого, она помогла нам вынести то разноречие в убеждениях, которое принесла нам жизнь. Мы очень серьезно сказали себе: «Прежде всего — Россия! прежде всего — отечество, призывавшее нас к обновительной деятельности! А потом уж — убеждения».

Это был самый удобный modus vivendi [1] для того времени, когда начальство везде искало «людей» и охотно давало им места с хорошим жалованьем. Начальство было тогда снисходительное и сквозь пальцы смотрело на так называемые убеждения. Только не допускайте резкостей, не призывайте к оружию, а затем будьте хоть федералистом. Ведь ни сепаратизм, ни социализм не мешают писать доклады, циркуляры, предписания и отношения. С такого-то часа до такого-то сиди в Фонарном переулке, развивай за стаканом чаю сепаратистические соображения насчет самостоятельности Сибири, покрывай мир фаланстерами, а с такого-то часа до такого-то сиди в департаменте и пиши бумагу о «воссоединениях», о средствах к искоренению превратных толкований. Вот как думало тогдашнее начальство, и думало, по мнению моему, правильно, потому что, несмотря на его снисходительность по сему предмету, Сибирь все-таки и по настоящую пору не отделена. Так же точно думали и мы. «Дело прежде всего!» — восклицали мы,— то обновительное дело, которое, в звании мировых посредников, может одинаково приютить и западников, и славянофилов, и централизаторов, и федералистов... и фельдфебелей.

Как бы то ни было, но мы подоспели с своею деловою складкой совершенно ко времени, так что начальство всех возможных ведомств приняло нас с распростертыми объятиями. В его глазах уже то было важно, что мы до тонкости понимали прерогативы губернских правлений и не смешивали городских дум с городовыми магистратами. Сверх того, предпо-

[1] образ жизни.

лагалось, что, прожив много лет в провинции, мы видели лицом к лицу народ и, следовательно, знаем его матерьяльные нужды и его нравственный образ.

— Мы, ваше превосходительство, народ-то не из книжек знаем! Мы его видели — вот как (рука поднимается и ставится на недалеком расстоянии перед глазами, ладонью внутрь)! мы в курных избах, ваше превосходительство, ночевывали! мы хлеб с лебедой едали! — говорили мы бойко и весело.

По правде сказать, в этих словах была очень значительная доля преувеличения. Окунувшись в тину провинциальной жизни, мы вовсе не думали ни о матерьяльных нуждах, ни о нравственном образе народа. Мы заседали в палатах и правлениях, мы производили суд и расправу, мы ревизовали, играли в карты, ездили в мундирные дни в собор, танцевали и т. д. Проезжая мимо базарной площади в присутствие или мчась на почтовых мимо сел и деревень к месту производства следствия, мы столь же мало видели народ, как мало видит его и любой петербуржец, проезжающий мимо Сенной или Конной площади. Но, во-первых, провинция несомненно дала нам хотя впечатление курной избы и серого зипуна. Во-вторых, провинциальная жизнь имеет ту особенность, что она незаметно накопляет в человеке значительную массу анекдотов, из совокупности которых составляется какое-то смутное представление о том, что действительно кишит где-то далеко, на самом дне. И представление это, если им ловко воспользоваться, может, при случае, сослужить службу великую.

Сверх того, в этом преувеличении немалое участие принимала и нервная чиновническая впечатлительность. Трудно не снервничать, когда на лице начальника видишь благосклонную улыбку, когда начальство, так сказать, само, под влиянием нервной чувствительности, ко всякому встречному вопиет: «Искренности, только искренности, одной искренности!»

Благонравен ли русский мужик? Привязан ли он к тем исконным основам, на которых зиждется человеческое общество? Достаточно ли он обеспечен в матерьяльном отношении? Какую дозу свободы может он вынести, не впадая в самонадеянные преувеличения и не возбуждая в начальстве опасений? — вот нешуточные вопросы, которые обращались к нам, *людям, имевшим случай стоять лицом к лицу с русским народом...*

Согласитесь, что для людей, имеющих в виду сделать служебную карьеру, подобные вопросы — сущий клад.

Но мы, даже независимо от эгоистических соображений о карьере, имели полную возможность дать именно те ответы, которые всего больше подходили к веяниям минуты. Подобные

ответы вырываются как-то сами собою. Бывают торжественные минуты, когда сердце подчиненного невольно настраивается в унисон с сердцем начальника и когда память, словно подкупленная, представляет целую массу именно таких фактов, которые наиболее в данный момент желательны. Это те минуты, когда в воздухе чуется особенно сильный запрос на подчиненную искренность. Тогда мысли зарождаются в голове мгновенно, слова льются из уст без удержа, и всё слова хорошие, настоящие. «Благонравен», «привязан», «обеспечен», «способен и достоин» и т. д. И мы видели, как, по мере наших ответов, тени, лежавшие на лицах наших начальников, постепенно сбегали с них и как эти люди, дотоле недоумевавшие, а быть может, и снедаемые опасениями, вдруг загорались уверенностью, что черт совсем не так страшен, как его малюют...

— Так что если, в видах пользы службы, несколько усилить власть исправников, то народ это вынесет?

— Совершенно вынесет, ваше превосходительство!

— А ежели распорядиться насчет упрочения основ при посредстве не отяготительной, но зрело соображенной системы штрафов, то народ и этим останется доволен?

— Совершенно доволен, ваше превосходительство!

— Ну, а ежели поприкинуть кой-что к повинностям... как вы думаете, это не произведет чувствительного влияния на народное благосостояние?

— Не только, ваше превосходительство, не произведет, но даже... ах, ваше превосходительство!

И так далее.

Одним словом, мы непререкаемыми фактами подтвердили все те предвидения и чаяния, которые смутно гнездились в сердцах петербургских начальников насчет «достоинств» и «способностей» русского мужика. В Петербурге надеялись, что русский человек гостеприимен — мы привели столько анекдотов насчет русского гостеприимства (некоторые анекдоты даже свидетельствовали о гостеприимстве с раскровенением), что отныне факт этот из области «видов и предположений» перешел в область самой неопровержимой действительности. В Петербурге предвидели, что русский человек патриархален — мы рассказали столько анекдотов из практики патриархальнейшего снохачества, что и этот факт утвердился на незыблемом основании. В Петербурге догадывались, что русский человек живет в полном удовольствии — мы и эту догадку подтвердили, рассказав, что многие мужики разводят гусей, уток и поросят... для себя.

Если бы мы не подтвердили всего этого, то очень может быть, что петербургские начальники огорчились бы, но, к сча-

стию для нас, наши собственные наблюдения (по крайней мере, в том виде, как представляла их наша память) до того сходились с петербургскими предвидениями, что нам не приходилось даже лицемерить.

Повторяю: мы были искренны. Мы действительно видели в деревнях и гусей и уток, действительно знали множество примеров патриархального снохачества, действительно производили следствия о гостеприимстве с раскровенением. И по мере того как мы рассказывали наши анекдоты, в нас самих происходил психологический мираж, вследствие которого мужик становился перед нами словно живой. Мужик благонравный, патриархальный, трудолюбивый, мужик угодный богу и начальству не неприятный. И много прочувствованных слов сказали мы об этом мужике, и даже не одну слезу пролили по поводу его. То были сладкие, нервные слезы, под тихое журчание которых незаметно, сами собой, устроивались наши служебные карьеры...

Тем не менее, как я сказал выше, в наших теоретических взглядах на жизнь существовало известное разноречие, которое хотя и сглаживалось общею нам всем деловою складкою, но совсем уничтожено быть не могло. Разноречие это, впрочем, имеет и свою хорошую сторону, потому что позволяет нам, в свободное от забот о служебной карьере время, разнообразить наши беседы живою полемикой по поводу бесчисленных вопросов, которыми так богата современная русская жизнь. Сегодня сойдемся, поспорим, поговорим друг другу колкостей, а завтра как ни в чем не бывало опять засядем за докладные записки, за циркуляры и предписания и даже будем подавать друг другу советы насчет вящего и успешнейшего подкузмления.

Я ничего не буду говорить о себе, кроме того, что во всех этих спорах и пререканиях я почти исключительно играю роль свидетеля. Но считаю нелишним обратить внимание читателей на Тебенькова и Плешивцева, как на живое доказательство того, что даже самое глубокое разномыслие не может людям препятствовать делать одно и то же дело, если этого требует начальство.

Оба они, как говорится, всегда à cheval sur les principes [1], то есть прежде всего выкладывают свои принципы на стол и потом уже, отправляясь от них, начинают диспутировать. Но в самой манере того и другого относиться к собственным принципам замечается очень резкая разница. Тебеньков называет себя западником и в этом качестве не прочь прослыть за

[1] во всеоружии принципов.

esprit fort [1]. Поэтому он относится к своим собственным принципам несколько озорно, и хотя защищает их очень прилично, но не нужно быть чересчур проницательным, чтобы заметить, что вся эта защита ведется как будто бы «пур ле жанс», и что, в сущности, для него все равно, что восток, что запад, по пословице: была бы каша заварена, а там хоть черт родись. Вообще он никогда не забывает, что у него есть вицмундир, который хотя и висит теперь в шкафу, но который завтра все-таки приведется надеть. Напротив того, Плешивцев, спрятавши свой вицмундир в шкаф, смотрит на себя как на апостола и обращается с своими принципами бережно, словно обедню служит. Как «почвенник», он верит в жизненность своих убеждений и при защите их всегда имеет в виду «русскую точку зрения». Вследствие этого, в разгаре спора, Плешивцев называет Тебенькова «департаментской засушиной», «гнусненом» и «паскудником», а Тебеньков Плешивцева — «юродствующим» и «блаженненьким».

— Тебе что! — говорит Плешивцев,— ты гнусненц! ты вот завтра встанешь, умоешься и смоешь с себя все, что случайно сегодня на тебя насело!

— Не знаю,— отвечает, в свою очередь, Тебеньков,— но думаю, что чистоплотность не лишнее качество... даже в юродствующем!

И только чувство деликатности мешает ему прибавить: «Блаженненький! ведь и ты каждый день умываешься в департаменте! да еще как умываешься-то!»

И Тебеньков, и Плешивцев — оба консерваторы. Ежели спросить их, в чем заключается их консерватизм, они, наверное, назовут вам одни и те же краеугольные камни, те самые, о которых вы услышите и в любой обвинительной речи прокурора, и в любой защитительной речи адвоката. Поїдите на улицу — вам объяснит их любой прохожий; зайдите в лавочку, любой сиделец скажет вам: «Кабы на человека да не узда, он и бога-то позабыл бы!» Все: и прокуроры, и адвокаты, и прохожие, и лавочники — понимают эти камни точно так же, как понимают их Плешивцев и Тебеньков. А между тем какое глубокое разномыслие разделяет их по этому коренному вопросу! Плешивцев утверждает, что человек должен быть консерватором не только за страх, но и за совесть; Тебеньков же объявляет, что прибавка слов «и за совесть» только усложняет дело и что человек вполне прав перед обществом и законом, если может доказать, что он консерватор «только за страх».

— Мне все равно, как ты подплясываешь,— говорит он,— за один ли страх, или вместе за страх и за совесть! Ты под-

[1] вольнодумца.

плясываешь — этого с меня довольно, и больше ничего я не могу от тебя требовать! И не только не могу, но даже не понимаю, чтобы можно было далее простирать свои требования!

— Ты не понимаешь, потому что ты паскудник! — возражает ему Плешивцев,— ты вот и выражения такие подыскиваешь, которые доказывают, что в тебе не душа, а департаментская засушина! Это ты «подплясываешь», а я не подплясываю, а пламенею! Да, «пламенею», вот что.

— Ну, и пламеней! — подсмеивается Тебеньков.

И Тебеньков, и Плешивцев одинаково утверждают, что для человека необходима «почва», вне которой человек для обоих представляется висящим в воздухе. Но, высказавши это, Тебеньков объясняет, что «почва», в его глазах, не что иное, как modus vivendi, как сборник известных правил (вроде, например, «Искусства нравиться женщинам»), на которые человек, делающий себе карьеру, может во всякое время опереться. В жизни всякое может случиться. Начальство вдруг спросит: «А покажите-ка, молодой человек, есть ли у вас правила!»; родителю любимой особы взбредет на мысль сказать: «Охотно отдали бы мы, молодой человек, вам нашу Катеньку, да не знаем, как вы насчет правил». Вот тут-то и может сослужить службу «почва», в том смысле, как понимает ее Тебеньков. Сейчас в карман, вынул книжку «Искусство нравиться начальникам» и тут же вымолвил: «Правила, ваше превосходительство, вот они-с». Словом сказать, «почва», по мнению Тебенькова, есть все то, что не воспрещено, что не противоречит ни закону, в его современном практическом применении, ни обычаям известной общественной среды. Если принято платить карточный долг на другой день по проигрыше — это «почва»; если можно воспользоваться несоблюдением тех или других формальностей, чтоб оттягать у соседа дом,— это тоже «почва». Просто, ясно и вразумительно. Однако Плешивцев не только не удовлетворяется этим объяснением, но называет его «паскудством». К сожалению, сам он под словом «почва» разумеет что-то очень загадочное, и когда принимается определять его, то более вращает глазами и вертит руками в воздухе, нежели определяет, над чем Тебеньков очень добродушно смеется.

— А ну-ка, скажи! скажи-ка, что̀ же, по-твоему, почва? — подзадоривает он Плешивцева.

— Ты паскудник,— горячится, в свою очередь, последний,— тебе этого не понять! Ты все на свой ясный паскудный язык перевести хочешь! Ты всюду с своим поганым, жалким умишком пролезть усиливаешься! Шиш выкусишь — вот что! «Почва» не определяется, а чувствуется — вот что! Без «поч-

вы» человек не может сознавать себя человеком — вот что! Почва, одним словом, это... вот *это!*

И, высказавшись таким образом, делает жест, как будто копается где-то глубоко руками...

И Тебеньков, и Плешивцев — оба аристократы, то есть имеют, или думают, что имеют, кровь алую и кость белую. Предки Тебенькова доподлинно играли в истории роль: один был спальником, другой чашником, у третьего была выщипана по волоску борода. Насчет предков Плешивцева история была менее красноречива. Известно было только, что дед его был однажды послан светлейшим князем Потемкиным за две тысячи верст за свежею севрюжиной, исполнил это поручение с честью и с тех пор бойко пошел в ход. Но, одинаково признавая принцип аристократизма, Тебеньков и Плешивцев глубоко расходятся во взгляде на его основания. Тебеньков в основании аристократизма полагает право завоевания. «Первые дружинники — вот мои предки,— говорит он,— они своею кровью запечатлели свое право, и я, их потомок, явил бы себя недостойным их, если б поступился хотя одним атомом этого дорого добытого права!» Сверх того, под веселую руку, Тебеньков сознается, что аристократический принцип ему еще потому по душе, что вообще лучше пользоваться земными благами, нежели не пользоваться ими. И таким образом, он сообщает своим объяснениям какой-то материалистический, недостойный характер. Напротив того, Плешивцев основывает аристократизм на «любви». «Первые излюбленные люди — вот мои предки! — говорит он,— и я был бы недостоин их, если б поступился хоть частицей ореола народной любви, которая освятила права их!»

— Но ты забываешь, что у тебя никакой «любви» не было, а просто была севрюжина! — подсмеивается Тебеньков.

— Да ведь и тебе не мешало бы помнить, что и у тебя никакого «завоевания» не было, а был какой-то Митька Тебеньков, которому за «шатость и измену» выщипали бороду по волоску! — язвил с своей стороны Плешивцев.

И Тебеньков, и Плешивцев — оба религиозны, и оба очень усердно выполняют требуемые религией обряды. Оба утверждают, что общество без религии все равно что тело без души, но, в то же время, оба придают своей религиозной практике глубоко различный смысл. Тебеньков стоит на почве государственной религии, говорит, что религия есть один из рычагов, которым государство имеет право пользоваться для своих целей. А лично о себе выражается, что он *обязан* быть религиозным, потому что должен подавать пример «пур ле жанс». Сверх того, он не скрывает, что религиозность не бесполезна,

«как ередство обратить на себя внимание начальства» (бывают такие эпохи, когда начальство вдруг все сплошь проникается набожностью, как бывают и такие, когда начальство сплошь проникается скептицизмом). С ним даже был очень любопытный случай в этом роде. Сначала в том ведомстве, где служил Тебеньков, был начальник esprit fort и любил крошечку покощунствовать. Вместе с ним крошечку же кощунствовал Тебеньков и получил (конечно, не за это собственно, но все-таки немножко по поводу этого) повышение. Потом на место прежнего esprit fort поступил новый начальник, который не только усердно посещал подведомственную ему домовую церковь, но даже любил петь на клиросе. Тогда Тебеньков являлся к самому началу службы и не без дерзости выбивал поклоны перед местною иконой. И тоже получил повышение. Ничего подобного Плешивцев не допускает: он религиозен без надежды на повышение. Он тоже считает государство немыслимым без религии, но видит в последней не «подспорье», как Тебеньков, а основание. И, вследствие этого, жалеет о временах патриархов. Религия, почва и любовь — вот триада, которой поклоняется Плешивцев и в которой он видит так называемую русскую подоплеку. Он не может более ясно определить, в чем собственно состоит эта подоплека, но ожидает от нее очень многого.

— Ты проходимец! — говорит он Тебенькову,— ты постное жрешь, потому что знаешь, что князь Иван Семеныч посты блюдет! А я ем постное, потому что этим во мне действо русского духа проявляется! Вот ты и понимай!

— А кто в прошлое воскресенье князю Ивану Семенычу просвирку принес? — неожиданно, словно из пистолета, выстреливает в ответ Тебеньков.

— Я принес! Но не страха ради иудейска принес, а потому, что в этом приношении любви действо проявляется — вот что!

На это Тебеньков уже не возражает, а только потихоньку мурлыкает себе под нос:

A Provins, trou-la-la!
On récolte des roses
Et du jasmin, trou-la-la!
Et beaucoup d'autres choses... [1]

И Тебеньков, и Плешивцев — оба разделяют человечество на пасущих и пасомых. Но Тебеньков видит в этом разделении простое требование устава благоустройства и благочиния, а

[1] В Провене, тру-ля-ля! Собирают розы и жасмин, тру-ля-ля! И многое другое.

Плешивцев и тут ухитряется примостить «любви действо». Тебеньков говорит: «Все не могут повелевать, надобно, чтобы кто-нибудь и повиновался». Плешивцев говорит: «Нет, это не так, это слишком сухо, черство, голо; это чересчур пахнет счетом, арифметикой». И предлагает в основание разделения людей на повелевающих и повинующихся положить принцип «любви». Повелевающие повелевают «любви ради», а покоряющиеся покоряются тоже «любви ради». И это первых ободряет, а последних утешает.

— Да на кой черт тебе эти ободрения и утешения! — спорит Тебеньков,— ведь суть-то в том, чтоб покоряющиеся покорялись — и ничего больше!

— Ты паскудник! ты этого не понимаешь! — отвечает Плешивцев,— ты всюду со своей арифметикой лезешь, из всего сухую формулу хочешь сделать, а для меня совсем другое важно. Для тебя животворящий принцип — палка! а для меня этого мало. И палка, сударь, нема, коли в ней любви действо не проявляется!

Наконец, и Тебеньков, и Плешивцев — оба уважают народность, но Тебеньков смотрит на этот предмет с точки зрения армий и флотов, а Плешивцев — с точки зрения подоплеки. Оба говорят: «Есть ли на свете другой такой народ, как русский!» Но Тебеньков относит свои похвалы преимущественно к дисциплине, а Плешивцев — к смирению.

Таким образом, бойко и живо идут наши вечерние собеседования. Подчас, благодаря пламенности Плешивцева и язвительным замашкам Тебенькова, они угрожают перейти в серьезные стычки, но нас спасает уверенность, что наутро нам всем троим придется встретиться в департаменте и всем троим приняться за общее дело подкузмления. И таким образом, департаментская бездна пожирает все разномыслия и на все наши распри проливает умиротворяющий бальзам.

Если бы читатель спросил меня, чью сторону я держу во время этих полемических собеседований, я очень затруднился бы ответом на этот вопрос. Для меня вполне ясно только одно: что оба друга мои вполне благонамеренные люди. Оба признают необходимость «почвы», оба консерваторы, оба сторонники аристократического принципа, оба религиозны, оба разделяют человечество на пасущих и пасомых, оба уважают народность. Этого для меня вполне достаточно, чтоб находить их общество вполне приличным, а затем, каким процессом достались им эти убеждения и в какие закоулки каждый из них считает нужным зайти, чтоб подкрепить свой нравственный строй,— к этому я совершенно равнодушен.

Я думаю даже, что в их разномыслии скорее играет роль

различие темпераментов, нежели различие убеждений. Плешивцев пылок и нетерпелив, Тебеньков рассудителен и сдержан. Плешивцев охотно лезет на стену, Тебеньков предпочитает пролезть в подворотню. Плешивцев проникает в человеческую душу с помощью взлома, Тебеньков делает то же самое с помощью подобранного ключа. Вот и все.

Иногда мне даже кажется, что передо мною лицедействуют два субъекта: прокурор, в пух и прах разбивающий адвоката, и адвокат, в пух и прах разбивающий прокурора. Оба эти человека очень серьезно взаимно считают себя противниками, оба от полноты сердца язвят друг друга и отнюдь не догадываются, что только счастливое недоумение не позволяет им видеть, что оба они, в сущности, делают одно и то же дело и уязвлениями своими не разбивают, а, напротив того, подкрепляют друг друга. На деле перед вами происходит замысловатая, но в то же время несколько шальная комедия, в которой граф, неизвестно зачем, разыгрывает роль лакея, а лакей, без всякого разумного основания, напяливает на себя графский фрак. Или нечто вроде встречи двух пьяных, которые, собственно говоря, имеют в виду только поцеловаться, но которых взаимные приставанья, обыкновенно сопровождающие процесс пьяного целования, нередко доводят до потасовки.

Говорят, будто Плешивцев искреннее, нежели Тебеньков, и, *будто бы с этой точки зрения, он заслуживает более симпатии.* Но, по-моему, они оба — равно симпатичны. Правда, я достоверно знаю, что если Плешивцеву придется кого-нибудь преследовать, то не мудрено, что он или на дыбу того человека вздернет, или на костре изжарит. Но я знаю также, что если и Тебенькову выдастся случай кого-нибудь преследовать, то он тихим манером, кроткими мерами... но все-таки того человека изведет.

Затем, если кто предпочитает перспективу дыбы и костра перспективе тихого и постепенного изведения, или наоборот, то это уж дело личного вкуса, относительно которого я судьей быть не берусь.

На днях наша дружеская полемика получила новую богатую пищу. В газетах появилась речь одного из эльзас-лотарингских депутатов, Тейтча, произнесенная в германском рейхстаге. Речь эта, очень мало замечательная в ораторском смысле, *задела нас за живое внезапностью своего содержания.* Никто из нас не ожидал, чтобы мог выступить, в качестве спорного, такой предмет, о котором, по-видимому, не могло существовать двух различных мнений. Этот оказавшийся спорным предмет — любовь к отечеству.

Из обращения Тейтча к германскому парламенту мы узнали, во-первых, что человек этот имеет общее à tous les coeurs bien nés [1] свойство любить свое отечество, которым он почитает не Германию и даже не отторгнутые ею, вследствие последней войны, провинции, а Францию; во-вторых, что, сильный этою любовью, он сомневается в правильности присоединения Эльзаса и Лотарингии к Германии, потому что с разумными существами (каковыми признаются эльзас-лотарингцы) нельзя обращаться как с неразумными, бессловесными вещами, или, говоря другими словами, потому что нельзя разумного человека заставить переменить отечество так же легко, как он меняет белье; а в-третьих, что, по всем этим соображениям, он находит справедливым, чтобы совершившийся факт присоединения был подтвержден спросом населения присоединенных стран, действительно ли этот факт соответствует его желаниям.

«До сих пор было в обычае в этой палате,— говорил Тейтч, обращаясь к рейхстагу,— что ежели кто-нибудь возвышал голос в защиту угнетенных вами населений, то ему зажимали рот и карали его, как изменника отечеству (какому? вчерашнему или сегодняшнему?). Но изменник не тот, который проклинает неправду, а те, которых стремления к материальному преобладанию увлекают к попранию всякого права».

Оставим в стороне «проклинания неправды» и «попрания права»; пусть будут эти слова пустыми цветами красноречия, которые в людях, «стремящихся к материальному преобладанию», могут возбудить только веселый смех. Факт ясен и прост сам по себе: Тейтч любит свое отечество, то отечество, которое он с тех пор, как помнит себя, всегда считал таковым. С другой стороны, он обращается с этою любовью не к космополитам-теоретикам и не к каким-нибудь проходимцам, которые вчера предлагали свои услуги американским рабовладельцам, сегодня предлагают их Дон Карлосу, а завтра предложат Наполеону IV или ватиканскому владыке. Нет, он обращается к таким же солидным людям, как и он сам, к членам рейхстага, из которых каждый отнюдь не меньше его любит *свое* отечество. И Тейтч, и эти люди стоят на одной и той же почве, говорят одним и тем же языком и об одном и том же предмете. Так что, например, если б Тейтч в стенах Берлинского университета защищал диссертацию на тему о любви к отечеству, то Форкенбек (президент рейхстага) не только не оборвал бы его и не пригрозил бы ему призывом к порядку, но первый же с восторгом объявил бы его доктором отечестволюбия.

[1] всем благородным сердцам.

Между тем здесь, в стенах рейхстага, где, по всем правам, любовь к отечеству должна бы ожидать для себя торжественного практического подтверждения,— тут-то именно и происходит нечто совершенно неожиданное. Люди этого собрания, так горячо любящие свое отечество, не только не поощряют Тейтча, не только не приглашают его дать полезный урок «беспочвенному космополитизму», но, напротив того, глумятся над Тейтчем, как над блаженненьким, осыпают его насмешками и бранью, как будто он самый вредный из вреднейших членов интернационалки. Они скорее готовы примириться с архиепископом Ресом, с этим не помнящим родства субъектом, явившимся в рейхстаг во имя интересов папства, нежели с чудаком, который никак не может позабыть, что у него недавно было нечто такое, что он называл своим отечеством!

Как они смеялись над ним! Как весело провели они эти полчаса, в продолжение которых Тейтч, на ломаном немецком языке, объяснял, как сладко любить отечество и как сильна может быть эта любовь! И что всего замечательнее: они смеялись во имя той же самой «любви к отечеству», именем которой и Тейтч посылал им в лицо свои укоры!

Что скажут об этом космополиты! Что подумают те чистые сердцем, которые, говоря об отечестве, не могут воздержаться, чтобы не произнести: «Да будет забвенна десница моя, ежели забуду тебя, Иерусалиме!» Как глубоко поражены будут те пламенные юноши, которых еще в школе напитывали высокими примерами Регулов и Муциев Сцевол, которые еще в колыбели засыпали под сладкие звуки псалма: «На реках вавилонских, тамо седохом и плакахом»?!

О чем «плакахом»? Увы! нынче нет ни Иерусалима, ни Регулов, ни Муциев Сцевол! Зато есть хохочущий рейхстаг, есть президент Форкенбек, осушающий непрошеные слезы призывом к порядку, есть Бисмарк, освежающий разгоряченную воспоминаниями об утраченном «Иерусалиме» голову насмешкою, почерпнутою из устава о благоустройстве и благочинии!

Происшествие это тем более затронуло нас, что наше время есть по преимуществу время превратных толкований, которых мы, как известно, боимся до страсти. Не далее как накануне Плешивцев написал и представил князю Ивану Семенычу проект циркуляра, в котором, именно ввиду постоянного распространения «превратных толкований», любовь к отечеству рекомендовалась вниманию начальствующих лиц, как такое чувство, которое заслуживало со стороны их особливого внимания и поощрения. «Любовь к отечеству,— писалось в этом проекте,— родит героев. Она возвышает нравственную температуру человека, изощряет его ум и делает его способным не

только к подвигам личной самоотверженности, но и к изобретению орудий с целью истребления врагов... Науки обязаны ей своим непрерывным развитием, чему примером служит Ломоносов, который, будучи рожден в податном состоянии, умер в чине статского советника... Но наипаче существенным оказывается ее влияние при отправлении денежных и натуральных повинностей, ибо только при деятельном содействии сего жизненного стимула достигается безнедоимочное поступление принадлежащих казне сборов... То же должно сказать и о бедствиях, которые, в форме повальных болезней, неурожаев и проч., постигают человеческий род и которые поистине были бы непереносны, если б бедствующему человеку не являлась на помощь любовь к отечеству, споспешествуемая благотворным сознанием, что закон неукоснительно преследует людей, не умеющих быть твердыми в бедствиях». В заключение изъявлялась надежда, «что, по всем этим соображениям, ваше превосходительство не оставите обратить ваше просвещенное внимание на столь важный предмет и в согласность сему озаботитесь сделать распоряжение, дабы в пределах вверенного вам ведомства упомянутое чувство воспитывалось и охранялось со всею неуклонностью и дабы превратным толкованиям были пресечены все способы к омрачению и извращению оного».

Эта бумага была плодом заветнейших замыслов Плешивцева. Он писал ее по секрету и по секрету же сообщил об ней лишь одному мне. Читая ее, он говорил: «Я здесь — Плешивцев! понимаешь? Плешивцев, а не чиновник!» И затем, представив свою работу князю Ивану Семенычу, он даже несколько побаивался за ее судьбу.

— Заметь, братец,— говорил он,— об государстве ни одного слова! Отечество — и баста!

— Да, брат, это — штука! — отвечал я, с своей стороны.

Тем не менее надежда на успех все-таки была, хотя, должно сознаться, она основывалась преимущественно на каламбуре. Предполагалось, что в департаментской практике некоторые выражения до такой степени осинонимизировались, что нужно было нарочито подыскиваться, чтоб употребленная Плешивцевым тонкость могла быть понята. К числу таких однородных выражений принадлежали «отечество» и «государство», которые в департаменте употреблялись не только безразлично, но даже чередовались друг с другом, в видах избежания частых повторений одного и того же слова. Поэтому Плешивцев имел очень веские основания надеяться.

— Не догадаются! — таинственно шептал он мне.

— Не догадаются! — от всей души откликался и я.

С другой стороны, и Тебеньков не дремал, но тоже по сек-

рету представил князю Ивану Семенычу проект циркуляра, о котором тоже сообщил только мне. Там писалось: «Любовь к отечеству, чувство, бесподобное само по себе, приобретает еще больше значения, если взглянуть на него как на одно из самых могущественных административных подспорьев... Будучи эксплуатируемо с осторожностью, но неукоснительно, оно незаметно развивается в чувство государственности, сие же последнее, соделывая управляемых способными к быстрому постижению административных мероприятий, в значительной степени упрощает механизм оных и чрез то, в ближайшем будущем, обещает существенные сокращения штатов, причем, однако ж, чиновники усердные и вполне благонадежные не токмо ничего не потеряют, но даже приобретут... Главнейшее же внимание должно быть обращено на то, дабы отечество, в сознании управляемых, ни в каком случае не отделялось от государства и дабы границы сего последнего представлялись оным яко непременные и естественные границы первого... История всех образованных государств, с самой глубокой древности и до наших времен, доказывает, сколь полезны бывали внушения сего рода, не токмо в годины бедствий, не переставших и поныне периодически удручать род человеческий, но и во всякое другое, благоприятное для административных мероприятий время. А посему ваше превосходительство не оставите обратить на сей важный предмет ваше просвещенное внимание и в согласность сему озаботитесь сделать зависящие распоряжения, дабы в пределах вверенного вам ведомства упомянутое чувство любви к отечеству развивалось и охранялось со всею неуклонностью и дабы превратным толкованиям были пресечены все способы к омрачению и извращению оного».

Итак, оба друга мои сочинили по циркуляру. От одного разило государственностью, в другом очень осторожно, но в то же время очень искусно был пущен запах подоплеки. А так как я лично оплошал, то есть никакого циркуляра не сочинил, то мне оставалось только выжидать, который из моих приятелей восторжествует.

И вдруг в газетах появляется речь Тейтча, которая на все плешивцевские махинации проливает яркий свет!

— Не пройдет! нечего и думать! — шепнул мне Плешивцев еще утром, как только прочитал газетное известие.

Напротив того, Тебеньков сделался веселее и самоувереннее обыкновенного.

— Теперь мое дело в шляпе,— сказал он мне,— придется, может быть, несколько почистить: «отечества» поурезать да «государственности» поприпустить — и готово!

Вечером мы все были в сборе; но долгое время, словно сговорившись, не приступали к интересовавшему нас предмету. Плешивцев молча ходил взад и вперед по комнате, ерошил себе волосы, как бы соображая, нельзя ли и «подоплеку» соблюсти, и рейхстагу германскому букетец преподнести. Я ни о чем особенном не думал, но в ушах моих с какою-то мучительною назойливостью звенело: вот тебе и «седохом и плакахом»! Тебеньков тоже молчал, но это было молчание, полное торжества, и взгляд его глаз, и без того ясных, сделался до такой степени колюч, что меня подирал мороз по коже.

— Однако, чудеса на свете делаются! — сказал наконец я, чтобы завязать разговор.

— Да, брат! ничего не поделаешь! — отозвался Плешивцев,— вот она! вот она, подоплека-то, где сказалась!

— Encore cette malheureuse podoplioka! [1] — весело воскликнул Тебеньков.

— Не прогневайтесь, Александр Петрович! Малёрёз подоплиока — это так точно-с! С канканчиком-с, с польдекоковщиной-с, с гнильцой-с, с государственным обезличением-с! Вот им, обладателям этой малёрёз подоплиока, и говорят: не трудитесь, мол, насчет отечества прохаживаться, потому что ваше отечество в танцклассе у Марцинкевича... да-с!

— Joli! [2]

— Жоли или не жоли, а только это так-с. С канканчиком, конечно, можно еще как-нибудь на идею государства — вашего, Александр Петрович, тебеньковского государства! — набрести, ну, а отечество — это штука помудренее будет.

Я был смущен. Я знал, что со стороны Тебенькова оправдание претерпенной Тейтчем неудачи не только возможно, но и вполне естественно, но, признаюсь, выходка Плешивцева несколько изумила меня.

— Как! и ты, Плешивцев! — воскликнул я,— и ты, значит, оправдываешь этот веселый хохот над человеком, огорченным потерею отечества?

— Ничего, братец, не поделаешь! Когда у людей, вместо подоплеки, канканчик...

— Послушай, душа моя! зачем же ты приплетаешь сюда какой-то канканчик? Ведь у французов не один же канкан! Есть у них и своя цивилизация, и своя литература, и своя промышленность! Всего этого, право, очень достаточно, чтобы в человеке получилось представление о той совокупности вещей и явлений, из которой выводится идея отечества! Посмотри! не

[1] Снова эта несчастная подоплека!
[2] Прекрасно!

прошло трех лет после разгрома, а почти не заметно и следов его! Уплатили пять миллиардов немцу, а сколько еще миллиардов потребовалось, чтоб собственные внутренние раны залечить! И все это совершилось воочию! Какая сила! Какое неистощимое богатство!

— И богатство есть, и фабрики, и заводы; даже полиция есть. Но чтоб была цивилизация — вот с чем я никогда не соглашусь! Плоха, брат, та цивилизация, от которой мертвечиной пахнет, в которой жизни духа нет!

— «Жизни духа, духа жизни»! — поддразнил Тебеньков.

— Да-с, Александр Петрович, ни жизни духа, ни духа жизни — ничего, кроме гнили-с! А потому и не жалуйся, гнилой человечишко, что его в полон взяли! Не сетуй, не растабарывай насчет отечества, которого у тебя нет!

— Но ты забываешь, что Франция, в продолжение многих столетий, была почти постоянно победительницей, что французские войска квартировали и в Берлине, и в Вене...

— Et Moscou donc! [1] — озорно отозвался Тебеньков.

— Шиш взяли!

— Что этот самый Эльзас, эта самая Лотарингия были когда-то немецкими провинциями?

— Ну да, и в Берлине были, и в Вене были, и Эльзас с Лотарингией отобрали у немцев! Что ж! сами никогда не признавали ни за кем права любить отечество — пусть же не пеняют, что и за ними этого права не признают.

— Постой! это другой вопрос, правильно или неправильно поступали французы. Речь идет о том, имеет ли француз настолько сознательное представление об отечестве, чтобы сожалеть об утрате его, или не имеет его? Ты говоришь, что у французов, вместо жизни духа — один канкан; но неужели они с одним канканом прошли через всю Европу? неужели с одним канканом они офранцузили Эльзас и Лотарингию до такой степени, что провинции эти никакого другого отечества, кроме Франции, не хотят знать?

— Все это был один пьяный порыв! А вот как их приперли хорошенько да показали, что есть на свете ружья почище шасспо̀,— на дне-то порыва и оказалась гниль!

— Гниль! что же это за слово, однако ж! Третий раз ты его повторяешь, а ведь, собственно говоря, это совсем не ответ, а простой восклицательный знак! Ты оставь метафоры и отвечай прямо: имел ли германский рейхстаг основание не признавать за Тейтчем право любить свое отечество!

[1] И даже в Москве!

— Да я с того и начал, что сказал: вот она, подоплека-то! вот как она дала себя почувствовать!

— «Подоплека»! «Гниль»! Воля твоя, а это не разговор!

— Господин Плешивцев, конечно, полагает, что чебоксарская подоплека (Плешивцев был родом из Чебоксар) будет мало-мало подобротнее, нежели французская! — уязвил Тебеньков.

— Да-с, подобротнее-с! Чебоксарская подоплека не дерет глотки, а постоит за себя! Да-с, постоит-с! Мы, чебоксарцы, не анализируем своих чувств, не взвешиваем своих побуждений по гранам и унциям! Мы просто идем в огонь и в воду — и всё тут! И нас не отберут, как каких-нибудь эльзасцев-с! Нет-с, обожгутся-с!

Тебеньков на эту диатрибу только свистнул в ответ и, улегшись с ногами на диван, замурлыкал себе под нос из «m-me Angot» [1]:

Elle est tellement innocente
Qu'elle ne comprend presque rien! [2]

Я тоже недоумевал. Я мысленно спрашивал себя, в какой степени возможно продолжение разговора, предмет которого грозит перейти на чебоксарскую почву? Можно ли, например, оспоривать, что чебоксарская подоплека добротнее французской? не будет ли это противно тем инстинктам отечестволюбия, которые так дороги моему сердцу? не рассердит ли это, наконец, Плешивцева, который хоть и приятель, а вдруг возьмет да крикнет: «Караул! измена?!» И ничего ты с ним не поделаешь, потому что он крепко стоит на чебоксарской почве, а ты колеблешься! Хороши Чебоксары, прекрасен Наровчат, но когда перед тобой начнут сравнивать их с Парижем в ущерб последнему — тебе все-таки совестно. А ему, Максиму Михайлову Плешивцеву, потомку майора, ездившего за две тысячи верст за севрюжиной для Потемкина, не только не совестно, но он даже цветнее от этих сравнений делается!

Тем не менее вопрос, о котором зашла у нас речь, представлял для меня такой интерес, что я решился довести нашу беседу до конца, хотя бы даже Плешивцев и обвинил меня в измене.

— Итак, ты в целой Франции, в ее истории, в ее гении ничего не видишь, кроме «La belle Hélène»? — сказал я вновь.

— Ничего!

— «La belle Hélène»? Mais je trouve que c'est encore très joli ça! [3] Она познакомила нашу армию и флоты с классиче-

[1] «Мадам Анго».
[2] Она так невинна, что почти ничего не понимает!
[3] «Прекрасная Елена»? А я нахожу, что и это еще хорошо!

скою древностью! — воскликнул Тебеньков.— На днях приходит ко мне капитан Потугин: «Правда ли, говорит, Александр Петрович, что в древности греческий царь Менелай был?» — «А вы, говорю, откуда узнали?» — «В Александринке, говорит, господина Марковецкого на днях видел!»

— Вот она... французская-то цивилизация! Смотри на него! любуйся! — трагически произнес Плешивцев, протягивая руку по направлению Тебенькова.

— А ты хочешь от меня примеров чебоксарской цивилизации! Успокойся, душа моя! их много найдется и во Франции! Есть, голубчик, есть! Вспомни лурдские богомолья, вспомни парэ-ле-мониальское посвящение Иисусову сердцу! Право, хоть сейчас в Чебоксары!

— И в самом деле! — ободрился я,— ведь это тоже своего рода подоплека!

— И даже едва ли не более добротная, нежели чебоксарская! По крайней мере, это подоплека, выразившаяся независимо от начальственных поощрений, тогда как, если вглядеться попристальнее в чебоксарскую подоплеку, то наверное увидишь на ней следы исправника или станового!

— А ведь это правда, что чебоксарская-то подоплека немного тово... как будто помята руками особ, на заставах команду имеющих... что ты скажешь на это, Плешивцев?

— Что̀ говорить! Шутить изволите — ну и шутите!

— Хорошо. Будем говорить серьезно,— сказал Тебеньков.— Отбросим в сторону «подоплеки», «гнили», «жизни духа» и другие метафоры, которыми ты так охотно уснащаешь свой разговор, и постараемся резюмировать сущность сказанного тобою по поводу похождений господина Тейтча в германском рейхстаге. Эта сущность, выраженная в грубой, но правдивой форме, заключается в следующем: человек, который в свои отношения к явлениям природы и жизни допускает элемент сознательности, не должен иметь претензии ни на религиозность, ни на любовь к отечеству? Est-ce ça, mon vieux? [1]

— Ça да не ça [2]. Сознательность бывает разная. Я, например, сознаю себя русским — это сознательность здоровая, сильная, освежающая. Но ежели сознательность родит Тебеньковых... извини меня, я такой сознательности и уважать не могу!

— Благодарю — не ожидал! Так что, например, ежели я не верю, что будущий урожай или неурожай зависит от того, катали или не катали попа по полю в Егорьев день, как верят

[1] Так ли, старина?
[2] Так, да не так.

этому господа чебоксарцы, то я не могу называть себя религиозным человеком? Так ведь?

— Продолжайте, Александр Петрович, продолжайте!

— Но ведь это логически выходит из всех твоих заявлений! Подумай только: тебя спрашивают, имеет ли право француз любить свое отечество? а ты отвечаешь: «Нет, не имеет, потому что он приобрел привычку анализировать свои чувства, развешивать их на унцы и граны; а вот чебоксарец — тот имеет, потому что он ничего не анализирует, а просто идет в огонь и в воду!» Стало быть, по-твоему, для патриотизма нет лучшего помещения, как невежественный и полудикий чебоксарец, который и границ-то своего отечества не знает!

— Для того чтобы любить родину, нет надобности знать ее географические границы. Человек любит родину, потому что об ней говорит ему все нутро его! В человеке есть внутреннее чутье! Оно лучше всякого учебника укажет ему те границы, о которых ты так много хлопочешь!

— То есть, не столько «внутреннее чутье», сколько начальственное распоряжение. Скажет начальство чебоксарцу: вот город Золотоноша, в котором живут всё враги; любезный чебоксарец! возьми и предай Золотоношу огню и мечу! И чебоксарец исполнит все это.

— Врешь ты! Этого не может быть!

— Это было, Плешивцев. Вспомни удельный период; вспомни в позднейшее время Тверь, Новгород, Псков...

— Это совсем не то! это были усобицы! это были внутренние неурядицы! это...

Ясно было, что Плешивцев окончательно начинает терять хладнокровие, что он, вообще плохой спорщик, дошел уже до такой степени раздражения, когда всякое возражение, всякий запрос принимают размеры оскорбления. При таком расположении духа одного из спорящих первоначальный предмет спора постепенно затемняется, и на сцену бог весть откуда выступают всевозможные детали, совершенно ненужные для разъяснения дела. Поэтому я решился напомнить друзьям моим, что полемика их зашла слишком далеко.

— К вопросу, господа! — сказал я.— Вопрос заключается в следующем: вследствие неудач, испытанных Францией во время последней войны, Бисмарк отнял у последней Эльзас и Лотарингию и присоединил их к Германии. Имеет ли он право требовать, чтобы жители присоединенных провинций считали Германию своим отечеством и любили это новое отечество точно так, как бы оно было для них старым отечеством?

— Не Бисмарк, а народ! понимаешь! не германское госу-

дарство, которое воплощает собою Бисмарк, а германский народ!

— А народ германский, стало быть, имеет это право?

— Имеет.

— На каком же основании?

— А на том основании, что его нравственная физиономия выше, нежели нравственная физиономия какого-нибудь эльзасца, воспитанного в растлевающей французской школе!

— Послушай! но ведь это своего рода дарвинизм, своеобразный, но все-таки дарвинизм. По твоему мнению, организм более нравственный имеет право порабощать организм менее нравственный?

— Не порабощать, а преображать, просветлять. Для развращенного, лишенного нравственной подкладки эльзасца это не порабощение, а просветление. Да-с.

— Но кто же судья в этом деле? кому принадлежит право решать, какой организм более нравствен и какой организм менее нравствен!

— Судья в этом деле — совесть самого более нравственного организма, его собственное сознание принадлежащего ему права и как результат этого сознания — успех.

— Так что, если, например, ты признаешь себя относительно меня и Тебенькова более нравственным организмом, то ты имеешь право просветлять нас по всей твоей воле?

- Имею-с.

— И немцы имеют право сказать эльзасцам: отныне вы обязываетесь любить нас?

— Имеют-с. И не только имеют основание теоретически заявить об этом праве, но и достигать его осуществления. И достигнут-с.

— Так что ежели эльзасцы будут продолжать упорствовать...

— То они докажут этим, что для них нужна школа. И получат ее.

— Mais c'est juste ce que je dis: [1] люби не люби, а подпляcывай! — вставил Тебеньков.

— Но ты забыл, душа моя, что присоединение Эльзаса и Лотарингии есть результат войны, что шансы войны подвержены множеству случайностей! ты забыл, что случайности эти одинаковы для всех и что таким образом и Чебоксары могут подвергнуться процессу просветления... Опомнись!

— Не случайности, а пути провидения! Слышишь! Я не признаю случайностей! Я знаю только провидение!

[1] Я так и говорю.

— Но Чебоксары?..

Это был крик моего сердца, мучительный крик, не встретивший, впрочем, отзыва. И я, и Плешивцев — мы оба умолкли, как бы подавленные одним и тем же вопросом: «Но Чебоксары?!!» Только Тебеньков по-прежнему смотрел на нас ясными, колючими глазами и втихомолку посмеивался. Наконец он заговорил.

— Господа! — сказал он,— к удивлению моему, я с каждым днем все больше и больше убеждаюсь, что как ни беспощадна полемика, которую ведет против меня наш общий друг Плешивцев, но, в сущности, мы ни по одному вопросу ни в чем существенном не расходимся. Он требует для человека почвы, и я требую для человека почвы. Он признает, что есть известные основы, без которых общество не может существовать, и я признаю, что есть известные основы, без которых общество не может существовать. Он уважает религию, и я уважаю религию. Он консерватор, и я консерватор. Разница между нами заключается в том, что я употребляю некоторые выражения, которые не по душе Плешивцеву, а он употребляет некоторые выражения, которые не по душе мне. Но смею думать, что это только диалектические особенности, ибо, ежели резюмировать наши убеждения в кратчайшей форме, отрешив их от диалектических приемов, а особенно ежели взять во внимание те практические применения, которые эти убеждения получают, проходя сквозь горнило департамента, в котором мы оба служим, то, право, окажется, что вся наша полемика есть не что иное, как большое диалектическое недоразумение. Мы оба требуем от масс подчинения, а во имя чего мы этого требуем — во имя ли принципов «порядка» или во имя «жизни духа» — право, это еще не суть важно. Blanc bonnet, bonnet blanc[1] — вот и всё. Следовательно, нам нужно только отказаться от некоторых мудреных и малоупотребительных выражений — и все недоразумения исчезнут. Не правда ли, Плешивцев? Скажи по совести, ведь мы можем подать друг другу руки?

Сказавши это, Тебеньков протянул Плешивцеву руку, но последний не принял ее.

— Ну, нет! Это стара штука! — сказал он,— это спор старый! Он еще при Петре начался! Тут не одними мудреными словами пахнет! Тут есть кой-что поглубже!

— Очень жаль, что наружное разномыслие наше должно продолжаться без срока, хотя, повторяю, разномыслие это чисто наружное и отнюдь не мешает полному внутреннему на-

[1] Что в лоб, что по лбу.

шему единомыслию. Да, мой друг! что ни говори, а все эти «подоплеки», все эти «жизни духа» — все это диалектические приемы того же устава благочиния, во имя которого ратую и я. Тебе по сердцу «просветление», мне — «административное воздействие», но и в том и в другом случае, в конце концов, все-таки прозревается военная экзекуция. Тебе нравится московский период государства российского, мне нравится петербургский период государства российского, но оба и несомненно мы имеем в виду одну и ту же государственность. Не правда ли?

Ответа на этот вопрос не последовало.

— Итак, будем продолжать. Ты говоришь: «Эльзас-лотарингцы обязываются примириться с тем положением, в которое поставили их результаты войны, и не имеют права ссылаться на старое отечество, когда сила обстоятельств подарила их отечеством новым». Я говорю: «Эльзас-лотарингцы обязываются примириться с тем положением, в которое поставили их результаты войны, и не имеют права ссылаться на старое отечество, когда сила обстоятельств подарила их отечеством новым». Воля твоя, но мы говорим совершенно одно и то же!

— Ты позабыл исходные пункты... малость!

— То есть некоторые диалектические приемы...

— Нет, не диалектические приемы, а исходные пункты! Понимаешь! Исходные пункты!

— Ну да, я их-то и называю диалектическими приемами. Потому что если б наши исходные пункты были действительно разные, то и результаты их были бы разные. Но этого нет. А следовательно, при одинаковых результатах, какая же надобность знать, откуда кто отправляется: с Плющихи ли в столичном городе Москве, или с Офицерской в столичном городе Петербурге?

Это было ясно. В сущности, откуда бы ни отправлялись мои друзья, но они, незаметно для самих себя, фаталистически всегда приезжали к одному и тому же выходу, к одному и тому же практическому результату. Но это была именно та «поганая» ясность, которая всегда так глубоко возмущала Плешивцева. Признаюсь, на этот раз она и мне показалась не совсем уместною.

— К делу, Тебеньков, к делу! — сказал я,— говори, правы ли, по твоему мнению, члены германского рейхстага, так весело насмеявшиеся над Тейтчем?

— То есть, вот видишь ли: я никогда не одобряю неделикатности, и, по мнению моему, смеяться над огорченным человеком, во всяком случае, непростительно. C'est bourgeois, c'est

mesquin[1]. Но я не могу все-таки не сказать, что в настоящем случае смех имеет в свою пользу смягчающие обстоятельства. Помилуй! что же может быть постылее, как назойливость по поводу выеденного яйца! Люди занимаются делом, обсуждают новый закон о книгопечатании, предпринимают реорганизацию армий и флотов, а к ним лезут с протестами против бесповоротного удара судьбы!

— Но как же все это согласить с тем... ну, с тем циркуляром... в котором любовь к отечеству...

— Ah! mais entendons-nous, mon cher![2] Отечество любить обязательно, но необходимо все-таки объяснить себе, что̀ такое это обязательно любимое отечество?

— Что̀ же, по-твоему, это отечество?

— Eh bien, nous y arrivons[3].

Возражая Плешивцеву, я упомянул о необходимости иметь точные сведения о географических границах. По моему мнению, вот вещь, необходимая для совершенно ясного определения пределов ведомства любви к отечеству, вот вещь, без точного знания которой мы всегда будем блуждать впотьмах.

— Так что, например, болгары, сербы... при настоящем положении границ Турецкой империи... должны считать Турецкую империю своим отечеством и должны любить ее?

— Позволь на этот раз несколько видоизменить формулу моего положения и ответить на твой вопрос так: я не знаю, *должны* ли сербы и болгары любить Турецкую империю, но я знаю, что Турецкая империя *имеет право* заставить болгар и сербов любить себя. И она делает это, то есть *заставляет* настолько, насколько позволяет ей собственная состоятельность.

— Но это ужасно! стало быть, если граница России идет до Эмбы, я должен любить ее до Эмбы? а ежели эта граница идет только до Урала, то я должен любить только до Урала?

— C'est triste, mais c'est vrai[4].

— Но Чебоксары?! Опомнись, душа моя! Ведь географические границы — дело наживное! Ведь таким образом Ветлуга, Малмыж, Чебоксары...

На этом наш разговор кончился. Мы пожали друг другу руки и разошлись. Но я уверен, что даже в холодной душе Тебенькова не раз после этого шевельнулся вопрос:

— Но Чебоксары?!

[1] Это мещанство, это мелко.
[2] Но согласимся, дорогой мой!
[3] Вот мы и добрались до сути.
[4] Печально, но это так.

В ПОГОНЮ ЗА ИДЕАЛАМИ

Ежели мы, русские, вообще имеем довольно смутные понятия об идеалах, лежащих в основе нашей жизни, то особенною безалаберностью отличается наше отношение к одному из них, и самому главному — к государству. Даже люди культуры, как-то: предводители дворянства, члены земских управ и вообще представители так называемых дирижирующих классов,— и те как-то нерешительно и до чрезвычайности разнообразно отвечают на вопрос: что̀ такое государство? Одни смешивают его с отечеством, другие — с законом, третьи — с казною, четвертые — громадное большинство — с начальством. Одни, чтоб отделаться от вопроса, прибегают к наглядным примерам: Швеция — государство, Великобритания — государство, Франция — государство и проч. Другие говорят: «Государство! смешно даже спрашивать, что̀ такое государство!» Третьи таращат глаза, точно их сейчас разбудили. А если, сверх того, предложить еще вопрос: какую роль играет государство в смысле развития и преуспеяния индивидуального человеческого существования? — то ответом на это, просто-напросто, является растерянный вид, сопровождаемый несмысленным бормотанием. Одним словом, из всего видно, что выражение «государство» даже в понятиях массы культурных людей не представляет ничего определенного, а просто принадлежит к числу слов, случайно вошедших в общий разговорный язык и силою привычки укоренившихся в нем. А так как с подобного рода словами обыкновенно обращаются очень неряшливо, то выходит, что выраженье, само по себе требующее определения, делается, вследствие частого употребления, определяющим, дающим окраску целой совокупности жизненных подробностей. Из коренного слова «государство» являются производные: «государственность», «государственный», которыми предводители дворянства щеголяют в клубах и на земских собраниях без малейшего стеснения, точно так, как бы слова эти были совершенно для них понятны.

Но ежели такая смута в понятиях о государстве господствует в дирижирующих классах общества, то что же должны мы ожидать от непросвещенной черни! Увы! здесь представление об этом важном предмете уже до такой степени отсутствует, что трудно даже вообразить себе простолюдина, произносящего слово «государство». Простолюдин, конечно, знает, что над ним поставлен становой пристав и что в известные сроки он обязан уплачивать подати и повинности; но какую роль во всем этом играет государство — этого он не знает.

В этом отношении перед ним вечно стоит какое-то загадочное пространство, в которое он тревожно вперяет взоры, но ничего, кроме станового и повинностей, различить не может.

Благодаря этой путанице, мы вспоминаем о государстве (и даже не о государстве в собственном смысле этого слова, а о чем-то подходящем к нему) лишь тогда, когда нас требуют в участок для расправы. Что же касается до обыденной жизненной практики, то, кроме профессоров, читающих с кафедры лекции государственного права, да школьников, обязанных слушать эти лекции, вряд ли кто-нибудь думает о той высшей правде, осуществлением которой служит государство и служению которой должна быть всецело посвящена жизнь обывателей. Всякий живет и прозябает по-своему, сам по себе, и делает свое маленькое дело совершенно независимо от государственных соображений. Сапожнику, тачающему сапоги, даже и на ум никогда не придет, что его работа (да и вообще вся его жизнь) имеет какое-нибудь отдаленное отношение к тому общему строю вещей, который носит название государства. Много-много, ежели он сознаёт связь своей жизни с местным квартальным надзирателем, да и то не с квартальным надзирателем вообще, а именно с Иваном Иванычем, который поступил на место Петра Петровича и увеличил дани вдвое. Поэтому в таких захолустьях, куда квартальные не заглядывают вовсе, обыватели доходят до того, что вспоминают о своей прикосновенности к чему-то более обширному и для них загадочному только в минуты уплаты податей и повинностей. И вспоминают, конечно, невесело. В городах и в местах более населенных эта неряшливость сказывается, конечно, в меньшей степени; но ведь и здесь, как уже упомянуто выше, руководящею нитью обывательской жизни все-таки служат взгляды и требования ближайшего начальства, а отнюдь не мысль о государстве. Да и сами квартальные надзиратели, разве они, заставляя, например, обывателей очищать дворы от навоза, сознают, что этим удовлетворяют высшей правде, осуществляемой государством? Нет; они исполняют это, во-первых, потому, что так приказывает начальство, и, во-вторых, потому, что выполнение приказаний начальства есть их ремесло. А на вопрос: что такое государство? — и они могут, точно так же, как и прочие обыватели, отвечать только вздрагиванием. Начальство же с своей стороны...

Здесь я остановлюсь. Я знаю, мне могут сказать, что я отстал от своего века, что то, что я говорю об отсутствии чувства государственности в квартальных надзирателях, относится к дореформенному времени и что, напротив того, нынешнее поколение квартальных надзирателей очень тонко понимает,

чему оно служит и какой идеи является представителем. На это я могу ответить следующее: я не выдаю своих мнений за безусловно истинные и первый буду очень рад успехам господ квартальных надзирателей на поприще государственности, ежели успехи эти будут доказаны. Но, признаюсь откровенно, я боюсь, что упомянутое сейчас возражение основано на недоразумении и что характеристическою чертою настоящего времени является не столько знание интересов и нужд государства и бескорыстное служение им, сколько самоуверенная и хлесткая болтовня, сопровождаемая знанием, где раки зимуют, и надеждою на повышение. Согласитесь, что между тем и другим имеется разница довольно существенная.

А между тем путаница в понятиях производит путаницу и в практической жизни. Тут мы на каждом шагу встречаемся и с взяточничеством, и с наглейшим обиранием казны, и с полным равнодушием к уплате податей, и, наконец, с особым явлением, известным под именем сепаратизма. И всё — следствие неясности наших представлений о государстве.

Обратитесь к первому попавшемуся на глаза чиновнику-взяточнику и скажите ему, что действия его дискредитируют государство, что по милости его страдает высшая идея правды и справедливости, оберегать которую призван сенат и Государственный совет,— он посмотрит на вас такими удивленными глазами, что вы, наверное, скажете себе: «Да, этот человек берет взятки единственно потому, что он ничего не слыхал ни о государстве, ни о высшей идее правды и справедливости». И действительно, все, что он знает по этому предмету, заключается лишь в следующем: 1) что действия его противоречат такой-то статье Уложения о наказаниях и, буде достаточно изобличены, подлежат такой-то каре; 2) что прежде нежели подпасть этой каре, нужно его судить, а прежде нежели судить, нужно еще предать суду; 3) что, следовательно, взятки надо брать с осторожностью, а паче всего надеяться на милосердие начальства, от которого зависит предание суду. Спрашивается: при чем же тут государство?

То же самое замечание, и даже с бо̀льшим основанием, может быть применено и к той категории преступных действий, которая известна под названием казнокрадства. Государство так часто продается за грош, и притом так простодушно продается, что даже история уже не следит за подобными деяниями и не заносит их на свои скрижали. Была горькая година в жизни России,— година, во время которой шла речь о ее значении в сонме европейских государств и подвергалась сомнению ее военная слава. И что ж! в это самое время находились люди, которые ставили ополченцам сапоги с картонными

подметками, продавали в свою пользу волов, пожертвованных на мясную порцию для нижних чинов, снабжали солдат кремневыми ружьями, в которых, вместо кремня, была вставлена выкрашенная чурочка, и т. д. И в то же время эти люди не только не имели злодейского вида, но и сами себя не считали злодеями. Они пили, ели, провозглашали тосты, устроивали фестивали и даже очень искренно молились в церквах о ниспослании победы и одоления тем самым ратникам, которых сейчас спустили по морозцу на картонных подошвах. Ужели можно предположить, что, поступая таким образом, эти люди понимали, что они обездоливают и продают то самое государство, которое их приютило, поставило под защиту своих законов и даже дало средства нажиться? Нет, предположить это — значило бы допустить в людях такую нравственную одичалость, которая сделала бы немыслимым существование человеческого общества. Скорее всего упомянутые казнокрады оттого так действовали, что не имели никакого понятия ни о ключах от храма гроба господня, ни об устьях Дуная, которыми разрешался вопрос об ключах, ни об отношении этих вопросов к русскому государству. Они действовали совершенно простодушно, полагая, что обездоливают совсем не государство, а только казну. А о казне-матушке даже пословица такая сложилась, которая доказывает, до какой степени велико ее долготерпение.

Затем, что касается уплаты податей и повинностей, то все плательщики на этот счет единодушны. Все уплачивают что нужно, и втайне все-таки думают, что не платить было бы не в пример лучше. Редкий понимает, что своевременное и безнедоимочное очищение окладных листов есть дело государственной важности; большинство же исповедует то мнение, что казна и без того богата.

Наконец, если мы всмотримся ближе в причины, обусловливающие такое явление, как сепаратизм, то легко увидим, что и тут главную роль играет неясность понятий о государстве: многие смешивают понятие о государстве с понятием о родине и даже о родной колокольне; другие приходят в смущение вследствие частых изменений государственных границ-ных рубежей. И ежели для вразумления первых достаточно домашних мер, то вторые немало-таки причиняют беспокойств серьезным людям, заведывающим делами Европы. Достаточно указать на такие местности, как альпийское побережье Средиземного моря, Шлезвиг и, наконец, Эльзас и Лотарингию. Все эти местности кишат людьми, которые, несмотря на уверения. что понятие о государстве есть понятие безразличное, независимое ни от национальностей, ни даже от исторических преда-

ний, никак не могут понять, почему они обязаны с такого-то момента считать *своим* государством Францию, а не Италию, Германию, а не Данию и не Францию. Единственное в этом отношении исключение составляет Ташкент, но и то не потому, чтобы там идеи о государстве были очень ясны, но потому, что правда, осуществлявшаяся в лице автобачей, не в пример менее доброкачественна, нежели правда, олицетворением которой явились русские уездные исправники.

Одним словом, как-то так выходит, что мы точно с таким же правом называем себя членами государства, с каким пустосвяты называют себя людьми религии. Конечно, такое положение вещей не составляет новости (и в прежние времена, в этом отношении, не лучше было), но ново то, что оно начинает пробуждать пытливость человеческого ума. Покуда люди жили «без тоски, без думы роковой», до тех пор и столпы стояли твердо и прямо. Становые брали взятки, подрядчики надували и обирали казну, крестьяне копили недоимки, сепаратисты говорили: «Нет, никогда москалям не пивать таких водок, как наши малороссийские сливянка и запеканка!» и, за всем тем, никому не приходило на мысль, что от этого может страдать государство. Но вот консерваторы первые заметили, что есть в этом положении вещей что-то неладное, и, разумеется, приписали это интригам злонамеренных людей. Это было с их стороны и неосторожно, и неполитично. Консерваторы лучше других должны были понимать, что есть вещи, которые следует молчаливо оставлять предметом боязливого культа, даже и в таком случае, если б интрига (притом же существующая только в воображении) и действительно направляла против них свое жало.

Но особенную дикость понятий относительно значения слова «государство» выказывают у нас женщины. Вообще они у нас бойки только по части разговоров о том, какое чувство слаще — любовь или дружба, или о том, какую роль играл кринолин в истории женского преуспеяния. Тем не менее еже-ли вы спросите, например, княжну Оболдуй-Тараканову, на какую монету купец даст больше яблок — на гривенник или на целковый, то, быть может, найдутся светлые минуты, когда она и ответит на этот вопрос. Но спросите ее: «Что такое государство?» — и она, во-первых, струсит, а во-вторых, заподозрит в вас или демагога, или шпиона. Она не только ничего тут не понимает, но и считает лишним понимать. И в своей обыденной жизни поступает совершенно так, как бы не была связана никакими государственными узами.

А между тем, заметьте, княжна — совсем не рядовая девица из тех, которые хохочут, когда им показывают палец (имена их ты, господи, веси!). Нет, было время, когда она называла себя консерваторкой и в этом качестве делала из окна ручкой проезжему кавалергарду и выходила гулять не иначе как в сопровождении ливрейного лакея. Теперь она называет себя нигилисткой и, в согласность с этим, постукивает по тротуару каблучками, говорит о трудовой жизни и кавалергардов называет пустоплясами. Стало быть, на ней все-таки что-нибудь да отражается, и она понимает, что выражать собою нечто — приятнее и достойнее, нежели не выражать ровно ничего.

Но ежели даже такая женщина, как княжна Оболдуй-Тараканова, не может дать себе надлежащего отчета ни в том, что̀ она охраняет, ни в том, что̀ отрицает, то что же можно ждать от того несметного легиона обыкновенных женщин, из которого, без всякой предвзятой мысли, но с изумительным постоянством, бросаются палки в колеса человеческой жизни? Несколько примеров, взятых из обыденной жизненной практики, лучше всего ответят на этот вопрос.

В молодости я знал одну почтенную старушку (фамилия ее была Терпугова), обладательницу значительного имения и большую охотницу до гражданских процессов, которая до смерти своей прожила в полном неведении о «государстве», несмотря на то что сам губернатор, встречаясь с нею, считал долгом целовать у нее ручку. И ни домашнее ее хозяйство, ни душевная ясность ее никогда не потерпели ни малейшего ущерба от этого пробела. Она жила, распоряжалась, кормила чиновников обедами, выдавала беременных девок замуж за мужиков в дальние деревни, содержала целую стаю приказных, которые именем ее вели тяжебные дела в судах, и никогда ей даже на мысль не приходило, что она живет и действует таким образом — в государстве.

Однажды приезжает к ней в побывку сын, молодой человек, только лет пять тому назад покинувший школьную скамью, и объявляет, что он уже получил место обер-секретаря в сенате.

— Я, маменька, хоть и молод,— похвастался он,— но начальство любит и отличает меня. Теперь я в своей экспедиции — все. Сенаторы будут дремать, а все дела буду решать — я! Согласитесь сами, что в двадцать пять лет это — штука не маленькая!

— Ну, вот и слава богу! — отвечала почтенная старушка,— теперь, стало быть, ты как захочешь, так и будешь решать! А у меня кстати с птенцовскими мужиками дело об лугах идет;

двадцать лет длится — ни взад, ни вперед! То мне отдадут во владенье, то опять у меня отнимут и им отдадут. Да этак раз с десять уж. А теперь, по крайности, хоть конец будет: как тебе захочется, так ты и решишь.

Как ни упоен был молодой человек собственным величием, но и у него от маменькиных слов дыхание в зобу сперло.

— Помилуйте, маменька! — воскликнул он,— ведь я не затем обер-секретарем сделан, чтобы свои дела в свою пользу решать! Ведь меня за это...

— А ты, мой друг, потихоньку! Разумеется, со всяким встречным об таких делах не след болтать, а так, слегка... как будто тебя не касающе...

— Не касающе! Да сам-то я буду же знать! Ах, маменька, маменька! я ведь не личным своим интересам, а государству служу.

— Так что ж что государству! Государство — само по себе, а свои дела — сами по себе. Об своих делах всякий должен радеть: грех великий у того на душе, который об устройстве своем не печется! Ты знаешь ли, что в Писании-то сказано: имущему прибавится, а у неимущего и последнее отнимется!

— Да, но ведь это, голубушка, совсем не в том смысле сказано!

— В том ли смысле или в другом — это как хочешь, так и можешь понимать. А только я всегда, и как мать и как христианка, скажу: кто об своих делах не радеет, тот и богу не слуга.

На первый раз разговор этим кончился. Но так как за ним скрывались интересы очень существенные, то он возобновился и на другой день, и вообще повторялся в течение всех двадцати восьми дней, покуда длился отпуск Терпугова. Молодой человек нарочно приехал к старухе матери, чтобы обрадовать ее своим возвышением, и вдруг, вместо радости, чуть было не сделался причиной целого семейного переполоха! Тщетно старался он втолковать старухе, что такое государство и почему чувство государственности должно иметь верх над чувством индивидуализма,— почтенная женщина на все его толкования отвечала одними и теми же словами:

— Знаю я, батюшка! Десять лет сряду за убылые души плачу́ — очень хорошо знаю! Кого в солдаты, кого в ратники взяли, а кто и сам собой помер — а я плати да плати! Россия-матушка — вот тебе государство! Не маленькая я, что ты меня этим словом тычешь! Знаю, ах, как давно я его знаю!

— Но ежели вы, маменька, знаете...

— Знаю и все-таки говорю: государство там как хочет, а свои дела впереди всего! А об птенцовских лугах так тебе скажу: ежели ты их себе не присудишь, так лучше и усадьбу,

и хозяйство — всё зараньше нарушь! Плохо, мой друг, то хозяйство, где скота заведено пропасть, а кормить его нечем!

Кончилось тем, что восторжествовал все-таки индивидуализм, а государственность должна была уступить. Правда, что Терпугов оставлял поле битвы понемногу: сначала просто потому, что говорить о пустяках не стоило, потом — потому, что надо же старушку чем-нибудь почтить; но, наконец, разговаривая да разговаривая, и сам вошел во вкус птенцовских лугов.

— А что, в самом деле! — рассудил он,— ведь без птенцовских лугов, пожалуй, и плохо придется? Ну, сам я, положим... ну, конечно, я сам ни за что!.. А кого бы, однако ж, попросить, чтоб это дело направить? То-то старушка обрадуется!

И действительно, года через два процесс о птенцовских лугах был кончен...

Другой пример.

Несколько лет тому назад женился мой однокашник и друг, Володя Горохов. Жена его — очень милая особа, только что вышедшая из института (с шифром) и наивная до бесконечности. Однако медовый месяц ей понравился. К сожалению, Горохов состоит на государственной службе и, в качестве столоначальника департамента препон, очень хорошо помнит мудрое изречение: «Делу — время, потехе — час». Это изречение имел он в виду и при женитьбе, а именно: выпросился в двадцативосьмидневный отпуск с тем, чтобы всецело посвятить это время потехе, а затем с свежею головой приняться за дело.

Сказано — сделано. На двадцать девятый день, утром, проснулась Наденька Горохова — хвать, мужа простыл и след! Живо надела она на босу ногу туфельки и в одной кофточке тихо-тихо подкралась к мужнину кабинету. О, ужас! он сидел за письменным столом совсем одетый и строчил докладную записку «О мерах к пресечению распространения идей между инородцами, населяющими Мамадышский уезд». И перед ним, и по обоим бокам лежали развернутые объемистые дела, в которые он заглядывал с видимым нетерпением, как будто они стесняли полет его административной фантазии. Но что̀ важнее всего, он до такой степени углубился в свою работу, что не только не *почувствовал* присутствия Наденьки, но даже не слыхал приближения ее шагов.

На одно мгновение в белокурой головке Наденьки промелькнула мысль: обидеться ей или нет? Но к чести ее должно сказать, что она перемогла себя и не обиделась. Потихоньку, на цыпочках, приблизилась она к креслу, на котором сидел муж, и зажала ему глаза своими крошечными ручками. Сюрприз застал Володю немного врасплох (в эту минуту он

только что начал загибать фразу: «следовательно, ежели с одной стороны злоумышленники»...), и на мгновение он даже поморщился. Но именно только на одно мгновение, потому что тотчас же вслед за этим он очень нежно отнял от глаз ручки жены, поцеловал их и тоном радостного изумления сказал:

— Как, ты уж и встала, Наденька?

— И он говорит это... бессовестный! Ушел — и думает, что я и не почувствую! А как мне, Володька, без тебя было холодно! Сейчас же бери меня на коленки и согрей!

— Но, Наденька, ты знаешь... Сегодня срок моему отпуску; я должен явиться в департамент, и вот докладная записка...

— Уже?! — воскликнула Наденька.

Только всего она и сказала, но в голосе ее звучало такое горе, что Горохов тревожно взглянул на нее. На голубых ее глазках дрожали две маленькие слезинки, щечки пылали, ротик полураскрылся под влиянием горестного изумления. Словом сказать, никогда она не была так очаровательна. Но Горохов был столоначальник всем естеством своим, и притом такой столоначальник, который с минуты на минуту ждал, что его позовут в кабинет директора и скажут: «Не хотите ли место начальника отделения?» Поэтому, даже в такую опасную минуту, когда кофточка на груди у Наденьки распахнулась,— даже и тогда он не мог выжать из своих мозгов иной мысли, кроме: «Делу — время, потехе — час». Тем не менее он понял, что нужно же как-нибудь утешить это милое дитя, которое так скоро зябнет в его отсутствии. Поэтому он шутливо искривил губы и сказал:

— А ты как думала, дурочка! Ведь я на государственной службе состою и, следовательно, несу известные обязанности. Государство, мой друг, не шутит. Оно уволило меня на двадцать восемь дней, а на двадцать девятый день требует, чтоб я был на своему посту. Ступай же, ангел мой, и постарайся заснуть! В десять часов я тебя разбужу, ты нальешь мне чаю, а в одиннадцать часов я беру шляпу и спешу в департамент!

Но она стояла неподвижно, раскрывши глазки, в которых словно застыли две слезинки, появившиеся еще в начале семейной сцены. Казалось, она ровно ничего не понимала в том сумбуре, который бормотал ее муж.

— Неужели?! — тихо шептала она, покуда муж разводил свою канитель.

— Что такое «неужели»? — обиделся он.

— Неужели ты уже променял меня... *меня!*.. на эти дрянные бумаги? — вырвался из груди ее вопль.

— Но неужели же ты не можешь понять, что сегодня истекает срок моему отпуску? Наденька! да поймн же меня, мой

друг! Я состою на службе; я служу не какому-нибудь частному лицу, а государству... Государству, голубчик мой, государству!

— Ах, это противное государство!

Горохов улыбнулся и обнял Наденьку за талию. Он понимал тайну Наденькиных восклицаний и не без основания надеялся, что с той минуты, как она назвала государство противным, дело непременно должно пойти на лад. И действительно, как только Наденька почувствовала, что он гладит ее по спине, так тотчас же все ее сомнения рассеялись. Через минуту она уже обвила руками его шею и говорила:

— Володька! гадкий! противный! не смей бумагами заниматься! Целуй меня! крепче... вот так!

Это было так мило, что даже вошедший в эту минуту в кабинет лакей Иван — и тот не мог удержаться, чтоб не улыбнуться.

На этот раз размолвка кончилась благополучно. Правда, что Горохов, вместо надлежащих развитий, наскоро закончил свой доклад так: «Посему я полагаю разделить сих людей на три категории: первую — разорить, вторую — расточить, третью — выдержав при полиции, водворить в места жительства под строгий надзор. И тогда край несомненно процветет»,— но все-таки он поспел в департамент как раз за пять минут до того, как прибыл туда директор. Директор принял его милостиво, пристально посмотрел ему в глаза, как будто отыскивал там следы чего-то, и, взяв из его рук докладную записку, дружески молвил:

— Впрочем, я думаю, едва ли вы были в состоянии дать моим мыслям надлежащее развитие. В вашем положении... столь важная перемена в жизни... Поздравляю вас, мой друг! от души поздравляю!

Несмотря на такой исход, государственная карьера Горохова была уже подорвана. Мир был заключен, но на условиях, очень и очень нелегких. Наденька потребовала, во-первых, чтоб в кабинете мужа была поставлена кушетка; во-вторых, чтоб Володька, всякий раз, как идет в кабинет заниматься, переносил и ее туда на руках и клал на кушетку, и, в-третьих, чтобы Володька, всякий раз, как Наденьке вздумается, сейчас же бросал и свои гадкие бумаги, и свое противное государство и садился к ней на кушетку.

Понятно, что, при таком положении вещей, никакие идеи надлежащего развития получить не могли.

Результат оказался плачевный. Мало-помалу Горохов совсем утратил доверие начальства, а вместе с тем и надежду на получение места начальника отделения. И вот на днях

встречаю я его на Невском: идет сумрачный, повесив голову, как человек, у которого на душе скребут мыши, но который, в то же время, уже принял неизменное решение.

— Поздравь меня! я сейчас в отставку подал! — сказал он мне.

— Что так? Помилуй, вот чего бы я никогда не ожидал! Такая блестящая карьера предстояла впереди — и вдруг!

— Карьера моя... то бишь, семейное мое положение... футы! Словом сказать, не клеится тут что-то, мой друг! Быть может, впоследствии... со временем... Прощай, голубчик!

И таким образом, благодаря Наденьке, государство лишилось одного из лучших слуг своих. И на этот раз узкий индивидуализм победил государственность. Спрашивается, могла ли бы Наденька таким образом поступать, если бы в институте ей было своевременно преподано ясное и отчетливое понятие о том, что такое государство? Но, увы! не о государстве и его требованиях толковали ей, а на все лады пели:

L'amour — qu'est que c'est que ça mam'zelle?
L'amour — qu'est que c'est que ça? [1]

И вот плоды.

Третий пример.

Кормилицу мою, семидесятилетнюю старуху Домну, бог благословил семейством. Двенадцать человек детей у нее, всё — сыновья, и все как на подбор — один другого краше. И вот, как только, бывало, пройдет в народе слух о наборе, так старуха начинает тосковать. Четырех сынов у нее в солдаты взяли, двое послужили в ополченцах. Теперь очередь доходит до внуков. Плачет старуха, убивается каждый раз, словно по покойнике воет.

— Вот и бог благословил, а радости нету! — жалуется она мне.

— Напротив того,— урезониваю я ее,— есть радость, и даже большая. Дети твои государству послужат, и этого одного достаточно, чтоб утешить тебя в разлуке с ними.

И я начинаю ей разъяснять, ка́к, что̀ и почему; но по мере того как развиваются мои разъяснения, я и сам незаметным образом сбиваюсь с толку. Вместо того чтоб пропагандировать чистую идею государственности, я ударяюсь в околичности, привожу примеры, доказывающие, что многие солдаты до генеральских чинов дослужились, а больше, конечно, до чина прапорщичьего.

[1] Что такое любовь, мадемуазель?
Любовь — что это такое?

— Так-то так,— возражает старуха,— да что радости! вот у Петра Васильича сын-офицер из полку приехал, взял да отца по шее из дома и выгнал!

И затем опять начинается вой, вой без конца, вой, который нельзя утолить ни увещаниями, ни государственными соображениями. Не понимает глупая баба — и все тут.

Я мог бы привести таких примеров множество, но думаю, что достаточно и трех.

Быть может, мне скажут: «Все это — женщины, которым, по неразумию, многое прощается»?

Позвольте, господа! Откупщики — разве женщины? железнодорожные деятели — разве женщины? Да и сами женщины — разве они не по образу и подобию божию созданы, хотя бы и из ребра Адамова?

Нет! я знаю одно: в бывалые времена, когда еще чудеса действовали, поступки и речи, подобные тем, которые указаны выше, наверное не остались бы без должного возмездия. Либо земля разверзлась бы, либо огонь небесный опалил бы — словом сказать, непременно что-нибудь да случилось бы в предостерегательном и назидательном тоне. Но ничего подобного мы нынче не видим. Люди на каждом шагу самым несомненным образом попирают идею государственности, и земля не разверзается под ними. Что же это означает, однако ж?

Я знаю, впрочем, что не только иностранцы, но и многие русские смотрят на свое отечество, как на Украйну Европы, в которой было бы даже странно встретиться с живым чувством государственности. Нельзя и ожидать, говорят они, чтобы оголтелые казаки сознавали себя живущими в государстве; не здесь нужно искать осуществления идеи государственности, а в настоящей, заправской Европе, где государство является продуктом собственной истории народов, а не случайною административною подделкой, устроенной ради наибольшей легкости административных воздействий.

К сожалению, возражение это делается больше понаслышке, причем теоретическая разработка идеи государства, всепроникающего и всеобъемлющего, смешивается с ее применением на практике.

Несомненно, что наука о государстве доведена на западе Европы до крайних пределов; правда и то, что все усилия предержащих властей направлены к тому, чтоб воспитать в массах сознание, что существование человека немыслимо иначе, как в государстве, под защитой его законов, для всех равно

обязательных и всем равно покровительствующих. Представительными собраниями издано великое множество положений, которые до мельчайших подробностей определяют отношения индивидуума к государству; с другой стороны, учеными издано не меньшее количество трактатов, в которых с последнею убедительностью доказывается, что вне государства нет ни справедливости, ни обеспеченности, ни цивилизации. Зная и видя все это, конечно, ничего другого не остается, как радоваться и восклицать: вот благословенные страны, для которых ничто не остается неразъясненным! вот счастливые люди, которые могут с горделивым сознанием сказать себе, что каждый их поступок, каждый шаг проникнут идеей государственности!

Но есть одно обстоятельство, которое в значительной степени омрачает эту прекрасную внешность. Обстоятельство это — глухая борьба, которая замечается всюду и существование которой точно так же не подлежит сомнению, как и существование усилий к ее подавлению. Трактаты пишутся, но читаются лишь самым незаметным меньшинством, законоположения издаются, но не проникают внутрь ядра, а лишь скользят по его поверхности. И здесь старуха Домна наполняет воздух своим воем и антигосударственными причитаниями.

Отношение масс к известной идее — вот единственное мерило, по которому можно судить о степени ее жизненности. В том еще нет ничего удивительного, что государственные люди и профессора государственного права имеют совершенно отчетливое понятие о значении государства в жизни современных обществ. Это — их ремесло, за которое они получают соответствующее вознаграждение. Можно бы даже и с тем примириться, если б с их стороны было меньше отчетливости, лишь бы массы отрешились от своей одичалости и, хотя до некоторой степени (и притом, конечно, без вознаграждения), сообщили своим стремлениям и действиям характер сознательно-государственный. Но тут-то именно мы и встречаемся с тою же сумятицей, которая существует и у нас, с незначительными лишь видоизменениями в подробностях.

Вот уже целый год, как я скитаюсь за границей: сперва жил в южной Германии, потом в Париже и, наконец, в южной Франции. И все мои наблюдения сводятся к следующему: 1) люди культуры видят в идее государственности базис для известного рода профессии, дающей или прямые выгоды в виде жалованья, или выгоды косвенные — в виде премии за принадлежность к той или другой политической партии, и 2) массы либо совсем игнорируют эту идею, либо относятся к ней крайне робко и безалаберно. Я даже не думаю, чтоб по-

следние почувствовали какое-нибудь беспокойство, если б, например, отбывание воинской повинности — одна из существеннейших прерогатив государства — было объявлено навсегда упраздненным.

Правда, что южная Германия — больное место империи, созданной войною 1870—71 г., но для наблюдателя важно то, что здесь даже резкие перемены, произведенные успехами Пруссии, не помешали появлению некоторых симптомов, которые в других частях новосозданного государства находятся еще в дремотном состоянии. Несмотря на замечательную ловкость прусских государственных людей и сильную поддержку, доставляемую им печатью, партикуляризм не только не успокоивается на юге Германии, но, по-видимому, с каждым годом приобретает более и более ожесточенный характер. Конечно (в особенности в городах), и теперь встречается немало людей убежденных, которых восторгает мысль о единстве и могуществе Германии, о той неувядаемой славе, которою покрыло себя немецкое оружие, раздавивши «наследственного врага», и о том прекрасном будущем, которое отныне, по праву, принадлежит немецкому народу; но ведь эти люди представляют собою только казовый конец современной южногерманской действительности. Под ними и за ними стоят целые массы субъектов, изнемогающих под гнетом вопроса о насущном хлебе, субъектов, которые не вопрошают ни прошедшего, ни будущего, но зато с удивительною цепкостью хватаются за наличную действительность и очень бесцеремонно взвешивают и сравнивают все, что взвешиванию и сравнению подлежит.

Пропаганда идеи о германском единстве ведется уже так давно, что не могла обойти и людей насущного хлеба. Им припоминали прогулки Наполеона I по Германии и угрожали подобными же прогулками «наследственного врага» в ближайшем будущем. Им говорили об общем германском отечестве, которое тогда будет только в состоянии противостать каким бы то ни было присоединительным поползновениям, когда оно сплотится в единое, сильное и могущественное государство. Что только тогда они могут считать себя спокойными за свои семейства и за свою собственность, когда у них не будет смешных государств, вроде Шаумбург-Липпе, о которых ни один путешественник не может говорить иначе как при помощи анекдотов. Что, тем не менее, снисходя к их человеческой слабости, можно примирить партикуляризм с объединением, оставив рядом с общим государством, сильным и неприступным, и прежние частные государства. И что, таким образом, для них откроется возможность иметь разом «две высших правды и два верных подданства».

Из всего этого люди насущного хлеба отнеслись сочувственно только к надежде быть спокойными за свою собственность и за свои семейства; все прочее они выслушали ни сочувственно, ни несочувственно, потому что это прочее составляло для них тарабарскую грамоту. Быть может, некоторым и приходил в голову вопрос: «А в каком положении будут подати и повинности?» — но вопрос этот уже по тому одному остался без последствий, что некому было ответить на него. Война была на носу, и потому все делалось впопыхах. Не до разъяснений в такие минуты, когда требуются деньги и солдаты, солдаты и деньги. Даже представители южногерманской культуры, которые нынче так ясно понимают, что променяли кукушку на ястреба,— и те в то время должны были молчать. Они находились в очень фальшивом положении, ибо над ними тяготело подозрение в недостатке сочувствия к опасностям, угрожающим общему германскому отечеству.

Таким образом, и солдаты, и деньги были даны. И вот, в одно прекрасное утро, баварцы, баденцы и проч. проснулись не просто королевскими, но императорско-королевскими подданными. Само собою разумеется, что это привело их в восторг.

Но это был именно только восторг, слепой и внезапный, а отнюдь не торжество чувства государственности. Это было хмельное упоение славой побед, громом оружия, стонами побежденных,— упоение, к которому, сверх того, в значительной доле примешивалось и ожидание добычи, в виде пяти миллиардов.

Прошло не больше пяти лет, и путешественник уже с изумлением спрашивает себя: «Куда девались восторги? что сделалось с недавним упоением? где признаки того *добровольного* стремления к единству, в жертву которому приносились солдаты и деньги, деньги и солдаты?»

Ничего подобного нет и в помине. Вместо восторгов мы видим полное господство низменных интересов, вместо добровольного стремления к успокоению на лоне великого, единого государства — борьбу. Да, все политическое существование современной Германии представляет отнюдь не торжество государства, а только сплошную борьбу во имя его. Борьбу с партикуляризмом, борьбу с католицизмом, борьбу с социалистическими порываниями — словом, со всем, что чувствует себя утесненным в тех рамках, которые выработал для жизни идеал государства, скомпонованный в Берлине. Но спрашивается: можно ли считать осуществившеюся идею, которая имеет уже за себя право сильного, но и за всем тем вынуждена бороться за свое существование? и можно ли назвать успеш-

ным такое мероприятие, которое выполняется только потому, что за невыполнение его грозит кара?

Повторяю: покуда низменные, будничные интересы держат массы в плену, до тех пор для них недоступна будет высшая идея правды, осуществляемая государством. Немец, ежели он не гелертер, не присяжный политик и не чиновник, есть обыватель по преимуществу. Он всецело предан идее насущного хлеба и тем подробностям, которыми эта идея обставлена; за тем все отношения его к государству, как и у нас, ограничиваются податями и солдатчиною. Подати империя значительно увеличила, солдатчину сделала общедоступною. Все это, конечно, необходимо ради государства, ради его величия и славы, и в Германии на этот счет менее, нежели где-либо, может быть недоразумений. Всякому известно, что столько-то миллионов употреблено на заказ пушек, столько-то на приобретение ружей новой системы, столько-то на постройку и вооружение крепостей и что все это необходимо на страх наследственным и ненаследственным врагам. Но когда люди думают совсем о другом, то от них самые доказательные убеждения отскакивают, как от стены горох.

— Все миллиарды, уплаченные Францией, употреблены на составление инвалидного фонда, да на вооружения, да на дотации, а на развитие промышленности ничего не попало! — жалуется один немец.

— Прежде мы солдатчины почти не чувствовали, а теперь даже болезнью от нее не отмолишься. У меня был сын; даже доктор ему свидетельство дал, что слаб здоровьем,— не поверили, взяли в полк. И что ж! шесть месяцев его там мучили, увидели, что малый действительно плох, и прислали обратно. А он через месяц умер! — вторит другой немец.

— У нас нынче в школах только *завоеваниям* учат. Молодые люди о полезных занятиях и думать не хотят; всё — «Wacht am Rhein» да «Kriegers Morgenlied»[1] распевают! Что из этого будет — один бог знает! — рассказывает третий немец.

— Все наши соки Берлин сосет...

Понятно, что в людях, которые таким образом говорят, чувство государственности должно вполне отсутствовать.

Во Франции это дело поставлено иначе. Там партикуляризма, в смысле политической партии, не существует вовсе; борьба же с католицизмом ведется совсем не во имя того, что он

[1] «Стражу на Рейне», «Утреннюю песню воина».

служит помехою для исполнения начальственных предписаний, а во имя освобождения человеческой мысли от призраков, ее угнетающих. Сверх того, во Франции, с 1848 года, практикуется всеобщая подача голосов, которая, по-видимому, должна бы непрестанно напоминать обывателям, во-первых, о том, что они живут в государстве, и, во-вторых, о том, что косвенно каждый из них участвует и в выборе правителей страны, и в самом управлении ею.

Тем не менее все это отнюдь не устраняет множества недоразумений, которые и тут, как и везде, ставят идею государства в условия, весьма для нее неблагоприятные.

Несмотря на несколько революций, во Франции, как и в других странах Европы, стоят лицом к лицу два класса людей, совершенно отличных друг от друга и по внешнему образу жизни, и по понятиям, и по темпераментам. Во главе государства стоит так называемый правящий класс, состоящий из уцелевших остатков феодальной аристократии, из адвокатов, литераторов, банкиров, купцов и вообще всевозможных наименований буржуа. Внизу — кишит масса управляемых, то есть городских пролетариев и крестьян. И тот и другой классы относятся к государству совсем неодинаковым образом.

В среде правящих классов стремление к государственности высказывается довольно определенно. У буржуа государство не сходит с языка, так что вы сразу чувствуете, что этот человек даже не может мыслить себя вне государства, ибо слишком хорошо понимает, что это единственное его убежище против разнузданности страстей. Государство ограждает его собственность; оно устроивает в его пользу тысячи разнообразнейших удобств, которые он никак не мог бы иметь, предоставленный самому себе; оно охраняет его предприятия против завистливых притязаний одичалых масс и, в случае надобности, встанет за него горой. Взвешивая все эти выгоды и сравнивая их с теми жертвами, которые государство, взамен их, от него требует, буржуа не может не сознавать, что последние почти ничтожны, и потому редко ропщет по их поводу (между прочим, он понимает и то, что всегда имеет возможность эти жертвы разложить на других). И жизнь его течет легко и обильно, проникнутая сознанием тех благ, которые изливаются на него государством, и решимостью стоять за него, по крайней мере, до тех пор, пока этой решимости не будет угрожать серьезная опасность.

Но самая эта уверенность в возможности всегда найти для себя защиту под покровом государства имеет свою невыгодную сторону. А именно: она делает буржуа самонадеянным и даже привередливым; она приучает его неряшливо относиться

к тому самому предмету, перед которым он должен только благодарно благоговеть. Убежденный, что будущее, во всяком случае, принадлежит ему, буржуа уже не довольствуется тем, что у него есть государство, которое не даст его в обиду, но начинает рассуждать вкривь и вкось о форме этого государства и признает законною только ту форму, которая ему люба. Есть буржуа-монархисты и есть буржуа-республиканцы. Монархистов три сорта: легитимисты, орлеанисты и бонапартисты; республиканцев тоже три сорта: левый центр, просто левая сторона и, наконец, крайние левые. И все эти прихотливые буржуа видят друг в друге смертельных врагов, предаются беспрерывным взаимным пререканиям и в этих чисто внешних эволюциях доходят иногда до такого пафоса, что издали кажется, не забыли ли они, что у всех у них одна цель: чтоб государство оставалось неприкосновенным и чтоб буржуа был сыт, стоял во главе и благодушествовал.

Из области государства дело переходит в область вопроса о кличках и о принадлежности тому или другому хозяину. Является предательство, измена, желание лучше утопить страну, нежели дать возможность восторжествовать противнику. Словом сказать, все те скандалы, которыми так обильно было существование недавно канувшего в вечность Национального собрания и которые так ясно доказали, что политическая арена слишком легко превращается в арену для разрешения вопроса: при ком или при чем выгоднее? — благоразумно при этом умалчивая: для кого?

Результатом такого положения вещей является, конечно, не торжество государства, а торжество ловких людей. Не преданность стране, не талант, не ум делаются гарантией успеха, а пронырливость, наглость и предательство. И Франция доказала это самым делом, безропотно, в течение двадцати лет, вынося иго людей, которых, по счастливому выражению одной английской газеты, всякий честный француз счел бы позором посадить за свой домашний обед.

Таким образом, и государство, и все, что до него относится, находится во Франции, так сказать, на откупу у буржуазии. Что же касается до масс, то они коснеют в полном неведении чувства государственности и в совершенном равнодушии к тем политическим пререканиям, которые волнуют буржуазию. И здесь, как и везде, очень мало сделано в этом отношении, и здесь, как и везде, государство представляется исключительно в виде усмирителя и сборщика податей, а не в виде убежища. Над массами тяготеют два закона: над городскими пролетариями — закон отчаяния, над обывателями деревень — закон бессознательности. От этого первые, при удобном случае, так

легко ударились в коммуну; от этого вторые, во время прусской войны, массами бежали с поля сражения. Первые не понимали, что́ они разрушают, вторые — что́ им предстоит защищать. И в том и в другом случае — уверенность, что формы правления безразличны и что все они имеют в виду только вящее утучнение и без того тучного буржуа, уверенность печальная и даже неосновательная, но тем не менее сообщающая самому акту всеобщей подачи голосов характер чистой случайности.

Последний опыт всеобщей подачи голосов, происходивший в феврале 1876 года, дал торжество республиканской партии. Буржуазия, по-видимому, поняла, что республика нисколько не препятствует осуществлению ее стремлений, и, во-вторых, что она представляет даже больше шансов для «благоразумной экономии». Вследствие этого, во время избирательного периода, Франция была покрыта целою сетью комитетов, которых цель заключалась в уловлении масс. Усилия комитетов увенчались успехом. Правда, что почти везде целая треть избирателей воздержалась от подачи голосов и, затем, остальные две трети выказали в этом случае больше дисциплины, нежели сознательности; но, как бы то ни было, поле сражения осталось за республикой. Естественно, что республиканцы поспешили запечатлеть эту победу практическим результатом. Министерство Дюфора — Бюффе пало и было заменено министерством Дюфора — Рикара...

Когда я узнал об этом из газет, то, конечно, прежде всего поспешил сообщить о происшедшей перемене портье того пансиона, в котором я поселился.

— Vous savez, André,— сказал я ему,— que le ministère Dufaure — Buffet n'existe plus, et que dèsormais c'est le ministère Dufaure — Ricard qui dirigera les destinées de la France? [1]

Но, к удивлению, он до такой степени не понял моего вопроса, что заставил меня повторить его. И когда я это сделал, то он вытаращил глаза и произнес:

— Est-ce que je sais! [2]

А между тем этот человек существует (cogito ergo sum [3]), получает жалованье, устроивает, как может, свои дела, и я даже положительно знаю, что 20-го февраля он подал голос за республиканца. И все это он делает, ни разу в жизни не спросив себя: «Что́ такое государство?»

Можно ли так жить?

[1] Вы знаете, Андрэ, что министерства Дюфора — Бюффе более не существует и отныне судьбами Франции будет управлять министерство Дюфора — Рикара?

[2] А мне-то что!

[3] мыслю — значит, существую.

ТЯЖЕЛЫЙ ГОД

Прошу читателя перенестись мыслью в эпоху 1853—1855 годов.

Я жил тогда в одном из опальных захолустьев России. В Крыму, на Черном море, на берегах Дуная гремела война, но мы так далеко засели, что вести о перипетиях военных действий доходили до нас медленно и смутно. Губерния наша была не дворянская, и потому в ней не могли иметь места шумные демонстрации. Не было у нас ни обедов по подписке, ни тостов, ни адресов, ни просьб о разрешении идти на брань с врагом поголовно, с чадами и домочадцами. Мы смирно радовались успехам родного оружия и смирно же горевали о неудачах его. За отсутствием дворянства, интеллигенцию у нас представляло чиновничество и весьма немногочисленное купечество, высшие представители которого в этой местности искони променяли народный зипун на немецкий сюртук. К интеллигенции же причисляло себя и довольное количество ссыльных, бо̀льшая часть которых принадлежала к категории «политических». И чиновники, и купцы, и даже ссыльные — все это был люд, настолько занятой и расчетливый, что затевать подписные обеды было решительно некому и некогда. Было, правда, между ссыльными несколько шулеров, делателей фальшивых ассигнаций и злоупотребителей помещичьей властью (был даже пожилой, но очень видный мажордом, ходивший с большим бриллиантовым перстнем на указательном пальце и сосланный по просьбе детей княгини Т*** за «предосудительные действия, сопровождаемые покушением войти в беззаконную связь с их родительницей»), которым, казалось бы, представлялся при этом отличнейший случай блеснуть, но и они вели себя как-то сдержанно, в той надежде, что сдержанность эта поможет им пройти в общественном мнении зауряд с «политическими». Такое уж было тогда время, что даже в захолустном обществе «политических» принимали лучше, ласковее, нежели шулеров.

Патриарх у нас в то время был старый, беззубый, безволосый, малорослый и совсем простой. Это было тем более необыкновенно, что рядом, в соседней губернии, патриарх был трех аршин роста и имел грудь колесом. Даже в нашем захолустье как-то обидным казалось появление такого человека на патриаршеском поприще. Тогда времена были строгие, и от патриарха требовалось, чтоб он был «хозяин» или, по малой мере, «орел». Наш же, даже в сравнении с сторожами губернского правления, казался ощипанною курицей. И к довершению всего, фамилию он носил какую-то странную: Набрюшни-

ков. Все это, вместе взятое, самую губернию как бы принижало, переводило от высшего в низший класс, чем в особенности обижался вице-губернатор.

— Просто курам на смех! — негодовал он,— не патриархом ему быть, а в шалаше сидеть да горох стеречь!

И попал он к нам самым странным образом. Служил он некогда в одной из внутренних губерний акушером при врачебной управе (в то время такая должность была, так и назывался: «акушер врачебной управы»), но акушерства не знал, а знал наговор, от которого зубную боль как рукой снимало. Многих он от зубного недуга исцелил, и в числе этих многих случилась одна из местных магнаток, графиня Варвара Алексеевна Серебряная. Прошло после того много лет; Набрюшников успел выйти в отставку с чином действительного статского советника (чин этот выхлопотала ему графиня) и поселился у себя в деревне. И прожил бы он там спокойно остальные дни живота своего и, по всем вероятиям, даже изобрел бы средство избавлять домашних птиц от типуна, как вдруг получил от графини письмо: «Любезный куманек, господин Набрюшников! С тех пор как ты мне услугу оказал, от зубов навсегда избавил, не успела я тебя еще как следует отблагодарить. А нонича мне министр два преотличнейших места на пари проиграл, так одно из них, пожалуй, не откажи мне, прими. Место, правда, не бойкое, да ведь прокормиться и в тишине можно. Еще где потише, пожалуй, для вашего брата сытее будет. А впрочем, пребываю к вам доброжелательная». И вот через месяц он уже сидел на проигранном месте, сидел плотно и поселял своим видом уныние во всех сердцах, которым дороги были достоинство и блеск губернии.

Смирен он был до такой степени, что даже акциденции почти исключительно брал провизией. Подадут, например, у городского головы зернистой икры к закуске, он сейчас же поманит хозяина пальцем: нельзя ли, дескать, мне фунтиков десять прислать. Или узнает, что такой-то купец на ярмарку едет, сейчас ему реестрик: изюму столько-то, миндальных орехов столько-то, шепталы, чернослива и т. д. Однажды был даже такой случай, что по целому городу мужичок с возом мерзлой рыбы ездил, спрашивая, где живет патриарх: оковский, мол, исправник в презент ему рыбки прислал. Много было у нас толков по поводу этого случая.

— Ах, срам какой! — восклицал советник питейного отделения, Петр Гаврилыч Птенцов.— Рыбой!

— Рыбой берет! Рыбой! — выходил из себя вице-губернатор.

— Не вник еще! Еще узы ему бог не разрешил! — замечал

уездный лекарь Погудин, человек ума острого и прозорливого, как бы предрекая, что придет время, когда узы сами собою упадут.

Даже обывателям казалось как-то постыдно, что с них такую малость берут, так что многие избегали его и на званые обеды не приглашали.

— Ну, возьми он! Ну, если уж так надобно... ну, возьми! А то — рыбой! Рыбой! — восклицали все хором.

В те времена о внутренней политике в применении к администрации еще не было речи, а была только строгость. Но жить все-таки было можно. Были, правда, как я уже сказал выше, «политические», но в глазах всех это были люди, сосланные не за какие-нибудь предосудительные поступки, а за свойственные дворянскому званию заблуждения. Заблуждаться казалось естественным. «Заблуждаться» — это означало любить отечество по-своему, не так, быть может, как начальство приказывает, но все-таки любить. Заблуждались преимущественно дворяне, потому что их наукам учили. Ежели бы не учили их наукам, то они и не заблуждались бы. Во всяком случае, ни о «внутренних врагах», ни о «неблагонадежных элементах» тогда даже в помине не было. Какие к черту «внутренние враги», которые сидят смирно да книжки читают? И как им книжек не читать, когда их тому в кадетских корпусах учили! Наукам учат, а заблуждаться не позволяют — на что похоже! Таково было тогдашнее настроение умов нашей интеллигенции, и вследствие этого «политических» не только не лишали огня и воды, но даже не в пример охотнее принимали в домах, нежели шулеров, чему, впрочем, много способствовало и то, что «политические», по большей части, были люди молодые, образованные и обладавшие приличными манерами. Даже жандармский полковник сознавал это и хотя, играя в клубе в карты, запускал по временам глазуна в сторону какого-нибудь «политического», но делал это почти машинально, потому только, что уж служба его такая.

Просто было тогдашнее время, а патриарх наш ухитрился упростить его еще больше. Всякий обходился с ним запанибрата, всякий мог ему противоречить и даже грубить. Собственные его чиновники особых поручений, народ молодой и ветреный, в глаза смеялись над ним, рассказывая всякие небылицы. Однажды его очень серьезно уверяли, будто одного из его предместников губернское правление сумасшедшим сделало. Пришел, дескать, он в губернское правление, закричал, загамил, на закон наступил, а советники (в то время вице-губернаторы не были причастны губернским правлениям, а в казенных палатах председательствовали), не будь просты, по-

слали за членами врачебной управы, да и составили вкупе акт об освидетельствовании патриарха в состоянии умственных способностей. И Набрюшников поверил этому...

Панибратство это тоже многим казалось обидным, ибо тоже принижало губернию. Все чувствовали, все понимали, что на этом месте должен быть «орел», а тут вдруг — тетерев! Даже сторожа присутственных мест замечали, что есть в нашем патриархе что-то неладное, и нимало не стеснялись в выражении своего негодования.

— Какой это начальник! — говорили они,— идет, бывало, начальник — земля у него под ногами дрожит, а этот идет, ногами во все стороны дрыгает, словно кому киселя дать хочет!

— За губернию стыдно-с! — вторил сторожам вице-губернатор.

Итак, вот при какой административной обстановке застигла нас памятная эпоха 1854—1856 годов.

Повторяю: вести с театра войны доходили до нас туго. Не было в то время ни железных дорог, ни телеграфов, а были только махальные. Почта приходила к нам из Петербурга два раза в неделю, да и то в десятый день. Собираясь в почтовые дни в клубе, мы с жадностью прочитывали газеты и передавали друг другу известия, полученные частным путем. Но, в сущности, мы очень хорошо понимали, что все наши тревоги и радости (смотря по содержанию полученных известий) происходят, так сказать, задним числом и что, быть может, в ту самую минуту, когда мы, например, радуемся, действительное положение дела представляет картину, долженствующую возбудить чувство совершенно иного, противоположного свойства.

В особенности много мутили нас частные письма, которыми мы, так сказать, комментировали загадочность газетных реляций. То держится Севастополь, то сдан; то сдан и опять взят. По поводу подобных известий сочинялись целые планы кампаний. С картой театра военных действий в руках стратеги в вицмундирах толковали по целым часам, каким образом могло случиться, что француз сперва взял Севастополь, а потом снова его уступил. Встречались при этом такие затруднения, что для разъяснения их обращались к батальонному командиру внутренней стражи (увы! ныне уж и эта должность упразднена!), который, впрочем, только таращил глаза и нес сущую чепуху.

— Все зависит от того,— говорил он,— как начальство прикажет-с. Прикажет сдать — сдадим-с. Прикажет опять взять — возьмем-с.

Таким образом, по части внешних известий все было мрак и сомнение...

Был, однако ж, признак, который даже искренно убежденных в непобедимости русского оружия заставлял печально покачивать головами. Этот признак составляли: беспрерывные рекрутские наборы, сборы бессрочноотпускных и т. п. За месяц и за два мы знали, что предстоит набор, по тем распоряжениям, которые обыкновенно предшествуют этой мере. В палате государственных имуществ наскоро составлялись призывные списки, у батальонного командира, в швальной, шла усиленная заготовка комиссариатских вещей. А так как распоряжения этого рода учащались все больше и больше, то и сомнения невольным образом усиливались.

Сидим мы, бывало, в клубе и трактуем, кто остался победителем при Черной, как вдруг в залу влетает батальонный командир и как-то необыкновенно юрко, словно его кто-нибудь с праздником поздравил, возглашает:

— Сорок тысяч пар сапогов приказано изготовить-с!

Или:

— Получено распоряжение выслать в К. сто человек портных-с!

При этом известии обыкновенно наступала минута сосредоточенного молчания. Слово «набор» жужжало по зале, и глаза всех присутствующих инстинктивно устремлялись к столу, где сидели за вистом председатель казенной палаты и советник ревизского отделения и делали вид, что ничего не слышат. Но всем понятно было, что они не только слышат, но и мотают себе на ус. А прозорливый Погудин даже прозревал весь внутренний процесс, который происходил в это время в советнике ревизского отделения.

— Посмотрите,— говорил он,— как у Максима Афанасьича левое ухо разгорелось! К добрым вестям, значит. Набор будет.

И действительно, наборы почти не перемежались. Не успеем один отбыть, как уж другой на дворе. На улицах снова плачущие и поющие толпы. Целыми волостями валил народ в город и располагался лагерем на площади перед губернским рекрутским присутствием, в ожидании приемки. На всю губернию было в то время только четыре рекрутских присутствия; из них к губернскому причислено было три с половиной уезда с населением около двухсот тысяч душ, с которых причиталось до тысячи рекрутов (некоторые волости должны были совершить скорбный путь в триста с лишком верст, чтобы достигнуть губернского города). В рекрутском присутствии шла деятельность беспримерная. Прием начинали с восьми часов

утра, кончали в четыре пополудни, принимая в день от восьмидесяти до ста двадцати человек. Происходила великая драма, местом действия которой было рекрутское присутствие и площадь перед ним, объектом — податное сословие, а действующими лицами — военные и штатские распорядители набора, совместно с откупщиком и коммерсантами — поставщиками сукна, полушубков, рубашечного холста и проч.

Я не могу сказать, как велика была сила патриотизма в объекте драмы, то есть в податном сословии. В то время мы как-то не обращали на этот предмет внимания. Но зато действующие лица драмы были настолько патриоты, что не только не изнемогали под бременем лежавших на них обязанностей, но даже как бы почерпали в них новые силы. Максим Афанасьич (советник ревизского отделения) хотя и жаловался на лом в пояснице, но в рекрутское присутствие ходил неупустительно. Лицо у него сделалось масленое, глаза покрылись неисточимою слезой, и что̀ всего замечательнее, когда кто-нибудь у него спрашивал, как дела, то он благодарил, видимо стараясь взглянуть вопрошающему как можно прямее в глаза. Председатель казенной палаты прямо говорил, что не только в настоящий набор, но если будет объявлен и другой, и третий — он всегда послужить готов. Управляющий палатой государственных имуществ смотрел даже благороднее, нежели обыкновенно, и всем существом как бы говорил: «Никакая клевета до меня коснуться не может!» Откупщик, перекрест из евреев, не только не сомневался в непобедимости русского оружия, но даже до того повеселел, что, задолго до появления г. Вейнберга, утешал общество рассказами из еврейского быта. Батальонный командир метался, словно вьюн на сковороде: то вытягивался, то свертывался в кольцо, то предавался боковому конвульсивному движению.

Один патриарх продолжал на все смотреть холодными глазами и даже никому не завидовал.

Однако после второго или третьего набора стали мы замечать, что у старика начинают раздуваться ноздри, как будто он к чему-то принюхивается. Первый, разумеется, заметил это прозорливый лекарь Погудин.

— Помяните мое слово,— говорил он,— что к следующему набору бог ему узы разрешит!

И точно, мало-помалу стал он подсаживаться то к председателю казенной палаты, то к батальонному командиру, то к управляющему палатой государственных имуществ. Сядет и смотрит не то мечтательно, не то словно в душу проникнуть хочет. И вдруг заговорит о любви к отечеству, но так загово-

рит, что председатель казенной палаты так-таки и сгорит со стыда.

— «Впроситься» старик хочет! — по секрету сообщил председатель Максиму Афанасьичу.

— Похоже на то-с! — меланхолически ответил Максим Афанасьич.

И все словно замерли, в ожидании, что будет.

И вот однажды, после пульки, подсел старик к батальонному командиру и некоторое время до того пристально смотрел на него, что полковник весь съежился.

— Ну-с, как дела, полковник? — вдруг произнес старик.

— Помаленьку, вашество!

— То-то «пома-лень-ку»! — проскандировал старик, постепенно возвышая голос, и в заключение почти уж криком крикнул.— Старика, сударь, забываете! Да-с!

С этими словами он встал и твердыми шагами вышел из клубной залы.

Смятение было невообразимое; у всех точно пелена с глаз упала. И вдруг, без всякого предварительного соглашения, в одно мгновение ока, всем припомнилось давно забытое слово «начальник края»...

Это было незадолго до появления манифеста об ополчении...

Пришел наконец и манифест. Патриарх прозрел окончательно.

Прежде всего его поразила цифра. Всего, всего тут было много: и холста, и сукна, и сапожных подметок, не говоря уже о людях. Ядреная, вкусная, сочная, эта цифра разом разрешила связывавшие его узы, так что прежде даже, нежели он мог хорошенько сообразить, какое количество изюма, миндаля и икры представляет она, уста его уже шептали:

— Теперь я всё сам. Сам всё сделаю. Да-с, сам-с.

И шептал он это с каким-то злорадством, словно бы хотел отмстить всем этим хищникам, которые бесцеремонно набивали свои карманы, а его держали на балыках да на зернистой икре.

В тот же вечер он призвал к себе откупщика и огорошил его вопросом:

— Ты, любезный, мне что̀ присылаешь?

Откупщик стоял, как опущенный в воду, и не смел взглянуть ему в глаза.

— Два ведра водки в месяц мне посылаешь! Ска-а-ти-на!

Больше он ничего не сказал, но весть об этом разговоре

с быстротою молнии разнеслась по городу, так что на следующий день, когда, по случаю какого-то чиновничьего парада, мы были в сборе, то все уже были приготовлены к чему-то решительному.

И действительно, трудно даже представить себе, до какой степени он вдруг изменился, вырос, похорошел. Многим показалось даже, что он сидит на коне и гарцует, хотя в действительности никакого коня под ним не было. Он окинул нас взором, потом на минуту сосредоточился, потом раза с два раскрыл рот и... заговорил. Не засвистал, не замычал, а именно заговорил.

Прежде всего он поставил вне всякого сомнения, что удобный для истребления врага момент наступил.

— У врагов наших есть нарезные ружья, но нет усердия-с,— сказал он,— у нас же хотя нет нарезных ружей, но есть усердие-с. И притом дисциплина-с. Смирно! — вдруг крикнул он, грозя на нас очами.

Затем, очень лестно отозвавшись об ополчении, которому предстоит в близком будущем выполнение славной задачи умиротворения, он перешел от внешних врагов к внутренним (он первый употребил это выражение, и так удачно, что после того оно вполне акклиматизировалось в нашем административном обиходе), которых разделил на две категории. К первой он отнес беспокойных людей вообще и критиков в особенности.

— Ни беспокойных людей, ни критиков — я не потерплю,— сказал он.— Критики вообще вредны, а у нас в особенности. Государство у нас обширное, а потому и операции в нем обширные. И притом в самоскорейшем времени-с. Следовательно, если выслушивать критики, то для одного рассмотрения их придется учредить особую комиссию, а впоследствии, быть может, и целое министерство. А ополчение тем временем будет без сапог-с. Не критиковать надобно, а памятовать, что в мире все подвержено тлению, а амуничные вещи в особенности. Скажу вам притчу. В прошлом году некоторый садовод посадил у себя в саду две яблони, а в нынешнем ожидал получить от них плод. И точно: одна яблоня дала плод, но другая — высохла. Ужели же следует садовода за это критиковать? Подобно сему — и ратницкий сапог. Один сапог дойдет до Севастополя, другой — только до первой станции. Никакая критика в этом случае не поможет, потому что достоинство сапога зависит не от критики, а от сапожника. Закон это предвидел и потому ни в каком ведомстве должности критика не установил-с.

К другой категории «внутренних врагов» он отнес тех чи-

новников «посторонних ведомств», которые, выставляя вперед принцип разделения властей, тем самым стремятся к пагубному административному сепаратизму.

— Многие из вас, господа, не понимают этого,— сказал он, не то гневно, не то иронически взглядывая в ту сторону, где стояли члены казенной палаты,— и потому чересчур уж широкой рукой пользуются предоставленными им прерогативами. Думают только о себе, а про старших или совсем забывают, или не в той мере помнят, в какой по закону помнить надлежит. На будущее время все эти фанаберии должны быть оставлены. *Я* здесь всех критикую, *я*-с. А на себя никаких критик не потерплю-с!

Высказавши это, он в заключение воскликнул:

— А теперь обратимся к подателю всех благ и вознесем к нему теплые мольбы о ниспослании любезному отечеству нашему победы и одоления. Милости просим в собор, господа!

Речь эта произвела очень разнообразное впечатление. Губернское правление торжествовало, казенная палата казалась сконфуженною, палата государственных имуществ внимала в гордом сознании своего благородства. Батальонный командир держал руки по швам, жандармский полковник старался вникнуть.

Даже строительная комиссия — и та соображала, нельзя ли и ей примкнуть к общему патриотическому настроению, вызвавшись взять на себя хозяйственную заготовку пик и другого неогнестрельного оружия.

Я ехал в собор вместе с Погудиным.

— А ведь речь-то хоть куда! — сказал я,— и, главное, совсем неожиданно.

— Это бывает,— ответил он,— в моей практике я и не такие чудеса видел. Позвали меня однажды к попу. Прихожу, лежит мой поп, как колода, языком не владеет, не слышит, не видит, только носом нюхает. Домашние, разумеется, в смятении; приготовляют горчишники, припарки. «Не нужно, говорю, ничего, а вот поднесите ему к носу ассигнацию». И что ж бы вы думали? как только он нюхнул, вдруг вскочил как встрепанный! Откуда что полезло: и заговорил, и прозрел, и услышал! И сейчас же водки попросил.

— Ну, вы это ехидничаете. А вы по правде скажите: хороша речь?

— Хороша-то хороша. И критиков заранее устранил, и насчет этой дележки: «Об себе, мол, думаете, а старших забываете»... хоть куда! Только вот что я вам скажу: не бывать вороне орлом! Как он там ни топырься, а оставят они его по-прежнему на одних балыках!

— Будто бы!

— Право, так. Взглянул я давеча на управляющего палатой государственных имуществ: уж так он благородно смотрел! Словно так вот всем естеством и говорит: «Ты только меня припусти к ополчению, а уж я тебе покажу, где раки зимуют!»

— Да ведь вы известный пессимист!

— Верьте моей опытности. Управляющий палатой государственных имуществ — это именно тот самый человек, про которого еще в древности писано было: «И придут нецыи, и на вратах жилищ своих начертают: „Здесь стригут, бреют и кровь отворяют“». А Набрюшникову — балыки!

Когда мы приехали в собор, литургия уже оканчивалась. Потом шел молебен с коленопреклонением. Певчие превзошли себя, протодьякон тоже. Набрюшников стоял впереди и от времени до времени осматривался назад, как бы испытывал, нет ли где «внутренних врагов». Я случайно взглянул на управляющего палатой государственных имуществ. Он смотрел благородно и вместе с прочими выражал доверие в силу русского оружия, но с тем лишь непременным условием, если ему, управляющему, будет предоставлено хозяйственное заготовление нужных для ополчения вещей. Не знаю почему, но мне невольно вспомнились при этом слова Погудина: «А Набрюшникову — балыки!»

Итак, «придут нецыи и на вратах жилищ своих начертают: «Здесь стригут, бреют и кровь отворяют»...

Несмотря на шуточность тона, предсказание Погудина сильно огорчило меня. Увы! оно относилось к моему приятелю Удодову, управляющему палатой государственных имуществ.

Владимир Онуфриевич Удодов был самый симпатичный из пионеров того времени. Если б я был женщина-романист, то следующим образом описал бы наружность его: «Его нельзя было назвать красавцем, но лицо его представляло такое гармоническое сочетание линий, что в нем, как в зеркале, отражались все свойства прекрасной души. Темные волосы счастливо оттеняли высокий матовой белизны лоб, на котором мысль врезала клеймо свое. То была скорбная, горькая мысль, которая глубоко, до самого сердца, пускала свои разветвления. Под влиянием ее, выразительное лицо его мгновенно вспыхивало, тонкие античные ноздри нервно вздрагивали, а глубокие темные глаза гневно искрились. Эти глаза — их нельзя было забыть. Темно-серые, вдумчивые, они, как живая загадка, выглядывали из-за больших темных ресниц. Что су-

лили они? упоение или горечь разочарования — это была тайна, которую знало только его сердце да сердце той... Но не будем предупреждать событий и скажем только, что тот, кто однажды видел эти глаза, навсегда был преследуем воспоминанием об них. Голос у него был мягкий, вкрадчивый и до такой степени мелодичный, что сердце женщины, внимавшей ему, словно пойманная птичка, трепетало в груди. Роста он был небольшого, но строгая соразмерность всех частей организма заставляла забыть об этом недостатке, если можно назвать это недостатком в мужчине, который не предназначал себя в тамбурмажоры. Прибавьте к этому тончайший запах ess-bouquet, которым он имел привычку душить свой носовой платок,— и вы получите разгадку того обаятельного действия, которое он производил на женщин».

Но я не романист и не женщина, а потому скажу просто: Удодов был пионер. Он ревностно поддерживал и хранил те преобразовательные традиции, в силу которых обыватели, с помощью целой системы канцелярских мероприятий, долженствовали быть приведенными к одному знаменателю. Тогда не было еще речи ни о централизации, ни о самоуправлении, ни об акцизном и контрольном ведомствах, но уже высказывались, хотя и с большою осторожностью, мнения о вреде взяточничества и о необходимости оградить от него обывателей при пособии хорошо устроенной системы опекательства. Это было своего рода веяние времени, не преминувшее разрешиться появлением целого полчища Удодовых, которые бойко принялись за выполнение предлежавшей им реформаторской задачи. В провинции Удодовы были встречены с некоторым недоумением и даже с боязнью; втихомолку их называли эмиссарами Пугачева.

Владимир Онуфриевич любил блеснуть своими ораторскими дарованиями. Он охотно говорил обо всем: и о народе, и о высших соображениях, и о святости задачи, к выполнению которой он призван. У него был всегда наготове целый словесный поток, который плавно, и порой даже с одушевлением, сбегал с его языка, но сущность которого определить было довольно трудно. Так, например, я никогда не мог вполне определительно ответить на вопрос, действительно ли он «жалеет» народ или, в сущности, просто-напросто презирает его. Чаще всего мне казалось, что он в народе усматривает подходящую anima vilis[1], над которою всего удобнее производить опыты канцелярских преобразований и которую, ради успеха этих преобразований, позволительно даже слегка поуродовать.

[1] «гнусиую душу», то есть подопытное животное.

Вообще это был человек нервный, увлекающийся не столько собственными идеями, сколько идеями своих начальников, которые он воспринимал необыкновенно живо. Мысль ограждать невежественную массу крестьян от притязаний чиновников-взяточников несомненно увлекала и его самого, но она сделалась для него еще более привлекательною вследствие того, что к задаче ограждения пристегивали еще, с начальственного соизволения, воспитательный элемент. Мало ограждать, надо еще опекать. Приятно сказать человеку: «Ты найдешь во мне защиту от набегов!», но еще приятнее крикнуть ему: «Ты найдешь во мне ум, которого у тебя нет!» И Удодов неутомимо разъезжал по волостям, разговаривал с головами и писарями, старался приобщить их к тем высшим соображениям, носителем которых считал самого себя, всюду собирал какие-то крохи и из этих крох составлял записки и соображения, которые, по мере изготовления, и отправлял в Петербург. Все мужицкие обычаи представлялись ему вредными, весь мужик — подлежащим коренной переделке. Записки «о средствах к истреблению нерачительности и лени», «о необходимости искоренения вредных предрассудков» сыпались одна за другою, свидетельствуя о неусыпной реформаторской деятельности Удодова. И что в особенности дорого было в этих «записках» — это полное совпадение их с тем общеопекательным тоном, который господствовал в то время в одной части петербургского бюрократического мира! Начальство читало эти записки и думало: «Вот оно! отовсюду одно и то же пишут!» — нимало не подозревая, что оно, так сказать, занималось перепиской само с собою, то есть само себе посылало руководящие предписания и само от себя же получало соответствующие своим желаниям донесения.

Как бы то ни было, но в общежитии Удодов был малый положительно приятный и любезный. Он охотно сближался с молодыми людьми и не только не важничал, подобно прочим чинам пятого класса, но даже пускался с ними в откровенные беседы, предмет которых преимущественно составляли: святость его миссии и бюрократическая его безупречность. Одно было в нем несколько подозрительно: он слишком часто впадал в нервную раздражительность, слишком охотно злоупотреблял «слезою». Это как-то напоминало Ипполита Маркелыча Удушьева, о котором в таких восторженных выражениях отзывался Репетилов...

Нередко мы целыми вечерами просиживали с ним один на один, и, право, это были недурные вечера. За стаканом доброго вина он передавал мне заветнейшие мечты свои и, несмотря на полное отсутствие какой-либо теоретической подго-

товки, по временам даже поражал меня силою полета своей мысли.

— Наш народ — дитя,— говорил он мне.— Дитя доброе, смышленое, но все-таки дитя. Сам собою он управляться не может. Он не имеет понятия ни о гражданском союзе, ни о союзе государственном. Весь цикл его идей вертится около требований и указаний обычного права. Поэтому для него необходимы добрые правители, которые были бы, так сказать, посредниками между ним и государством. Государству необходима военная оборона, необходим бюджет, а народ ничего этого не понимает. Он не умеет обобщать и всего себя приурочивает к общине, к волости и, в крайнем случае, к своему уездному городу. В его глазах фиск есть нечто загадочное, нечто такое, что приходит, берет и уходит. Поэтому надобно его воспитывать. Надобно, чтоб он беспрестанно был лицом к лицу с государством, чтобы последнее, так сказать, проникло в самое сердце его. Народ — дитя, повторяю я, дитя, имеющее множество предрассудков, обычаев, привычек... дурных привычек. Он настолько погряз во всем этом, что сам по себе не чувствует от этого даже особенных неудобств. Но ведь дело не в нем одном, а в государстве — в государстве, относительно которого народ представляет лишь тягольную единицу. Государство должно быть сильно, государство должно быть образованно, государство обязывается иметь свою промышленность, торговлю и проч. Высшее же выражение государства есть правительство, которое и несет на себе всю ответственность за него. Отсюда — его права и обязанности. Права: собирать подати для удовлетворения требованиям бюджета, объявлять рекрутские наборы для пополнения армии и флотов, поддерживать благочиние, гармонию и единообразие. Обязанности: входить в нужды народа и устроивать его благосостояние с таким расчетом, чтобы государство от того процветало Такова основная мысль нашего управления. Мы обязываемся не только ограждать подведомственных нам крестьян от всевозможных притязаний, но и служить посредниками между ними и государством. Или, другими словами, мы должны требовать и наблюдать, чтоб их внутренние распорядки отнюдь не противоречили высшим государственным соображениям. Хотите, я прочту вам записку о необходимости увеличить срок возраста для вступления в брак мужеского пола лиц из крестьянского сословия?

И он читал мне свою «записку», в которой излагал, что, во время разъездов по волостям, он неоднократно был поражаем незрелым и слабосильным видом некоторых молодых крестьян, которых он принимал за подростков и которые, по

справке, оказывались уже отцами семейств. Имея в виду, с одной стороны, что преждевременное исполнение супружеских обязанностей вообще имеет вредное влияние на человеческий организм, а с другой стороны, что ранние браки в значительной мере усложняют успешное отправление рекрутской повинности, он, Удодов, полагал бы разрешать крестьянам мужеского пола вступать в брак не прежде, как по вынутии благоприятного рекрутского жребия, и притом по надлежащем освидетельствовании, в особо учрежденном на сей предмет присутствии, относительно достижения действительного физического совершеннолетия. Что же касается до крестьянок-женщин, то участь их он предоставлял на благоусмотрение начальства.

Таким образом, он прочитал мне целый ряд «записок», в которых, с государственной точки зрения, мужик выказывался опутанным такою сетью всевозможных опасностей, что если б из тех же «записок» не явствовало, что, в лице моего собеседника, мужик всегда найдет себе верную и скорую помощь, а следовательно, до конца погибнуть не может, то мне сделалось бы страшно.

— И вот наше существование, друг мой! — прибавлял он грустно,— мы не имеем ни одной свободной минуты, мы ни об чем другом не думаем, как об исполнении обязанностей служ-бы, а между тем нам завидуют, нас называют пугачевскими эмиссарами! Ну, похожи ли мы на это?

Иногда он был даже чересчур либерален и, быть может, устрашил бы меня резкостью некоторых своих положений, если б они были высказаны не в то простодушное время, когда о «неблагонадежных элементах» не было и помина, а «в настоящее время, когда...»

— Я понимаю одно из двух,— говорил он,— или неограниченную монархию, или республику; но никаких других административных сочетаний не признаю. Я не отрицаю: республика... res publica... это действительно... Но для России, по мнению моему, неограниченная монархия полезнее. Что̀ такое неограниченная монархия? — спрашиваю я вас. Это та же республика, но доведенная до простейшего и, так сказать, яснейшего своего выражения. Это республика, воплощенная в одном лице. А потому, ни одно правительство в мире не в состоянии произвести столько добра. Возьмите, например, такое явление, как война. Какая страна может разом выставить такую массу операционного материала? Выставить без шума, без гвалта, без возбуждения распрей? Или, например, такое явление, как неурожай. Какая страна может двинуть разом такое громадное количество продовольственного материала из

урожайной местности в неурожайную, при помощи одной натуральной подводной повинности? — Конечно, ни одна страна в целом мире, кроме России и... Американских Соединенных Штатов (повторяю, он до того был прозорлив, что уже в то время провидел «заатлантических друзей»)! Итак, дело не в имени, а в результатах. Говорят, что у нас, благодаря отсутствию гласности, сильно укоренилось взяточничество. Но спрашиваю вас: где его нет? И где же, в сущности, оно может быть так легко устранимо, как у нас? Сообразите хоть то одно, что везде требуется для взяточников суд, а у нас достаточно только внутреннего убеждения начальства, чтобы вредный человек навсегда лишился возможности наносить вред. Стало быть, стоит только быть внимательным и уметь находить достойных правителей. Вот и все. А что такие люди есть — ответом на это служит наше ведомство.

Наконец, он был совершенно неистощим и даже поэтичен, когда заходила речь о любви к отечеству.

— Отечество,— говорил он,— это что-то таинственное, необъяснимое, но в то же время затрогивающее все фибры человеческого сердца. Спойте передо мной: «Je m'en fiche, je m'en moque» [1] — и вы найдете меня холодным. Но спойте «Не белы снеги» или даже «Барыню» — и я готов расплакаться. Почему? А именно потому, что тут есть что-то необъяснимое, загадочное. Я не могу равнодушно видеть, когда на театре пляшут трепака, хотя в трепаке решительно нет ничего трогательного. Я не могу без умиления видеть декорацию, изображающую нашу русскую деревню. Темная изба, бесконечно вьющаяся дорога, белый саван зимы, обнаженные деревья и внизу, под горой, застывшая речка... не правда ли, что тут есть что-то родное? N'est ce pas? [2]

По целым часам заговаривались мы на эту тему и, не ограничиваясь словами, выражали глубину своего чувства действием. То есть затягивали «Не белы снеги» и оглашали унылым пением стены его квартиры до тех пор, пока не докладывали, что подано ужинать. За ужином мы опять говорили, говорили, говорили без конца...

И вот об этом-то человеке Погудин изрекает такой жестокий приговор.

В самом деле, со дня объявления ополчения в Удодове совершилось что-то странное. Начал он как-то озираться, предался какой-то усиленной деятельности. Прежде не проходило почти дня, чтобы мы не виделись, теперь — он словно в воду

[1] Мне дела нет, мне наплевать.
[2] Не правда ли?

канул. Даже подчиненные его вели себя как-то таинственно. Покажутся в клубе на минуту, пошепчутся и разойдутся. Один только раз удалось мне встретить Удодова. Он ехал по улице и, остановившись на минуту, крикнул мне:

— Тяжкие испытания, мой друг, наступают для России!

Затем, пожав мне руку горячее обыкновенного, он проследовал далее.

Что хотел он сказать этим? Кто готовит тяжкие испытания для России? Воевода ли Пальмерстон или он, Удодов?

Наконец разнесся слух, что он заключил оборонительный и наступательный союз с Набрюшниковым,— с Набрюшниковым, о котором никогда до тех пор не выражался, как тоном величайшего негодования...

И вот, в один прекрасный вечер, я встретил его в клубе. Он пришел поздно и как-то особенно горячо обнял меня.

— Я сегодня счастлив, мой друг! — сказал он,— нынче вечером на меня возложена вся хозяйственная часть по устройству ополчения. Борьба была жаркая, но я победил. Ну, вы, конечно, уверены, что я своего кармана не забуду!

Последние слова были сказаны тем шуточным тоном, который у мало-мальски благовоспитанного собеседника должен вызвать, по малой мере, разуверяющий простосердечный смех.

Но я, не знаю почему, вдруг покраснел.

— Фома неверующий! — воскликнул он с укором.

Затем мы сели ужинать, и он спросил шампанского. Тут же подсела целая компания подручных устроителей ополчения. Все было уже сформировано и находилось, так сказать, начеку. Все смеялось, пило и с доверием глядело в глаза будущему. Но у меня не выходило из головы: «Придут нецыи и на вратах жилищ своих начертают: „Здесь стригут, бреют и кровь отворяют“».

Это была скорбная пора; это была пора, когда моему встревоженному уму впервые предстал вопрос: что же, наконец, такое этот патриотизм, которым всякий так охотно заслоняет себя, который я сам с колыбели считал для себя обязательным и с которым, в столь решительную для отечества минуту, самый последний из прохвостов обращался самым наглым и бесцеремонным образом?

Теперь, с помощью Бисмарков, Наполеонов и других поборников отечестволюбия, я несколько уяснил себе этот вопрос, но тогда я еще был на этот счет новичок.

В первый момент всех словно пришибло. Говорили шепотом, вздыхали, качали головой и вообще вели себя прилично обстоятельствам. Потом мало-помалу освоились, и каждый обратился к своему ежедневному делу. Наконец всмотрелись ближе, вникли, взвесили...

И вдруг неслыханнейшая оргия взволновала наш скромный город. Словно молния, блеснула всем в глаза истина: требуется до двадцати тысяч ратников! Сколько тут сукна, холста, кожевенного товара, полушубков, обозных лошадей, провианта, приварочных денег! И сколько потребуется людей, чтобы все это сшить, пригнать в самый короткий срок!

И вот весь мало-мальски смышленый люд заволновался. Всякий спешил как-нибудь поближе приютиться около пирога, чтоб нечто урвать, утаить, ушить, укроить, усчитать и вообще, по силе возможности, накласть в загорбок любезному отечеству. Лица вытянулись, глаза помутились, уста оскалились. С утра до вечера, среди непроходимой осенней грязи, сновали по улицам люди с алчными физиономиями, с цепкими руками, в чаянии воспользоваться хоть грошом. Наш тихий, всегда скупой на деньгу город вдруг словно ошалел. Деньги полились рекой: базары оживились, торговля закипела, клуб процвел. Вино и колониальные товары целыми транспортами выписывались из Москвы. Обеды, балы следовали друг за другом, с танцами, с патриотическими тостами, с пением модного тогдашнего романса о воеводе Пальмерстоне, который какой-то проезжий итальянец положил, по просьбе полициймейстера, на музыку и немилосердно коверкал при взрыве общего энтузиазма.

Бессознательно, но тем не менее беспощадно, отечество продавалось всюду и за всякую цену. Продавалось и за грош, и за более крупный куш; продавалось и за карточным столом, и за пьяными тостами подписных обедов; продавалось и в домашних кружкàх, устроенных с целью наилучшей организации ополчения, и при звоне колоколов, при возгласах, призывавших победу и одоление.

Кто не мог ничего урвать, тот продавал самого себя. Все, что было в присутственных местах пьяненького, неспособного, ленивого,— все потянулось в ополчение и переименовывалось в соответствующий военный чин. На улицах и клубных вечерах появились молодые люди в новеньких ополченках, в которых трудно было угадать вчерашних неуклюжих и ощипанных канцелярских чиновников. Еще вчера ни одна губернская барыня ни за что в свете не пошла бы танцевать с каким-нибудь коллежским регистратором Горизонтовым, а нынче Горизонтов так чист и мил в своей офицерской ополченке, что барыня

даже изнемогает, танцуя с ним «польку-трамблямс». И не только она, но даже вчерашний начальник, вице-губернатор не узнает в этом чистеньком офицерике вчерашнего неопрятного, отрепанного писца Горизонтова.

— А! Горизонтов! мило! очень, братец мой, хорошо! — поощряет вице-губернатор, повертывая его и осматривая сзади и спереди.

— Сегодня только что от портного, ваше высокородие!

— Прекрасно! очень, даже очень порядочно сшит кафтанòк! И скоро в поход?

— Поучимся недели с две, ваше высокородие, и в поход-с!

— Смотри! Сражайся! Сражайся, братец! потому что отечество...

— Нам, ваше высокородие, сражаться вряд ли придется, потому — далеко. А так, страны света увидим...

И шли эти люди, в чаянье на ратницкий счет «страны света» увидать, шли с легким сердцем, не зная, не ведая, куда они путь-дороженьку держат и какой такой Севастополь на свете состоит, что такие за «ключи», из-за которых сыр-бор загорелся. И большая часть их впоследствии воротилась домой из-под Нижнего, воротилась спившаяся с круга, без гроша денег, в затасканных до дыр ополченках, с одними воспоминаниями о виденных по бокам столбовой дороги странах света. И так-таки и не узнали они, какие такие «ключи», ради которых черноморский флот потопили и Севастополь разгромили.

Шитье ратницкой амуниции шло дни и ночи напролет. Все, что могло держать в руке иглу, все было занято. Почти во всяком мещанском домишке были устроены мастерские. Тут шили рубахи, в другом месте — ополченские кафтаны, в третьем — стучали сапожными колодками. Едешь, бывало, темною ночью по улице — везде горят огни, везде отворены окна, несмотря на глухую осень, и из окон несется пар, говор, гам, песни...

А объект ополчения тем временем так и валил валом в город. Валил с песнями, с причитаниями, с подыгрыванием гармоники; валил, сопровождаемый ревущим и всхлипывающим бабьем.

— Волость привели! — молодецки докладывает волостной старшина управляющему палатой государственных имуществ, выстроив будущих ратников перед квартирой начальника.

Управляющий выходит с гостями на крыльцо и здоровкается.

— Молодцы, ребята! — кричит он по-военному,— за веру! Помнить, ребята! За веру, за царя и отечество! С железом в руке... С богом!

И вот из числа гостей выступает вперед откупщик, перекрест из жидов. Он приходит в такой энтузиазм от одного вида молодцов-ребят, что тут же возглашает:

— По царке! по две царки на каждого ратника зертвую! за веру!

— С богом! трогай! — вновь напутствует управляющий толпу, — за ве-е-ру!

«Объект» удаляется с песнями.

Знает ли он, что за «ключи» такие, ради которых перекрест из жидов жертвует ему по чарке водки на человека?

Одним словом, и на улицах, и в домах шла невообразимая суета. Но человека, постороннего делу организации ополчения, в этой суете прежде всего поражало преобладание натянутости и таинственности. Общий разговор исчез совершенно. В собраниях, в частных домах — сейчас же формировались отдельные группы людей, горячо о чем-то между собою перешептывавшихся. В виду этих групп непосвященному становилось просто неловко. На приветствие его отвечали машинально; ежели же он проявлял желание присоединиться к общему разговору, то переменяли разговор и начинали говорить вздор. Приходилось или уединиться, или присаживаться к девицам, которые или щипали корпию, или роптали на то, что в наш город не присылают пленных офицеров. По временам от которой-нибудь группы отделялся индивидуум и торопливо куда-то исчезал. Через некоторое время исчезнувший так же торопливо появлялся вновь, один или с новыми индивидуумами, и опять начинался оживленный шепот. По временам целая группа куда-то исчезала, вероятно в дом к кому-нибудь из заговорщиков, у которого можно было расположиться вольнее...

— Да что же такое происходит, наконец? — спросил я однажды Погудина, который зашел ко мне утром посидеть.

— Топка, батюшка, происходит, великая топка теперь у нас идет! — ответил он,— и богу молятся, и воруют, и опять богу молятся, и опять воруют. «И притом в самоскорейшем времени», как выразился Набрюшников.

— Неужто и Удодов тут?

— Удодов — по преимуществу. Много тут конкурентов было: и голова впрашивался, и батальонный командир осведомлялся, чем пахнет, — всех Удодов оттер. Теперь он Набрюшникова так настегал, что тот так и лезет, как бы на кого наброситься. Только и твердит каждое утро полициймейстеру: «Критиков вы мне разыщите! критиков-с! А врагов мы, с божьею помощью, победим-с!»

— А разве уж и критики появились?

— Немудрые. Какой-то писаришко анонимное письмо напи-

сал: новым Ровоамом Набрюшникова называет. Ну, какой же он Ровоам!

— Стало быть, сделка между Набрюшниковым и Удодовым состоялась?

— Нехитрая сделка: Набрюшников десять процентов себе выговорил. Тут, батюшка, сотни тысяч полетят, так ежели десять копеек с каждого рубля — сочтите, сколько денег-то будет!

— Послушайте! да не много ли десять-то процентов! Ведь ежели Набрюшникову десять процентов, сколько же Удодов себе возьмет! сколько возьмут его агенты!

— Все возьмут, да еще увидите, что и «благоразумная экономия» будет. А впрочем, знаете ли, что̀ мне приходит на мысль: Удодов поглядит-поглядит, да и заграбит всё сам. А Набрюшникова на бобах оставит!

— Ну, это мудрено!

— Ничего мудреного нет. Вы вглядитесь в Удодова, какая у него в последнее время физиономия сделалась. Так ведь и написано на ней: «И за что я какому-нибудь тетереву буду десять процентов отдавать!»

— Так вот он, Удодов-то! А какой человек-то! Намеднись сидел я у него, и зашел у нас разговор о любви к отечеству. «Отечество, говорит, это святыня!»

— А «Не белы снеги» как поет! просто даже слеза прошибает!

Погудин даже закручинился под влиянием этого воспоминания. Машинально свесил голову набок и чуть-чуть сам не запел.

— Да, — сказал он после минутного молчания, — какая-нибудь тайна тут есть. «Не белы снеги» запоют — слушать без слез не можем, а обдирать народ — это вольным духом, сейчас! Или и впрямь казна-матушка так уж согрешила, что ни в ком-то к ней жалости нет и никто ничего не видит за нею! Уж на что казначей — хранитель, значит! — и тот в прошлом году сто тысяч украл! Не щемит ни в ком сердце по ней, да и все тут! А что промежду купечества теперь происходит — страсть!

— Например?

— И грызутся, и смеются, и анекдоты друг про дружку рассказывают. Хоть и большое дело двадцать тысяч человек снарядить, а все-таки не всякому туда впроситься удалось. Вот и идет у них теперь потеха: кто кому больше в карман накладет. Орфенову, например, ничего не дали, а он у нас по кожевенной части первый человек. А поделили между собою полушубки и кожевенный товар Москвины да Костромины, а они сроду

около кожевенного-то товара и не хаживали. Вот Орфенов и обозлился. «Жив, говорит, не буду, коли весь товар не скуплю: пущай за тридевять земель полушубки покупают!» Так его сегодня полициймейстер к Набрюшникову таскал.

— Это зачем?

— Реприманд Набрюшников делал. «Отъелся, говорит, так за критики принялся! Знаешь ли, говорит, что с тобою, яко с заговорщиком, поступить можно?»

— Ловко!

— Да, не без приятности для Удодова. Да собственно говоря, он один и приятность-то от всего этого дела получит. Онто свой процент даже сейчас уж выручил, а прочим, вот хоть бы тем же Костроминым с братией, кажется, просто без всяких приятностей придется на нет съехать. Только вот денег много зараз в руках увидят — это как будто радует!

— Ну, не станут же и они без пользы хлопотать.

— А вот как я вам скажу. Был я вчера у Радугина: он ночью нынче в Москву за сукном уехал. Так он мне сказывал: «Взялся, говорит, я сто тысяч аршин сукна поставить по рублю за аршин и для задатков вперед двадцать пять тысяч получил — сколько, ты думаешь, у меня от этих двадцати пяти тысяч денег осталось?» — «Две синеньких?» — говорю. «Две не две, а... пять тысяч!!»

— Строг же Удодов!

— Уж так аккуратен! так аккуратен! Разом со всего подряда двадцать процентов учел. Святое дело. Да еще что: реестриков разных Радугину со всех сторон наслали: тот то купить просит, тот — другое. Одних дамских шляпок из Москвы пять штук привезти обязался. Признаться сказать, я даже пожалел его: «Купи, говорю, кстати и мне в Москве домишко какой-нибудь немудрящий; я, говорю, и надпись на воротах такую изображу: подарен, дескать, в знак ополчения».

— Удивительнее всего, что они даже не скрываются. Так-таки всё и выкладывают!

— Нельзя. Удодов пытал останавливать, даже грозил, да ничего не поделаешь. Сначала пообещают молчать, а через час не выдержат — и выболтают. По секрету, разумеется. Тому по секрету, другому по секрету — ан оно и выходит, словно в газетах напечатано. Вот и я вам тоже по секрету.

— Черт возьми, однако! Ведь, по-настоящему, Удодову теперь руку подать стыдно!

— Ничего стыдного нет. Рука у него теперь мягкая, словно бархат. И сам он добрее, мягче сделался. Бывало, глаза так и нижут насквозь, а нынче больше все под лоб зрачки-то закатывать стал. Очень уж, значит, за отечество ему прискорбно!

Намеднись мы в клубе были, когда газеты пришли. Бросился, это, Удодов, конверт с «Ведомостей» сорвал: «Держится! — кричит,— держится еще батюшка-то наш!» Это он про Севастополь! Ну, да прощайте! Секрет!

Погудин направился было к передней, но с половины дороги вернулся.

— Забыл! — сказал он, — сегодня ко мне мажордом приходил — знаете, тот самый, что за «покушение войти в незаконную связь с княгиней Т***» к нам сослан. «А что, говорит, не махнуть ли и мне, Петр Васильич, в ополчение? Уж очень, говорит, Расее послужить захотелось!» — «Валяй»,— говорю. «Только я, говорит, насчет чина сомневаюсь. Вон Горизонтова в прапоры произвели, а меня каким чином примут?» — «Прямо прохвостом»,— говорю. «Ну, нет, говорит, мне, по-моему положению, не того надобно!» — «А какое же, спрашиваю, твое положение?» — «А такое, говорит, положение, что хоша я по просьбе князя Павла Павлыча сюда сослан, а он сам — беспременно мой сын!» — «Врешь, говорю, хвастаешься! за «покушение» ты сослан — понимаешь! Покушался ты только мерзость сделать, а в исполнение не привел!»... Так он даже в азарт вошел! Вертит, это, перстнем у меня перед глазами: «Это, говорит, что! разве за «покушения» такие перстни дарят!» Посмотрел я на перстень — хорош! — «Хорош, говорю, перстенек, а все-таки никакого другого чина, кроме прохвоста, обещать тебе не могу!» С тем он от меня и ушел... Так вот оно что̀ значит, отечество-то! Даже мажордом восчувствовал! «Расее, говорит, послужить хочу!»

И все опять запрыгало, завертелось. Дамы щиплют корпию и танцуют. Мужчины взывают о победе и одолении, душат шампанское и устроивают в честь ополчения пикники и déjeuners dansants [1]. Откупщик жертвует чарку за чаркой. Бородатые ратники, в собственных рваных полушубках, в ожидании новых казенных, толпами ходят по улицам и поют песни. Все перепуталось, все смешалось в один общий густой гвалт.

И как-то отчетисто, резко выделяется из этого гвалта голос Удодова, возглашающий:

— Держится голубчик-то наш! Не сдается! Нахимов! Лазарев! Тотлебен! Герои! Уррра!

---

[1] **танцевальные утренники.**

— Наконец ополчение, окончательно сформированное, двинулось. Я, впрочем, был уже в это время в Петербурге и потому не мог быть личным свидетелем развязки великой ополченской драмы. Я узнал об этой развязке из письма Погудина.

«Наша ополченская драма, — писал он мне, — разрешилась вчера самым неожиданным образом. Удодов исчез, то есть уехал ночью в Петербург, чтобы не возвращаться сюда. Оказывается, что уже две недели тому назад у него был в кармане отпуск. Все это сделалось так внезапно, что самые приближенные к Удодову лица ничего не знали. Вечером у него собралось два-три человека из «преданных», играли в карты, ужинали. В полночь он послал за лошадьми, говоря, что едет на сутки на ревизию. И только уже садясь в возок, сказал провожавшим его гостям: господа, не поминайте лихом! в Петербург удираю! Набрюшников так и остался при малой мзде, которая ему была выдана из задаточных денег. Однако он решился не оставлять этого дела и сегодня же посылает просьбу о разрешении и ему отпуска в Петербург. Надеется хоть на половину суммы Удодова усовестить. Усовестит ли?»

ПРІВЕТ

Мы мчались на всех парáх по направлению из Кёнигсберга в Вержболово. Вот Вёлáу, вот Инстербург, вот Гумбинен... скоро, теперь скоро! Сердце робело, как бы припоминая старую привычку болеть; саднящая тревога распространялась по всему организму; глаза закрывались, словно боясь встретиться с неожиданностью.

Собственно говоря, впереди не было ничего ни неизвестного, ни неожиданного — напротив! Но сложилась на свете какая-то особого рода известность, которую, как ни ьертись, нельзя назвать иначе как известностью неизвестности. Что проку в том, что впереди все до последней нитки известно, если в чреве этой известности нельзя найти ничего другого, кроме пословицы: «Известно, что все мы под богом ходим». Ах! это — самая бессовестная, самая унизительная пословица! Смысл ее горчее всякой горькой несправедливости, жесточе самой жестокой кары!

Нехорошо жить тому, кто не может даже определить для себя, виноват он или не виноват; не имеет руководящей нити, чтобы угадать, что его ждет впереди — награда или кара. Посреди этой смуты представлений настоящего и будущего, конечно, самое разумное — это довести свой иск к жизни до минимума, то есть сказать себе: «Удобнее всего быть ни винова-

тым, ни невиноватым, не заслуживать ни кары, ни награды; я, дескать, сам по себе, я ничего не требую, ничего не ищу и претендую только на то, что имею право жить». Согласитесь, что это немного. Но тут-то именно изнуренное прирожденным пленом воображение и отыскивает всякого рода загвоздки. Во-первых, что это за чин такой: «сам по себе»? во-вторых, какое такое «право жить»? Право существовать, то есть? право ходить по струнке? право жить в той мере...

Мне было стыдно. Я смотрел на долину Прегеля и весь горел. Не страшно было, а именно стыдно. Меня охватывала беспредметная тоска, желание метаться, биться головой об стену. Что-то вроде бессильной злобы раба, который всю жизнь плясал и пел песни, и вдруг, в одну минуту, всем существом своим понял, что он весь, с ног до головы, — раб.

Очевидно, сердце припоминало старую боль. Я слишком долгое время чувствовал себя чужим среди чужих и потому отвык болеть. Но нам это необходимо, нам нужна ноющая сердечная боль, и покамест это все-таки — лучший (самый честный) modus vivendi [1] из всех, которые предлагает нам действительность.

Но истинный раб имеет впечатлительность скоропреходящую; потому-то именно он и раб, что не может сосредоточить свою мысль ни в каком ощущении. Вспышки совести в нем часты, но минутны. Блуждание между нравственною анемией и беспорядочным раскаянием — вот единственная форма, в которой воплощаются те проблески общечеловеческих основ, которые бессильна заглушить даже беспощадная рабская дисциплина. И чем сильнее вспышки самосознания, тем резче следующий за ними общий упадок сил. Даже раскаяние, эта податливейшая из всех форм внутреннего человеческого самосуда, слишком тяжеловесно, чтобы плечи раба могли выносить его бремя.

Раб не перестает быть рабом даже в те минуты, когда у него болит сердце. Охваченный бунтующею совестью, он умиротворяет ее не действительным удовлетворением ее законных требований, а тем, что старается обойти, замять, позабыть. Он изобретателен на всякие уловки — это одна из прерогатив его звания — и потому без труда отыскивает противовес пробудившемуся сознанию в готовых представлениях о неизбежности и коловратности. И вот крики боли начинают мало-помалу стихать, и недавний вопль: «Унизительно, стыдно, больно!» сменяется другим: «Лучше не думать!» Затем человек уже делается рассудительным; в уме его постепенно образуется пред-

[1] образ жизни.

ставление о неизбежном роке, о гнетущей силе обстоятельств, против которой бесполезно или, по малой мере, рискованно прать, и наконец, как достойное завершение всех этих недостойностей, является краткий, но имеющий решающую силу афоризм: «Надо же жить!»

Да, надо жить! Надо нести иго жизни с осторожностью, благоразумием и даже стойкостью. Раб — дипломат по необходимости; он должен как можно чаще повторять себе: «Жить! жить надо!» — потому что в этих словах заключается отпущение его совести, потому что в них утопают всевозможные жизненные программы, начиная свободой и кончая рабством.

Мало-помалу мой стыд пропал, и его место заняло смутное желание «увидеть вновь». Я не объяснял себе, что̀ предстоит увидеть; я именно твердил только эти слова: «увидеть вновь». А так как не могло быть ни малейшего сомнения в том, что я «увижу вновь» непременно и не дальше, как вслед за сим, то мысли мои невольно начали принимать направление деловое, реальное, которое немало помогло окончательному умиротворению потуг стыда. Я начал вслушиваться, всматриваться и мало-помалу вполне допустил завладеть собой мелочам обыденной, чередовой жизни.

Нас сидело в купе́ четыре человека, всё русские. Мы выехали из Берлина накануне, в восемь часов вечера, но, по русскому обычаю, расселись по углам, помолчали и, наконец, заснули, кто как мог. Только утром товарищи мои начали вглядываться друг в друга и испускать какие-то предварительные звуки, которые обнаруживают поползновение вступить в разговор. Но в Кёнигсберге, за завтраком, общественное положение моих спутников объяснилось вполне. Все трое были представителями русской культурности: один, Василий Иваныч, ехал из Парижа; другой, Павел Матвеич, — из Ниццы; третий, Сергей Федорыч,— из Баден-Бадена, в соответствующие города: Навозный, Соломенный и Непросыхающий. Все трое были женаты; жены их провели ночь вместе, в особом вагоне для некурящих, и довольно близко между собою познакомились. И не мудрено: у них был общий и очень существенный интерес. У каждой было по нескольку кусков материй, которые надлежало утаить от таможенного надзора, а это, как известно, составляет предмет неистощимейших разговоров для всякой свободномыслящей русской дамы, которая, пользуясь всеми правами культурного срамословия, потому только не мнит себя кокоткою, что освобождается от взятия желтого билета. За кофеем последовало взаимное представление мужей, а когда поезд тронулся, то знакомство уже стояло на прочном осно-

вании, и между новыми приятелями, без задержки, полилась вольная русская речь.

Покуда мне было стыдно, я не обращал внимания на происходивший около меня разговор; теперь, когда стыд мой прошел, я, как уже сказано выше, начал вслушиваться. Спутники мои, за исключением Сергея Федорыча, были, очевидно, истыми представителями и ревнителями интересов русской культурности, из числа тех, которые помнили времена, когда еще существовали культурные люди, «не позволявшие себе на ногу наступить». Теперь, когда наступание на ноги, за всесословным его распространением, приобрело уже до такой степени обычный характер, что никого не заставляет даже краснеть, домашнее дело этих господ, то есть защита интересов культурности, до такой степени упростилось, что они увидели перед собою пропасть праздного времени, которое и решились наполнить бесцельным шатанием по бесчисленным заграничным stations de santé [1], где праздность находит для себя хоть то оправдание, что доставляет занятие и хлеб бесконечному сонмищу комиссионеров, пактрэгеров и динстманов. И Василий Иваныч, и Павел Матвеич были люди вполне утробистые, с тою, однако ж, разницею, что у первого живот расплывался вширь, в виде обширного четырехугольника, приподнимавшегося только при очень обильном насыщении; у второго же живот был собран клубком, так что со стороны можно было подумать, что у него в штанах спрятана бомба. Василий Иваныч выглядел джентльменом: одет был щеголевато, лицо имел чистое, матовое, доказывавшее, что периодическое омовение уже вошло в его привычки; напротив того, Павел Матвеич глядел замарашкой: одет был неряшливо, в белье рыжеватого цвета, лицо имел пористое, покрытое противною маслянистою слизью, как у человека, который несколько суток сряду спал, лежа в тарантасе, на протухлой подушке. Василий Иваныч обнаруживал некоторое знакомство с европейскими манерами, то есть говорил резонно и свободно, дышал ровно и совсем не курил; напротив, Павел Матвеич говорил отрывисто, почти что мычал, не дышал, а сопел и фыркал, курил вонючие папиросы, одну за другою, и при этом как-то неистово захлебывался. Что же касается до Сергея Федорыча, то это был малый низенький, вертлявый и поджарый, что прямо обнаруживало, что прикосновенность его к культурности очень недавняя и притом сомнительная. Очевидно, он был когда-то исправником или становым и лишь в последнее время, за общим запустением, очутился представителем интересов культурности. Даже фами-

[1] курортам.

лия у него была совсем не культурная — Курицын, тогда как Василий Иваныч был Спальников, а Павел Матвеич — Постельников.

— А ведь это было когда-то все наше! — говорил Василий Иваныч, указывая рукой на долину Прегеля

Павел Матвеич устремил в окно непонятливый взор, как будто хотел что-то разглядеть сквозь туман, хотя в действительности никакого тумана не было, кроме того, которым сама природа застилала его глаза.

— Когда же? — заерзал на месте господин Курицын.

— Да уж там когда бы то ни было, хоть при царе Горохе, а всё наше было. И это, и дальше всё. Отцы наши тут жили, мощи наших угодников почивали. Кёнигсберг-то Королевцем назывался, а это уж после немцы его в Кёнигсберг перекрестили.

Павел Матвеич зевнул и произнес:

— Пущай их! у нас и своих болот девать некуда!

— Однако ж! — возразил Василий Иваныч,— довольно не довольно, а все-таки своего всякому жалко.

— Да неужто это правда? — встревожился Сергей Федорыч.

— Верно говорю, все наше было. Сам покойный Михайло Петрович мне сказывал: поедешь, говорит, за границу, не забудь Королевцу поклониться: наш, братец, был! И Данциг был наш — Гданском назывался, и Лейпциг — Липовец, и Дрезден — Дрозды, все наше! И Поморье все было наше, а теперь немцы Померанией называют! Больно, говорит. Да что тут еще толковать! — и посейчас один рукав Мемеля Русью зовется, и местечко при устье его — тоже Русь! Вот она где, наша Русь православная, была!

— Странно! как же мы это так... оплошали!

— Об том-то я и говорю, что сротозейничали. Не будь этого... ишь-ишь-ишь! — сколько аистов по полям бредет!

Павел Матвеич взглянул в окно, но только почесал нос.

— Всё бы наше было, и аисты наши были бы!

— Не корыстная птица,— заметил Павел Матвеич,— я слышал, мышами питается.

— Что ж, гадов выводит — и за то спасибо! Вот у нас этой птицы нет, оттого и гаду много! Как переехал за Эйдкунен — ау, аисты! Ворòна пошла.

— В одном месте аисты, в другом — ворона, где чему вод!

— Да, вот здесь крыши черепицей кроют, а у нас — соломой!

— Соломой-то проще! да ведь и то сказать: у другого крыша хоть и соломенная, да зато под крышею...

— По-од кры-ы-шею! — зевнул во весь рот Павел Матвеич,— фу-ты, разоспался! От самого от Берлина в себя прийти не могу! Вы откудова едете?

— Мы — из Парижа. Каждый год ездим, поживем, закупки сделаем — и домой!

— А я из Ниццы. Море...

— Я целую зиму в Баден-Бадене прожил,— отозвался и Сергей Федорыч,— всем хорошо, только праздник Христов тяжело на чужой стороне встречать!

— Па-а-сха! — опять зевнул Павел Матвеич.

— Да, побыли, погуляли, а теперь вот домой едем, делом займемся, оброки соберем. А зимой, ежели захочем,— и опять за границу! — рассудил Василий Иваныч.

— Хорошо-хорошо за границей, а дома лучше.

— Дома — чего лучше!

— Пасха пресвята-а-я! — затянул Павел Матвеич.

Все трое на минуту смолкли. Павел Матвеич повернулся боком к окну и смотрел непонятливыми глазами вдаль; остальные двое покачивались.

— Дома — святое дело! — начал наконец Василий Иваныч,— это так только говорят, что за границей хорошо, а как же возможно сравнить? Вот хоть бы насчет еды: у нас ли еда или за границей?

— Вот! именно это я всегда и жене говорил! Помилуй, говорю, у нас ли еда или в этой Ницце проклятой! — с какою-то жадностью воскликнул Павел Матвеич. Он весь оживился, и даже непонятливые его глаза как будто блеснули.

— Мне,— доложил, в свою очередь, Сергей Федорыч,— как я за границу отправлялся, губернатор говорил: «Счастливец ты, Сергей Федорыч, будешь тюрбо̀ есть!» А я ему: «Это еще, говорю, ваше превосходительство, бабушка надвое сказала, кто счастливее: тот ли, который тюрбо будет есть, или тот, у кого под руками и осетринка, и стерлядка, и севрюжка — словом, все».

— Да, над этим еще задумаешься! — отозвался Павел Матвеич и утер ладонью нос.

— С одним тюрбо — хоть он растюрбо будь — далеко тоже не уедешь! — согласился и Василий Иваныч.

— Вот в Ницце и много рыбы, да черта ли в ней!

— То ли дело наша стерлядь!

— Одна ли стерлядь! вы возьмите: судак! ведь это — какая рыба! куда хотите, туда ее и поверните! и а ля рюсс, и с провансалом, и с кисленьким соусом — всяко!

— А молодые судачки — на жаркое!

— Вот это — так рыба! настоящая рыба!

— Осетрина, белужина, севрюжка, белорыбица, сазан, налим!

— А лещ-то! лещ! тешку леща зажарить да с кашей!

— Ну, я вам скажу, ежели линя тоже приготовить! хоть и невидная, деревенская это рыба, а ежели под красным соусом приготовить да лучку подпустить!

— А про лососину-то и забыли!

— Ну, лососина, пожалуй, и у них есть. У нас в Баден-Бадене...

— Что в Баден-Бадене! Бывал я и в Баден-Бадене! форель — только и свету в окне! Ну, еще лососина, пожалуй... кусочек с горошину подадут... нет, вы про сига нашего вспомните! нет нашего сига! нигде нашего сига нет!

— Какого тут сига искать! щуку едят, назовут «броше́» — и едят!

— А у меня щуку люди не станут есть. При крепостном праве ели, а теперь — баста! Попы — те и сейчас щук едят.

— Тюрбо да тюрбо! а его только и можно есть, что под белым соусом!

Дойдя до такого почти безнадежного результата, спутники мои чувствуют, однако, что зашли уж слишком далеко. Поэтому в мнениях их происходит минутная реакция, выразителем которой, к удивлению, является Павел Матвеич.

— Ну, положим, и не одно тюрбо! — говорит он, не без хитрости подмигивая одним глазом,— вспомните-ка!

— Конечно, не одно тюрбо,— уступает и Василий Иваныч,— ежели всё-то вспомнить, так и у них рыба есть — как рыбе не быть!

— Тоже народ живет — пить-есть надо! — присовокупляет Сергей Федорыч.

— Соль, барбю — это ведь в своем роде...

— Соусы-с!

— Соусы — это верно, что соусы! Я и сам сколько раз гарсону в кафе Риш говорил: «Что ты меня, Филипп, все соусом-то кормишь! С соусом-то я тебе перчатки свои скормлю! а ты настоящее дело подавай!»

Это замечание опять настроивает мысли на патриотический лад.

Соус? что такое соус? Есть ли это настоящая пища или только та̀к, какое-то мнимое, не достигшее преосуществления антреме́?

— Ел я их пресловутую буйль-абесс,— говорит таинственно Павел Матвеич,— это у них вместо нашей ухи!

— Ну уж! куда уж!

— У нас уху-то подадут — а?! Со стерлядью да с налимьими печенками... зо-ло-та-а-я! Да расстегаи к ней...

— Что уж!

— У меня коли уху готовят: сперва из мелких стерлядей бульон сделают, да луку головку туда бросят, потом сквозь чистое полотенце процедят да в этом-то бульоне уж и варят настоящую стерлядь! Так она так на зубах и брызжет!

— Что уж!

— А то буйль-абесс! А они даже и ее только по праздникам едят — диковина!

— И опять-таки: буйль-абесс эта — совсем не уха, а соус!

— Всё соусы! за что ни возьмись — все соус!

— Зато они в соусах — мастера! то есть, впрочем, французы только... Мастера, бестии, соусы приготовлять!

— Еще бы! субиз, морне́, беарнез, борделез... пальчики оближешь!

— Хитер народ! настоящей провизии нет, так на соусах выезжают!

— Настоящей провизией только у нас, в матушке-России, и можно разжиться!

— Только у нас — это верно! Насчет чего другого, а насчет провизии к нам приезжай!

Все трое затихают и погружаются в себя, словно отыскивая в тайниках души какую-нибудь новую провизию для сравнения. Надо, впрочем, сказать, что Сергей Федорыч вообще принимал довольно ограниченное участие в этом разговоре. Как человек новый, в некотором роде мещанин во дворянстве, он, во-первых, опасался компрометировать себя каким-нибудь слишком простым кушаньем, а во-вторых, находил, что ему предстоит единственный, в своем роде, случай поучиться у настоящих культурных людей, чтобы потом, по приезде в Непросыхающий, сделать соответствующие применения, которые доказали бы его знакомство с последними результатами европейской культуры.

— Сравните теперь нашего цыпленка с ихним пуле! — начинает Павел Матвеич.

— Велика Федора, да дура! — отзывается Василий Иваныч.

— Наш ли цыпленок или ихний? Наш цыпленок — робенок! его с косточками, с головой, со всем проглотить можно! У него и жир-то робячий! Запонируют, это, в сухариках да в сливочном масле заколеруют — так это что!

Опять легкая пауза, в продолжение которой все трое сопят.

— У нас цыпленка гречневой кашей, да творогом, да белым хлебом, да яйцом кормят — ну, он и цыпленок! А у них чем кормят? Был я в жарден даклиматасьон — там за деньги кормление-то это показывают — срам смотреть!

— Однако, и у них бывают... жирные бывают пуле!

— Еще бы не жирные! будешь жирен, как стервятиной да дохлятиной кормить будут! Да и вообще... разве это цыпленок! Подадут дылду на стол, двоим вряд убрать, и говорят: пуле!

— Пулярка — это правильнее.

— Коли пулярка, так и говори, что пулярка, а пуле, мол, пожалуйте в Россию кушать. Да опять и пулярка: наша ли пулярка или парижская — об немецких уж и не говорю! Наша пулярка хоть небольшая, да нежная, тонкая, аромат у ней есть! а тамошняя пулярка — большая, да пресная — черта ли в ней, в этой преснятине! Только говорят: «Савёр да савёр!», а савёру-то именно и нет!

— Ну, положим, пулярки у них все-таки еще бывают; а вот вы мне что скажите: где у них наша дичь?

При этом вопросе собеседники сначала изумленно переглядываются, потом безнадежно махают руками.

— Наш рябчик, наш тетерев, наш дупель — где они?

— Утица наша... да кряковная! — неосторожно вмешивается Сергей Федорыч и тотчас же стыдливо потупляет глаза.

По холодному блеску глаз, которыми взглянул на него Василий Иваныч, он убеждается, что сделал какой-то непозволительный промах. Утица, да еще кряковная... что̀ такое утица? Филе де-каннетон — еще пожалуй! это, быть может, даже на дело похоже! Крряко-вная! Даже Павел Матвеич, и тот как-то добродушно сконфузился при этом напоминании.

— Те́терева-то, коли в кастрюльке да на чухонском масле зажарить,— спешит Павел Матвеич переменить разговор,— да подрумянить... да чтобы он в кастрюльке-то хорошенько вздохнул... ведь это — что ж!

— Да коли он не лежалый, да аромат этот в нем... ведь это — что!

— А рябчика-то на вертеле... да перчиком, да перчиком .. бочка̀-то, бочка̀!

— У нас тетерев, рябчик, дупель, вальдшнеп, куропатка, а у них — кайль да кайль!

— А по-нашему, кайль-то — перепелка!

— У нас дрозд, а по-ихнему — грив. Думаешь, и бог знает что подают — ан дрозд простой!

— Ну, есть у них и пердро̀. Это ведь тоже недурно, особливо коли-ежели...

— А вы попробуйте-ка каждый день зарядить пердро да пердро, так оно у вас, батюшка, в горле застрянет! Нет, у нас — как можно! сегодня рябчик, завтра тетерев, послезавтра, пожалуй, пердро... Господи, а поросенок-то! об поросеночке-то и позабыли!

И все вдруг засмеялись, но так любовно, как будто блудного сына обрели.

— Поросенка за границей днем с огнем не отыщешь! — с знанием дела заявил Сергей Федорыч.

— Им поросенок невыгоден. Я не один раз у Филиппа спрашивал: «Отчего у вас, Филипп, поросенка не подают?» — «А оттого, говорит, что для нас поросенок невыгоден; мы его затем воспитываем, чтоб из него свинья или боров вышел — тогда и бьем!»

— А того не понимает, что свинья — сама по себе, а поросенок — сам по себе.

— Поросеночка, да молочненького, да ежели с неделю еще сливочками подкормить... Это — что же такое!

— Кожица-то у него, ежели он жареный... заслушаешься, как она на зубах-то хрустит!

— А я, признаться, больше люблю вареного... да теплень-кого, да чтоб сметанки с хренком...

— В Английском клубе, в Москве, в прежние времена повар был .. ах, хорошо, бестия, поросят подавать умел!

Опять пауза; все трое смотрят в землю, словно подавленные воспоминаниями. Наконец Павел Матвеич восклицает:

— Ах, заграница! заграница!

Я думал, что этим восклицанием кулинарные воспоминания исчерпаются; но, видно, много накипело в душе у этих людей, и это многое уже не могло держаться под спудом ввиду скорого свидания с родиной.

— Баранина у них — вот это так! А что касается до говядины, до телятины — всё у нас лучше!

— Крысы у них хороши в Париже; во время осады, говорят, всё крысами питались.

— Ну, я, кажется, озолоти меня — не стану крысу есть.

— Однако! смотря потому...

— С голода лопну, а не стану!

— А француз ест; соусцем приправит, перчиком сдобрит и ест. Может, и мы когда-нибудь в Париже кошку за лапена съели.

— И съели.

— Вот оно что соус-то значит!

— Велико дело — соус!

— У нас этих соусов нет, потому что наша еда — настоящая.

— Как же возможно! наша ли еда или заграничная!

Все трое разом зевнули и потянулись: знак, что сюжет начинал истощаться, хотя еще ни одним словом не было упомянуто об ветчине. Меня они, по-видимому, совсем не принимали в

соображение: или им все равно было, есть ли в вагоне посторонний человек или нет, или же они принимали меня за иностранца, не понимающего русского языка. Сергей Федорыч высунулся из окна и с минуту вглядывался вперед.

— Что? видно? — спросил его Василий Иваныч.

— Бог знает! видно что-то, да не разберу!

— Да, мудрена Россия-матушка! не скоро ее разберешь!

Павел Матвеич только махнул рукой и сильнее прежнего затянулся папироской.

— И прежде трудно было,— сказал он,— а теперь, как везде наследили следов, пожалуй, и совсем не разберешь! Везде для тебя дорога написана, и нигде тебе дороги нет!

— Именно. У меня, в Навозном, дело завелось; сам-то я за границу уехал, так ходоку поручил,— представьте! пишет, что четвертый месяц начальства ищет, не может найти!

— Как так?

— Да так вот. Исправник нынче никаких дел не принимает, а мировые — один в отставку вышел, другой, по болезни, не правит, а третий по уезду ездит, поймать нигде нельзя. Нет начальства — хоть волком вой!

— А вот французы, у них начальства даже по закону не положено, а живут!

— Спросили бы вы, как живут-то! тоже ведь, как и мы, грешные, горе мыкают! Голоштанники да республиканцы — те, конечно, рады! а хороших людей спросите — ой-ой, как морщатся!

— Как можно без начальства! без начальства — мат!

— И хоть бы свобода была! Республика да республика, а посмотришь да поглядишь — право, у нас свободнее!

— Как же возможно! у нас — простор!

— У нас, коли ты сидишь смирно, да ничего не делаешь, так никто тебя не тронет — Христос с тобой, хоть два века смирно сиди!

— А захотел разговаривать — так не прогневайся!

— И дельно — потому, молчи!

— Насмотрелся-таки я на ихнюю свободу, и в ресторанах побывал, и в театрах везде был, даже в палату депутатов однажды пробрался — никакой свободы нет! В ресторан коли ты до пяти часов пришел, ни за что тебе обедать не подадут! после восьми — тоже! Обедай между пятью и восемью! В театр взял билет — так уж не прогневайся! ни шевельнуться, ни ноги протянуть — сиди, как приговоренный! Во время представления — жара, в антрактах — сквозной ветер. Свобода!

— Да, посидишь в тисках — запросишь простору! А впро-

чем, правду надо сказать: бестии эти француженки, можно для них и в тисках посидеть! Насчет это лямуру или ляшозу...

— Как вам сказать! ведь и насчет лямуру они больше у нас распоясываются. Знают, что денег у русских много,— ну, и откалывают. А в Париже и половины тех штук не выделывают, что у нас.

— Говорят, Мак-Магонша лямуру не любит.

— Да, и она. Много она для Франции полезного сделала, а частичка тоже и вреда есть. Главное дело — иностранцев от Парижа отвадила. Возьмем хоть бы нас, русских: кабы настоящим-то манером, как при Евгении, лямур выделывали, да нас бы, кажется, и не отодрать оттоле!

— Кричат: «Республика!», а свободы не дают!

— Скажите, однако ж: я слышал, что картинки такие в Париже продаются... интересные будто бы картинки приобрести можно?

— Это для стереоскопа, что ли? Я целую охапку с собой захватил!

— Интересны?

— Отдай всё, да и мало!

— Тсс...

— Да у них еще то ли есть! В модных магазинах показывают, как барыни платья примеривают! Приедет, это, дама — и всё из большого света! — разденется декольте, а из соседней комнаты кавалер на нее сквозь щелочку и смотрит.

— Ишь ты! а она, сердешная, и не знает?

— Иные и знают, нарочно знакомиться с кавалерами приезжают. Повертывается она декольте перед зеркалом, а из засады — кавалер: же лоннёр... Большие съезды бывают.

— И наши, чай, барыньки...

— Чего уж!

Каждый смотрит на каждого вопрошающим взглядом, словно хочет сказать: «А что, брат, уж не твоя ли?»

— Ах, дамочки наши! дамочки! — вздыхает Сергей Федорыч.

— Так вы и в палате депутатов побывали? — любопытствует Павел Матвеич.

— Был, в самый раз попал, амнистию обсуждали. Галдят, а толку нет. Знают, что придет Наполеон, и всем им одно решение выйдет — в Кайенну ушлют.

— Вот и этого у нас нет!

— Зачем нам! У нас, коли ты сидишь смирно, да ничего не делаешь — живи! У нас все чередом делается. Вот, приедем в в Вержболово — там нас рассортируют, да всех по своим местам и распределят.

— Турки-то! турки-то тоже конституции запросили! ах, прах их побери!

— Смехота!

— То-то оно и есть! даже у турок взбеленились, а у нас — спокой!

— Нам конституциев не надо! Мы и без них проживем! Разъедемся теперь по деревням, амуницию долой — спокой!

Все трое заговорили разом: «У нас как возможно! У нас — тишина! спокой! каких еще там конституциев! долой амуницию — чего лучше!» Гул стоял в отделении вагона от восклицаний, лишенных подлежащего, сказуемого и связки.

— Нет, вы только сообразите, сколько у них, у этих французов, из-за пустяков времени пропадает! — горячился Василий Иваныч,— ему надо землю пахать, а его в окру́гу гонят: «Ступай, говорят, голоса́ подавать надо!» Смотришь, ан полоса-то так и осталась непаханная!

— И ни́што им! пущай без хлеба сидят!

— Зато у нас мужичка никто уж не тронет: паши́ себе да паши!

— Разве с подводой выгонят, так ведь без этого тоже нельзя!

— Подвода — дело! а у них что!

— Ах, французы! французы! жаль их! дельный народ, а насчет язычка — слабеньки!

— А вы думаете, что они сами этого не чувствуют? не чувствуют, что ли, что если Россия им хлеба не даст, так им мат? Чувствуют, да еще и ах как чувствуют!

Опять завопили все разом: «Чувствуют! да еще как чувствуют! Мат! именно мат!»

— А позвольте спросить,— вдруг надумался Сергей Федорыч,— вот вы насчет Турции изволили говорить, будто там конституции требуют; стало быть, это действительно так?

— Чего вернее, во всех газетах напи́сано.

— Да! заварили турки кашу! придется матушке-России опять их уму-разуму учить!

— А позвольте еще спросить: дворяне у них есть... турецкие?

Вопрос этот сначала словно ошеломил собеседников, так что последовала короткая пауза, во время которой Павел Матвеич, чтоб скрыть свое смущение, поворотился боком к окну и попробовал засвистать. Но Василий Иваныч, по-видимому, довольно твердо помнил, что главная обязанность культурного человека состоит в том, чтобы выходить с честью из всякого затруднения, и потому колебался недолго.

— Как, чай, дворянам не быть,— ответил он,— только документов у них настоящих нет, а по-ихнему — все-таки дворяне.

— Помилуйте! да у меня в Соломенном и сейчас турецкий дворянин живет, и фамилия у него турецкая — Амурадов! — обрадовался Павел Матвеич,— дедушку его Потемкин простым арабчонком вывез, а впоследствии сто душ ему подарил да чин коллежского асессора выхлопотал. Внук-то, когда еще выборы были, три трехлетия исправником по выборам прослужил, а потом три трехлетия под судом состоял — лихой!

— И белый... из лица, то есть?

— Немножко как будто с точечками, а впрочем, как есть — русский: и в церковь нашу ходит, и ругается по-нашему.

— У нас дворяне — жалованные, а у них — так! — пояснил Василий Иваныч,— у наших права, а у ихних — правов нет!

— Сегодня он — дворянин, а завтра — опять холуй!

— Завтра его подрежут да евнухом в гарем определят!

— Тсс... а что, кабы у нас так?

— Вот еще что вздумали! У нас этого нельзя, у нас — закон!

— У нас чего лучше! у нас, ежели ты по закону живешь, никто тебя и пальцем не тронет! Ну, а коли-ежели не по закону — ау, брат!

Спутники мои очевидно начинали повторяться: знак, что скудный запас разговора приближается к концу. Все отяжелели: Василий Иваныч вытянул руки вверх и с наслаждением сибарита шевелил лопатками; Павел Матвеич просто-напросто завывал, зевая; один Сергей Федорыч ерзал на месте, но не для того, чтоб спросить еще что-нибудь, а как бы ища куда-нибудь половчее примазаться. Если б не близость Вержболова, наверное, эти люди через минуту заснули бы тем тревожным, захлебывающимся сном, от которого у русского культурного человека стискиваются зубы и лицо в самое короткое время покрывается глянцевитым туком. Однако я был убежден, что еще далеко не все сказано. Не может быть, думалось мне, что они так-таки и позабыли о ветчине! И действительно, предчувствие не обмануло меня: хотя и окольным путем, но они пришли, однако ж, к ветчине.

— Обедать, что ли, в Вержболове будем? — спросил Павел Матвеич.

— Сперва на Страшный суд сходим, а потом и отобедаем!

— Да, скажите, пожалуйста,— я ведь за границей-то в первый раз — что с нами, собственно говоря, в Вержболове делать будут? — интересовался Сергей Федорыч.

— Ничего, голову сперва снимут, а потом отпустят! — пошутил Василий Иваныч.

— Нет, вы серьезно... поучите! в первый ведь раз!

— А вот увидите. Сперва на один Страшный суд поведут — таможенные обшарят; потом на другой Страшный суд представят — жандармы пачпорта осматривать будут.

— Посмотрят и отдадут?

— Ну, там, глядя по человеку. Ежели человек в книге живота не записан — простят, а ежели чего паче чаяния — в пастухи определят, вместе с Макаром телят пасти велят.

— Однако!

— В других землях вот этого нет!

— В других землях нет, а у нас — порядок! Я в полгода всю Европу объехал — нигде задержек не было; а у нас — нельзя! Ни въехать, ни выехать у нас без спросу нельзя, все мы под сумлением состоим: может быть, злоумышленник!

— И дельно.

— Спокойнее. Да ежели и есть задержка — разве она велика? Коли я ничего не сделал, да пачпорт у меня чист — да хоть до завтра его смотри! Я даже с удовольствием!

— Еще для меня спокойнее. Коли хорошенько пачпорт-то у меня проэкзаменуют, так и мне легче. По крайности, уверенность есть, что ни в чем не замечен.

— Ну, насчет уверенности — это еще бабушка надвое сказала. Начальство — оно тоже с умом: иногда нарочно повадку дает, чтоб ты в уверенности был, а само между тем примечает!

— Что ж, и это дельно! будь в страхе! оглядывайся! Кабы мы не оглядывались, да нас бы...

— Вообще у нас порядку больше. Лишнего не позволят, да зато и в яму упасть не дадут.

— А коли по правде-то говорить, так ведь это-то настоящая свобода и есть!

— Чего свободнее! Простор у нас один какой! зима-то наша! зима-то! Велишь, это, тройку в сани заложить — покатывай!

— Да колокольчик у коренной под дугой заливается, да пристяжные бубенчиками погромыхивают, да кучеру песни петь велишь... и-ах! и-ух!

— В целом свете такого раздолья не найдешь!

— Опять же насчет провизии! наша ли еда или ихняя!

— Я и сплю и вижу, как в Вержболово приедем! сейчас же ветчинки кусочек спрошу!

— Вота! давеча перечисляли-перечисляли еду всякую, а про ветчину-то и позабыли!

— А ветчина между тем... знаете ли, едал я ихнюю ветчину, и вестфальскую, и лионскую, и итальянскую, всякую пробовал,— ну, нет, против нашей тамбовской куда жиже!

— Помилуйте, наша ли свинья или ихняя! наша свинья — чистая, хлебная, а ихняя — что! Стервятиной свинью кормят, да еще требуют, чтоб она вкусом вышла! А ты сперва свинью как следует накорми, да потом уж с нее и спрашивай!

— Трихин-то, трихин-то, чай, сколько в ихней ветчине!

— Пожалуй, что, окромя трихин, ничего другого и нет. Признаться, я все время, как был за границей, как от огня, от ихней свинины бегал. Вот, стало быть, и еще один предмет продовольствия из реестрика исключить приходится.

— Да и предмет-то какой!

— Чего еще! Коли без опасения свинину употреблять — хоть на сто манеров ее приготовляй! Ветчины захотелось: хошь провесную, хошь копченую — любую выбирай! Свежая свинина по вкусу пришлась — буженину заказывай, котлетки жарь, во́ щи свининки кусочек припусти! Буженина, да ежели она в соку — ведь это что! Опять колба̀сы, сосиски — сколько сортов их одних наберется! сосиски в мадере, сосиски с чесночком, сосиски на сливках, сосиски с кислою капустой, сосиски... э, да что тут!

Разговор внезапно оборвался. Эти перечисления до того взволновали моих спутников, что глаза у них заблестели зловещим блеском и лица обозлились и осунулись, словно под гнетом сильного душевного изнурения. Мне показалось, что еще одна минута — и они совершенно созреют для преступления. К счастью, в эту минуту поезд наш начал мало-помалу уменьшать ход, и все сердца вдруг забились в виду чего-то решительного.

Мы приехали в Эйдкунен, откуда, после короткой остановки, поезд медленно и как-то торжественно повлек нас в Вержболово. Казалось, Европа сдавала нас по принадлежности с какою-то попечительною благосклонностью: «Вот, мол, они! берите и распределяйте их! невинными я их от вас приняла и невинными же сдаю вам! А ежели и случился с ними какой грех, то виновата в этом я одна, а их — простите! Каюсь, я не только открыла им доступ во все рестораны и модные магазины, но многим даже развязала языки; однако ж я уверена, что дома, у себя, они сумеют и помолчать! Не правда ли, mesdames et messieurs?» [1]

— Помилуйте! да мы! да никогда! да упаси боже! — слышались мне воображаемые голоса соотечественниц и соотече-

[1] милостивые государыни и милостивые государи?

ственников, с готовностью и с чистым сердцем устремляющихся на «Страшный суд».

Но на деле никаких голосов не было. Напротив того, во время минутного переезда через черту, отделяющую Россию от Германии, мы все как будто остепенились. Даже дамы, которые в Эйдкунене пересели в наше отделение, чтобы предстать на Страшный суд в сопровождении своих мужей, даже и они сидели смирно и, как мне показалось, шептали губами обычную короткую молитву культурных людей: «Пронеси, господи!»

— Что! притихла небось! — обратился Василий Иваныч к своей жене, высокой и статной брюнетке, которая даже в Париже, этом всесветном сборном пункте красивых кокоток, не осталась незамеченною.

Но красавица ничего не ответила и продолжала шевелить губами.

— Материю-то куда спрятала? — приставал Василий Иваныч.

Легкая краска, которою покрылось красивое лицо барыни, да какой-то загадочный жест внутрь себя, сделанный почти бессознательно, послужили ответом на этот вопрос. Действительно, в эту минуту красавица показалась мне гораздо полнее, вальяжнее, нежели в Кенигсберге за завтраком.

— Чай, аршин с тридцать кругом себя обмотала? — подмигнул Василий Иваныч своим собеседникам,— а вот из Вержболова выйдем — разматываться начнем. Ах, барыни! барыни!

Павел Матвеич и Сергей Федорыч только махнули руками в сторону своих дам, которые тоже после кёнигсбергской остановки заметно пополнели.

Вержболово... свершилось!

Нас попросили выйти из вагонов, и, надо сказать правду, именно только *попросили,* а отнюдь не вытурили. И при этом не употребляли ни огня, ни меча — так это было странно! Такая ласковость подействовала на меня тем более отдохновительно, что перед этим у меня положительно подкашивались ноги. В голове моей даже мелькнула нахальная мысль: «Да что ж они об Страшном суде говорили! какой же это Страшный суд! — или, быть может, он *после* будет?»

Но и после никакого Страшного суда не было. Таможенный чиновник с такою изысканностью обозрел наши чемоданы, что дамам оставалось только пожалеть, зачем он и их хорошенько не обыскал. Жандармский офицер величаво исполнил обряд обрезания над нашими паспортами, но, исполнивши, с улыбкой заявил, что в сущности это — пустая фор-

мальность и что по этой статье, как и по всем прочим, ожидается реформа в самом ближайшем времени. Даже жандармский унтер-офицер Тарара — и тот широко улыбался, словно всем своим лицом говорил:

— Наши! наши приехали!

Я повеселел окончательно и, в порыве радости, навеянной свиданием с родиной, готов был даже потребовать от Василия Иваныча строгого отчета:

— Где же, милостивый государь, тот Страшный суд, которым вы изволили нас стращать?

Но он предупредил мой вопрос. В руках его была паспортная книжка, на которую он смотрел с каким-то недоумением, словно ему казалось странным, что последний листок, заключающий отметку о возвращении, вдруг исчез.

— Ну, теперь, брат, крепко! — проговорил он вслух,— теперь, брат, ау! уж никуда не убежишь!

НЕОКОНЧЕННОЕ

БЛАГОНАМЕРЕННЫЕ РЕЧИ.

XII. ПЕРЕПИСКА

«Милая маменька. Я в восторге. Только теперь я начинаю понимать разнообразие петербургской жизни. До сих пор я корпел, теперь живу. Занятие достается мне легко: час или два утром я посвящаю клиентам; два-три часа в суде; затем весь остальной день свободен. Денег — вдоволь.

Признаюсь, я не без робости вступал в цех адвокатов. Я думал: «Их развелось так много, что, пожалуй, придется вытерпеть целую свалку, покуда дорвешься до куска». Оказывается, однако ж, что мир человеческих алчностей до того безграничен, что если бы явились целые массы адвокатов, то и тогда не наполнить бы ими этой зияющей бездны.

Но прежде нежели говорить о себе и о своих занятиях, мне хочется познакомить тебя с типическими разновидностями того сословия, к которому отныне принадлежу. Представь себе театральную труппу, в которой каждый актер занимает определенное амплуа. Самойлов — Протей, Леонидов — царь большого роста, Степанов — царь маленького роста, Нильский — актер из амплуа «блаженства безумия». То же самое ты встретишь и у нас. В адвокатском сословии имеются свои «благородные отцы», свои «злодеи» (конечно, только по виду), свои «комики», «любовники», «чудаки», «хвастуны», «легкомысленные», «гости» и др. Сверх того, есть несколько специальных амплуа, которых ни на каком театре не встретишь и которые составляют исключительную принадлежность адвокатского ремесла, каковы например: адвокат-«паук», адвокат-«ищейка», адвокат-«libre penseur»[1] и т. д. Трудно поверить, но я знаю адвоката, при взгляде на которого невольно срывается с языка: «Это он, это благородный отец из дома терпимости».

Прежде всего я займусь группой так называемых солидных адвокатов, к которой принадлежат «благородные отцы», «зло-

[1] свободомыслящий.

ден», «пауки» и «ищейки», а затем перейду уже к другой группе, отличительную черту деятельности которой составляет известная степень талантливости.

Амплуа «благородных отцов» не блестящее, но выгодное: из них, по преимуществу, выбирают конкурсных председателей. Сверх того, они охотно занимают места юрисконсультов при акционерных предприятиях и при солидных частных торговых фирмах. Четыре-пять хороших конкурса и столько же юрисконсультских мест — и положение человека обеспечено. Но подобного рода деятельность представляет еще и ту выгоду, что при помощи ее завязываются очень крепкие связи с коммерческим миром. Купцы в восторге от «благородных отцов», во-первых, потому, что они, проходя мимо церкви, снимают шапку и крестятся, а во-вторых, потому, что внешним видом своим они напоминают штатских генералов. Поэтому почти у каждого мало-мальски основательного купца есть «благородный отец», который втирается в дом своего клиента, ведет его денежные дела, пишет духовные завещания, разные записи и подает советы, какие меры принимать относительно непокорных детей. В суд «благородный отец» является редко и притом представителем только таких крупных интересов, относительно которых употребление выражений вроде «воровство» или «мошенничество» является равносильным потрясению авторитетов и основ. Таковы, например: подделка векселей на значительную сумму, растрата вверенных сумм в значительных размерах, значительное злостное банкротство и т. д. Взявшись за подобное дело, «благородный отец» предусмотрительно выговаривает для себя в случае выигрыша столько-то, в случае проигрыша — столько-то. Затем, явившись на состязательный процесс, он говорит изобильно и тускло, говорит таким солидно-самодовольным тоном, которым обыкновенно просят на бедность невинно падшие генералы, не забывшие, что они знавали когда-то лучшие времена. Ни одного живого движения, ни одного живого слова, ни повышения, ни понижения голоса — одна безнадежная канитель. Судьи втайне скрежещут зубами, противная сторона чувствует, что на нее нападает столбняк, даже мухи бьются об стекла окон, силясь улететь. А он, ясный, сияющий весь, благородный, выкачивает из себя одно слово за другим, с любовью останавливается на околичностях, доказывает, что добродетель прекрасна, а порок омерзителен; тут золотник прикинет, там ползолотника убавит и, по-видимому, нимало не подозревает, что противная сторона, доведенная до исступления, едва воздерживается от желания пустить в него полным собранием анисимовских изданий. И поверишь ли — так велика сила массы пустяков, которую

он из себя выпускает, что «благородный отец» почти всегда достигает того результата, который он себе предположил. Я не скажу, чтобы все дела, за которые он берется, кончались в его пользу, но он непременно всегда что-нибудь да выторгует и непременно всегда запасается кассационным поводом, который дает ему возможность тянуть дело бесконечное число лет. Поэтому «благородного отца» нередко называют еще и «иезуитом» и кровопийцею. Не далее как на этих днях приходит ко мне один купец, против которого я взялся вести гражданское дело, и когда я не согласился на те условия мировой, которые он предлагал, то он сказал мне: «Так слушай же, барин, такого я теперича кровопийца противу тебя найду, который не то что деньги тебе заплатит, а душу всю из тебя вымотает». И я уверен, что он найдет кого-нибудь из наших «благородных отцов».

В частном быту «благородный отец» приверженец охранительных начал. Он ходит по воскресеньям к обедне, празднует свои именины, и ежели имеет детей, то держит дома розги. Живет он тепло и сытно, а иногда даже имеет на стороне метрессу (по большей части вдову-попадью), которую посещает в сумерки на короткое время. Он любит деньги, но в рискованные обороты их не пускает, а, по преимуществу, придерживается билетов государственного банка. Перед отходом ко сну запирается у себя в кабинете и пересчитывает, все ли билеты налицо.

Особенную разновидность в семье «благородных отцов» представляет «благородный отец из дома терпимости». Он занимается исключительно бракоразводными делами, устройством соответствующих этой цели сцен и обстановок и наймом лжесвидетелей. Но вне этой специальности, во всем остальном, он ведет себя совершенно так же, как и прочие «благородные отцы». А именно: поддерживает охранительные начала, ходит к обедне и на сон грядущий взывает: «Блудом живу, срамом питаюсь, но бога не виню». Сверх того он имеет обширное знакомство между протоиереями и по праздникам то у одного, то у другого ест пироги, после чего непременно страдает изжогою.

Непосредственно за «благородными отцами» идут «злодеи». Это те же «благородные отцы», в смысле отсутствия талантливости, благонамеренности и большой жажды стяжания, но не успевшие достать ни одного конкурса, а потому озлобившиеся. Жажда стяжания, всегда живучая и очень редко удовлетворяемая, до такой степени разжигает все существо «злодея», что нередко заставляет его совершать поступки весьма легкомысленного свойства. Так, например, одни, взявши дело

от клиента, входят в тайные сношения с противной стороной; другие, производя взыскание, присваивают взысканную сумму себе. Поэтому, как только адвокат приобретет себе репутацию «злодея», никто (кроме разве какого-нибудь неопытного провинциала) уже не поручает ему никаких дел, ибо всякий понимает, что вверить свои интересы защите «злодея» — все равно что пожертвовать в пользу богоугодных заведений. На этом же основании суд почти всегда «злодею» отказывает. И так сильно укореняется в человеке эта привычка действовать в ущерб своему доверителю, что всякие меры противу нее оказываются недействительными. Пробовали пристроить одного «злодея» к конкурсу, в чаянии, что сердце его смягчится,— и что ж? — не прошло месяца, как он уже подорвал конкурсную массу фальшивыми векселями.

Адвокат-«паук» — это ядро современной адвокатуры. Большинство этих господ никогда не появляется в настоящих судах, а потому в глазах массы публики этот тип остается безвестным. Но можно сказать с уверенностью, что самые ценные дела достаются им и самые лучшие куски проглатываются ими. Дело в том, что они содержат целые канцелярии и в них по нескольку действующих адвокатов на жалованье. Но кроме того, у каждого «паука» находится на содержании несколько негласных адвокатов, так что из всего этого образуется род коммерческо-юридического предприятия, руководитель которого нередко в одном и том же деле является и истцом и ответчиком. Занимаются этим делом, по большей части, адвокаты старых судов, из молодых же лишь те, которые подозревают себя слегка ошельмованными. К числу последних принадлежит и известный мне Ерофеев, который теперь уже оставил специальность скопцов и занялся en grand [1] юридическим сводничеством. Деятельность эта трудная и притом опасная. К «пукам» обращаются по преимуществу продукты современного горячечного настроения общества. Все, что вертится около камелий, железнодорожной компании, биржи, вексельного устава, дисконтов,— все стекается сюда. Все промышляющее темным товаром, ловящее рыбу в мутной воде, все, для чего огласка равносильна гибели,— все ищет здесь спасения и совета. Понятно, что это такого рода язвы, относительно которых нужно иметь особую деликатность, чтоб не назвать их по именам, и особого рода философию, чтобы заниматься их исцелением. Из сотни дел, стекающихся в эти приемники общественных нечистот, едва двадцатая часть доходит до суда; все

[1] в крупном масштабе.

остальное разрабатывается и обхаживается «пауком» и его подручными и затем навсегда утопает в бездне шитого и крытого. Изредка только в каком-нибудь громком деле вдруг всплывет наружу скандальный эпизод и осветит на минуту какую-нибудь невероятную махинацию. Но как ни успешно идет процесс обхаживания, лицо, занимающееся этим делом, должно обладать громадным запасом изворотливости, чтобы не попасться впросак и не подвергнуться очень серьезным опасностям. Поэтому «пауки» всегда скрываются за целыми мириадами подручных, которые подготовляют материал для сделок. А так как главная часть риска сопрягается именно с этой подготовкой, то понятно, что подручные несут на себе и все последствия этих рисков. Мир подручных — особый мир, в высшей степени любопытный. В прежние времена нечто подобное встречалось в сфере фальшивых карточных игроков и сложилось в типе Расплюева («Свадьба Кречинского») — с одной стороны и молодого Глова («Игроки») — с другой. Теперь все это соединилось в лице подручного «паука», с тою лишь разницей, что Расплюев и Глов дошли до своего подручного положения de chute en chute [1], а современный подручный приходит к своему посту без всякого прошлого и обязанность свою выполняет с хладнокровием и рассчитанностью вполне искушенного жулика. Это своего рода сыщики, ловкие и неутомимые, которые с утра до ночи отыскивают почву для подлогов, банкротов и прелюбодеяний и почти всегда так искусно заметают следы, что самая сторожкая сыскная полиция теряется и отступает перед ними. Они без устали шмыгают по всем направлениям Петербурга, разузнают, знакомятся со сторожами присутственных мест, с лакеями и горничными, сыплют мелкими суммами, прислушиваются в трактирах и ресторанах, собирают сведения, смекают — и к известному часу всё собранное несут к «пауку».

Тогда выступает вперед сам «паук». Он соображает и взвешивает собранный материал; одну подробность выдвигает вперед, другую ставит на задний план, третью совсем скрадывает. Затем он начертывает план действий. Он знает, сколько, куда и кому надобно, и потому приступает к делу смело и почти всегда безошибочно.

Адвокат-«ищейка» — ремесленник по преимуществу. Он прилежен необыкновенно, ведет отшельническую жизнь, днем, покуда светло, ходатайствует о выдаче исполнительных листов и присутствует при описях и продажах имуществ, вечером —

[1] со ступеньки на ступеньку.

рассматривает документы и сочиняет прошения. А всякие свободные минутки, остающиеся от кляузы, он посвящает рассматриванию списка адвокатов и завидует тем из них, которые имеют дел больше его. В большей части случаев, он состоит на жалованье у «паука», получая от него дела и обязываясь полагать за них душу перед судом; но есть у него и своя некрупная практика, за которую он тоже полагает душу в присутственных местах Российской империи. Вообще, это адвокат начинающий, из которого должен выработаться недурной «благородный отец».

Этими четырьмя разновидностями исчерпывается группа солидных адвокатов. За нею следует другая группа, которая не столь солидна, но зато несравненно более талантлива. Сюда принадлежат: «комики», «первые любовники» и проч.

Специальность адвоката-«комика» — смешить судей. Качество драгоценное, потому что смех приводит судью в хорошее расположение духа, а противную сторону нередко ставит в самое дурацкое положение. Быть противником «комика» очень неприятно, потому что он не столько опровергает, сколько шантажирует. В особенности часто попадают в эту ловушку «благородные отцы», которые терпеть не могут, чтобы их дурачили. Поэтому они вообще избегают процессов, в которых участвуют «комики»; только приманка значительного вознаграждения заставляет их изменять этому правилу. Впрочем, «комики» сильны только в таких процессах, в которых затрагиваются интересы не слишком серьезные; в делах, где замешаны так называемые «особы» или где идет речь о кушах более или менее значительных, судьи уже находят юмор неуместным. Что делать? Так уж устроен свет, милая маменька. И утешаться нам дозволяется только на счет очень маленьких людей и очень маленьких сумм.

Амплуа «первого любовника» распадается на два вида: «любовник серьезный» и «любовник-весельчак».

«Серьезный любовник» всегда грустен. Он говорит карамзинским слогом, приводит цитаты из Шекспира и Данте, принимает красивые позы и заключение своей речи почти всегда произносит вдохновенным голосом и со слезами на глазах, хотя бы речь шла о пробитии в стене дома окна на чужой двор. «Клиент мой думал, что он полный хозяин в своем дворе,— говорит он дрожащим голосом,— и вот теперь его каждую минуту преследует мысль, что действия его не свободны, что за ним присматривает посторонний глаз, которому нет дела ни до поводов, ни до побудительных причин его действия, но который ищет только комментировать их и, быть может, находит в них пищу для своего злословия».

Или наоборот: «Клиент мой думал, что, прорубая в стене своего дома окно на чужой двор, он совершает действие вполне невинное, отвечающее требованиям его личных жизненных удобств,— и вот теперь находятся люди, которые утверждают, что он это сделал с целью подсматривать за действиями своего соседа и предавать их осмеянию. Не грустно ли, что в нашем обществе существует такое недоверие к своим членам».

«Серьезный любовник», несмотря на молодые лета, почти всегда женат; чрезмерная чувствительность рано заставляет его решиться на этот важный шаг, приковывающий его к семейной жизни. Жена обожает его, она посещает суд в дни его защит и в то же время ведет домашний расход. Вследствие этого у них множество детей, в квартире пахнет пеленками и кухней. Относительно вознаграждения «серьезный любовник» весьма разборчив, или, говоря прямее, высказывает вкус к большим суммам преимущественно перед малыми. Один клиент на днях сказал мне: «Эти чувствительные — они шкуру сдерут». Да впрочем, оно и понятно. Только чувствительный человек может понимать, насколько чувствительно для клиента его дело, и, следовательно, только он может до тонкости определить, до какой суммы вознаграждения можно в данном случае дойти. Я знал одного «первого чувствительного любовника», который вел дело колбасника и, кроме вознаграждения, полученного единовременно, выговорил себе по смерть по окороку ветчины еженедельно. Представь же себе, что практика у этого человека разнообразна, что он ведет дела бакалейщиков, виноторговцев, мясников, зеленных торговцев,— ведь этак он всю провизию будет иметь даром.

Разновидность «серьезного любовника» представляет адвокат «легкомысленный». Он столь же чувствителен, но главная характеристическая черта его деятельности — это беззаветная отвага. Когда он говорит защитительную речь, то кажется, как будто некто единолично собрался взять приступом крепость и вот-вот через минуту от него останется только мокренько. В гражданских делах «легкомысленный» ничего не смыслит и потому является только в самых сложных процессах, и то во второй паре; в уголовных делах он непременно достигает отягощения участи обвиняемого.

«Jeune premier [1]-весельчак» — прежде всего добрый малый и отличный товарищ. Он схватывает дело быстро и, по большей части, является на защиту не приготовившись. Адвокатская практика выработала известные ораторские рамки, кото-

[1] Первый любовник.

рые стоит только наполнить, чтобы вышла блестящая речь. Затем, ежели есть у человека способность схватить на лету суть дела, если он обладает известным brio[1], и ежели при этом умеет кстати вставить какую-нибудь неожиданность — успех его обеспечен. Комический «jeune premier» — это человек способный по преимуществу. Он не плоше «комика» умеет утешить судью, но в то же время, если понадобится, сумеет вызвать и слезы не хуже своего собрата, серьезного «jeune premier». Речь его можно уподобить водопаду, искрящемуся на солнце. Слова вылетают быстро, почти вытесняя друг друга. Внимание не успевает следить за ним: это каскад, это молния. Тут всё: и идиллия, и негодование, и незримые слезы сквозь видимый миру смех. И в конце — непременно какая-нибудь pointe[2], которая и решает дело. Ему не нужно даже быть au courant du sujet[3] — нужно только кой-что уловить, какую-нибудь неловкую фразу своего противника и на этой неловкой фразе построить целый фейерверк. Иногда он даже позволяет себе маленький каприз: совершенно игнорировать своего противника или отнестись к нему как к прохожему, зашедшему в суд ради праздного любопытства. «Благородных отцов» это ужасно обижает. Будучи пустословами по природе, они требуют, чтобы противник с должным уважением смаковал их словесную канитель, и ежели и допускают, что с ними можно не согласиться, то не потому, что они были неправы, а потому, что противная сторона получила известное вознаграждение за то, чтобы не соглашаться. И вдруг не только никакого возражения, но даже — ни единого слова. Комический «jeune premier» всегда имеет такую большую практику, что ему некогда заниматься конкурентом. Он слишком молод, чтобы думать об украшении конкурсной массы фальшивыми векселями, да и без того всегда имеет массу денег, которыми и распоряжается как настоящий grand seigneur[4]. Камелии расцветают при его виде, швейцары ресторанов бросаются опрометью, чтобы отворить дверцы его кареты, в цирке и в «Буффе» он отдает шубу первому встречному сторожу, не нуждаясь ни в каком номерочке. Одним словом, это почти что кавалергард.

Когда он остепенится, то из него выйдет адвокат «libre penseur», то есть человек, не имеющий никаких предрассудков. Главная отличительная черта этой группы — вкус к изящному.

[1] блеском.
[2] острота.
[3] в курсе дела.
[4] большой барин.

Роскошная квартира, экипажи от Нэллиса, кровные лошади, тонкие обеды, лучшие сигары и вина, ложа в опере и у французов и, наконец, прелестная жена, une femme à se lécher les doigts [1] — вот обстановка, в которой живет «libre penseur». Сохраняя приемы, близкие «jeune premier-весельчака», он отличается от него лишь семейной обстановкой и той предусмотрительностью, которая вытекает из этой обстановки и не позволяет уже пренебрегать конкурсами».

. . . . . .

[1] женщина — пальчики оближешь.

ПРИЯТНОЕ СЕМЕЙСТВО

(К вопросу о «Благонамеренных речах»)

Никогда я не проводил время так приятно, как в П***. Приехавши с поручением дознать под рукой, где скрывается источник пагубных, потрясших Западную Европу идей, распространение которых с особенною силой действовало между воспитанниками местной гимназии, я целый месяц провел в этом городе — и так-таки ничего и не узнал. Хотя впоследствии оказалось, что, собственно говоря, и узнавать было нечего, потому что П—ская гимназия, по ошибке писца, была названа вместо К—ской (где распространение идей действительно было организовано в самых обширных размерах), тем не менее полагаю, что я все-таки хоть что-нибудь успел бы узнать, если б исследование мое производилось не в П***, а в другом каком-нибудь городе. Но здесь, с первой минуты приезда до последней минуты отъезда, я был пленником всевозможных развлечений, которые буквально не давали мне опомниться. Я с утра до вечера чувствовал себя как бы охваченным сплошным праздником, который утром принимал меня из рук Морфея и поздней ночью вновь сдавал меня Морфею на руки, упитанного, слегка отуманенного и сладостно измученного...

В то время город П*** стоял в стороне от бойких путей сообщения и был сплошь населен отставными корнетами, между которыми выдавался только один почтенный отставной генерал, почти во всех корнетских семействах имевший крестников, которых в шутку называли его детьми. Но отдаленность города еще более способствовала его одушевлению. В столицы ездить и лень, и незачем, так как еще во время состояния в звании юнкера всякий корнет уже выпил до дна всю чашу столичных удовольствий. Поэтому корнеты из целой губернии устремлялись в П*** и здесь, в родном городе, среди домашних пенатов, старались веселиться так, как умеют веселиться

только корнеты. Как люди образованные, все эти господа держали прекраснейших поваров и выписывали вина прямо от Рауля и от Депре́, а консервы от Елисеева. Родовые и благоприобретенные имения доставляли откормленных индеек, телят, поросят и другую живность, для прочей же провизии дух времени выработал целую касту купцов, поставлявших сочные ростбифы, отборнейшую дичь и совершенно животрепещущую рыбу, хотя река, на которой стоит П***, изобиловала только гольцами и пискарями. Каждый день, в пяти-шести местах, званый обед, и везде что-нибудь необыкновенное, грандиозное, о чем ни Борелям, ни Дюссо и во сне не снилось. Один щеголяет стерляжьей ухой, в которой плавают налимьи печенки; другой поражает двухпудовым осетром, привезенным на почтовых из С***; третий подает телятину, в которой все мясные волокна поросли нежным жиром; четвертый предлагает поросенка, который только что не говорит. Я никогда не забуду судака под провансалем, который однажды подали к закуске у корнета Загибалова,— это было что-то такое до того тающее, изящное, радующее и вкус, и обоняние, и зрение, что я невольно подумал: «Если б это блюдо поставили передо мной и потребовали во имя его, чтоб я отказался от отечества, то я, конечно, не отказался бы — saperlotte![1] но в то же время, наверное, сказал бы себе: ah, tu es donc bien douce, chere patrie, pour être preferé à ce délicieux ragoût!»[2] В другой раз, в доме корнета Голопятова, мне подали ростбиф... ну, такой ростбиф, что я инстинктивно поцеловал кусок, прежде чем положить его на тарелку!

На первых порах этот день, весь посвященный еде, кажется невероятным. Я сам не прочь поесть и, благодаря получаемому содержанию и участию в некоторых промышленных предприятиях, могу выполнить это весьма удовлетворительно, тем не менее просто в голову как-то не приходит каждую минуту прозревать, какая еда предстоит в следующую минуту В П*** вас сразу ошибает запах еды, и вы делаетесь невольно поборником какой-то особенной религии, которую можно назвать религией еды. Но когда корнет Шилохвостов расскажет вам, что он налима, предназначенного для ухи, предварительно сечет, дабы печень его от огорчения увеличилась, что он индейке, предназначенной для жаркого, предварительно зашивает проход, дабы возбудить в ней нестерпимую жажду, которая тут же и удовлетворяется цельным молоком, и когда он и

[1] черт возьми!

[2] ах, сколь же ты сладостно, дорогое отечество, если тебя предпочитают этому прелестному кушанью!

этого страдальца-налима и эту страдалицу-индейку подает вам за обедом — клянусь, вы не выдержите и скажете: «Мамон, я твой! я твой — навсегда!»

Но естественно, что при такой изобильной еде корнеты скоро отяжелевают, и это не может не иметь влияния на их отношения к дамам. Отношения эти самые спокойные, так сказать, сонные. В глазах отяжелевшего корнета жена есть одно из удобств, особенно ценное в том отношении, что она привлекает к дому более или менее разнообразное общество. Корнет не может обойтись без общества, потому что для него немыслимо есть в одиночку. И не беседа его прельщает, не желание оживить еду каким бы то ни было разговором, в котором он сам может принять участие. Нет, он сидит за столом и в большей части случаев только сопит и хлопает глазами в какой-то полудремоте. Но его радует, что около него тоже некто сидит, жует и постепенно отяжелевает, что никто ни единого порока не находит в его поросенке и что при взгляде на осетра из всех утроб, наверное, вырвется тихое одобрительное ржание. Это единственная форма общежития, которую он ценит. Он тем счастливее, чем больше видит кругом себя жующих и поглощающих, и если жена его служит магнитом, привлекающим в дом лишнее число ртов, если она, сверх того, умеет устроить вокруг мужа какое-то подобие партий, могущей доставить почетную должность на выборах, то этого одного для него вполне достаточно, и вне этой сферы жена его интересует очень мало.

Для нас, приезжих из столиц, для чиновников, разъезжающих по делам службы, для корнетских сынков, наезжающих в побывку, и вообще для всех тех, которые не успели еще въесться,— это общекорнетское отяжеление — истинная находка. Находка это также и для тех местных молодых чиновников, которые умеют поставить себя в пределы двух-трех блюд из числа предлагаемых шести-семи. Все эти люди могут смело рассчитывать на корнетское отяжеление и очень приятно проводить время, не опасаясь, чтоб кто-нибудь обеспокоил их.

Жизнь в П*** какая-то непрерывная, полухмельная масленица, в которой все перемешалось, в которой никто не может отдать себе отчета, почему он опочил тут, а не в другом месте. Приезжего ловят, холят, вводят во все тайны.

Есть особливые отставные корнеты, которые позабыли жениться и которым делать уже совсем нечего. Изловив приезжего, они с утра до вечера возят его из дома в дом и по дороге рассказывают подноготную каждого дома. Вы еще не представлены хозяйке дома, а уж знаете и ее, и ее законного корнета, всё во всех подробностях. Корнет неизменно любит поврать, корнет неизменно любит изумить вас гостеприимством.

Это очень удобно, потому что, едва успевши отрекомендоваться хозяйке, вы уже начинаете врать и чувствуете, что здесь собственно ничего другого и не остается, как врать, врать и врать. Анекдоты самого скандального свойства не только припоминаются, но даже рождаются тут, на месте. Все это видело виды, все это знает, как оценить соль анекдота, все это чувствует себя в своей тарелке. От корнетши вы переходите на половину корнета и, узнав от него, в каком полку он служил, можете быть уверены, что уже навсегда застрахованы от разговоров с ним. На будущее время он будет молча подавать вам руку, или, указывая на стол, покрытый закусками, скажет: «милости просим!» — и затем, завесив себе салфеткою грудь, уставит глаза в тарелку.

П—ские дамы прелестны. Они немножко полны, но настолько, что эта полнота никогда не переходит в расплывчатость. Они кокетливы, но настолько, чтобы никогда окончательно не лишить человека надежды. Они любят поврать, но настолько, что никогда не теряют чувства собственного достоинства перед les domestiques [1]. Более мягких, приятных нравов нельзя желать.

---

[1] челядью.

БЛАГОНАМЕРЕННАЯ ПОВЕСТЬ

Вступление

Среди массы «Благонамеренных речей» странно было бы не встретить благонамеренной повести. Благонамеренные речи далеко не исчерпывают всего благонамеренного миросозерцания: существует еще целая область благонамеренного искусства, которую также необходимо исследовать, чтобы картина была вполне ясна.

Я не могу сказать ничего решительного насчет того, каким образом выражается благонамеренность в живописи, ваянии, музыке и т. д. Я не компетентный судья в этом случае. Думаю, однако ж, что, например, такого рода деятельности, которой образцы представляют художники Тютрюмов и Микешин, может быть беспрепятственно усвоено название благонамеренной. И еще думаю, что такие романсы, как, например: «Ach, mein lieber Augustin»[1], «Ah! vous dirai-je, maman»[2], «J'ai du bon tabac dans ma tabatière»[3],— тоже без неудобства могут быть названы вполне благонамеренными, и не только по содержанию текста, но и по самому сочетанию звуков. Но нигде, в области искусства, благонамеренность не может себе найти более полного и вразумительного выражения, как в искусстве словесном, и, по преимуществу, в высшей его форме — повести.

Главное удобство повести заключается в том, что она не имеет дела до отвлеченных идей, а прямо вводит читателя в мир живых образов, поступков и действий. Каковы стремления этих живых образов? каково содержание их поступков и действий? На вопросы эти романические традиции отвечают

[1] «Ах, мой милый Августин».
[2] «Ах! скажу ли вам, мамаша».
[3] «У меня славный табак в табакерке».

совершенно определенно одним словом: любовь. Любовь — это чувство человеческое по преимуществу. Человек может оставаться чуждым проявлениям разума, фантазии, вкуса и т. д., но он не может не ощущать на себе подавляющего действа любви. Это чувство интернациональное, всесословное. Это нейтральная почва, на которой подают друг другу руку и дикий абориген Патагонии, и цивилизованный берлинский улан, и первой гильдии купец, и мещанин. Всех, кроме менял, призывает она к приятнейшему провождению времени, всем внушает мысль о бессмертии души и о том, что человек рожден «для звуков сладких и молитв». Что же мудреного, что повесть, имеющая своим предметом исключительно человека, посвятила всю себя толкованию того чувства, которое составляет преобладающую стихию его жизни.

Таковы чистые, здоровые традиции, на почве которых обязывается держаться повесть, ежели не хочет изменить самой себе, своей задаче. Но, к сожалению, я должен сознаться, что повествовательная литература последнего времени очень значительно в этом отношении замутилась.

Современные повествователи, за очень малыми исключениями, совершенно извратили первоначальный, чистый тип повести привлечением в нее разных примесей, которые не только ослабляют, но отчасти даже совсем прекращают любви действо. Конечно, я не знаю покуда ни одного романиста, который вполне отрешился бы от так называемой любовной интриги, но одно то, что интрига эта без нужды и самым неприятным образом замедляется совершенно неклеющимися с нею экскурсиями в область философских умозрений, административных игр и т. д.,— одно это уже составляет ересь, к которой благонамеренный читатель должен отнестись с недоумением. Некоторые писатели, например, ищут заинтересовать читателя описанием борьбы консервативных идей с сюбверсивными; другие — от благоухающих сцен любви внезапно переходят к изложению административных мер по взиманию недоимок; третьи, наконец, ухитряются сочетать любовь с сыроварением, да сверх того, тут же приплетают артельное начало и вопрос о допущении женщин к слушанию медицинских курсов.

Мне кажется, что корень этого зла кроется в современной действительности. Современный человек сделался серьезен, озлоблен и, по правде сказать, даже скучноват. Прежней внутренней цельности, прежнего исключительного стремления к процессам питания и любви — нет и в помине. Современный человек не любит, а под видом любви разрабатывает женский вопрос. Но даже и этому последнему он отдает себя не вполне, а поминутно от него отрывается ради иных занятий. Так, одни

занимаются распространением сюбверсивных идей, а другие — пресечением их. Проходят месяцы, годы, десятки лет, не давая никакого питания любовному светочу и в то же время нимало не содействуя торжеству консервативных идей над сюбверсивными. И где все это происходит? — в той самой интеллигентной среде, которая так еще недавно, по всей справедливости, считала любовное дело своей специяльностью! Что же сказать о прочих, менее интеллигентных сословиях, как, например, о сословии земледельческом? Зимой ему предстоят отхожие промыслы, летом — пахота, молотьба, косьба, бороньба; наконец, во всякое время, то есть и зимой и летом,— заботы об уплате недоимок. Какую роль может играть здесь любовный вопрос? Какое средство, при подобной обстановке, провести поэму любви через все фазисы, начиная с томного анданте, переходя в бурное аллегро и кончая сладостным адажио, в котором и небо, и земля, и все стихии разом сливаются в один высокоторжественный, полный небесных гармоний аккорд?

Очевидно, что для современного человека процесс любви и отношения, которые из него вытекают, уже не представляют достаточного разнообразия. Очевидно, что даже великолепные описания природы, этой обязательной свидетельницы всех любовных излияний, не могут придать живости и сочности тощему содержанию этих последних. Очевидно, что даже самый центр тяготения любовного дела должен быть перенесен в какой-нибудь более подходящий мир, нежели мир человеческих отношений...

Все это очевидно, ясно и справедливо — и в то же время в высшей степени прискорбно. «Почему же прискорбно?» — спросит меня читатель. А потому, что прискорбно,— и всё тут. Заставьте философа-физиолога препираться с философом-спиритуалистом, заставьте первого доказывать последнему, что и т. д.— что́ из этого выйдет? — А то, что спиритуалист выслушает физиолога и скажет: «Все это совершенно справедливо и очевидно — и все-таки я не перестану повторять, что *нечто есть!*» Так точно и в настоящем случае: правда, что в человеческом обществе любовь приходит в умаление, правда, что при современных условиях развития человека это не может и быть иначе, правда, наконец, и то, что ощутительного вреда от этого нет,— и все-таки это прискорбно!

Да, прискорбно, что уже не видится тех порывов, тех восторженных движений души, которые заставляли человека забираться в ночное время в сады и парки, перелезать через заборы и изгороди, выскакивать из окошек, дрожать по целым часам на холоде и дожде, обжигать руки в крапиве, словом, производить тысячи мучительных операций — для чего? — для

того только, чтоб иметь несколько минут сладостного разговора с любимой женщиной, при трепетном мерцании луны, среди задумчиво рокочущих старых лип, а иногда (ежели любящие не боятся простуды) и на берегу заглохшего, тихо дремлющего пруда. Что за ощущения испытывались среди этой чарующей обстановки! Шелест, вздохи, полуслова...

Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья,
Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,
В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания и слезы —
И заря, заря!

И ни одного глагола на целых двенадцать строк! И поцелуи, поцелуи, поцелуи — без конца! *Он* сорвал ветку сирени, всю покрытую сверкающими каплями росы, и брызнул ею в *ее* лицо... «Возьми меня!» — прошептала *она*, склоняясь, словно подрезанный цветок, на его плечо...

Куда все это девалось?!

И не потому только прискорбно, что нет больше подвигов любви, но и потому, что повесть, допустив вторжение элементов политических и социяльных, любовь же поставив на задний план, совершенно утратила свою прежнюю благонамеренность. Социяльно-политический элемент вреден сам по себе, хотя бы он был окутан несомненно радужными консервативными красками. Пускай романист посвятил весь свой талант торжеству благонамеренных идей, все-таки он достигнет своей цели не иначе, как указав и оборотную сторону медали, то есть изложив и сюбверсивные идеи и сопоставив их с благонамеренными. Но как только он сделает это, так сейчас же хоть частичка этих идей непременно пристанет к нему самому. Ибо ежели он действительный художник, а не заурядный суздальский богомаз, то он даже в наиболее сюбверсивном субъекте непременно отыщет такую общечеловеческую область, плевать в которую положительно неудобно. Но этого мало: необходимость сопоставлений и изложений фаталистически приведет и к другому неожиданному результату. Увы! в массе читателей непременно всегда найдется такой прозорливец, который очень ловко сумеет разобраться среди хаоса плевков и изложений, который плевки выбросит в лохань, а изложения комментирует

и распространит. Что будет тогда? Что станется со всей этой хитро нагроможденной массой благонамеренных инсинуаций?

Да, любовь именно тем и хороша, что все в ней благонамеренно и политически благонадежно. Это единственное чувство, которое не терпит превратных толкований. Даже питание — и то может навести на мысль: отчего у одних изобилие, а у других скудость. Одна любовь исключает все другого рода помыслы, все, что сеет между людьми рознь, что заставляет их ненавидеть друг друга. Любовь — это воплощенная благонамеренность, это оплот, к которому ни один квартальный надзиратель не смеет отнестись иначе, как с почтением и приложив руку к козырьку. И я положительно признаю фальшивою и недальновидною ту политику, которая стесняет г-жу Филиппо в разъяснении «L'amour — ce n'est que ça» [1] и приглашает г-жу Бланш Гандон к мировому судье за какие-то жесты, смысл которых означает лишь торжество любовного начала и, следовательно, не заключает в себе ни малейшего политически неблагонадежного элемента.

Правда, что и любовь иногда сеет раздоры, бывающие источником кровавых столкновений. Недаром старинная басня говорит:

Deux coqs vivaient en paix, une poule survint,
Et voici la guerre allumée... [2]

Но, во-первых, внутренней политике нет дела до этих столкновений. А во-вторых, подобные столкновения не только не разрывают цельности повествования, но, напротив того, составляют такие кульминантные точки, около которых сосредоточиваются все лучи драмы и делают еще более яркими. Ведь «курица» во всяком случае свое возьмет, и ежели бы ход драмы временно и усложнился некоторыми столкновениями, то конец ее все-таки приведет к прямому или косвенному освящению принципа любви. Где бы ни последовало разрешение: в уединении ли пустыни (трагедия), в сельце ли Отрадном, на берегу заглохшего пруда (легальная комедия), или, наконец, в Зимнем саду г. Егарева (фарс),— смысл его будет один: торжество «курицы». Если б даже эта последняя и не воспользовалась плодами торжества, но личная ее неудача ни в каком случае не нанесет ущерба принципу. Напротив того, последний получит еще больше лучезарности, пройдя сквозь горнило любовных неудач и любовных ошельмований.

[1] «Любовь — это только это».

[2] Два в мире жили петуха, вдруг курица явилась,— и возгорелася война...

Все изложенное выше заставило меня взяться за перо, чтобы восстановить тот наивно-рыцарский характер, который составляет отличительную черту истинно благонамеренной повести.

Но я знаю, что было бы совершенно бесполезно обращаться за повествовательным материалом к современному человеку. Он дрябл и изношен, он столь же мало способен к перенесению подвигов любви, сколько мудр и изворотлив в устройстве акционерных обществ и других предприятий, направленных к всеобщему надуванию. Нынче даже едва выпущенный из корпуса фендрик — и тот не рискнет перелезть через изгородь или выпрыгнуть из окошка в крапиву, а норовит, как бы в cabinet particulier [1], посреди тепла и света, сложить тяготеющее над ним бремя любви. Что может дать подобный расслабленный организм? Какие перипетии могут представить его теплая шуба и калоши, в которых он отправляется на любовное свидание, сперва на угол Вознесенской и Мещанской, а потом в Зимний сад г. Егарева?

Нет, не человек представляет современный центр любовного тяготения, а так называемый низший организм, который один сохранил любовную отвагу во всей ее полноте и беззаветности. И не cabinets particuliers представляют собой современную арену любви, а скотный двор, птичник, пастбище, водопой. Там развертывается действительная, здоровая любовная драма, там, перед лицом всей природы, раздается немолчный гимн оплодотворению и любви. Мои герои живут между собою мирно, не занимаются ни консервативными, ни сюбверсивными идеями, никого не травят, ничего не пресекают. Правда, по временам им бывает скучно, и, может быть, от скуки они не хуже других могли бы заняться устройством гастрономических обедов, определениями, увольнениями и даже обложением друг друга сборами, но вот в ту минуту, когда скука, по-видимому, начинает уже одолевать,—

...une poule survint [2],—

и начинается драма...

Оговорившись таким образом, я прошу читателя не удивляться тому, что предлагаемая ему повесть носит следующее не вполне освященное ходячими эстетическими теориями, но, в сущности, совершенно подходящее заглавие:

[1] в отдельном кабинете.
[2] курица явилась.

МОИ ЛЮБОВНЫЕ РАДОСТИ И ЛЮБОВНЫЕ СТРАДАНИЯ

Из записок солощего быка

I

Я деревенский бык. «Бык» — это звание или, лучше сказать,— сельская должность. В иерархии должностей он стоит несколько ниже сельского старосты, но несравненно выше сотского. Он пользуется известным почетом, чему служит доказательством то, что он получает содержание от всего деревенского общества, а квартиру имеет по отводу, наравне с квартирующими войсками. Занятия «быка» не разнообразны, но сопровождаются некоторыми выгодами, которые, до известной степени, умеряют это однообразие. Во-первых, «бык» большую часть года находится лицом к лицу с природой, что доставляет ему множество истинно поэтических минут. Во-вторых, крестьяне, понимая, что благополучие «быка» тесно связано с благополучием всего крестьянского стада, кормят его самым отборным хлебным ухвостьем, какое, быть может, во всей деревне употребляют в пищу лишь староста да кабатчик.

Предки мои были «быками» исстари. Дед мой рассказывал, что его прадед помнил еще моздокские степи. Вот откуда мы родом. Судя по рассказам, мой пращур был прекрасный, рослый бычина, который, по достижении десяти лет (роковой возраст для должностного быка!), едва не сделался жертвою своекорыстия прасола, уже предназначившего его к производству в волы. К счастию, в это время мимо стада, в котором он пасся, проезжала вдова-помещица и была поражена статьями моего пращура. Немедленно была совершена сделка, вследствие которой он был переведен в сельцо Отрадное Воронежской губернии. Там его усилиями было немедленно сформировано стадо в сто голов, а года через три один из его сыновей на Лебедянской сельскохозяйственной выставке удостоился

получить большую серебряную медаль с надписью «за полезное».

Очень возможно, что мои дяди и внучатные братья и поднесь фигурируют с честью на сельскохозяйственных выставках, но что касается до того фамильного отпрыска, от которого я происхожу непосредственно, то слава его очень скоро померкла. Родной мой дед помнит себя уже в Смоленской губернии, в звании деревенского быка. В этой бесхлебной местности он в самом непродолжительном времени до того спал с тела, что никто уже не называл его иначе, как «простым русским быком», и с тех пор эта странная кличка осталась за нами навсегда.

Что касается до моего отца, то это был мученик в полном смысле этого слова. Неурожаи и недоимки преследовали его во всю жизнь. Во-первых, он был зачат в голодный год, когда моя бабка не знала другого корма, кроме гнилой соломы с крыш. Затем, когда он пришел в законный возраст и был определен к должности, последовало упразднение крепостного права, первым плодом которого было накопление недоимки. За недоимку отец мой был продан в другое сельское общество, оттуда, за недоимку же,— в третье и т. д. Одним словом, в сопровождении недоимки, он исходил всю Смоленскую и часть Калужской губернии, покуда наконец судьба не привела его в Ливенский уезд, в Опалихинское деревенское общество. Тут-то я и увидел свет.

Отец мой был робкий бык и совершенный демократ по убеждениям. Пастух не любил его за это, и часто я видел его с исполосованными кнутом боками. Но что всего страннее, крестьяне, которых он так любил и нуждам которых так сочувствовал, не только не понимали его демократических стремлений, но даже поощряли пастуха криками: «Накаливай его! шибче! валяй вовсю!»

II

На мое счастье, я родился во дворе довольно зажиточного крестьянина, который кормил меня хорошо, потому что имел на меня виды. А именно: он рассчитывал, что, со временем, с выгодой уступит меня обществу, когда должность деревенского быка сделается вакантною.

Воспитание я получил домашнее, то есть не классическое и не реальное. Но был один момент, когда я сильно опасался, что меня засадят за латинские глаголы, так как на этом сильно настаивал стоявший в нашей деревне с ротой капитан Балаболкин.

Это был очень жалкий человек, который под именем классицизма разумел не столько классическую древность, сколько всякого рода паскудства. Кажется, он не знал ни одного древнего языка, но, взамен того, имел довольно верные сведения об афинских вечерах, которые почерпал из романа «Жертва вечерняя». Он по целым дням читал этот роман: сидит, бывало, да облизывается, перечитывая одну и ту же страницу сряду по десяти раз. Не понимаю даже, когда он находил время для ротных ученій! Царство домашних животных и птиц пользовалось особенным его расположением. Он любил смотреть на быков и жеребцов, любил подстерегать птиц и даже посещал тетеревиные токовища. И называл это классицизмом и античностью.

Хозяин мой, однако ж, не поддался настояниям Балаболкина. Это был один из тех разумных мужиков, которые твердым опытом убедились, что в жизни гораздо легче прожить без наук, нежели с науками.

— Никакой ему науки не надобно! — говорил он про меня,— придет его время — он и без складов читать начнет. Потому, наука у него — природная!

Только благодаря этой твердости, я избавился от «Жертвы вечерней» и не растратил безвременно своих сил.

Мне было с небольшим два года, когда мой отец умер. В последнее время его всё били палками, думая хотя этим способом пробудить в нем чувство собственного достоинства; но добились только того, что он потерял жвачку. Тогда все взоры с надеждою устремились на меня.

Я был невелик ростом, но молод и проворен.

Я помню, это было прелестное, солнечное весеннее утро. Уже три недели стадо гоняли в поле без быка; оно ходило как сонное, не наедаясь, а только оглашая окрестность призывным мычанием. Казалось, над стадом повисла одна из тех весенних грез, которые так любит описывать поэт Фет. Коровы, облитые лучами веселого солнца, поголовно лежали на пару, зажмурив глаза и задумчиво жуя жвачку. То был не сон и не бдение. Не сон,— потому что по стаду, не перемежаясь, из конца в конец проносилось томное мычание. Не бдение,— потому что стадо представлялось словно застывшим под игом трепетного ожидания.

Хозяин вошел ко мне в хлев, обмотал мою шею обрывком веревки и вывел меня на улицу. Крестьянская сходка была в полном сборе; бабы стояли у ворот и выглядывали из окон своих изб. Несколько поодаль беспокойно расхаживал Балаболкин, для которого отсутствие быка в стаде представляло несносное лишение.

Начали осматривать меня; одни одобряли, говоря, что я настоящий русский, простой бык; другие сомневались. Я рыл копытами землю, уставлялся рогами и взмахивал хвостом, из всех сил стараясь показать, что, не хуже любого адвоката, поступлю по точному смыслу доверенности. Но мужики галдели, ругались и предлагали моему хозяину такие условия, от которых мне самому становилось неловко.

Прошел целый мучительный час. Наконец бабы не выдержали и сбежались к месту сходки.

— Вы тут галдите,— говорили они,— а коровы без быка ходят!

Тут же, кстати, кто-то напомнил, что день праздничный и не худо бы выпить. Хозяин мой горячо ухватился за эту мысль и предложил ведро водки. Тогда все закричали, засуетились, и я, пользуясь суматохой, вырвал из рук хозяина веревку и стремглав понесся в поле...

Я скакал так, что только копыта мои сверкали. Дух у меня занимало, глаза налились кровью, ноздри раздулись, шея сама собой выгнулась...

Следом за мной во все лопатки бежал Балаболкин.

При нашем появлении все стадо вдруг, как бы по манию волшебства, поднялось на ноги и оглушительно звонко заревело.

— И кто же бы мог подумать! нахал Балаболкин приписал этот внезапный порыв себе, своему появлению!

III

ПРИМЕЧАНИЯ

Вводная статья — *Ф. Ф. Кузнецова.*

Подготовка текста и текстологические разделы комментария:

В. Н. Баскакова — разд. II вводной статьи, «По части женского вопроса», «Семейное счастье», «Еще переписка», «Кузина Машенька», «Непочтительный Коронат», «В дружеском кругу», «В погоню за идеалами», «Тяжелый год», «Привет», и *Д. М. Климовой* — «К читателю», «В дороге», «Охранители», «Переписка», «Столп», «Кандидат в столпы», «Превращение», «Отец и сын», «Опять в дороге», отд. «Неоконченное».

Комментарии:

Т. Г. Динесман — постраничные примечания ко всем очеркам и вводные заметки к очеркам «В дороге», «Переписка», «Кандидат в столпы», «Превращение», «Опять в дороге», «Семейное счастье», «Еще переписка», «Непочтительный Коронат», «Благонамеренные речи. XII. Переписка», и *С. А. Макашина* — вводные заметки к очеркам «К читателю», «Охранители», «Столп», «Отец и сын», «По части женского вопроса», «Кузина Машенька», «В дружеском кругу», «В погоню за идеалами», «Тяжелый год», «Привет», «Приятное семейство», «Благонамеренная повесть».

Переводы иноязычного текста — *Е. А. Гунста.*

БЛАГОНАМЕРЕННЫЕ РЕЧИ

I

Первый появившийся в печати очерк цикла «Благонамеренные речи» — «В дороге» — был написан по свежим впечатлениям поездок Салтыкова летом 1872 года в связи с делами о наследстве по селам и городам Московской, Тверской и Ярославской губерний. Салтыков с особой остротой ощутил, сколь глубоко проникли в русскую жизнь после реформы 1861 года новые, буржуазные отношения. Уже в первом по времени написания и опубликования очерке, как в завязи, намечены многие темы будущей книги: приход «новых людей» — деревенских собственников-капиталистов, кулаков, арендаторов, торговцев — как грядущих «столпов» российской действительности, социальная и нравственная выморочность дворянства, упадок духовных и нравственных основ современного общества, прикрываемый «благонамеренными речами». «Констатировать, какие бывают на свете *благонамеренные речи»,*— это и было, по словам Салтыкова, задачей очерка, определившей необходимость его п р о д о л ж е н и я. Большинство очерков и рассказов, написанных в качестве этого п р о д о л ж е н и я и составивших новую книгу Салтыкова, имело под собой документальную основу — впечатления и наблюдения, полученные писателем во время его поездок по Московской, Тверской и Ярославской губерниям в родные места, где он улаживал дела по своим имениям с родственниками и крестьянами.

«Благонамеренные речи» формировались поначалу как публицистический, журнальный цикл. Этим объясняется как динамичность, оперативность отклика на те глубинные сдвиги и изменения, которые имели место в российской действительности конца 60-х — середины 70-х годов, так и широта жизненных наблюдений. Сфера их объемлет здесь и исключительно быстрые процессы капитализации пореформенной России, и судьбы помещичьего хозяйства после реформы 19 февраля 1861 года, и состояние народных нравов, и повседневный, обывательский провинциальный быт. Как справедливо отмечает Е. Покусаев, по своему замыслу «Благонамеренные речи» —

одно из синтетических произведений Салтыкова-Щедрина[1]. От очерка к очерку «исследовал» Салтыков современный ему срез повседневной, по преимуществу провинциальной жизни на переломе 70-х годов. «Исследовательская» задача определила и специфические средства художественной изобразительности: «Благонамеренные речи» почти свободны от гиперболизации, сатирической фантасмагоричности, элементов гротеска, столь типичных для творческого метода сатирика.

В журнальной публикации этот цикл мог восприниматься недостаточно внимательным читателем как более или менее последовательное обозрение внутренней жизни страны, напоминающее хронику «Наша общественная жизнь». Такого — чисто тематического — восприятия «Благонамеренных речей» писателю было явно недостаточно. Для него была крайне важна идейная «сверхзадача», которую он преследовал в этом цикле, цельность сквозной философской мысли. Изменяя структуру цикла при подготовке его к отдельному изданию[2], Салтыков и стремился добиться необходимой ему цельности и стройности произведения, как в отношении идейного замысла, так и в развитии мысли, в архитектонике воплощения своего замысла. В связи с отдельным изданием «Благонамеренных речей» он писал 1 ноября 1876 года П. В. Анненкову, что «взятые в совокупности, они имеют несколько другой смысл, нежели читанные урывками в журнале».

Следует отметить, что критика 70-х годов не смогла достаточно глубоко осмыслить «Благонамеренные речи». Более того, некоторые очерки цикла вызвали открытое раздражение и неприязнь либеральной печати. «К чему же, спрашивается, выводить на свет божий такие *головные* типы?» — спрашивал по поводу очерка «Еще переписка» рецензент газеты «Новости»[3]. «Тон очерка,— вторил ему другой,— не совсем гармонирует с формою переписки, и потому из-за корреспондирующих между собою героев слишком просвечивает сам автор»[4]. Это избитые типы, писал третий рецензент, «и — главное — такие, на которых и не стоит останавливаться серьезному сатирику»[5].

«Благонамеренные речи» были неодобрительно встречены и одним из виднейших демократических публицистов и критиков той поры Н. В. Шелгуновым, который лишь к концу жизни пересмотрел свое отношение к Салтыкову. А пока он опубликовал в журнале «Дело» (№ 10 за 1876 год) под псевдонимом Н. Языков статью «Горький смех — не легкий смех», где, в духе известного выступления Писарева («Цветы невинного юмора», 1864), заявляет, будто от сатиры Салтыкова «веет холодным барством», будто ей «недостает ясной мысли, стройного и последовательного миросозерцания».

И все-таки правда российской действительности, заключенная в «Бла-

[1] Е. Покусаев. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, Гослитиздат, М. 1963, стр. 328.
[2] См. об этом в разделе II статьи.
[3] «Новости», 1874, № 256, 15 ноября.
[4] «Биржевые ведомости», 1874, № 317, 20 ноября.
[5] «Сын отечества», 1874, № 267, 19 ноября.

гонамеренных речах», была столь неопровержима, что ее не могли не признавать фактически публицисты и критики, отнюдь не дружественные Салтыкову. Даже Буренин, назвавший очерк «Опять в дороге» «бойкой юмористической картинкой», делал из очерка выводы, опровергающие эту поверхностную оценку: «Кулаки и маклаки <...> оказались неизбежно руководителями общественного движения и принялись напразлять современный прогресс по пути, выгодному для них. А этот путь <...> есть путь полного нравственного и социального банкротства в будущем...» [1]

Наиболее глубокую оценку «Благонамеренным речам», из современников Салтыкова, дал его сподвижник по «Отеч. запискам» Н. К. Михайловский. Отвечая оппонентам Салтыкова, не понявшим его очерка «По части женского вопроса», Михайловский в дискуссии по этому частному поводу вскрыл общую и главную идею всего произведения. «...Вы все,— писал он,— творящие облавы и травли и ратующие за семью и нравственность,— где *ваша* семья, где *ваша* нравственность? Автор «Благонамеренных речей» говорит вам, что ничего этого у вас нет. Он говорит вам больше: он говорит, что вы *сами* знаете, что и «без того все стоит еле живо», что и «собственность-то, семейство-то, основы-то наши <...> фью-ю!» [2]

Истинный, опасный для самодержавно-крепостнического государства смысл «Благонамеренных речей» понимала и царская цензура. Входивший в цикл очерк «Тяжелый год», напечатанный в майской книжке «Отеч. записок» за 1874 год, послужил одной из причин такой крайней цензурной меры, как уничтожение этого номера по постановлению Комитета министров.

1

«Благонамеренные речи» посвящены, если иметь в виду их конечную задачу,— «тайному тайных» и «святая святых» современного Салтыкову общества, его «краеугольным камням». Речь идет об основополагающих социальных понятиях («институтах»), выработанных исторически человечеством.

«Сохранили ли эти понятия тот строгий смысл, ту святость, которые придавало им человечество в то время, когда они слагались; если не сохранили, то представляется ли возможность возвратить им утраченное?» — задавал вопрос Салтыков в статье «Современные призраки», написанной еще в 1863 году.

Статья эта, как и ряд других произведений, свидетельствует, что круг идей, воплощенных в «Благонамеренных речах», волновал Салтыкова давно. Волновал он писателя и позже. Подтверждение тому — известное письмо его к Е. И. Утину от 2 января 1881 года. Оно написано по поводу трактовки последним «Круглого года» и отношения Салтыкова к «идеалам», но имеет непосредственное отношение и к «Благонамеренным речам», является

[1] «СПб. ведомости», 1873, № 303, 3 ноября.
[2] «Отеч. записки», 1873, № 3, отд. II, стр. 139—140.

своего рода авторским комментарием к ним. «...Мне кажется,— писал Салтыков Утину,— что Вы не совсем удачно выбрали «Круглый год», и потому вопрос об «идеалах» не выяснился. Мне кажется, что писатель, имеющий в виду не одни интересы минуты, не обязывается выставлять иных идеалов, кроме тех, которые исстари волнуют человечество. А именно: свобода, равноправность и справедливость <...> Ведь семья, собственность, государство — тоже были в свое время идеалами, однако ж они, видимо, исчерпываются Устраиваться в этих подробностях, отстаивать одни и разрушать другие — дело публицистов Читая роман Чернышевского «Что делать?», я пришел к заключению, что ошибка его заключалась именно в том, что он чересчур задался практическими идеалами Кто знает, будет ли оно так! И можно ли назвать указываемые в романе формы жизни окончательными? Ведь и Фурье был великий мыслитель, а вся прикладная часть его теории оказывается более или менее несостоятельною, и остаются только неумирающие общие положения. Это дало мне повод задаться более скромною миссией, а именно: спасти идеал свободного исследования как неотъемлемого права всякого человека и обратиться к тем современным «основам», во имя которых эта свобода исследования попирается. По мере сил моих и в размерах цензурного произвола это и сделано мною в «Благонамеренных речах»

Несколькими строками ниже Салтыков уточнил, что́ он понимает под этими современными «основами» российской действительности. В «Благонамеренных речах», по словам сатирика, он «обратился к семье, к собственности, к государству <к тому, что «тоже было в свое время идеалами»> и дал понять, что в наличности ничего этого уже нет. Что, стало быть, принципы, во имя которых стесняется свобода, уже не суть принципы даже для тех, которые ими пользуются». Идея, нашедшая свое выражение в той «скромной миссии», которую взял на себя автор «Благонамеренных речей», являлась коренной, глубинной мировоззренческой идеей Салтыкова и была, как сказано, первоначально высказана им в «Современных призраках», а также в произведениях тех лет, к ним примыкающих, и прежде всего в начатом, но незавершенном цикле «Как кому угодно» [1].

«Благонамеренные речи» близки к этому не реализованному Салтыковым замыслу начала 60-х годов не только идейно, но и формально: очерк «Семейное счастье», центральный в цикле «Как кому угодно», писатель включил впоследствии в отдельное издание «Благонамеренных речей», не перепечатывая никогда цикл «Как кому угодно» целиком. Комплекс же идей, намеченных в «Современных призраках» и в незавершенном цикле «Как кому угодно», получил свое полное и всестороннее развитие в «Благонамеренных речах» [2].

Суть этого комплекса заключалась в том, что владычество призраков означало для Салтыкова безыдеальность общества и непременно предпо-

[1] Т. 6 наст. изд

[2] А. С. Бушмин. Сатира Салтыкова-Щедрина, Изд-во АН СССР, М.— Л. 1959, стр. 169—170.

лагало, на его взгляд, «бóльшую или мéньшую степень общественного растления» [1]. Это — трагедия для общества, с особой резкостью обнаруживающая себя «в те эпохи, в которые старые идеалы сваливаются с своих пьедесталов, а новые не нарождаются» [2]. В такие эпохи никто ни во что не верит, а между тем общество продолжает жить, и живет в силу тех самых принципов, которым оно не верит, продолжает поклоняться старым идолам

Просветитель Салтыков, свято и искренне веривший в разум как главную руководящую силу прогресса, полагал, что нет ничего более важного, чем ниспровержение несостоятельных «идолов», этих духовных и нравственных «алтарей», являющихся главным препятствием на пути прогресса, ниспровержение силой разума, исследования, анализа, наконец — силой смеха.

Так ставил вопрос Салтыков еще в 60-х годах. В цикле «Как кому угодно» он приступил к разрешению этого центрального для него вопроса — анализу «алтарей», «краеугольных камней», вокруг которых «группируется» современное ему общество.

2

Видоизменение и углубление темы «краеугольных камней», как она предстала в «Благонамеренных речах», было предопределено жизнью, глубинными социальными изменениями в ней, наметившимися еще в 50-е годы и охватившими всю Россию после реформ 60-х годов. В целях защиты интересов имущих классов и оправдания социально-политического status quo представителями официальной науки были выдвинуты различные теории, среди которых видное место принадлежало теории «с о ю з н о с т и». Сущность ее излагалась Б. Н Чичериным в книге «История политических учений» (1869) следующим образом: «Первый союз — семейство. Оно основано на полном внутреннем согласии членов, на взаимной любви, которая составляет жизнь семейства < .> Второй союз, гражданское общество, заключает в себе совокупность всех частных отношений между людьми. Здесь основное начало — свободное лицо с его правами и интересами <...> Третий союз, церковь, воплощает в себе начало нравственно-религиозное, в нем преобладает элемент нравственного закона. Наконец, четвертый союз, государство, господствует над всеми остальными Он представляет собою преимущественно начало власти, вследствие чего ему принадлежит верховная власть на земле» [3].

«Благонамеренные речи» были посвящены художественному исследованию реальной сути этих «союзов», декларируемых официальной идеологией в качестве «краеугольных камней» русского общества.

В очерках «Отец и сын», «По части женского вопроса», «Семейное сча-

[1] «Современные призраки» (т. 6 наст. изд.).
[2] Т а м ж е
[3] Подробнее см. Е. П о к у с а е в. Революционная сатира..., стр. 334—336 и на стр. 173—175, 440, 625 и 686 в т. 6 наст. изд.

стье», «Еще переписка», «Непочтительный Коронат» исследовался прежде всего «семейный союз» в наиболее типичных и характерных формах его существования в условиях пореформенной действительности.

В очерках «Охранители», «Переписка», «В дружеском кругу», «Тяжелый год», «В погоню за идеалами», «Привет» главное — анализ союза «гражданского» и «государственного».

Третье же направление художественного и социального исследования в «Благонамеренных речах», третья — наиболее значительная по объему и по занимаемому месту группа очерков и рассказов — «В дороге», «Опять в дороге», «Столп», «Кандидат в столпы», «Превращение», «Кузина Машенька» — посвящена теме, едва намеченной в творчестве Салтыкова 60-х годов и вышедшей для него на первый план в 70-х: теме собственности [1]. В этом проявилась закономерность времени: принцип собственности к середине 70-х годов становился одним из главных «краеугольных камней» пореформенной России и выявлял себя с исключительно быстро возрастающей очевидностью. Казалось, этот принцип никак не мог быть назван «призраком» — столь реально наполнял он своим содержанием «семейный», «гражданский» и «государственный» союзы, утверждал на практике новую «нравственность» и «мораль», выступал в качестве «столпа» семейственности и государственности, опоры власти, в качестве новоявленного идеала, всеобъемлющей основы жизни. Именно поэтому исследование принципа собственности стало сквозной темой «Благонамеренных речей», которая звучала не только, скажем, в дилогии о Дерунове (очерки «Столп» и «Превращение»), но и в ряде очерков «семейного» цикла («Отец и сын», например), в очерках, посвященных «гражданскому» и «государственному» союзам («Охранители», «Переписка» и др.). Вообще деление на тематические группы очерков в «Благонамеренных речах» в достаточной степени условно,— здесь правильнее говорить о взаимопроникающих тенденциях социальной и нравственной действительности 70-х годов, они вкупе и составляли тот чадящий «идоложертвенный светильник», в котором было скрыто «существо веществ» общественного бытия России 70-х годов.

Чтобы затушить этот светильник и вознести на его место новый, надо, писал Салтыков, войти в его капище «ласково», разузнать доподлинно, кем, когда и по какому случаю возжжен этот светильник, что именно он освещает, и потом, улучивши минуту, задуть его, «ибо в мире сем не одна сущность дела роль играет, но и манера» [2].

В соответствии с этой программой Салтыков разрабатывает художественную манеру «Благонамеренных речей». Он и в самом деле входит в «капище» «ласково» и, на первый взгляд, вполне «благонамеренно», он показывает читателю основы «капища» изнутри, как человек, принадлежащий этим основам и досконально знающий их. «Рассказчик», от лица кото-

[1] Группировка очерков дается по: Е. Покусаев. Революционная сатира..., стр. 336—337.

[2] Ноябрьская хроника «Наша обществ. жизнь» за 1863 год (т. 6 наст. изд.).

рого написаны «Благонамеренные речи», всей своей биографией и опытом жизни связан с действительностью, исследуемой в очерках. «Рассказчик» ведет повествование о поездках в родные места по делам своего имения, о впечатлениях, которые он вынес из этих поездок на родину после многолетнего отсутствия, о встречах с людьми давно знакомыми и незнакомыми. Он — здешний помещик и вместе с тем «писатель по сатирической части», известный в тех местах как автор «Благонамеренных речей». Все это заставляло воспринимать «Благонамеренные речи» как достоверный, фактический рассказ о реальных людях и реальных ситуациях, с которыми сталкивался в своих поездках Салтыков. Такое впечатление необходимо было писателю для большей убедительности и неопровержимости того социального исследования современной ему действительности, которое он вел в своих очерках.

Однако документальность «Благонамеренных речей» особого рода: ее надо воспринимать с той существенной поправкой, что «писатель по сатирической части», который в очерках выступает как автор «Благонамеренных речей», от лица которого ведется рассказ,— это *и Салтыков, и вместе с тем не Салтыков.* Это — *«рассказчик»,* то есть вымышленный персонаж, далеко не идентичный по взглядам и позициям самому Салтыкову, своеобразная литературная маска. Взаимоотношения между Салтыковым и его двойником-рассказчиком вполне определенны и вместе с тем сложны. *Сложность* здесь — в постоянно меняющейся дистанции между ними: от полного отсутствия таковой, когда облик действительного автора «Благонамеренных речей» и его литературного alter ego сливаются, и тогда словами и интонациями «рассказчика» говорит полным голосом сам писатель,— до полного противостояния, когда рассказчик предельно далек и внутренне враждебен, неприемлем для Салтыкова и сам является объектом его иронии и сатиры. *Определенность* — в том, что под литературной маской «рассказчика» — то безобидного «фрондера», то «простака», то человека «среднего культурного пошиба»,— мы всегда, в любом случае, ощущаем, чувствуем самого Салтыкова, его идейную позицию, его отношение к жизни и «рассказчику» [1].

Фигура «рассказчика» — благонамеренного «русского фрондера», органически принадлежащего социальной действительности, являвшейся объектом исследования и обличения писателя,— и позволяла Салтыкову осветить эту действительность «изнутри». Писатель как бы демонстрирует саморазоблачение современного ему общества, краеугольных основ его. Художественный принцип сатиры Салтыкова — и это характерно для всех очерков книги — в обнажении, а точнее — самообнажении разительного противоречия между видимостью и сущностью, между словом и делом, между внешними формами буржуазно-крепостнической действительности, вы-

[1] Подробнее о проблеме «автор — рассказчик» у Салтыкова см. В. Мысляков. Искусство сатирического повествования. (Проблема рассказчика у Салтыкова-Щедрина), Саратов, 1966.

даваемыми за истину, и подлинным содержанием ее Самые положительные, высокие, «благонамеренные» понятия оказываются не более как системой пустых фраз и ложью. Высокие слова опровергаются, в первую голову, собственными делами тех, кто их произносит,— таков, на взгляд Салтыкова, убийственный парадокс жизни, развивающейся по законам «самоедства». Тогда какой же смысл во всех этих «благонамеренных речах»? А смысл есть, и немалый. «Благонамеренные речи» — средство «обуздания» народа, «обуздания» «простеца».

В статье «К читателю», открывающей книгу, хотя статья и не является формально введением или предисловием к ней, по существу поставлена сквозная, ведущая проблема «Благонамеренных речей». На обсуждение читателя здесь вынесены три центральных вопроса, неразрывно связанных между собой: вопрос об «обуздании», как естественной, а точнее — противоестественной атмосфере жизни России, вопрос о «лгунах», на которых держится атмосфера «обуздания», и, главный для Салтыкова, вопрос о «простеце», как предмете «обуздания», объекте этой всеобъемлющей, всепроникающей лжи.

Именно здесь, в рассуждениях о «принципе обуздания» и «лгунах»,— ключ к циклу, к уяснению его конечного замысла. «Освободиться от «лгунов» — вот насущная потребность современного общества»,— утверждает Салтыков. Уничтожить принцип «обуздания», разрушить, скомпрометировать, убить всю «ложь», которая под видом «основ», «устоев» и «краеугольных камней» опутывает, придавливает сознание «простеца», то есть народных масс, погружая их в пучину бессознательности,— единственный путь к освобождению народа, к спасению общества.

В защиту интересов «простеца», ради освобождения его от оков лжи, от власти «призраков», ради пробуждения в нем сознательности, гражданской, революционной активности Салтыков и подвергает беспощадному анализу всю идеологическую, духовную систему координат современного ему общества. Убежденный просветитель-демократ, свято веривший в неодолимую силу истины, знания, человеческого разума, как и все шестидесятники, он считал главной бедой истории — бессознательность народных масс, а главной виной тому — все то, что обуславливает недостаток сознательности в массах. Отсюда — просветительский пафос разоблачения всех форм и видов официальной и внеофициальной лжи и фальши «краеугольных камней», которым пронизаны «Благонамеренные речи» Отсюда — центральный вывод книги: «..Никто так не нуждается в свободе от призраков, как простец, и ничье освобождение не может так благотворно отозваться на целом обществе, как освобождение простеца».

3

Аморализм «благонамеренной» «морали», бездуховность ходячей «нравственности», распад элементарных бытовых, личных, семейных связей и отношений, освященных всевозможными «алтарями» и «союзами»,— с

этого начинает писатель исследование современных ему «благонамеренных речей». Первый, хронологически, рассказ данного цикла — «Семейное счастье», написанный, как уже указано, еще в 1863 году, посвящен «семейному союзу»,— изначальному «краеугольному камню» официальной системы идеологии и нравственности. Помещица Марья Петровна Воловитинова, о семействе которой идет речь в рассказе, женщина очень почтенная: соседи знают ее за чадолюбивейшую из матерей, а местный священник ставит ее богоугодие и благонамеренность всей округе в пример. Но какое же море ненависти, зла, взаимного подсиживания и полного отчуждения под тонким покровом лицемерия и ханжества властвует в ее семье!

Это поразительное «двоегласие» Салтыков раскрывает в ряде очерков, исследующих «благонамеренную» мораль. В очерке «Еще переписка» перед читателем предстала еще одна «маменька» — Натали Проказнина и ее любезный сын, родной брат по духу Феденьке Воловитинову, Сергей Проказнин. От изображенных Салтыковым жизненных отношений пахнуло таким букетом грязи, растления и пошлости, что либеральная и реакционная критика обвинила сатирика в очернительстве и цинизме. «И откуда взял автор такую фигуру, как мадам Проказнина? где он ее видел? Откуда он взял такие уродливые отношения матери к сыну,— словом, где та натура, с которой г. Щедрин списал эти гадкие лица, которые, во всяком случае, типического не имеют ровно ничего?» — спрашивал, к примеру, в «Гражданине» автор «Заметок досужного читателя» [1].

Это были типичные для реакционной печати «благонамеренные речи». Лицемерию и ханжеству двуличной охранительной морали Салтыков посвятил очерк «По части женского вопроса». Герой этого очерка, консервативный либерал Тебеньков, «даже не либерал, а фрондер, или, выражаясь иначе: почтительно, но с независимым видом лающий русский человек», усматривает поругание «над женской стыдливостью» даже в стремлении женщин учиться в Медико-хирургической академии или слушать в университете лекции Сеченова по физиологии. Он видит в этом нарушение «приличий»,— а «приличия», говорит Тебеньков, это — «краеугольный камень». У Тебенькова есть своя собственная теория разрешения женского вопроса: с его точки зрения, «женский вопрос» в светском обществе давно уже решен; дамы света «разрешили этот вопрос практически, каждая сама для себя». Разрешили его как раз по канонам морали мадам Проказниной — той самой, в которой Тебеньков, то есть публицист «Гражданина», не захотел увидеть ничего «типического» Почему? Тебеньков из «Благонамеренных речей» так отвечает на этот вопрос: «...Зачем подрывать то, что и без того стоит еле живо, но на чем покуда еще висит проржавевшая от времени вывеска с надписью: «Здесь начинается царство запретного»? Зачем публично и с каким-то дурным шиком вторгаться в пределы этого царства, коль скоро мы всем этим quasi-запретным можем пользоваться под самыми удобными псевдонимами?»

[1] «Гражданин», 1874, № 52, 31 декабря, стр 1331.

Благонамеренные блюстители «общественной нравственности», утверждает Салтыков, сами не дорого ценят ее и на «основы» плюют. «Но для черни, mon cher, это неоцененнейшая вещь! — рассуждает Тебеньков.— Представь себе, что вдруг *все* сказали бы, что запретного нет,— ведь это было бы новое нашествие печенегов!»

В этих словах истинная подоплека «семейного союза», а точнее — всей системы благонамеренной морали. Охранители-моралисты узурпировали самую «первозданную азбуку» человеческих взаимоотношений, надругались над элементарными нормами общечеловеческой нравственности. Самую азбуку нравственности они превратили в средство обуздания народных масс; «свойства этой азбуки таковы, что для меня лично она может служить только ограждением от печенежских набегов»,— признается Тебеньков.

«Обуздание» «простеца» — в этом видит Салтыков суть союзов «семейного», «гражданского» и «государственного», всех «краеугольных камней», лежащих в основании современного ему общества. Такой конкретно-исторический подход резко противоречил идеалистической концепции государства (которой сам Салтыков отдал некоторую дань — см. стр. 616) и в особенности казенной идеологии, гласящей, что если семья — «святыня», то государство — воплощение «высшей идеи правды» и справедливости. Теория надклассового характера эксплуататорского государства, стремление представить самодержавие в качестве высшего блага народа, защитника и радителя его интересов, воплощения «правды и справедливости», было еще одной возвышенной ложью, одним из тех «краеугольных камней», которые официальные «лгуны» усердно бросали в голову «простеца».

Исследование истинного содержания государственности в условиях самодержавно-крепостнической России писатель начинает очерком «Охранители». Здесь внимание писателя привлекают «столпы» отечественной государственности самых разных рангов и масштабов, «охранители» «основ» и «устоев»,— с их собратьями по духу мы встречаемся также в «Круглом годе» и в других произведениях Салтыкова.

Открывается эта выразительная галерея фигурой Сергея Иванова Колотова, сельского исправника с наружностью совершенно приличной, даже джентльменской, «бюрократа самого новейшего закала», играющего в «интересного и либерального собеседника», способного и об «основах» поговорить, и над собой поиронизировать Но в сущности, замечает Салтыков, это был «все тот же достолюбезный Держиморда <..> Почищенный, приглаженный, выправленный, но все такой же балагур, готовый во всякое время и отца родного с кашей съесть, и самому себе в глаза наплевать...»

И далее следует характеристика русской бюрократии в целом, как некоей «неразрешимой психологической загадки», разгадку которой Салтыков видит в продажности и корыстолюбии русской бюрократии, в ее цинизме, в отсутствии у нее тех самых «основ», которые она была призвана внедрять и охранять. Вот почему отличительным характером русской бюрократии, пишет он, является «ироническое отношение к самой себе».

«Бюрократу новейшего закала» исправнику Колотову не стоит труда признаться, что он «карьерист», правда несколько менее счастливый, чем его непосредственный начальник. Он иронизирует не только над собой, но и над «доброхотными ревнителями» политической «благонамеренности», которых «до пропасти развелось» в деревне вследствие реакции охранительных сил на подъем движения революционных народников в 70-е годы.

Колотов представляет автору «Благонамеренных речей» двух типичных представителей местных «доброхотов» в содействии сельской политической полиции: разорившегося помещика Терпибедова и попа-расстригу, отца Арсения. Эти «представители нравственного порядка», через коих исправник «сведения о настроении умов получает»,— весьма колоритные типы в салтыковской галерее о х р а н и т е л е й государственных устоев. Это уже полные и законченные отбросы общества, не способные вызывать никакого другого чувства, кроме брезгливости.

В своей характеристике «государственного союза» в «Благонамеренных речах» Салтыков исходит все из того же противоречия между «казаться» и «быть», между субъективными декларациями о предназначении «краеугольных камней» и их объективным общественным значением, исчерпывающимся выразительным словечком «обуздание». Салтыков исследует фиктивность, призрачность декларируемых ценностей «государственного союза» и одновременно обличает истинный его смысл: политическое, нравственное и духовное закабаление страны. Оба эти аспекта «государственного союза» неразрывно связаны между собой, как содержание и функция, государственная идея в условиях самодержавно-крепостнической России выродилась в принцип «обуздания», а потому утратила свое первоначально-разумное, исторически закономерное основание. Самодержавная государственность, основанная на насилии («обуздании»), не выдерживает проверки ни разумом, ни человечностью, она антигуманна в своей основе. Разнообразные и разнокалиберные типы «охранителей» этих устоев, конкретно воплощающих идею «государственного союза», наглядно показывают вымороченность и бесчеловечность этой «идеи», как она проявляет себя в царско-полицейской России.

Таковы герои очерка «Охранители», таковы же «штатский генерал» Сенечка и «дипломат» Митенька в «Семейном счастье» — «пошлец восторженный» и «пошлец непромокаемый» Таков еще один «штатский генерал», «государственный подросток» Петенька Утробин, действующий в очерке «Отец и сын». У него за душой опять-таки — ничего, кроме «небрезгливой готовности».

В очерке «Переписка» представлен еще один «пошлец» на государственной службе, проникнутый такой же «небрезгливой готовностью»,— новоиспеченный товарищ прокурора Николай Батищев. В его письмах к маменьке и ответах ей раскрыта вся непритязательная внутренняя механика жизнедеятельности охранителей-пошлецов, озабоченных в первую очередь удовлетворением собственных интересов, но которым, как заявляет Нико-

лай Батищев, поручена начальством «защита государственного союза от угрожающих ему опасностей».

Апофеозом коррупции и продажности царского чиновничества, своеобразной сатирической поэмой в прозе, предметом которой Салтыков избрал хищничество, алчность и корыстолюбие провинциальной администрации, явился очерк «Тяжелый год», повествующий о неслыханном казнокрадстве в памятную всем эпоху Крымской войны. Распродажа отечества, как и положено, шла под музыку возвышенных речей о любви к этому самому отечеству и защите его. «Отечество — это святыня!» — возглашает управляющий палатой государственных имуществ Удодов, еще один представитель плеяды «столпов» Удодов, как и исправник Колотов,— «бюрократ новейшего закала», более того, «пионер».

Весь ход рассуждений этого «столпа» государственности, призванного, по существовавшим установлениям, защищать «основы» самодержавной власти, читается «от противного», как наполненный сарказмом и иронией обвинительный акт царизму Очерк, посвященный, казалось бы, локальному явлению казнокрадству и взяточничеству в одной из губерний в эпоху 1853—1856 годов, приобретает силу глубокого обобщения и становится грозным художественным документом, свидетельствующим о растлении основ самодержавно-крепостнического государства в целом. Именно практика русского чиновничества («Царское самодержавие есть самодержавие чиновников»,— писал Ленин [1]), их нравственный облик, их жизненные принципы, все то, что Салтыков знал не умозрительно, но «своими боками», проведя на государственной службе более двадцати лет, поставило перед писателем так глубоко и остро вопросы о любви к родине, о подлинном и мнимом патриотизме, о сложной диалектике взаимоотношений между судьбами отечества и существовавшей системой государственных начал.

В «Благонамеренных речах», как это было показано выше, представлена обширная галерея «практиков» русской государственности, «столпов отечества», воплощающих в своей практической деятельности дух «государственного союза». Все эти характеры варьируют, собственно говоря, один магистральный тип эпохи, оттеняя различные его стороны. Их повторяемость призвана не только подчеркнуть массовость язв и пороков, источивших институт самодержавно-крепостнического государства, но и воссоздать некий собирательный образ «государственного человека», уничтожающего самую идею государства в том ее виде, в каком она декларировалась официальной идеологией.

В очерках «По части женского вопроса» и «В дружеском кругу» представлены характеры «столпов»-«теоретиков», так сказать — идеологов «государственного» и «гражданского» союзов — уже называвшегося «бюрократа» Тебенькова и «почвенника» Плешивцева. В этих характерах персонифицированы правительственная идеология либерального консерватизма 70-х годов и позднеславянофильская идеология, практически уже слив-

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, изд. 5-е, т. 7, стр. 137.

шаяся в это время с идеологией официально-охранительной. Теоретические и политические задачи тех и других — утвердить самодержавно-помещичье status quo как нечто разумное, истинное и вечное.

Характеру Тебенькова, рельефно очерченному уже в очерке «По части женского вопроса», в очерке, названном «В дружеском кругу», отведена в известной мере служебная роль: его «западничеством» поверяется миросозерцание «почвенника» Плешивцева — главного героя очерка, «человека, всего сотканного из пламени» словоизвержений о «патриотизме», считавшемся одним из «краеугольных камней», одним из «алтарей» охранительной идеологии.

В целях выяснения истинной «подоплеки» фразеологии Плешивцева о «почве», «отчизне» и «народолюбии» Салтыков сопоставляет его систему фраз с многоглаголанием Тебенькова и подводит читателя к выводу: несмотря на их споры и пререкания «à cheval sur les principes», то есть «принципиального» характера, оба они одинаково «благонамеренные люди», оба — «консерваторы» и «охранители», опирающиеся на «одни и те же краеугольные камни». При всем пламенном поклонении «почве», понятие «отечества» для либерально-консервативной идеологии, так же как и для позднего русского славянофильства, стало синонимом самодержавно-крепостнического государства. Вот почему «столп современного российского либерализма» Тебеньков имеет полное право сказать «столпу» отечественного славянофильства Плешивцеву: «В сущности, мы ни по одному вопросу ни в чем существенном не расходимся <...> Мы оба требуем от масс подчинения, а во имя чего мы этого требуем — во имя ли принципов «порядка» или во имя «жизни духа» — право, это еще не суть важно <...> Тебе по сердцу «просветление», мне — «административное воздействие», но и в том и в другом случае в конце концов все-таки прозревается военная экзекуция».

Так обстоит дело еще с одним «краеугольным камнем» и «алтарем» — с идеей охранительного патриотизма, «любовью к отечеству». Этот «алтарь» опять-таки оказывается «призраком», фикцией, не только потому, что он ежечасно попирается его радетелями (вспомним «Тяжелый год»), но и потому, что чувство патриотизма полностью узурпировано «государственным союзом» и превращено в «административное подспорье». Вот почему, свидетельствует Салтыков, слова «отечество» и «государство» в департаментах «употреблялись <...> безразлично <..> чередовались друг с другом в видах избежания частых повторений одного и того же слова».

Следует подчеркнуть, что «призраком», фикцией для Салтыкова является лишь государственно-великодержавный, охранительно-шовинистический, националистический «квасной», или слепо-фанатический, «патриотизм», то есть те формы «любви к отечеству», которые возводят в «перл творения» любые недостатки и несообразности в жизни страны и всегда служат оправданием застоя, консерватизма, реакции. Подоплека подобного «патриотизма», сатирическим выразителем которого является Плешивцев, полагающий, что «для патриотизма нет лучшего помещения, как невеже-

ственный и полудикий чебоксарец», выражена в очерке «Привет», где три представителя «русской культурности», три «патриота отечества» Курицын, Спальников и Постельников, следуют из-за границы в свои родные города: Навозный, Соломенный и Непросыхающий. Патриотизм их сводится, с одной стороны, к гастрономическому рефрену: «У нас ли еда или за границей?», а с другой стороны — к апологетическим декларациям по поводу «порядка», который царит в отечестве: «Будь в страхе! оглядывайся! <...> Коли по правде-то говорить, так ведь это-то настоящая свобода и есть!»

Такое «отечество» вызывает у Салтыкова неиссякаемое страдание и боль. «Меня охватывала беспредметная тоска, желание метаться, биться головой об стену. Что-то вроде бессильной злобы раба, который всю жизнь плясал и пел песни, и вдруг, в одну минуту, всем существом своим понял, что он весь, с ног до головы,— раб,— раскрывает он в очерке «Привет» состояние мыслящего русского человека, возвращающегося из-за границы на родину.— Очевидно, сердце припоминало старую боль. Я слишком долгое время чувствовал себя чужим среди чужих и потому отвык болеть. Но нам это необходимо, нам нужна ноющая сердечная боль, и покамест это все-таки лучший (самый честный) modus vivendi из всех, который предлагает нам действительность».

Таков патриотизм Салтыкова, просветителя и демократа, «самый честный» патриотизм, когорый в условиях самодержавно-крепостнической России оборачивался болью за народ и отчизну, ненавистью к самодержавию.

В статье «В погоню за идеалами», где Салтыковым подводятся итоги исследования «государственного союза», с предельной ясностью обнажено противоречие между самодержавием и Россией, между государством и народом. Даже представители «дирижирующих классов», и те, отмечает Салтыков, смешивают государство одни — «с отечеством, другие — с законом, третьи — с казною, четвертые — громадное большинство — с начальством». Представители «дирижирующих классов» «на каждом шагу самым несомненным образом попирают идею государственности». Но не этот факт является, на взгляд Салтыкова, решающим свидетельством «призрачности» данной идеи. «Отношение масс к известной идее — вот единственное мерило, по которому можно судить о степени ее жизненности». Равнодушие масс к «государственному союзу» настолько глубоко и всеобъемлюще, что «трудно даже вообразить себе простолюдина, произносящего слово «государство».

Индифферентное, а то и враждебное отношение масс к «государственному союзу» характерно, по утверждению Салтыкова, не только для самодержавной России, но и для более свободной, казалось бы, буржуазно-парламентарной Европы, для эксплуататорского государства вообще. Суть парламентаризма заключается, по прозорливому замечанию Салтыкова, «в уловлении масс», в «вящем утучнении и без того тучного буржуа».

Разоблачение буржуазного государства в «Благонамеренных речах» служит, в конечном счете, и ответу на главенствующий вопрос о сущности

«государственного союза» современной ему России Не имея цензурной возможности до конца высказаться о соцнальной природе Российского государства, писатель обращается к республиканской Франции, стране несравненно более демократической, чем царская Россия. И оказывается, что государство там находится «на откупу у буржуазии», более того, является «единственным убежищем» буржуа против «разнузданности страстей», поскольку «ограждает его собственность», «охраняет его предприятия против завистливых притязаний одичалых масс и, в случае надобности, встанет за него горой».

4

Комплекс идей о природе собственнического, буржуазного государства, выраженный Салтыковым в статье «В погоню за идеалами», является результатом многолетнего осмысления им этой проблемы. В письме к Некрасову от 1/13 апреля 1876 года, препровождая «В погоню за идеалами» в редакцию «Отеч. записок», Салтыков оговаривался, что статья эта «не вполне цензурна по сюжету», и сообщал: «..Я написал ее, потому что так было нужно по ходу моих идей».

Казалось бы, само название статьи подчеркивает, что она обращена вовне: автор направился в погоню за идеалами в государства буржуазно-демократической Европы, однако не нашел идеала государственности и в этой «земле обетованной» русского либерализма

На самом деле статья эта в не меньшей степени обращена и внутрь: в ней — ответы на нарождающиеся вопросы российской действительности. Вопрос о буржуазии и государстве и в самом деле с неумолимостью вставал перед Салтыковым «по ходу» его идей, по логике осмысления тех новых процессов и явлений, которые были вызваны к жизни реформами 60-х годов. Реформы эти, как известно, обусловили превращение России из феодально-крепостнической в буржуазную монархию.

Не только «семейный», но и «государственный» союз все органичнее срастался с буржуазной собственностью. Российское, как и французское, государство, при всем различии форм правления, главным своим «краеугольным камнем» с некоторых пор также полагало защиту собственности, заботу о том, чтобы «буржуа был сыт, стоял во главе и благодушествовал». В России появился новый государственный «столп» — Осип Дерунов и «кандидат в столпы» — Антон Стрелов, «сокративший» старого генерала помещика Утробина. То, что в 60-е годы только предчувствовалось, в 70-е стало фактом: помимо семейного, общественного и государственного «союзов», а точнее — вкупе с ними, «краеугольным камнем» российского бытия стал «союз» собственности. Он был «новым словом» эпохи, сквозной и всеобъемлющей idée fixe времени и по справедливости стал центральным объектом исследования в «Благонамеренных речах».

Уже очерк «В дороге», первый по времени публикации из цикла «Благонамеренных речей», воплощал ту качественно новую нравственную атмосферу, которая постепенно и незаметно копилась в жизни страны после

«великих реформ». Количество как бы перешло в новое качество: «до какой степени все изменилось кругом!» За беглыми впечатлениями путешественника, дорожными наблюдениями, случайными встречами, беседами с ямщиком, трактирщиками и нечаянными попутчиками таится глубокое и выношенное, трагическое для Салтыкова знание: в жизнь вошли и ею правят, обделывают свои дела «новые люди» (они же и краеугольные камни) — маклаки, кулаки, сводчики, кабатчики, закладчики и пр. Они утвердили свои «благонамеренные речи», жизненные принципы, нравственность и мораль.

Устанавливаемая новым «дирижирующим классом» «мораль» означает для Салтыкова насилье и извращение естественной, нормальной человеческой природы, естественных, нормальных отношений между людьми. Писатель показывает, как анормальность объявляется нормой, а норма общечеловеческого поведения приравнивается к ненормальности,— эти-то социальные и нравственные сдвиги в обществе и фиксирует с мгновенной чуткостью народный язык. И вот уже всякий элементарно честный человек в России — «прост, ах, как прост». Чтобы у читателя не оставалось и тени сомнения в том, что несправедливость, эксплуатация и мошенничество стали всеобъемлющей нормой жизни, Салтыков обрушивает на него все новую и новую информацию о том, как где-то кто-то кого-то «нагрел», «объегорил», «объехал», «обманул». И зловещим нарастающим рефреном звучит в очерке: «Ах, прост! Ах, дурак... А дураков учить надо...» Со всех сторон обступают писателя такого рода «благонамеренные речи».

Острота и трезвость социального видения действительности помогли Салтыкову одному из первых с такой пронзительностью рассмотреть в жизни и запечатлеть в своем творчестве этот качественно новый исторический процесс: торжество буржуазного хищничества, пришедшего на смену хищничеству крепостническому. Но потому-то он и оставался, по ленинскому определению, писателем «старой» народнической демократии»[1], что в этом переломном социальном процессе Салтыков видел только его мрачную, трагедийную, хищническую сторону. В пору «Благонамеренных речей», а, с некоторыми оговорками, и позже, он не находил в развитии буржуазных отношений в России залогов к ее будущему обновлению и воспринимал обуржуазивание страны лишь как дальнейшее углубление народной беды.

Трагизм мироощущения Салтыкова 70-х годов с необыкновенной силой звучит в символическом пейзаже «Са́ваны, са́ваны, са́ваны!..», открывающем очерк «Кузина Машенька» — один из центральных очерков, где разрабатывается тема судьбы дворянско-помещичьей России в новых условиях. Эта тема неотделима для Салтыкова от темы развивающегося буржуазного хищничества, от Деруновых, Разуваевых и Антонов Стреловых, силою денег и деловой хваткой экспроприирующих помещичьи Монрепо. Уже очерк «В дороге» наполнен выразительными деталями этого разорения ме-

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, изд. 5-е, т. 48, стр. 89.

стными хищниками помещичьих гнезд: помещики «задаром», «за бесценок» спускают им свои рощи, леса, земли, имения; «на всем печать забвения и сиротливости». И другие очерки, рассказы и статьи «Благонамеренных речей» насыщены подобного рода информацией, с документальной точностью раскрывающей масштабы и напор капитализации России.

«По правде сказать, невелико вам нынче веселье, дворянам Очень уж оплошали вы»,— деланно соболезнует рассказчику, приехавшему «кончать» со своим родным гнездом Чемезовом, местный воротила Осип Дерунов Грустная история распродажи Чемезова, где, по словам дворового человека Лукьяныча, «куда ни плюнь, все на пусто попадешь», позволила автору во всей красе, в обилии бытовых и психологических подробностей развернуть ту «любостяжательную драму», которой он стал «очевидцем и участником». Драма эта разворачивается в очерках «Столп», «Кандидат в столпы», «Опять в дороге». Рассказчик — лицо, в данном случае, страдательное — надевает здесь личину «разини», «слюнтяя», «дурака» — из тех самых, кого «облапошивают». Он своими боками постигает «жестокие, неумолимые нравы» этой «загадочной, запутанной среды», где закон борьбы за существование доведен до форм «поразительной простоты».

В названных очерках проходит ставшая сразу же классической галерея «столпов» стяжательства, «сноровистых и хищных людей», поедающих ближнего, озабоченных одним: как бы урвать, облапошить, объегорить, пустить по миру... Исследуются все их нехитрые и в то же время до крайности хитрые приемы обмана и надувательства, когда «несовершеннолетнего выдадут за совершеннолетнего, каторжника за столпа, глухонемого за витию, явного прелюбодея за ревнителя семейных добродетелей». Низменная борьба и столь же низменная ненависть сотрясают основы общества, ведут жизнь, по мнению Салтыкова, к полному опустошению и нравственной вымороченности.

Наивно думать, будто это ощущение трагической безысходности навевают на Салтыкова разоренные и вымороченные дворянские гнезда. Ненавидевший крепостничество Салтыков в ряде своих произведений, в том числе и в «Благонамеренных речах», запечатлел историческую обреченность русского дворянства, его антинародную, бесчеловечную суть. В очерке «Отец и сын» дана полная история жизни и гибели крепостника и солдафона, старого генерала Утробина

Антошка-христопродавец, Антошка-кабатчик, Антошка-прасол, еще в недавнем прошлом — Антон «Стрела», стрелой летавший по базару на побегушках у купцов-толстосумов, а ныне — Антон Валерьянов Стрелов и был тот «homo novus <новый человек>, выброшенный волнами современной русской цивилизации на поверхность житейского моря», который надломил, погубил, проглотил генерала Утробина. И если иметь в виду самый процесс постепенного заглатывания кабатчиком Антошкой Стреловым генерала и экс-губернатора Павла Петровича Утробина, исследованный и воспроизведенный писателем с холодной точностью аналитика, то эта ситуация, с точки зрения Салтыкова, отнюдь не трагическая, а скорее — трагикомическая.

Однако, если смотреть не в прошлое, но в будущее, не с точки зрения генерала Утробина, а с точки зрения народной, торжество этого плотоядного homo novus оборачивается, на взгляд Салтыкова, подлинной трагедией. Старое варварство пожирается новым варварством. И выживают на этом ристалище только те, кто принимает новую варварскую веру. Это молодой генерал Петенька Утробин, который мгновенно нашел общий язык с Антоном Стреловым и, подделав векселя на двадцать тысяч рублей, заложил кабатчику не только остаток земли, но и жизнь своего отца. Это — «березниковская барыня», фарфоровая куколка кузина Машенька, которая вместе со своим мужем «благонамеренным рыбарем» Филофеем Промптовым душит крестьян по всем законам капиталистической эксплуатации, не уступая в алчности и беззастенчивости Стреловым и Деруновым.

Таким образом, не уходящая в небытие патриархальная помещичья Русь, но именно то новое, буржуазное, что шло ей на смену, что властно утверждало себя на путях капиталистических отношений — вторжение «чумазых» во все области русской жизни,— вызывало у Салтыкова острое, щемящее чувство беды.

Вот откуда пронзительное: «Са́ваны, са́ваны, са́ваны .. Са́ваны и стоны ..» «Жестокие нравы! Загадочный, запутанный мир!» — снова и снова повторяет Салтыков.

Писатель стремится постичь эту загадку, порожденную новым, пореформенным временем, идти вглубь, к характерам, выражающим время, к социальным отношениям, формирующим эти нравы и характеры.

Он пристально вглядывается в новоявленных столпов общества — в Антона Стрелова и Пантелея Егорова, Федора Чурилина по прозвищу Заяц, который пока еще только «кандидат в столпы», и Осипа Иваныча Дерунова, превратившегося уже в «столпа» общегосударственного масштаба, в незыблемую опору существующего порядка вещей,— вглядывается, с тем чтобы найти наконец ответ на вопрос: какова природа этого нового общественного явления, вызванного к жизни эпохой реформ 60-х годов и претендующего на руководящее положение в русском обществе?

Исследуемые Салтыковым характеры как бы списаны с натуры, взяты непосредственно из действительности. Всей своей очерковой манерой, столь типичной для «Благонамеренных речей», строго реалистичной и в портрете, и в описаниях, и в бытовых деталях, и в психологических подробностях, лишенных обычных для Салтыкова элементов гротеска и фантасмагории, писатель подчеркивает жизненную реальность этих фигур, как бы документальность изображения. Он находится в положении первооткрывателя — ему важно пока что рассмотреть и описать этот открытый им жизненный тип, запечатлеть его хотя бы эскизно, но с максимумом достоверных подробностей. В конечном счете и расторопный Заяц, и Антон Стрелов, и Пантелей Егоров, и наиболее полно, глубоко разработанный Салтыковым образ Осипа Дерунова — лишь мало разнящиеся друг от друга ипостаси этого нового социального типа, утвердившегося в русской действительности на переломе 70-х годов, русского буржуа эпохи первоначального накопле-

ния, аморального, бескультурного, бесчеловечного хищника, ради денег способного на все.

Первое, что поражает Салтыкова в этом новом герое,— полная и абсолютная безнравственность, не останавливающаяся перед любым мошенничеством и даже преступлением, если оно не «грозит Сибирью» и ведет к обогащению. Обогащение Осипа Дерунова начинается с того, что он «проезжего купца обворовал»; Пантелей Егоров, «из шельмов шельма», местного купца Мосягина «жену соблазнил и вместе будто бы они в ту пору дурманом его опоили и капиталом его завладели»; Антон Стрелов с помощью обмана и поддельных векселей имением генерала Утробина завладел, и т. д.

Писатель демонстрирует удивительный динамизм методов обогащения, их стремительную и наглядную эволюцию, когда «с исчезновением старозаветной обстановки» исчезала и «прежняя загадочность; выжимание гроша втихомолку сменилось наглым вожделением грабежа».

Он показывает, как одновременно с этим менялся и облик воротил. Разительна метаморфоза, случившаяся, например, с Осипом Ивановичем Деруновым.

Фигура эта — крупнейшее достижение писателя в типологии «Благонамеренных речей», наиболее значительное художественное олицетворение зарождающейся пореформенной буржуазии. Деруновский тип, показанный Салтыковым в эволюции и развитии, свидетельствует, что в критике буржуазного предпринимательства писатель не ограничивается морально-психологическим аспектом, но поднимается до социально-исторической критики капитализма. Буржуазный аморализм, с точки зрения Салтыкова, не причина, но следствие капиталистической погони за наживой.

Осип Дерунов в начале своего жизненного пути выступает как деловитый и умный мещанин, оборотистый, но не лишенный приятности хозяин-приобретатель. Отмена крепостного права создала необходимые социально-экономические условия для его возвышения, превратила его в «столпа». Путь наживы и приобретательства, на который он вступил, и определил его нравственность, точнее — безнравственность, полный аморализм. Не безнравственность сделала Дерунова буржуазным хищником, а буржуазное хищничество сделало его безнравственным. Этот вывод чрезвычайно важен для салтыковской критики капитализма. В своем отношении к капитализму Салтыков был не просто моралистом, осуждающим безнравственность буржуазии, но и социологом, выявлявшим истинную взаимосвязь буржуазного, хищнического сознания и принципа частной собственности [1].

Салтыкова волнует и другой аспект: взаимоотношение хищничества и власти. Метаморфозы, превращения Осипа Дерунова показывают, как этот циничный и безнравственный человек, не брезгавший любой «уголовщиной», как-то незаметно, вдруг стал силой общегосударственной, опорой власти, ее «столпом». Он держит «монополь» не только на винокуренные заводы и кабаки, но и на «благонамеренные речи»; он первый охранитель

[1] Подробнее см.: А. Бушмин. Сатира Салтыкова..., стр. 164.

«устоев», «основ», «краеугольных камней». А государственные «устои», «основы» и «краеугольные камни» охраняют его.

«Теперь Дерунов — опора и столп,— резюмирует писатель.— Авторитеты уважает, собственность чтит, насчет семейного союза нимало не сомневается».

Его любимое занятие — плести «благонамеренные речи», выдавать себя за «радетеля» семьи, отечества и народа, причем, когда «народ», крестьяне, мужики отказываются продавать ему хлеб по назначенной им же грабительской цене, в его голосе появляется благонамеренно-полицейский металл: «Бунтовать не позволено!»

А когда «простак-рассказчик» искренне сомневается: «— Да какой же это бунт, Осип Иваныч?» — «А по-твоему, барин, не бунт! — вразумляет Дерунов наивного «простака».— Мне для чего хлеб-то нужен? сам, что ли, экую махину съем! в амбаре, что ли, я гноить его буду? В казну, сударь, в казну я его ставлю! Армию, сударь, хлебом продовольствую! А ну, как у меня из-за них, курицыных сынов, хлеба не будет! Помирать, что ли, армии-то! По-твоему, это не бунт!»

Так соединились между собой в России 70-х годов «государственный союз» и «союз собственности». Салтыков остро ощущает всю органичность и неразрывность этих уз: именно собственники, с их последовательной и абсолютной аморальностью, выступают теперь в роли первых охранителей «семейного» и «государственного» союзов, моральных и общественных основ. Что же касается государственного союза, то его предназначение собственники видят в первую очередь в охране их корыстных интересов, в охране их собственности

В жизнь пришли новые «столпы» семьи и государственности, они пытаются гальванизировать и использовать в своих целях все ветхозаветные «основы» и «краеугольные камни», все то, что уже давно стало «призраками»

«Краеугольные камни» — о них Осип Дерунов «денно и нощно» думает. И как мила ему, близка, понятна, необходима атмосфера «обуздания» народа, растления его души; как радуется он тому, что «строгонько нонче насчет этих чтениев стало. Насчет вина свободно, а насчет чтениев строго За ум взялись».

Не «чтениев» самих по себе боится Дерунов, он боится разбуженной мысли — самостоятельной, критической, последовательной, которая одна, по мнению Салтыкова, способна сокрушить «призраки», обнаружить истинную суть «краеугольных камней» и «благонамеренных речей», которыми прикрывает свою безнравственность и хищничество Дерунов.

Салтыков чутко уловил историческую особенность русской буржуазии, которая никогда не выступала революционно и была не в состоянии дать миру новые, самостоятельные духовные начала и идеологические концепции. Мирно врастая в феодально-крепостнический режим, она брала напрокат созданные им мифы и фетиши, обогатив ветхую «теорию союзов» лишь некоторыми вариациями одной идеи — идеи собственности.

«Собственность — это краеугольный камень всякого благоустроенного общества-с»,— заявляет в очерке «Опять в дороге» один из идеологов кубышки. Впрочем, содержание очерка, равно как и «Благонамеренных речей» в целом, убеждает, что в действительной практике жизни и этот «краеугольный камень» самими же собственниками упраздняется и попирается, что в том мире, где «стригут, бреют и кровь отворяют», где не знают иных слов, кроме «урвать, облапошить, объегорить, пустить по миру»,— «принцип собственности, в смысле общественной основы, играет здесь самую жалкую, почти призрачную роль». Ибо собственность, хоть она и объявляется «краеугольным камнем» «столповой морали», если и не кража, то «нечто до такой степени похожее, что самая неопределительность факта возбуждает чувство, еще более тревожное, нежели настоящая кража».

Писатель всматривается в новоявленных «столпов» отечества, казалось бы призванных вдохнуть в «краеугольные камни» новую истину, новую жизнь,— и обнаруживает лишь углубление прежнего противоречия между «видимым» и «сущим», между внешними формами жизнедеятельности и их подлинным существом. Он поверяет «новых людей» своего времени высокой просветительской мерой разума, добра и человечности, он внимательно исследует уровень и качество их нравственности, а точнее — безнравственности, не только ради обличения капитализма, но и ради истины общественного прогресса,— и приходит к самым неутешительным выводам.

Как уже сказано, с его просветительской точки зрения новые, буржуазные тенденции и веяния, которые он явственно видит в России 70-х годов, никаких залогов исторической истины в себе не несут. Напротив, человечество на этом пути, по убеждению Салтыкова, все больше и больше отдаляется от своего идеала: «свободы, равноправности и справедливости».

Исторически Салтыков не имел возможности выйти за пределы того понимания капитализма, которое было свойственно «старому русскому народничеству», к которому он принадлежал В своей критике тенденций буржуазного развития страны он исходил не из научного понимания истории, но из абстрактного гуманистического идеала утопического социализма и убеждений принципиального демократа, отрицающего все формы социального угнетения. Он верил, что придет время, когда «изноет и мироедский период» [1], но в нем самом не видел никаких залогов к тому.

Вот почему процесс капитализации страны он воспринял, как народную трагедию,— ничуть не менее страшную, чем трагедия крепостничества. Он не видел иной разницы между хищничеством ветхим и новым, кроме чисто количественного различия между ними, как «гнусностью меньшей» и «гнусностью сугубой». В развитии капитализма он видел не «прогресс», но лишь последующее усугубление все тех же безнравственных, хищных начал, которые лежали и в основе крепостничества. Усугубление это показано в классических фигурах Деруновых, Стреловых и Разуваевых, окончательно и полностью демонстрирующих своими взглядами и деятельностью исчер-

[1] «Убежище Монрепо», гл. «Предостережение» (т. 13 наст. изд.).

панность всех ветхих «основ» и «принципов». В их обличии противоречие между «видимостью» и «сущностью» жизни в пределах официальных «основ» достигло своего апогея: «Нужды нет, что эти люди воруют самым наглым образом,— они краеугольный камень собственности; нужды нет, что они верят в наговоренные пояса,— они краеугольный камень религии; нужды нет, что семейная жизнь их есть не что иное, как сплошной разврат,— они краеугольный камень семейства; нужды нет, что своими действиями они непрерывно подрывают основы общества,— в них, и в них одних усматривается краеугольный камень общественного спокойствия» [1].

Салтыков писал свои «Благонамеренные речи», дабы обнажить этот катастрофический парадокс времени, убедить читателя в неопровержимости его, заставить задуматься о поисках выхода. Всем огромным фактическим материалом своей книги, точнее — всей действительностью 70-х годов, составлявшей предмет художественного исследования в данном цикле очерков, Салтыков заставлял читателя задумываться над основаниями жизни. Обозрев весь жизненный путь Дерунова, его нравственные нормы и жизненные принципы, писатель подводит читателя к естественному и неопровержимому итогу: «С невыносимою болью в сердце я должен был сказать себе: Дерунов — не столп! Он не столп относительно собственности, ибо признает священною только лично ему принадлежащую собственность. Он не столп относительно семейного союза, ибо снохач. Наконец, он *не может* быть столпом относительно союза государственного, ибо не знает даже географических границ русского государства ..»

Круг замкнулся. И это был — в полном смысле слова заколдованный, проклятый круг. «Краеугольные камни», «основы», на которых покоилось русское общество, весь комплекс идей, заложенных в его основание, были, на взгляд Салтыкова, неистинны. Единственной реальной функцией всех этих «краеугольных камней», «основ» и «союзов» оставалось «обуздание» «простеца», оболванивание народных масс, дабы держать их «в узде». И только слепота и бессознательность народа, того самого «простеца», трудом которого держится земля, делают возможным существование этого безумного и бесчеловечного мира, отрицающего самого себя.

Салтыков с болью пишет о тяжелом экономическом и нравственном положении крестьянства в пореформенную эпоху, когда на него навалился двойной гнет. Для кузин Машенек, Деруновых, Тебеньковых крестьянство по-прежнему — «хамское племя», «непросвещенная чернь», «печенеги», «бунтовщики». Для Салтыкова крестьянин — единственная и главная производительная сила русской земли. Ему как бы «от бога назначено, чтобы завсегда в труде время проводить».

Трагедия народа — не только в непосильном труде и варварской эксплуатации со стороны старых и новых «столпов» общества. Трагедия его, выраженная Салтыковым в знаменитой концепции «глуповцев»,— в нераз-

[1] Рец. на «Повести, рассказы и драматические сочинения Н. А. Лейкина» (т. 9 наст. изд.).

витости его самосознания, в его забитости, невежестве, темноте. Тяжелый экономический гнет, вся система «призраков», «краеугольных камней» мешают прозрению «простеца», затуманивают его сознание. Мы не встретим на страницах «Благонамеренных речей» ни одного крестьянского характера, который свидетельствовал бы о пробуждающейся социальной, революционной энергии народных масс. Таково было убеждение Салтыкова, которое он пронес через все 60-е и 70-е годы,— «общественная забитость» народных масс превратила русский народ в того самого «простеца», который даже не попытался разорвать «узду», надетую на него «дирижирующими классами». Всем своим творчеством писатель предостерегал от каких бы то ни было иллюзий в отношении революционных возможностей того реального крестьянина, которого он видел, знал, исследовал в пореформенную эпоху.

Такова была позиция просветителя и революционного демократа, тосковавшего из-за отсутствия революционности в массах великорусского населения, видевшего смысл собственной жизни и деятельности в том, чтобы по мере сил своих помогать народу «выйти из состояния бессознательности». В этом, а не в прямых, практических призывах к народной революции, условия для которой, на взгляд Салтыкова, пока еще не созрели, проявляется революционно-демократический идеал писателя.

Чтобы разбудить народ — нужно время и труд «без всякого расчета» на немедленные «практические последствия», труд революционно-просветительский, конечная цель которого — освобождение простеца от «призраков», от придавивших его сознание мифов, фетишей, «краеугольных камней». А для этого необходимо «серьезно анализировать основы насущного положения вещей и обратиться к основам иным» [1]. Так Салтыков осмыслял собственные задачи — социального, политического писателя.

Это не значит, что он с предубеждением относится к революционному подвигу, рассчитывающему на немедленные «практические последствия». В рассказе «Непочтительный Коронат» он с уважением и симпатией пишет о молодых людях, чье слово не расходится с делом, о тех, кто «принимают радикальные решения и приводят их в исполнение. Придет молодой человек (родственники у меня между *ними* есть <подчеркивает Щедрин>), скажет: «...прощайте! я на днях туда нырну, откуда одна дорога: в то место, где Макар телят не гонял!» <...> Сказал, что нырну, и нырнул; а через несколько месяцев, слышу, вынырнул, и именно в том месте, где Макар телят не гонял. Словом, исполнил в точности: стремительно, быстро, без колебаний». Всем последующим подтекстом Салтыков показывает, что «нырнул» этот молодой его «родственник» в революционную деятельность: «Он, молодой-то человек, давно уж порешил, что ему *там* лучше — благороднее! — а нам, старцам <то есть либеральным русским «фрондерам» из «поколения сороковых годов», от лица которых ведется рассказ>, все думается: Ах! да ведь он *там* погибнет!» Эта ироническая реакция рассказ-

[1] «Итоги», третья редакция главы V (т. 7 наст. изд.).

чика на подвиг революционного самопожертвования, реакция «страстного соболезнования к гибнущему, которым вообще отличается сердобольная и не позабывшая принципов гуманности половина поколения сороковых годов», выявляет истинное, исполненное самого высокого уважения и понимания, отношение самого Салтыкова к «геройству» Да, он не ждет скорых практических результатов, но не считает «геройство» бессмысленным. Для него «смысл подвига высокого» по-прежнему заключается «в его преемственности и повторяемости», в том, что примером своим он возбуждает в людях «горячую жажду деятельности».

В рассказе «Непочтительный Коронат» он заостряет внимание читателя на нравственной, идейной основе «подвига высокого»: молодые люди идут в революцию не просто «так»: «.. ни с того ни с сего, взял да и удрал или нырнул, <..> в них это мало-помалу накапливается <..> Накопится, назреет, и вдруг бац! — удеру, нырну, исчезну... И как скажет, так и сделает». Копится, зреет — что? Да прежде всего понимание всей ложности, бесчеловечности существующего правопорядка, неистинности самих «основ насущного положения вещей».

Отчужденность Короната от благонамеренных «основ» и «краеугольных камней», подчеркивает Салтыков, «обдуманная, сознательная». Правда, его конфликт с современным ему прогнившим обществом — пока что семейно-бытовой: Коронат не может продолжать свое образование по юридической части, он в «Медицинскую академию» хочет. Но важно уже само требование свободы выбора, свободы распоряжаться собственной судьбой, важна мотивировка его нового выбора Коронат хочет быть медиком, потому что «в корень бытия проникнуть желает». Он стремится вырваться «из омута и <...> остаться честным», он не хочет оставаться в «доме терпимости», именуемом современным ему обществом, и уж тем более не хочет заниматься тем, что его родственник, судебный следователь, юрист, полагающий свою профессию «самой священной» из всех, именует «самозащитой» общества «против современного направления умов-с».

Коронат — из числа тех молодых людей, которые противопоставили себя не только семейным, но и государственным «устоям», он — на пути к «основам иным». Весь контекст рассказа заставляет нас поверить, что в своем нравственном развитии Коронат идет к тем, кто «голодную свободу» предпочел «дому терпимости», кто «принимает самые радикальные решения и приводит их в исполнение».

«Благонамеренные речи», обнажая главенствующие противоречия пореформенного общества в целом, вырабатывали ненависть к ложным «основам» жизни и готовность к «порыву высокому», революционизировали общественное сознание страны, воспитывали борцов. В этом и заключались, в конечном счете, «практические последствия», та немалая польза, которую принесло это произведение Салтыкова — одно из центральных в его творчестве — русскому народу, русскому освободительному движению.

II

Замысел нового произведения, под названием «Благонамеренные речи», в привычной для Салтыкова структуре цикла или сборника отдельных очерков и рассказов, можно датировать лишь предположительно. Вероятнее всего, он возник летом или в начале осени 1872 года. Очерк в октябрьской книжке «Отеч. записок» этого года под заглавием «Благонамеренные речи. (Из путевых заметок)» явился первым звеном начатой новой работы, опубликованным пока без порядкового номера, что, впрочем, характерно для Салтыкова, который, как правило, первые очерки своих циклов печатал без номерного обозначения («Ташкентцы приготовительного класса», «Дневник провинциала в Петербурге» и др.). Но уже в январе, а затем в апреле 1873 года в «Отеч. записках» появились еще два очерка, рубрика — «Благонамеренные речи» и нумерация которых, учитывающая в качестве первого номера очерк, напечатанный в октябре 1872 года, указывали, что писатель продолжал начатое произведение именно в рамках цикла. Это было подтверждено и авторским примечанием к апрельской публикации, в котором сообщалось, что публикуемая глава «составляет предисловие к «Благонамеренным речам» (глава эта вошла в окончательную композицию цикла под заглавием «К читателю»).

Появление нового замысла именно в это время (лето — осень 1872 года) вполне закономерно, если учесть, что первые этапы работы над ним совпали с завершением трех крупных произведений писателя «Господа ташкентцы», «Дневник провинциала в Петербурге», «Помпадуры и помпадурши». Работая над ними, Салтыков лишь время от времени обращался к «Благонамеренным речам», изредка печатая отдельные очерки (в 1872 — один, в 1873 — четыре). Основная же часть «Благонамеренных речей» была написана в 1874—1876 годах. При этом предпоследние шесть очерков, включая и те четыре, которые вошли потом в роман «Господа Головлевы», были написаны за границей, куда Салтыков уехал по требованию врачей в апреле 1875 года и где пробыл (в Германии и Франции) почти четырнадцать месяцев.

В письмах из-за границы к Некрасову Салтыков неоднократно сообщал о своем намерении в ближайшее время закончить «Благонамеренные речи». «Мне несколько уж прискучили «Благонамеренные речи»,— писал он 8 октября 1875 года, посылая Некрасову очерк «Семейный суд»,— но в этом году я непременно их кончу. Останется еще один рассказ — и больше не будет. С будущего года пойдет посвежее и, вероятно, я сам ходчее буду писать. На слишком продолжительное время одной и той же работой задаваться больше не стану, а думаю листов на 15, не больше». Месяц спустя, 10 ноября 1875 года, Салтыков еще раз подтвердил, что «Благонамеренные речи» он закончит до начала 1876 года: «Я желаю в этом году покончить с «Благонамеренными речами» и с 1876 года начать новое». Однако предположения писателя не сбылись, работа затянулась: последний очерк — «Привет» — был написан в июне 1876 года, уже после возвращения Салтыкова из-за границы.

В соответствии с первоначальным замыслом серия очерков, или, вернее сказать, рассказов, посвященных истории семейства помещиков Головлевых, входила в цикл «Благонамеренные речи». Однако, уже почти закончив работу над циклом, Салтыков 15 мая 1876 года писал Некрасову: «Жаль, что я эти рассказы в «Благонамеренные речи» вклеил, нужно было бы печатать их под особой рубрикой: «Эпизоды из истории одного семейства». Я под этой рубрикой и думаю издать их в декабре особой книгой — листов 16—17 будет...» Действительно, летом 1876 года при подготовке первого отдельного издания «Благонамеренных речей» писатель исключил из цикла «головлевские рассказы» («Семейный суд», «По-родственному», «Семейные итоги», «Перед выморочностью») и в дальнейшем, в 1878—1880 годах, разрабатывал эту тему в рамках самостоятельного произведения, следы связи которого с циклом «Благонамеренные речи» остались в тексте последнего (например, беглая зарисовка головлевского семейства в рассказе «Непочтительный Коронат»). В приводимой таблице, отражающей последовательность журнальной публикации «Благонамеренных речей», связь эта сохранена, и «головлевские рассказы», входившие в цикл, занимают в ней соответствующие им места [1].

№№ п.п.	Заглавие очерка		Год и № журнала
1.	Благонамеренные речи	(Из путевых заметок В отд. изд.: «В дороге»	1872, № 10
2.	»	II. <Без заглавия> В отд. изд.: «По части женского вопроса»	1873, № 1
3.	»	III. <Без заглавия> В отд. изд.: «К читателю»	1873, № 4
4.	»	IV. (Опять в дороге)	1873, № 10
5.	»	V. Переписка	1873, № 12
6.	»	VI. <Без заглавия> В отд. изд.: «Столп»	1874, № 1
7.	»	VII. (Продолжение той же материи) В отд. изд.: «Кандидат в столпы»	1874, № 2

[1] Большинство очерков «Благонамеренных речей» было написано незадолго до их публикации. Поэтому ниже, в прим. к отдельным очеркам, о времени их написания сообщается только в тех случаях, когда его можно установить более или менее точно. Все публикации осуществлялись за подписью *«Н. Щедрин»*, что в дальнейшем также не оговаривается особо.

№№ п.п.	Заглавие очерка		Год и № журнала
8. Благонамеренные речи	VIII.	<Без заглавия> В отд. изд.: «В дружеском кругу»	1874, № 3
9. »	» IX.	<Без заглавия> В отд. изд.: «Тяжелый год»	1874, № 5[1]
10. »	» X.	<Без заглавия> В отд. изд.: «Охранители»	1874, № 9
11. »	» XII.	Переписка В отд. изд.: «Еще переписка»	1874, № 10
12. »	» XIII.	<Без заглавия> В отд. изд.: «Кузина Машенька»	1875, № 1
13. »	» XIV.	<Без заглавия> В отд изд.: «Отец и сын»	1875, № 3
14. »	» XV.	<Без заглавия> В отд. изд.: «Превращение»	1875, № 4
15. »	» XIII.	Семейный суд Вошло в кн. «Господа Головлевы»	1875, № 10
16. »	» XVI.	Непочтительный Коронат	1875, № 11
17. »	» XVII.	По-родственному Вошло в кн. «Господа Головлевы»	1875, № 12
18. »	» XVIII.	Семейные итоги Вошло в кн. «Господа Головлевы»	1876, № 3
19. »	»	В погоню за идеалами	1876, № 4
20. »	»	Перед выморочностью Вошло в кн. «Господа Головлевы»	1876, № 5
21. »	»	Привет	1876, № 6

Нарушение нумерации очерков (отсутствие одиннадцатого очерка и появление двух тринадцатых) возникло, по-видимому, в результате ошибки автора, оставшейся незамеченной ни им самим, ни редакцией. Подтверждением этого служит автограф рассказа «Семейный суд» с проставленной рукой Салтыкова цифрой XIII, в то время как очерк должен был пройти в «Отеч. записках» с цифрой XVI.

Первое отдельное издание «Благонамеренных речей» в двух томах было

[1] Этот номер «Отеч. записок» по постановлению Комитета министров был уничтожен. См. подробнее в комментарии к очерку «Тяжелый год».

подготовлено Салтыковым сразу же после публикации в «Отеч. записках» последних очерков и рассказов цикла. Оно вышло в свет 9 сентября 1876 года (см. письмо Салтыкова к Некрасову от 11 сентября 1876 года). Писатель изменил состав и композицию цикла, дал очеркам и рассказам, печатавшимся под римскими цифрами, заглавия, а некоторые из старых заглавий переменил на новые; наконец, провел дополнительную работу над текстом, устранив при этом некоторые цензурные купюры.

Состав издания 1876 года и других отдельных изданий отличается от журнальной публикации включением рассказа «Семейное счастье», написанного и опубликованного более десяти лет тому назад в составе цикла «Как кому угодно» (впервые: «Современник», 1863, № 8), как выше уже сказано, и исключением очерков «головлевского цикла».

В композиционном отношении издание 1876 года и последующие отличаются от журнальной публикации цикла изменением в последовательности очерков и рассказов, перегруппировкой произведений по тематическому принципу, сопровождавшейся, как сказано, изменением заглавий. Изменения эти были вызваны стремлением автора заострить внимание на основных проблемах, рассмотрению которых посвящены «Благонамеренные речи» (принцип государственности, собственности, семейственности), яснее выразить замысел автора, который «обратился к семье, к собственности, к государству и дал понять, что в наличности ничего этого уже нет» [1].

В издании 1876 года Салтыков, как уже сказано, поместил в качестве предисловия ко всему циклу очерк «К читателю», следовавший в журнальной публикации третьим и уже тогда оформленный в качестве вступления, что и подчеркивалось писателем в специальном авторском примечании. Вслед за вступительной главой были размещены семнадцать очерков в последовательности, в дальнейшем уже не менявшейся.

Вот эта последовательность с указанием разбивки очерков и рассказов цикла на два тома в изданиях 1876 и 1880 годов и обозначением (арабские цифры в скобках) места очерков и рассказов в журнальной публикации:

Том I

(3) К читателю
(1) В дороге
(10) Охранители
(5) Переписка
(6) Столп
(7) Кандидат в столпы
(14) Превращение
(13) Отец и сын

Том II

(4) Опять в дороге
(2) По части женского вопроса
Семейное счастье
(11) Еще переписка
(12) Кузина Машенька
(16) Непочтительный Коронат
(8) В дружеском кругу
(19) В погоню за идеалами
(9) Тяжелый год
(21) Привет

[1] Анализ композиционной структуры цикла см.: Е. И. Покусаев. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, Гослитиздат, М. 1963. стр. 336—337.

При жизни писателя «Благонамеренные речи» издавались отдельно три раза. Первые два издания (1876, 1880) — в двух томах, третье (1883) — в одном томе. Издание 1880 года появилось в свет без указания, что оно является вторым, каким оно было на самом деле, а издание 1883 в результате этого оказалось помеченным вторым, в то время как оно было в действительности третьим.

Редактированием текстов Салтыков занимался, по существу, только при подготовке первого издания, где была проведена значительная стилистическая правка, сделаны сокращения и устранены некоторые цензурные купюры в «Непочтительном Коронате» и «Тяжелом годе» (см. примечания к ним), издания же 1880 и 1883 годов были выпущены в свет со столь незначительными изменениями в тексте, что трудно установить, произведены ли они автором или корректорами, наблюдавшими за этими изданиями. Сказанное относится и к нумерации очерков. в прижизненных публикациях отдельных изданий она отсутствует, появляясь лишь в пятом томе сочинений, вышедшем после смерти писателя, что не дает оснований для ее сохранения в настоящем издании, так как введена она была скорее всего не самим Салтыковым, а редакторами посмертного издания его сочинений.

В настоящем издании «Благонамеренные речи» печатаются по тексту издания 1883 года с исправлением ошибок и опечаток по всем прижизненным изданиям и сохранившимся рукописям и с устранением цензурных купюр и искажений в рассказе «Непочтительный Коронат» и статье «В погоню за идеалами». Исключение составляет очерк «Тяжелый год», который публикуется в его первоначальной редакции по тексту уничтоженного номера «Отеч. записок» (1875, № 5). В отдельных изданиях, в том числе и в издании 1883 года, этот рассказ представлен в редакции, приспособленной к требованиям цензуры и первоначально опубликованной в газете «Новое время» (1876, №№ 112—114).

В разделе «Неоконченное» помещаются три произведения. Первое из них — незаконченный очерк «Благонамеренные речи. XII. Переписка» является отброшенным продолжением опубликованного в декабре 1873 года очерка «Благонамеренные речи. V. Переписка». В этом же разделе печатается начало неосуществленного очерка или рассказа «Приятное семейство. (К вопросу о «Благонамеренных речах»)» и незаконченная «Благонамеренная повесть».

Первоначально Салтыков намеревался ввести в цикл также и рассказ «Сон в летнюю ночь», о чем свидетельствует заглавие (потом зачеркнутое) в наборной рукописи рассказа: «Благонамеренные речи. XIV». Но в № 8 «Отеч. записок» за 1875 год рассказ был напечатан без обозначения его принадлежности к «Благонамеренным речам» и потом включался в книгу «Сказки и рассказы» 1878 года, а затем в «Сборник. Рассказы, очерки, сказки», издававшуюся в 1881 и 1883 годах (см. т. 12 наст. изд.).

Все сохранившиеся рукописи произведений данного тома находятся в Отделе рукописей Института русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Гр.	— «Гражданин».
Изд. 1876	— «Благонамеренные речи. Сочинение М. Е. Салтыкова (Щедрина)», тт. I и II, СПб. 1876.
Изд. 1880	— то же, СПб. 1880.
Изд. 1883	— «Благонамеренные речи. Сочинение М. Е. Салтыкова (Щедрнна). Издание второе», СПб. 1883.
Изд. 1933-1941	— Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полн. собр. соч. в двадцати томах, ГИХЛ. М. 1933—1941.
Макашин	— С. Макашин. Салтыков-Щедрин. Биография, т. I, издание второе, дополненное, Гослитиздат, М. 1951.
МВ	— «Московские ведомости».
ОЗ	— «Отечественные записки».
ПВ	— «Правительственный вестник».
РМ	— «Русский мир».
«Салтыков в воспоминаниях»	— Сборник «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. Предисловие, подготовка текста и комментарии С. А. Макашина», Гослитиздат, М. 1957.
«СПб. вед.»	— «Санкт-Петербургскне ведомости».

К ЧИТАТЕЛЮ

(Стр. 7)

Впервые — *ОЗ*, 1873, № 4 (вып. в свет 8 апр.), стр. 521—536, под заглавием «Благонамеренные речи. III», с примечанием: «Глава эта составляет предисловие к «Благонамеренным речам». *Авт.*».

Рукописи и корректуры не сохранились.

При подготовке статьи для *изд. 1876* ей было дано заглавие «К читателю», а в текст было внесено несколько добавлений. В частности, в абзаце «Убеждать теоретиков...» на стр. 14 появились характеристики лгунов: «(лгуны-лицемеры)» и «(лгуны-фанатики)».

Более значительным изменениям текст статьи подвергся при подготовке для *изд. 1880*.

На стр. 7—8 наименование рассказчика «русский Гамбетта» было заменено на «русский фрондёр». Об авторе повествования как «русском Гамбетте» речь шла во втором очерке цикла первопечатной публикации (в отдельном издании — «По части женского вопроса»), предшествовавшем статье; изменение последовательности очерков в отдельном издании сделало слова о «русском Гамбетте» в настоящей статье не совсем понятными, что, по-видимому, и вызвало замену.

Там же в середине абзаца «Во-первых, скажите...», в фразе «Что должен я...» выражение «гамбеттовская решимость» заменено выражением «потрясательная решимость».

Был сделан ряд сокращений. Приводим четыре из них по тексту *изд. 1876,* совпадающих с текстом *ОЗ.*

К стр 8—9. После абзаца «Во-первых, скажите...»:

Вы ответите, может быть: «Да, ты не только можешь, но и должен поступить иначе; ты должен агитировать, писать передовые статьи в духе пророка Илии, одним словом, поступать так, как истинному Гамбетте надлежит..» Но позвольте же, господа! Вы забываете, что ведь я все-таки не настоящий Гамбетта, а только русский обыватель l'instar de Gambetta [1], что у меня и вопросы другие, чем у настоящего Гамбетты, и средства для агитации совсем не те, и что, наконец, самая потребность агитировать страну по вопросу о потравах совсем уж не так во мне настоятельна, чтоб нельзя было моментально и навсегда устранить ее одним коротеньким словом «наплевать»...

К стр. 9—10. В начале абзаца «Я родился...», в фразе «Все относящееся до обуздания...», вместо слов «совершенно достаточно, чтоб объяснить то равнодушие, с которым я отношусь к обуздывательной среде»:

..Совершенно достаточно, чтоб объяснить, почему я живу, а не рвусь в пустыню. Но, с другой стороны, это же самое может служить объяснением и того равнодушия, с которым я отношусь к обуздывательной среде...

К стр. 12. В конце абзаца «Лицемерные лгуны...», вместо слов «при случае — разбойники, при случае — карманные воришки»:

...Не столько разбойники, сколько карманные воришки. Лично каждый из этих господ ничего другого не заслуживает, кроме презрения, которое, впрочем, значительно умеряется опасением: вот-вот сейчас он надует! сейчас выкинет штуку, которая подорвет ваше благополучие, уничтожит ваше спокойствие и втопчет в грязь всю вашу жизнь!

К стр. 20 В начале абзаца «От этого происходит..», вместо слов «социологическая или позитивная теория» в *ОЗ* и *изд. 1876* читалось: «социалистическая или позитивная теория» [2].

Точная дата написания статьи неизвестна. Несомненно, однако, что она возникла незадолго до своего появления в печати — в феврале или, вероятнее, в марте 1873 года. Возможно, что поводом к написанию этой теоретико- и проблемно-публицистической статьи послужила полемика, возникшая вокруг предыдущего очерка — «По части женского вопроса» (см. стр. 592—594). Критика не поняла принципиального смысла этого выступления, в котором писатель отрицал пользу рассмотрения отдельных

[1] наподобие Гамбетты.

[2] Очевидно, следствие опечатки в *ОЗ,* не замеченной Салтыковым при подготовке *изд. 1876*. См. также прим. к стр. 19—20.

социальных вопросов, в данном случае — «женского вопроса», «особняком», вне связи их с общественно-политической системой. Это непонимание и заставило, по-видимому, Салтыкова не только обратиться к Михайловскому с просьбой о критической статье, но и самого предпринять специальное обращение «К читателю», которое и было определено в журнальном тексте как «предисловие» ко всему произведению. Главным назначением «обращения» было помочь читателю соотнести содержание отдельных очерков и рассказов цикла с его общей и главной задачей — разоблачением такого фетиша, или «призрака», охранительной идеологии, как «благонамеренность», и всех производных от него понятий. Поскольку Салтыкову пришлось говорить о вещах, находившихся под сугубым цензурным, а отчасти и общественным табу, текст «К читателю» оказался наиболее «эзоповским» из всех очерков и рассказов цикла.

Все главные вопросы, поставленные в статье, сходятся, в «теоретическом» отношении, как радиусы к своему центру, к одной из главнейших проблем салтыковской концепции современной ему русской жизни — к проблеме «обуздания», то есть насилия.

Характеристика «принципа обуздания» в статье по внешности универсальна: «Я родился в атмосфере обуздания <..> От ранних лет детства я не слышу иных разговоров, кроме разговоров об обуздании <...> Все относящееся до обуздания вошло <...> в интимную обстановку моей жизни, примелькалось, как плоский русский пейзаж» и т. д. Однако для правильного понимания конкретно-исторического содержания и границ данного определения следует помнить, что, как всегда у Салтыкова, оно относится лишь к тем современным ему «институтам», формам и направлениям идеологической жизни, которые критиковались и отвергались им, но не затрагивает демократических и других прогрессивных явлений данной сферы.

«Обуздание» отграничивается Салтыковым от другого «принципа» русской общественно-политической жизни — «подтягивания». И там и тут речь идет о *принуждении*. Однако содержание этих понятий «совсем не равносильно». «Подтягивание» — государственно-полицейская система борьбы царизма с противниками режима: административно-судебные преследования, гласный и негласный надзор органов политического контроля самодержавия и т. д. «Обуздание» — обозначение всех форм и видов консервативно-охранительной идеологии: от афоризмов «народной мудрости» и положений «обычного права», закрепивших в себе отрицательные стороны жизни масс в условиях векового бесправия («с сильным не борись» и т. п.), до официальных и неофициальных, светских и церковно-религиозных, философско-исторических и художественных теорий и практических норм, которые прямо или косвенно содействовали воспитанию народа и общества в направлении пассивности, бессознательности и слепого подчинения авторитетам. Лишь в рамках такого широкоохватного понимания предложенного писателем образа уясняется то место в статье, где говорится: «Миросозерцание громадного большинства людей все сплошь

зиждется на принципе «обуздания». Это «громадное большинство людей» Салтыков имеет в виду и там, где он говорит о «простеце» — одном из многих в его творчестве собирательных образов «среднего человека», человека массы. «Простец» — главный «герой обуздания» (страдательный), его объект и жертва. Он «несет на своих плечах все практические применения этого принципа». Именно для «простеца», в целях помочь ему освободиться от «ига обуздания», и «необходимы те разъяснения», ради которых написана статья «К читателю».

Одним из зодчих в созидании «принципа обуздания» является история. Но этот принцип «живуч»; в полной мере он действует и в современности. Около него «ютятся и кормятся» легионы людей, для которых «обуздание» представляет «отправную точку» всей их деятельности. Салтыков называет этих людей лгунами — называет так прежде всего вследствие ложности самой «отправной точки» их сознания и поступков. «Лгунов», ревнителей и практиков «обуздания», Салтыков разделяет на два «сорта»: лицемерных, сознательно лгущих, и искренних, фанатических.

«Лицемерные лгуны» — это практики и прагматисты «обуздания». Они не верят ни в какие «основы» и «краеугольные камни», но славословят их и опираются на них ради своекорыстия. Таковы почти все «герои» «Благонамеренных речей», так же, впрочем, как и других произведений Салтыкова: чиновничество, относящееся к государству, как к «расхожему пирогу»; нарождающаяся российская буржуазия, прикрывающая свое хищничество «священным принципом собственности» и т. д.

«Лгуны искренние» — теоретики «обуздания», создатели реакционных утопий, не останавливающиеся «не только перед насилием, но и перед пустотою», подобно Угрюм-Бурчееву из «Истории одного города». Поводом для размышлений Салтыкова об этих «чудищах» в сфере современной ему русской духовной жизни послужили такие деятели реакционно-консервативной идеологии, как К. Леонтьев, предлагавший «подморозить развитие России», Н. Безобразов, Н. Данилевский, Д. Толстой и др.

В свою «систематизацию» идеологической жизни и ее представителей Салтыков вводит не только подлинных теоретиков и деятелей принципа обуздания, но и «пустоплясов», то есть фразеров «всех партий и лагерей», опирающихся на тот же принцип. Писатель останавливается на трех разновидностях идеологических «пустоплясов», каждая из которых является широким типологическим обобщением и восходит к конкретно-историческому материалу эпохи. Аристократ, мечтающий о том, что «хорошо бы обуздать мужика»,— не примирившееся с утратой крепостного права дворянство-помещичество. Демократ, возражающий, что «мужика обуздывать нечего, ибо он «предан», а что следует < > обуздать дворянское вольномыслие»,— славянофильские и «почвенические» направления, идеализировавшие царистские и патриархальные элементы в народной психологии и быту. Педагог, выражающий мнение, что ни дворян, ни мужиков обуздывать нет надобности, потому что дворяне — опора,

з мужик — почва, но следует обуздать «науку»,— все формы и виды авторитарно-патерической идеологии, враждебной подлинному просвещению, от «теории официальной народности» («казенной народности», как ее называл Чернышевский) до воскресных проповедей сельского батюшки в тысячах церквей России.

Прибегая к своему излюбленному приему — стиранию внутренних различий между изображаемыми общественными явлениями при всем разнообразии их внешней «номенклатуры»,— Салтыков показывает связь всех обозначенных им идеологических направлений с «принципом обуздания».

Обличение реакции и консервативно-реакционных идеологий ведется Салтыковым в полемике с либералами — «теоретиками пенкосни-мательства»,— подменяющими борьбу за большие общественные идеалы, за «ревизию самого принципа обуздания» крохоборчеством по поводу множества «частных вопросов». Перечень их в статье насквозь злободневен (см. далее в постраничных примечаниях), что придавало в восприятии читателей-современников публицистическую остроту проблемно-теоретическим суждениям Салтыкова.

Стр. 7. *Положение мое, как русского фрондёра...*— Далее перечисляется ряд характерных форм и проявлений общественной активности либеральной интеллигенции 70-х годов. Салтыков представляет эту деятельность как крохоборческую и совершенно бесперспективную, поскольку она не подчинена программе «коренного переустройства жизненных форм». Перечень дан в сатирико-ироническом ключе и содержит ряд намеков на конкретные факты и явления текущей общественной жизни, например на «бесполезную», с точки зрения Салтыкова, деятельность «Общества распространения полезных книг», и т. п.

«Благие начинания» — один из фразеологических штампов официозной и либеральной публицистики (применительно к правительственным реформам 60-х годов), часто используемый Салтыковым в целях ее же критики и сатирического обличения. Ср. также на стр. 8 «дело обновления».

...вроде, например, земских учреждений...— См. очерки «Новый Нарцисс...» и восьмое «Письмо о провинции» (т. 7 наст. изд.).

Стр. 8. *Везде <...> слышу: что вы! куда вы! да имейте же терпение!* — В 60-х годах либеральная печать обвиняла революционную демократию в «торопливости», то есть в стремлении перестроить общественный порядок революционным путем (см. стр. 51 и 589 в т. 6, стр. 7, 422 и 545 в т. 7 наст. изд.). В начале 70-х годов призывы «идти вперед» «тихо, стройно» относились уже к деятельности самих либералов-реформаторов: «К реформам основным надо поставить точку, ибо нужна пауза, пауза для того, чтобы дать жизни сложиться...» (*Гр.*, 1872, № 2, 10 января, стр. 42).

...агитировать страну по вопросу о необходимости ясного закона о потравах? — Один из злободневных откликов данной статьи. Штрафы за потраву помещичьих земель, предусмотренные законом

1861 года, открывали помещикам дополнительные возможности обирания крестьян (см. прим. к стр. 220—222). В 1872 году Петербургское собрание сельских хозяев, поддержанное либеральной прессой, дебатировало вопрос об упорядочении системы взимания этих штрафов (см. *ОЗ,* 1873, № 1, отд. I, стр. 52), игнорируя грабительскую сущность самого закона.

Стр. 9. *...ежели потравы могут быть устранены без агитации <...> то отчего же не «подождать»?* — Еще один сатирический выпад Салтыкова против «каплуньей мудрости» русского либерализма, полагающего, «что стоит только *погодить,* чтобы получить желаемое» (ср. стр. 318 в т. 6 наст. изд., стр. 308 и 628 в т. 7, стр. 179 в т. 8). В 80-е годы, в «Современной идиллии» (т. 15 наст. изд.), появится знаменитое словечко «г о д и т ь», ставшее крылатым.

Стр. 10. *...что̀ либеральнее: обуздывать ли человечество при помощи земских управ или при помощи особых о земских повинностях присутствий...* — В связи с земской реформой 1864 года в либеральной печати широко обсуждался вопрос о способах взыскания земских повинностей — денежных и натуральных. Обязательные повинности, покрывавшие расходы государственного значения, находились в ведении «о с о б ы х о з е м с к и х п о в и н н о с т я х п р и с у т с т в и й»; местными, которые шли на содержание учреждений губернского масштаба, распоряжались з е м с к и е у п р а в ы.

Стр. 10—11. *Стоит только припомнить сказки о «почве» со всею свитою условных форм общежития, союзов и проч.* — Предлагается «припомнить» ожесточенные споры демократической критики 60-х годов, в том числе и самого Салтыкова, с «п о ч в е н н и к а м и» — представителями литературно-общественного направления, тесно связанного с деятельностью Ф. Достоевского, Ап. Григорьева, Н. Страхова и других писателей, группировавшихся вокруг журналов братьев Достоевских «Время» и «Эпоха». Вместе с тем слова об «у с л о в н ы х ф о р м а х о б щ е ж и т и я, с о ю з о в и п р о ч.» имеют также в виду славянофилов с их идеализацией патриархальных форм народной жизни, в частности общины, а также взгляды Б. Чичерина и его сторонников. Согласно этим взглядам государство представляло собою надклассовую организацию «о б щ е с т в е н н ы х с о ю з о в» — семьи, собственности, церкви и др. (Б. Н. Ч и ч е р и н. Несколько слов о современных вопросах, М. 1862, стр. 150—151). Подробнее об отношении Салтыкова к «союзности» см. на стр. 625 и 686 в т. 6 наст. изд.

Стр. 11. *...переложения земских повинностей из натуральных в денежные...* — С конца 60-х годов многие земства обсуждали вопрос о переводе н а т у р а л ь н ы х повинностей в д е н е ж н ы е; в ряде уездов Тверской, Харьковской и других губерний это было осуществлено в форме передачи на откупа «подводной повинности». «Отеч. записки» отмечали, что новая форма взыскания не изменяет грабительской сути натуральных повинностей, которые по-прежнему ложились исключительно на крестьянство (*ОЗ,* 1869, № 12, отд. I, стр. 460).

...о переименовании земских судов в полицейские управления <..> передача следственной части от становых приставов к судебным следователям.. — Земские суды были преобразованы в полицейские управления в 1862 году, а должность судебных следователей введена в 1860 году. Меры по преобразованию полиции, намеченные в 1869 году, сводились главным образом к переименованию существующих должностей (см. *«СПб. вед.»,* 1873, № 99, 12 апреля).

Я совсем не отрицатель.— Салтыков отвечает здесь не только от лица «рассказчика» (см. об этом образе во вводной статье), но и от своего собственного имени, на предъявлявшиеся ему в либеральной печати обвинения, что своей сатирической критикой крестьянской, земской, судебной и других реформ он «отрицает» их прогрессивность и тем самым «бьет по своим»

...вопрос о всеобщей военной повинности...— оживленно дебатировался в периодике в начале 70-х годов, в 1874 году всесословная воинская повинность была утверждена (ранее, с 1762 года, дворяне были освобождены от обязательной военной службы).

...вопрос об устройстве земских больниц...— Организация земской медицины была одной из острых проблем провинциальной жизни и широко обсуждалась в печати (см., например, *«СПб. вед.»,* 1873, №№ 42, 65, 69, 11 февраля, 7 и 11 марта). Постановка медицинского обслуживания народа всецело зависела от инициативы местного земства (см. *ОЗ,* 1872, № 4, стр. 251)

Стр. 12 *Артельные сыроварни* — См. стр. 747—748 в т. 10; ср. также рецензию на роман Н. Витиякова «Русские демократы» в т. 9 наст изд.

«Пур ле жанс» — для слуг (*франц* pour les gens).

Антреметтёры — здесь: сводники (от *франц.* entremetteur — посредник).

Стр 13. *Безумная работа данаид* — бесплодный труд. По греческой мифологии, дочери царя Даная (данаиды) в наказание за убийство своих мужей должны были в подземном мире вечно наливать воду в бездонную бочку.

Стр. 14. *...о дешевейших способах околки льда...*— Этот вопрос, регулярно дебатировавшийся в газетах соответствующего времени года (см., например, *«СПб вед.»,* 1873, № 73, 15 марта), не раз приводится в сочинениях Салтыкова как пример мелкотравчатости либеральной печати, подчиненности ее «частным вопросам».

Стр 15 . *«плоть немощна» <..> «враг силен»..* — Евангельское выражение «дух бодр, плоть же немощна» (Матфей, XXVI, 41) вместе с добавлением «враг силен» стало поговоркой. Салтыков использует ее в качестве образца тех афоризмов «ходячей мудрости», «уличной философии», которые в системе «обуздания» противостоят «вмешательству разума в дела мира сего» и оправдывают «бессознательность, случайность и произвол» (см. стр. 61—62 в т. 9 наст. изд.).

Стр. 19—20. *.. простец <...> представляет собою лучшую anima vilis, на которой может осуществляться закон борьбы за существование...*— Речь

идет о теориях, оправдывающих социальное неравенство. Дарвиновский закон борьбы за существование переносила на историю человечества «органическая школа» Г. Спенсера с ее социологической теорией, отождествлявшей закономерности биологического и социального развития и рассматривавшей общество как цельный «социальный организм», в котором естественный отбор отвел каждому классу постоянное место. Буржуазное хищничество в сочетании с унаследованными от крепостничества способами угнетения и «обдирания» народа Салтыков называл «дарвинизмом, только переложенным на русские нравы..» («Хищники» из «Признаков времени», т. 7 наст. изд.). «Отеч. записки» систематически выступали с критикой «социологической теории» Спенсера (см., например, статьи Михайловского: «Что такое прогресс?» — 1869, №№ 2, 9, 11; «Теория Дарвина и общественная наука» — 1870, №№ 1, 3, 1871, № 1; «Идеалы человечества и естественный ход вещей» — 1873, № 2; «Лит. и журн. заметки» — 1873, № 4). Позитивная теория исходила из невозможности познания причинности явлений и признавала существующий порядок как данный и неизменный. Теологическая теория — эзоповское обозначение религии. Экономическая теория — взгляды буржуазных экономистов, проповедовавших «гармонию между трудом и капиталом» (Ф. Бастиа), с целью «согласовать,— по словам К. Маркса,— политическую экономию капитала с притязаниями пролетариата» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, 2-е изд., т. 23, стр. 17).

В ДОРОГЕ

(Стр. 21)

Впервые — *ОЗ*, 1872, № 10 (вып. в свет 17 окт.), стр. 387—408, под заглавием «Благонамеренные речи. (Из путевых заметок)».

Рукописи и корректуры не сохранились.

Очерк «В дороге» написан в августе — сентябре 1872 года под непосредственным впечатлением летних поездок Салтыкова. (Подробнее см. ниже.)

В *изд. 1876* очерку было дано заглавие «В дороге», а название города, обозначенного в журнальной публикации буквой *П.*, заменено буквой *Р.* (см. стр. 21 и 30). При подготовке всех трех отдельных изданий «Благонамеренных речей» автор вносил в текст очерка мелкие стилистические поправки

В 1872 году Салтыкову, проводившему, как обычно, летние месяцы в подмосковном имении Витеневе (недалеко от Пушкино, упоминаемого в очерке), пришлось много ездить по Тверской и Ярославской губерниям, а также в Москву. Причина поездок — болезнь, а затем и смерть 7 июля 1872 года брата Сергея Евграфовича, в общем владении с которым Салты-

кову принадлежало имение Заозерье Угличского уезда Ярославской губернии. Девятого июля Салтыков выехал из Витенева как для того, чтобы присутствовать при похоронах брата, так и для устройства общих с покойным дел, которые тот оставил «в величайшем беспорядке»[1]. Поездки продолжались до конца июля. За это время Салтыков побывал (в некоторых случаях по два и по три раза) в имениях брата Дмитрия Евграфовича — Спасском, вдовы Сергея Евграфовича — Воронцове, брата Ильи Евграфовича — Щедилове, затем в Заозерье, Угличе, Ярославле, Ростове, а также в Карабихе у Некрасова.

Путевые впечатления дали Салтыкову богатый материал для создания обобщающей картины социальных, экономических и нравственных сдвигов в жизни пореформенной России, и прежде всего русской деревни. Салтыков вводит в свой очерк ряд биографических сведений и конкретных данных — от сообщения о цели поездки и встреченных затруднениях до личных наблюдений над экономикой и социальной психологией обитателей Угличского и Ростовского уездов и непосредственных — «визуальных» — описаний мест, которые посетил его рассказчик. При этом, однако, Салтыков совершенно свободно использует «документальный» материал, подчиняя его задаче художественно-публицистического обобщения, а не дневниково-автобиографического повествования. Так, последовательность и направление поездок «рассказчика», за исключением нескольких частностей, не соответствуют итинерарию Салтыкова лета 1872 года. Топонимика очерка сочетает в себе подлинные и вымышленные географические названия, приводимые как полностью, так и буквенными обозначениями. Названы реальные станции по Ярославской железной дороге — Александровская, Троицкий Посад, Пушкино. В городе Р легко угадывается Ростов, а в «озере Р» — озеро Неро; исторические реминисценции напоминают об Угличе — земле, которую «некогда попирали стопы благочестивых царей и благоверных цариц русских». Но место «М***», куда поехал «рассказчик», где у него были «дела по имению» и где ему «ничто <...> не удалось»,— авторское обобщение. «М***» первого абзаца следует рассматривать как синтезированное обозначение всех тех, упомянутых выше мест — имений, сел, городов, в которых побывал Салтыков с целью устройства «дел по имению» и где ему, действительно, почти ничего «не удалось». Однако слова в третьем абзаце очерка: «Дорога от М. до Р. идет семьдесят верст проселком» — раскрываются биографическим комментарием как обозначение пути, проделанного Салтыковым от Углича до Ростова.

В очерке «В дороге» эскизно намечены сюжеты ряда последующих очерков цикла. Вступление России на путь капиталистического развития изображается в двух аспектах: упадок деревни после реформы 1861 года, разрушившей «прежнюю политическую экономию»

[1] См. письма Салтыкова к Некрасову от 5 июля и к И. Е. Салтыкову от 10 июля 1872 года.

помещиков, и буржуазное хищничество, которое в деревне делает первые шаги, а в городах и промышленных районах уже набирает силу.

Соответственно строится и композиция очерка. *Вначале* рассказчик едет на лошадях по проселкам уездной России, видит последствия крушения «старых столпов» и первые, осторожные шаги буржуа-предпринимателя.

Разоренные «дворянские гнезда», помещики, жаждущие от них избавиться, немцы-колонисты, скупающие за бесценок земли и леса, «модный припев» о том, что «слаб стал народ»,— все это наметки тем и образов, получивших глубокую художественную разработку в последующих рассказах и очерках: «Отец и сын», «Столп», «Кандидат в столпы», «Опять в дороге», «Кузина Машенька».

Во второй части очерка сельские проселки и губернские тракты, тарантас и лошади сменяются железной дорогой; рассказчик едет через подмосковные промышленные районы. На фоне этих «признаков времени» предстает в полный рост буржуазное предпринимательство, попирающее все подлинные нравственные ценности и провозглашающее хищнические девизы: «уж очень вы просты», «дураков учить надо». Проблематика, обозначенная здесь в очерковом жанре, воплотится скоро в цельных образах Дерунова, Стрелова, Зайца, Хрисашки и других приобретателей буржуазной складки.

Стр. 21. *...дела по имению <...> оказались запущенными; мои требования встречали или прямой отпор, или такую уклончивость, которая не предвещала ничего доброго. Предвиделось судебное разбирательство...*— Здесь, как и в ряде других мест «Благонамеренных речей», Салтыков вводит в повествование эпизоды автобиографического характера. После смерти брата (см. выше) Салтыкову было необходимо решить вопрос с другими сонаследниками о дальнейшей судьбе Заозерья. Как сказано, это ярославское имение находилось в общем владении Михаила Евграфовича и Сергея Евграфовича, но управлялось последним единолично и, как оказалось, весьма бесхозяйственно. Сонаследниками Салтыкова были его братья Дмитрий Евграфович, Илья Евграфович и вдова умершего Л. М. Салтыкова (рожд. Ломакина). Первая же встреча сонаследников выявила расхождения между ними. Особенно резко разошлись в своих требованиях Дмитрий Евграфович и Михаил Евграфович. М. Е. Салтыков претендовал на половину всего имения и сверх того на одну треть (за исключением седьмой вдовьей части) из остальной половины. Дмитрий Евграфович требовал, чтобы к М. Е. Салтыкову перешли только прилегающие к богатому торговому Заозерью безземельные деревни, указанные в отдельной записи 1859 года на его часть, *в случае раздела,* и треть из остального имения. (Сведения даны на основании собственноручной записки Салтыкова о своем споре по Заозерскому именью, составленной в октябре

1873 года для присяжного поверенного И. С. Сухоручкина. Текст документа был сообщен в 1934 году А. Н. Вершинским С. А. Макашину.) Этот спор явился тем яблоком раздора, который превратился вскоре в семейную драму, сильно омрачившую жизнь и работу М. Е. Салтыкова (подробнее об этом см. в письмах Салтыкова за 1872—1873 годы).

...с тех пор, как помещики <..> запели: На реках вавилонских — тамо седохом и плакахом. — То есть со времени 19 февраля 1861 года. Сожаления помещиков о крепостном праве выражены цитатой из Библии — плач пленных иудеев по утраченной родине (Псалтирь, 136).

Стр. 22. *...народ «стал слаб» <...> «немец нас одолел!»* — Упадок в стране сельского хозяйства констатировали в 1872 году все периодические издания (ср. *«СПб. вед.»,* №№ 42 и 154, 11 февраля и 8 июня; *РМ,* № 45, 17 февраля; «Новое время», №№ 38 и 58, 8 февраля и 1 марта; *Гр.* № 7, 14 февраля, стр. 227—228; «Беседа», № 9, отд. 1, стр. 332—336). Замалчивая социально-экономические корни этого явления, либерально-консервативная печать выдвигала в качестве одной из главных его причин распространение пьянства среди крестьян (см. прим к стр. 27—28). В этой связи на страницах газет часто встречались характеристики, сатирически использованные в салтыковском очерке: «ослабели», «народ слаб», «народ <...> будет становиться все слабее» (ср. *«СПб. вед.»,* 1873, № 32, 1 февраля; *Гр.,* 1872, № 7, 14 февраля, стр. 227; 1873, № 3, 15 января, стр. 64). Другой причиной считалось увеличение еврейского и иностранного элемента в среде землевладельцев (*РМ,* 1872, №№ 80 и 219, 28 марта и 24 августа; *«СПб. вед.»,* 1872, №№ 98 и 225, 9 апреля и 18 августа), что также нашло отражение в комментируемом очерке. После реформы многие помещичьи имения перешли в руки арендаторов и скупщиков, особенно из немецких колонистов (этому способствовали «Правила об устройстве поселян-собственников» от 4 июля 1871 года, приравнивавшие колонистов к коренному населению и расширявшие права иностранцев — предпринимателей и землевладельцев; см. *ПВ,* 1871, № 171, 20 июля; ср. «Беседа», 1872, № 1, отд. II, стр. 127—128; № 9 — отд. I, стр. 318—323). Однако это было частное явление, и повышенное внимание к нему заслоняло вопрос о социальной природе появившегося в деревне «нового человека» — буржуа.

Салтыков объясняет упадок сельского хозяйства в пореформенные годы с принципиально иных позиций: у русского крестьянина, только что переставшего (юридически) быть крепостным рабом, нет исторического опыта свободного предпринимательства (см. стр. 28: «мужик <...> политико-экономической игры в спрос и предложение не понимает..»), его сознание и опыт придавлены памятью о вековом бесправии (см стр. 26 «..тебя, Крестьян Иваныч, по зубам-то, верно, не чищивали?»). На те же причины указывали и другие публицисты «Отеч. записок» (см. № 9 за 1872 год, отд. II, стр. 158), отмечая одновременно природную «способность русского крестьянина к самостоятельному, добропорядочному и разумному хозяйству» (там же, № 4, отд. II, стр. 293).

Стр. 22. *Трифонычи, Сидорычи* — салтыковское обозначение дворян-помещиков

Крестьян-то он в казну отдал.— Согласно Положениям 19 февраля 1861 года, при переходе на выкуп помещик получал с крестьян 20% стоимости отходивших к ним наделов, остальные 80% ему выплачивало государство — выкупную ссуду, которую крестьяне должны были погасить в течение 49 лет. В счет ссуды помещику выдавались выкупные свидетельства — ценные бумаги твердой стоимости, обменивавшиеся в банке на деньги. Сроки перехода на выкуп устанавливались по обоюдному согласию помещика и крестьян мировыми посредниками. Помещик мог получить выкупную ссуду и не достигнув соглашения, но тогда его право на крестьянские платежи переходило «казне», то есть государству. Непосильное бремя выкупных платежей обычно заставляло крестьян оттягивать сроки перехода на выкуп и оставаться на положении «временнообязанных». Помещики, которых разоряла система хозяйства, построенная на труде «временнообязанных», стремились ускорить выкуп и часто «отдавали крестьян в казну». В 1872 году «Моск. ведомости» писали: «В последние два года <...> выкуп идет преимущественно по требованию помещиков, обязательно для крестьян. Число соглашений весьма незначительно, из 12 675 <...> сделок только 1120 состоялись по соглашению сторон» (№ 123, 18 мая).

Стр. 24. *Клочочки.*— См. прим. к стр. 104.

Я знал и этот монастырь, и это прекрасное, глубокое рыбное озеро! — Речь, возможно, идет о Николо-Улейминском монастыре в одиннадцати верстах от Углича, по Ростовской дороге. В четырех верстах от него находилась писчебумажная фабрика Вышилова; видимо, она и послужила Салтыкову поводом для рассуждений о владельце «фабрички» «Адаме Абрамовиче».

Стр. 25. *..кто невинно падшим объявился ..*— См. прим к стр. 38.

Стр. 27. *Пеун* — петух (*тверск.* и *костр.*).

Стр. 27—28. *Это выдумали клеветники русского народа <...> противники ныне действующей акцизной системы.*— Акцизная система разрешала частное производство и продажу вина по приобретении патента. Подробнее см на стр. 571—572 в т. 3 и стр. 598 в т. 7 наст. изд. Дебаты о причинах распространения пьянства не прекращались в русской печати конца 60-х — начала 70-х годов. В 1868 году «всероссийское пьянство» и «распущенность» послужили Салтыкову поводом для написания шестого «Письма о провинции» (т. 7 наст. изд.). В период работы над очерком «В дороге» специальные статьи этому вопросу посвятили «СПб. ведомости», «Гражданин», «Русск. мир», «Бирж. ведомости», «Беседа» и многие другие. Утверждая, что народ «гибнет в этой пучине пьянства и разврата» (*РМ,* № 238, 15 сентября), что «пьянство составляет у нас своего рода эпидемию, общественное бедствие» (*Гр.,* № 18, 4 сентября), многие газеты обвиняли в этом акцизную систему, быстро умножавшую число кабаков. (Подобное объяснение распространения алкоголизма Сал-

тыков высмеял в вышеупомянутом «Письме о провинции» — см. стр. 247 и 612 в т. 7 наст. изд.) «СПб. ведомости» (№ 226, 19 августа), «Гражданин» (№ 12, 20 марта, стр. 404) и «Русск. мир» (№№ 30 и 106, 1 февраля и 26 апреля) требовали ограничить количество питейных заведений. «Бирж. ведомости» (№ 256, 21 сентября) и «Беседа» (№№ 5, отд. I, стр. 217—236 и 8, отд. I, стр. 215—222) настаивали на передаче акцизного дела под контроль земства; выдвигались предложения запретить кабаки вблизи мельниц, волостных правлений и других «бойких мест». Исходным моментом требований такого рода было убеждение, что «русский человек <...> не может противостоять искушению» (*РМ*, № 90, 7 апреля). Вопрос о распространении пьянства неизбежно переходил из нравственной сферы в социально-экономическую,— подобные рассуждения давали повод утверждать, «что простой народ <...> слишком рано освобожден у нас от опеки высших классов <..> что необходимо ограничить народное самоуправление и усилить надзор над низшими классами» («Заря», 1871, № 4, отд. I, стр. 164), намекая таким образом на преждевременность реформ 60-х годов. (Нападкам на реформы со стороны реакционеров Салтыков специально дал отповедь в статье «Литература на обеде», т. 9 наст. изд.) Салтыков и другие публицисты «Отеч. записок» неоднократно обращались к этой проблеме, неизменно подчеркивая ее социальное значение (ср.: <Н. А. Демерт>, «Внутр. обозрение» — 1872, № 2, отд. II, стр. 191—192; А. Н. Энгельгардт, Из деревни — 1872, № 6, отд. II, стр. 164—165; С. Приклонский, Общественные питейные заведения — 1872, № 12).

Стр. 28. *«Уехал на теплые воды» помещик...* — В 1872 году «Отеч. записки» писали: «За десять лет мы <...> *пришли к небывалому ни в одной стране заключению, что вольнонаемный труд не окупает затраченного на производство сельскохозяйственных работ капитала!»* Неспособные наладить буржуазно-товарное хозяйство помещики «отдают свои земли в аренду, хотя бы и по низкой цене, а сами проживают по городам в России и за границей» (<Н. А. Демерт>, «Внутр. обозрение», № 2, отд. II, стр. 184, 185. Ср. также: А. Н. Энгельгардт, Из деревни — 1872, № 5, отд. II, стр. 33; № 6, отд. II, стр. 163, 179; «Совр обозр.», № 8, стр. 230—231). Ряд статей посвятила «эмиграции помещиков» газета «Русск. мир» (1872, №№ 172, 174, 196; 6, 8 и 31 июля).

...сам Иван Федорович Шпонька — и тот залюбуется ими! — Герой рассказа Гоголя «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» ведет разговор о признаках хорошо выкормленных индеек.

Стр. 33. *Сибирка* — старинная одежда: короткий сборчатый кафтан со стоячим воротником. Ее носили купцы и приказчики.

Дурак! <...> наглый панегирик мошенничеству, присвоивающему себе наименование ума.— Любопытно, что рядом с очерком Салтыкова в «Отеч. записках» была напечатана статья А. Щапова «О развитии высших человеческих чувств. Мысли сибиряка при взгляде на нравственные чувства и стремления сибирского общества». «Практическое евангелие этого

мира <...> состоит в приобретении денег»,— писал Щапов.— «Гуманность, честность и справедливость <...> кажутся глупостью, простофильством, исключительными свойствами и отличительными признаками дураков <...> «Дураков надо учить»,— говорят сибиряки, то есть надо того обирать, кто добр, милосерд и благотворителен, у того надо красть, кто плохо кладет деньги <...> того надо обманывать и осмеивать, кто справедлив и честен» (1872, № 10, отд. I, стр. 469, 477, 481).

Стр. 35. *...сейчас бы его к мировому — и шабаш! а в ту пору — ступай за сорок верст в полицейское управление.*— По реформе 1864 года мировые судьи должны были жить в пределах подчиненного им небольшого участка и разбирать дела несложного судопроизводства. Ранее такими делами ведали уездные полицейские управления («уездный суд»), располагавшиеся в соответствующих уездных городах.

Стр. 36. *...старого покроя стряпчий...*— Стряпчие — до судебной реформы 1864 года — частные ходатаи по судебным делам. После реформы их функции перешли к адвокатам, а стряпчими стали называться поверенные при коммерческих судах.

Стр. 38. *...задумал он в ту пору невинно падшим себя объявить <...> покуда конкурс <...> его, голубчика, в яму!* — Невинно падший — банкрот. Коммерческий суд давал заключение о несостоятельности банкрота, налагал запрет на его имущество и объявлял конкурс — то есть торги, распродажу имущества в пользу кредиторов; сам должник до конкурса подвергался аресту. Снисходительность законодательства к «невинно падшим» вызвала широкое распространение фиктивных банкротств ради избавления от платежей по кредитам: «Торговая несостоятельность сделалась у нас за последнее время таким обычным явлением <...> что пользование ею обратилось в простую, как бы законом освященную операцию» («Беседа», 1872, № 11, отд. I, стр. 253). В 1872 году готовился проект нового устава торгового судопроизводства, и газеты требовали изменения законоположений «о торговой несостоятельности» (*РМ*, № 137, 29 мая, № 145, 9 июня, № 157, 21 июня; «Голос», № 75, 14 июля; *«СПб. вед.»*, №№ 278—280, 10—12 октября).

ОХРАНИТЕЛИ

(Стр. 42)

Впервые — *ОЗ*, 1874, № 9 (вып. в свет 29 сент.), стр. 233—264, под заглавием «Благонамеренные речи. X».

Рукописи и корректуры не сохранились.

Предыдущий очерк — в отдельном издании названный «В дружеском кругу» — появился в № 3 «Отеч. записок» за 1874 год под номером VIII. Обозначение «Охранителей» номером X давало читателям понять, что до них не дошел девятый очерк «Благонамеренных речей» — им был «Тяже-

лый год», уничтоженный цензурой в составе сожженного пятого номера журнала за 1874 год.

В *изд. 1876* очерку было дано заглавие «Охранители» и зашифровка названия села буквой *П.* заменена буквой *Л.* (стр. 42—43 наст. тома).

Остальные разночтения во всех трех отдельных прижизненных изданиях носят характер незначительной стилистической правки.

Перенесение очерка в отдельном издании на третье место по сравнению с фактическим девятым местом в журнальной публикации породило некоторые текстовые и сюжетные неувязки. В частности, критика исправником Колотовым позиции «рассказчика» (стр. 43 наст. тома) была более понятна и уместна, когда очерк следовал за рядом других — «По части женского вопроса», «Столп», «В дружеском кругу»,— достаточно выяснивших отношение автора к семье, собственности и государству. История «неблагонадежного» помещика Аннетова также была предварительно подробно изложена в рассказе «Отец и сын».

Весна и лето 1874 года были вершиной и одновременно началом упадка «хождения в народ» — движения разночинной интеллигенции, преимущественно молодежи, в деревню с целью просвещения и революционной пропаганды среди народа. Это широкое движение, которое, главным образом, и знаменовало наступление в России второго демократического подъема — начала 70-х годов,— вызвало со стороны правительства и консервативных кругов общества усиление охранительных настроений и расширение репрессий. Летом 1874 года начались массовые аресты пропагандистов. К концу года было арестовано и привлечено к дознанию более тысячи человек, многие из них по доносам добровольных сельских «соглядатаев».

Очерк «Охранители» писался в конце лета 1874 года. Люди и силы, охраняющие на местах, в деревне, существующий «порядок вещей» от натиска наступившего «смутного времени», представлены Салтыковым в реалистических, почти лишенных карикатурно-сатирического заострения, образах. Это воплощающий полицейскую власть исправник Колотов (хотя и бюрократ «самого новейшего закала», но по сути все тот же дореформенный Держиморда), и неофициальные помощники — доброхоты этой власти, опора реакции и контрреволюции в деревне: прогоревший помещик Терпибедов, трактирщик-кабатчик с уголовным прошлым Пантелей Егоров и «запрещенный поп», кляузник и ябедник отец Арсений. Этим образам, олицетворяющим «силы порядка» и «благонамеренность», противостоят «неблагонамеренные» фигуры помещика Аннетова, занявшегося не свойственным дворянскому званию делом личного физического участия в обработке земли, земского деятеля Парначева, проводника артельного труда, в частности сыроварения. Все это были характерные явления и фигуры в жизни русской деревни 70-х годов. Салтыкову они были известны и по личным наблюде-

ниям (поездки в Тверскую и Ярославскую губернии, летняя жизнь в подмосковном Витеневе), и по литературным источникам (в частности, печатавшимся в «Отеч. записках» «письмам» А. Н. Энгельгардта «Из деревни», его статьям об артельных сыроварнях и др.).

Стр. 42. *В сем омуте, где с вами я...*— Из «Евгения Онегина» (гл. VI, строфа XLVI) Пушкина.

Торговое село Л.— Судя по следующему дальше указанию, что от «села Л.» до имения автора «Благонамеренных речей» (речь идет о Заозерье) «верст двадцать», Салтыков вспомнил тут о селе и пристани Колотово, от названия которого он произвел фамилию своего исправника.

Стр. 43. *...вы на все эти «признаки времени» не шутя прогневаны.*— Исправник дает понять, что знаком также с книгой Салтыкова «Признаки времени» (т. 7 наст. изд.).

Стр. 44. *...сказывал <...> консервативные сказки <...> мечтал об английских лордах и правящих сословиях...*— Речь идет о сторонниках английской политической системы среди публицистов дворянского лагеря в России 60-х годов, в частности о Каткове (см. по указателю имен в тт. 3, 4, 6 и 8 наст. изд.). Далее Салтыков использует в пародийном плане терминологию и стиль официальных правительственных документов. Например, в «Высочайшем рескрипте, данном на имя председателя Комитета министров кн. Гагарина» от 13 мая 1866 года, указывалось на существование «превратных <...> суждений о действиях или намерениях правительства» («Сев. почта», 1866, № 102, 14 мая); «превратное толкование газетных известий» вменялось в вину «Отеч. запискам» в объявленном им предостережении (*ОЗ*, 1872, № 8); о «неспокойствии умов» тревожился митрополит Филарет (см. прим. к стр. 83); doctrines les plus détestables — пародийный перевод термина «вредные лжеучения», который был введен в обиход царским рескриптом от 13 мая 1866 года («Сев. почта», 1866, № 102, 14 мая), в 1871 году фигурировал в речи прокурора на «нечаевском процессе» (*ПВ*, 1871, № 163, 10 июля).

Стр. 45. *...Держиморда, с которым я когда-то был так приятельски знаком.*— Указание на дореформенную службу — ссылку Салтыкова в Вятке. Подробнее см. *Макашин*, стр. 299—483.

Я всегда чувствовал слабость к русской бюрократии, и именно за то, что она всегда представляла собой, в моих глазах, какую-то неразрешимую психологическую загадку.— Эти и следующие за ними иронические слова выражают одно из самых серьезных и глубоких наблюдений Салтыкова над миром российского чиновничества, в котором он провел почти четверть века и который знал так глубоко. Салтыков был убежден в неверности, зыбкости, «призрачности» государственного аппарата самодержавной власти, несмотря на все «физическое» (политическое) могуще-

ство этой власти. У «слуг царя и отечества», рядовых, а зачастую и руководящих, писатель видел служение только собственным интересам и своекорыстию, а не государственным идеалам и принципам.

Стр. 46 *Сквозник-Дмухановский* — городничий из гоголевского «Ревизора», начальник Держиморды.

...это своего рода habeas corpus.— Иронический намек на положение личности в условиях политического бесправия при самодержавии и хищничество его полицейского аппарата. Возникновение термина английского законодательства h a b e a s c o r p u s, обозначающего гарантии личной свободы, исторически связано с парламентским биллем 1679 года, направленным против произвольных арестов и неограниченных сроков заключения противников монархии.

Стр. 48. *...Верхоянск вольным городом сделать и порто-франко в нем учредить.*— Намек на дело о «сибирских сепаратистах» (см. стр. 576 в т. 7 наст. изд) или на «кружок сибиряков», привлекавшихся по «нечаевскому делу» (см. стр. 782 в т. 10). П о р т о - ф р а н к о — портовые города, свободные от таможенного надзора.

Стр. 48—49. *Соглядатай-француз <...> не полезет в заговор <...> русский соглядатай <...> сам напишет прокламацию.*— Возможно, намек на В. Костомарова, предавшего Михайлова и Чернышевского: он втерся к ним в доверие, показав отпечатанное в тайной домашней типографии свое антиправительственное стихотворение.

Стр. 49. *...созрели мы или не созрели...*— В 1859 году Е. И. Ламанский на одном из диспутов заявил, что для публичного обсуждения общественных вопросов «м ы е щ е н е с о з р е л и» Эту фразу подхватила демократическая журналистика, высмеивавшая рассуждения консервативной печати о «незрелости» русского общества, неподготовленности к реформам (см., например, *РМ,* 1872, № 227, 3 сентября).

Стр. 50—51. *...Анпетов пригласил нескольких крестьян <...> Это почти что «droit au travail»!* — Доходы в артели Анпетова распределяются в соответствии с программой французских социалистов-утопистов по осуществлению «союза труда и капитала», в котором накопления делаются за счет эксплуатации труда капиталом. Салтыков показывает, что устроенная Анпетовым «артель» является капиталистической (см. Р. Л е в и т а. Общественно-экономические взгляды Салтыкова-Щедрина, Калуга, 1961, стр. 212—213). «D r o i t a u t r a v a i l» — пункт «Декларации прав человека и гражданина» Великой французской революции конца XVIII века, внесенный при якобинской диктатуре.

Стр. 51. *Некако* — как-то, как будто (*церковнослав).*

...у Островского две свахи есть: сваха по дворянству и сваха по купечеству.— В комедии «Бедная невеста».

Стр. 52. *..у вас же довелось мне вычитать выражение: «ожидать поступков».*— В очерке «Столп» (см. стр. 110), который в журнальной публикации предшествовал «Охранителям».

...в моей к-ской резиденции.. — то есть в Калязине.

Стр. 53. *«Miserere»*.— Здесь: ария из оперы Дж. Верди «Трубадур» (1853), написанная на латинский текст 50-го псалма царя Давида (Библия).

Стр. 54. *...служил дворянским заседателем <...> до появления становых приставов...*— то есть до 1837 года, когда земский суд (уездная полиция) был реорганизован и выборные должности дворянских заседателей заменены становыми приставами, назначавшимися губернатором.

...дразнили <...> фофаном...— то есть простофилей, дураком, разиней. Это словечко использовано Салтыковым в четвертом «Письме о провинции» (т. 7 наст. изд.) для обличения бессознательности и социальной пассивности.

Стр. 54—55. *...не опоздай он к секретарю <...> ничего бы этого не было.*— То есть Терпибедова не отдали бы под суд, успей он дать взятку.

Стр. 57. *...запрещенный поп-с.*— Запрещение отправлять церковную службу и требы (временно или с отрешением от должности) налагалось на духовных лиц церковным судом за преступления по должности или за клевету.

...вене-зиси! — иди сюда! (*франц.* venez-ici!).

Только прежде я ее Монрепо̀ прозывал, а нынче Монсуфрансом зову <...> церей-то, называет это благорастворением воздухов! — Монрепо — мой отдых (*франц.* mon repos); использовано Салтыковым в «Убежище Монрепо» (1878—1879; т. 13 наст. изд.). Монсуфранс — мое страдание (*искаж. франц.* ma souffrance). «Благорастворение воздухов» — выражение из молитвы «О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временах мирных...». Употребляется в значениях: тишина и спокойствие; чудесная погода.

Стр. 58. *...перметте бонжур!* — Позвольте, здравствуйте! (*франц.* permettez, bonjour!).

В терпении хотим стяжать души наши..— перифраз евангельского текста: «Терпением вашим спасайте души ваши» (Лука, XXI, 19).

Стр. 59. *Долгогривые — они ведь ... примеры-то эти были!* — Намек на то, что из духовного сословия — долгогривые — вышел ряд деятелей революционной демократии, в частности Чернышевский и Добролюбов.

Стр. 60. *...пошлость <...> вызывает <...> поползновения к прозелитизму <...> Требует, чтоб разум покорился ее убеждениям.*— Прозелитизм — подражание, усвоение. О взаимоотношениях передовой мысли и литературы с «уличной философией» пошлости см. в статье «Насущные потребности литературы» (т. 9 наст. изд.).

Стр. 61. *...я вредным идеям не обучался-с. В университетах не бывал-с!* — В освободительном движении 60—70-х годов активное участие принимало, в частности, студенчество: в университетах неоднократно имели место студенческие волнения; в основном из студентов состояла нечаевская заговорщическая организация 1869 года «Народная расправа»; студенты играли значительную роль в кружке Долгушина, процесс которого слушался в июле 1874 года.

Стр. 62. *...варите сыры — и недоимкам вашим конец <..> Теперича у нас молоко-то робята хлебают, а тогда оно, значит, за недоимки пойдет?* — На страницах «Отеч. записок» против фетишизации артельных сыроварен либеральными земцами, как и Парначев, «под выгодой понимавшими только рубли, которые крестьянин отнесет в волость для уплаты повинностей», выступал Энгельгардт (*ОЗ*, 1872, № 2, отд. II, стр. 145. Ср. рец. на роман Н. Витнякова «Русские демократы», т. 9 наст. изд.).

Стр. 69. *...кассы... когда ж это видано?* — Ссудно-сберегательные кассы наряду с другими хозяйственными и финансовыми ассоциациями в начале 70-х годов широко распространились в рабочей среде благодаря народнической интеллигенции «Отеч. записки» иронически относились к надеждам, возлагавшимся на подобные организации (см., например, *ОЗ*, 1872, № 2, отд. II, стр. 178).

Купцы обсчитывают и обмеривают, чиновники — притесняют <...> Потому, что школы нет. — Салтыков пародирует рассуждения либеральной печати, объяснявшей бедственное положение крестьянства пьянством (см. прим. к стр. 22) и невежеством. Подобные рассуждения высмеивались «Отеч. записками»: «...Везде повторяется <...> народу учиться негде — потому он и бедствует» <...> школ, говорят, у народа нет, потому он и пьянствует» (1873, № 10, отд. II, стр. 268). Вместе с тем «Отеч. записки» писали и о необходимости развития народного образования, подчеркивая неспособность земств, ведавших народными школами, решить эту проблему (см. например, № 8 за 1873 год, отд. II, стр. 239—263).

Стр. 70. *Коль славен.. это значит, в Сионе-с!* — «Коль славен наш господь в Сионе...» — один из христианских, в том числе и православных гимнов. В царской России имел также значение государственного национального гимна наравне с «Боже царя храни...».

ПЕРЕПИСКА

(Стр. 71)

Впервые — *ОЗ*, 1873, № 12 (вып. в свет 15 дек.), стр. 631—644, под заглавием «Благонамеренные речи. V. Переписка», со словами «С подлинным верно» перед заключавшей текст подписью *«Н. Щедрин»*.

Рукописи и корректуры не сохранились.

При подготовке *изд. 1876* автор сделал одно существенное сокращение в самохарактеристике Батищева. Приводим вариант *ОЗ*.

К стр. 91, после абзаца «P. S. Вы положительно несправедливы...»:

Ерофеев, наверное, никогда не испытывал тех мучительных колебаний, какие испытывал я, имея перед собой двух генералов. Если ему и приходилось выбирать между двумя скопцами, то тут сделать выбор очень

легко. Стоит только взвесить выгоды, представляемые тем и другим, и затем, остановившись на одном, без труда забыть про другого. А я, милая маменька, даже теперь, когда оба генерала, несомненно, меня от себя оттолкнули, не могу ни того, ни другого позабыть!

Остальные разночтения во всех трех прижизненных изданиях не выходят за пределы мелкой стилистической и орфографической правки.

Сатирическая критика «благонамеренности» и «благонамеренных речей» дается в очерке «Переписка» на материале деятельности новых судебных учреждений, введенных реформой 1864 года. Отмена сословных судов, установление института присяжных поверенных (адвокатов) и присяжных заседателей, гласный и состязательный характер судопроизводства, независимость суда от администрации — все это преподносилось в официальных заявлениях, а также в либеральной печати, как введение в русскую жизнь гарантий законности. Очерк Салтыкова не оставлял места для подобных иллюзий. С точки зрения официальной новое правосудие было «орудием для определения всех нравственных или политических отношений граждан друг к другу и к государству»[1]. Салтыков показывает, что на деле — это новые орудия подтягивания и обуздания в руках «лгунов-лицемеров» и новый источник обогащения для рыцарей «легкой наживы».

В центре очерка — фигура Батищева — образ прокурорской власти и Ерофеева — образ нового сословия, присяжных поверенных, адвокатуры. Прокуроры — «излюбленные люди закона» — представляли идею государственности и защищали «государственный союз»; адвокаты совмещали в своей деятельности «элементы публичный и частный», прокурор находился на «казенной службе» и получал жалованье. Вознаграждение труда адвокатов формально определялось таксою, но практически зависело от договоренности с клиентом. Все эти стороны нового устройства судебного дела сатирически освещены в очерке.

Появление в «Переписке» фигур Батищева и Ерофеева подготовлено образами Нагорнова и Тонкачева из «Господ ташкентцев» («Ташкентцы приготовительного класса»; т. 10 наст. изд.).

Главное внимание писатель уделяет Батищеву и его прокурорскому усердию в раскрытии дела о «тайном обществе», которое он расследует с таким рвением не потому, что озабочен защитой «основ» и «краеугольных камней», а потому, что надеется продвинуть этим делом свою служебную карьеру.

Ко времени создания «Переписки» судебная практика России знала только один открытый политический процесс — «нечаевское

[1] *Гр.*, 1873, № 10, 5 марта, стр. 309.

дело», на котором Салтыков присутствовал и о котором писал[1]. Материалы процесса, так же как и высказывания по поводу его печати — «Моск. ведомостей», «Зари», и «Голоса»,— нашли сатирическое отражение в ряде мест очерка. Например, речь прокурора В. А. Половцева — государственного обвинителя на процессе — расценивалась в печати как образцовый пример исполнения прокурорских обязанностей «в самом строгом смысле их определяющего закона»[2]. Салтыков же ядовито высмеял мнимую объективность прокурора.

Очерк содержит и ряд других злободневных откликов на борьбу самодержавия с революционным движением, набравшим как раз в это время новую силу, но и терпевшим неизбежные поражения. К осени 1873 года относится разгром кружка «долгушинцев», первые аресты «чайковцев» и др.

Что касается Ерофеева, то при всей эскизности в зарисовке этой фигуры она ярко представляет тип «адвоката-лихача»[3], продажного «откупщика трибуны»[4] с характерными для пореформенного суда баснословными гонорарами. Среди «хищников» новой буржуазной интеллигенции адвокатура считалась одним из лучших занятий, ибо «цивическим стремлениям она удовлетворяет, да и материальные блага дает в изобилии и с изумительной легкостью. Соединение двух таких выгодных условий влечет к этому занятию сердца как прогрессивных юношей, так равно и мужей, искушенных опытом»[5]. К изображению этой категории «деятелей русской земли» Салтыков обращался неоднократно[6].

Стр. 72. *...казенное содержание, сопряженное с званием сенатора кассационных департаментов, есть один из прекраснейших уделов...*— Судебной реформой 1864 года в сенате были образованы, «в качестве верховного кассационного суда, два кассационных департамента — один для уголовных, другой для гражданских дел» («Судебные уставы 20 ноября 1864 года», «Учреждения судебных установлений», ст. 114). Чиновники этих департаментов («сенаторы»), получавшие весьма значительный оклад, назначались из числа высших чинов прокурорского надзора (там же, ст. 208).

Клеппер — очень дорогая порода выездных лошадей.

Стр. 73. *Не потому должен быть наказан преступник, что этого требует безопасность общества или величие закона, но потому, что об этом*

[1] См. статью «Так называемое «нечаевское дело»...» в т. 9 наст. изд.
[2] «Заря», 1871, № 7, «Из совр. хроники», стр. 39.
[3] Подробнее см в прим. к стр. 238.
[4] «Дело», 1872, № 4, отд. II, стр. 70, 72.
[5] *«СПб. вед.»*, 1872, № 22, 22 января.
[6] Фигура «адвоката-лихача» обрисована в очерке «Опять в дороге», который в журнальной публикации предшествовал «Переписке». Различным типам адвокатов Салтыков предполагал посвятить продолжение «Переписки» (см. отд. Неоконченное).

вопиет сама злая воля...— Сатирически критикуется одно из главных положений идеалистической философии права и буржуазного уголовного законодательства: «преступление есть <...> проявление злой человеческой воли». Возможно, что в следующем затем рассуждении о «преступлении» и «наказании» Салтыков отчасти имел в виду и Достоевского, утверждавшего в «Дневнике писателя» за 1873 год, в связи с частыми фактами оправдания подсудимых присяжными: «...Строгим наказанием, острогом и каторгой вы, может быть, половину спасли бы из них. Облегчили бы их, а не отяготили» (*Гр.*, 1873, № 2, 8 января, стр. 35). С этим утверждением полемизировал Михайловский на страницах «Отеч. записок» (1873, № 2, отд. II, «Лит. и журн. заметки», стр. 337).

Стр. 74. *...объявил себя специалистом по части скопцов <...> и получил сорок тысяч.*— Принадлежность к секте скопцов каралась каторгой как изуверство и посягательство на официальное православие. В начале 70-х годов правительство начало активно преследовать умножившиеся тайные общины скопцов, видя в них «правильно организованные тайные общества <...> лучший образчик русской организации» (*РМ*, 1872, № 84, 1 апреля). В 1872—1873 годах в Москве, Петербурге и Калуге слушались крупные процессы по делам целых скопческих общин (см. *РМ*, 1872, №№ 84, 104 и 171, 1 апреля, 24 апреля и 5 июля; 1873, №№ 43 и 51, 15 и 26 февраля; *МВ*, 1873, №№ 28—30, 1—4 февраля; *«СПб. вед.»*, 1873, № 55, 25 февраля). Подобные дела «каждый раз открывали в России обильные золотоносные струи» для адвокатов (*РМ*, 1872, № 84, 1 апреля), поскольку скопчество было особенно распространено среди купцов и коммерсантов и сопровождалось круговой порукой.

«La fille de Dominique» — водевиль П. Левассора.

Стр. 74—75. *...неси сей крест с смирением <...> и ни один волос <...> не упадет без воли того, который заранее все знает...*— «Благонамеренные» сентенции Надежды Батищевой построены на заветах христианской морали, заимствованных из Библии (ср.: «отвергни себя и возьми крест свой» — Матфей, XVI, 24; «ни один волос его не упадет» — третья кн. Царств, I, 52; «бог <..> знает все» — Иоанн, III, 20, и др.).

Стр. 76. *...je crois que le knout ferait bien mieux leurs affaires!* — Сентенции «братца» Батищевой и ее собственные насчет пользы кнута — по-видимому, сатирическая реплика на скандальные выводы комиссии, в 1872 году изучавшей деятельность волостных судов, в частности вопрос о целесообразности отмены телесных наказаний для крестьян: комиссия пришла к выводу, что розги — «самое *выгодное* и *удобное* из всех наказаний» (*ОЗ*, 1872, № 10, отд. II, «Наша обществ. жизнь», стр. 238). Соединение проповеди кнута с молитвой («все упование мое...» — см. «Молитвослов», СПб. 1907, стр. 10, 27, 44, 57 и др.) — возможно, намек на митрополита Филарета, одного из составителей текста Манифеста 19 февраля и автора «Записки о телесных наказаниях с христианской точки зрения» (1861), в которой эти наказания оправдывались ссылками на Священное писание.

Стр 78. ...*«Общество для предвкушения гармоний будущего»* <.. > — *цель его заключается в «непрерывном созерцании гармоний будущего и в терпеливом перенесении бедствий настоящего».*— Это шутливо-обобщенное название народнически-социалистических групп и кружков пользовалось большой популярностью среди революционеров 70—80-х годов. Далее пародируется речь прокурора В. А. Половцева, обвинителя на «нечаевском процессе», заявившего, что любой вид организации — студенческий кружок, артель или общество взаимопомощи — угрожает существующему порядку, ибо «распространение полезных, научных и по преимуществу практических сведений» было лишь «официальной, внешней» целью, «внутренняя же, настоящая» заключалась в распространении «лжеучений коммунизма и социализма» (*ПВ,* 1871, № 163, 10 июля).

Стр. 79. *Позвольте мне называть этих людей не злоумышленниками, а заблуждающимися!* <...> *в свое время* <..> *вновь можно будет заменить наименованием злоумышленников* .— Прокурор Половцев в начале своей речи на «нечаевском процессе» заявил, что студенческие кружки «не имеют в себе ничего противузаконного» и существование их «вполне невинно», а затем стал утверждать, будто самый факт существования кружков представляет опасность, что их «невредные» участники, «сами того не замечая, мало-помалу делаются людьми все более и более вредными и опасными», от деятельности «предосудительной» переходят к деятельности, «прямо предусмотренной законом» (*ПВ,* 1871, № 163, 10 июля).

Стр. 81. . *горших злоумышленников не было* <..> *они паче душегубов и воров*.. — Именно такое обвинение адресовала в связи с «нечаевским процессом» реакционная и либеральная печать русской революционной демократии· «С кем в родстве эта революционная партия <..> Кто в русском народе ей пособники и союзники < > Грабители и жулики <...> *Жулики* лучше и честнее вожаков нашего нигилизма, они по крайней мере не выдают себя благовестителями и не употребляют софизмов для разврата незрелых умов» (*МВ,* 1871, № 161, 25 июля). Аналогичную точку зрения высказывал «Голос» (1871, № 183, 4 июля).

Стр. 82. ...*по меняльным рядам ходит и от изуродованных людей поживы ищет!* — Меняльные лавки занимались разменом денег и мелкими банковскими операциями. Среди менял было много скопцов (*РМ,* 1872, № 84, 1 апреля).

...*теперь у меня* <. > *уже восемьдесят три человека обвиняемых.*— Намек на «нечаевское дело», где фигурировало 83 подсудимых, из которых только одиннадцати предъявлено было обвинение в «злоумышлении против государства»; в итоге, по признанию самого прокурора, оказалось всего «лишь четыре, можно сказать, пять подсудимых, привлекаемых собственно по этому делу» (*ПВ,* 1871, № 156, 2 июля и № 163, 10 июля).

Люди, которые <.. > *могли бы претендовать на титул благодетелей человечества* <...> *ничего, кроме справедливой кары закона...*— Либеральная печать в особенную заслугу прокурору Половцеву ставила его

«объективность»: он «счел возможным выставить не только темные, но и светлые стороны характера даже тех <...> на которых он призывал наиболее строгую кару суда. Этот прием придавал особенный вес его обвинению...» («Заря», 1871, № 7, «Из совр. хроники», стр. 40).

Стр. 83. *..как прозорлив был покойный преосвященный...* — О «прозорливости», то есть, в данном случае, об общественной позиции, Московского митрополита Филарета дает представление его письмо Александру II («Выписка из письма московского священнослужителя в Петербург, декабря 17 дня 1861», М. 1862). Герцен оценил это обращение как «дикий вопль изуверства, бледнеющего перед мыслью, перед человеческой волей и взывающего к гонениям и казням В этом преступном и безумном писании — донос на литературу, на журналы, на общественное мнение...» («Колокол», 1862, л. 133, 15 мая).

Стр. 83—84. *«Вы фарисеи и лицемеры <...>». Все в духе пророка Илии.* — Филаретов пользуется библейскими образами: фарисеи — члены древнеиудейской религиозной секты, отличавшейся фанатизмом и лицемерием; Исав, старший сын патриарха Исаака, продал младшему брату право первородства за горшок чечевичной похлебки; в львиный ров был брошен пророк Даниил за обличения безнравственности царя и его приближенных; сиренская прелесть — обольщение, соблазн; и крадете, и убиваете, и клянетесь лживо — заповеди Моисея, нарушение которых считалось смертным грехом, гласили: «не укради, не убий, не клянись лживо»; жрете Ваалу — поклоняетесь идолам (жрети — приносить жертву богу). Ваал — языческий бог, изображавшийся в виде тельца; поклонение ему означало забвение высших нравственных принципов во имя корысти и стяжательства; Илия — библейский пророк, обличавший разврат соплеменников и предвещавший им возмездие.

Стр. 84. *...даже многие высокопоставленные лица!* — Это открытие Батищева и предупреждения маменьки об опасностях, которыми оно чревато (см. стр. 86—87),— сатирический выпад против «Моск. ведомостей», которые простерли свою «обвинительную мономанию» (см. стр. 523 в т. 9 наст. изд.) вплоть до правительственных сфер: «Мы видели злых заговорщиков на местах влиятельных и ответственных, и никто не поручится, чтоб и в сию минуту в рядах людей, призванных охранять спокойствие государства, не было тайных врагов его или пособников врагам» (*МВ*, 1870, № 4, 6 января). За эти намеки газете было объявлено предостережение (*МВ*, 1870, № 8, 11 января).

...под «безопасностью» они разумели <...> воспрещение полиции входить в обывательские квартиры! — Пресловутая «законность» нового суда не охраняла граждан от произвола полиции. Например, в декабре 1873 года студент П. Т. Попов был приговорен к тюремному заключению за оскорбление жандармского офицера при производстве обыска. «Оскорбление» выразилось в требовании предъявить ордер на обыск (*МВ*, 1873, № 313, 12 декабря).

Стр. 85. *Коммеморативный* — памятный, напоминающий (*франц.* commémoratif).

...взглянуть «La fille de m-me Angot» ..— Герой Салтыкова в курсе новинок каскадного мира: оперетта Ш. Лекока «Дочь мадам Анго» впервые была поставлена в Петербургском Михайловском театре в сезон 1873 года («Петерб. листок», 1873, № 202, 14 октября). См. прим. к стр. 116

Стр. 86 *Саккос* — облачение православного архиерея во время богослужения.

Предики — проповеди (от *лат.* praedico).

Стр 87. *Есть люди высшие, средние и низшие — и сообразно с сим опыты.*— Выпад против Чичерина, разделявшего общество на три класса — высший, средний и низший — со строго разграниченными функциями: для высшего — в первую очередь умственная деятельность и в особенности управление государством, для низшего — физический труд и повиновение высшему (Б. Н. Чичерин. О народном представительстве, М. 1866, стр. 411—420).

Стр. 88. *...они <...> требовали миллион четыреста тысяч голов...*— Это «требование» вновь отсылает читателя к материалам «нечаевского процесса» (см. стр. 738 в т. 10 наст. изд.).

Стр. 89. *...выписывали «Труды Вольно-экономического общества» <...> чтоб по поводу их затевать недозволенные сборища...*— Сатирический образ, реальная подоплека которого кроется в характере деятельности большинства кружков революционной молодежи начала 70-х годов. Например, известная группа, или общество, «чайковцев» начала свою деятельность с организации тайных кружков саморазвития и с распространения среди интеллигенции, как в Петербурге так и по всей России, произведений научной, публицистической и художественной литературы, отвечавшей ее пропагандистским целям (Ш. М. Левин. Общественное движение в России в 60—70-е годы XIX века, М. 1958, стр. 355). Подавляющее большинство распространенной литературы было легальными изданиями, вышедшими под контролем царской цензуры (произведения Чернышевского, Добролюбова, Писарева и др.). Сатирически заостренным указанием на это обстоятельство и является ссылка на «Труды Вольно-экономического общества» — печатные издания общества хотя и носили либеральный характер, но были весьма далеки от революционности.

Стр. 93. *...покуда не сдадут меня <...> в архив, членом белозерского окружного суда <...> судить белозерских снетков.*— То есть спровадят в захолустье под предлогом служебного перевода. Обозначенная здесь перспектива «судить белозерских снетков» получила впоследствии разработку в знаменитых сценах суда над пискарем в «Современной идиллии».

Кюмюлировать — совмещать (*франц.* cumuler).

СТОЛП

(Стр. 94)

Впервые — *ОЗ*, 1874, № 1 (вып. в свет 21 янв.), стр. 239—268, под заглавием «Благонамеренные речи. VI».

Заглавие «Столп» дано в *изд. 1876.*

Сохранилась наборная рукопись *ОЗ*, во многих местах правленная автором. Приводим шесть вариантов первоначального слоя рукописи.

К стр. 110. История «кандауровского барина» начиналась и продолжалась иначе: вместо абзаца «Кандауровского барина чуть-чуть не увезли-с» было «Кандауровского барина увезли».

На той же стр., в абзацах «Неизвестно-с...» и «Поступков не было...», вместо «господин становой» было «господин исправник».

Там же, в абзаце «Поступков не было...», после слов «а ни с кем не знакомится, книжки читает», было «— Увезли-с».

В том же абзаце текст «так и ожидали, что увезут! <...> и айда в Петербург-с!» вставлен позднее.

К стр. 114, после абзаца «— Какая красота!..»: Я еще ребенком помню, как Прохор Лукьяныч... (см. текст варианта ниже).

К стр. 117, после абзаца «И этот-то щеголь...»

Он прежде в золотарях при губернском правлении служил и там-то должно быть, уловил тайны психологии!

Сличение рукописи с первопечатным текстом обнаруживает, что в не дошедшей до нас корректуре автором была сделана небольшая правка текста.

«Столп» — первый из двух рассказов в «Благонамеренных речах» (второй — «Превращение»), посвященный Осипу Дерунову, одной из наиболее ярких и завершенных фигур в салтыковской галерее сельской и провинциальной буржуазии — «чумазых»,— быстро поднимавшейся на дрожжах послереформенного экономического развития из среды зажиточного крестьянства и уездного мещанства.

В рассказе художественно обобщены воспоминания и впечатления Салтыкова, связанные во многом с собственной биографией и относящиеся к местам и людям Тверской губернии, известным ему с детских лет. Как всегда, однако, у писателя «свое» перемешано в рассказе с «чужим», «а в то же время дано место и вымыслу» (из прим. Салтыкова к началу «Пошехонской старины»; т. 17 наст. изд.).

Описывая в самом начале рассказа «родовое наше имение Чемезово», слывшее в былые годы «золотым дном», Салтыков вспоминает о старинном центре родовой вотчины своих отцов и дедов, селе Спас-Угол Калязинского уезда, где он родился и где прошли его детские годы. Но несколько дальше в том же рассказе, а также в рассказе «Кандидат в столпы», там, где возникает и получает разработку *тема «ликвидации»* Чеме-

зова, под этим же названием обобщаются воспоминания и впечатления Салтыкова, связанные с другим имением и его судьбой, весьма характерной для общего процесса распада дворянско-помещичьего хозяйства. «Строительный материал» рассказа в этой его части, так же как и в рассказе «Кандидат в столпы», во многом заимствован из истории того имения обширной салтыковской вотчины, которое принадлежало в былые годы Анне Васильевне и Марье Васильевне Салтыковым — теткам писателя. В это небольшое имение того же Калязинского уезда Тверской губернии, что и Спас-Угол (в 35 верстах от него), входили деревня Новинки, где был обветшалый «господский дом», сельцо Мышкино и лесная дача Филипцево. Под названием «Уголок» это имение «тетенек-сестриц» описано в гл. VII «Пошехонской старины».

С личными воспоминаниями Салтыкова связана также фигура старика Лукьяныча в комментируемом рассказе. Имя старосты Новинок Прохора Лукьянова упоминается в хозяйственных бумагах отца Салтыкова, Евграфа Васильевича[1] В первоначальном слое рукописи рассказа «Столп» к характеристике Лукьяныча относились следующие открыто автобиографические строки, потом зачеркнутые и не попавшие в печать, но впоследствии развернутые в упомянутой гл VII «Пошехонской старины»:

«Я еще ребенком помню, как Прохор Лукьяныч у покойниц-тетенек старостой служил. Тетеньки у меня были две барышни-сестрицы, которые не слишком налегали на крестьян, но зато донимали их богомольями. Бывало, каждый поминальный день наварят кутьи и рассылают ее по монастырям да по родным. Рабочая ли пора, гулящее ли время — бежит мужик верст за сорок, держа на весу тарелку с кутьей, обернутую в салфетку. Обычай этот всегда возбуждал негодование Лукьяныча, который каждый день бранился за это с тетеньками» (Место это следовало в рукописи за абзацем на стр. 114 «Какая красота...».)

В 1859 году имение Новинки перешло в общее владение Михаила Евграфовича и Сергея Евграфовича Салтыковых. В 1861 году крестьяне деревни Новинки были переведены на выкуп. Оставшаяся же после выкупа в распоряжении владельцев земля, кроме лесной дачи, пустоши Филипцево (100 десятин), была «продана крестьянину той же деревни Софрону Осипову с товарищами...». Впоследствии и Филипцево было описано и продано с аукционного торга за неуплату Михаилом Евграфовичем долга матери Чтобы «дача» не пошла за бесценок на торгах, ее купил за 2800 рублей и затем продал за 5000 рублей брат, Сергей Евграфович. Этими двумя продажами земельные владения Салтыкова и его брата, находившиеся в Тверской губернии и принадлежавшие к родовой вотчине, были полностью ликвидированы. Они перешли в руки местной сельской буржуазии, состоявшей из бывших крепостных крестьян помещиков Салтыковых

Приведенная справка, сведения для которой заимствованы из собст-

[1] Хранятся в Институте русской литературы (Пушкинский дом) в Ленинграде.

веннoручной записки Салтыкова о своих имениях [1], показывает, как близко следует местами Салтыков в своем рассказе за фактами имущественной биографии своей семьи и собственной. Даже цифра, которую Дерунов называет за предлагаемую ему помещиком землю — «п я т ь т ы с я ч»,— в точности соответствует той, за которую была продана пустошь Филипцево, упоминаемая под этим своим названием в рассказе «Кандидат в столпы».

Имя «героя» рассказа — О с и п — явно взято от отчества упомянутого выше Софрона Осипова, покупщика земель Салтыкова. Фамилия же Д е р у н о в, столь соответствующая хищнической природе этого персонажа, заимствована, по-видимому, со страниц «Отеч. записок». Она принадлежала некоему провинциальному публицисту и не раз упоминалась Михайловским в его «Литературных и журнальных заметках» как раз в то время, когда Салтыков работал над «Благонамеренными речами» [2].

Свободно соединяет в своем рассказе Салтыков и другие «материалы», восходящие как к воспоминаниям его детства и юности, так и к недавним поездкам в родные места [3]. Так, топонимическое сокращение Т***, обозначающее место, где у Дерунова был постоялый двор, на котором останавливался в годы своего учения в столицах, при поездке на каникулы, автор повествования, раскрывается реально-биографическим комментарием на основе анализа салтыковских описаний и характеристик одновременно как богатое торговое село Т а л д о м и уездный город К а л я з и н. Оба эти пункта находились поблизости от Спас-Угла Через Талдом Салтыков ездил на каникулы домой из Москвы, в годы ученья в тамошнем Дворянском институте. В годы же пребывания в Царскосельском лицее путь Салтыкова из Петербурга в Спас-Угол — «несколько дней тряской и бессонной дороги» — проходил через Тверь и Калязин.

Приведенные и другие возможные здесь справки биографического комментария устанавливают реальные источники начатой Салтыковым работы по созданию галереи образов новых «столпов» русской жизни и вместе с тем показывают широту и глубину художественно-публицистического о б о б щ е н и я этих источников.

Современники сразу же оценили типичность и социальную содержательность образа Дерунова. Известный криминалист профессор А П. Чебышев-Дмитриев отмечал, что в рассказе «Столп» Салтыков «мастерской кистью» вывел «кулака-мещанина» в ранге «охранителя и столпа» [4]. А несколько позднее К. Арсеньев писал: «Чтобы понять вполне значение Дерунова, необходимо припомнить, что этот образ создан в 1873 году, когда «столпы» только что нарождались в действительности, когда свежеиспеченное сословие «мироедов», крупных и мелких, начинало лишь расправлять свои крылья и не успело еще сделаться предметом всестороннего изучения. Г-ну Салтыкову удалось заглянуть в процесс образования типа, фиксиро-

[1] Документ сообщен С А. Макашину А. Н. Вершинским. См. выше.
[2] См., например, *ОЗ*, 1873, № 1, отд. II, стр. 145—146.
[3] См. прим. к очеркам «В дороге» и «Опять в дороге».
[4] «Бирж. ведомости», 1874, № 118, 4 мая.

вать его черты в самый момент их зарождения <...> Мы видим здесь с поразительною ясностью, каким образом сатира может прийти на помощь социологии, указать ей путь и тему для исследования» [1].

Стр. 94. *...преосвященный <...> в К — не обедню служил...* — Здесь: К — н — Калязин и его Троицкий монастырь. Колокольня монастыря была высокая, оказавшись ныне в зоне затопления, служит маяком на Угличском водохранилище.

...сигнации были, а теперьче на серебро счет пошел... — Финансовая реформа 1839 года устанавливала серебряный рубль в качестве государственной денежной единицы взамен ассигнации: 1 р. серебром приравнивался к 3 р. 50 к. ассигнациями.

Стр. 96 *Песьи мухи* — мухи, появляющиеся в самую жаркую пору лета, в так называемые «песьи дни».

Стр. 97 *...я воспитывался в одном из тех редких в то время заведений, где действительно телесное наказание допускалось лишь в самых исключительных случаях* — Салтыков имеет здесь в виду Царскосельский лицей, а не Московский дворянский институт: в последнем сечение воспитанников практиковалось довольно часто.

Одворичное сено — собранное на одворичной земле, то есть прилежащей к деревне

Стр. 98. *...перебывал во всевозможных градах и весях. и соломенных, и голодных, и холодных...* — Ср. с этим в «Истории одного города» названия глав: «Соломенный город» и «Голодный город»

Стр. 99. *...прежде был городничий <...> теперь <..> в городские головы выбран отставной корнет.* — Городская реформа 1870 года заменила прежние сословные городские думы всесословными городскими учреждениями местного самоуправления, административно назначавшегося городничего — выборным городским головою. Реформа, построенная на принципе имущественного ценза выборных городской думы, имела целью поднять хозяйство городов путем привлечения в самоуправленне преимущественно местной торговой и финансовой буржуазии — купцов и зажиточных мещан. Но вначале по традиции в городские головы нередко избирались дворяне, метонимически обозначенные в тексте Салтыкова словом отставной корнет.

...судит <...> отставной поручик... — Речь идет о мировом суде, учрежденном в 1864 году. Мировой судья избирался уездным земским собранием из числа лиц, обладавших имущественным и образовательным цензом — практически, в то время, из дворян-помещиков.

Красненькая — десятирублевая ассигнация, розового цвета.

[1] К. К. Арсеньев. Русская общественная жизнь в сатире Салтыкова.— «Вестник Европы», 1883, № 3, стр. 315.

Стр. 100 *Сибирка.*— См. прим к стр. 33.

Стр. 101. *Дельцы* — здесь: приказчики.

Стр. 103. *Вино вам предоставлено было одним курить <...> Теперь все заводы в округе у меня в аренде состоят.*— С 1791 года винокурение составляло монополию дворянства. После 1861 года, когда производство зерна в помещичьих хозяйствах резко сократилось, а для найма рабочих потребовался капитал, винокурение стало убыточным для помещиков. Его прибрала к рукам местная буржуазия, как один из выгоднейших способов приложения капитала. Мещане и купцы по закону не имели права владеть винокуренными заводами и арендовали их.

Белоус — полевой сорняк.

Стр. 104. *...земля — обрезки кое-какие <...> А у тебя разве дача?* — В ходе проведения крестьянской реформы, при составлении уставных грамот, определявших размежевание помещичьих и крестьянских земель, помещики старались взять себе лучшие земли в разных местах имения. В результате многие помещичьи имения потеряли свою цельность и состояли из отдельных участков, перемежавшихся с крестьянской землей. Дача — термин межевого законодательства: земельный участок самостоятельной ценности (лесная дача, земельная дача).

Стр. 105. *...пишут: сенов не родилось, скот выпал.*— Ср. письмо крестьян Заозерья от 10 сентября 1872 года к И. Е Салтыкову: «С 1864 года почти ежегодно свирепствуют скотские падежи и неурожаи <...> в 1870 году у всех крестьян выпал рогатый скот, в 1871 году неудовлетворительный урожай хлеба, с нынешнего году опять скотский падеж» (*изд. 1933—1941,* т. 18, стр. 449).

Стр 106. *Миткалевая фабрика* — хлопчатобумажная фабрика.

Стр. 107. *Снял, вишь, железную дорогу < .> Сибирь, думаю.*— Конец 60-х — начало 70-х годов был в России периодом громадного подъема железнодорожного строительства, сопровождавшегося громадным же размахом акционерного ажиотажа вокруг этого строительства и преступными махинациями многих акционеров (ср стр 146, 166 и прим. к ним).

Леса извели — уголь явился.— Отклик на историю с каменноугольными копями, открытыми в 1873 году в с. Чулкове, близ Скопина: помещик, владевший землей, где был обнаружен уголь, сдал ее в аренду каменноугольной компании за большие проценты с прибылей (*МВ,* 1873, № 60, 11 марта, и стр. 265 и 716 в т. 10 наст. изд.). В том же году страну охватила каменноугольная лихорадка: вздорожание английского угля побудило русскую буржуазию начать широкую разработку отечественных запасов (там же, № 55, 6 марта и № 163, 1 июля).

Стр. 109. *...не воспитывался в коммерческом...*— то есть в Коммерческом училище.

...не чикуновские ли приказчики наехали? — Чикуновы — заозерские крестьяне, на глазах у Салтыкова ставшие купцами (А. Прямков. Салтыков-Щедрин в Ярославском крае, Ярославль, 1954, стр. 40).

Стр. 110. *Разве не обвиняли фабриканты своих рабочих в бунте за то, что они соглашались работать <...> под условием увеличения заработной платы!* — Намек на стачку на Невской бумагопрядильной мануфактуре 22 мая 1870 года — первую массовую забастовку в России, когда забастовало 800 человек, потребовав повышения заработной платы и возвращения незаконных штрафов; 63 участника стачки были арестованы и отданы под суд по обвинению в политической агитации (см. *«СПб. вед.»*, 1870, №№ 147, 156, 161, 162, 30 мая, 9, 14 и 15 июня) Во время работы Салтыкова над рассказом забастовали рабочие серпуховской фабрики Третьяковых (см. т а м ж е, 1873, № 353, 22 декабря).

Стр. 111. *...на цугундер...*— на расправу (от *нем.* zu Hundert — к сотне <палочных ударов>).

Стр. 112. *Зачадельная земля* — оставшаяся у помещика после выделения крестьянских наделов (см. выше прим. к стр. 104).

Стр. 114. *И вот я ехал «кончать».*— См. очерк «Кандидат в столпы».

Стр. 115. *«Собрание иностранных романов»* — «самый дешевый журнал для легкого чтения в России», по определению «Моск. ведомостей» (1873, № 6, 10 января). Печатал переводы главным образом с французского и английского.

Стр. 116. *...Поль де Кока читаю <..> Даже Баркова наизусть знает.* .— Увлечение романами П о л ь д е К о к а и стихами Б а р к о в а, а также кафешантанными театрами Берга и Егарева, увеселительным заведением Излера «Минеральные воды» («Минерашки»), опереттами Оффенбаха и Лекока, цирком, танцклассами и шансонетками является в салтыковской сатире одною из примет для обозначения безыдейности и благонамеренности.

Стр. 117. *Навозный* — Ср о нем в «Помпадуре борьбы.. » из «Помпадуров и помпадурш» в т. 8 наст. изд

КАНДИДАТ В СТОЛПЫ

(Стр. 122)

Впервые — *ОЗ*, 1874, № 2 (вып. в свет 18 февр.), стр. 485—507, под заглавием «Благонамеренные речи. VII. (Продолжение той же материи)».

Заглавие «Кандидат в столпы» было дано рассказу в *изд. 1876*

Рукописи и корректуры не сохранились.

Разночтения во всех трех отдельных прижизненных изданиях незначительны и относятся только к мелкой стилистической правке

Рассказ «Кандидат в столпы» по своему сюжету непосредственно продолжает рассказ «Столп». Связь обоих рассказов Салтыков подчеркнул в журнальной публикации, где второй из них имеет подзаголовок: «Продолжение той же материи» и ссылку: «См. предыдущий № «Отеч. зап.». Еще более выявляет эту связь названия, данные обоим рассказам в отдельном издании.

Сюжет рассказа в основе своей автобиографичен: Чемезово во многом напоминает доставшееся Салтыкову по разделу 1859 года имение Новинки — и историю «ликвидации» этого имения (см комментарий к рассказу «Столп»). Но Чемезово вместе с тем, и это главное,— типичный образ заброшенного после реформы помещичьего имения, ставшего объектом борьбы новоявленных хищников. Подобно городу Т*** в рассказе «Столп», Чемезово представляет собой ту почву, на которой закладывали основу своего процветания будущие деруновы, где выкристаллизовывались многочисленные «оттенки любостяжания» Один из этих оттенков демонстрирует «кандидат в столпы» — «Заяц из Долгихи», посредник-маклер по устройству сделок между помещиками и покупщиками их земель — фигура новая в русской деревне. Здесь это эпизодическая фигура, в рассказе «Отец и сын» она будет показана в полный рост в образе другого «кандидата в столпы» — Стрелова. Центральная *трагическая* тема рассказа «Кандидат в столпы» — повседневное, ставшее «простым обрядом», потрясание общественных основ, прикрываемое «благонамеренными речами» «столповой морали».

Стр 122. *Горе «дуракам»!* — Салтыков напомиинает читателю лейтмотив «благонамеренных речей», с которых начал цикл (см. «В дороге»).

Горе «карасям», дремлющим в неведении, что <...> их назначение <...> служить кормом для щук...— На тему этой «благонамеренной» сентенции Салтыков в 1884 году напишет сказку «Карась-идеалист» (т. 15 наст. изд).

...нужно принадлежать к числу семи мудрецов...— Полулегендарные мудрецы Древней Греции, жившие в VII—VI веках до н. э. и излагавшие свои мысли в кратких образных изречениях (гномах).

Стр. 123. *...я нахожу своего противника вооруженным прекраснейшим шасспо, а сам нападаю на него с кремневым ружьем, у которого <...> вместо кремня <...> чурочка.*— Шасспо — нарезное ружье, изобретенное в 1866 году французским рабочим и названное так по его имени. Чурочка вместо кремня — отзвук событий периода Крымской войны, когда подрядчики и интенданты-хищники поставляли и такие ружья.

Стр. 124. *«Куплю я себе подмосковную!» <...> На проданный мне лес любуюсь, но войти в него не могу: чужой!* — Автобиографический факт, связанный с покупкой Салтыковым в конце 1861 года подмосковного имения Витенево. Подробнее см.: *«Салтыков в воспоминаниях»,* стр. 651 и 835

Памятны мне «крепостные дела» в Московской гражданской палате.— «Крепостные дела».— До введения нотариального положения 1866 года так назывались юридические акты о переходе вещных прав на недвижимость (купчие, закладные и др). Акты эти совершались «у крепостных дел», которые находились при палатах гражданского суда (до судебной реформы 1864 года — высшее губернское учреждение по имущественным делам). В автобиографическом плане Салтыков вспоминает здесь о покупке имения Витенево. Покупка оформлялась в Москов-

ской гражданской палате. Описание этого учреждения — один из множества примеров уловления Салтыковым «политики в быте», о чем писал Горький.

Здесь стригут и бреют и кровь отворяют! — Обычная надпись у входа в цирюльню.

Стр. 125. *Жемчуг бурмицкий* — отборный крупный жемчуг правильной формы и чистой воды.

Стр. 126. *Это косвенный налог на ваше невежество!* — Цитируются рассуждения адвоката — персонажа очерка «Опять в дороге», в журнальной публикации предшествовавшего «Кандидату...» (см. стр. 238 и след.).

Стр. 128. *...в Филипцево съездим, лес посмотрим...* — О Филипцеве см. во вводной части примечаний к рассказу «Столп».

Стр. 128—129. *Зрелище этих богатств поколебало и меня <...> Но ведь <...> надобно беспокоиться...* — Аналогичную картину рисовал Энгельгардт в очерках «Из деревни»: «Владельцы лесов, помещики, поправили свои дела. Дрова дадут возможность продержаться еще десяток лет <...> те же, которые поблагоразумнее, продав леса, купят билетики и будут жить процентами, убедившись, что не господское совсем дело заниматься хозяйством» (*ОЗ*, 1872, № 6, отд. II, стр. 180).

Стр. 129. *Смотрят, уставив брады, да умозаключают каждый сообразно со степенью собственной невежественности!* — «Сердцеведцев», то есть штатных и добровольных осведомителей политической полиции в пореформенной деревне, Салтыков сравнивает с боярами допетровской Руси, которые заботились только о своих привилегиях и попусту сидели в Думе, «брады своя уставя», потому что «многие из них грамоте не ученые и не студерованные» (Г. Котошихин. О России в царствование Алексия Михайловича..., СПб. 1840, стр. 19).

Моветон — дурной тон (*франц.* mauvais ton).

..пошла писать губерния. — Так сказано в гоголевских «Мертвых душах» (т. I, гл. VIII) о провинциальном бале у губернатора. Салтыков употребляет это ставшее крылатым выражение в эзоповском смысле: посыпались доносы местных «сердцеведцев».

Стр. 136. *...и в Р, и в К., и в Т.* — Биографический комментарий раскрывает эти инициалы как относящиеся к Ростову, Калязину и Талдому.

Стр. 140. *...невинно падшим объявлялся!* — См. прим. к стр. 38.

ПРЕВРАЩЕНИЕ

(Стр. 143)

Впервые — *ОЗ*, 1875, № 4 (вып. в свет 25 апр.), стр. 337—364, под заглавием «Благонамеренные речи. XV».

Рукописи и корректуры не сохранились.

В *изд. 1876* рассказу было дано заглавие «Превращение», к фамилии адвоката Легкомысленного добавлено имя Евгений.

Разночтения в текстах всех трех отдельных прижизненных изданий незначительны.

«Превращение» в порядке написания и первопечатной публикации «Благонамеренных речей» заключало серию очерков и рассказов, посвященных исследованию «собственнического союза»: «В дороге», «Опять в дороге», «Столп», «Кандидат в столпы», «Кузина Машенька», «Отец и сын». Среда пореформенных сельских и провинциальных толстосумов служила одним из источников формирования крупных дельцов начала 70-х годов. О типичности «превращения» Дерунова свидетельствует судьба Губонина, выкупившегося в 1860 году из крепостных и вышедшего «чуть ли не из-за стойки питейного заведения» в «богатыри железнодорожного эпоса»[1]. «Отеч. записки» приводили губонинское «превращение» как пример того, что, «высасывая понемножку, кулак из крестьян может наконец развернуться, повести дело на широкую ногу», а «при ведении дела на широкую ногу грязная, грубая сторона операции высасывания не бросается так в глаза»[2]. Вместе с тем «отвлеченный грабеж» «превратившихся» деруновых все больше приобретал характер тунеядства, хищничества, лишался всяких признаков «труда», «дела». Откровенный рассказ Зачатиевского в конце «Превращения» об уголовных деяниях Дерунова возвращает нас к финалу рассказа «Столп» с его выводом: «Дерунов не столп».

Стр. 146. *К.*— Биографический комментарий устанавливает в данном случае связь этого сокращения с Калязином, уездным городом Тверской губернии (см. также «к—ский помещик» и др.). В очерке «Отец и сын» Калязин и Углич — уездные города, связанные с биографией Салтыкова — упомянуты под своими полными названиями (см. стр 213).

...об концессии хлопотать...— о концессии на строительство железной дороги. «Концессионному» ажиотажу в этой области посвящены многие страницы в «Дневнике провинциала в Петербурге» (т. 10 наст. изд).

Стр. 147. *...сама с «калегвардами» разговаривать осталась.*— Кавалергарды («калегварды») — офицеры кавалерийского гвардейского полка, принадлежали к самым знатным фамилиям, несли службу в царском дворце. Но в салтыковской сатире слово «кавалергарды» используется часто, как и в данном случае, для общего обозначения петербургской «золотой молодежи», преимущественно военной,— полностью безыдейной, пошлой, интересующейся только женщинами и вином.

Стр. 148. *...ведь вы по смешной части!* — «Писателем по смешной части» представляло себе Салтыкова обывательское общественное

[1] Вл. Михневич. Наши знакомые, СПб. 1884, стр. 70.
[2] *ОЗ*, 1872, № 7, отд. II, стр. 161.

мнение. При всей своей нелюбви к публичным выступлениям по личному поводу Салтыков не раз протестовал в своих сочинениях против столь глубокого непонимания его творчества.

Как по морю по Хвалынскому...— одна из самых распространенных хороводных песен.

Стр. 149. *...а еще под хивинца хотите идти!* — то есть участвовать в военных операциях в Средней Азии. Подробнее см. в «Господах ташкентцах» и в комментариях к ним в т. 10 наст. изд.

Стр. 150 *...позаимствоваться некоторыми подробностями из оперы «Фра-Диаволо»...*— Либретто этой оперы Ф. Обера написано на основе легенд о калабрийском разбойнике Фра-Дьяволо В 1873 году отрывки из нее ставились в Петербурге немецкой труппой (*«СПб. вед.»*, 1873, № 99, 12 апреля).

Стр. 151. *Происшествие в Абруццких горах. (Посвящается русским бел.летристам...)* — Пародия на модные очерки путешествий в страны, считавшиеся романтическими,— в Испанию, Италию, Грецию, а в России — на Кавказ или в Крым. Описания не тронутых цивилизацией уголков, необычайные приключения и страшные рассказы о разбойниках составляли обязательные атрибуты этих очерков *Сюжет* Салтыков заимствовал из «Приключения в Калабрии» («Une aventure de Calabre») французского писателя-памфлетиста П.-Л. Курье, где путешествующий по Калабрии автор ночует в крестьянской хижине и принимает ничего не подозревающих хозяев за разбойников. Рассказ включался во все французские хрестоматии, и читатели Салтыкова знали его со школьной скамьи. Однако *главный объект пародии* — не сочинение Курье, а путевые очерки Евгения Салиаса «Испания» («Русск. вестник», 1874, №№ 4, 6, 9) и «Очерки Крыма» Евгения Маркова (СПб. 1872). Как и обоих этих литераторов, одного из персонажей салтыковской пародии также зовут Евгением; его фамилия — Легкомысленный — и профессия — адвокат — намекают на статью Маркова «Софисты XIX века» о «нравственном достоинстве адвокатуры» («Голос», 1875, №№ 36 и 37, 5 и 6 февраля): она отличалась развязностью тона и неосведомленностью автора. *Начало* салтыковского «Происшествия...» пародирует окончание «Испании» Евгения Салиаса, где он рассказывает, как в поисках «чего-нибудь интересного» «предпринял опять путешествие по *диким* местам» Испании, откуда вынес романтическую историю о бандите Хаиме («Русск. вестник», 1874, № 9, стр. 48—49, 60—65). *Последующая часть* — пародия на XIII главу («Ночь в облаках») очерков Маркова с ее грозой в горах, «ночным нападением» и рассказами об Алиме-разбойнике. Называя подобных литераторов «русскими Дюма-фисами» (Дюма-сыновьями), Салтыков намекает на сходство их творений с описанием путешествий по России и Кавказу Александра Дюма-отца («De Paris à Astracan»), полным нелепостей и курьезов.

...поступок гимназиста Полозова! — В 1872 году в Харькове проходил судебный процесс над юношами из состоятельных семейств — Полозовым и Эдельбергом, которые, начитавшись романов о разбойниках, ре-

шили сами стать разбойниками и убили извозчика, чтобы испытать себя». Подробнее см. на стр. 769 в т. 10 наст. изд.

Стр. 154—155. *...один <...> спел «La chatouilleuse». Другие <...> поморщились, находя <...> что, например, Шнайдерша <...> в «Dites-lui»...* — «La chatouilleuse» — фривольная песенка из репертуара гастролировавшей в Петербурге французской шансонетки Жюдик. «Dites-lui» — ария героини из оперетты Оффенбаха «Герцогиня Герольштейнская». Исполнение этой арии французской актрисой Шнейдер, гастролировавшей с 1871 года в петербургском театре Буфф, сопровождалось, по отзывам печати, «вакхическими движениями совершенно разнузданной женской природы» (*«СПб. вед.»*, 1872, № 23, 23 января).

Стр. 159—160 *...«генерал» <...> нашедший приют около концессионеров.* — Фигура генерала-концессионера была в высшей степени типична для описываемого времени: «разные грандиозные предприятия в форме акционерных «обществ» влекли разоренных реформой дворян как средство, которое «наполнит их <...> опустевшие после уничтожения крепостного права карманы...» (*ОЗ*, 1872, № 4, отд. II, стр. 281). Ср. в рассказе «Столп» стр. 107.

Стр. 160. *...цель брюссельских конференций.— Представьте <...> население старается всячески повредить победоносному врагу...* — На брюссельской конференции европейских государств по вопросам международного военного права (созвана в 1874 году по инициативе России) была принята декларация, объявлявшая все формы народной войны против оккупантов «негуманными». Рассуждения о «цели брюссельских конференций» вслед за упоминанием об усмирении генералом «мятежных семендяевцев» приобретают тем самым особый смысл.

Стр. 163. *Никитинские болота* — одно из названий родных Салтыкову мест. Примыкали к селу Спас-Угол.

Стр. 166. *Грека-то видите <...>— воротило и есть...* — Среди петербургских финансовых тузов было немало греков, в частности — концессионеров.

ОТЕЦ И СЫН

(Стр. 170)

Впервые — *ОЗ*, 1875, № 3 (вып. в свет 21 марта), стр. 5—54, под заглавием «Благонамеренные речи. XIV».

Заглавие «Отец и сын» было дано очерку в *изд. 1876*.

Рукописи и корректуры не сохранились.

Разночтения во всех трех отдельных прижизненных изданиях незначительны.

Место действия описываемых в очерке событий открыто отнесено к родному Салтыкову Калязинскому уезду Тверской губернии. На материале личных наблюдений писатель рисует характерную для пореформенного времени картину смены на селе, в деревне «хозяев жизни». Он создает один из наиболее ярких своих образов, персонифицирующих этот исторический процесс: старого генерала — помещика Утробина и противостоящего ему нового молодого хищника — «homo novus» — Антошки Стрелова С не меньшей характерностью, хотя и более эскизно, нарисована фигура молодого генерала Петеньки Утробина — представителя высшей бюрократии из дворянства, приспособляющейся ко всем поворотам правительственной политики и входящей в «деловые» (в данном случае преступные) отношения с новой буржуазией.

Стр. 170. *На севере диком...*— Неточная цитата из стихотворения Лермонтова «Сосна»

Снятся консервативные начала...— Перечисляются характеристические элементы разных направлений в идеологии дворянства — его сны — от философии консервативного status quo, охраняемого государственно-административным стражем («Сидорова коза» и «Макар, телят не гоняющий»), до характерной для дворянской оппозиционности 50—60-х годов, в частности для Каткова, политической англомании

Стр. 171. *...член губернского земского собрания, в которых Токвиль, как известно, пользуется славой почти народного писателя...*— Французский историк А. Токвиль пользовался у русских дворянских либералов, оказывавших преобладающее влияние на деятельность земства, особенно в первое десятилетие после земской реформы 1864 года, репутацией передового теоретика (см. по указателю имен в т. 10 наст. изд.). Подлинный характер позиций Токвиля и его русских поклонников, под «либерализмом» которых «скрывается обскурантизм», выявил еще Чернышевский в статье 1859 года «Г-н Чичерин как публицист» (Полн. собр. соч., т. V, М 1950, стр 666).

Стр. 172. *...выписал <...> для губернской типографии новый шрифт.*— Автоирония: в бытность свою тверским и рязанским вице-губернатором Салтыков сделал то же самое.

Стр. 172—173. *...почтить Утробина <...> выбором в предводители <...> но генерал, еще полный воспоминаний о <...> губернаторстве <...> отклонял <...> эту честь.*— Салтыков иронизирует над традиционной «враждой» между губернаторами как блюстителями интересов центральной власти и предводителями дворянства как представителями «вольности дворянской».

Стр. 174 *...будет «только так».*— В марте 1856 года Александр II заявил московскому дворянству о необходимости отмены крепостного права (см. стр. 563 в т. 4 наст. изд.). Был образован комитет для подготовки

проекта реформы. В 1856—1857 годах деятельность его была засекречена и печать не имела права касаться крестьянского вопроса. Среди дворянства, вначале взволнованного разноречивыми слухами, постепенно росло убеждение, что реформа не будет осуществлена. Ср. стр. 576 в т. 3 наст. изд.

...как в древности были господа и рабы, так и <...> имеют остаться... — Ссылка на библейскую притчу о Симе, Хаме и Яфете (Бытие, IX, 18—29).

Стр. 175. *...в конце 1857 года уже сделан был первый шаг к разрешению крестьянского вопроса.* — Имеются в виду рескрипты Александра II генерал-губернатору Западного края В. Назимову и санкт-петербургскому генерал-губернатору П. Игнатьеву, в которых впервые было публично заявлено о начавшейся подготовке крестьянской реформы. Подробнее см. на стр. 543 в т. 5 наст. изд.

Стр. 176. *...лучшее теперь <...> — переселить крестьян на неудобную землю...* — Царские рескрипты предусматривали освобождение крестьян с выкупом земли, и помещики стремились оставить за собой лучшие и ближние земли.

Но в январе 1858 года отовсюду посыпались адресы, а следующим летом уже было приступлено к выборам членов комитета... — В конце 1857 года Нижегородское дворянское собрание обратилось к Александру II с просьбой — адресом — о разрешении начать подготовку реформы в своей губернии. В январе 1858 года под давлением правительства аналогичный адрес подало московское дворянство, затем дворяне остальных губерний, и для подготовки реформы были образованы выборные губернские дворянские комитеты «по улучшению быта» помещичьих крестьян.

Стр. 176—177. *...Утробин <...> предостерегал от излишеств и от имени большинства представил проект, который начинался словами «но ежели» и кончался словом «однако».* — Намеки (здесь и далее) на содержание генерального проекта достаточно определенно указывают, что он был одним из сугубо крепостнических, отвергнутых правительством «не выгоревших» «контрпрожектов».

Стр. 177. *Как прожектер, он был послан от большинства в комиссии в качестве эксперта.* — В 1859 году при Главном комитете по крестьянскому делу были образованы две Редакционные комиссии для рассмотрения проектов реформы, выработанные на местах. К их работе привлекались на правах экспертов «опытные помещики», зарекомендовавшие себя составлением проектов, предложений и т. п.

Минерашки. — См. прим. к стр. 116.

Стр. 178. *...вел ожесточенную полемику с мировым посредником <...> подвергал себя <...> «совместному сидению» с <...> Гришкой <...> который никак не хотел отслужить заповедные два года.* — С отменой личной зависимости крестьяне были уравнены с помещиками в юридических правах и конфликты между ними, при переходе на выкуп, разбирались у

мировых посредников при участии обеих сторон (см. стр. 608 и 599 в т. 7 наст. изд.). Заповедные два года.— Для введения в действие Положения о крестьянской реформе был установлен двухгодичный срок. Подробнее см. на стр 578 в т. 3 и 558 в т. 5.

Стр. 179. *...понадобились подручные <..> всякого звания шлющимся людям, вдруг вспомнившим изречение...*— Здесь и далее (стр. 187) под шлющимися людьми (Салтыков использует термин петровского законодательства) подразумеваются как разорившиеся дворяне-помещики, так и целая армия разночинцев деловой складки. Все они ринулись на широко открывшуюся в 60-е — 70-е годы «арену промышленной деятельности». Приводимое ниже выражение «земля наша велика и обильна» (из летописной легенды о призвании варягов на Русь) — по-видимому, намек на ту роль «новых варягов», которую собираются играть шлющиеся люди (ср. рассказ «Гегемониев» из «Невинных рассказов», т. 3 наст. изд.).

Стр. 180. *Улисс* (Одиссей) — герой «Одиссеи» Гомера.

Стр. 183 *Обрезки, уставная грамота.*— См. прим. к стр. 104.

Оброки шли туго; земля <...> требовала затрат.— Поступление оброков от временнообязанных крестьян помещику в ряде мест фактически прекратилось: «..Извольте получить оброк с человека, который ест пушной хлеб, который кусок чистого ржаного хлеба несет в гостинец детям...» (А Н. Энгельгардт. Из деревни.— *ОЗ*, 1872, № 5, отд. II, стр. 35—36). Обработка земли барщинным трудом при отсутствии средств внеэкономического принуждения стала невыгодной, а вольнонаемный труд требовал затраты капиталов (см. прим. к стр 28).

Стр. 186. *Земельная дача.*— См. прим. к стр. 104.

Стр. 187. *...явились пресловутые беспорядки 1862 года.*— Речь идет о петербургских майских пожарах 1862 года. Обывательские слухи и выступления в печати, инспирированные правительством, обвиняли в поджогах студентов-«нигилистов» и революционеров (см. стр. 603 в т. 5, стр. 576 в т. 6, стр. 562 в т. 7 наст. изд.).

...в Москве вырабатывается проект исследования корней и нитей.— Имеются в виду выступления «Русск. вестника» и особенно «Моск. ведомостей»: их передовые постоянно твердили об «измене», о ее «корнях и нитях» по всей стране; это подстегивало правительственную реакцию и развязывало «террор оторопелой трусости» (А. И Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. XVI, изд-во АН СССР, М. 1959, стр. 199). Намерение отставного генерала «дерзать», подготовка «к какой-то важной миссии» — намек на надежды крепостников получить высокие государственные посты в связи с изменением курса правительственной политики и отстранением от должностей многих крупных чиновников, пользовавшихся репутацией либералов. Название сочинения генерала Утробина — «О повреждении нравов» — рассчитано на ассоциацию с известной сатирой кн. М. М Щербатова «О повреждении нравов в России» (1786—1789), разоблачавшей нравы двора Екатерины II. Запрещенная в России, эта

сатира ходила в списках и позднее была издана за границей Герценом («Князь Щербатов и А. Радищев», Лондон, 1858).

Стр 188. .. *месторождение нигилизма <. > в Москве, на Цветном бульваре <...> в гостинице «Крым», в <...> отделении <...> «Ад»...*— Намек на революционно-народнический кружок Ишутина 1863—1866 годов: кружок собирался в гостинице «К р ы м» на Цветном бульваре «А д о м» назывались одно из отделений этой гостиницы и оперативно-террористическая группа ишутинцев, в которую входил Д. В. Каракозов.

...предтечи <нигилизма> <.. > в редакции некоторого повременного издания, впоследствии принесшего в том раскаяние.— Насмешка над «Русским вестником» и его издателем Катковым, который начал свой путь в лагере либерализма, но вскоре стал вдохновителем реакции.

Стр. 190. *...подобно древнему козлу очищения...*— Речь идет о библейском к о з л е о т п у щ е н и я, на которого по древнееврейскому обряду первосвященник возлагал грехи народа и изгонял его в пустыню (Л е в и т, XVI, 21—22).

Стр 191. *Не Аннетов важен, а тот яд, который он разливает!* — См прим. к стр. 50—51.

«Пасите овцы ваша» — выражение, восходящее к Евангелию (И о а н н. XXI, 16).

Стр. 193 *Некако* — как-то, как будто *(церковнослав.)*.

Стр. 194. *...об отце лжи <...> один из ревностнейших аггелов его.*— О т е ц л ж и — сатана (И о а н н, VIII, 44), а г г е л — злой дух, приспешник сатаны.

Стр. 196. *Кортомить* — арендовать

Стр. 197. *..ни обола. .*—ни копейки (о б о л — древнегреческая мелкая монета).

Стр. 198. *...объявили в ближайшем будущем свободную продажу вина.*— Положением от 4 июля 1861 года откупная система заменялась акцизной, разрешавшей частное производство и продажу вина. См. также стр. 571—572 в т. 3 и стр. 598 в т. 7 наст. изд

Стр. 199. *Петров день.*— В этот день — 29 июня ст. ст — в Средней России начинался сенокос.

Стр. 201 *«Сеною подлецов во временнообязанных <...> выкуп <...> «по требованию одного владельца»..* — См. прим. к стр 22.

Стр. 202. *Бель-ом* — красавец-мужчина (*франц.* bel homme).

Стр. 203. *...с оника.*— Сразу же (карточный термин).

...в театре Берга <...> в танцклассе Кессених...— См. прим к стр. 116.

Стр. 204. *«У'ж сколько раз твердили миру»* — из басни Крылова «Ворона и лисица»

Savoir vivre.— См очерк «Наш savoir vivre» из «Признаков времени» (т 7 наст изд.).

В 1860—1861 <...> прогрессист <. > В 186 году — прямо объявил себя консерватором* — Под 186* подразумевается 1866 год и разгул

реакции после покушения Каракозова на Александра II (см. очерк «Они же» из «Господ ташкентцев» в т 10 наст. изд.).

Какое необходимо образование... — Этот и следующие два «государственных вопроса» — сатирические отклики на подготовку и проведение реформы среднего образования в 1871 году (см. стр. 573 и 667 в т. 7, стр. 518 в т. 8 и стр. 702 в т. 10 наст. изд).

Дар сердцеведения — то есть полицейское чутье на политическую «неблагонадежность» (см. очерк «Охранители»).

Стр. 206. *Кокодессы* — прожигатели жизни (от *франц.* cocodès).

Выкупные свидетельства сбывались... — См. прим. к стр. 22.

«Раб лукавый! <...> куда ты зарыл <. .> талант?» — Ссылка на евангельскую притчу о рабе, зарывшем в землю «талант» (монету, данную господином) вместо того, чтобы приумножить ее своими стараниями (Матфей, XXV, 23—26).

ОПЯТЬ В ДОРОГЕ

(Стр. 217)

Впервые — *ОЗ,* 1873, № 10 (вып. в свет 17 окт.), стр. 583—620, под заглавием «Благонамеренные речи. IV. (Опять в дороге)».

Рукописи и корректуры не сохранились.

Очерк имел в журнальной публикации следующее примечание: «См. «Отеч. зап.» № 10, 1872 г., №№ 1 и 4 1873 г. В первой из этих статей описываются путевые впечатления; настоящая статья посвящается тому же предмету» (Салтыков ссылается на очерки «В дороге», «По части женского вопроса» и «К читателю»).

При подготовке очерка к *изд. 1876* Салтыков внес в текст ряд небольших изменений и дополнений. В частности, на стр. 235 и 238, в начале абзацев «В воздухе чуется...» и «Публика в каюте...», Село «Р.» было заменено им на село «К.» (возможно, исправление опечатки).

Во всех трех отдельных изданиях в изобилии проводилась мелкая стилистическая правка.

В очерке «Опять в дороге» отразились впечатления Салтыкова от новой поездки в места, которые были «свидетелями» его детства. По делу о наследстве, оставшемся после смерти брата Сергея Евграфовича (см. прим. к очерку «В дороге»), Салтыков побывал в мае 1873 года у матери в Ермолино Тверской губернии и в своем Заозерье, а также в Угличе Ярославской губернии. Вернулся он в Петербург через Кимры и Тверь, совершив, таким образом, часть пути по Волге.

Как указал сам Салтыков в примечании к журнальной публикации очерка, он посвящен тому же «предмету», как и очерк 1872 года «В дороге». «Предмет» этот — характеристика главнейших процессов, про-

исходивших в пореформенной деревне. Тема упадка помещичьего землевладения развертывается в картину «ликвидации» «дворянских гнезд» и бегства их владельцев. Тема появления в деревне «homo novus» — «нового человека» рождает образ деревенского хищника-кулака Хрисашки Полушкина. Этот образ еще эскизен, но им открывается (если рассматривать очерки «Благонамеренных речей» в хронологической последовательности) знаменитая салтыковская галерея портретов деревенской буржуазии, новоявленных «столпов общества».

Обе темы «проходят» на фоне сурово-реалистических зарисовок тяжелых и темных сторон народно-крестьянского быта, утратившего с отменой крепостного права старые формы и не выработавшего еще новых. В заключительной части очерка в тематику «благонамеренных» речей и начинаний вводится еще один «институт» складывающейся буржуазной России — гласное судопроизводство и адвокатура (см. очерк «Переписка» в основном разделе наст. тома и в разделе Неоконченное).

Из отзывов критики известный интерес представляет оценка очерка, данная Бурениным. По его мнению, сцена у перевоза «отзывается скандалом», а очерк в целом — всего лишь «бойкая юмористическая картинка». Однако эта «картинка» «производит <...> очень тяжелое впечатление <...> Кулачество и маклачество внезапно <...> народились во всеоружии из недр крепостного права и смело выступили на поприще «возрождающейся» жизни. .» [1]

Стр. 219. *...в семицкий четверг девки венки завивали...* — Семик — народный праздник, связанный с поминовением умерших; отмечался на седьмой неделе после Пасхи. Один из его обрядов — завивание венков.

Троицын день — церковный праздник на пятидесятый день после Пасхи.

...кипела млеком и медом. — Выражение из Библии (Исход, III, 8).

Стр. 220. *...как уставную-то грамоту писал <...> дача-то и вышла у него клочьями...* — См. прим. к стр. 104.

Стр. 220—222. *Коли я около самой ихней околицы землю отрежу, так им и курицы некуда будет выпустить! <...> Я штрафов с мужиков наберу!* — О результатах размежевания помещичьих и крестьянских земель в родном Салтыкову Калязинском уезде «Вестник Европы» писал: «Крестьянин со всех сторон, как тисками, был сжат помещичьей землей и за каждый лишний шаг скотины и даже курицы платил штраф...» (1869, № 5, стр. 356). Сам Салтыков наблюдал эту картину там же в имениях братьев: крестьяне Ильи Салтыкова отказывались подписать уставную грамоту, а крестьяне Дмитрия Салтыкова жаловались: «Помещик до того обрезал землю вокруг нашего селения, что невозможно выпустить ни лошади,

[1] *«СПб. вед.»*, 1873, № 303, 3 ноября; см. также стр. 521 вводной статьи в наст. томе.

ни коровы, ни прочего домашнего скота, даже птиц...» (Н. Журавлев. М. Е. Салтыков (Щедрин) в Тверской губернии, Калинин, 1939, стр. 104). Выражение «Курицы будет некуда выпустить» встречается в «Плодах просвещения» Толстого (д. I, я. 26 и далее).

Стр. 220. ...*«какие, говорит, это праведные суды, это притоны разбойничьи!»*...— О «неслыханно демократических приемах» разбирательства тяжб между помещиками и крестьянами в мировых судах см. на стр. 599 в т. 7 наст. изд. Суды праведные — намек на формулу царского манифеста 19 марта 1856 года: «правда и милость да царствуют в судах» (*«СПб. вед.»*, 1856, № 65, 21 марта), повторенную в высочайшем указе, утверждавшем судебную реформу 1864 года (там же, 1864, № 271, 23 ноября).

...*литки с ними пьет.*— Литки — спрыски, магарычи, запивки, попойки при купле и продаже (В. Даль Толковый словарь...).

Стр. 225. *Французская болезнь* — сифилис. О распространении его в деревнях и бессилии земского здравоохранения неоднократно писали «Отеч. записки» (см., например, *ОЗ*, 1872, № 4, отд II, стр 257—258; см. также «Вестник Европы», 1869, № 5, стр. 360; *«СПб. вед.»*, 1873, № 278, 9 октября).

Стр. 226 ...*таинственная подоплека, то искомое «новое слово»* <...> *писано и читано столько умильных речей?* — Полемический выпад против «почвенничества», славянофильства и других идеологических течений, выдвигавших тезис о том, что России предназначено сказать в истории новое слово (выражение Ап. Григорьева) — обновить своей патриархальной самобытностью «прогнивший западный мир». Подробнее см. на стр. 532 в т 5 и стр. 678 в т 10 наст. изд.

Стр. 228 *Аматёр* — любитель, почитатель (*франц.* amateur).

Стр. 230. ...*бери у него все: и жену его, и вола его, и осла его*...— Перифраз десятой из Моисеевых заповедей: «Не желай жены ближнего твоего <...> ни вола его, ни осла его .» (Библия, Исход, XX, 17).

Стр. 232 *Фармазон* — вольнодумец (*искаж.* франкмасон).

«Школы, мол, устраивать надо!» — См. прим. к стр. 69.

Стр 234. *Всё одно, что в Москве на Дербеновке*...— Речь идет о Дербеновском переулке вблизи Сретенки, там находились публичные дома самого низкого пошиба.

...*фамилия* <...> *древняя* <...> *Еще дедушки его кантонистами были.*— Насмешка над дворянско-генеалогическими претензиями военной бюрократии. Иные из ее представителей по своей социальной природе были близки «столпам» деруновского типа О политическом смысле образа кантониста и кантонистском энциклопедизме см. на стр. 314—323 и 631 в т. 7 наст. изд.

Стр. 235. ...*торговое село К.*— Кимры, крупное торговое село, центр старинного сапожного производства на левом берегу Верхней Волги. Пароходное сообщение связывало Кимры с Тверью. Салтыков возвращался из Заозерья через Кимры в том случае, если заезжал в Спас-Угол или Ермолино; непосредственно из Заозерья в Тверь ездили через Калязин.

Стр. 236. *От самого Селижарова...*— то есть с самых верховий Волги.

Стр. 237. *...варшавский сапог перебил дорогу вашему...*— Один из злободневных откликов на характерный для эпохи развития капиталистического производства процесс фабричный «варшавский сапог» вытеснял традиционную продукцию кустарей-обувщиков Талдомского и Кимрского уездов Тверской губернии, имевшую выход на мировые рынки.

Стр 238. *Николин день* — праздновался 9 мая и 6 декабря ст. стиля.

Мокряги — деревня в двенадцати верстах от Спас-Угла, входила в вотчину Салтыковых.

...от адвоката так и отдавало внутренним ликованием.— Салтыковский адвокат является типом «адвоката-лихача» («Дело», 1872, № 4, отд. II, стр. 70), точнее же сказать — адвоката-хищника, определившимся в ходе громких гражданских процессов начала 70-х годов (дело Мясниковых — см. стр. 723—724, 748 и 787 в т. 10 наст изд., дело Овсянникова и процессы скопцов — см. прим. к стр. 378 и 74 в наст. томе, и др.). Рассуждение о «свободе воззрений на гражданскую истину» пародирует своекорыстное толкование гражданских и нравственных категорий в новом гласном судоговорении с участием адвокатов и присяжных заседателей. В адвокатской практике широко употреблялось, например, понятие «Общественная совесть», о котором обозреватель «Дела» писал: «...Одна общественная группа будет считать совестливым то, что другая найдет бессовестным <...> для одной совести ничего не значит сказать *да* там, где внутреннее сознание говорит *нет*» («Дело», 1872, № 3, отд. II, стр. 155). Приводимые ниже примеры «дел по завещаниям» также являются художественным обобщением реальных фактов адвокатской практики (см., например, *МВ,* 1873, № 36, 10 февраля).

Стр. 240. *Tout se lie, tout s'enchaîne dans ce monde.*— По-видимому, неточная цитата из труда швейцарского философа Ш. Бонне «La contemplation de la nature» (1764), которую, однако, Салтыков считал принадлежащей Ламартину (см. стр. 120 и 506 в т. 8, стр. 612 и 808 в т. 10 наст. изд.).

Стр. 241. *Конкубинат* — незаконное сожительство (от *лат.* concubinatus).

Стр. 243. *Перед нами два выражения: «владение» и «собственность». Чтобы определить их, нам стоит только заглянуть вот в эту книгу...*— Речь идет о десятом томе «Свода законов Росс. имп.» (СПб. 1857), а в нем о статьях 513—540 «Свода законов гражданских»: «О праве владения и пользования, отдельном от права собственности».

Стр. 250. *Аттенция* — внимание (от *франц.* attention).

Стр. 251. *В «нашей уважаемой газете» <...> говорится: «с одной стороны, должно признаться, хотя, с другой стороны, нельзя не сознаться...»* — Очередные насмешки над либеральной печатью, половинчатостью, оппортунизмом, мелкотемьем ее выступлений, в частности газеты «СПб. ведомости» (см. стр. 781 в т. 10 наст. изд.).

ПО ЧАСТИ ЖЕНСКОГО ВОПРОСА

(Стр. 252)

Впервые — *ОЗ*, 1873, № 1 (вып. в свет 22 янв.), стр. 1—32, под заглавием «Благонамеренные речи. II».

Рукописи и корректуры не сохранились.

Очерк имел в журнальной публикации примечание к заглавию: «См. «Отеч. зап.» 1872 г. № 10» (то есть очерк «В дороге», не имевший порядкового номера).

При подготовке *изд. 1876* очерку было дано заглавие «По части женского вопроса», текст подвергся незначительной стилистической правке (в первой части очерка) и в последующих изданиях уже не менялся.

Женский вопрос — вопрос о равноправии женщин — возник в России в обстановке общественного и революционного движения конца 50-х — начала 60-х годов. Внимание к нему общественности и печати вновь обострилось в начале 70-х годов в связи с новым демократическим подъемом в стране. Помимо ряда журнальных и газетных выступлений, женскому вопросу был посвящен ряд книг и брошюр: например, Николая Соловьева «Милль, Конт и Бокль о женском вопросе» (М. 1870), и др. Много внимания уделяли «женскому вопросу» как раз в последние месяцы 1872 года, когда Салтыков писал свой очерк, «Отеч записки». Так, в ноябрьском номере была напечатана статья Бёмерта «Женщины в Цюрихском университете», а в декабрьском номере остановился на этом вопросе в обозрении «Наши общественные дела» Н. А. Демерт. Он писал, что «так называемый женский вопрос — едва ли не самый главный и живой в настоящее время», что «в наши дни» совершается «великое переселение женского пола из глухих захолустьев во все те пункты, где есть хоть какая-нибудь возможность чему-нибудь научиться дельному». «В Москве,— отмечал он,— на днях только открылись высшие курсы для женщин...»[1] Действительно, осенью 1872 года в Москве были открыты Высшие женские курсы профессора В. И. Герье, а в Петербурге — Женские врачебные курсы при Медико-хирургической академии (не раз упоминаемые Салтыковым в настоящем очерке). Эти успехи в движении за высшее женское образование вызвали озлобление в консервативно-реакционной печати и преувеличенные, подчас, восторги — в либеральной.

Очерк «По части женского вопроса» является прямым выступлением Салтыкова в этой полемике. Писатель занял в ней, как всегда, *свою* позицию. Не отрицая, разумеется, необходимости борьбы за просвещение и

[1] *ОЗ*, 1872, № 12, отд. II, стр. 340, 341.

образование женщин, а также за эмансипацию их от неравноправия с мужчинами в сфере морали и семейных отношений, Салтыков скептически относился к постановке всех этих вопросов «особняком», сурово осуждал элементы легкомыслия и фривольности в трактовке этих тем в либерально-консервативной печати.

Для Салтыкова «женский вопрос» был неотделим от «вопроса мужского» и — шире — «того извечного вопроса об общечеловеческих идеалах, которые держат в тревоге человечество». Другими словами, Салтыков трактовал «женский вопрос» как вопрос *социальный* и усматривал возможность решения его в стране, парализованной политическим бесправием, лишь на путях общей борьбы за «коренное изменение жизненных форм».

Из всех очерков и рассказов, входящих в «Благонамеренные речи», выступление «По части женского вопроса» привлекло наибольшее внимание печати. Вокруг очерка возникла острая дискуссия. Не поняв или не захотев понять принципиальной позиции Салтыкова, либеральная пресса «обиделась за женщин»; реакционная готова была приветствовать автора чуть ли не как своего союзника. Даже критик еще прогрессивного тогда «Нового времени» недоумевал: «...Сочувствует он <Щедрин> женскому вопросу, или нет?» [1]

В виду такой путаницы мнений Салтыков просил Михайловского выступить с разъяснением авторской позиции. Статья Михайловского появилась в мартовском номере «Отеч. записок» 1873 года и может рассматриваться как своего рода автокомментарий к очерку. «Статья эта [2] привела многих в недоуменье,— писал Михайловский.— Автор пользуется известностью, имеющею в глазах читающего мира совершенно определенный характер. И вдруг этот человек пишет статью, в которой можно усмотреть отрицательное отношение к так называемому женскому вопросу, то есть к одному из пресловутых вопросов, наипаче подвергающихся травлям и облавам. Как не возликовать недругам женского вопроса и как не воскорбеть его друзьям!» Далее Михайловский раскрыл — первым из критиков — основную и глубокую идею всего цикла «Благонамеренных речей» [3]. «Теперешние сторонники женского вопроса,— писал Михайловский, критикуя вслед за Салтыковым элементы буржуазного феминизма в русском женском движении,— стремятся доказать, что женщины вполне способны ко всем тем профессиям, которые доселе находились в исключительном заведовании мужчин, и, следовательно, имеют право стоять с ними рядом». Такое одностороннее решение вопроса, доказывал Михайловский, не удовлетворяет Салтыкова. «Другое дело,— продолжает критик, растолковывая эзоповский смысл салтыковского очерка,— если бы женский вопрос не был изолирован, если бы женщины внесли с собой, например, новые формы сочетания труда,

[1] «Новое время», 1873, № 37, 6 февраля.
[2] То есть очерк «По части женского вопроса».
[3] Подробнее см. на стр. 521 в наст. томе.

новые политические или иные принципы. Тогда, я понимаю, доезжачие[1] имели бы резоны доезжать женский вопрос, а люди известного образа мыслей[2] класть в него всю душу свою. Но ничего такого мы не видим»,— иронически и эзоповски раскрывает Михайловский в заключение суть того направления, которое хотел бы придать женскому вопросу Салтыков[3].

Полемический шум вокруг *о*черка «По части женского вопроса» объяснялся также и тем, что обсуждение этого вопроса Салтыков построил в острой полемике с либералами. «По части женского вопроса» — одно из наиболее ядовитых выступлений писателя против российского либерализма в разных его идеологических и практических направлениях, персонифицированных в фигурах «рассказчика» — «русского фрондера» или «русского Гамбетты» (дворянско-буржуазный либерализм) и Тебенькова — «столпа русского либерализма» (направление правительственного, или «бюрократического» либерализма). Подробнее см. на стр. 525, 527—528. Этим образам «противостоит» фигура «князя Ивана Семеныча», символизирующая более жесткий и репрессивный курс правительственной политики.

Стр. 253. *Хоть бы позволили в Медико-хирургическую академию поступать! <...> О, Суслова!* — Женщин не принимали в высшие учебные заведения; программы Женских врачебных и Высших женских курсов, открытых в 1872 году, были в то время элементарны и не могли дать серьезного специального образования. Труд интеллигентных женщин использовался частными предпринимателями — в книжных магазинах, типографиях и т. п. На государственную службу женщина впервые была допущена в 1863 году в качестве кассира железной дороги («Совр», 1863, № 5, отд. II, стр. 200), в 1864 году женщинам разрешили работать на телеграфе (утверждено в 1871 году). В доказательство способности женщины к самостоятельной деятельности часто приводился пример Н. П. Сусловой, окончившей в 1867 году Цюрихский университет и ставшей первой русской женщиной-врачом.

Я либерал, а между «своими» слыву даже «красным» <...> я Гамбетта, переложенный на русские нравы! — Кличка «красный» восходит к концу 50-х годов, когда «выскочки» из «партии красных», то есть сторонники крестьянской реформы, противопоставлялись «нашим», помещичье-крепостнической части дворянства (см. стр. 614 в т. 6, стр. 498 в т. 8 наст. изд. и *ОЗ*, 1869, № 10, отд. I, стр. 371). Репутация «русского Гамбетты» указывает на западноевропейские закономерности в развитии либерализма, выразившиеся в карьере этого французского политического и государственного деятеля, проделавшего путь от лидера левого крыла республиканской оппозиции в годы Второй империи до идеолога и проводника политики бур-

[1] То есть реакционеры и консерваторы.
[2] То есть демократы, социалисты и революционеры.
[3] *ОЗ*, 1873, № 3, отд. II, стр. 139, 149, 151.

жуазного оппортунизма в годы Третьей республики. Салтыков относился к Гамбетте крайне отрицательно и высмеивал его в очерках «За рубежом» (т. 14 наст. изд.).

В сороковых годах <...> аплодировал Грановскому... — Далее Салтыков прослеживает эволюцию дворянского либерализма, обозначая ее вехами не крестьянско-демократического движения, а вызванными им реформами 60-х годов и сопутствующими явлениями: «гласность», «устность», «мировые посредники», «вольный труд», «независимость суда» и т. д.

Стр. 254. *...когда все уже совершилось и желать больше нечего..* — Очередная салтыковская отповедь либеральным славословиям по поводу реформ 60-х годов. См., например, высказывание «Русск. мира»: «...Настоящее время, когда все процветает и благоденствует, когда великие начала положены в основу нашей жизни, когда все преисполнено счастья и остается только употреблять всевозможные усилия к удержанию нашего настоящего благополучия...» (1872, № 225, 1 сентября).

...домашние Руэры... — то есть деятели охранительно-консервативной партии, по имени Эжена Руэра, одного из вождей бонапартистов, сенатора и президента Государственного совета в империи Наполеона III

Диатриба — обличительная речь с едкими личными выпадами (от *греч.* diatribē).

Стр. 256. *Я мог бы еще поправить свою репутацию...* — В следующем далее сатирическом пассаже высмеивается лжефрондерство либералов и разоблачается их готовность демонстрировать свою лояльность в любой подходящей к требованию политического момента форме «благонамеренных речей» и поведения. «Параша Сибирячка» — верноподданническая драма Н. А. Полевого, которую «Отеч. записки» относили к числу «старых, испытанных, ультранародных и безукоризненно патриотических пьес» (*ОЗ.* 1872, № 11, отд. II, стр. 140). «С белыми Борей власами» — первая строка оды Державина «На рождение в Севере порфирородного отрока». Монолог «Неизвестного» и передовые для «Старейшей Российской Пенкоснимательницы» — сатирические стрелы в адрес фельетонов Суворина в «СПб. ведомостях», писавшихся от первого лица и печатавшихся за подписью *«Незнакомец»*, а также передовиц этой газеты, прославлявших «законодательную мудрость» правительства, в частности судебные и земские учреждения (см., например, 1872, №№ 222, 259, 261, 320, 15 августа, 21 и 23 сентября, 21 ноября). «Неподходящие стихи» — слова из арии Париса в оперетте Оффенбаха «Прекрасная Елена» (см. прим. к стр. 116).

Стр. 257. *...не прочь от «святого»..* — то есть от религии.

Фрондер, или <...> почтительно, но с независимым видом лающий русский человек. — В дореволюционных радикально-демократических кругах этот салтыковский фразеологизм получил значение политической пословицы для определения русских либералов.

...выдаст сто один том «Трудов»... — Ср. стр. 7 и прим. к ней.

Стр. 258. *...согнуть в бараний рог, стереть с лица земли, вырвать вон с*

корнем, зашвырнуть туда, куда Макар телят не гонял... — Эзоповские синонимы щедринской сатиры для обозначения политических репрессий самодержавной власти по отношению к противникам режима. Ср. стр. 170.

...«гнуть в бараний рог» — est une expression de nationalgarde, à peu près vide de sens? — Национальная гвардия, впервые созданная во Франции Лафайетом в качестве революционной силы, была реорганизована Наполеоном III в период Второй империи и превратилась в охранительно-реакционную силу, что и имеет в виду Салтыков.

Франклин, например, имел очень многие и очень вредные заблуждения, но <...> был человек небесполезный... — «Вредные заблуждения» Б. Франклина — его демократические и республиканские убеждения и борьба за отмену рабства негров; «полезность» — его естественнонаучные работы, в частности изобретение громоотвода.

Стр. 259. *..голоса <...> как у актрис в Александринке! <..> Паскà говорит — вот это голос!* — Александринский театр в Петербурге считался демократическим, Михайловский — аристократическим. Паска играла во французской труппе Михайловского театра в 1870—1874 годах.

Стр. 260. *Мясниковское дело* — известный уголовный процесс 70-х годов См. по указателю имен в т. 10 наст. изд. о братьях А. и И. Мясниковых.

Стр. 261. *«Кто похитит <...> или истребит» <...> «если вследствие составления <...> иной бумаги»...* — В сатирических целях Салтыков цитирует по памяти, неточно, «Свод законов Росс. имп.» (т. XV, СПб. 1857, кн. 1, «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных», разд. XII — «О преступлениях и проступках против собственности частных лиц», ст. 2240, 2242; разд. IV — «О преступлениях и проступках против порядка управления», ст. 338).

Стр. 262. *Татерсаль* — место продажи лошадей и экипажей.

Стр. 263. *Вы по природе переводчицы...* — то есть, в данном случае, исполнители чужих, а не собственных замыслов.

Эскамотировать — незаметно снять (от *франц.* escamoter).

Стр. 264. *..не могу допустить аркебузирования <..> Но <...> должен сказать себе: да, это люди неблагонамеренные!* — Аркебузировать — расстреливать (от *франц.* arquebuser). Это высказывание отсылает читателя к «Дневнику провинциала...» (т. 10 наст. изд.), к «проекту о расстрелянии» «всех не согласно мыслящих», предложенному ветлужским помещиком Поскудниковым. Либерал Тебеньков хотя и оговаривает свое несогласие с проектом дворянского реака и «зубра», но «внутренно» солидаризируется с ним в определении «инакомыслящих» как «людей неблагонамеренных». Вскоре он готов «будет и аркебузировать» (стр. 269).

Стр. 265. *...подкапываться под драгоценнейшее достояние женщины <...> под священнейшие основы общества — это благонамеренность?* — Здесь и далее (стр. 266—267 и 274—275) рассуждения Тебенькова пародируют статьи кн. Мещерского, яростного противника женской эмансипации, утверждавшего, что «женский вопрос» составляет угрозу семье и нравственности, а «в опасности для семьи» заключена «опасность для всего государ-

ства» (*Гр.*, 1872, № 5, 31 января, стр. 188; см. также №№ 9, 10, 19, 29, 31 и 33, 28 февраля, 6 марта, 11 сентября, 20 ноября, 4 и 18 декабря).

Стр. 266. *Подчиненность женщины <...> как говорит Милль...*— Подразумевается его книга «The Subjection of Women» (1869) — «Подчиненность женщин»,— в которой Милль выступал за экономическое и политическое равноправие женщины; в 1869—1871 годах была трижды переведена на русский язык и выдержала пять изданий.

...это, как говорит поэт, «Лад и Лада»...— Далее пародируется антинигилистическая сатира А. К. Толстого «Баллада с тенденцией» («Русск. вестник», 1871, № 10), в которой образы и лексика древнерусского фольклора (Лад и Лада — символы любви и согласия) искусственно соче-

Стр. 267. *La critique est aisée, mais l'art est difficile* — ставшая поговоркой реплика из комедии «Le glorieux» Ф. Детуша («Гордец»; акт II, сцена 5). У Детуша: «..et l'art est difficile».

...je n'en lave les mains! — Крылатое выражение, восходящее к Евангелию (Матфей, XXVII, 24).

Стр. 270. *Вот ты ждал к празднику через плечо...* — то есть ждал награждения орденом св. Анны или св. Станислава первой степени, которые носились на ленте, надевавшейся через плечо.

Менандр Прелестнов <...> в «Старейшей Русской Пенкоснимательнице»! — Одни из главнейших в щедринской сатире образов либерала-литератора и либеральной печати, отчасти связанные прототипически с В. Ф. Коршем и его газетой «СПб. ведомости».

...мысль об обязательном посеве картофеля <...> «картофельные войны»? — См. стр. 545 в т. 7, гл. «Войны за просвещение» в «Истории одного города» и стр. 571 в т. 8 наст. изд.

Стр. 272 *Pas trop de zèle, messieurs <...>, surtout pas trop de zèle!* — Крылатое выражение, восходящее к совету Талейрана молодым дипломатам: «Pas trop de zèle!» — «Не усердствуйте!» Ср. стр. 84, прим. к ней и стр. 90.

Стр. 273. *...божии бичи...*— выражение из Библии (Кн. пророка Исаии, X, 5, 26).

Стр. 274. *...«в минуту жизни грустную»...*— Из стихотворения Лермонтова «Молитва» (у Лермонтова: «трудную»).

Стр. 275. *Если безделица отойдет на второй план <...> не будет и романа!* — «Безделица» — любовные отношения и легкомысленное, фривольное истолкование любви в жизни и в литературе. См. об этом в статье «Новаторы особого рода» и в рецензиях на «Бродящие силы» Авенариуса и «Мещанскую семью» Авдеева в т. 9 наст. изд.

Оспоривайте русское происхождение Микулы Селяниновича...— Намек на В. Стасова, доказывавшего иностранное происхождение русского героического эпоса. Подробнее см. на стр. 759 и 760 в т. 10 наст. изд.

Стр. 277. *...протестовать на манер «Belle Hélène».*— То есть обманывать мужа, как героиня этой оперетты Оффенбаха. См. прим. к стр. 116.

Все эти Фрины, Лаисы, Аспазии, Клеопатры — что это такое, как не прямое разрешение женского вопроса? — Перечисляются знаменитые гетеры древности

.. первозданная Таутова азбука...— древнейшая письменность, якобы созданная египетским богом Тау том. Здесь — символ созданных человечеством главнейших, формально всеми признаваемых, но реально не существующих в дисгармоничном классовом обществе принципов социальной нравственности.

Стр. 278. *...посещать театр Берга.*— См. прим. к стр. 116.

Стр. 279. *Палладиум* — охрана, защита (*лат.* palladium).

Стр. 280. *...печенеги перестали быть номадами, их нечего опасаться. У них есть оседлость, есть дом, поле, домашняя утварь <...> печенег смирен, покуда ему ничего не дают.*— Одна из сатирических формулировок послереформенной правительственной политики в отношении «освобожденных» от крепостного права крестьянских масс (это и есть «печенеги», переставшие быть «номадами», то есть кочевниками, лишенными земли и хозяйства). Реформа 1861 года признавалась правящими классами и правительством вполне достаточной, хотя она не разрешила ни одной из коренных нужд народа.

Стр. 281. *Парюра* — драгоценное украшение (от *франц.* parure).

Стр. 282. *...выслушиваем курс физиологии <...> который г. Сеченов прочтет нам.*— Сеченов преподавал в Петербургской медико-хирургической академии в 1860—1870 годах и тогда же вне ее стен читал публичные лекции, из которых особенно большой успех в кругах демократической молодежи имел курс лекций, прочтенный в Петербургском клубе художников в 1869 году. У Салтыкова имя Сеченова символизирует передовую материалистическую науку.

Стр. 283. *Толерировать* — терпеть (от *франц.* tolérer).

...наше время — не время широких задач! — Один из фразеологизмов послереформенной либеральной печати, превращенный Салтыковым в формулу сатирической критики российского либерализма и его политики «умеренности и аккуратности». См. стр. 755 в т. 10 наст. изд.

Стр. 284. *...фредонировали: «J'ai un pied qui r'mue!»* — Строки песенки «Вино и танец» из репертуара Луизы Филиппо. Фредонировать — напевать (от *франц.* fredonner).

...против елисеевских окон...— то есть против окон гастрономического магазина Елисеева.

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ

(Стр. 286)

Впервые — «Совр.», 1863, № 8 (ценз. разр. 7 сент.), стр. 570—598, в качестве второй части незавершенного цикла «Как кому угодно» (см. стр. 410—435 в т. 6 наст. изд.).

Сохранилась черновая рукопись рассказа.

При подготовке очерка для *изд. 1876* Салтыков сделал в первопечатном тексте несколько небольших сокращений.

Тексты последующих изданий идентичны первому.

По тексту черновой рукописи цикла «Как кому угодно» устраняются (так же как и в томе 6 наст. изд.) прошедшие через публикацию в «Совр.» и все три прижизненных отдельных издания «Благонамеренных речей» цензурные искажения: 1. *Цензурная замена* — вместо «батюшке» и «батюшка» (начало стр. 296 наст. тома, фраза «Подсказывала ей...») в указанных случаях печаталось «дьячку» и «дьячок». 2. *Цензурный пропуск* слов «с какими-то чудодейственными орлами на вершине» (стр. 297, конец абзаца «Ко всему этому...»).

Предмет рассмотрения в «Семейном счастье» тот же, что и в исключенных из цикла «Благонамеренные речи» «головлевских» главах (см. стр. 544),— с е м ь я, традиционные устои которой оказываются мнимыми («призрачными»), давно разъединенными собственническим своекорыстием, прикрытым «благонамеренной» моралью. Особенно пристально Салтыков исследует здесь «психологию лицемерия» и те «условия, которые предоставляют ему широкий простор, пышный расцвет и влияние на жизнь» [1].

Комментарий к рассказу и примечания к отдельным местам его текста см. на стр. 683—686 в т. 6 наст. изд и на стр. 527 в наст. томе.

ЕЩЕ ПЕРЕПИСКА

(Стр 310)

Впервые — *ОЗ*, 1874, № 10 (вып. в свет 23 окт.), стр. 265—294, под заглавием «Благонамеренные речи. XII. Переписка», со словами «С подлинным верно» перед подписью *«Н. Щедрин»*.

Рукописи и корректуры не сохранились.

Очерк написан во второй половине августа — сентябре 1874 года: «бегство Базена», о котором говорится в очерке, имело место 10 августа. (Примечание Салтыкова на стр. 319 — «Писано до получения известия о бегстве Базена» — относится не к очерку, а к одному из писем Проказниной.)

Заглавие «Еще переписка» дано в *изд. 1876*.

Журнальный текст отличается от текста отдельных изданий несколькими незначительными разночтениями.

В настоящем очерке Салтыков продолжает разрабатывать т е м у р а с п а д а «с е м е й н о г о с о ю з а», опошления основы этого «союза» — любви,

[1] Н. К. М и х а й л о в с к и й. Щедрин.— «Критические опыты», вып. II, М. 1890, стр. 75.

низводимой в теории и на практике до культа «безделицы». Сталкиваются и тем самым разоблачаются две системы «благонамеренных речей» — откровенно цинических у сына и завуалированно цинических у матери.

Вместе с тем «Еще переписка» — первый очерк «Благонамеренных речей», в котором Салтыков обращается к сатирической критике Франции Луи Бонапарта — Наполеона III. Политический быт Второй империи наиболее полно соответствует тому кредо буржуазного общества, которое, по оценке Виктора Гюго, сводилось к формуле: «Управлять — значит наслаждаться жизнью» [1].

В наполеоновской Франции Натали Проказнина усваивает вместе с распущенностью в сфере личного быта также и элементы бонапартистской политической идеологии — понятие о пользе сочетания общественной демагогии с полицейскими репрессиями в деле защиты «краеугольных камней» режима. Уроки и поучения до предела безнравственной матери, проповедующей «прелюбодеяние» и «перепрелюбодеяние» под лозунгом «любовь — это святыня», развивает и практикует ее сын, новопроизведенный офицер Сергей Проказнин, жизненный девиз которого определяется словами: «хватай, лови, пей, ешь и веселись!»

Типическое значение этого образа и его политическую сущность раскрыл Михайловский: Проказнин, писал он, «выступает уже в качестве воинствующего элемента. Весь начиненный разными гнусностями, невежественный и развращенный до мозга костей, каждым своим шагом попирающий всяческие «основы», он объявляет, однако, войну каким-то врагам этих самых основ, и — кто знает? — может быть, на его долю выпадет широкая практическая деятельность в этом направлении. Он будет требовать драконовских мероприятий в ограждение святости семьи и в то же время растлевать и попирать эту самую семью всеми возможными способами, и при этом ему и в голову не придет, что тут есть какое-то противоречие» [2].

Стр. 311. *«L'amour — ce n'est que ça!»* — Из фривольной песенки «L'amour» из репертуара Филиппо, достигавшей на сцене, по отзыву современников, «крайних пределов озорничества, вульгарности и грязи» («Дело», 1872, № 11, «Петерб. театры», стр. 50).

...отсылал в полицию для «наказания на теле» (сюда еще не проникла «вольность»...). — Телесные наказания без суда были отменены в армии указом от 17 апреля 1863 года.

Стр. 312. *...ремонтировался хорошенькими женщинами.* — Ремонт — пополнение кавалерийского полка лошадьми.

Чизльгёрстский философ — ироническое прозвище Наполеона III, обосновавшегося после низложения в поместье Чизлгёрст под Лондоном. Он вел там нарочито скромный образ жизни, выставляя напоказ свою «ни-

[1] В. Гюго. История одного преступления.— Собр. соч. в 15-ти томах, т. 5, Гослитиздат, М. 1954, стр. 620.

[2] Н. К. Михайловский. Щедрин.— «Критические опыты», вып. II, М. 1890, стр. 74—75.

щету» и демонстрируя «примирение» с постигшей его участью. На самом деле «Чизлгёрстский мученик», как называли его бонапартисты, имел миллионные счета в банках и не терял надежды на реставрацию империи (*«СПб. вед»*, 1872, № 11, 13 января). Тот же иронический смысл имеет наименование «la résignée de Chizzlhurst la belle Eugénie» (стр. 325) в отношении супруги низложенного Наполеона III — Евгении де Монтихо.

Стр. 313. *Она не хуже любой Camille de Lyon...* — Актрису театра Берга (см. прим. к стр. 116) Камиллу де Лион печатно величали «представительницей петербургского деми-монда» *(PM,* 1872, № 11, 13 января).

Стр. 316. *Вежетировать* — прозябать (от *франц.* végéter).

Clichy — парижская тюрьма Клиши.

Стр. 317. *...Villemessant <...>* сказал: *«Vous êtes une sainte!..»* — Вильмессан в роли судьи в вопросах нравственности — сатирический выпад в адрес буржуазной печати. Богатейший газетчик-предприниматель, владелец «Фигаро» Вильмессан отличался крайней беспринципностью, спекулировал на политической конъюнктуре и делал ставку на самые низменные вкусы читателей, в частности на интерес обывателя к закулисно-скандальной стороне светской жизни

...чизльгёрстский философ околел! <...> Седанский герой-с... — Наполеон III умер 9 января 1873 года. Седанский герой — насмешки над его капитуляцией после неудачных попыток выйти с армией из окружения под Седаном во время финала франко-прусской войны.

Стр. 318. *Сперва Морни <...> наконец ОН! <...> «Ah! j'ai un pied qui r'tue»* — *мотив кадрили, которая тогда решила мою участь.* — ОН! — Наполеон III. Это многократно повторяющееся в очерке восклицание пародирует название и строку из стихотворения Гюго «Lui» (1827), посвященного Наполеону I: «Toujours lui! Lui partout!» (Всегда он! Повсюду он!) *Сатирическая ситуация,* созданная Салтыковым, как всегда, была реалистична в своей основе. Так, например, упоминаемый Морни, будучи послом в России, женился на русской княжне и позднее поддерживал связи с русскими, приезжавшими в Париж; обстоятельства встречи Проказниной с императором вполне отвечают описаниям придворных нравов в книге Мериме «Письма к неизвестной» (P. Mérimée. Lettres à une inconnue, Paris, 1873); связь приезжей русской помещицы с Наполеоном III — явление, весьма характерное для нравов французского двора Второй империи, «где в роли фавориток сменяли друг друга дочери и жены честолюбивых чиновников, элегантные содержанки, политические шпионки, знатные иностранки и девушки из народа» (Vicomte de Beaumont-Vassy. Mémoires secrètes du XIX-me siècle, Paris, 1874, p. 371). О «J'ai un pied» см. прим. к стр. 284.

Стр. 319. *...Базен <...> на каком-то острове...* — Маршал Базен, капитулировавший под Мецем, был осужден на двадцатилетнее заключение, которое отбывал на острове Св. Маргариты у южных берегов Франции.

Стр. 321. *Мальтретировать* — пренебрегать, быть грубым (от *франц.* maltraiter).

Иньобильно — гнусно (от *франц* ignoble).

Стр. 322. *Tout pour le peuple et par le peuple'* — один из демагогических лозунгов Наполеона III (образцы их приводит Гюго в памфлете «Наполеон Малый», 1852). В 1874 году бонапартисты распространяли фотографию принца Наполеона, на которой была напечатана эта фраза (*ОЗ*, 1874, № 3, отд. II, стр 140).

Стр. 323. *...говорят о фенианском вопросе, об интернационале, о старокатоликах etc* ... — Об оживившейся борьбе Ирландии за независимость, возглавлявшейся «Союзом фениев», о деятельности I Интернационала, о преследовании католиков в Эльзас-Лотарингии постоянно писали газеты в 1874 году.

La belle échauffourée du 2 décembre — Переворот 2 декабря 1852 года, когда президент Луи Наполеон Бонапарт объявил себя императором Наполеоном III.

...он смешал le chevalier de Bayard c le chevalier de Faublas!— Невежественный Butor «спутал» французского средневекового рыцаря «без страха и упрека» с персонажем эротического романа Луве де Кувре «Приключения кавалера Фоблаза».

Стр. 324. *Национальгард* — офицер Национальной гвардии Второй империи. Офицерский корпус garde nationale назначался в этот период самим императором. Ср. в наст. томе стр. 258 и прим. к ней.

Мы — позитивисты (il me semble avoir lu quelque part ce mot). мы знаем, что time is money...— Позитивная философия Огюста Конта вызывала пристальный интерес русского общества в начале 70-х годов Невежественный Проказнин перекладывает одно из определений этого мировоззрения — «практическая философия» — на язык буржуазно-обывательской морали, девизом которой служит здесь изречение Б. Франклина «время — деньги», ставшее поговоркой «деловых людей».

Стр. 325. *La fille de m-me Angot».*— См. прим. к стр. 85 и 116.

Стр 326. *«Вихрь полунощный, летит богатырь».*— Из оды Державина «На взятие Варшавы».

«Оставим астрономам доказывать» — начальные слова приветственной речи архиепископа Георгия Конисского, обращенной к Екатерине II по случаю ее прибытия в Могилев (Мстиславль) в 1787 году. Эта речь считалась образцом ораторского искусства и изучалась на уроках риторики, в частности в Царскосельском лицее. Неоднократно употребляется Салтыковым как эзопово обозначение верноподданнической политической «мудрости». См. в предыдущих томах по указателю имен.

Кто же не знает, что главный город Греции был Солон? — Проказнин путает Солона с Салониками, крупным портом Древней Греции.

Стр. 331 *...tout jusqu'à l'oubli du 7-me commandement inclusivement.*— Седьмая заповедь Моисея гласит: «Не прелюбодействуй» (Библия, Исход, XX, 14).

Стр. 334. *Брюскировать* — грубо обходиться (от *франц.* brusquer).

Стр. 335. *Гамбетте готовится сюрприз <...> Все веселы, бодры, гото-*

вы...— После смерти Наполеона III бонапартисты заявили о правах на престол его сына, получившего имя Наполеона и титул «императорского принца» (prince impérial). Ко дню совершеннолетия принца — 16 марта 1874 года — в Чизлгёрст съехались бывшие министры Наполеона III, офицеры его армии, и состоялась «мнимая национальная манифестация», организованная «с самой бессовестною крикливостью» (*ОЗ*, 1874, № 4, отд. II, стр. 293), которая возбудила надежды бонапартистов на реставрацию (Гамбетте готовится сюрприз).

Стр. 336. ...*смирился ли Plon — Plon?* — Здесь и ниже в данном абзаце речь идет о бонапартистах и их интригах. Plon — Plon — прозвище Жозефа Бонапарта (кузен Наполеона III), основателя новобонапартистской партии, оппозиционной к «партии Чизлгёрста» (*ОЗ*, 1874, № 7, стр. 84). Отказавшись присутствовать на манифестации 16 марта 1874 года, он окончательно «подтвердил разрыв между двумя ветвями фамилии Бонапартов» (*ОЗ*, 1874, № 4, стр. 296). Арененберг — замок Наполеона III в Швейцарии, гнездо бонапартистских интриг: здесь, например, в августе 1874 года бывшая императрица Евгения принимала бежавшего из заключения Базена (*ОЗ*, 1874, № 9, отд. I, стр. 74). Генерал Флери — после падения Второй империи жил в Чизлгёрсте; его маршировка «à côté de l'Ecolier de Woolwich» — рядом с принцем Наполеоном, имела место, видимо, на одном из парадов в Вульвичском артиллерийском училище, где учился принц. Бонапартисты подчеркивали, что занятый «исключительно своими учебными занятиями», принц готовится к будущему положению императора (*ОЗ*, 1874, № 3, стр. 142). Casse-têtes и sorties de bal — здесь обозначают полицию: кастеты были на вооружении полицейских, плащи-накидки (или пелерины) входили в их униформу.

Стр. 337. ...*les fines reparties de Jocrisse dans le «Jeu du hazard et de l'amour»*.—Жокриссе — традиционный персонаж французского комического театра XVIII — XIX веков, глуповатый слуга, который своими нелепыми выходками ставит господина в неловкое положение. Однако в комедии Мариво (ее точное название: «Le jeu de l'Amour et de Hazard» — «Игра любви и случая») этого персонажа нет.

...*не можешь говорить <...> не прибегая к хрестоматии Ноэля и Шапсаля?* — Это популярное двухтомное пособие по грамматике («Nouvelle grammaire française») выдержало в XIX веке более шестидесяти изданий.

Стр. 338 ...*Базен бежал? <...> И должен был долгое время плыть?!* — Жена Базена и ее племянник Рюль подготовили побег, и 10 августа 1874 года Базен бежал. Романтическими подробностями бегства были полны все газеты. Обозреватель «Отеч. записок» Клод Франк считал их сильно преувеличенными, указывая, что бегству способствовали послабления в тюремном режиме (*ОЗ*, 1874, № 9, отд. II, стр. 70—72).

Стр. 340. ...*гарбуз получил?* — По украинскому обычаю, в случае отказа жениху сватам выставляли тыкву (гарбуз).

Стр. 342. ...*Sainte-Croix (celui qui a donné le soufflet à Gambetta)*.—

Слух о пощечине, полученной Гамбеттой, по-видимому, не соответствует действительности.

Стр. 343. *Closerie des lilas* — увеселительное заведение в Париже на бульваре Монпарнас; впоследствии — известное литературно-артистическое кафе, существующее и поныне.

КУЗИНА МАШЕНЬКА

(Стр 343)

Впервые — *ОЗ,* 1875, № 1 (вып. в свет 22 янв.), стр. 145—178, под заглавием «Благонамеренные речи. XIII».

Рукописи и корректуры не сохранились.

При подготовке очерка к *изд. 1876* Салтыков дал ему заглавие «Кузина Машенька», сделал несколько незначительных сокращений и снял примечание к абзацу «— Были покупатели. Дерунов охотился. Бородавкина Заяц привозил смотреть...» (стр. 361 наст. тома): «См. №№ 1 и 2 «Отеч. зап.» за 1874 год» (то есть рассказы, получившие в *изд. 1876* заглавия «Столп» и «Кандидат в столпы»).

«Кузина Машенька» принадлежит к числу наиболее *художественно* разработанных очерков в «Благонамеренных речах». Созданный здесь образ девушки-«куколки» из дворянского гнезда, «превратившейся» в помещицу-кулака и хищника, является своего рода «женской» параллелью к образу Осипа Дерунова и к истории его «превращения» из мелкого деревенского хищника в крупного дельца-капиталиста. Завершающей полноты своего развития образ «кузины Машеньки» достигнет в следующем рассказе — о «непочтительном Коронате».

Ряд мест очерка связан с личными впечатлениями Салтыкова от родных ему мест. Таково, например, сурово-мрачное, «надрывающее сердце» описание русского зимнего пейзажа, которым начинается очерк. Описание это передает общий характер восприятия Салтыковым тяжелого положения русской деревни в пореформенные годы («Сàваны и стоны. .») [1]. В личном же плане оно связано с поездкой Салтыкова в декабре 1874 года на похороны своей матери, О. М. Салтыковой, что, возможно, и подсказало непосредственно образ «сàвана» для изображения лежащих на полях снегов. Из других мест текста, в которых обнаруживается использование автобиографического материала, следует указать на «справку» о Промптове: «Был в Т. советником губернского правления...» (стр. 369). Тут, несомненно, речь идет о Тверском губернском правлении, которое в качестве местного вице-губернатора возглавлял в 1860—1861 годах сам Салтыков.

[1] См. об этом Е. Покусаев. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, Гослитиздат, М. 1963, стр. 358.

В завершающих очерк «благонамеренных речах» Промптова особый интерес представляют его сентенции об отношении реакционно-охранительных сил общества и самодержавной власти к литературе социального критицизма и сатирического обличения: «Дело писателей — изображать, а дело правительства — их воздерживать». «...Сатирами заниматься никто не препятствует. Вот только касаться — этого, действительно, нельзя», и др. Сентенции эти имели, разумеется, прямое отношение и к писательскому опыту самого Салтыкова.

Стр. 347. *Старик Лукьяныч...* — См. рассказы «Столп» и «Кандидат в столпы».

...изречение: «Любяй наказует». — Восходит к Библии (Откровение Иоанна Богослова, III, 19).

Стр. 349. *Кончать надо...* — Биографический комментарий, связанный с продажей имения, см. в прим. к рассказам «Столп» и «Кандидат в столпы».

Стр. 350. *...т—ской казенной палаты <...> в губернском городе Т.* — Подразумевается Тверь и тамошняя казенная палата.

Стр. 351. *...научила «нас возвышающим обманам».* — Из стихотворения Пушкина «Герой» («Тьмы низких истин мне дороже // Нас возвышающий обман»).

Стр. 352. *...среди долины ровныя...* — первая строка песни А. Ф. Мерзлякова, ставшей народной и называемой по этой начальной строке.

Стр. 354. *...христианство-то прямо указывает на птиц небесных!* — Евангельская реминисценция: «Взгляните на птиц небесных: они не сеют, не жнут <...> и отец ваш небесный питает их» (Матфей, VI, 26).

...вольную продажу вина вдруг открыли <...> откупа уничтожили... — См. прим. к стр. 27—28 и 103.

Стр. 357. *«Дурные поступки сами в себе заключают свое осуждение».* — См. прим. к стр. 73.

Стр. 359. *...тогда сочинение это вышло... «Les misérables»...* — «Отверженные» Гюго вышли в 1862 году.

Стр. 361. *...как уставные грамоты составляли <...> мои-то <...> жаловаться ходили!* — См. прим. к стр. 104 и 220—222.

Стр. 365. *Истину царям с улыбкой говорить...* — Из «Памятника» Державина (у Державина: «И истину...»).

Стр. 369. *Фонтанель* — нагноение, искусственно созданное в лечебных целях.

Стр. 370. *...Кантемира <...> Петр Алексеич из Молдавии вывезти изволил.* — Отец А. Д. Кантемира, молдавский господарь Д. К. Кантемир, заключил тайный договор с Петром I о совместной борьбе за освобождение Молдавии от турецкого ига и после неудачного Прутского похода Петра (1711) перешел в Россию с семьей и несколькими тысячами подданных.

Стр. 371. *И вот простой рыбарь...* — Здесь: в евангельском значении — простой, неученый человек (Матфей, IV, 19).

НЕПОЧТИТЕЛЬНЫЙ КОРОНАТ

(Стр. 375)

Впервые — *ОЗ*, 1875, № 11 (вып. в свет 19 нояб.), стр. 231—266, под заглавием «Благонамеренные речи. XVI. Непочтительный Коронат», с примечанием: «Автор покорнейше просит читателей припомнить «Благонамеренные речи» (XIII), помещенные в «Отеч. зап.» за настоящий год под № 1» (то есть очерк, позже получивший заглавие «Кузина Машенька»).

Сохранилось начало наборной рукописи, обрывающееся словами «...иметь хоть какие-нибудь средства, чтоб» (конец абзаца «— Но я еще лучше...», см. стр 379 наст. тома).

«Непочтительный Коронат» написан в Ницце во второй половине октября — начале ноября 1875 года. 5/17 октября Салтыков, собираясь уезжать из Парижа, писал Некрасову: «Надо работать. Здесь решительно ничего не писал, и к ноябрьской книжке вряд ли что вышлю». Следовательно, работать над рассказом Салтыков начал лишь после приезда в Ниццу 15/27 октября. Неделю спустя, 23 октября/4 ноября, он сообщал тому же Некрасову: «Не знаю наверное, но, может быть, к восьмому числу ст. стиля <то есть к двадцатому нового> я пришлю Вам новый рассказ и тогда же напишу, как с ним поступить».

Рукопись «Непочтительного Короната» была выслана Салтыковым в контору «Отеч. записок» 29 октября/10 ноября 1875 года. Сохранившееся ее начало отличается от журнального текста несколькими вариантами. Кроме незначительных стилистических поправок и вычерков, существенный интерес представляет фраза, вписаниая Салтыковым на полях рядом с абзацем «И все-таки повторяю...» (стр. 377 наст. тома) и самим же Салтыковым зачеркнутая:

Не лучше ли было бы подумать да подождать! помаленьку да потихоньку — может быть, *оно* и само собой как-нибудь сделалось бы.

Подчеркнутое Салтыковым слово «оно» является эзоповским обозначением коренного социально-политического переустройства России. Вследствие этого сделанный вычерк был осмыслен в *изд. 1933—1941*, как акт самоцензуры, и вычеркнутая фраза была введена в основной текст. При этом, однако, не было учтено, что начатая Салтыковым правка не была, по-видимому, доведена до конца. Вписанная фраза разрывала текст, являлась логически и художественно неорганичной и могла быть тут же зачеркнута автором по этой причине[1]. В настоящем издании зачеркнутая вставка в основной текст «Непочтительного Короната» не вводится и приведена в качестве варианта.

Наблюдавший за «Отеч. записками» цензор Лебедев при неофициальном просмотре 11 номера журнала потребовал купюр в тексте рассказа,

[1] Подробнее см. Е. Покусаев. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, Гослитиздат, М. 1963, стр. 384.

о чем Некрасов сообщил, очевидно, Салтыкову. «Этот Лебедев, должно быть, глубокий мерзавец. Но что он нашел выпустить в «Непочтительном Коронате» — просто не понимаю»,— возмущался Салтыков в письме к Некрасову от 25 ноября/7 декабря 1875 года.

По требованию Лебедева в журнальном тексте рассказа были сделаны два больших изъятия в сцене общего разговора в гостиной Промптовых. Было исключено все связанное с поимкой Добрецовым «шайки подмётчиков»: с абзаца «— Павел Федорыч шайку...» по абзац «— Выходит, стало быть ..» (стр. 398—399 наст. тома) — и обмен мнениями между рассказчиком и Добрецовым относительно защиты общества от «вредных поползновений» с абзаца «— Но ведь такого рода...» по абзац «— И это-с. Вообще, юрист...» (стр. 402—403 наст. тома). Изъятое заменили многоточиями.

Салтыков, получив вышедшую книжку журнала с «Коронатом», писал Некрасову 30 ноября/12 декабря: «Коронат» меня довольно-таки обидел. Я не говорю уже об выпусках, сделанных по требованию сукина сына Лебедева, но меня очень тронуло то, что редакция не потрудилась согласовать эти пропуски с последующим изложением. Ссылка, сделанная в заключении рассказа на слова Машеньки, выпущенные вверху, просто обожгла меня». (Ср. с «...неверно нынче очень!» по «...никто этого нынче не знает!», стр. 399 наст. тома, и предпоследний абзац рассказа, стр. 407).

При подготовке рассказа для *изд. 1876* Салтыков устранил оба цензурные изъятия и сделал большое число мелких стилистических поправок. Стилистическая правка проводилась автором и при подготовке рассказа для *изд. 1880*.

Рассказ о «непочтительном Коронате» написан и напечатан на исходе второго года «расцвета действенного народничества» — «хождения в народ» [1], когда на это движение обрушалась вся мощь полицейской машины самодержавия и оно было разгромлено. В это время в разных кругах и кружках русского общества усиленно обсуждались итоги движения и все относящиеся к нему вопросы. Среди них немалое место занимал вопрос о «вымывании» из консервативно-патриархальных дворянских и разночинских семей революционно настроенной молодежи. Демократический подъем 70-х годов расширил и углубил проблему «отцов и детей», поставленную 60-ми годами. Существовало много русских семей, в которых «дети» выбирали *свои* пути и рвали с «отцами». Изображению одного из таких типичных для эпохи конфликтов и выяснению позиции, которую должно занимать поколение «отцов» по отношению к решениям «детей», и посвящен рассказ «Непочтительный Коронат».

Рассказ получил высокую оценку Тургенева, который писал Салтыкову 25 ноября/7 декабря 1875 года: «Коронат хорош, как все, что вы пишете...» [2] Со стороны же Достоевского рассказ вызвал полемическое выступление. Раз-

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, изд. 5-е, т. 22, стр. 304.
[2] И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми томах. Письма в 13-ти томах, т. XI, изд-во «Наука», М.— Л. 1966, стр. 164.

мышляя о судьбах молодежи, Достоевский писал в январском выпуске «Дневника писателя» за 1876 год, цитируя Салтыкова· «Уверяют печатно <...> что они много думают. «Думает-думает про себя, да вдруг где-нибудь и вынырнет, и именно там, где наметил». Я убежден, напротив, что он вовсе ничего не думает, что он решительно не в силах составить понятие, до дикости неразвит и если чего захочет, то утробно, а не сознательно...» [1] В этой оценке сказалось глубокое различие во взглядах Салтыкова и Достоевского на молодых участников демократического протеста и оппозиции. Исполненное глубокой серьезности и уважения отношение к подвигам и революционному «самоотвержению» молодежи Достоевский рассматривает как «подлизывание к юношеству» [2], будто бы страдающему «уродливой оторванностью от всего насущного и реального» [3].

В последующем Салтыков не раз касался вопроса, поставленного в «Непочтительном Коронате», и специально посвятил разработке его рассказы «Чужую беду руками разведу» и «Дворянские мелодии» (1877, по поводу тургеневской «Нови»), «Больное место» (1879) и др.

Стр. 375. *Прошло лет шесть <...> как я <.> посетил родное Чемезово...*— Здесь и дальше имеется ряд хронологических неувязок в изложении «событий» внутри рассказа «Непочтительный Коронат» и между этим рассказом и предшествующим ему — «Кузиной Машенькой». См., например, на стр. 389 уже другое указание: «Лет восемь тому назад...» и др.

Стр. 376. *...определился в заведение по «юридистической» части <...>— А я, дядя, в Медицинскую академию хочу!* — Судебная реформа 1864 года дала возможность, с помощью юридического образования, получить профессию адвоката — одну из наиболее характерных и излюбленных профессий складывающейся в России новой, буржуазной интеллигенции. Медицинская академия (точное название — Санкт-Петербургская Медико-хирургическая академия), напротив того, была одним из центров притяжения демократических сил и служила в 60—70-е годы форумом оппозиционных выступлений и революционного движения студенчества.

Стр. 377. *...родственники у меня между ними есть...*— Здесь и дальше речь идет о молодых участниках революционного движения и об ожидающих их судьбах: аресте, ссылке, эмиграции.

...женский вопрос, с точки зрения Фонарного переулка, разрешают! — В Фонарном переулке находились публичные дома и бани Воронина с «семейными номерами» по существу того же назначения.

[1] Ф. М. Достоевский. Дневник писателя за 1876 год. Январь, СПб. 1877, стр. 1—2.— Полн. собр. соч., XI, ГИЗ, М. 1929, стр. 145—146.

[2] Черновые заметки к «Дневнику писателя за 1876 год» — См. С. Борщевский. Щедрин и Достоевский, Гослитиздат, М. 1956, стр. 290. Там же, на стр. 288—295, см. подробно об отношении Достоевского к рассказу Салтыкова и к проблеме «отцов и детей».

[3] Ф. М. Достоевский. Дневник писателя за 1876 год, Декабрь, СПб. 1877, стр. 323—324.— Полн. собр. соч., XI, ГИЗ, М. 1929, стр. 491.

Стр. 378. *И сделался бы Коронатушка адвокатом...* — Об адвокатах — «откупщиках трибуны» см. в очерке «Переписка». Далее Салтыков упоминает два громких судебных процесса 70-х годов: 1) мясниковское дело — процесс братьев Мясниковых, обвинявшихся в подделке духовного завещания купца Беляева (см. по указателю имен в т. 10 наст. изд.) и 2) дело о поджоге овсянниковской мельницы с целью получения арендатором страховой премии. Последнее «дело» слушалось в Петербурге 25 ноября — 6 декабря 1875 года. Участвовавший в процессе адвокат Языков просил на одном из заседаний отложить разбирательство ввиду своей болезни («он — в обморок») и был заменен адвокатом Потехиным (*ПВ*, 1875, №№ 271 и 272, 4 и 5 декабря). Выкликать — вызывать свидетелей.

Стр. 381. *...в том самом Чемезове, с которым я уже столько раз знакомил читателя. Я остановился у Лукьяныча...* — См. «Столп» и «Кандидат в столпы».

Стр. 382. *...первый холерный год...* — 1830, когда Европейскую Россию охватила эпидемия холеры, возобновлявшаяся и в последующие годы.

Стр. 385. *«Достойная»* — молитва «Достойно есть...», важнейшая часть литургии (христианской обедни), перед освящением честных даров.

Проскомидия — начальная часть литургии.

Стр. 386. *...целую шайку подмётчиков изловил!* — В 1874—1875 годах правительство предприняло расправу с народническими кружками. Деятельность Павла Федоровича (см. стр. 398—399) — пример охранительного усердия, благодаря которому полицейские акции против непосредственных участников «хождения в народ» переросли в волну преследования всех инакомыслящих и неблагонамеренных («осуждающих»). Подмётчики — распространители «подметных писем», то есть прокламаций.

Стр. 390. *...солгал я «по-родственному».* — Реминисценция из очерка «По-родственному», первоначально входившего в «Благонамеренные речи» (подробнее см. на стр. 544 вводной статьи). С «головлевскими» очерками связывают «Непочтительного Короната» также и «Головлята» (см. стр. 396 и далее).

Стр. 393. *Вот Хам: что ему было за то, что отца родного осудил! И до сих пор хамское-то племя... только недавно милость им дана!* — Машенька ссылается на библейскую легенду о праотце Ное и его непочтительном сыне Хаме (Бытие, IX, 18—29) и говорит о крестьянской реформе.

Стр. 396. *...уловлял вселенную в качестве судебного следователя* — то есть выискивал неблагонадежных.

Стр. 399. *Анпетов.* — См. очерки «Охранители» и «Отец и сын».

Стр. 400. *«Ach, mein lieber Augustin!»* — издавна бытовавший в России немецкий вальс.

Стр. 402—403. *Следствие будет мертво, если в него не вложен дух жив <...> Было известно под именем «корней и нитей»?* — Намек на жандармское рвение чиновников следственной части и на крайнюю предвзятость

обвинителей в политических процессах 70-х годов. Подробнее см. в очерке «Переписка» и комментарии к нему. «Дух жив» (или «дух жизни») — библейское выражение (Бытие, II, 7; Посл. к римлянам, VIII, 2, 10). О «корнях и нитях» см. в прим к стр. 187.

Стр. 404. *Ектении* — название ряда молитвенных прошений, составлявших часть православного богослужения. В одну из ектений, которая имеется тут в виду, входит моление «о государе и доме его».

Егорьев день — праздновался 23 апреля ст. ст.

...финиссе... лессе! — перестаньте... оставьте! (*франц.* finissez... laissez!) Из песенки «La chatouilleuse» (см. прим. к стр. 154—155).

Стр. 405. *Афонский устав.*— Гора Афон в Греции была средоточием мужских православных монастырей с особенно строгим уставом.

В ДРУЖЕСКОМ КРУГУ

(Стр. 407)

Впервые — *ОЗ,* 1874, № 3 (вып. в свет 19 марта), стр. 207—232, под заглавием «Благонамеренные речи. VIII».

Рукописи и корректуры не сохранились

При подготовке очерка для *изд. 1876* Салтыков дал ему заглавие «В дружеском кругу», провел стилистическую правку и исключил в конце очерка фрагмент с «— Так что, например, болгары, сербы...» по «...собственная состоятельность» (стр. 431 наст. тома). Изъятие это было сделано, по-видимому, из цензурных опасений, связанных с обострением положения на Балканах: в 1875 году в Боснии, Герцеговине и Болгарии были подавлены восстания против турецкого ига, в 1876 году было подавлено новое восстание в Болгарии и началась война Сербии и Черногории (с участием русских добровольцев) против Турции. Все это сильно ухудшило русско-турецкие отношения (через год началась война).

При подготовке очерка для *изд. 1880* Салтыков сделал незначительные стилистические поправки. В *изд. 1883* очерк перепечатывался без изменений.

Главным «предметом» настоящего очерка является критика еще одной из «благонамеренных речей» — о «любви к отечеству».

Прибегая к своим обычным приемам — диалогическому развитию сюжета и обнажению единой сущности явлений при внешне различных их признаках,— Салтыков сталкивает в споре о патриотизме представителей двух «общественных направлений» — Тебенькова (уже известного читателю по очерку «По части женского вопроса») и Плешивцева.

Первый — «западник» и «государственник»; второй — «почвенник», выразитель «русской точки зрения». «Беспощадная полемика», которую ведут друг с другом Тебеньков и Плешивцев по каждому вопросу, заканчивается их обоюдным признанием, что «в сущности, мы ни по одному вопросу ни в чем существенном не расходимся». Реально-исторический комментарий раскрывает фигуру Тебенькова как сатирическую

персонификацию всех направлений и оттенков так называемой государственной, или юридической, школы в русской историографии и — шире — в русской идейной жизни 60—70-х годов. Школа эта наиболее ярко была представлена в трудах Чичерина, Кавелина и Сергеевича. Фигура Плешивцева сатирически олицетворяет националистические направления в русских идеологических системах — теорию официальной народности Уварова и Погодина, «почвенничество» Ап. Григорьева и Достоевского, позднее славянофильство И. Аксакова и Самарина и др. Сигналом для узнавания спорящих сторон (при единстве их в защите самодержавной государственности) служат употребляемые ими «диалектические особенности». В качестве этих «особенностей» приводятся терминологические и фразеологические штампы рассматриваемых идеологических систем и направлений, используемые для их же осмеяния и заклеймения: с одной стороны — «порядок», «административное воздействие», «дисциплина» и пр., с другой стороны — «почва», «гнилъ» (Запада), «подоплека», «любви действо», «жизнь духа» и «дух жизни» и пр.

Поводом для спора Тебенькова с Плешивцевым о «любви к отечеству» служит протест эльзасского депутата Тейча в германском рейхстаге против насильственного отторжения Эльзаса и Лотарингии от Франции. Истинный патриотизм Тейча противопоставляется Салтыковым как мнимому «отечестволюбию» Тебенькова и Плещивцева, так и тому лжепатриотизму, которым немецкая плутократия оправдывала политику Бисмарка, «железом и кровью» создававшего Германскую империю.

Начальные страницы очерка представляют автобиографический интерес. В них введены воспоминания и оценки Салтыкова, относящиеся к годам его пребывания в Царскосельском (с 1844 — Александровском) лицее, к первому времени по выходе из «заведения», к моменту столкновения с миром «практической деятельности» в Вятке и к периоду «либеральной весны» середины и конца 50-х годов. (Подробнее см. *Макашин,* стр. 118 и след.)

Стр. 409. *...начальство везде искало «людей» <...> сквозь пальцы смотрело на <..> убеждения.*— В период политики «правительственного либерализма» второй половины 50-х годов в правящих кругах одним из рычагов «обновления России» считалось внедрение на руководящие посты в центральном государственном аппарате и в провинции молодых людей, образованных, честных, энергичных и исполнительных. Эта политика привела к тому, что в либеральном «обновлении» России принимали участие люди самых различных убеждений (в том числе — социалистических, как сам Салтыков или ряд будущих деятелей «Земли и воли»). Ирония и автоирония направлены здесь, по-видимому, на тот политический принцип, который был сформулирован Салтыковым в 1862 году в проекте объявления об издании журнала «Русская правда»: «Как бы ни были различны и даже взаимно противоположны наши руководящие принципы, но *дело,* нам предстоящее,— для всех одно» (см. т. 18 наст. изд.).

Стр. 410. *Мундирные дни* — дни больших церковных праздников и так называемые «царские дни» (именины государя, годовщины его коронации и др.), когда высшие чиновники были обязаны являться на торжественные богослужения, а потом на приемы к властям, в парадных мундирах.

Благонравен ли русский мужик? Привязан ли он к <...> основам <...> Какую дозу свободы может он вынести... — Перечисляются некоторые из «вопросов», вставших перед правительством нового царя, Александра II, в связи с вынужденной после крымского поражения необходимостью заняться вплотную подготовкой отмены крепостного права и другими реформами. Характером и содержанием ответов, которые даются на эти «нешуточные вопросы» молодыми людьми из высшего дворянства, прослужившими в провинции несколько лет и призванными властью к «обновительной деятельности», Салтыков показывает как поверхностность знания этими людьми народной жизни, так и формально-бюрократическое существо их информации, сообщаемой в рамках «подчиненной искренности». Эти «ответы» — «благонравен», «привязан», «обеспечен», «способен и достоин» — пародируют канцелярские формы аттестации чиновников в их послужных или формулярных списках. Таким афористическим приемом Салтыков указывает на бюрократический, «мундирный» характер подготовки правительством крестьянской и других реформ.

Стр. 413. *«Пур ле жанс»* — для слуг (от *франц.* pour les gens).

Стр. 415 *Предки Тебенькова <...> один был спальником, другой чашником <...> Дед <Плешивцева> послан <...> Потемкиным за <...> севрюжиной <.> «Первые дружинники — вот мои предки,— говорит <Тебеньков>.» <...> «Первые излюбленные люди — вот мои предки,— говорит <Плешивцев>»* — Одно из многих в салтыковской сатире мест, где высмеиваются генеалогические легенды русских аристократических родов, большею частью дворянско-служилого, а не княжеско-боярского происхождения. Дружинники — в удельно-княжеской Руси — отряды воинов, во главе которых стоял князь, ближайшая опора его власти; явились основой формирования класса русских феодалов. Излюбленные люди — старорусское название лиц, выбранных на какую-либо общественную должность. Здесь — участники земских соборов — сословно-представительных учреждений России XVI—XVII веков; главную роль в соборах играли представители служилого, то есть дворянского класса. Первый Романов — Михаил Федорович — был избран на российский престол Земским собором (1613).

Стр. 415—416. *Тебеньков стоит на почве государственной религии <...> Плешивцев <...> видит в последней не «подспорье» <...> а основание <...> Жалеет о временах патриархов.*— Точка зрения Тебенькова совпадает с официальной, суть которой Чичерин формулировал следующим образом: «Действуя на душу, религия воздерживает своеволие и внушает человеку уважение к высшим требованиям власти и порядка. Поэтому религия в обществе должна быть почитаема и церковь должна пользоваться надле-

жащею защитою государства» (Б. Н. Чичерин. О народном представительстве, М. 1866, стр. 470). Плешивцев разделяет славянофильски-почвенническую концепцию русского народного характера, согласно которой религиозное чувство определяет такие черты, как «смирение» и «преданность» монархической власти Времена патриархов — XVI—XVII века, когда русская церковь, возглавляемая патриархом, оказывала в его лице значительное влияние на политику монархии. Петр I, заменив правление патриарха Синодом, уничтожил доминирующую роль церкви.

Стр. 416. *Но не страха ради иудейска...*— реминисценция евангельского текста «ученик Иисуса, но тайный — из страха от Иудеев» (Иоанн, XIX, 38), ставшая поговоркой: ради страха иудейска, то есть из страха перед власть имущими.

A Provins, trou-la-la! .— песенка из репертуара популярной в Петербурге шансонетки Альфонсин. См. по указателю имен в т. 10 наст. изд.

.. требование устава благоустройства и благочиния...— Полицейский раздел в «Своде законов Росс. имп.» (тт. XI—XV) назывался: «Законы государственного благоустройства и благочиния».

Стр. 418. *...речь одного из эльзас-лотарингских депутатов, Тейча...*— 17 февраля 1874 года депутаты Эльзас-Лотарингии потребовали в рейхстаге, чтобы население этих провинций, «присоединенное без его согласия к составу Германской империи <...> было приглашено высказаться по поводу этого присоединения». 18 февраля эльзасский депутат Тейч выступил по этому поводу, ссылаясь на патриотические чувства, которые «влекут его соотечественников к их общей родине». Речь его прерывалась насмешливыми репликами депутатов и призывами к порядку со стороны президента (*«СПб. вед.»*, 1874, №№ 40 и 41, 9/21 и 11/23 февраля; *РМ*, 1874, № 40, 12/24 февраля).

Стр. 419. *...общее à tous les coeurs bien nés свойство любить свое отечество.*— Выражение из трагедии Вольтера «Танкред» (действ. III, явл. 1), многократно используемое в салтыковской сатире для разоблачения лжепатриотизма правящих классов (см. *Макашин*, стр. 106).

Стр. 420. *Они скорее готовы примириться с архиепископом Ресом...*— После речи Тейча эльзасский депутат епископ Рес заявил под «шумное одобрение рейхстага», в котором большинство составляли депутаты-протестанты, что католики Эльзас-Лотарингии не намерены оспаривать франкфуртский трактат 1871 года (по которому эти провинции отошли к Германии). Возмущение избирателей вынудило Реса объяснить свое заявление в рейхстаге намерением добиться от правительства уступок в пользу католической церкви (*«СПб. вед.»*, 1874, № 41, 11/23 февраля; *РМ*, 1874, №№ 40 и 49, 12/24 февраля и 21 февраля/5 марта).

Чистые сердцем — евангельское выражение (Матфей, V, 8).

«Да будет забвенна десница моя, ежели забуду тебя, Иерусалиме!» — Из библейского псалма (Псалтирь, CXXXVI, 5).

«На реках вавилонских, тамо седохом и плакахом».— Из того же псалма (CXXXVI, 1).

..Бисмарк, освежающий разгоряченную <..> голову насмешкою, почерпнутою из устава о благоустройстве ..— 8/20 февраля 1874 года Бисмарк заявил в рейхстаге, что запрещение католической газеты «Germania» вызвано «нравственными и политическими интересами империи» (*PM,* 1874, № 41, 13 февраля; *MB,* 1874, № 39, 14 февраля).

Превратные толкования.— См. прим. к стр. 44.

Стр. 423 *С канканчиком-с, с польдекоковщиной-с <...> в танцклассе у Марцинкевича ..*— См. прим. к стр 116.

Стр. 424. *Уплатили пять миллиардов немцу...*— Контрибуция после поражения Франции в войне 1870—1871 годов.

«Жизни духа, духа жизни»! — Восходящая к Евангелию (Посл. к римл, VIII, 2) славянофильская формула религиозно-нравственного чувства. См. стр. 611—612 в т. 6 наст. изд. Ср. также прим. к стр. 402—403 и 187 в наст. томе.

...Эльзас <...> Лотарингия были когда-то немецкими провинциями? — Эльзас и Лотарингия в XVI—XVII веках были объектами борьбы Франции и империи Габсбургов; окончательно вошли в состав Франции после Тридцатилетней войны (1618—1648).

Шасспо.— См. прим. к стр. 123.

Стр. 426. *Александринка.*— См. прим. к стр. 259.

Вспомни лурдские богомолья, вспомни парэ-ле-мониальское посвящение Иисусову сердцу! — Подразумеваются демонстративные акции монархического большинства французского Национального собрания, связанные с падением республиканско-консервативного правительства Тьера 24 мая 1873 года. пилигримство в Лурд и благодарственные моления в Парэ-ле-Мониале. Подробнее см. на стр. 516 в т. 8 наст. изд.

Благодарю — не ожидал! — Крылатое выражение, пущенное в 60-х годах В. А. Соллогубом; встречается в стихах П. А. Вяземского.

Стр. 427. *Вспомни удельный период <...> Тверь, Новгород, Псков...*— Подразумеваются распри удельных князей в XII—XV и войны Москвы в XV—XVI веках за подчинение Тверского княжества, Новгорода и Пскова.

Стр. 428. *...это своего рода дарвинизм...*— См. прим. к стр. 19—20.

Стр. 431. *...обсуждают новый закон о книгопечатании, предпринимают реорганизацию армий и флотов...*— Эти законопроекты германский рейхстаг обсуждал в феврале 1874 года.

Ведь географические границы — дело наживное! Ведь таким образом Ветлуга, Малмыж, Чебоксары...— В контексте спора о «любви к отечеству» в зависимости от его меняющихся «географических» (собственно же государственных) границ эта незаконченная фраза напоминает, что и реки Ветлуга, и города Малмыж и Чебоксары вошли в состав России в XVI веке, после взятия Иваном Грозным Казани и ликвидации Казанского ханства.

В ПОГОНЮ ЗА ИДЕАЛАМИ

(Стр. 432)

Впервые — *ОЗ*, 1876, № 4 (вып в свет 23 апр.), стр. 553—572, под заглавием «Благонамеренные речи В погоню за идеалами».

Сохранилась наборная рукопись.

Замысел статьи «В погоню за идеалами» возник у Салтыкова уже после того, как он посчитал «Благонамеренные речи» завершенными: «С «Благонамеренными речами» покончил,— писал Салтыков из Ниццы Анненкову в Баден-Баден 20 ноября/2 декабря 1875 года.— Знаю, что много бы нужно еще сказать, да ведь и кончить когда-нибудь надо. Вот насчет государственности и национальности надо бы что-нибудь еще сказать, благо Франция — прекраснейший пример под глазами. Как ее распинают эти сукины дети в Национальном собранье! Так поедом и едят. Вот и чужая сторона, а сердце по ней надрывается Где такое собрание истинных извергов найдешь! И все-таки не отчаиваешься: отсюда, а не от инуду правда будет. Может быть, я об этой государственности и напишу что-нибудь, да только не теперь».

Статья «В погоню за идеалами» написана в Ницце, не раньше конца февраля и не позже марта 1876 года: в ней говорится о предвыборной борьбе и победе республиканцев на выборах 20 февраля во Франции 1/13 апреля Салтыков писал Некрасову: «Посылаю Вам <...> небольшую статью <...> Не знаю, напечатаете ли Вы ее: во-первых, она не вполне цензурна по сюжету и, во-вторых, довольно скучна. Вы удивитесь, конечно, что сам автор так отзывается о своей статье, но я написал ее, потому что так было нужно по ходу моих идей <...> Может быть, Вы, зная современные обстоятельства, найдете, что можно напечатать. Что касается до меня, то я совсем на этот счет спутался, хотя всем организмом чувствую, что близко время, когда я и опять встану на стезю».

Опасения Салтыкова оказались на этот раз напрасными. Рукописный текст во всем совпадает с печатным, за исключением одной фразы: в середине обзаца «Повторяю: покуда низменные...» (стр. 447 наст. тома), после слов «...за тем все отношения его к государству...», фраза «как и у нас» отсутствует в журнальной публикации и всех последующих прижизненных изданиях (вероятно, по цензурным причинам). Впервые фраза «как и у нас» восстановлена в *изд. 1933—1941*.

Статья «В погоню за идеалами» посвящена той разновидности «благонамеренных речей», которые произносились в современном Салтыкову обществе о государстве. «...Вопрос о государстве,— указывал В. И. Ленин,— есть один из самых сложных, трудных и едва ли не более всего запутанных буржуазными учеными, писателями и философами»[1]. Салтыков не раз касался этого вопроса как на страницах «Благонамеренных речей» (см. очерки

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, изд. 5-е, т. 39, стр. 64.

«В дружеском кругу» и «Тяжелый год»), так и в других произведениях, особенно в цикле «Круглый год». Но определить с полной ясностью, как решался им вопрос о государстве, особенно трудный для изложения в подцензурной печати, нелегко. Размышления писателя на эту тему противоречивы. Круг их не замкнут.

Салтыков был чужд анархическому мировоззрению. Он признавал государство в качестве необходимого «общего строя вещей». Неясность понятий о государстве и отсутствие «живого чувства государственности» являлись в его глазах глубоко отрицательными показателями гражданской незрелости масс и общества. Но *теоретические определения,* которые давал писатель понятию «государство», опирались на представления, усвоенные им из рационалистической и социально-этической идеологии просветителей и утопических социалистов.

В комментируемой статье, как и в ряде других своих произведений, Салтыков повторяет положения о том, что государство осуществляет «высшую идею правды» и «вне государства нет ни справедливости, ни обеспеченности, ни цивилизации». Идеалистический характер таких формулировок очевиден. Понятие государства определяется вне его осмысления в качестве исторической категории, которой оно является, вне связей с экономическим строем общества и борьбой антагонистических (классовых) интересов в нем. Важно, однако, подчеркнуть, что комментируемые формулировки относятся к обобщениям Салтыкова в области теории государства и трактуют не о том, что есть, а о том, что должно быть.

Когда же Салтыков обращается к конкретным явлениям в жизни современных ему государств, он поднимается до удивительно ясного понимания существа дела, очень близко подходя к определению *классовой* сущности рассматриваемых фактов. Именно таков художественно-публицистический анализ, которому подвергнута в комментируемой статье государственность объединенной в 1871 году на прусско-милитаристской основе монархической Германии, французской «республики без республиканцев» и, в более завуалированной (по цензурным причинам) форме, царского самодержавия. «В погоню за идеалами», вместе с книгой «За рубежом», принадлежит к высшим, в данной области, достижениям русской общественной мысли на ее домарксистском этапе.

Используемые в статье факты и наблюдения, относящиеся к общественно-политической жизни «заправской Европы», в значительной мере взяты Салтыковым из личного опыта: более года, с начала апреля 1875 года до конца мая 1876, он провел, с лечебными целями, за границей, в Баден-Бадене, Париже и Ницце.

Стр. 434. *Была горькая година...* — Крымская война 1854—1856 годов (см. «Тяжелый год»).

Стр. 435. *...не имели никакого понятия ни о ключах от храма гроба господня, ни об устьях Дуная...* — то есть о внешних поводах Крымской войны, одним из которых был отказ турецкого правительства признать права

православной церкви на обладание «святыми местами» в Палестине, в том числе Храмом св. гроба господня в Иерусалиме (отсюда выражение «ключи от гроба господня»). Подлинной причиной войны было стремление России получить выход из Черного моря в Средиземное через Дарданеллы и укрепиться на Ближнем Востоке и на Балканах. Военные действия начались на подступах к Балканам, в районе устья Дуная.

А о казне-матушке даже пословица <...> доказывает <..> ее долготерпение.— По-видимому, подразумевается послогица: «Казна — не убогая вдовица: ее не оберешь» (В. Даль Пословицы русского народа).

Очищение окладных листов — уплата окладных сборов (налогов).

Стр. 435—436. *...альпийское побережье Средиземного моря, Шлезвиг и, наконец, Эльзас и Лотарингию <...> Кишат людьми, которые <...> не могут понять, почему они обязаны с такого-то момента считать своим государством Францию, а не Италию, Германию, а не Данию и не Францию.*— Альпийское побережье — Савойя и Ницца; с 1720 года входили в состав Сардинского королевства, в 1860 году переданы Франции в обмен на Ломбардию. Шлезвиг и Гольштейн — датские провинции, присоединенные к Пруссии в результате войн 1864—1866 годов по Пражскому миру, обязавшему страну-победительницу провести плебисцит о присоединении в тех землях Шлезвига, где преобладали датчане. Невыполнение этого решения вызвало там активное недовольство. О судьбе Эльзаса и Лотарингии см. в очерке «В дружеском кругу».

Стр. 436. *...исключение составляет Ташкент, но и то не потому, чтобы там идеи о государстве были очень ясны, но потому, что правда, осуществлявшаяся в лице автобачей, не в пример менее доброкачественна, нежели правда, олицетворением которой явились русские уездные исправники.*— Завоевание Россией Средней Азии в XIX веке имело для нее двоякие последствия. С одной стороны, оно означало превращение среднеазиатских ханств в колонии царской империи, с другой — приобщало народы и экономику феодальных ханств, где существовало еще рабство, к более высокому социально-экономическому строю. В комментируемом тексте Салтыков имеет в виду второе из указанных исторических последствий присоединения Средней Азии к России. Слова «в лице автобачей» имеют в виду, в ее нарицательном обобщении, фигуру кокандского сановника Абдурахмана Автобачи, одного из руководителей Кокандского восстания 1874—1876 годов. Восстание это было направлено не только против хана, но и против царизма, подавление восстания привело к ликвидации Кокандского ханства.

Покуда люди жили «без тоски, без думы роковой»...— Строка из стихотворения А. Майкова «Fortunata» используется здесь для характеристики общественно-политического застоя в царствование Николая I.

...сепаратисты говорили <...> Но вот консерваторы первые заметили <...> что-то неладное и, разумеется, приписали это интригам злонамеренных людей.— Речь идет об усилении в пореформенный период сепаратистских тенденций на Украине, в Прибалтике, Молдавии, Сибири

и особенно в Польше и о систематических выступлениях против «сепаратизма» Каткова в «Моск. ведомостях» и Аксакова в «Дне», об изображении авторами «антинигилистических» произведений действий революционеров как следствия злонамеренных происков агентов «польской интриги». Ср. стр. 624 и 661 в т. 6 наст. изд.

Княжна Оболдуй-Тараканова.— См. о кн. Оболдуй-Щетина-Ферлакур «Четвертую параллель» в «Господах ташкентцах» (т. 10 наст. изд.).

Стр. 438. *...в Писании-то сказано: имущему прибавится, а у неимущего и последнее отнимется!* — «Почтенная старушка» в прямом смысле понимает иносказательный евангельский текст: «Всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет» (Матфей, XXV, 29).

Стр. 439. *Шифр* — здесь: брошь или бант с вензелевым изображением имени императрицы, награда успешно окончившим институт благородных девиц.

Департамент препон — одно из многих в салтыковской сатире названий, указывающих на бюрократический характер государственных учреждений царизма.

«О мерах к пресечению распространения идей между инородцами, населяющими Мамадышский уезд» — Эта докладная записка Горохова, особенно ее заключительные строки (стр. 441), напоминает проект шефа жандармов Шувалова по поводу искоренения «дурного духа» в Поволжье, уже подвергавшийся сатирическим нападкам Салтыкова (см. стр. 390 и 652 в т. 7 наст. изд.). Мамадышский уезд Казанской губернии — одно из самых глухих захолустий старой России.

Стр. 442. *L'amour — qu'est<-ce>que* — См прим к стр. 311.

Кормилица Домна — реальное лицо в биографии Салтыкова (см. *Макашин,* стр. 47—48).

Стр. 443. *...женщины <..> из ребра Адамова?* — Ссылка на библейский миф (Бытие, II, 22).

Стр. 445 *.. южная Германия — больное место империи, созданной войной 1870—71 г. ...*— Прусское правительство и печать оправдывали политику насильственного объединения Германии необходимостью обороны страны от ее «наследственного врага» — Франции (участвовавшей в многочисленных войнах против Германии в XVI—XIX веках). Для окончательного объединения Германии — в Северогерманский федеративный союз 1867 года не вошли государства южной Германии (Баден, Бавария, Вюртемберг, Гессен-Дармштадт) — Бисмарк спровоцировал в 1870 году войну с Францией. Перед лицом военной угрозы южные государства присоединились к Союзу и была провозглашена Германская империя под гегемонией Пруссии. Во избежание сепаратистских тенденций — партикуляризма — за отдельными государствами-членами сохранились прежнее государственное устройство и самостоятельность внутренней политики (в пределах общеимперского законодательства). Однако сепаратизм давал себя сильно чувствовать, особенно в южных государствах и присоединенных после той же войны Эльзасе и Лотарингии.

Шаумбург-Липпе — одно из карликовых германских государств (княжеств).

Стр. 446. *...ожидание добычи, в виде пяти миллиардов.*— Такова была сумма контрибуции, полученной Германией от Франции.

Да, все политическое существование современной Германии представляет <...> борьбу с партикуляризмом, борьбу с католицизмом, борьбу с социалистическими порываниями...— Правительственный курс на создание военизированной империи подвергался нападкам и справа и слева. Партикуляризм поддерживала католическая церковь, так как Бисмарк стремился ограничить ее влияние. Социал-демократическая партия выступала против милитаризма и аннексий. Влияние этой партии быстро возрастало вместе с ростом численности рабочего класса и его самосознания, что тревожило правящие круги. 9 февраля 1876 года Бисмарк в рейхстаге обрушился с нападками на социал-демократов, его выступление излагали многие русские газеты (см. *«СПб. вед.»*, 1876, № 33, 2/14 февраля).

Стр. 447. *Гелертер* — ученый (*нем.* Gelehrter).

«Wacht am Rhein», «Kriegers Morgenlied» — немецкие шовинистические песни.

Стр. 449. *...легитимисты, орлеанисты и бонапартисты...*— Легитимисты — сторонники «легитимной» (законной — от *франц.* légitime) монархии Бурбонов. Орлеанисты — приверженцы потомков Луи-Филиппа Орлеанского. В 1873 году обе партии объединились, образовав большинство в Национальном собрании. Бонапартисты отстаивали права на престол сына Наполеона III.

..скандалы < .> канувшего в вечность Национального собрания...— Ожесточенная борьба монархистов с республиканцами ознаменовала деятельность Национального собрания созыва 1871—1875 годов, занимавшегося выработкой форм правления во Франции. На этот период падают: отставка премьер-министра Тьера, смена кабинетов, попытки реставрации монархии, разногласия при обсуждении конституции, принятой большинством в один голос, и т. п.

Стр. 450. *...ударились в коммуну...*— Имеется в виду Парижская коммуна 1871 года. Об отношении к ней Салтыкова см. в гл. V «Итогов» и комментарии в т. 7 наст. изд.

...Франция была покрыта целою сетью комитетов, которых цель заключалась в уловлении масс.— Выборы в Национальное собрание происходили 20 февраля 1876 года. Для организации предвыборной кампании партии создали свои комитеты, например «легитимистский выборный комитет», бонапартистский «комитет национальных консерваторов», «комитет консервативного союза Франции», «католический избирательный комитет» и др. (*ОЗ*, 1876, № 3; Людовик, «Хроника парижской жизни», стр. 62—64).

ТЯЖЕЛЫЙ ГОД

(Стр. 451)

В первоначальной редакции впервые — *ОЗ*, 1874, № 5, стр. 245—268, под заглавием «Благонамеренные речи. IX». По постановлению Комитета министров от 30 июля 1874 года книжка журнала была запрещена и 2 сентября уничтожена. В цензурной, смягченной редакции впервые — «Новое время», 1876, № 112, 22 июня/4 июля, № 113, 23 июня/5 июля, № 114, 24 июня/6 июля, под заглавием «Тяжелый год (С лишком за двадцать лет назад)».

Рукописи и корректуры не сохранились.

В цензорском отзыве о майской книжке «Отеч. записок» в числе наиболее опасных статей была названа очередная глава «Благонамеренных речей»:

«Щедрин, посвящающий свою сатиру в последнее время не на бичевание и осмеяние общественных пороков и недугов,— докладывал цензор,— а избравший предметом для нее преимущественно администрацию и в особенности тех лиц, которые на административной лестнице занимают высшие ступени, и в означенном очерке имеет целью представить в самом невыгодном свете действия какого-то губернатора и управляющего палатою государственных имуществ в одной из губерний. Замаскировав звание губернатора прозвищем патриарха, избрав временем действия Крымскую войну 1853—1856 годов, Щедрин описывает, как губернатор этот, попав на место по протекции какой-то старушки, выигравшей на пари у министра две губернаторские вакансии, не обладая никакими положительными качествами и быв весьма скромным человеком вначале, вдруг сделался взяточником, когда для этого открылась возможность при происходивших в то время беспрестанных наборах, сборе ополчений и разных поставках для армии; как он соединился для этого с управляющим палатою, отъявленным плутом и негодяем, и как вдвоем они стали грабить всех и каждого. Рассказ этот, наполненный разными подробностями безобразий, со свойственным перу автора юмором, становится особенно предосудительным по одному месту, где влагается в уста управляющего палатою известное мнение о самодержавии и республике, приписываемое императору Николаю I, и с нескрываемым сарказмом и иронией доказывается польза для России самодержавия, как самого лучшего образа правления» [1].

Уничтоженный номер «Отеч. записок» в настоящее время является библиографической редкостью: известны лишь четыре его экземпляра, хранящиеся в фондах советских библиотек [2].

Два года Салтыков, по-видимому, не предпринимал попыток провести запрещенный очерк в печать. В 1876 году А. С. Суворин, занимавший тогда

[1] В. Е. Евгеньев-Максимов. В тисках реакции, ГИЗ, М.—Л. 1926, стр. 45.

[2] См.: Л. М. Добровольский. Запрещенная книга в России. 1825—1904, М. 1962, стр. 112—113.

умеренно-либеральные позиции, стал издателем газеты «Новое время» и обратился с предложением принять в ней участие к ряду писателей, в том числе к Салтыкову. Суворину было известно, что у Салтыкова имеются произведения, выброшенные цензурой из «Отеч. записок», и он, посоветовавшись предварительно с Некрасовым, предложил Салтыкову, находившемуся в то время за границей, напечатать их в «Новом времени». 25 февраля/8 марта 1876 года Салтыков сообщал Некрасову из Ниццы: «Суворин и Лихачев обращались ко мне по поводу «Нового времени» и писали, что Вы будете об этом тоже писать. Просят «Экскурсии» да еще сожженные «Благонамеренные речи». Я — не прочь. Только что из этого выйдет?»

Получив девятую главу «Благонамеренных речей», Суворин, вопреки ожиданиям Салтыкова, «бросился с нею к цензорам, которые и сказали ему, что лучше обождать» [1]. Однако месяц спустя эта глава в качестве самостоятельного очерка «Тяжелый год. (С лишком за двадцать лет назад)» все же появилась в «Новом времени», но, как уже сказано, в значительно смягченной редакции. Документальные данные, на основании которых можно было бы установить время переработки очерка (до передачи Суворину или по совету Суворина после его обращения к цензорам) и степень участия в ней писателя, отсутствуют. Можно лишь *предположить,* что переработка производилась в два этапа: сначала были изменены места, упомянутые в отзыве цензора о майской книжке «Отеч. записок», а после консультаций Суворина с цензорами, наблюдавшими за «Новым временем»,— все остальное. Возможно, что некоторые изменения были внесены Сувориным, но Салтыков имел возможность ознакомиться с ними, так как незадолго до печатания очерка в газете вернулся из-за границы в Петербург, где пробыл около недели перед отъездом в деревню.

Не вполне ясным остается вопрос относительно первоначального авторского заглавия очерка. В письме к Некрасову от 11/23 мая 1876 года Салтыков называет очерк «С т р а ш н ы й г о д», а не «Тяжелый год». Под этим же заглавием очерк упоминается в 1899 году и Михайловским в статье «Памяти Салтыкова» [2]. Однако через все остальные издания «Благонамеренных речей» прошло заглавие первоначальной публикации очерка: «Тяжелый год».

Во всех прижизненных изданиях, кроме «Отеч. записок», вслед за заглавием очерка следовал подзаголовок в скобках: «С лишком за двадцать лет назад» — в «Новом времени» и «За двадцать лет назад» — в отдельных изданиях. В настоящем издании, как и в *изд. 1933—1941,* подзаголовок рассматривается как цензурное наращение и не сохраняется. Он был понятен в условиях того исторического момента, когда очерк печатался в «Новом времени» и в *изд. 1876:* шла подготовка русско-турецкой войны 1877—1878 годов, уже тысячи русских добровольцев отправились в Сербию и сражались там. Но в последующих изданиях «Благонамеренных речей», в

[1] Письмо Салтыкова из Баден-Бадена к Некрасову от 11/23 мая 1876 года.

[2] «Русское богатство», 1899, № 6, отд. II, стр. 161.

80-е годы, подзаголовок потерял смысл, вступив в противоречие с хронологией содержания очерка. Очевидно, подзаголовок сохранялся в этих последующих изданиях механически.

Для публикации в «Новом времени» в текст очерка был введен — Салтыковым или Сувориным — ряд цензурных смягчений: «ссыльные» заменены «опальными», «политические» превращены в «так называемых «политических» (стр. 451 наст. тома, абзац «Я жил тогда...»), выпущены фраза о «строгих временах» и сравнение «патриарха» с ощипанной курицей (та же стр., середина абзаца «Патриарх у нас. .»); в письме графини вместо «министра» появился «двоюродный братец мой», вместо «на пари проиграл» — «обещал» (в *изд. 1876—1883* годов — «за любовь обещал»), вместо «проигранного места» — «обещанное за любовь» (стр. 452, абзац «И попал он...»); выброшена реплика вице-губернатора о «патриархе» («Рыбой берет!..», та же стр.); «сосланные» заменены «удаленными», «неблагонадежные элементы» — «благонадежными элементами», «жандармский полковник» — «полициймейстером» (стр. 453, абзац «В те времена...»); слова «жандармский полковник старался вникнуть» выброшены (стр. 459, абзац «Речь эта...»); «неограниченная монархия» заменена «Россией», «республика» — «Соединенными Штатами», слова «Это республика, воплощенная в одном лице» выброшены, фраза с «Конечно, ни одна страна...» по «...заатлантических друзей»)!» заменена другой: «А мы — все это выставим и двинем!» (стр. 464—465, абзац «— Я понимаю...»); выброшены слова: «...и переименовывалось в соответствующий военный чин» (стр. 467, абзац «Кто не мог...») и слова «За веру, за царя и отечество!» (стр. 468, абзац «— Молодцы, ребята!»), и др.

Летом 1876 года, при подготовке первого отдельного издания «Благонамеренных речей», Салтыков ввел «Тяжелый год» в этот цикл, устранив из очерка некоторые искажения и выпуски, сделанные при газетной публикации. Вновь появился в тексте фрагмент о «строгих временах» и сравнение «патриарха» с «ощипанной курицей», были восстановлены отзывы вице-губернатора о «патриархе» и др. Однако места, отмеченные в цензорском рапорте, по-прежнему оставались в искаженном по цензурным соображениям виде. Через все издания прошли «опальные», «двоюродный братец», до неузнаваемости изуродованным осталось и ядовитейшее рассуждение о самодержавии и республике.

Учитывая многочисленность и существенность исправлений, сделанных по цензурным соображениям, *очерк в настоящем издании печатается по тексту «Отеч. записок»* (с учетом мелких стилистических улучшений, произведенных Салтыковым в отдельных изданиях цикла).

Очерк «Тяжелый год» посвящен теме *о патриотизме подлинном и патриотизме мнимом,* прикрывающем «благонамеренными речами» о любви к отечеству самое низменное своекорыстие — социальное и личное.

В основу очерка легли непосредственные впечатления писателя от «великой ополченской драмы» «скорбной поры» Крымской

войны. Формирование ополчения, сопровождавшееся «неслыханнейшей оргией» казнокрадства, мошенничества и взяточничества, Салтыков наблюдал в 1854—1855 годах в Вятке. Несколько позже, по возвращении в Петербург, проводя в 1856 году в качестве чиновника особых поручений министерства внутренних дел ревизию делопроизводства Тверского и Владимирского комитетов ополчения, Салтыков ознакомился с казнокрадством, маскируемым заботами о нуждах отечества-«святыни». Дошедшие до нас цитаты из «Записки» Салтыкова о ревизии показывают, что полученные во время нее впечатления также вошли в «строительный материал» очерка [1]. Вместе с тем уже ушедшие в прошлое (для 70-х годов) факты периода Крымской войны осмыслены в очерке в свете «новейших поучений о патриотизме», преподанных событиями франко-прусской войны 1870—1871 годов.

Очерк «Тяжелый год» — одно из главнейших выступлений Салтыкова на тему о патриотизме. Об автобиографическом материале и значении очерка см. *Макашин,* стр. 433—436.

Стр. 451. *Губерния наша была не дворянская, и потому в ней не могли иметь место шумные демонстрации.*— В Вятской губернии, населенной государственными крестьянами, не было помещичьих имений и ее не затронули шумные изъявления дворянского «патриотизма» первых месяцев Крымской войны.

Стр. 452. *Акциденции* — термин Петровского времени, означавший узаконенные тогда добровольные даяния челобитчиков приказным, которые не получали казенного жалованья. Акциденции были уничтожены при Екатерине II. Здесь этот термин обозначает всякого рода взятки и поборы.

Еще узы ему бог не разрешил! — То есть не дал нравственной свободы. Перифраз строки псалма из Псалтири (CXV, 7).

Стр. 453. *...уездный лекарь Погудин, человек ума острого и прозорливого...*— В этом образе отражены некоторые черты характера и поведения вятского врача Н. В. Ионина, с которым Салтыков был дружески связан в годы своей ссылки. См. *«Салтыков в воспоминаниях»,* стр. 551 и 809—810.

.. ни о «внутренних врагах», ни о «неблагонадежных элементах» тогда даже в помине не было.— Фразеологизмы охранительно-реакционной публицистики, введенные в обиход в условиях подъема революционно-демократического движения 60-х годов Катковым и В. Безобразовым (Г. Джаншиев. Из эпохи великих реформ, М. 1893, стр. 287) и подхваченные руководителями внутренней политики царизма. Ср. стр. 307—314 и 627 в т. 7, стр. 173 в т. 8 наст. изд.

Стр. 454. *...были только махальные.*— Сведения с театра военных действий шли в столицу посредством «ручного телеграфа», употреблявшегося

[1] К. К. Арсеньев. Материалы для биографии М. Е. Салтыкова (при 1-м томе Полн. собр. соч. М. Е. Салтыкова-Щедрина, изд. 1891—1893 годов, стр. LVIII—LXI).

на флоте: расставленные в пределах прямой видимости махальные передавали депеши условными жестами.

.. загадочность газетных реляций. То держится Севастополь, то сдан...— В начале Севастопольской обороны в западноевропейских газетах появились сообщения о взятии Севастополя. Их опровергала русская печать (см. *«СПб. вед.»,* 1854, №№ 218—220, 30 сентября — 3 октября). Противоречивы были и другие сообщения о ходе военных действий (см. «Материалы для истории Крымской войны и обороны Севастополя». Ред. Н. Дубровин, вып. III, СПб 1872, стр 204—210).

Стр. 455. *Швальня* — портняжная.

...кто остался победителем при Черной ..— Подразумевается неудавшееся наступление русских при речке Черной под Севастополем 16 августа 1855 года

...наборы почти не перемежались.— В армию было призвано около миллиона человек (И. В. Бестужев. Крымская война, М. 1956, стр. 160).

Стр. 456. *Происходила великая драма, местом действия которой было рекрутское присутствие <...> объектом — податное сословие...*— Воинскую — рекрутскую — повинность отбывали тогда лишь представители сословий, плативших в казну подушную подать (или соответствующую ей), то есть практически крестьяне и мещане.

Стр. 457. *«Начальник края».*— В «Своде законов Росс. имп.» губернаторы именовались «начальниками губерний» (т. II, СПб. 1857, ч. 1, ст. 357 и далее).

Пришел наконец и манифест — Манифест, объявлявший призыв в народное ополчение, был подписан царем 29 января 1855 года, в ополчение вступило свыше 364 000 человек (И. В. Бестужев. Крымская война, М. 1956, стр. 162).

Стр. 458—459. *Чиновники «посторонних ведомств»* — то есть всех ведомств, не входивших в систему министерства внутренних дел. Здесь, в первую очередь, имеются в виду губернские учреждения, осуществлявшие хозяйственное обеспечение рекрутских наборов — казенная палата и палата государственных имуществ. Учреждения эти подчинялись непосредственно министерствам финансов и государственных имуществ; власть губернатора по отношению к ним ограничивалась лишь правом надзора («Свод законов Росс. имп.», т. II, СПб. 1857, ч. 1, ст. 558, 1098, 1321). Обвинение в следовании принципу разделения властей и в административном сепаратизме — намек губернатора на попытку чиновников этих палат использовать особое положение своих ведомств для лишения его доли барышей от организации ополчения. Ср. также стр. 628 в т. 7 наст. изд. Упоминание «про старших», о которых «не в той мере помнят, в какой по закону помнить надлежит»,— намек на предписанное законом создание для рекрутских наборов губернских комитетов в составе председателя казенной палаты, управляющего палатой государственных имуществ и предводителя дворянства под председательством губернатора («Свод законов Росс. имп.», т. II, ч. 1, СПб. 1857, ст. 352, 486).

Стр. 460. *И придут нецыи...*— Нецые — некие (*церковнослав.*). Далее — текст обычной вывески над входом в цирюльню.

Пионер — в салтыковской сатире одно из определений молодой, более цивилизованной генерации провинциальной бюрократии, шедшей на смену темному «гоголевскому» чиновничеству николаевской эпохи.

Если б я был женщина-романист...— Ниже пародируется, по-видимому, стиль повестей Кохановской.

Стр. 461. *Тамбурмажор* — главный полковой барабанщик; всегда был высокого роста и шагал перед строем.

Ess-bouquet — название дорогих французских духов.

Стр 462. *.. в особенности дорого было в этих «записках» — это полное совпадение их с тем общеопекательным тоном, который господствовал в то время в одной части петербургского бюрократического мира!* — Накануне крестьянской реформы среди славянофильски настроенных кругов бюрократии была распространена тенденция к «опекательным» установлениям по отношению к народу. Она ярко выразилась в широко ходившей в 1856 году записке Самарина «О крепостном состоянии и о переходе из него к гражданской свободе», где цитируется ряд проектов, доказывающих необходимость опеки над крестьянами «для предупреждения мотовства», «для предупреждения безрассудных браков» и прочих «безрассудств», к которым якобы склонны крестьяне (Ю. Ф. Самарин Соч., т. II, М. 1878, стр. 53). «Опекательная тенденция» определила, в частности, направление чиновничьей деятельности В. Даля, которая была известна Салтыкову (см. стр. 537—538 в т. 2 наст. изд.). Рассуждения и «записки» Удодова (стр. 463—464) пародируют подобные «опекательные» настроения и прожекты — см., например, заключительные строки изложения его «записки», конец абзаца «И он читал мне...».

Это как-то напоминало Ипполита Маркелыча Удушьева, о котором <...> отзывался Репетилов.— Вероятно, подразумеваются строки из монолога Репетилова в грибоедовском «Горе от ума» (действ. IV, явл. 4), начинающиеся словами: «Но если гения прикажете назвать: // Удушьев Ипполит Маркелыч!!!» и кончающиеся: «...сам плачет, и мы все рыдаем» (Последнее относится уже к Толстому-«Американцу».)

Стр. 463 *Наш народ — дитя ..*— Изложенная далее административно-«опекательная» философия пионера Удодова роднит его с «просвещенным» бюрократом-«озорником» из «Губерских очерков» (см. стр. 259—266 и 537—538 в т. 2 наст. изд.). Обычное право — освященные традициями и обычаями нормы поведения; см стр. 622 в т. 7 наст. изд. Фиск — государственная казна; здесь — чиновники, ведающие взиманием повинностей

Стр. 465. *...уже в то время провидел «заатлантических друзей»* — Под этим именем в русской печати фигурировала американская дипломатическая миссия, прибывшая в Петербург 25 июля 1866 года выразить «сочувствие» в связи с покушением Каракозова (см. стр. 775 в т. 10 наст. изд.).

Стр 466 *Фома неверующий!* — Выражение, восходящее к Евангелию (Иоанн, XX, 24—29).

ПРИВЕТ

(Стр. 473)

Впервые — *ОЗ*, 1876, № 6 (вып. в свет 21 июня), стр. 459—476, под заглавием «Благонамеренные речи. Привет».

Рукописи и корректуры не сохранились.

Публикация очерка в *ОЗ* привлекла внимание цензора. Но донесение цензора в Петербургский цензурный комитет было составлено в умеренных тонах, и комитет остановился на мягкой мере — неофициальном сообщении об очерке «Привет» начальнику Главного управления по делам печати [1].

При подготовке очерка для *изд. 1876* в рассуждениях рассказчика в начале очерка (стр. 474—475 наст. тома) были произведены некоторые изменения, вызванные, возможно, необходимостью устранить цензурные замены и изъятия: слово «склав» (от *нем.* Sklave или *франц.* esclave) повсюду заменено на «раб», в конце абзаца «Мне было стыдно...» (стр. 474 наст. тома), обрывавшегося в *ОЗ* словами «...всем существом своим поиял», появилась фраза: «что он весь, с ног до головы,— раб». По всему тексту была проведена также мелкая стилистическая правка.

В *изд. 1880* и *изд. 1883* очерк перепечатывался без измеиений.

Завершающий «Благонамеренные речи» очерк «Привет» написан Салтыковым сразу по возвращении на родину после почти четырнадцатимесячного пребывания за границей, но, по-видимому, все же не в Петербурге, где писатель провел всего неделю, с 30 мая по 8 июня 1876 года, в хлопотах по множеству накопившихся дел, а в Витеневе, куда он приехал 10 июня.

Название очерка — иронично и двузначно. Это и *привет* писателя родине после длительной разлуки с нею, это и *«привет»*, которым официальная Россия — жандармы и таможенная полиция — встречают на границе возвращающихся домой соотечественников, ожидающих этой встречи, как «Страшного суда».

Вводная часть очерка — одно из многих высказываний Салтыкова, передающих *трагическую осложненность его патриотизма*, его любви к России. Салтыков был далек от иллюзий и оптимизма по отношению к современной ему буржуазной Европе. Но в равной мере ему были чужды непонимание или идеализация огромной отсталости царской России от развитых стран Запада. Как всегда, в центре внимания Салтыкова находились сопоставления и наблюдения в сфере социальной психологии и гражданского самосознания. Настроения «рассказчика», возвращающегося из чужой стороны домой, к своим, передаются в очерке такими словами:

[1] В. Е. Евгеньев-Максимов. В тисках реакции, ГИЗ, М.— Л. 1926, стр. 52—53.

«Мне было стыдно <...> Не страшно было, а именно стыдно <...> Что-то вроде бессильной злобы раба, который всю жизнь плясал и пел песни, и вдруг, в одну минуту, всем существом своим понял, что он весь, с ног до головы,— раб». Эти слова заставляют вспомнить другие и очень близкие им из «Пролога» Чернышевского: «Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу — все рабы», которые Ленин назвал словами «настоящей любви к родине, любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения» [1].

Чтобы приглушить настроения «тоски» и «стыда» перед встречей с «известностью неизвестности» существования по пословице «все мы под богом ходим», «рассказчик» погружается в «мелочи обыденной, чередовой жизни», в разговоры спутников, «благонамеренность речей» которых заключается в том, что они посвящены преимущественно «кулинарным воспоминаниям» насчет еды «у нас» и «за границей». Эти разговоры «представителей русской культурности» в очерке «Привет» — один из блестящих образцов применения Салтыковым его известного принципа: *отражение политики в быте.*

По теме и по содержанию очерк «Привет», заключающий цикл, теснейшим образом связан с замыслом другого большого, но лишь начатого и незаконченного цикла 1875—1876 годов — «Культурные люди», или «Книга о праздношатающихся» (т. 12 наст. изд.).

Стр. 475. *...один <...> ехал из Парижа; другой <...> из Ниццы; третий <...> из Баден-Бадена, в соответствующие города: Навозный, Соломенный и Непросыхающий.*— В первом ряду названы места пребывания Салтыкова в 1875—1876 годах. Во втором — символические обозначения русской провинции (см. о городе Навозном на стр. 514 и 519 в т. 8 наст. изд., о Соломенном городе — в «Истории одного города» там же).

Стр. 476. *Пактрэгеры, дистманы* — посыльщики, посыльные (от *нем.* Packträger, Dienstmann).

Стр. 476—477. *Даже фамилия у него была совсем не культурная — Курицын, тогда как Василий Иваныч был Спальников, а Павел Матвеич — Постельников* — Фамилия Курицын связывается с кличкой «куроцап», которую Салтыков не раз присваивал чинам дореформенной уездной полиции. Фамилии Спальников и Постельников — намекают на служило-дворянское происхождение.

Стр. 477. *Сам покойный Михайло Петрович мне сказывал <...> Вот она где, наша Русь православная, была!* — То есть М. П. Погодин. Он умер 8 декабря 1876 года. В русской и зарубежной историографии конца

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, 5-е изд., т. 26, стр. 107.

60-х — начала 70-х годов велась широкая полемика по поводу происхождения и первоначального обитания славянских племен. Погодин утверждал, что славянские племена пришли в Восточную Европу с Запада, где память о них сохранилась в географических названиях: «...В северной и средней Германии все собственные имена славянские показывают <...> что прежде немцев в этих местах жили славяне: Стрелиц, Шверин, Росток, Кролевец, Гданск..» (М. П. Погодин. Польский вопрос. Собрание рассуждений, записок и замечаний, М. 1867, стр. 131).

Стр. 478. *Тюрбо* — рыба калкáн (*франц.* turbot).

Стр. 479. *Соль, барбю* — камбала (*франц.* sole, barbue).

Антреме — приправы к жаркому (*франц.* entremets).

Буйль-абесс — рыбная похлебка с чесноком и пряностями (*франц.* bouilleabaisse).

Стр. 480. *Мещанин во дворянстве* — «герой» одноименной комедии Мольера.

Пуле — цыпленок (*франц* poulet).

Жарден даклиматасьон — зоологический сад в Париже (*франц.* jardin d'acclimation).

Стр. 481. *Пулярка* — откормленный цыпленок (от *франц.* poularde).

Савёр — вкус (*франц.* saveur).

Филе де-каннетон — филе утенка (*франц.* filet de caneton).

Пердро — молодая куропатка (*франц.* perdreau).

Стр. 482. *...так любовно, как будто блудного сына обрели.*— Евангельская реминисценция (Л у к а, XV, 11—32).

во время осады...— В 1871 году франко-прусские войска осадили Париж, чтобы расправиться с Коммуной.

Лапен — кролик (*франц.* lapin).

Стр. 484 *..лямуру или ляшозу <...> Мак-Магонша лямуру не любит <...> Кабы <...> как при Евгении...*— Л я м у р, л я ш о з — любовь, кое-что (*франц.* l'amour, la chose), здесь — то же, что «клубничка», «безделица» (см. стр. 634 в т. 5 и стр 475 в т. 9 наст. изд.). М а к - М а г о н ш а — жена президента республики Мак-Магона; Е в г е н и я — жена Наполеона III. Распущенность нравов, отличавшая правящую верхушку Второй империи (см. очерк «Еще переписка»), сменилась известной строгостью, определявшейся клерикальной ориентацией Мак-Магона. Об иностранцах, изучавших Париж с точки зрения «милой безделицы», см. на стр. 245 в т. 8 наст. изд.

Же лоннёр — имею честь (*франц.* j'ai l'honneur).

..амнистию обсуждали.— 17 мая 1876 года французская палата депутатов отклонила п р о е к т з а к о н а о б а м н и с т и и участникам Парижской коммуны (*«СПб. вед.»*, 1876, №№ 127 и 133, 9/21 и 15/27 мая). Салтыков, по-видимому, присутствовал на этом заседании. См. гл. IV «За рубежом» (т. 14 наст. изд.).

...придет Наполеон <...> — в Кайенну ушлют.— Несмотря на победу республиканцев на выборах во Франции (см. стр. 450 и 615), бонапар-

тисты не теряли надежды на реставрацию и выдвигали принца Наполеона как законного претендента на престол. Кайенна — город во Французской Гвиане (Южная Америка), место ссылки политических заключенных, в частности многих коммунаров.

Стр. 485. *...турки-то тоже конституции запросили!* — В мае 1876 года в Стамбуле состоялись манифестации с требованиями конституции.

..его в окру́гу гонят <...> голоса́ подавать надо! — Во время избирательной кампании во Франции предвыборные «комитеты» (см. прим к стр. 450) добивались максимального участия избирателей в голосовании с целью обеспечить большинство голосов своим партиям.

Разве с подводой выгонят... — Согласно земской «подводной» повинности каждая деревня была обязана выставлять определенное количество подвод для разъездов должностных лиц.

Стр. 487. *...в пастухи определят, вместе с Макаром телят пасти велят.* — То есть подвергнут ссылке или высылке.

НЕОКОНЧЕННОЕ

Все материалы данного отдела не публиковались при жизни Салтыкова, не датированы им и не использовались при написании какого-либо из очерков «Благонамеренных речей».

БЛАГОНАМЕРЕННЫЕ РЕЧИ. XII. ПЕРЕПИСКА

(Стр. 493)

Впервые было опубликовано Вл. Кранихфельдом в журнале «Рубикон», 1914, № 6, стр. 11—16, по не дошедшей до нас рукописи, представляющей собой более краткую редакцию настоящего отрывка [1]. От известных в настоящее время других текстов публикация Кранихфельда отличается рядом сокращений и обрывается словами «...вот обстановка, в которой живет «libre penseur»» (абзац «Когда он остепенится...», стр. 501 наст. тома). В статье Кранихфельда «Адвокатура в сатире Щедрина», предпосланной публикации, сообщалось: «Под названием «Переписка» в рукописях Салтыкова находятся два варианта, которых нет в печати. Как к первому, так и ко второму варианту автором сделано примечание, в котором «покорнейше просят читателя припомнить «Переписку», напечатанную в «Отечественных записках» № 12 за 1873 год».

Более полная редакция настоящего отрывка была опубликована Н. Н. Пенчковским в Литературно-художественном сборнике «Красной панорамы», Л. 1928, сентябрь, стр. 44—49, по другой не дошедшей до нас рукописи. Во вступительной заметке публикатора «Неопубликованный

[1] В библиографии Л. М. Добровольский и В. М. Лавров. М. Е. Салтыков в печати, Л. 1949, стр. 94, ошибочно указано, что публикация Кранихфельда сделана по рукописи, хранящейся в Пушкинском доме.

очерк М. Е. Салтыкова» сообщалось: «Статья написана на четырех страницах писчего листа, особенно неразборчиво даже для салтыковских рукописей, с множеством вносок и вставок.. »

В настоящее время известна черновая рукопись отрывка[1]. Текст ее начинается словами «Я в восторге, милая маменька Я только теперь понял, что такое жизнь...» (ср. стр. 493 наст. тома) и заканчивается фразой «Затем следует бесконечная цепь адвокатов-гостей», следующей за словами « .непременное отягчение участи обвиняемого» (ср. конец абзаца «Разновидность «серьезного любовника»...», стр 499 наст. тома). К заглавию сделано подстрочное примечание «Покорнейше прошу читателей припомнить «Переписку», напечатанную в 12-м № «Отеч. зап.» за 1873 год. *Авт*».

В настоящем издании текст печатается по публикации Н. Н Пенчковского, сделанной по более тщательно отработанной в стилистическом отношении рукописи, которая, по всей вероятности, является наиболее поздним вариантом отрывка.

Приводим два варианта черновой рукописи.

К стр. 495—496, конец абзаца «Непосредственно за «благородными отцами»...», вместо слов «Пробовали пристроить <...> фальшивыми векселями»:

Но повторяю: «злодей» есть не что иное, как благородный отец, которому не посчастливилось в судебной практике. Дайте этому человеку хотя один конкурс — и вы увидите, как естественно совершится его переход в «благородного отца». Я сам однажды был свидетелем подобного явления: «злодей» получил конкурс, правда, не блестящий, но тем не менее важный в том смысле, что он открывал дорогу к другим конкурсам. «Злодей» уже готов был сделаться благородным отцом, но продолжительная неудача уже наложила на него свое клеймо. Не прошло месяца, как он наводнил управление фальшивыми векселями...

К стр. 496, в начале абзаца «Адвокат-«паук»...», вместо слов «Но кроме того <...> юридическим сводничеством»:

Но кто же может исчислить все услуги, которые может оказать ловкий «паук» при той почти горячечной жажде роскоши и наслаждений, которая проникла во все слои современного общества! И вот с помощью этих связей и соответствующих кушей устраиваются предприятия, громадность которых заставляет кружиться голову! И кто устраивает их! Какой-нибудь Ерофеев, который не может двух слов сказать связно, не может одной строки написать, чтоб в ней не было двух бессмыслиц! Ерофеев, который, будучи в школе, фразу «Осел и соловей» спрягал как глагол? <3 слова нрзб> Поумнел ли он, по крайней мере, с тех пор? Сделался ли развитее и образованнее? Нет, ни то, ни другое. Он и до сих пор продолжает спрягать «Осел и соловей», а все его развитие заключается в том, что он несколько раз внимательно просмотрел на Михайловском театре пьесу «Tricoche et Cacolet»[2].

[1] Хранится в Отделе рукописей Пушкинского дома.

[2] Водевиль А. Мельяка и Л. Галеви (1871 г.), шедший в Михайловском театре Петербурга в 1872 году. Подробнее см. на стр. 793 в т. 10 наст. изд.

Настоящий отрывок является началом очерка, задуманного как продолжение первого очерка «Переписка». Об этом свидетельствует содержание отрывка, в частности упоминание о Ерофееве (фигурирует в первой «Переписке»), и подстрочное примечание в публикации Кранихфельда и в черновой рукописи (см. выше). Судя по порядковой нумерации очерка, он готовился для октябрьской книжки *ОЗ* 1874 года, но был заменен другим очерком с тем же заглавием (в отдельных изданиях — «Еще переписка»). Замысел — критика адвокатуры — частично воплощен в создававшемся в это же время цикле «В среде умеренности и аккуратности» (см. категории «бродяг» и «не помнящих родства людей» в «Господах Молчалиных»).

Стр. 494. *Конкурсный председатель* — руководитель конкурса (см. прим. к стр. 38).

Стр. 496. *Дисконт* — учет векселей.

Стр. 497. *...нечто подобное встречалось <...> в типе Расплюева («Свадьба Кречинского») <...> Глова («Игроки»)...* — персонажи комедий Сухово-Кобылина и Гоголя.

Стр. 500. *...незримые слезы сквозь видимый миру смех.* — Реминисценция из гоголевских «Мертвых душ» (т. I, гл. VII).

..в цирке и в «Буффе» <...> это почти что кавалергард. — См. прим. к стр. 116 и 147.

ПРИЯТНОЕ СЕМЕЙСТВО

(К вопросу о «Благонамеренных речах»)

(Стр. 502)

Впервые опубликовано в 1931 году Н. В. Яковлевым в «Новом мире», № 7, стр. 185—187, по тексту сохранившейся рукописи. В настоящем издании печатается по тому же источнику.

Когда именно Салтыков задумал и начал писать «Приятное семейство», почему работа была брошена в самом начале, сведений нет. Подзаголовок рассказа позволяет как будто бы отнести замысел к 1872—1876 годам, когда писались и печатались «Благонамеренные речи». По содержанию же комментируемый текст опирается на впечатления, полученные Салтыковым в 1865—1866 годах, во время жизни и службы в Пензе, и связан с двумя другими замыслами писателя, также возникшими на материале пензенских впечатлений: с «Очерками города Брюхова» (1865) и рассказом «Испорченные дети» (1869).

Первый замысел остался неосуществленным. Однако выразительное название несозданного, но *начинавшего складываться* в творческом со-

знании Салтыкова произведения (см письмо к Анненкову от 2 марта 1865 года), не оставляет сомнения, что «Очерки города Брюхова» стали бы еще одним осуществлением характерного для салтыковской сатирической критики приема: в культе еды, в поклонении Мамону вскрывался бы социально-политический аспект. Нечто близкое к этому замыслу встречаем и в «Приятном семействе»: «В П ***,— читаем в начатом рассказе,— вас сразу ошибает запах еды, и вы делаетесь невольно поборником какой-то особенной религии, которую можно назвать религией еды». Приезжий в П *** скоро не выдерживает натиска и всеобщности этого «культа», «сдается» и восклицает: «Мамон, я твой! я твой — навсегда!»

С Пензой же связывают комментируемый отрывок рассказа и его первые строки — о распространении «пагубных, потрясших Западную Европу идей», которые «с особенною силой действовали между воспитанниками местиой гимназии» (чуть ниже она названа «П — ской гимназией»). Тут речь идет о внимании, проявленном органами политической полиции к пензенской гимназии в связи, с одной стороны, с инцидентом 1864 года, когда гимназист шестого класса Н. Кузнецов дал пощечину директору, реакционеру и обскуранту — Р. Шарбе, а с другой стороны, в связи с тем, что стрелявший в 1866 году в Александра II Каракозов был воспитанником пензенской гимназии, так же как ряд членов революционного кружка, к которому принадлежал Каракозов, в том числе и руководитель кружка — Ишутин. Эти намеки на злободневные политические события 60-х годов введены и в упомянутый рассказ «Испорченные дети» (т. 7 наст. изд.).

На связь с Пензой указывает еще одна деталь: в рассказе говорится, что город П *** «был сплошь населен отставными корнетами». В «Дневнике провинциала...» и его незаконченном продолжении «В больнице для умалишенных» «отставные корнеты» раскрываются как «пензенские корнеты».

Какое место Салтыков предполагал отвести рассказу — если бы закончил его — в общей композиции «Благоиамеренных речей», неясно. Судя по названию, рассказ предназначался для критики «семейственного союза».

Стр 503. *...выписывали вина прямо от Рауля и от Депре, а консервы от Елисеева.*— Французские вина фирмы Рауля в Петербурге и Депре в Москве считались лучшими, как и гастрономические товары братьев Елисеевых, имевших магазины в обеих столицах.

...о чем ни Борелям, ни Дюссо и во сне не снилось.— Фешенебельные петербургские рестораны Бореля и Дюссо славились своей французской кухней и считались «любимыми ресторанами великосветских денди» (Вл. Михневич. Петербург весь на ладони, СПб. 1874, стр. 486).

*...поражает двухпудовым осетром <...> из С ***...*— по-видимому, из Сызрани.

БЛАГОНАМЕРЕННАЯ ПОВЕСТЬ

(Стр 506)

Впервые опубликовано в 1914 году В. П. Кранихфельдом в «Русск. ведомостях», № 97, 27 апреля, и в том же году — М. К. Лемке (анонимно) в «Вестнике Европы», № 5, стр. 25—34 Источник текста обеих публикаций один и тот же — беловая рукопись (с некоторой авторской правкой) из архива М. М. Стасюлевича, находившаяся ранее в Музее Революции СССР в Москве, а ныне в Пушкинском доме в Ленинграде.

Девятого марта 1875 года тяжело заболевший Салтыков, направляемый врачами на лечение в Баден-Баден, обратился к находившемуся там П В. Анненкову с письмом. В нем помимо ряда деловых просьб высказывалась радость по поводу скорого свидания и намечались темы предстоящих бесед, в том числе о важной и остро взволновавшей Салтыкова литературной новости — начавшемся в «Русском вестнике» печатании толстовской «Анны Карениной».

«Обо всем переговорим при свидании»,— писал Салтыков и продолжал: «Вероятно, Вы <...> читали роман Толстого о наилучшем устройстве быта детор<одных> частей. Меня это волнует ужасно. Ужасно думать, что еще существует возможность строить романы *на одних* половых побуждениях <...> Мне кажется это подло и безнравственно».

Состоялся ли предполагавшийся обмен мнениями с Анненковым по поводу «Анны Карениной», сведений нет. Здоровье Салтыкова по приезде в Баден-Баден настолько ухудшилось, что врачи опасались за жизнь его.

Оправившись несколько от болезни, Салтыков возобновил литературную работу и написал в июне — июле 1875 года рассказ «Сон в летнюю ночь», первоначально предназначенный им для «Благонамеренных речей» (потом вошел в «Сборник», том 12 наст. изд.). На полях черновой рукописи рассказа, оставшейся у него, Салтыков сделал (когда именно — неизвестно) ряд конспективных записей, намечавших образы и ситуации задуманного нового произведения, «Книги о праздношатающихся» (другие названия — «Дни за днями за границей» и «Культурные люди»). Текст одной из записей таков: «Литератор. Повесть о влюбленном быке». Расшифровку записи и раскрытие ее связей с ближайшими творческими замыслами Салтыкова находим в письме к тому же Анненкову из Ниццы от 20 ноября/2 декабря 1875 года. Сообщая, что в «Книге о праздношатающихся», к писанию которой он приступил, будет «многое миожество лиц», Салтыков назвал среди них и «литератора, который в подражание «Анне Карениной» пишет повесть «Влюбленный бык».

На основании приведенных свидетельств незаконченную «Благонамеренную повесть» нередко трактуют как *пародию на «Анну Каренину»* и делают отсюда соответствующие выводы. Но это *неверно,* хотя связь между возникновением замысла «Благонамеренной повести» и резко отри-

цательным восприятием Салтыковым *первых глав* романа Толстого очевидна.

Чтобы правильно понять замысел начатой, но, по-видимому, сразу же и брошенной «Благонамеренной повести», необходимо привести в ясность ряд обстоятельств, относящихся к цитированным высказываниям Салтыкова в письмах к Анненкову, и сопоставить эти обстоятельства с хроникой его работ и творческих планов 1875 года.

Прежде всего следует установить, что отзыв Салтыкова об «Анне Карениной» как о романе, построенном «на одних половых побуждениях», относится отнюдь не ко всему роману, далеко тогда и не законченному, *а лишь к его первой части и к половине второй* (гл. 1—10), появившимся в №№ 1 и 2 «Русского вестника» за 1875 год. Уже того, что было напечатано в № 3 — окончания второй части,— Салтыков в тот момент не читал и не знал: письмо к Аниенкову датировано 9 марта, а № 3 «Русского вестника» вышел в 1875 году 31 марта. В названных начальных частях и главах романа он еще не превратился полностью из семейно-любовного (жанр, в котором был задуман) в философско-общественный и злободневно-публицистнческий. «Роман по началу,— пишет Б. М. Эйхенбаум,— кажется сделанным по европейскому образцу: чем-то вроде сочетаний традиций английского семейного романа и французского «адюльтерного»[1]. «Изображение страсти во всей ее прелести и во всем ничтожестве»[2] преобладает в первых частях и именно с этой стороны и была воспринята большинством современников начавшаяся публикация романа.

Суждение Салтыкова о *начале* романа определялось его принципиальной эстетической позицией — созданным им учением о новом общественном романе, построенном не на традиционном главенстве любовной интриги, а на возвышении социально-философско-политической проблематики и материала[3]. Вместе с тем резкость и грубость отзыва Салтыкова находят объяснение ие только в силе и страстности приверженности писателя к своей общественно-эстетической концепции, но и в его болезни. Она обострила до предела присущую Салтыкову бурную и гневную раздражительность. «Надо скорее уехать из Петербурга,— писал он тому же Анненкову 26 марта 1875 года,— где постоянно нахожусь в раздраженном состоянии».

Работа над «Благонамеренной повестью» была предпринята, по-видимому, летом 1875 года в Баден-Бадене под воздействием незаглохшего еще импульса, полученного от чтения начала «Анны Карениной» в Петер-

[1] Б. М. Эйхенбаум. Лев Толстой. Семидесятые годы, Л. 1960. стр. 152.

[2] Из письма Н. Страхова к Л. Толстому от 1 января 1875 года.— «Толстовский музей. Т. II. Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым», СПб. 1914, стр. 57.

[3] А. С. Бушмин. Сатира Салтыкова-Щедрина, Изд-во АН СССР, М.—Л. 1959, стр. 409—435.

оурге. Продолжение романа в №№ 3 и 4 «Русского вестника» появилось в дни и недели критического состояния здоровья Салтыкова, и вряд ли он *тогда* ознакомился с этим продолжением. А затем в публикации романа наступил перерыв до февраля 1876 года.

Салтыков успел написать для «Благонамеренной повести» только «Вступление» и две главки (третья лишь обозначена заглавной цифрой) «Из записок солощего быка» под заглавием «Мои любовные радости и любовные страдання». «Вступление» посвящено прежде всего аргументации необходимости рассмотрения среди других форм и явлений «благонамеренного миросозерцания» также и «благонамеренного искусства». Но главное содержание «Вступления» составляет развитие взглядов Салтыкова на общественный роман, полемически заостренное против монополии «любовной интриги». В «записках солощего быка» Салтыков переводит развитие этой же темы из теоретико-публицистического ключа в художественный, гротескно-сатирический, но тут же и обрывает начатую новую разработку. Несколько позже и уже, как сказано, в связи не с «Благонамеренными речами», а с «Книгой о праздношатающихся», замышлявшейся в манере «Записок Пикквикского клуба» Диккенса, Салтыков вновь обратился к мысли подвергнуть сатирической критике традиции любовного романа в «Анне Карениной». Эту критику он намеревался осуществить теперь не в острогротескной форме «записок солощего быка», а в форме менее карикатурной и жесткой. С этой целью и была задумана фигура «литератора, который в подражание «Анне Карениной» пишет повесть «Влюбленный бык».

Идентифицировать оба означенных замысла, хотя и связанных друг с другом, нет оснований, а главное, нет оснований рассматривать начатую и брошенную «Благонамеренную повесть» и вовсе неосуществленный замысел о «подражании «Анне Карениной», *как пародию* на роман Толстого. В написанном начале «Благонамеренной повести» налицо теоретический и сатирический спор Салтыкова с Толстым по поводу традиций любовного романа в «Анне Карениной», но *нет никаких элементов пародии на это произведение.*

Оба замысла Салтыкова остались неосуществленными. Нужно думать, что еще до возобновления печатания «Анны Карениной» Салтыков сам убедился, что его заостренное болезненной раздражительностью импульсивно-резкое восприятие только что начатой публикации нового романа Толстого было односторонне и необъективно Салтыков отказался от обоих замыслов сатирической критики «Анны Карениной» и никогда не возвращался к ним.

Об отношении Салтыкова к Толстому и его творчеству см. в салтыковских письмах и комментариях к ним в тт. 19—20 наст. изд.

Стр. 506. *...деятельности, которой образцы представляют художники Тютрюмов и Микешин, может быть беспрепятственно усвоено название благонамеренной.*— Живописец Н. Л. Тютрюмов увлекался изображением обнаженной женской натуры, приобрел известность картинами «Отдых вакханки» и «Нимфа перед купанием». Скульптор М. О. Микешин,

автор монументальных памятников тысячелетию России в Новгороде, Екатерине II в Петербурге, Александру II в Ростове-на-Дону и др., воспринимался Салтыковым в качестве официозного художника.

Стр. 507. ...*«для звуков сладких и молитв».*— Из стихотворения Пушкина «Чернь» («Поэт и толпа»).

Некоторые писатели <...> ухитряются сочетать любовь с сыроварением <...> тут же приплетают артельное начало и вопрос о допущении женщин к слушанию медицинских курсов.— Речь идет о романистах вроде Н Витнякова, автора романа «Русские демократы» (см рец. в т. 9 наст. изд.).

Стр. 508. *Заставьте философа-физиолога препираться с философом-спиритуалистом <...> спиритуалист <...> скажет: <...> нечто есть!* — Философ-физиолог — материалист. Философ-спиритуалист — идеалист. Нечто — душа, по идеалистическим представлениям существующая вне зависимости от материальной субстанции тела.

Стр. 509. *Шепот, робкое дыханье...*— стихотворение Фета.

Стр. 510. *«L'amour — ce n'est que ça».*— См. прим. к стр. 311.

Бланш Гандон.— Имя этой французской шансонетки Салтыков часто использует как нарицательное для обозначения демонстративного бесстыдства

Deux coqs vivaient en paix, une poule survint, // Et voici la guerre allumée...— Из басни Лафонтена «Les deux coqs» («Два петуха»). У Лафонтена: «...Et voilà...».

Зимний сад г. Егарева.— См. прим. к стр. 116.

Стр. 511. ...*угол Вознесенской и Мещанской...*— Мещанские улицы, примыкавшие к Вознесенскому проспекту, были средоточием публичных домов.

Стр. 512. *Из записок солощего быка* — Солощий — сластена, охочий, жадный до чего-либо (В. Даль. Толковый словарь...).

Стр. 513. ...*медаль с надписью «за полезное».*— Такой медалью награждались лица мещанского сословия за «особые заслуги» перед государством.

Воспитание я получил домашнее, то есть не классическое и не реальное.— О классическом и реальном образовании см. стр. 573 и 667 в т. 7, стр. 518 в т. 8 и стр. 702 в т. 10 наст. изд.

Стр. 514. ...*имел довольно верные сведения об афинских вечерах <..> из романа «Жертва вечерняя».*— То есть романа П. Д. Боборыкина. См. статью «Новаторы особого рода» в т. 9 наст. изд.

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН
И НАЗВАНИЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ

Абдурахман Афтобачи, кокандский сановник, один из руководителей Кокандского восстания 1874—1876 гг.— 436, *617*.

Авдеев Михаил Васильевич (1821—1876), писатель, сотрудник «Дела» — *597*.

«Мещанская семья» — *597*.

Авенариус Василий Петрович (1839—1923), автор «антинигилистических» романов, впоследствии — детский писатель — *597*.

«Бродящие силы» — *597*.

Адам (Библия) — 265, 443, *618*.

Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886), поэт, публицист и литературный критик славянофильского направления, издатель-редактор газеты «День» (1861—1865) и др.— *611, 618*.

Александр II (1818—1881), русский император с 1855 г.— *571, 584, 588, 612, 632, 636*.

Александр Македонский (356—323 до н. э.), царь Македонии с 336 г.— 337.

Альфонсин («Альфонсинка»), французская шансонетка — *613*.

Анненков Павел Васильевич (1813 или 1812—1887), литературный критик, историк литературы и мемуарист, сотрудник «Отеч. записок» — *520, 615, 632—634*.

«*Апокалипсис*» — Откровение Иоанна Богослова, часть Библии (см.).

«*Апостол*» — Деяния святых апостолов, часть Библии (см.).

Аракчеев Алексей Андреевич (1769—1834), временщик при Павле I и Александре I, главный начальник военных поселений с 1817 г — 200.

Арсеньев Константин Константинович (1837—1919), публицист, литературный критик и общественный деятель, сотрудник «Вестника Европы» — *575, 576, 623*.

«Материалы для биографии М. Е. Салтыкова» — *623*.

«Русская общественная жизнь в сатире Салтыкова» — *576*.

Аспазия (род 470 до н. э.), афинянка, отличалась красотой, умом и образованностью; в ее доме собирались величайшие умы того времени, с 445 г. жена Перикла — 277, *598*

Базен Ашиль Франсуа (1811—1888), французский маршал, клеврет Наполеона III, в октябре 1870 г., сдав прусским войскам Мец, открыл путь на Париж; приговорен к смертной казни в 1873 г, бежал в Испанию в 1874 г — 319, 323, 336, 338, 342, 343, *599, 601, 603*

Базен, жена А.-Ф. Базена — *603*.

Бальзак (Balzac) Оноре де (1799—1850) — 317, 319.

Барков Иван Семенович (или Степанович) (ок. 1732—1768), автор скабрезных стихов, расходившихся в списках — 116, *578*.

«*Барыня*», русская народная плясовая песня — *465*.

Бастиа Фридерик (1801—1850), фран-

В указатель входят личные имена и названия периодических изданий, имеющиеся как в текстах Салтыкова, так и в примечаниях. В первом случае цифры, указывающие страницы, набраны прямым шрифтом, во втором — курсивом. Имена и названия, упоминаемые только в библиографическом аппарате, в указатель не введены.

Составила указатель А. М. Малахова.

цузский экономист, проповедник «гармонии интересов» труда и капитала — 314, *555*

Баяр (Bayard) Пьер дю Террайль (1478—1524), французский рыцарь, считавшийся образцом героизма и рыцарской чести — 323, *602*

Безобразов Владимир Павлович (1828—1889), либеральный экоиомист, географ и публицнст, младший лицейский товарищ Салтыкова — *623*

Безобразов Николай Алексаидрович (1816—1867), публицист, предводитель дворянства Петербургского уезда — *551*.

Белинский Виссариои Григорьевич (1811—1848) — 253, 408.

Беляев Козьма Васильевич (ум. 1858), купец-миллиоиер — *609*.

Бѐмерт Карл Виктор (1829—1918), экономист и публицист, сотрудник «Отеч записок» — *592*.

«Женщнны в Цюрихском университете» — *592*.

Берг, владелец театра «Летний Буфф» в Петербурге — 203, 278, 279, 283, *578, 587, 598, 601*

«Беседа», ежемесячный ученый, литературный и политический журнал славянофильского направления, издавался в Москве в 1871—1872 гг. С А. Юрьевым — *556, 558—561*

Библия — 21, 74—76, 83, 174, 191, 192, 230, 331, 347, 420, 438, 451, *558, 565, 569, 571, 585, 587, 589, 590, 598, 602, 605, 609, 610, 613, 618, 623*.

«Биржевые ведомости», ежедневная литературная, политическая и коммерческая газета, выходнвшая в Петербурге с перерывами с 1861 по 1917 г., издатели-редакторы К В. Трубнников и П. С. Усов, с 1874 г В. А Полетика — *520, 559, 560, 575*

Бисмарк Отто Эдуард Леопольд, князь (1815—1898), министр-президент и министр иностранных дел Пруссин с 1862 г., бундес-канцлер Северогерманского союза с 1867 г., первый рейхсканцлер Германской империи (1871—1890); осуществлял объединение Германии — 420, 427, 428, *611, 614, 619*

Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921), беллетрист и публицист, сотрудник газет и журналов различных направлений — *636*.

«Жертва вечерияя» — 514, *636*.

«Боже царя храни...», государственный гимн царской России, музыка А. Ф Львова, слова В. А. Жуковского — *566*

Бокль Геири Томас (1821—1862), английский историк-позитивист и социолог — *592*

Бонапарт Жозеф-Шарль-Поль, «Plon-Plon» (1822—1891), кузен Наполеона III, глава новобонапартистов — 336, *603*

Бонне Шарль (1720—1793), швейцарский естествоиспытатель и философ-материалист — 240, *591*

«Le contemplation de la nature» — 240, *591*.

Борель, петербургский ресторатор 40-х годов, затем уехал во Францию, ресторан продолжал именоваться «Борелем» — 204, 503, *632*

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859), писатель и литературный критик, осведомитель политической полицни — 408.

Бурбоны, французская королевская династия — *619*.

Буренин (лит. псевдонимы — Z и В Монументов) Виктор Петрович (1841—1926), поэт и публицист, сотрудничал в «Искре», «Совр », «Отеч. записках», «Будильнике» и «СПб ведомостях»; член редакцни «Нового времени» с 1876 г.— *521, 589*

Бушмин Алексей Сергеевич, литературовед — *522, 537, 635*.

«Сатира Салтыкова-Щедрина» — *522, 537, 635*.

Бюффе Луи-Жозеф (1818—1893), премьер-мннистр и мииистр внутрениих дел Франции в марте 1875 — феврале 1876 г — 450

***В**аал* (м и ф) — 84, *571*

Вейнберг (лит. псевдоним — Гейне из Тамбова) Петр Исаевич (1831—1908), поэт и переводчик, сотрудник «Искры» и «Будильника» в 1866—1867 гг — 456.

Верди Джузеппе (1813—1901) — *565*

«Трубадур» — 53, *565*.

Вершинский Анатолнй Николаевич (1888—1944), историк и краевед — *558, 575*.

«Вестник Европы», ежемесячный историко-полнтнческий журнал, выходивший в Москве в 1866—1918 гг Редактор-издатель М. М. Стасюлевич — *576, 589, 633*

Вильмессан (Villemessant; у Салтыкова — Villemessent) Жан-Ипполит-Огюст Делоне де (1818—1879), французский журналист, основатель и издатель реакцион-

ной парижской газеты «Figaro» (с 1854 г.) — 317, *601*.

Витняков — лит. псевдоним Кошкарова К. Д. (см.).

Вольтер (Мари-Франсуа Аруэ, 1694—1778) — 76, *613*

«Танкред» — 419, *613*.

Воронин Степан Дмитриевич (род. ок. 1797), петербургский домовладелец — *608*.

«Время», ежемесячный литературный и политический журнал, издавался в Петербурге в 1861—1863 гг. М. М. Достоевским при ближайшем участии Ф. М. Достоевского — *553*

Вышилов, владелец писчебумажной фабрики близ Углича — *559*

Вяземский Петр Андреевич, князь (1792—1878), поэт и переводчик — 426, *614*.

Галеви (Алеви) Людовик (1834—1908), французский комедиограф, либреттист и пародист — *630*.

«Tricoche et Cacolet» (совместно с А. Мельяком) — *630*.

Гамбетта (Gambetta) Леон-Мишель (1838—1882), лидер левой парламентской оппозиции при Наполеоне III, министр внутренних дел в 1870—1871 гг. в правительстве «национальной обороны», затем лидер буржуазных республиканцев, поборник оппортунизма, в 1876—1879 гг. председатель бюджетной комиссии палаты депутатов — 253, 254, 256, 262, 264, 269, 273, 280, 283, 335, 342, *548*, *549*, *594*, *595*, *603*, *604*.

Гандон Бланш, французская шансонетка — 510, *636*

Гарибальди Джузеппе (1807—1882)—323

Гверра, владелец цирка в Петербурге — 408.

Геродот (ок. 484—425 до н. э.), древнегреческий историк, прозванный «отцом истории» — 323.

Герцен Александр Иванович (1812—1870) — *571*, *586—587*

Герье Владимир Иванович (1837—1919), историк, профессор Московского университета с 1868 г., организатор Высших женских курсов в Москве в 1872 г — *592*.

Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) — *560*, *564*, *580*, *625*, *631*.

«Иван Федорович Шпонька и его тетушка» — *560*; Шпонька — 28, *560*

«Игроки» — 497, *552*, *631*, Глов — 497, *552*, *631*

«Мертвые души» — 129, 500, *580*, *631*.

«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» — 282

«Ревизор» — *564*; Держиморда — 45—47, 272, *526*, *562—564*, Сквозник-Дмухановский — 46, 47, *564*

«Голос», ежедневная политическая и литературная газета, издававшаяся в Петербурге А. А. Краевским в 1863—1884 гг.— *561*, *568*, *570*, *582*.

Гомер (между XII и VII вв. до н. э.)— *586*

«Илиада», Менелай — 426

«Одиссея» — *586*; Одиссей (Улисс) — 180—182.

Горький Максим (Алексей Максимович Пешков, 1868—1936) — *580*

«Гражданин», политическая и литературная газета журнал, основанная в Петербурге кн. Мещерским в 1872 г., выходила до 1911 г. (с перерывом в 1880—1881 гг.), с начала 1873 г. до апреля 1874 г. редактировалась Ф. М. Достоевским (вел также еженедельное политическое обозрение) — *527*, *548*, *552*, *558*, *560*, *567*, *569*, *597*.

Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855), историк-«западник», общественный деятель, профессор всеобщей истории в Московском университете с 1839 г.— 253, *595*.

Гранье де Кассаньяк (Cassagnac) Поль (1843—1904), французский публицист, один из лидеров бонапартистов в Третьей республике — 316, 317, 335

Грибоедов Александр Сергеевич (17[illegible]—1829) — *625*

«Горе от ума» — *625*; Репетилов — 462, *625*; Толстой-«Американец» — *625*, Удушьев — 462, *625*

Григорьев Аполлон Александрович (1822—1864), литературный критик и поэт, сотрудник «Времени» и «Эпохи» — [illegible], *590*, *611*.

Губонин Петр Ионович (182[illegible]—1894), железнодорожный предприниматель — *581*.

Гюго Виктор Мари (1802—1885) — *602*, *605*.

«История одного преступления» — *600*

«Наполеон Малый» — *602*

«Lui» — 318, *605*

«Les misérables» — 350, *605*.

Давид (Библия) — *565.*

Даль Владимир Иванович (1801—1872), писатель, этнограф и филолог — *599, 617, 625, 636.*

«Пословицы русского народа» — *617.*

«Толковый словарь живого великорусского языка» — *599, 636*

Данай (миф) — *554.*

Даниил (Библия) — *571.*

Данилевский Николай Яковлевич (1822—1885), естествоиспытатель и публицист, славяиофил, идеолог панславизма — *551.*

Данте Алигьери (1265—1321) — 498

Дарвин Чарлз Роберт (1809—1882) — 428, *555, 614*

«Дело», ежемесячный «учено-литературный», затем «литературно-полнтический» журнал, выходивший в Петербурге в 1866—1888 гг. Официальный редактор до 1880 г. Н. И Шульгин, издатель и фактический редактор Г. Е. Благосветлов — *520, 568, 591, 600.*

Демерт Ниьолай Александрович (1835—1876), писатель и публнцист, обозреватель «Отеч записок» (1869—1875) — *560, 561, 592*

«Внутреннее обозренне» — *560, 561*

«Наши общественные дела» — *592.*

Демут, владелец гостиницы и ресторана при ией в Петербурге — 177.

«День», еженедельная газета, издававшаяся в Москве И. С. Аксаковым в 1861—1865 гг, орган славянофнлов — *618.*

Депре, владелец магазнна французских вии в Петербурге — 502, *632.*

Державин Гаврила Романович (1743—1816) — *595, 602, 605*

«На взятие Варшавы» — 326, *602.*

«На рождение в Севере порфиродиого отрока» — 256, *595.*

«Памятник» — 365, *605.*

Дерунов Савва Яковлевич (1831—1909), поэт и писатель — *575.*

Детруйа (Détroyat) Пьер-Леон (1829—1898), французский реакцнонный публицист, участник французской интервенции в Мексике (1861—1867) — 317.

Детуш (Филипп Нерико; 1680—1754), французский актер и комедиограф — *597.*

«Le glorieux» — 267, *597.*

Диккенс Чарлз (1812—1870) — *635.*

«Посмертные записки Пикквикского клуба» — *635.*

Добролюбов Николай Александрович (1836—1861) — *565, 572.*

Долгушин Александр Васильевич (1848—1885), революционер-народник, вольнослушатель Петербургского технологического института; в 1870 г. судим по делу С. Г. Нечаева, оправдан; в 1872 г. организовал революционный кружок; в 1873 г. арестован, в 1874 г. осужден на десять лет каторги, затем еще на десять — *565, 568.*

Доминик Риз-а-Порта, петербургский ресторатор и кондитер — 284.

Домна, кормилица в доме Салтыковых — 442, *618.*

Дон Карлос — см Карлос Младший.

Дорот, владелец загородного ресторана под Петербургом — 282

Достоевский Михаил Михайлович (1820—1864), брат Ф. М. Достоевского, беллетрист, переводчик и публицист, издатель «Времени» и «Эпохи» — *553*

Достоевский Федор Михайловнч (1821—1881) — *553, 569, 607, 608, 611.*

«Дневник писателя» — *569, 608.*

Дюбюр, владелец парикмахерской в Петербурге — 143

Дюге де ля Фоконнери (Dugué de la Fauconnerie) Анри (1835—1914), французский публнцист, депутат-бонапартист Национального собрания в 1869—1870 и 1876—1877 гг.— 317, 335.

Дюма (отец) Александр (1803—1870) — *582.*

«De Paris à Astracan» — *582.*

Дюма (сыи) Александр (1824—1895) — 150, *582.*

Дюссо, петербургский ресторатор — 284, 286, 503, *546, 632*

Дюфор Жюль Арман Стаиисла (1798—1881), французскнй адвокат, орлеаннст, один из палачей Парижской коммуны, министр юстиции (1871—1873, 1875—1876, 1876—1879), премьер-мииистр (1876, 1877—1879) — 450.

Ева (Библия) — 265.

Евангелие — 15, 58, 191, 281, 354, 404, 416, 420, 424, 482, *554, 561, 565, 587, 588, 597, 606, 613, 614, 617, 623, 625, 628.*

Евгения Монтихо (1826—1920), испанская графиня, жена Наполеона III — 325, 484, *601, 603, 629.*

Евгеньев-Максимов (Максимов Владислав Евгеньевич; 1883—1955), литературовед — *620, 626.*

«В тисках реакции» — *620, 626.*

Егарев, владелец увеселительных заведений «Русский семейный сад» и «Концертный сад» (с эстрадой «Летний Буфф») в Петербурге — 500, 510, 511, *578, 636*

Екатерина II (1729—1796), русская императрица с 1762 г — 188, *587, 602, 636*

Елисеевы Григорий (1804—1892) и Степан (1806—1879) Петровичи, владельцы гастрономических и винных магазинов в Москве и Петербурге — 284, 503, *598, 632.*

Жокрисс (Jocrisse), персонаж французского комического театра XVIII—XIX вв — 337, *603*

Жюдик Анна (1850—1911), французская шансонетка, гастролировала в Петербурге в 1874—1875 гг. — 154—156, 161, 162, *583.*

«Заметки досужного читателя», анонимные статьи в «Гражданине» — *527*

«Заря», ежемесячный учено-литературный и политический журнал, выходивший в Петербурге в 1869—1872 гг., издатель-редактор В. В. Кашпирев — *560, 568, 571.*

Иван IV Грозный (1530—1584), великий князь с 1533 г., первый русский царь с 1547 г.— *614*

Игнатьев Павел Николаевич, граф (1797—1879), генерал-адъютант, петербургский генерал-губернатор в 1854—1861 гг., затем член Государственного совета; председатель Комитета министров с 1872 г.— *585*

Излер Иван Иванович (1811—1877), владелец увеселительного сада «Минеральные воды» в Петербурге (Новая деревня) — *578.*

Иисус Христос (Библия) — 426, *614.*

Илия (Библия) — 84, 86, *549, 571*

Ионин Николай Васильевич, вятский врач, знакомый Салтыкова — *623.*

Исаак (Библия) — *571*

Исав (Библия) — 83, *571*

Ишутин Николай Андреевич (1840—1879), социалист-утопист, в 1863 г. организовал московское революционно-народническое тайное общество; по делу Каракозова приговорен в 1866 г. к смертной казни, замененной пожизненной каторгой — *587, 632*

Кавелин Константин Дмитриевич (1818—1885), юрист, историк и публицист, профессор Московского (1844—1848) и Петербургского (1857—1861) университетов—*611*

«Как по морю по Хвалынскому.», русская народная хоровая песня — 143, *582.*

Калигула Гай Цезарь (12—41), римский император с 37 г., прославившийся изощренным деспотизмом — 326.

Кантемир Антиох Дмитриевич, князь (1708—1744), поэт-сатирик и переводчик, просветитель — 370, *605.*

Кантемир Дмитрий Константинович, князь (1673—1723), отец А. Д. Кантемира, молдавский господарь, поселившийся в России в 1711 г.— *605.*

Каракозов Дмитрий Владимирович (1840—1866), член ишутинского кружка, неудачно стрелявший 4 апреля 1866 г в Александра II; казнен 3 сентября — *587, 588, 625, 632.*

Карамзин Николай Михайлович (1766—1826) — 498.

Карлос, дон, Младший (1848—1909), претендент на испанский престол под именем Карлоса VII в 1872—1876 гг.— 419.

Кассаньяк — см. Гранье де Кассаньяк П

Катков Михаил Никифорович (1818—1887), публицист, издатель-редактор «Моск ведомостей» (1851—1855, 1863—1887) и «Русск. вестника» (1856—1887) — *563, 584, 587, 618, 623.*

Кессених, руководитель танцкласса в Петербурге в 40-х годах — 203, *587.*

Клеопатра (69—30 до н. э.), последняя царица Египта с 51 г. до н. э. из династии Птолемеев, жена Марка Антония с 37 г. до н. э — 277, 278, *598.*

Кок Поль де (Paul de Kock; 1794—1871), французский писатель, известный пошло-развлекательными романами — 116, 129, 173, 314, *578.*

«Колокол», газета, издававшаяся Герценом и Огаревым в Лондоне с июля 1857 г. до апреля 1865 г и в Женеве с мая 1865 г до июля 1867 г.— *571.*

«Коль славен наш господь в Сионе.», христианский гимн, в России считался также и государственным гимном — 70, *566*

Конисский Георгий (1717—1795), архиепископ могилевский, мстиславский и оршаиский, литератор, ректор Киевской духовной академии — *602.*

«Речь Екатерине II, произнесенная в Могилеве в 1787 г.» («Оставим астрономам доказывать..») — 326, *602.*

Конт Огюст (1798—1857), французский философ позитивист — *555, 592, 602.*

Корш Валентин Федорович (1828—1883), публицист и историк литературы, редактировал «СПб. ведомости» в 1863—1874 гг., за выступление против гимназической реформы Д. А. Толстого снят с редакторства, неофициальный редактор «Сев вестника» в 1877—1878 гг.— *597.*

Костомаров Всеволод Дмитриевич (1837—1865), поэт-переводчик, отставной корнет, владелец тайной типографии, арестован в 1861 г. в связи с нелегальными прокламациями Чернышевского «Барским крестьянам .», Шелгунова «Русским солдатам. », Шелгунова и Михайлова «К молодому поколению», выдал политической полиции их авторов — 49, *564.*

Котошихин Григорий Карпович (ок. 1630—1667), подьячий посольского приказа, бежал в Швецию — *580.*

«О России в царствование Алексия Михайловича » — 129, *580.*

Кохановская Н.— лит. псевдоним Соханской Н. С. (см.)

Кошанский Николай Федорович (1784—1831), переводчик и педагог; профессор русской и латинской словесности в Царскосельском лицее в 1811—1828 гг., составитель «Общей реторики» и «Частной реторики» — 205

«Universus mundus» — 205

Кошкаров (лит. псевдоним — Витняков) И. Д., беллетрист — 507, *554, 566, 636.*

«Русские демократы» — 507, *554, 566, 636*

Кранихфельд Владимир Павлович (1865—1918), литературный критик и публицист — *629, 631, 633.*

Крылов Иван Андреевич (1768 или 1769—1844) — *587, 630.*

«Ворона и лисица» — 204, *587.*

«Осел и соловей» — *630*

Кузнецов Николай Николаевич (1848—после 1908), ученик пензенской гимназии, в 1864 г. исключен, арестован и выслан за пощечину самодуру и доносчику директору, в 1867 г. устроен Салтыковым на службу в Рязань — *632.*

Курганов Николай Гаврилович (1725—1796), литератор, составитель популярного «Письмовника» — 123.

«Письмовник» — 123.

Курье де Мере Поль-Луи (1772—1825), французский писатель и переводчик — *582.*

«Une aventure de Calabre» — *582.*

Лазарев Михаил Петрович (1788—1851), адмирал, исследователь Антарктики, герой Наваринского сражения (1827), руководитель блокады Дарданелл (1828—1829), военный губернатор Севастополя и Николаева и главнокомандующий Черноморским флотом с 1833 г.— 474.

Лаиса, имя двух древнегреческих гетер — 277, *598*

Ламанский Евгений Иванович (1825—1902), экономист, участник многих финансовых комиссий конца 50-х годов, в 1860—1861 гг. товарищ управляющего, затем управляющий Государственным банком — *564*

Ламартин Альфонс Мари Луи де (1790—1869), французский поэт-романтик, публицист, политический деятель — *591*

Лафайет Марн Жозеф Мотье де, маркиз (1757—1834), «герой Нового и Старого Света», генерал, участник войны за независимость Северной Америки и Великой французской революции в конце XVIII в., автор первого проекта Декларации прав человека и гражданина, сторонник конституционной монархии; командовал Национальной гвардией в 1789 и 1830 гг.— 75. *596*

Лафонтен Жан де (1621—1695), французский баснописец — *636*

«Les deux coqs» — 510, 511, *636*

Лафуркад, французская шансонетка — 283

Лебедев Николай Евграфович (ум. 1903), цензор Петербургского цензурного комитета в 60—70-х годах — *606, 607.*

Левассер Пьер (1808—1870), французский комик и водевелист — *569*

«La fille de Dominique» — 74, *569.*

Левин Шнеер Мендель (1897—1969), историк — *572*

«Общественное движение в России в 60—70 е годы XIX века» — *572*

Легран, петербургский ресторатор — 408

Лежар, владелец цирка в Петербурге в 40-х годах — 408.

Лейкин Николай Александрович (1841—1906), писатель, сотрудничал в «Библиотеке для чтения», «Совр », «Отеч. записках», «Искре» в 60-х годах, сотрудник «Петерб. газеты» с начала 70-х годов, редактор-издатель «Осколков» с 1882 г — *540.*

«Повести, рассказы и драматические сочинения» — *540.*

Лекок Шарль (1832—1918), французский композитор, представитель классической оперетты — *572, 578.*

«La fille de madame Angot» — 85, 325, 425, *572, 604*

Лемке Михаил Константинович (1872—1923), историк и публицист — *633*

Ленин Владимир Ильич (1870—1924) — *530, 534, 607, 615, 627*

Леонидов (наст фамилия — Стакилевич) Леонид Львович (1821—1889), актер петербургского Александринского театра с 1839 г., в 1843—1854 гг. играл в московском Малом театре, затем опять в Петербурге — 493

Леонтьев Константин Николаевич (1831—1891), писатель, публицист, литературный критик, помощник редактора газеты «Варшавский дневник» в 1879 г., цензор Московского цензурного комитета с 1880 г., в 1887 г. постригся в монахи — *551*

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) — *584, 597.*

«Молва» — 274, *597.*

«Сосна» — 170, *584*

Ликург, легендарный законодатель Древней Спарты — 324, 326.

Лион Камилла де (Camille de Lyon), французская каскадная актриса, гастролировала в «Летнем Буффе» в Петербурге в 60—70-х годах — 313, *601*

Литературно-художественный сборник «Красной панорамы», выходил в Ленинграде в 1928—1929 гг.— *629.*

Тихачев Владимир Сергеевич (1849—1910), поэт и переводчик, владелец «Нового времени» (совместно с Сувориным)— *621*

Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765) — 421.

Луве де Кувре Жан Батист (1760—1797), французский писатель и политический деятель, жирондист — *602.*

«Любовные похождения кавалера де Фобласа» — 323. *602*

Луи-Филипп, герцог Орлеанский (1773—1850), король Франции с 1830 г., свергнут революцией 1848 г — *619.*

Лукьянов Прохор, староста имения Салтыковых Новинки — 347, 378, *574, 604, 608*

Людовик XVI (1754—1793), французский король в 1774—1792 гг., свергнут Великой французской революцией — 51.

Майков Аполлон Николаевич (1821—1897), поэт и переводчик — *617*

«Fortunata» — 436, *617.*

Макашин Сергей Александрович, литературовед - *548, 558, 564, 575, 611, 618, 623*

«Салтыков-Щедрин биография» — *548, 611, 618, 623*

Мак-Магон Марн Эдм Патрис Морис, герцог Маджентский (1808—1893), вместе с Наполеоном III капитулировал при Седане в 1870 г., во главе армии версальцев подавил Парижскую коммуну в 1871 г; президент Франции в 1873—1879 гг.— *628.*

Мак-Магон («Мак-Магонша»), жена М Э. П. М. Мак-Магона — 481, *624*

Мариво Пьер Карле де Шамблен де (1688—1763), французский комедиограф и романист — *603*

«Le jeude l'amour et du hasard» 337, *603.*

Марков Евгений Львович (1844—1903), литератор и педагог, сотрудник «Голоса» — *582*

«Очерки Крыма», «Софисты XIX века» — *582*

Марковецкий Семен Яковлевич (1817—1884), комик петербургского Александринского театра — 426.

Маркс Карл (1818—1883) — *555.*

Марцинкевич, содержатель одного из первых петербургских танцклассов в 40-х годах — 423, *614*

Мельяк Анри (1831—1897), французский комедиограф, либреттист и пародист—*630*

«Tricoche et Cacolet» (совместно с Л. Галеви) — *630.*

Ментор, в «Одиссее» Гомера воспитатель Телемаха, сына Одиссея а также герой романа Фенелона «Похождения Телемака, сына Одиссея» (1699) — 317

Мерзляков Алексей Федорович (1778—1830), поэт, переводчик и литературный критик — *605.*

«Среди долины ровныя» — 361, *605*

Мериме Проспер (1803—1870), французский писатель — *601.*

«Lettres à une Inconnue» - *601*

Мещерский Владимир Петрович, князь (1839—1914), писатель и публицист, издатель «Гражданина» с 1872 г. 196

Микешин Михаил Осипович (1835—1896), живописец и скульптор - 604, 611

Микула Селянинович, богатырь пахарь, герой былин «Вольга и Микула Селянинович»

новнч» и «Святогор и Микула Селянинович» — 275, *597*.

Милль Джон Стюарт (1806—1873), английский философ-позитивист и экономист — 266, *592*, *597*.

«The Subjection of Women» — 266, *597*.

Михаил Федорович Романов (1596—1645), русский царь с 1613 г.— *612*

Михайлов Михаил Ларионович (1829—1865), поэт, беллетрист и публицист, революционный демократ; в 1861 г. арестован и сослан на каторгу за распространение написанной вместе с Шелгуновым нелегальной прокламации «К молодому поколению» — *564*

Михайловский Николай Константинович (1842—1904), публицист, социолог и литературный критик, теоретик народничества; с 1868 г. сотрудник, затем член редакции «Отеч. записок» — *521*, *550*, *555*, *559*, *575*, *593*, *594*, *599*, *600*, *621*.

«Идеалы человечества и естественный ход вещей» — *555*.

«Критические опыты» — *599*, *600*.

«Литературные и журнальные заметки» — *555*, *569*, *575*.

«Памяти Салтыкова» — *621*.

«Теория Дарвина и общественная наука», «Что такое прогресс?» — *555*

«Щедрин» — *599*, *600*.

Михайловский-Данилевский Александр Иванович (1790—1848), генерал-лейтенант, военный историк — 323

Михневич Владимир Осипович (1841—1899), публицист, театральный критик, историк русской культуры и народного быта — *581*, *632*

«Наши знакомые» — *581*

«Петербург весь на ладони» — *632*

Моисей (Библия) — *571*, *602*.

Мольер (Жан-Батист Поклен; 1622—1673) — *628*.

«Мещанин во дворянстве» — 480, *628*

Морни (Morny) Шарль-Огюст (1811—1865), сводный брат Наполеона III, один из организаторов государственного переворота 2 декабря 1851 г., председатель Законодательного корпуса в 1854—1856 и 1857—1865 гг., посол в России в 1856—1857 гг.— 318, 319, 322, 325, 335, 336, *601*.

Морфей (миф) — 503.

«Московские ведомости», официальная газета, выходившая в 1756—1917 гг. (с 1859 г. ежедневно); в 1863—1887 гг. редактор-арендатор М. Н. Катков (до 1874 г. совместно с П. М. Леонтьевым) — 370, *548*, *559*, *566*, *568—571*, *577*, *578*, *586*, *591*, *618*

Муций Сцевола (Левша) Гай (VI в. до н. э.), полулегендарный римский герой; неудачно покушался на этрусского царя Порсена, осадившего Рим; схваченный, сжег на огне правую руку, поразил мужеством этрусков и заставил их отступить — 420.

Мясников Александр Константинович, отставной ротмистр, до 1871 г. адъютант начальника III Отделения; вместе с братом (см. ниже) обвинялся в подделке духовного завещания купца К. В. Беляева («мясниковское дело») — 261, 275, 378, *591*, *596*, *609*.

Мясников Иван Константинович, брат А. К. Мясникова, отставной надворный советник, до 1871 г. почетный смотритель С.-Петербургского Вознесенского училища — 261, 275, 378, *591*, *596*, *609*.

Назимов Владимир Иванович (1802—1874), генерал-адъютант, виленский губернатор и генерал-губернатор «северо-западных» губерний в 1855—1863 гг.— *585*

Наполеон I Бонапарт (1769—1821), первый консул Французской республики в 1799—1804 гг., император Франции в 1804—1814 и 1815 гг.— 445, *601*.

Наполеон III (Луи-Наполеон Бонапарт; 1808—1873), французский император с 1852 г., свергнут с престола революцией 4 сентября 1870 г.— 318, 466, 484, *596*, *600—603*, *619*, *628*.

«Наполеон IV» (Евгений Людовик Жан Жозеф), «императорский принц» (1856—1879), сын Наполеона III, ставленник бонапартистов на французский престол — 419, *602*, *603*, *629*.

Нахимов Павел Степанович (1802—1855), адмирал, руководитель Севастопольской обороны 1854—1855 гг.— 472.

«Не белы снеги», русская народная песня — 465, 470.

Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877) — *533*, *543*, *544*, *546*, *556*, *606*, *607*, *615*, *620*, *621*.

Нечаев Сергей Геннадиевич (1847—1882), анархист-заговорщик и теоретик «казарменного социализма», организатор общества «Народная расправа» (1869);

после убийства вышедшего из повиновения студента И И. Иванова бежал за границу (дело участников общества слушалось в 1871 г.), швейцарскими властями выдан русскому правительству в 1872 г., осужден в 1873 г. к двадцати годам каторги — *563, 565, 567, 568, 570—572.*

Николай I (1796—1855), русский император с 1825 г — *617, 620, 625.*

Нильский (наст. фамилия — Нилус) Александр Александрович (1841—1899), актер петербургского Александринского театра, член Театрально-литературного комитета с 1873 г.— 493.

«Новое время», политическая и литературная газета, издававшаяся в Петербурге в 1868—1917 гг., с 1869 г. ежедневно; издатель-редактор с 1876 г. А. С. Суворин, вскоре превративший газету в орган реакции — 547, 558, 593, *620—622.*

«Новости» (с 1 июля 1880 г.— «Новости и биржевая газета»), ежедневная газета промышленных кругов, издававшаяся в Петербурге в 1871—1906 гг.— *520.*

«Новый мир», ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал, орган Союза писателей СССР, выходит в Москве с 1925 г.— *631.*

Ной (Б и б л и я) — 393, *609*

Ноэль Жан Франсуа Мишель (1755—1841), французский лингвист — 337, *603.*

«Nouvelle grammaire française» (совместно с Ш Шапсалем) — 337, *603.*

Обер Даниель Франсуа Эспри (1782—1871), французский композитор — *582.*

«Фра-Дьяволо» — 150, *582.*

Овсянников Степан Тарасович (род. 1806), петербургский купец, торговец хлебом и владелец мельниц — 378, *591, 609.*

Одинцов, владелец магазина фруктово-колониальных товаров и распивочной при нем в Петербурге — 311.

Орфей (м и ф) — 269.

Осипов Софрон, крестьянин деревни Новинки — *574.*

Островский Александр Николаевич (1823—1886) — 51, *564.*

«Бедная невеста» — 51, *564*

«Отечественные записки», ежемесячный литературно-политический журнал, издавался в Петербурге с 1818 г ; с 1868 г , при Некрасове и Салтыкове-Щедрине, орган революционной демократии, закрыт в 1884 г.— *521, 533, 543—550, 553, 555, 558, 560, 561, 563, 566, 569, 573, 578, 579, 580, 583, 586, 588—590, 592 596, 599, 602—606, 610, 615, 619—622, 626, 629 631*

Оффенбах Жак (Якоб) (1819 1880), французский композитор, один из основоположников классической оперетты 2... 257, *578, 583, 595, 597.*

«La Belle Hélène» — 256, *271,* 2... 314, 425, *596, 598;* Париж — *595.*

«La grande Duchesse de Gérolstein» — 155, *583.*

Пальмерстон Генри Джон Темпль (1784—1865), лидер реакционного крыла партии вигов, министр иностранных дел Англии (1830—1841 и 1846 1851), внутренних дел (1852—1855) и премьер министр (1855—1858 и 1859—1865) — 466, 467.

Паска (Pasca) (Алис Мари Сесиль, 1840 1914), актриса французской труппы петербургского Михайловского театра в 1870 1874 гг.— 259, 340, *596.*

Патти Аделина (1843—1919), итальянская певица, дебютировала в Петербурге и гастролировала там в 1869—1877 гг —213

Пенчковский Николай Николаевич, литературовед — *629.*

Персий Флакк Авл (34—62), римский поэт-сатирик — 370.

Персиньи (Persigny) Жан Жильбер Виктор, граф Фиален (1808—1872), депутат Законодательного собрания Франции в 1849—1851 гг., один из организаторов государственного переворота 2 декабря 1851 г., министр внутренних дел (1852—1854 и 1860—1863), посол в Англии (1855—1858 и 1859—1860) — 318, 319, 322, 325, 335, 336

«Петербургский листок», газета «городской жизни и литературная», выходила в 1864—1917 гг. (в 1871—1881 гг. пять раз в неделю) — *572.*

Петр I (1672—1725), русский царь с 1682 г., император с 1721 г.— 370, 429, *580, 586, 605, 613, 623.*

Пий IX (Джованни Мария Мастаи Феретти, граф; 1792—1878), папа римский с 1846 г. (у Салтыкова — «ватиканский владыка») — 419.

Писарев Дмитрий Иванович (1840 1868) — *520, 572.*

«Цветы невинного юмора» — *520.*

Писаревский Николай Григорьевич (1822—1895), физик — 129

«Общепонятная физика» — 129

«Повесть временных лет» (XII в.), древнейшая русская летопись — 179, *586.*

Погодин Михаил Петрович (1800—1875), историк, близкий славянофилам, профессор русской истории в Московском университете в 1835—1844 гг., издатель «Москвитянина» в 1841—1856 гг., академик с 1841 г — 477, *611, 627, 628*

«Польский вопрос. Собрание рассуждений, записок и замечаний» — *628*

Покусаев Евграф Иванович, литературовед — *519, 520, 523, 524, 546, 604, 606*

«Революционная сатира Салтыкова-Щедрина» — *520, 523, 524, 546, 548, 604, 606*

Полевой Николай Алексеевич (1796—1846), беллетрист, драматург, критик, историк, переводчик — *595*

«Параша-Сибирячка» — 256, *595*

Половцев Валериан Александрович, прокурор Санкт-Петербургского округа, государственный обвинитель на процессе нечаевцев — *563, 568, 570, 571*

Полозов Николай Александрович (род. 1856), ученик Московского лицея, из которого бежал; в 1872 г. привлекался в Харькове к суду за убийство крестьянина П. Мерзликина с целью ограбления — 151, *582, 583.*

Понсон дю Террайль (Ponson du Terrail) Пьер Алексис (1829—1871), французский писатель, автор многотомных приключенческих (серия «Похождения Рокамболя») и исторических (серия «Юность короля Генриха IV») романов, романа нравов («Парижские драмы») — 314

Попов Петр Тихонович, студент Петровской земледельческой академии в Москве, за «оскорбление» полиции приговорен в 1873 г. к тюремному заключению — *571*

Потемкин Григорий Александрович, князь (1739—1791), генерал-фельдмаршал, фаворит Екатерины II, генерал-губернатор Новороссийской, Азовской и Астраханской губерний с 1776 г.— 415, 425, 486, *612.*

Потехин Павел Антипович (1839—1916), адвокат — *609.*

«Правительственный вестник», ежедневная официальная газета, выходившая в Петербурге в 1869—1917 гг.— *548, 558, 559, 563, 570, 609.*

Приклонский Сергей Алексеевич (1846—1886), публицист, вел «Внутр. обозрение» в «Русск. мысли» — *560.*

«Общественные питейные заведения» — *560*

Протей (миф) — 493

Псалтирь — часть Библии (см.).

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — *563, 605, 635*

«Герой» — 351, *605.*

«Евгений Онегин» — 42, *563.*

«Чернь» — 507, *636.*

Регул Марк Атилий (ум ок. 250 до н. э.), римский консул и полководец; замучен в карфагенском плену за преданность Риму — 420.

Рес Андреас (1794—1887), епископ Эльзас-Лотарингии, депутат германского рейхстага — 420, *613.*

Рикар (Ricard) Пьер Анри (1828—1876), вице-президент Национального собрания в 1874—1875 гг., министр внутренних дел Франции в 1876 г — 450.

Ровоам, древнееврейский царь; увеличением налогов вызвал раскол царства — 470

Ромул, легендарный основатель Рима и его первый царь — 325

Ротин, владелец гостиниц «Москва», «Виктория» и ресторанов в Петербурге — 144.

Ротшильды, бароны, Джемс (1792—1868) и Лионель Натан (1808—1879), главы банкирского дома в Париже и Лондоне — 182.

«Русская старина», ежемесячный исторический журнал, выходил в Петербурге в 1870—1918 гг., до 1892 г. редактор-издатель М. И. Семевский — 200

«Русские ведомости», общественно-политическая газета, издававшаяся в Москве в 1863—1918 гг — *548, 633.*

«Русский вестник», литературный и политический журнал, издававшийся в Москве М. Н. Катковым в 1856—1887 гг., до 1861 г. умеренно-либерального направления, затем охранительного — 188, *582, 586, 597, 633—635.*

«Русский мир», ежедневная общественно-политическая и литературная газета консервативного направления, издавалась в Петербурге в 1871—1880 гг — *548, 558—561, 564, 569, 570, 595, 601, 614.*

«Русское богатство», литературный и научный журнал либерально-народнического направления, издавался в Петербурге в 1876—1918 гг.— *621.*

Руэр (Rouher) Эжен, «Вице император» (1814—1884), адвокат, участник государственного переворота 2 декабря 1851 г, президент Государственного совета при Наполеоне III; в 1870 г бежал в Англию; депутат Национального собрания Франции с 1872 г, лидер бонапартистов — 254, 335, *595*

Рюль, племянник маршала Базена — 342, *603*.

Салиас де Турнемир Евгений Андреевич (1840—1908), писатель — *582*.

«Испанияя» — *582*

Салтыков Дмитрий Евграфович (1819—1885), брат М. Е. Салтыкова — *556, 557, 589*

Салтыков Евграф Васильевич (1776—1851), отец М Е. Салтыкова — *574*

Салтыков Илья Евграфович (1834—1895), брат М Е. Салтыкова — *556, 557, 577, 589*

Салтыков (Н. Щедрин) Михаил Евграфович (1826—1889).

«Больное место» («Сборник») — *608*

«Бродящие силы. Две повести В П. Авенариуса» — *597*.

«В больнице для умалишенных» (не завершено) — *632*.

«В среде умеренности и аккуратности» — *631*.

«Войны за просвещение» («История одного города») — *597*.

«Гегемониев» («Невинные рассказы») — *586*.

«Голодный город» («История одного города») — *576*.

«Господа Головлевы» — *543—546, 599*.

«Господа Молчалины» («В среде умеренности и аккуратности») — *631*.

«Господа ташкентцы» — *543, 567, 582, 588, 618*.

«Губернские очерки» — *625*

«Дворянские мелодии» («В среде умеренности и аккуратиости») — *608*.

«Дневник провинциала в Петербурге» — *543, 581, 596, 632*; Поскудников — *596*.

«За рубежом» — *595, 616, 628*.

Записка о споре по Заозерскому имеиию — *558, 575*.

«Испорченные дети» («Для детей») — *631*.

«История одного города» — *551, 576, 597, 627*; Угрюм-Бурчеев — *551*.

«Итоги» — *541, 619*.

«Как кому угодно» (не завершеио) — *522, 523, 546, 599*.

«Карась-идеалист» («Сказки») — *579*

«Круглый год» — *521, 522, 528, 615*

«Культурные люди» (не завершено) — *627, 633*

«Литература на обеде» — *560*

««Мещанская семья» Комедия в четырех действиях М. В Авдеева» — *598*

«Насущные потребности литературы» — *565*

«Наш savoir vivre» («Признаки времени») — *587*.

«Наша общественная жизнь» — *520, 524*

«Невинные рассказы» — *586*

«Новаторы особого рода» — *597, 636*

«Новый Нарцисс, или Влюбленный в себя» («Признаки времени») — *552*

«Они же» («Господа ташкентцы») — *588*

«Очерки города Брюхова» (неосуществленный замысел) — *631, 632*

«Перед выморочностью» («Господа Головлевы») — *544, 545*

«Письма о провинции» — *552, 559, 560, 565*

«Повести, рассказы и драматические сочинения Н А Лейкина» — *540*

«По-родственному» («Господа Головлевы») — *544, 545*

«Помпадур борьбы» («Помпадуры и помпадурши») — *578*.

«Помпадуры и помпадурши» — *543, 578*.

«Пошехонская старина» — *573*.

«Признаки времени» — 43, *555, 563, 587*.

««Русские демократы». Роман Н Внтнякова» — *566*

«Сборник. Рассказы, очерки, сказки» — *547, 633*.

«Семейные итоги», «Семейный суд» («Господа Головлевы») — *544, 545*

«Сказки и рассказы» — *547*

«Современная идиллия» — *559, 572*

«Современные призраки» — *521—523*

«Соломенный город» («История одного города») — *576*

«Сон в летнюю ночь» («Сборник») — *547, 633*

«Так называемое «нечаевское дело» и отношение к нему русской журналистики» — *568.*

«Ташкентцы приготовительного класса» («Господа ташкентцы») — *543, 567;* Нагорнов, Тонкачев — *567.*

«Убежище Монрепо» — *534, 539.*

«Хищники» («Признаки времени») — *555.*

«Четвертая параллель» («Господа ташкеитцы») — *618,* Оболдуй-Щетина-Ферлакур — 436, *618.*

«Чужую беду руками разведу» («В среде умеренности и аккуратности») — *608*

Салтыков Сергей Евграфович (1829—1872), брат М Е. Салтыкова — *555—557, 574, 588*

Салтыкова Анна Васильевна, тетка М Е. Салтыкова — *574*

Салтыкова (рожд Ломакина) Лидия Михайловна, жена С. Е. Салтыкова — *556, 557.*

Салтыкова Мария Васильевна, тетка М Е. Салтыкова — *574.*

Салтыкова (рожд. Забелина) Ольга Михайловна (1801—1874), мать М. Е. Салтыкова — *588, 604*

Самарин Юрий Федорович (1819—1876), публицист и общественный деятель, славянофил — *611, 625*

«О крепостном состоянии и о переходе из него к гражданской свободе» — *625.*

Самойлов Василий Васильевич (1812—1887), актер петербургского Александринского театра в 1835—1875 гг — 493.

«Санкт-Петербургские ведомости», официальная ежедневная газета, выходившая в 1728—1917 гг , в 1863—1874 гг. арендатор В Ф. Корш — *521, 548, 554, 558—561, 568, 569, 578, 582, 583, 589—591, 595, 597, 601, 613, 619, 624, 628*

Сафо (VII—VI вв. до н. э.), греческая поэтесса — 323

«Свод законов Российской империи», собрание действовавшнх законов, издаиное под руководством М. М. Сперанского впервые в 1833 г и вступившее в силу в 1835 г — 72, *591, 596, 613, 624.*

«Северная почта», ежедневная газета министерства внутрениих дел, выходила в Петербурге в 1862—1868 гг.— *563.*

Сен-Жорж, петербургский ресторатор — 408

Сергеевич Василий Иванович (1832—1910), историк русского права, профессор Московского (с 1871) и Петербургского (с 1872) университетов, глава реакциоииой историко-юридической школы — *611.*

Сеченов Иван Михайлович (1829—1905), естествоиспытатель, материалист, основоположник физиологической школы и естественнонаучного направлення в психологии — 281, 282, *527, 598*

Сим (Б и б л и я) — *585.*

«Слово о полку Игореве», анонимиое произведение древнерусской литературы *(XII в.)* — *325.*

«Собрание иностранных романов, повестей, рассказов в переводе на русский язык», ежемесячный журнал, выходил в Петербурге в 1856—1885 гг., издатель-редактор Е Н. Ахматова — 115, *578*

«Современник», литературно-политический журнал, основан Пушкинным, издавался в Петербурге с 1836 г., с 1847 г , при Некрасове и Панаеве, орган революционной демократии, в 1866 г. закрыт — *546, 594, 599.*

Соллогуб Владимир Алексаидрович, граф (1813—1882), писатель — 426, *614*

Соловьев Николай Иванович (1831—1874), литературный критик, сотрудник «Эпохи», «Отеч записок» Краевского и «Всемирного труда» — *592*

«Милль, Конт и Бокль о женском вопросе» — *592.*

Солон (ок. 638 — ок. 559 до н. э), афинский закоиодатель и поэт в Древней Греции — 326, *602*

Соханская (лит. псевдоним — Кохановская) Надежда Степановна (1825—1884), писательница — 323, *625.*

Спенсер Герберт (1820—1903), английский философ-идеалист — *555.*

Стасов Владимир Васильевич (1824—1906), художественный и музыкальный критик, историк искусства — 275, *597.*

Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826—1911), историк, публицист и общественный деятель, редактор-издатель «Вестника Европы» в 1866—1908 гг.— *633.*

Степанов Петр Гаврилович (1806—1869), актер московского Малого театра — 493.

Страхов (лнт. псевдоним — Н. Косица)

Николай Николаевич (1828—1896), публицист, критик, философ-идеалист, один из идеологов «почвеннничества», сотрудник «Времени» и «Эпохи» с 1861 г., затем «Зари» — *553, 634*

Суворин (лит. псевдонимы — А. Бобровский, Незнакомец, Неизвестный) Алексей Сергеевич (1834—1912), журналист и книгоиздатель, сотрудничал в «Отеч. записках», «Совр.», «Вестнике Европы»; владелец «Нового времени» с 1876 г., вскоре перешел на позиции реакции — *595, 620—622.*

Суйяр (Souillard), французский реакционный публицист — 335

Суслова Надежда Прокофьевна (1843—1919), первая русская женщина-врач, окончила Цюрихский университет со степенью доктора медицины в 1867 г.— 253, *594.*

Сухово-Кобылин Александр Васильевич (1817—1903) — *631.*

«Свадьба Кречинского» — 497, *631;*

Расплюев — 497, *631.*

Сухоручкин Иван Сергеевич, тверской присяжный поверенный — *558.*

«Сын отечества», официозная ежедневная «политическая, литературная и ученая» газета, выходила в Петербурге в 1862—1901 гг ; издатели-редакторы (в разное время) А. В. Старчевский, Н. Петров, И. И. Успенский и др.— 326, *520*

Талейран-Перигор Шарль Морис, князь (1754—1838) — *597*

Тарасов, петербургский купец, владелец доходных домов и увеселительного сада с танцклассом Кессениха — 203.

Тарбе (Tarbé) де Саблон (1838—1900), французский музыкальный критик газет «Figaro» и «L'Epoque», в 1868—1879 гг. редактор газеты «Le gaulois», органа бонапартистов — 317.

Таут (Тот), древнеегипетский бог мудрости, творец иероглифов, покровитель писцов и библиотек — 277, 278, *598*

Тейч (у Салтыкова — Тейтч), эльзас-лотарингский депутат в германском рейхстаге — 418—420, 422—424, 426, 430, *611, 613*

Токвиль Алексис, граф (1805—1859), французский историк и публицист, академик с 1841 г., один из лидеров контрреволюционной «партии порядка» после революции 1848 г., министр иностранных дел в 1849 г — 171, *584.*

Толстой Алексей Константинович, граф (1817—1875), поэт, беллетрист и драматург — 266, *597.*

«Баллада с тенденцией» — 266, *597.*

Толстой Дмитрий Андреевич, граф (1823—1889), обер-прокурор Синода в 1865—1880 гг. и министр народного просвещения в 1866—1880 гг.— *551.*

Толстой Лев Николаевич (1828—1910) — *590, 633—635.*

«Анна Каренина» — *633—635.*

«Плоды просвещения» — *590.*

Толстой Федор Иванович, «Американец», граф (1782—1846), офицер Преображенского полка, дуэлянт и картежник, во время кругосветного плавания Крузенштерна (1803—1806) за ссору с командиром высажен на Алеутских островах и жил недолго в Америке — *625*

Тотлебен Эдуард Иванович, граф (1818—1884), генерал-адъютант, фортификатор, руководитель инженерных работ обороны Севастополя 1854—1855 гг.— 472

Третьяковы, владельцы серпуховской фабрики — *578.*

«Труды императорского вольно-экономического общества», выходили в 1766—1915 гг.— 89, 90, 257, *572, 595*

Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — 146, 147, *607, 608.*

«Дворянское гнездо» — 51; Лаврецкая — 282

«Новь» — *608*

Тьер Луи Адольф (1797—1877), французский историк и публицист, глава исполнительной власти в 1871—1873 гг , палач Парижской коммуны; подписал мирный договор с Пруссией, санкционировавший капитуляцию Франции — *611, 619*

«Тысяча и одна ночь», памятник фольклора арабского Востока (IX—X вв.) — 56.

Тютрюмов Никандр Леонтьевич (1821—1877), живописец — 506, *635*

«Нимфа перед купанием», «Отдых вакханки» — *635.*

Уваров Сергей Семенович, граф (1786—1855), президент Академии наук с 1818 г , министр народного просвещения в 1833—1849 гг . автор формулы «православие, самодержавие и народность» — *611.*

Утин Евгений Исаакович (1843—1894), участник студенческих волнений 1861 г., затем адвокат и публицист, сотрудник «Вестника Европы» — *521, 522.*

Фейдо (Feydeau) Эрнест (1821—1873), французский беллетрист, автор романов из светской жизни — 314.

Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820—1892) — 514, *636*

«Шепот, робкое дыханье .» — 509, *636.*

Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов, 1782—1867), митрополит Московский и Коломенский с 1826 г — 83, *563, 569, 571*

«Выписка из письма московского священнослужителя в Петербург, декабря 17 дня 1861 г.» — *571.*

«Записка о телесных наказаниях с христианской точки зрения» — *569*

Филиппо Луиза, французская шансонетка, выступавшая в увеселительных заведеннях Петербурга — 510, *598.*

Флёри Эмиль Феликс (1815—1884), французскнй посол в России в 1867—1870 гг., один из лндеров бонапартистов после свержения Наполеона III — 336, *603*

Форкенбек Максимнлнан (1821—1892), президент прусского ландтага с 1867 г., обер-бургомистр Бреслау с 1872 г., обер-бургомистр Берлина с 1878 г., президент рейхстага в 1874—1884 гг.— 419, 420, *613.*

Франк Клод — лит. псевдоним Шассена Ш. Л. (см.).

Франклин Бенжамнн (1706—1790), американскнй естествонспытатель и дипломат, буржуазный демократ, противник рабства негров — 258, 259, 268, *596, 602.*

Фрина (IV в. до н. э.), греческая гетера — 277, 278, *598.*

Фурье Франсуа-Мари-Шарль (1772—1837), французскнй социалист-утопист — *522*

Хам (Библия) — 393, *585, 609.*

Цицерон Марк Туллий (106—43 до н э), оратор, писатель и политический деятель Древнего Рима, поборник «согласия сословий» — 370

Чебышев Дмитриев (лит. псевдоним — Экс) Александр Павлович (1834—1877), профессор Петербургского университета по кафедре уголовного права и судопроизводства с 1866 г; публицист, редактор (с 1869 г также издатель) «Судебного вестника» (1866—1871) — *575.*

Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889) — *522, 552, 564, 565, 572, 584, 627*

«Господин Чичерин как публицист» — *584*

«Пролог» — *627.*

«Что делать?» — *522*

Чикуновы, бывшне крепостные Салтыковых в Заозерье, ставшие купцами — 109, *577*

Чичерин Борис Нпколаевич (1828—1904), юрист-государствовед, историк и публицист, профессор государственного права в Московском университете в 1861—1868 гг., после отставки общественный деятель, затем московский городской голова в 1882—1883 гг — *523, 553, 584, 611—613.*

«История политических учений» — *523*

«Несколько слов о современных вопросах» — *553*

«О народном представительстве» — *572, 613.*

Шапсаль Шарль Пьер (1788—1858), французский лингвист — 337, *603*

«Nouvelle grammaire française» (совместно с Ж. Ноэлем) — 337, *603*

Шарбе Раймунд Августович, директор мужской гимназии в Пензе — *632*

Шассен (лит. псевдоним — Клод Франк) Шарль-Луи (1831—1901), французский историк и публицист, постоянный корреспондент «Отеч. записок», основатель и редактор журиала «Démocratie» (1868—1870) — *603.*

Шасспо Антуан Альфонс (1833—1905), французский рабочий, изобретатель ружья, названного его имеием — *579, 614*

Шекспир Уильям (1564—1616) — 498

Шелгунов (лит. псевдоним — Н. Языков) Николай Васильевич (1824—1891), критик и публицист, революционный демократ, автор нелегальных проклама ций 1861 г. «Русским солдатам .» и «К молодому поколеиию» (совместно с Михайловым), сотрудник «Совр.» «Русск слова», «Дела», затем редактор

последнего; около двадцати лет провел в заключении и ссылке — *520*.

«Горький смех не легкий смех» — *520*.

Шнейдер Гортензия («Шнейдерша») (1834—1920), актриса парижского театра «Буфф» Оффенбаха, гастролировала в Петербурге в сезон 1871/72 г.— 149, 154—156, 162, *583*.

Шопен Фридерик Франтишек (1810—1849) — 380, 381.

Шувалов Петр Андреевич, граф (1827—1889), генерал-адъютант, шеф жандармов и главный начальник III Отделения в 1866—1873 гг.— *618*.

Щапов Афанасий Прокофьевич (1830—1876), историк и публицист, революционный демократ, профессор русской истории в Казанском университете в 1860—1861 гг., в 1861 г. привлекался за речь на панихиде по крестьянам, убитым в Бездне, в 1864 г. как «неблагонамеренный» сослан в Иркутск — *560, 561*.

«О развитии высших человеческих чувств. Мысли сибиряка при взгляде на нравственные чувства и стремления сибирского общества» — *560, 561*.

Щербатов Михаил Михайлович, князь (1733—1790), историк, экономист, публицист — *586, 587*.

«О повреждении нравов в России» — 187, *586, 587*.

Эдельберг Иван Александрович (род. 1856), харьковский гимназист, в 1872 г. привлекался к суду за убийство крестьянина П. Мерзликина с целью ограбления — *583*.

Эйхенбаум Борис Михайлович (1886—1960), литературовед — *634*.

«Лев Толстой. Семидесятые годы» — *634*.

Энгельгардт Александр Николаевич (1832—1893), химик, агроном, публицист-народник, сотрудничал в «Отеч. записках» *560, 563, 566, 580, 586*

«Из деревни» *560, 563, 580, 586*

«Современное обозрение» *560*

Эссельс Фридрих (1820—1895) *588*

«Эпоха», ежемесячный литературный и политический журнал, издававшийся в Петербурге в 1864—1865 гг. М. М. Достоевским, после его смерти (июнь 1864 г.) его семьей — *553*.

Ювенал Децим Юний (род. в 60-х годах — ум. после 127), римский поэт-сатирик — 370.

Языков Александр Петрович (1802—1878), генерал-майор, юрист, адвокат, директор училища правоведения в Петербурге — 378, *609*.

Яковлев Николай Васильевич, литературовед — *631*.

Яфет (Библия) — *585*.

«A Provins...», французская песенка — 416, *613*.

«Ach, mein lieber Augustin!..», немецкий вальс — 400, 407, *609*.

Beaumont-Vassy Эдуар Фердинан, виконт де (1816 — ?), французский беллетрист и публицист — *601*.

«Mémoires secrètes du XIX me siècle» — *601*.

«Germania», ежедневная газета, выходившая в Берлине с 1871 г., орган католиков, закрыта в 1874 г.— *614*.

«Kriegers Morgenlied», немецкая шовинистическая песня — 447, *619*.

«L'amour», французская песенка — 311, 442, 510, *600*.

«La chatouilleuse», французская песенка — 154, 404, *583, 610*.

«Le vin et la danse», французская песенка — 284, 318, *598*.

«Wacht am Rhein», немецкая шовинистическая песня — 447, *619*.

СОДЕРЖАНИЕ

БЛАГОНАМЕРЕННЫЕ РЕЧИ

К читателю 7
В дороге 21
Охранители 42
Переписка 71
Столп 94
Кандидат в столпы 122
Превращение 143
Отец и сын 170
Опять в дороге 217
По части женского вопроса 252
Семейное счастье 286
Еще переписка 310
Кузина Машенька 343
Непочтительный Коронат 375
В дружеском кругу 407
В погоню за идеалами 432
Тяжелый год 451
Привет 473

НЕОКОНЧЕННОЕ

Благонамеренные речи. XII. Переписка 493
Приятное семейство 502
Благонамеренная повесть 506

Примечания 519

Указатель личных имен и названий периодической печати 639

Михаил Евграфович

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Собрание сочинений, т. 11

Редактор *В. Панов*

Художественный редактор
С. Данилов

Технический редактор
Ф. Артемьева

Корректор *М. Доценко*

Сдано в набор 25/VI 1970 г. Подписано к печати 26/IV 1971 г. Бумага типогр. № 1, 60 × 90¹/₁₆. 41 печ. л. 41 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 40,765 + 1 вкл. = 40,825. Тираж 55 000 экз. Заказ № 3642.
Цена 1 р. 35 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Ордена Ленина типография
«Красный пролетарий»
Москва, Краснопролетарская, 16